

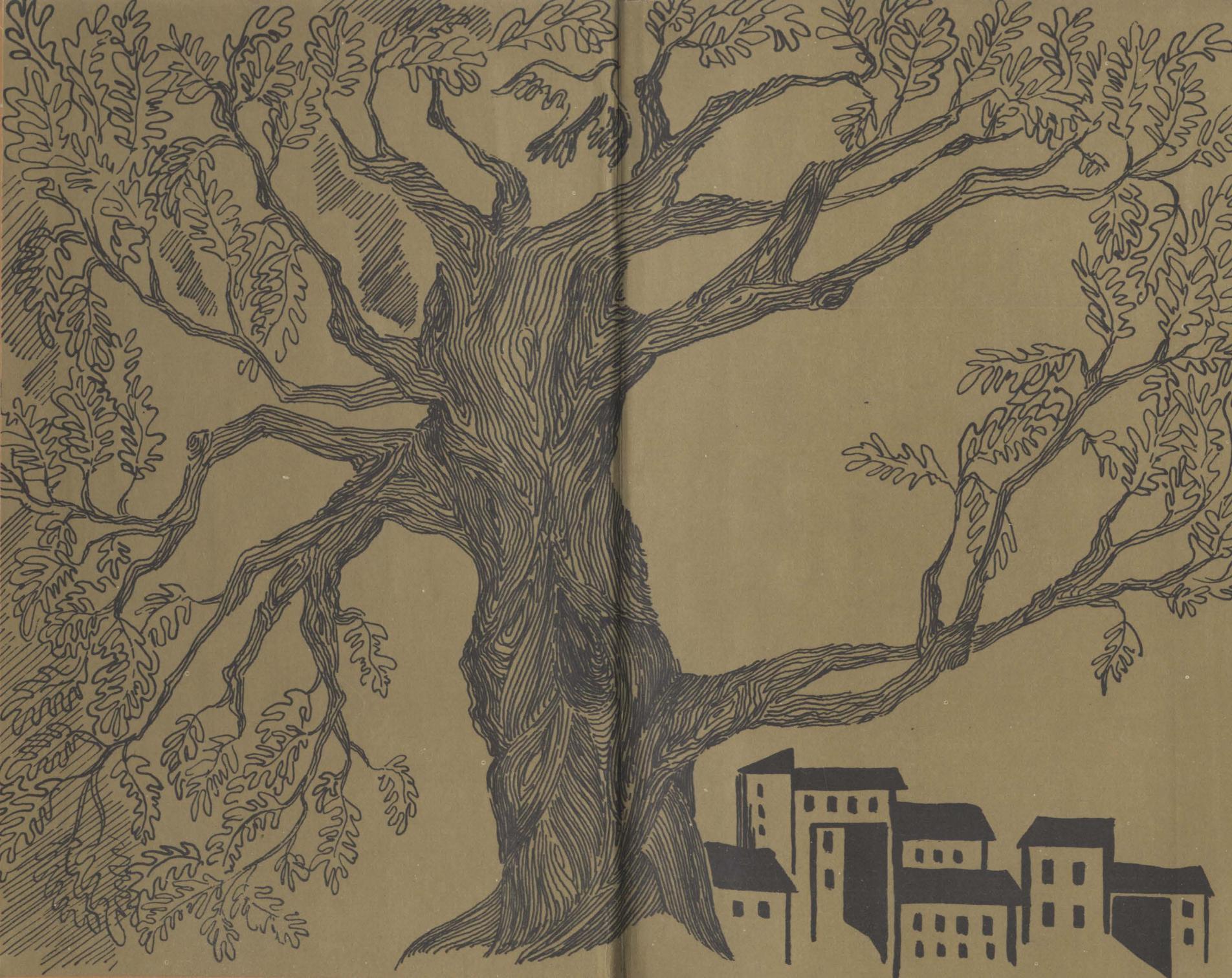
ДИМФНА
КЪЮСАК

СКАЖИ
СМЕРТИ
«НЕТ!»

ДИМФНА
КЪЮСАК

СКАЖИ
СМЕРТИ
«НЕТ!»





ДИМФНА
КЪЮСАК

СКАЖИ
СМЕРТИ
«НЕТ!»



ДИМФНА КЬЮСАК

СКАЗКИ
СМЕРТИ
«НЕТ!»

ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ

ПОЛУСОЖ-
ЖЕННОЕ
ДЕРЕВО

РОМАНЫ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО • ПРАВДА •
1984

Перевод с английского

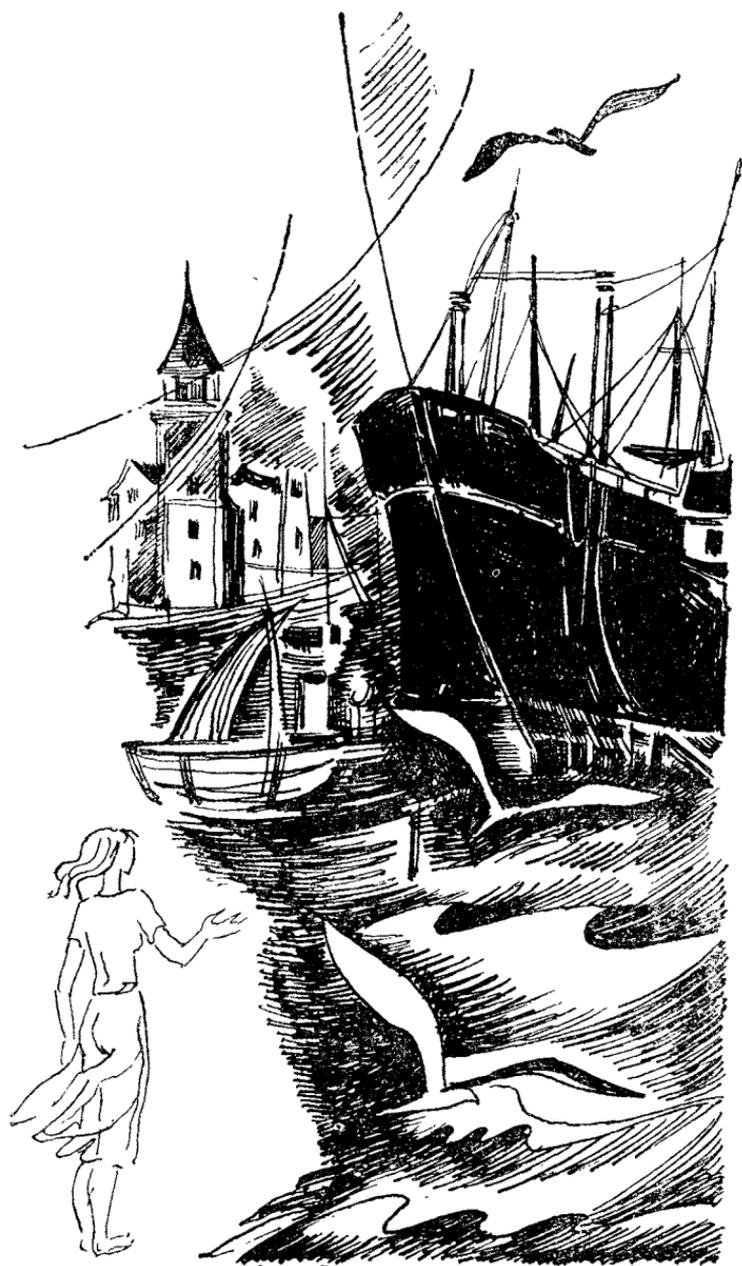
**Составление
В. СЕМЕНОВА**

**Послесловие
А. С. ПЕТРИКОВСКОЙ**

**Иллюстрации и оформление
Е. А. ЧЕРНОЙ**

**КАЖДИ
СМЕРТИ
«НЕТ!»**

РОМАН



Барт Темплтон стоял, перегнувшись через борт, глядя, как буксиры медленно подтягивают «Канимблу» к пристани. Запрокинутые лица встречающих еще сливались в неясное пятно у причала, а дальше, за толпой, сквозь паутину корабельных мачт, поблескивали крыши домов. За ними, еще дальше, словно размалеванный задник декорации, маячили в лучах рассвета очертания Сиднея: фиговые деревья, темнеющие на фоне поросшего травой уголка на берегу — Мэкуори Чэр; изгиб мыса, сбегаящий вниз к впадине Вулумулу¹ и ее сбившимся в кучу строениям; шпили церквей, уставленные в бледное небо, на котором фабричные трубы чертили свой неопрятный дымовой узор, — все было таким знакомым и все же неожиданно новым.

А буксиры ближе и ближе подтягивали транспорт с войсками к пристани.

Барт возвращался домой. И хотя эта оккупационная экспедиция в Японию была чем-то вроде пикника, на Барта давно уже возвращение домой действовало одинаково — с тех самых пор, как они в первый раз вернулись с горной операции в Кокоде и в шеренгах у них было больше пустых мест, чем солдат. С тех пор мысль о дружках, что уже не вернутся, омрачала каждый раз его возвращение домой.

Барт возвращался в том же чине, что и ушел, — рядовым. Правда, эти, там «наверху», вовсю старались протаскать его в офицеры и отправить на подготовку, но ему ничего этого не было нужно: ни чина, ни связанных с ним благ. Армия — это такое же надувательство, как и все прочее, и единственное, что там есть стоящего, так это твои дружки-товарищи. Так зачем же рисковать их дружбой из-за офицерского чина и офицерской столовки?

Он оглядел длинный ряд парней в хаки, вдруг замерших в напряженном молчании вдоль корабельного борта.

¹ Впадина, или низина Вулумулу — портовый район Сиднея, где расположены пристани и живут докеры, матросы, рабочие. Иногда сокращенно называют Лу. (Здесь и далее примечания переводчика.)

Они тоже возвращались домой. И все же на лицах многих из них можно было прочесть те же беспокойство и неуверенность, что мучили его. «И откуда только оно берется, это беспокойство?» — пронеслось в его мозгу. И все же оно прочно поселилось в их рядах с той самой минуты, как вдали показался австралийский берег. И чувство это росло день ото дня, в долгие часы ожидания, когда они смотрели на береговую линию на севере, где далекие горы маячили на горизонте, легкие и неосязаемые, как облака; смотрели на белые, как слоновая кость, изгибы пустынных пляжей, петлявших между длинными мысами, на редкие прибрежные поселения, днем похожие на игрушечные города, а в ночи сверкавшие россыпью огней. Это чувство стало особенно острым сегодня утром, когда за пляжем Мэнли Бич показались темные норфолкские сосны и оконечности мысов, замыкающих сиднейскую гавань, появились впереди, пестрея в лучах восходящего солнца.

Теперь уже можно было различить лица стоящих на берегу.

Кого-то окликнули с берега, и на палубе раздался ответный крик. Тогда словно шквал пронесся над кораблем — в воздухе замелькали руки, шляпы. Люди узнавали и приветствовали друг друга — взметнулся дружный хор криков, свистков, улюлюканья. Размалеванный задник декорации стал городом. Толпа на берегу ожила. Шум и суета развеяли смутное ощущение неуверенности.

«Через час всех нас поглотит эта толпа, — подумал Барт, все еще противясь охватившему ребят возбуждению встречи, вызывая в своей памяти их прежние возвращения — их возбуждение и их разочарования. А ведь через час тебе покажется, будто никогда и не уезжал».

Рядом с Бартом свистел, улюлюкал и горланил Чилла Райэн. В Токио, бывало, говорили, что когда Чилла издаст свои первобытные вопли, то его аж в Сиднее слышно. И, заткнув уши, чтобы не слышать этих пронзительных криков, Барт подумал, что теперь небось в Токио слышно, как Чилла приветствует Сидней.

От избытка чувств Чилла дружески хватил его по спине, да так, что Барт едва на ногах устоял.

— Угу-гу-гу! Уии! — взвизгнул Чилла. — Ну и красотища. Скажи? — Он восхищенно прищелкнул языком. — Нет, по мне, лучше не надо, чем старина Сидней! А?..

Чилла шумно вдохнул утренний воздух. На пароходе восемь сотен здоровенных глоток подняли невообразимый рев, а с берега уже доносился приветственный хор голосов,

еще приглушенный расстоянием, плеском волн и рокотом буксиров.

— Ух ты! — Чилла шлепнул о борт ладонями. — Ух ты! Сроду б не подумал, когда уезжал, что так возвращаться приятно. Глянь, Барт, Сидней-то, ну, хорош!

Барт скользнул взглядом над доками, над бассейнами в парке Домэйн, потом выше, туда, где на опаленных солнцем лужайках шелестели темно-зеленой и бурой листвой фиговые деревья, отбрасывая на запад по склону холма длинные тени.

Рядом раздался оглушительный крик: это Чилла увидел в первом ряду встречающих свое семейство. Да, уж семейство Чиллы сумеет пролезть в первый ряд! Куда бы ни отправлялись Райэны, они всюду являлись всем семейством, как семейный цирк. Вот и теперь все они были здесь: отец и два брата, сжимавшие в руках древко самодельного транспаранта, на котором скачущими неровными буквами было написано: «Добро пожаловать домой, Чилла!»; здесь была его мать — она то махала платком, то вытирала глаза, улыбалась сквозь слезы и делала вид, что она и не слезы вовсе утирает, а пот со лба. Вдоль причала выстроились все двенадцать членов семейства Чиллы, начиная с отца, маленького, сухощавого и такого же шумливого, как Чилла, и кончая трехлетней девчушкой, которая приветственно визжала на плече у отца, вцепившись в его реденеющие волосы.

«Да, неплохо такую семейку иметь», — подумал Барт.

Его собственный дом был далеко на западе, и вряд ли кто придет его встречать. К тому же с тех пор, как Боб погиб в войну где-то в Бирме, а Нэнси вышла замуж, отец с матерью неохотно покидали свою ферму в Нелангалу. На всякий случай он им написал, чтоб они и не думали приезжать в Сидней встречать его, добавив, что точная дата прибытия еще неизвестна. И все же в нем теплилась надежда, что кто-нибудь да встретит его — сестра его Нэнси или Лэлли, соседская девчонка, подружка его детства.

Пароход подходил в причалу. Семейство Райэнов где криком, где численным превосходством проложило себе путь в толпе и теперь расположилось прямо под тем местом, где стоял Чилла. Словно фейерверк, затрещали их бесчисленные вопросы и ответы, никто никого не слушал, все говорили разом, и в этом невероятном гвалте потонули приветственные крики всех, кто стоял вокруг Райэнов.

Чилла на прощание еще раз хлопнул Барта по плечу.

— Ну, пока, дружище, до скорой встречи,—сказал он,— у тебя адрес мой есть, так что не забывай. Заезжай в любое время. У Райэнов в доме всегда место найдется для лучшего парня и лучшего вояки во всем батальоне.—И, застеснявшись своего порыва, торопливо добавил: — Одним больше, одним меньше, знаешь, для Райэнов это дела не меняет. Ну, а теперь побегу, чтобы первым поспеть к трапу. А ты держи за меня на удачу пальцы крест-накрест.

Барт остался стоять у борта. Он смотрел на толпу, прислушивался к нестройному хору голосов, заглядывал в лица женщин, с любопытством наблюдал, как свистят и орут мужчины, и чувствовал, что при виде всего этого в душе его волной поднимается какое-то еще неизведанное теплое чувство — ведь все эти незнакомые люди вокруг — все это свои: он вернулся домой. И вот уже первые из солдат спустились вслед за Чиллой по трапу с ранцами за плечами и в откинутых за спину солдатских панاماх, ремешки которых, врезааясь в щеки, придавали их юным лицам несвойственное им выражение мужества и жестокости. Внизу их сразу окружали друзья, и они вливались в шумный, смеющийся людской поток, хлынувший теперь через ворота порта.

Барт следил глазами за Чиллой и видел, как он беспрепятственно прошел через ворота в окружении своей многолюдной семьи. На дне ранца у Чиллы было много разных вещей, на которые таможня могла бы наложить лапы. Если уж говорить откровенно, то на дне его собственного ранца тоже было несколько вещей, и от того, пройдет ли беспрепятственно Чилла, зависело теперь многое. Бледный же у него будет вид, если таможенники обнаружат в его ранце пару симпатичных фотоаппаратов, что он сторговал на черном рынке в обмен на тщательно сбереженный паек из столовки. Это были недурные вещицы, и ему совсем не хотелось бы с ними расставаться. Вообще-то особого риска нет, разве что учинят настоящий обыск и найдут жемчуг. Многие из ребят припрятали нитки культивированного жемчуга¹, и вот уж если бы их накрыли на жемчуге, тогда пришлось бы распрощаться и со всем остальным, на что так бы никто и внимания не обратил. И когда Чилла прошел через ворота, Барт глубоко вздохнул — и не только от облегчения, но и от грусти, потому что с уходом Чиллы оборвалась первая нить в веревочке, связавшей их всех за полтора года армейской жизни.

¹ Жемчуг, выращиваемый в раковинах искусственным способом.

Так вот он, день, которого ты так долго ждал! Теперь ты свободен от армии по меньшей мере на двадцать восемь дней! Свободен от всей этой тяготины, которая так долго, день за днем въедалась тебе в печеньку. Но сейчас, на пороге освобождения, нудная монотонность армейской жизни вдруг стала казаться даже приятной. Забывались все огорчения, все неприятное, и в памяти осталось только хорошее — товарищество. И теперь с ощущением утраты и какой-то неожиданно проснувшейся теплотой ты смотришь, как уходят твои дружки, твои кореша, те, кому еще несколько дней назад ты говорил: «Век бы тебя не видеть».

А скоро и тебя самого швырнет в мир, где нет ни раз навсегда установленного порядка, ни дисциплины, а есть только законы джунглей, где за тебя уже не будут думать (ох, и убого ж, бывало, они за нас думали!) и где тебе придется самому строить свою жизнь и самому бороться со всеми ее невзгодами.

И тут он увидел Джэн.

Она стояла, прислонившись спиной к пакгаузу, у самого края пристани, и Барт вдруг услышал, как колотится у него сердце. Она, должно быть, пришла пораньше, чтоб занять это место у края. И все-таки она не махала ему рукой, не звала его, не старалась привлечь его внимание. Не могла ж она его не заметить! Если она там все время стояла, то уж наверняка должна была бы разглядеть его в поредевшей толпе у борта. Барту вдруг стало очень приятно. Он-то думал, что его никто не встречает, а его встречала Джэн. Он вдруг ощутил, что ему тоже хочется смеяться и издавать странные крики, наподобие тех, которыми огулшал Чилла. Он пожалел, что Чиллы уже нет рядом и он не может указать ему на Джэн, сказав этак небрежно: «Ну, что ты скажешь? Вон дожидается девочка, с которой мы раньше шатались... Ну да, вон та, в желтом...» И в ответ услышать восхищенный и удивленный посвист Чиллы и его неизменное: «Иди ты, ну и милашка!» И тут же оклик и свист, которыми Чилла обычно начинал знакомство с девочками, окончательно подтвердили бы эту оценку.

Барт смотрел на нее, все больше волнуясь, и ждал, когда же она обернется и взглянет на него, но Джэн не оборачивалась. Она смотрела в другую сторону, будто искала кого-то на другом конце корабля. Ее профиль четко вырисовывался на серой стене пакгауза, ветер шевелил светлые каштановые волосы, плотно обхватывал платьицем фигурку, обрисовывая резко очерченную грудь и стройные ноги с тонкими, изящными лодыжками. Она стояла там высокая,

легкая, тоненькая, тоньше и стройней, чем та, какой он запомнил ее. Она не искала его в толпе — она просто стояла и ждала.

Черт бы побрал! Он готов был об заклад биться, что если б еще кто-нибудь встречал его на пристани, она так и ушла бы, не дав о себе знать. Это и польстило ему и разозлило его в то же время. Он глядел на нее с палубы, и ему казалось, что он даже оттуда различает нежный румянец, который, бывало, так и вспыхивал у нее под кожей, когда он целовал ее, и ее чуть подрагивающие, словно у обиженного ребенка, губы.

А ведь он по отношению к ней вел себя довольно-таки паршиво, это он готов был признать. Ну, а что еще остается парню? Он-то у нее был первый — за это он ручается. И она его любила — в этом он тоже не сомневался. Они здорово проводили время вдвоем. А когда он уехал потом, не обмолвившись ни словом насчет женитьбы, то она не упрекала его ни в чем и даже виду не подала, как она переживает. Но ведь он-то догадывался. Уж он ее знает.

Ну, он ей, конечно, написал из Японии два-три письма, посылал сувенирчики, это как все. Потом сообщил, что приезжает в отпуск. Просто так — вдруг ни с того ни с сего прислал ей письмецо после долгих месяцев молчания. Он ей не давал никаких твердых обещаний, написал просто, что, может быть, скоро увидятся и, может, сходят вместе куда-нибудь. В общем, ничего определенного. Для солдата осторожность в этом деле не лишнее. Он знал ребяташек, которые завели себе по письмам настоящие романы, а причиной-то была вовсе не любовь, а армейское одиночество, расстояние и долгая разлука. Да, когда оно все вместе соберется, это штука опасная. А если сюда прибавить армейскую скуку и пустоту их жизни, да еще в Японии, да еще в ту пору, когда вся прелесть новизны уже пропадает, и чем ближе ты со всем этим знакомишься, тем скорее хочется со всем разделаться — да, при всем этом остается только благодарить господу, если ты не дашь себя охомутать, как только ступишь на родной берег. Он-то видел много ребяташек, которые за годы службы вдали от родины придумали себе великую любовь. При одиночестве и обособленности лагерной жизни любовь эта росла, как на дрожжах, и ничтожные мелочи жизни дома, «на гражданке», которые по возвращении за неделю успеют осточертеть, там, на службе, вдруг приобретали какое-то особое значение, а соседская девчонка начинала казаться каким-то волшебным существом, и мордашка ее сияла для тебя все равно, что

маяк, обещающий тихую гавань после метаний и успокоение после всей путаницы и сумятицы чувств. Сколько раз он видел по возвращении домой, как ребяташек в этом чаду захватывал свадебный вихрь конфетти, званых обедов, медовых месяцев, и, когда они в себя приходили после всего этого, уже поздно было.

Глядя вниз на Джэн, Барт почувствовал, что никогда он так хорошо этих бедняг не понимал, как сейчас. После того как он полтора года видел вокруг себя только скрытные восточные лица, раскосые глаза, плоскогрудые и приземистые женские фигуры, слышал подобострастный смех, льстивый, покорный и невыносимо нудный, Джэн показала ему воплощением родины. Барт улыбнулся про себя. Эх, как бы заулюлюкал сейчас Чилла, если бы вдруг прочитал его мысли, тот самый Чилла, которому, как только он отъезжал на три мили от родного берега, каждая знакомая девчонка, оставленная на родине, начинала казаться совершенно неотразимым сочетанием Бетти Грейбл¹, Елены Прекрасной и «идеальной женушки», и тогда единственное, что спасало его от женитьбы, а может быть, даже двоежества, так это его семейство, которое, стоило лишь ему ступить на родной берег, смыкалось вокруг него, несокрушимое, как крепостная стена.

«Черт, даже неудобно, что с тобой эти гормоны творят», — подумал Барт. И, почувствовав, как заколотилось сердце, как закипела кровь в его жилах, он понял то, чего раньше и не предполагал, понял, как нужна ему сейчас эта девушка. Да, если бы Джэн была из тех, что могут поднажать, да если бы у нее было в придачу семейство вроде Райэнов, которое могло бы к ней прийти на подмогу, то он и не заметил бы, как закрутился в традиционном свадебном вихре флердоранжа и любовных вздохов. Но Джэн была не из таких. Он пожал плечами. Подумаешь! Ладно, там будет видно. Сердце его радостней забило, когда он подумал, что означает ее присутствие, — она пришла встречать его, и, значит, она хочет, чтоб у них все было по-старому.

Он выпрямился, расправил плечи и, приставив ладони рупором ко рту, выкрикнул ее имя над все еще бурлившей у причала толпой встречающих.

Крик его, казалось, расколол прозрачный утренний воздух. Джэн тут же обернулась, улыбнулась ему, даже не делая виду, что удивлена встречей, и помахала ему рукой.

¹ Бетти Грейбл — американская киноактриса.

Барт подхватил ранец на плечо и стал прокладывать себе путь через толпу все еще слонявшихся по палубе солдат, с трудом пробираясь к трапу, потому что они то и дело толкали его, дружески хлопали по плечу и отпускали непристойные шуточки. И вот он уже у причала плечом прокладывает себе путь к тому месту, где должна стоять Джэн. Джэн теперь не было видно, и его охватил страх: а вдруг она ушла? Но вот, наконец, он выбрался из толпы и снова увидел Джэн — на том же месте, где она и стояла. На мгновение он остановился, смущенно и нерешительно глядя на нее. Потом он попытался разрядить напряженность этой минуты, придать своему голосу веселую небрежность и даже нарочно остановился на расстоянии, не опуская ранца с плеч. Голос его прозвучал будто чужой.

— Привет, Джэн! Сколько лет, сколько зим...

Он видел, как что-то дрогнуло у нее в горле и она судорожно глотнула. Глаза ее наполнились слезами. Она улыбнулась ему:

— Привет!

Барт сбросил ранец с плеч. Руки его сомкнулись вокруг Джэн. Он ощутил ее горячие мягкие губы на своих губах, почувствовал, как дрожит в его объятиях ее тонкое, стройное тело, выдавая все, что она пыталась скрыть, так сдержанно отозвавшись на его приветствие.

II

Барт откинулся в кресле и улыбнулся Джэн, уносившей после завтрака грязные тарелки в кухню тесной однокомнатной квартирki, которую она занимала вместе со своей сестрой Дорин. Завтрак был хороший, хотя саму Дорин нельзя было назвать особенно приветливой. Дорин была старше Джэн, не такая высокая, и волосы у нее были потемнее, двигалась она логко и быстро. Сейчас она стояла у двери, поправляя белую шляпку на темно-каштановых волосах, обрамлявших ее миловидное задорное личико.

«Не любит она меня», — подумал Барт при взгляде на ее крепко сжатые губы и нахмуренные брови.

Дорин перевела взгляд на вошедшую из кухоньки Джэн и резко сказала:

— Тебе надо собираться, если не хочешь опоздать в контору.

Джэн обратила к ней сияющее улыбкой лицо, как будто не понимая еще как следует, о чем говорит сестра.

В Дорин поднималось раздражение: она страдала от своего бессилия. Бесполезно спорить с Джэн, когда у нее такое вот выражение лица. Просто невозможно ей ничего втолковать. Стоит только появиться Барту, как она совершенно меняется. Меняется ее поведение. Выражение лица. Да и вся она становится какая-то совершенно другая, более живая, подвижная.

И вот сейчас она смотрела на Дорин, и улыбка гасла у нее на лице.

— О Дор!.. Но как же... — Она замялась и нерешительно взглянула на Барта.

Барт догадывался, какие мысли омрачают лицо Дорин. Он на последнюю монету готов биться, что у них тут немало было споров и шуму, прежде чем Джэн отправилась за ним на пристань и пригласила к завтраку.

Он перевел взгляд на Джэн. Она медленно подняла на него свои широко раскрытые глаза, золотистые как янтарь, с коричневыми крапинками по краям зрачка, похожие на те озерки в скалах у залива, где они, бывало, удили рыбу, отдыхая в Кюре.

— Ладно, Дор. Я немножко опоздаю, наверно. Только чуточку приберу еще, а так я уже готова.

Она собрала чашки и торопливо понесла их к раковине. Барт слушал, как позвякивают чашки, стучат ножи и вилки, и в нем поднималась злорада. Он хотел быть с Джэн. Когда он, наконец, заговорил, голос его показался ему самому резким:

— Не хотите же вы сказать, что мисс Джэнет Блейкли покинет меня, едва я успел ступить на родную землю.

Из-за кухонной двери показалось лицо Джэн.

— О Барт! У меня и в мыслях не было...

Она замолчала и стала яростно тереть чашку. Барт поднялся, подошел к ней и забрал у нее кухонное полотенце.

— Я тебе помогу вытереть посуду, а потом мы с тобой выберемся куда-нибудь. Ничего, я думаю, не случится, если ты и не пойдешь разок в свою контору, тем более что я целых полтора года дома не был. Да и вообще в такой день преступление в четырех стенах торчать, к тому же у меня и отпуска-то всего двадцать восемь суток.

Джэн молчала. Она пристально глядела ему в лицо, будто искала в нем подтверждения своим мыслям, искала за его словами какой-то скрытый, более глубокий смысл.

Дорин взяла сумочку и пошла к двери.

— Как хочешь,— сказала она сухо,— я тебе не сторож.

Но если ты совсем не пойдешь в контору, ты мне лучше сразу об этом скажи: тогда я позвоню им с работы и скажу, что ты заболела.

— Вот это мысль! — Барт торжествующе улыбнулся. — Позвони в контору и скажи там этому старому кровососу, что у Джэн какая-нибудь сволочная болезнь, а мы... — он повернулся к Джэн, — а мы пока погуляем на свободе. Идет?

Джэн кивнула, и лицо ее снова просияло.

— Вот спасибо, Дор, большое тебе спасибо...

Барт шутливо помахал рукой на прощание.

— Спасибо за угощение! Я сегодня ночью домой уезжаю, так что не беспокойтесь — завтра я уже не приду.

Он усмехнулся, когда Дорин с силой хлопнула дверью, и повернулся к Джэн, которая вдруг снова занялась посудой.

— Ну, ты просто чудесная хозяйюшка.

Он смотрел на пену, вскипавшую почти до краев раковины. Джэн вынимала оттуда последние ножи и вилки, на руках ее сверкали мыльные пузырьки.

Он взял ее руки в свои, потом обернул их полотенцем. Джэн прислонилась спиной к буфету, и Барт, нагнувшись, потерся носом о ее нос. И тогда у Джэн вдруг перехватило дыхание. Она закрыла глаза, и Барт увидел голубоватые жилки на ее веках, легкие синеватые тени под глазами. «Что ты тут с собой делала, пока меня не было? Ты ж еще красивее стала».

Он поцеловал ее. «Боже, — подумал он с каким-то смятением, — готов побожиться, ее никто и не целовал ни разу, пока меня не было». Эта мысль наполнила его торжеством и каким-то непривычным чувством смирения. Ему везло больше, чем он заслуживал.

ГЛАВА 2

1

Джэн укладывала вещи, собираясь ехать вместе с Бартом в приморскую дачку-лачугу. Она паковала свой чемодан и с упрямым, непокорным молчанием слушала, как уговаривает, бранит и предостерегает ее Дорин, умоляя не ехать. Все было бесполезно. Они уже много раз говорили на эту тему. Джэн нечего было отвечать на непровержимые доводы сестры, и она продолжала сборы, аккуратно укладывая тщательно отглаженные короткие штанишки, брючки, ха-

лат и рубашки, заворачивая в бумагу сандалии и башмаки и с сосредоточенным видом запихивая их в угол чемодана.

Хотя со стороны казалось, что она внимательно слушает Дорин, лишь незначительная часть того, что говорила сестра, доходила до ее сознания: главное — это еще раз проверить, продумать так, чтобы ничего не забыть из вещей, что могут понадобиться ей за эти десять дней.

— Дурочка ты, — бросила, наконец, Дорин и, перестав подпиливать ногти, взглянула, какое впечатление произвели ее уговоры на сестру, но, судя по лицу Джэн, Дорин лучше было бы побережь голосовые связки.

Дорин хорошо знакомо было это выражение ее лица: уголки рта поджаты и все лицо — воплощение упрямства. Если бы она еще хоть в спор вступила, то была б надежда до чего-нибудь договориться. А она молчит, и все тут. Уж если она что задумает, решится на что-нибудь, то ей тогда говори не говори, как об стенку горох.

Она всегда такая была с самого детства.

«Вся в мать, — говорил о ней, бывало, отец. — Можно уговорить ее, но нельзя заставить». При воспоминании об отце Дорин стало горько. Может, если бы он был жив теперь, Джэн не попала бы в эту историю. Впрочем, ведь и он не больше ее понимал, что творится в душе у Джэн. Она всегда оставалась загадкой для них обоих — такая спокойная, сдержанная. С каким-то неясным чувством вины Дорин подумала, что, может, они слишком часто предоставляли ее самой себе. У них с отцом было так много общего, и, поскольку им казалось, что Джэн всем довольна, они не обращали особенного внимания на то, что она так мало дружит с другими детьми, никогда не приводит домой друзей, не интересуется мальчиками. Может, если бы они больше заботились, чтобы она была, как все, у нее не зашло бы все так далеко с первым же парнем, который ей понравился.

— Просто смотреть противно, — говорила Дорин, яростно полируя ноготок, — смотреть противно, как ты сходишь с ума по парню, которому до тебя и дела нет, только что вот переспать с тобою он не прочь.

Она молчала, ожидая, какое действие произведут на сестру ее слова. Но, судя по лицу Джэн, Дорин с таким же успехом могла бы произносить это про себя. Джэн завернула в папиросную бумагу баночку с кремом для загара, потом закатала ее в купальную шапочку. Ничто не изменилось у нее в лице.

— Я бы и слова не сказала, если бы он по тебе так же с ума сходил, как ты по нему.

Удар пришелся в цель. Дорин заметила, что Джэн вздохнула и прикусила нижнюю губку.

Дорин спешила закрепить достигнутый успех.

— Ты мне перед его отъездом говорила, что у вас до его возвращения не будет ни помолвки, ни свадьбы, ну и я, естественно, решила, что у вас уже, само собой разумеется, все условлено. Боже, чего я не натерпелась за эти три месяца! То он в отпуск приезжал, и мне приходилось выметаться из собственной квартиры, чтобы вы могли тут милостиво, то я одна оставалась в квартире на всю субботу и воскресенье, когда вы с Бартом вдруг удирали к морю в свою лачугу. Я бы и слова не сказала, если бы это взаимно было, но ведь совершенно ясно, что ты отдаешь ему гораздо больше...

Джэн теперь застыла, выпрямившись, теребя жемчужные бусинки на шее. Потом она медленно подняла веки и взглянула на Дорин. В лице ее была такая боль, что Дорин остановилась.

— О, Джэн, я ведь это не для того, чтобы тебя задеть! Я только боюсь, чтоб тебе еще больнее не было. Поэтому я и говорю, что Барт не для тебя.

И, видя, что Джэн протестующе подняла руку, Дорин продолжала с еще большей горячностью:

— Да, да, я знаю: он неотразим, он чудесен, он великолепен, он обходителен, и у него достаточно обаяния, чтобы сманить курочку с насеста, но он сманил уже слишком много курочек со слишком многих насестов, чтобы составить сейчас счастье такого цыпленка, как ты, который так с ума по нему сходит, что за милую видно.

Джэн провела кончиком языка по пересохшим губам.

— Я знаю, Дор...— голос ее дрожал.— Я знаю все, что ты собираешься мне сказать. Только лучше побереги голос, все равно ничего не изменишь.

Дорин сделала последнюю отчаянную попытку:

— Гордость-то у тебя хоть есть?

— При чем тут гордость, если я люблю его?

— Отлично знаешь при чем. Да у тебя не хватает гордости, чтобы перестать вешаться на шею парню, который тебе и пяти писем не написал за полтора года, и это после того, как он здесь буквально дневал и ночевал целый год? А теперь он вернулся, поманил тебя пальцем, подарил тебе нитку культивированного жемчуга, что они протаскивали контрабандой, и вот уже ты падаешь в его объятия. Тьфу, смотреть тошно!

— Да, наверное, это выглядит ужасно,— голос Джэн звучал печально и тихо.— И, наверное, если бы ты так поступала, я бы говорила то же самое, что и ты. Но, знаешь, когда я с Бартом — все как-то совсем по-другому и все эти вещи не имеют никакого значения.

— Он предлагал тебе выйти за него перед отъездом? Джэн взглянула на сестру и медленно покачала головой.

— Нет. И я знала, на что иду, с самого начала. Я знала, что он не из тех, что женятся. Да он ничего такого мне и не говорил.

— Так ты это все сама сочинила, что, мол, вы до его возвращения с женитьбой подождете?

Джэн кивнула.

— Да, конечно. Я сказала так потому, что ты все равно бы меня не поняла, а так мне казалось удобнее все объяснить.

— А он просил встречать его, когда написал, что приезжает в отпуск?

— Нет. Он просто сообщил, что приезжает на «Канимбле» и что мы, может, снова увидимся.

Дорин застонала.

— Так это ты сама все придумала — и вставать на рассвете, и тащиться через Вулумулу туда, к пристани, и ждать там часами?

— Да, сама. Я решила, что если кто-нибудь еще будет его встречать, то я уйду и не покажусь на глаза. И я бы не показалась. На это у меня бы хватило гордости...— Джэн помялась.— Ну, а если его никто не встретит — на этот случай я решила встать так, чтобы он меня сам заметил...— Джэн развела руками.— Ну и вот, как видишь...

Дорин с сомнением покачала головой. Джэн продолжала собираться. Закончив полировать ногти, Дорин закрыла маникюрный набор.

— Ну и вот что вышло,— сказала она наконец.— Все начинается сначала — та же старая игра. Только предупреждаю: на этот раз я вам не буду подыгрывать. Я не позволю больше, чтоб меня выживали из квартиры, по крайней мере из моей части квартиры. Вы с Бартом можете делать что угодно и где угодно, но я в этом больше не участвую. Все. Хватит.

— Мне жаль, Дор, что все так...— Джэн упала на стул, стоявший подле стола, и уронила голову на руки.— Но я думала, ты меня сможешь понять. Ведь и ты с Биллом тоже...

У Дорин сверкнули глаза.

— Билл со мной не забавлялся. У нас все было взаимным. Мы любили друг друга, и мы собирались пожениться, и если бы снайпер не подстрелил его у Таракины... — голос ее задрожал и оборвался.

— Прости, Дор! Я не должна была говорить этого. Я знаю, как ты относилась к Биллу, а Билл — к тебе. И, знаешь, я тоже все время надеюсь, что когда-нибудь и Барт будет так же относиться ко мне и что все идет к этому.

Дорин вздохнула.

— Мне кажется, ты тут не совсем правильно поступаешь. Нельзя, чтоб такому, как Барт, все слишком легко доставалось. Представляю себе, сколько у него девчонок было с тех пор, как он уехал.

Джэн жалобно улыбнулась:

— Представляю... Только лучше мне не знать этого.

В душевной и тесной квартирке воцарилось молчание. Дорин, разбросав по дивану свои заколки и гребешки, укладывала на ночь волосы. Напротив, обложившись платяницами, которые она собиралась взять к морю, сидела на своем диване Джэн. На столе все еще стоял раскрытый чемодан.

«Черт бы подрал все это, — подумала Дорин, украдкой взглянув на сестру. — Она ж совсем как лунатик стала».

Джэн робко улыбнулась:

— Ты же должна радоваться, что я еду. Ты ведь меня давно пилишь, чтоб я взяла отпуск.

— Да, но ты отлично знаешь, что я совсем не это имела в виду. Тебе, как и всякой другой работающей девчонке, нужно хорошенько отдохнуть. А ты едешь с Бартом и будешь там носиться как угорелая весь день да и за полночь.

— Но, Дор! Уж одна перемена обстановки и то мне на пользу пойдет — ведь я день-деньской торчу в клетушке-конторе величиной с буфет, а ночь в этой дыре провожу.

— Все это звучит очень благонамеренно, Джэн, но ведь я-то тебя знаю. Ты же ни свет ни заря будешь лететь сломя голову к морю, и там гоняться на волнах и плавать, и потом носиться весь день, будто ты готовишься к Олимпийским играм, вместо того чтобы... Эх, да что говорить!..

Джэн медленно повернулась к ней.

— Ты его ненавидишь, да?

— Да, ненавижу, — озлобленно ответила ей Дорин.

Джэн больше не делала вид, что укладывает чемодан. Сдвинув вещи с дивана, она бросилась на него и, положив руки под голову, не отрываясь смотрела в одну точку на потолке. Дорин продолжала закалывать волосы. Сквозь полуопущенные веки она следила за сестрой: она лежала там

такая юная, беззащитная, волосы у нее разметались по подушке, а платьице приподнялось, обнажив ноги.

Черт бы подрал этого Барта Темплтона и всех ему подобных! Обида наполняла сердце Дорин, когда она вспомнила о его нахальстве. Она, как сейчас, видела его лицо в то первое утро, когда он с такой циничной уверенностью следил за встревоженным личиком Джэн, зная наперед, каким будет ее окончательное решение. Ей становилось обидно и горько почти до физического ощущения горечи при мысли о его власти над Джэн. И все же ни к чему отталкивать от себя Джэн. И Дорин старалась говорить спокойно.

— Не то чтоб я ненавидела его лично. Ну, кто же может ненавидеть Барта?

Она остановилась, с осторожностью выбирая и взвешивая слова: ведь что бы она ни сказала теперь, не может причинить никакого вреда Барту, зато может легко поссорить ее с Джэн. Это уж она знала.

— Ненавижу я таких ребят,— пояснила Дорин,— их такая прорва развелась в наши дни. Прямо со школьной скамьи их швырнули в окопы.

— Ну, так не их в том вина.

— А я и не виню их, я просто констатирую факт. У них не было времени научиться чему-нибудь полезному, почувствовать какую-то почву под ногами. И вот сначала они пережили эти ужасные годы в джунглях, потом оказались на несколько лет героями дня и вот теперь вообразили о себе черт знает что.

— Барт три года провел в самом пекле, прежде чем в оккупационные войска попал. А это тебе был не пикничок.

— Да, я знаю. Там был, наверное, настоящий ад, и все же это сейчас не меняет сути дела. Я уверена, что если бы Барт был моим братом, я бы жалела о том, как жизнь с ним обошлась, но сейчас мне просто не до него. Я должна о тебе подумать. Я вовсе не хочу пользоваться своим правом старшей сестры и командовать, хотя мне и взбредет иногда в голову, что мое мнение должно что-нибудь да значить для тебя, потому что я на пять лет старше тебя и потому что, когда мама умерла, ты была еще ребенком.

— О Дор, ты была такой чудесной сестрой, всегда, Дор!..

— Не знаю, во всяком случае, старалась как могла, особенно после того, как погиб отец.

Джэн смотрела в пустоту.

— Скоро пять лет,— прошептала она.— В будущем месяце будет пять лет с того налета на Дарвин. А кажется, будто целая вечность прошла, правда?

— Вечность и есть.— Лицо Дорин помрачнело.— Если измерять время не годами, а событиями. Отца убило японской бомбой, потом погиб Билл, и вот теперь ты связалась с этим Бартом.

Джэн резко отвернулась.

— Джэн,— взмолилась Дорин,— я вовсе не хочу оттолкнуть тебя от него оттого, что вашему счастью завидую или хочу обидеть тебя, нет, Джэн! Но ведь я за тебя отвечаю. И я чувствую, что если б с тобой что-нибудь случилось, отец меня бы винил потом, что я не усмотрела.

— Вот и глупо! Я же не ребенок. А потом, и Барт переменялся. Он стал на полтора года старше. В гражданской жизни он остепенится, и цинизм, которого они там на войне нахватались, пройдет. Я в этом уверена.

Дорин грустно покачала головой.

— Но ведь, если по совести, ты и сама веришь в это не больше моего. Слишком много у него было всяких развлечений и забав, чтоб он теперь остепенился. Слишком много было девочек, чтоб он теперь одной удовлетворился. Да плевать на все это, если бы он напал на такую же девчонку, как он сам, знаешь, из тех, что всем и всякому, так вот ведь нет, надо же ему было найти такую размазню, как ты, со всякими романтическими бреднями насчет любви навек. Глаза б мои на все это не глядели!

Джэн подняла глаза и взглянула на нить паутины, которая, серебрясь, колыхалась в свете лампочки под потолком. Любовь навек... Слова эти не разделялись в ее сознании.

Может, Дорин права, и она, Джэн, просто сопливая девчонка, которая вешается Барту на шею, а Барт просто повеса и забавляется с ней только потому, что пока никого получше нет. А может, Дорин всегда была права, а она всегда не права. Ведь все, что Дорин говорит, правда. Барт никогда не предлагал жениться на ней. Написал ей всего пару писем, когда был в отъезде, да прислал несколько сувениров. Да еще послал записочку, что скоро приедет, и вскользь намекнул, что они, мол, куда-нибудь вместе сходят, пока он будет в отпуске. Да, если все припомнить и взглянуть на это трезво, картина получается грустная.

Все было так, и все же не совсем так. Было еще и другое, нечто внутри нее, чего она толком не понимала сама и чего не могла бы объяснить словами.

Никому, даже сестре, никогда не смогла бы она объяснить, как любовь к Барту преобразила для нее весь мир. Она вспомнила их первую встречу так ясно, будто это было только вчера. Он пришел к ним в контору с приятелем одной из девушек, и они все вместе отправились закусить. Она не хотела идти, потому что всегда чувствовала себя неловко с незнакомыми людьми. Но за тот час, что она сидела в шумном подвальчике кафе, слушая их смех, вглядываясь в лицо Барту, весь мир переменялся для нее. Этого она никогда не смогла бы объяснить Дорин, да и вообще никому на свете. Она и себе не могла этого объяснить. Она только знала, что произошло чудо и что жизнь ее никогда уж больше не будет такой, как прежде.

Она вспыхнула и залилась краской, вспомнив, как тогда утром после своего приезда Барт потянул ее к себе и она сразу же откликнулась на его призыв. «Я слишком податлива,— думала она, прижимаясь к нему в порыве чувства.— Так нельзя, я должна заставить его ждать». Но желание поднималось в ней навстречу его желанию, и в необузданном восторге страсти и обладания растворялась вечность, которая, кажется, протянулась между их расставанием и встречей, между последним прощальным поцелуем и сегодняшним объятием. И не было ничего в мире, кроме Барта, и Барт для нее был целым миром.

И не просто инстинкт самосохранения, а нечто более верное подсказывало ей, что, если даже у Барта и были другие женщины (а рассудок с холодной ясностью говорил ей, что были), все равно и у Барта тоже еще не было ничего подобного. «Любовь навек». Слова были нераздельны, и сердце ее колотилось сильнее, откликаясь на них. Она лежала, глядя на серебристую паутинку, колыхавшуюся в спертом воздухе квартирки.

ГЛАВА 3

1

Западный почтовый, перестукивая, несся в ночи. Грохот его колес глухо отзывался в пустых лугах, пламя топки на мгновение выхватывало из тьмы вереницу телеграфных столбов, пролетающих мимо, головной фонарь паровоза прорезал мрак.

Барт растянулся на полу в проходе, положив под голову ранец и укрывшись шинелью.

Поезд был переполнен, и удобней было путешествовать так, чем сидеть и в полудреме клевать носом в душном, пе-

реполненном вагоне. Ему так часто приходилось спать в проходе, направляясь в лагеря или возвращаясь из лагерей, что это мало беспокоило его. И все же в эту ночь он не мог уснуть. День выдался очень жаркий, и термометр, висевший на веранде отцовской фермы в Нелангалу, показывал в тени сорок один градус. А сколько было на солнце — одному богу известно. Даже после захода солнца в воздухе стояла жара и опаленная земля дышала зноем. Усыпанный звездами купол неба, словно металлический колпак, сдавил землю от горизонта до горизонта, как будто оберегая гнетущий покой безветренной жаркой ночи. Даже ветерок, вызванный движением летящего во тьме поезда, не освежал больше: он плыл по проходу мягким потоком тепла, тяжелым от запахов и пыли.

Барт беспокойно заерзал на своем месте. Ритмический стук колес отдавался в его мозгу.

Бывало, мерный перестук колес баюкал его в пути, пронося через пространство в сотни миль, через местность, знакомую и привычную, как отцовская ферма: вот волнистые склоны родных холмов пестреют лугами, то краснея свежевспаханной землей, то медово золотясь жнивьем в лучах солнца. А дальше по склонам чуть темнеют зеленые поросли кустов курайонга и без конца, без края простирается на запад бурая пустыня. Всю ночь колеса поют ему песни, знакомые еще с детства: в них одинокое эхо опустевших лугов, приглушенный отзвук горных тоннелей и перевалов, громыхающий перестук мостовых пролетов и виадуков и низкое басовитое урчание состава на горных подъемах. И в песню колес, словно журчащий аккомпанемент, вплетались знакомые имена западных городов.

Паровоз, сверкая, несся в ночи, и, когда кочегар подбрасывал угля в топку, дымовой хвост вдруг начинал светиться во тьме, словно трепетный хвост кометы; приглушенный свисток замирал в ночных далях, жалобный и одинокий. Это была песня Западного почтового. Барт садился на него под вечер, когда остатки зари, догорая, еще освещали небо, в нем он просыпался через полсутки, когда поезд, громыхая, спускался с гор к морю.

Поезд вдруг замедлил ход, и стук колес, сменивший свой ритм, пробудил Барта от тяжелого полусна. Он встал и налег грудью на опущенное окно. Теплый пыльный поток воздуха тяжело навалился ему на плечи. Узкая платформа, освещенная тусклым отблеском керосиновых ламп, выделялась оазисом света в ночной тьме. Этот мерцающий свет падал на лица ночного дежурного и охраны. С поезда сошла

женщина с двумя детьми. Барт видел, как младший, спотыкаясь от усталости, тер заспанные глазенки. Потом, вдруг отделившись от тьмы, к ним подошел мужчина.

В тишине раздались приветствия, послышался женский смех, потом голоса смешались со стуком дверей, лязганьем буферов, дребезжащим скрежетом паровоза, набиравшего скорость.

Женский смех застрял в его памяти. Интересно, понравились бы Джэн эти края? Насколько ему было известно, она никогда не покидала побережье. Интересно, смогла бы она приспособиться к жизни в Нелангалу? Он нахмурился, закурил сигарету и привалился спиной к двери, глядя на пробегающие мимо поля, на которые огни поезда отбрасывали узор из света и теней.

Мысль о том, что Джэн могла бы встретиться с его стариками, никогда еще не приходила ему в голову. Впрочем, и сейчас он подумал об этом просто так, не всерьез. Отец и мать так блюдут всяческие условности, такие оба старомодные, что для них привести девушку в дом все равно, что объявить на всю округу о помолвке. Он усмехнулся при мысли об этом. Да, папашу такое сразу из себя выведет. Барт вспомнил, сколько раз, бывало, отец читал ему нотации о порядочности в отношениях с женщиной. «Это непорядочно». Отцовская речь, медленная, тягучая, суровая и в то же время добрая, так и звучала сейчас у Барта в ушах, будто отец стоял рядом с ним, здесь, в поезде.

«Непорядочно так поступать, сынок, совсем непорядочно вести себя так. Сперва вроде за девушкой ходишь как кавалер, а потом уехал по своим делам и забыл о ней совсем, словно ее и не существует».

Такие нотации он читал Барту во время прошлого отпуски. Тогда речь шла о Лэлли, хорошенькой рыжеволосой девчонке с соседней фермы. Бесполезно было доказывать отцу, что девчонки теперь тоже другие, совсем не те, что в его время, скажем, когда ма была девчонкой. Лэлли сама уже знает, что к чему. Ухаживаниям и паре поцелуев теперь не придают такого значения, как когда-то. Но на старика такие разговоры не действовали. Ну, да ладно! Лэлли сама разрешила проблему, выйдя замуж во время его отсутствия. Но он с какой-то грустью представил себе, что сказал бы отец, узнав о Джэн.

Барт с силой притушил сигарету. Господи боже, да если б отец только узнал, что он спал с Джэн! Да он бы небось его под страхом смерти заставил жениться, сам бы устроил свадьбу и стоял бы все время с ружьем у них за

спиной, пока, наконец, его сын не сделал бы Джэн честной женщиной.

По его понятиям, женщина, если только она не была «дурного поведения» (а это означало массу вполне определенных вещей, о которых у них в доме не принято было говорить), — женщина всегда была жертвой. И ему достаточно было бы только взглянуть на Джэн, чтобы сразу уверовать всем своим честным стариковским сердцем, что его сын вел себя, как последний подонок.

Поезд мчал сквозь ночь. На востоке, на фоне неба все выше поднималась темная стена гор, влажный воздух равнины с подъемом становился суше, свежее, и Барт со все большей остротой ощущал, что его старая жизнь остается позади и начинается новая жизнь. Сотканная из бесчисленных воспоминаний, охватывала тоска по родным местам. Вспоминались одинокий печальный крик блеющих овец на рассвете, приглушенный стук их копыт по мягкой пыли, нескончаемо долгие, утомительные трудовые будни от первого рассветного луча в небе до заката, ловля рачков у плотины, когда красная глина хлюпает между пальцами; вспоминалось, как он скакал по лугам, как шел за плугом и ветер бросал в лицо пригоршни пыли, наполняя ноздри запахом свежеспаханной земли. Ему показалось, что, протяни сейчас руку, и дотронешься до взопревшего под сбруей крупы их старой пегой кобылы Дарки, проведешь рукой вдоль ее гривы и почувствуешь ее мягкие губы у себя в ладони.

Там, в Нелангалу, еще оставалась жизнь, которая имела какой-то смысл, цель, в ней был определенный ритм, была устойчивость. От рассвета и до темна, и снова от темна и до рассвета; жизнь была тяжелой, заполненной нелегким трудом, она была однообразной, и все же в ней был смысл. Он готов был биться об заклад, что Джэн не вынесла бы и неделю такой жизни. И теперь, когда поезд поднялся с равнины в горы и прохладный воздух, забираясь под рубашку, начал пощипывать тело, теперь, когда черная стена скал замаячила на фоне светлеющего неба, он понял, что и ему самому никогда не вернуться к этой жизни.

Вот ему двадцать пять, а что у него было в жизни, кроме этих лет, проведенных в армии?

Да, в армии и вправду была стоящая жизнь, до каких-то пределов, конечно. Трудно объяснить кому-нибудь, в чем ее прелесть. Обычно начинаешь вспоминать всякие шуточки насчет девочек и выпивки, но ведь это все только на поверхности. Главное было совсем не в этом. Главным

было товарищество, родившееся за эти долгие месяцы в грязи, поту, среди адского пекла и ужасов джунглей. Товарищество, что тесно связало тебя с ребятами — твоими дружками и сделало тебя чужим целому свету, всем, кто не испытал того же, что вы, кто не познал мерзости войны, кто думает, что все кончилось с последним выстрелом.

Из-за этой вот настоящей, почти отчаянной потребности вновь пережить те дни, вновь познать товарищество тех лет он и дал заманить себя в оккупационные войска. Но это тоже оказалось пустым номером. В жизни опереточных солдатиков, на которую обрекала их служба в оккупационных войсках, не было того, что придавало ценность той жизни и той дружбе — опасности, разделяемой ими среди крови и смерти. Барт швырнул на пол сигарету и раздавил ее каблуком. Баста! С этим все. И вот ему двадцать пять, а он стоит между двух миров, ни один из которых не может принять полностью.

Он снова подумал о Джэн, и сердце его учащенно забилося. Джэн была реальностью, единственной, которую он принимал.

Да, черт побери, ему здорово повезло, что он вернулся домой и Джэн еще ждет его. Ждет — не то слово. Когда говорят «ждет» — это значит речь идет о том, что еще будет, чего не было. А Джэн была с ним, оставалась с ним — вот и все. Джэн не такая, как все. Там, в Кюре, была у него девчонка из американского Красного Креста, хорошенькая, одета здорово — просто картинка, а что до всего прочего, так, о брат, с ней бывало жарко. Но скоро это все кончилось, а как только кончилось, он забыл и больше уж не вспоминал об этом. Во всяком случае, если и вспоминал, то совсем не так, как о Джэн. Были у него и другие. Много было. Всякое бывало, когда вдруг захочется побыть с девушкой. Когда невоготу становится, все они кажутся небесными созданиями. Но с Джэн — тут все было по-другому. Отец-то его сказал бы, что все одно, но хотя он и мудрый старикан, его отец, есть вещи, которых он не понимает да и не поймет никогда. И все же, пока Джэн ждала его, в его неустойчивой жизни было что-то устойчивое, был какой-то смысл.

II

Черный массив Каноболаса выплыл из просторов равнины, и на его гребне ярко засветились огни Оранджа. Барт поежился от холодного ветра и натянул свой зеленый армейский свитер. Он нарочно оставил его при себе, зная,

что душная ночь сменится холодом, как только поезд с равнины поднимется в горы.

Шумная станция была живым островком в ночи. Жизнь здесь была ключом, звучали голоса, гулко отдавался звук шагов на асфальте, возбужденно бегали в поисках мест новые пассажиры, а старые, протирая заспанные глаза, выходили из поезда.

Барт распахнул дверь и выпрыгнул на платформу.

В станционном буфете было полно народу. Позвякивали чашки, пассажиры выкрикивали заказы, дребезжала касса, было жарко, и в воздухе плавал сладковатый пар.

Барт взял чаю и сандвич и стал доливать в толстостенную чашку с чаем молоко, глядя, как оно расплывается там дрожащими волокнистыми кругами, смешиваясь с обжигающе-горячей черной жидкостью. Он сонно проделывал это привычным движением, наверное, уже в тысячный раз за свою жизнь.

Когда он потянулся за сахаром, девушка, стоявшая рядом, улыбнулась ему, извиняясь, и подтолкнула вдоль стойки сахарницу.

— Простите,— сказала она, зевая,— я еще не совсем проснулась.

Барт улыбнулся в ответ.

— Ничего. Все уже успели заснуть, пока мы доехали до этой харчевни.

Он глотнул, и у него дух захватило. Это был настоящий кипяток, который обжег глотку и оставил саднящий след в пищеводе. Барт добавил молока.

— Ух! Горячо!

— Правда? И все-таки лучше пить таким, чем потом сломя голову бежать за поездом.

Чай обжигал глотку, прогоняя ночную сонливость. Девушка смерила его взглядом поверх толстого края чашки. Она явно хотела завязать с ним разговор — это уж точно.

— Когда я схожу с поезда среди ночи, я всегда себя чувствую, будто я на необитаемый остров выброшена.

— А он довольно плотно населен, этот необитаемый остров.

Два пьяных солдата вдруг уткнулись в Барта, с трудом удерживаясь на ногах, и ему пришлось обеими руками придерживать чашку.

— Подумать хорошенько, так ведь можно и в душе носить свой необитаемый остров, правда?

Барт пристально смотрел в ее глаза, такие темные, что зрачков невозможно было отличить. На платформе слы-

шался первый удар колокола. Голос дежурного объявил, что пора садиться на поезд. Барт подхватил девушку под руку, и они поспешили вслед за бегущими пассажирами.

— Скорей, скорей, а то останемся.

На мгновение они остановились.

— Куда теперь?

— Мы здесь — в четвертом вагоне.

— А я в третьем классе, возле паровоза.

Они побежали вдоль состава к ее вагону.

В дверях она остановилась.

— Спасибо за компанию,— она улыбнулась ему.—

А теперь пойду растолкаю мужа, он там храпит без задних ног.

Раздался гудок, потом шипение выпускаемого пара открыло все остальные звуки.

Барт поднял руку, шутливо взял под козырек и, победив вдоль платформы, вскочил на подножку уже уходящего вагона.

Да-а! Забавно это вышло. Встретилась ему девушка среди ночи, поболтала с ним за чашкой чаю, приглянулась ему, а оказывается, у нее там муж «храпит без задних ног». Она нарочно сказала ему об этом. Барт вспомнил ее задорно приподнятые брови, зовущий рот, высокую грудь, обтянутую свитером, и удивился, как ему вообще удастся спать, этому мужу.

III

Чашка чаю окончательно прогнала сон, а встреча с девушкой взволновала его. Он свернул сигарету, закурил и, снова высунувшись в опущенное окно вагона, стал смотреть на расстилающуюся перед ним волнистую равнину. Вышел горбатый месяц, осветив восточную часть неба, и на его фоне стеной вырисовывались дальние отроги Голубых гор. Вскоре темнота стала рассеиваться, как прозрачная завеса, и бледное сияние осветило скошенные луга и одинокие фермы, спящие под серебряным лунным покрывалом; густые тени елей, дубов и раскидистых ив казались неуместной и чуждой роскошью в этом мире бледных теней, какими-то пришельцами в этом спящем пространстве, где только тощие, как скелет, эвкалипты были на месте.

В венце холмов бледно роились огни Батерста. А вскоре появился сам город, и при виде его на Барта нахлынули

горькие воспоминания, травившие душу. Он вспомнил такую же вот ночь, как эта, когда мать, отец, маленькая Нэнси и он до самого утра ждали здесь отправления на фронт восьмой дивизии. Его брат Боб был в этой дивизии, и все они приехали в Батерст, чтобы проститься с Бобом. Конечно, официально отправка дивизии считалась военной тайной, но, пожалуй, родные доброй половины всех солдат дивизии съехались в этот сонный городок, чтобы в последний раз увидеть своих перед разлукой. Барт тогда еще учился в средней школе.

Он вспомнил, как грохотали по дороге огромные военные грузовики, как глухо отдавался топот кованых ботинок на бетонированном шоссе, как с подъездной дороги, ведущей к станции, доносился топот тысяч марширующих ног. Была июньская ночь, как и теперь, но было морозно, и бедняги солдаты дрожали в своей тропической форме. Чтоб хоть немного согреться, они надели свои тонкие дождевики с капюшонами, и в ночи их остроконечные капюшоны, торчавшие поверх поклажи, отбрасывали фантастические тени. Туго натянутые ремешки тропических панам, сдвинутых на затылок, врезались им в щеки.

Барт вспомнил, как тихо плакала в стороне мать, как, надвинув на самые глаза широкополую шляпу, молча и строго застыл его отец, как прижималась к отцовскому рукаву дрожащая Нэнси. Он вспомнил, как Боб выскочил из строя, наспех поцеловал их и торопливо пожал им руки на прощание. Загорелое лицо брата было непривычно суховатым.

Барт поежился от утреннего холода. Он снова ощутил запах петуний из станционного садика и не мог понять, что принесло этот запах — утренний ветер или его воспоминания. Небо было прозрачно-зеленоватым в то утро, и в нем мерцали две бледные ленты комет. Барт вспомнил, как тронулся, наконец, поезд, как он пронзительно, словно петух, прощально загудел: «Ду-ду-ду-ду-ду», как завывли свистки сирены, захлопали петарды, и протяжный крик отъезжающих таял в воздухе, разворачиваясь змеей, пока не пропал вдали. Теперь до них доносилось лишь далекое пыхтение паровоза, преодолевавшего подъем. А потом исчезло и оно, стало тихо-тихо, и только слышно было, как все так же вполголоса плачет в стороне мать.

Барт натянул шинель поверх свитера. Возбуждение улеглось, и им овладело чувство тщеты и безнадежности. Чертова жизнь! Хорошо его отцу — он так и живет, как жил. Он как будто рожден был для этого дела, и оно ему

нравится. Другой жизни он просто не знает, и он получает удовлетворение от одной мысли, что так много потрудился и все еще много трудится для того, чтобы накормить голодающий мир. Пусть уж он этим тешится, все равно как страус, который зарывает голову в песок. И в общем его можно понять, когда он критикует сына за то, что он живет не так, и когда советует ему трудиться для будущего и так расходовать время, силы, энергию, чтоб лучше было в будущем. Все это так, если б у нас было будущее, а будет ли оно? Взять Боба. К нему должно было перейти все хозяйство, и он любил хозяйствовать. Убит. Через тысячи кругов ада прошел, пока смерть над ним не сжалилась и не принесла освобождение. А если б остался жив и вернулся, когда все это улеглось, что бы он в этом хозяйстве нашел? Надрывай кишки всю жизнь и кончишь тем же, чем отец: он ведь все еще надывается, чтобы выплатить по закладной деньги, которые взял, чтоб хоть как-нибудь продержаться во время кризиса. Теперь много кричат о благородной роли фермеров в этой войне. А пройдет несколько лет, еще один кризис начнется, и фермеры снова сползут туда же, где были десять лет назад.

Мысли Барта вернулись к девушке, которую он встретил на станции в Орандже. Интересно, что у нее за муж. Может, если б они встретились еще где-нибудь, их мимолетная встреча к чему-нибудь и привела. При теперешней жизни нельзя время зря терять. Он много видел ребятшек, которые все старались для своего будущего, а им до него и дожить не пришлось. Черт бы с ним со всем, конец один. После того как ты видел Хиросиму и слышал, как уверенно эти янки в оккупационных войсках говорят, что готовятся к третьей мировой,— после этого дураком и растяпой нужно быть, чтобы что-нибудь упускать в жизни. Он вспомнил нежную линию щек той девушки, ее высокую грудь, и у него даже зуд появился в ладони, словно он прикоснулся к этой груди.

Свежий и сладковатый запах скошенной люцерны прилетел с приречных лугов и повис в вагонах поезда, который вдруг замедлил ход, проезжая через Келзо. Барт пристроил ранец поудобнее и растянулся в проходе. Поезд снова набирал скорость. Барт надвинул панаму на глаза, стараясь заслониться от света висевшей над ним лампочки, и заодно отгородиться от одолевавших его воспоминаний и желаний, но они продолжали преследовать его и во сне, вплетаясь незаметно в ритмичную песню колес. Знакомые названия— Уоллерауанг, Литгоу, Содуолз— вторгались в его сон

и, застыв на мгновение где-то между сном и пробуждением, уносились прочь, растворяясь в тяжелом пыхтении паровоза, снова преодолевавшего среди скал крутой подъем на подходе к вершине Маунт Йорк.

ГЛАВА 4

1

Поезд прибыл на Центральный вокзал в половине шестого, и Барт отправился в солдатское общежитие, принял ванну и немного поспал. И вот теперь, гладко побрившись, закусив, надев чистую рубашку и защитные форменные шорты, он ждал Джэн возле пристани Мэнли, наблюдая за потоком людей, пробиравшихся от трамвайной остановки к парому.

Вот, наконец, и Джэн — спешит через дорогу с чемоданчиком в руке. Барт забрал у нее чемодан и легонько коснулся губами ее губ.

— Я тихонечко, чтоб не испортить то, что ты там так здорово для меня нарисовала.

Он залюбовался пленительным спокойствием ее лица, каждый раз поражающим его.

— Прости, Барт, я опоздала. Но я думала, еще времени много осталось и решила дойти пешком. Ненавижу эти трамваи...

— Это да. Но с таким чемоданом! Нелегкая работенка!

Они прошли через турникет и медленно продвигались с толпой, поднимавшейся по трапу на «Кёрл-Кёрл».

Когда они уселись на носу парома, Барт зажег две сигареты — одну для Джэн, другую для себя, и некоторое время они курили в молчании. Утреннее солнце зажгло мерцающим светом воды залива, но дальний берег был скрыт в дымке тумана, рожденной испарениями с поверхности моря, легкой, словно дыхание на поверхности зеркала.

Барт вытянул руку вдоль спинки сиденья и уперся ногами в борт. Джэн притихла рядом с ним, уйдя в себя. «Она всегда так, — думал Барт. — Пока первым не подашь пример, она и будет такая вот сдержанная, напряженная». Он смотрел сбоку на ее профиль, четко вырисовывавшийся на фоне подернутого дымкой синего неба. Пряди ее волос золотило солнце и трепал морской ветерок.

Барт повернулся, чтобы лучше видеть ее, и при этом коснулся рукою ее плеча. От этого прикосновения румянец проступил под ее нежной кожей.

«Она словно ртуть в термометре,— подумал он,— тут же откликается на все, что бы я ни сказал или ни сделал». Он был горд точностью найденного им сравнения.

Лесистые склоны Таронги спускались к самой воде, а там вдали, за выступами мысов Брэдлиз, Барт видел, как огромные валы, проходя между оконечностями мысов Хэдз, замыкающих залив, будоражат его ленивую шелковистую, словно ткань, воду. Он видел, как у северного мыса Норс Хэд волны, разбиваясь, разлетаются, словно от взрыва, тысячью радужных брызг, он слышал глухое эхо из залива — это волны бились там о мыс Мидл Хэд.

«Интересно, о чем она думает?» — подумал Барт, заинтригованный молчанием девушки. Она, кажется, еще ни слова не произнесла с тех пор, как отчалили. Правда, если на то пошло, то и он тоже. Помнится, он читал где-то, что влюбленные могут так хорошо узнать друг друга, что достигнут гармонии, при которой будут понимать друг друга без слов, просто так вот сидя рядом. Ему показалась забавной мысль, что они с Джэн могут начать с обычного ухаживания и прийти к подобной гармонии взаимопонимания, не проходя стадии любви. Ну, это был бы настоящий нокаут для всех психологов сексуальных школ: вдруг очутиться в мирных водах любви, не проходя через бури, с которыми, как они всегда утверждают, неизбежно связано то, что называют любовью. Так или иначе, они знают все эти штучки-дрючки насчет секса — эти парни, что пишут об этом. Ему ни разу не довелось встретить ни одного из них: ни медиков, что могут рассказать тебе о работе твоих желез и гормонов (со всеми диаграммами), ни психологов, что болтают там что-то о работе твоего мозга, ни священников, что молятся о твоей душе.

Трое детишек выскочили на палубу и побежали по ней, скатываясь то в одну, то в другую сторону, каждый раз когда «Кёрл-Кёрл» подбрасывало на волнах. Самый маленький вдруг споткнулся и, потеряв равновесие, стал падать на Джэн. Джэн обхватила его и удержала, а он, подняв к ней лицо, широко улыбнулся, обнажив дырку между передними зубами.

— Извини, тетя.

Джэн ободряюще улыбнулась ему в ответ.

«Когда она улыбается, у нее будто свет внутри вспыхивает», — подумал Барт.

Ребенок, поднявшись, бросился вслед за другими детьми, подпрыгивая, качаясь из стороны в сторону и смеясь от безотчетной отчаянной радости.

— Забавный малец,— Барт посмотрел ему вслед.

— А я люблю, когда у них выпадают передние зубы. Так здорово, когда вот такой малыш улыбается тебе беззубым ртом и вся мордашка у него в веснушках. А ты любишь, Барт?

В его голосе прозвучала горечь:

— Нет, не люблю. И, по-моему, только сумасшедшие могут в такое время, как наше, детей заводить.

Джэн подняла на него взгляд, и лицо ее помрачнело:

— Что же, людям и не жить теперь, раз в мире творится такое? Ведь если очень хочешь чего-нибудь, приходится рисковать.

Барт швырнул за борт пачку из-под сигарет. Рот у него стал жестким, а глаза потемнели.

— Смотря как на это взглянуть. Мне кажется, если все придут к тому же, что я, и перестанут заводить детей, то не будет пушечного мяса для третьей мировой войны.

Барт яростно бросал слова. Джэн смотрела на него, вадумчиво срывая целлофановую обертку с непечатой пачки сигарет. Меж бровями ее легла морщинка. Если б только она могла узнать, что кроется за этой задумчивостью, что находит на него порой. «Будто у него какие-то счеты с жизнью»,— думала она, глядя на глубокие морщины, прорезавшие его щеки от переносицы до самого рта и делавшие его лицо таким неподвижным и суровым, что трудно было представить себе его улыбающимся. Солнечные блики играли на его растрепавшихся волосах, на обветренном лице. «Он выглядит старше своих двадцати пяти»,— думала Джэн, глядя на морщинки, веером расходившиеся от глаз к вискам,— трудно даже поверить, что всего два с половиной года прошло, как они познакомились. Он тогда был настоящий мальчишка. Теперь это мужчина, и даже не очень молодой. Если сказать кому-нибудь, что ему тридцать пять, то могут поверить. Хотела б я знать, что ему пришлось перенести там в джунглях, но он упорно оберегает меня от этого и отшучивается. Только когда выпьет слишком много, проступает наружу эта его боль».

На пароме предупреждающе прозвонил колокол. Потом с нижней палубы послышались крики, паром вздрогнул и стал замедлять скорость. На пути его лежала яхта. Они смотрели, как яхта медленно покачивалась на волнах с бесильно обвисшими из-за внезапно наступившего штиля парусами. Но вот первый порыв норд-оста взъерошил море и надул паруса, судно дерзко и грациозно тронулось, уступив место парому, который набрал скорость и поплыл даль-

ше. Джэн стояла у борта, глядя вперед, через воды залива туда, где деревья, темнея, спускались к побережью Форти Баскетс Бич и золотая полоса пляжа извивалась на темно-зеленом фоне олив. Вдруг она почувствовала сзади прикосновение Барта. Она продолжала смотреть на дальний берег, и грустное настроение Барта, объяснения которому она не находила, угнетало ее. Потом его рука обхватила ее за плечи, и тяжесть спала с ее души, когда она услышала над ухом его шепот:

— Подумать только: целых десять дней будем вместе! Здорово, а?

II

Дни в лачуге на взморье бежали счастливой чередой. На рассвете море сверкало, как перламутр. Сороки наполняли утро веселым золотым верещанием. Дикае утки, вспорхнув, уносились прочь, взметая над водой радугу сверкающих капель, и, когда от них оставались лишь едва заметные точки на горизонте, их крик еще долго отдавался жалобным эхом над гладью озера.

Потом долгие знойные дни, дни, когда цикады без умолку верещали на деревьях.

А потом ночная тьма и ошеломляющее, словно удар, прикосновение холодной воды, когда, спустившись с берега, они бродили по отмелям с фонарем и сетками для креветок.

Ночная тьма, когда трясогузки трещат в низкорослых кустах за домом: «Крошка-милашка», «Крошка-милашка».

Долгие часы забытья, когда в нем волной поднималось желание и он чувствовал, как в ней поднимается ответная волна, и они приникали друг к другу, упиваясь своей близостью с изумлением и восторгом. И тогда исчезали мысли о прошлом и будущем. И оставалось лишь настоящее — и оно было богаче и сладостнее, чем все, что испытывал Барт и о чем могла мечтать Джэн.

III

«К чему желать будущего, когда настоящее приносит столько радости?» — спрашивал себя Барт, сидя на веслах. Они плыли меж берегов речушки, впадавшей в верхнее озеро. Джэн с рулевым веслом в руке растянулась на заднем сиденье, свесив ноги за борт лодки. Надо ее вот такой сфотографировать — загорелую, в этом коротеньком желтом купальнике; волосы ее развевались на ветру, и она казалась Барту воплощением самого лета.

35

Он поднял глаза и поймал ее взгляд.

— О чем ты думал? Пенни за отгадку!..

— У, стоит куда большего! Ну, да ладно, чтоб показать тебе, что я малый щедрый, я тебе все задаром расскажу. Просто я думал, какая ты хитрая бестия.

— Еще бы!

— Когда я тебя в первый раз встретил, я подумал, что тебя ветром сдуть может. А когда мы стали в первый раз гоняться на волнах прибоа, ты взбиралась на многие, которые и я пропускал¹.

— Ах, вот что! Ну, это не моя заслуга. Мы жили на побережье, когда я еще ребенком была. А что еще было делать в маленьком городке на побережье? Помню, если я в тихую погоду не всегда гонки выигрывала, то уж в сильный прибой всегда брала верх. А одно из первых воспоминаний детства — это как я плыла в волнах прибоа на отцовской спине.

— Он, наверное, был парень стоящий.

— Он? Да.— Джэн помолчала.— Наш дом стоял на холме над берегом, и, бывало, песок с пляжа заносило к нам на веранду. Я хорошо помню, как мы сбегали по утрам с песчаных холмов к океану. Когда я была маленькая, мне казалось, что это самые большие горы на свете, и трава на них росла такая жесткая, метелочкой. И вот я сбегала по ним и плюх — прямо в прибой. Тетя ругала меня, что я столько времени на море провожу, а отец говорил, что я еще успею повзрослеть.

— Ну и повзрослела?

— Только когда тебя встретила. Знаешь, в те годы, когда все росли и становились взрослыми, я уходила на берег и там прыгала в волнах, читала, мечтала.

— Да, меня это тоже удивило при первой встрече.

— Что?

— Да то, сколько ты успела прочесть.

— Мне повезло,— проговорила Джэн задумчиво,— отец очень любил читать и меня приучил тоже.

Барт шлепнул веслом по плавающему листу.

— А о чем ты мечтала?

— Наверное, о тебе, так мне теперь кажется.

¹ Здесь и в других местах имеется в виду серфинг — национальный австралийский вид плавания, требующий большой сноровки и смелости. Австралийский серфинг заключается в том, что пловцы, состязаясь в скорости, держатся на огромных быстро мчащихся волнах океанского прибоа.

Барт встретился взглядом с ее глазами, обезоруживающе серьезно смотревшими с сияющего улыбкой лица. Он смущенно улыбнулся и наклонил голову:

— Благодарю вас, леди. А я сразу влюбился, когда увидел, как ты прыгнула на огромную волну. Это уж точно. Именно такой я представлял себе современную русалку.

— Русалку без хвоста.

Оба радостно рассмеялись.

— Должен сказать, я несколько видоизменил это первое представление, когда ты обогнала меня на трехсотметровой дистанции от пляжа до палатки.

— Ну вот еще, брось! — Джэн изобразила полную застенчивость. — Да ты из меня какую-то амазонку делаешь.

— Ни у одной амазонки никогда не было ни такой чудной мордашки, ни такой фигуры, — сказал Барт с шутливым поклоном. — Ну, да ладно, хватит с вас комплиментов.

Он склонился к веслам.

— Сейчас надо подыскать местечко для завтрака и посмотреть, что ты там насовала в этот пузатый мешок, на который ты так жадно поглядываешь.

— Вот тебе и на! У самого-то уже битых полчаса слюнки текут при одном взгляде на мешок.

— Так ведь я и потрудился.

— Ох, уж это мне мужское бахвальство! А ведь три четверти пути мне пришлось лодку тянуть.

— Нет, все-таки голод мой вызван только переутомлением, — упорствовал Барт.

— Ерунда! Вспомни, какой ты сегодня завтрак умял.

— Я и полюбил тебя за то, что ты такая чудная стряпуха.

— Вот те и на! Только за это?

— И еще за многое!

Барт улыбнулся, заметив, как разливается румянец под ее загорелой кожей.

— Ну, пора вылезать! Вот хорошее местечко.

Барт привязал лодку к кусту шиоки, склонившемуся над водой. Джэн с мешком на плече выскочила на берег.

— Ну-ка, побыстрей разведи костер, и я тебе в два счета приготовлю завтрак.

Вскоре запах горящих эвкалиптовых листьев наполнил прогалину, и струйка дыма лениво поползла по краю густой поросли. Барт наполнил водой закопченный котелок и пристроил его у огня, а Джэн, уложив отбивные на железной решетке, установила ее на очаге, который Барт соорудил из камней. И уже через несколько минут жир закапал в огонь,

а мясо дразняще зашипело. Аппетитный запах отбивных, зажаренных на решетке, смешался с запахом горящих эвкалиптовых листьев.

Джэн намазала маслом толстые ломти свежего хлеба, нарезала ломтиками помидоры, хрустящий салат. Барт поднял крышку с котелка, добавил чаю и снова поставил его на огонь, чтобы он еще докипел.

Потом они растянулись в тени банксии на жесткой прохладной траве. Барт разлил чай по чашкам и радостно вздохнул. Да, обыкновенный пикник с Джэн лучше, чем роскошный ужин с кем бы то ни было. Вслух же он произнес:

— Что ж, может, амброзия и была вкуснее, но я б с богами не махнулся.

Джэн вгрызлась зубами в отбивную и от удовольствия даже глаза зажмурила.

— Я тоже.

IV

Они брели по мелководью вдоль озерного берега. Джэн несла фонарь, а Барт сетку для креветок. Вода сверкала в кругу света, отбрасываемом фонарем, а дальше, за кругом, расстилалась тьма, такая густая и черная, что единственная звезда, сиявшая сегодня на небе, чертила дорожку через все озеро.

У противоположного берега сверкали фонари других полночников, и голоса их, плывшие над водой, казались какими-то нездешними, нереальными...

— Сюда! Сюда! Барт! — Джэн возбужденно замахала фонарем. — Здесь их миллион...

Джэн поднесла фонарь к самой воде, и Барт мог разглядеть теперь выхваченную светом, переливавшуюся в лучах фонаря стайку креветок, их прозрачные сверкающие тела, их выпученные и блестящие, словно бусинки, глаза.

— Сюда! Скорей!

Барт погрузил сетку в воду и почувствовал, как она потяжелела. Он потянул ее кверху, и целый дождь брызг, засверкав в лучах фонаря, посыпался в воду, а внутри сети кишели креветки.

С гордостью они осмотрели улов, потом повернули к берегу и пошли назад, к своей лачуге, вдоль берега, у которого фосфорически мерцали тихие волны и замирали с мерным шорохом в прибрежных зарослях тростника.

Прошло уже девять из десяти дней, и оставшееся время было для Джэн таким драгоценным, что она измеряла его уже не днями, а часами и минутами.

— Такого отдыха у меня в жизни не было,— уверял ее Барт однажды утром.

Они возвращались с утреннего купания, вода капала с них, и на всем пути они оставляли за собой влажные следы на песке. Он прижался к ней мокрым лицом, еще не успевшим просохнуть после последнего прыжка в воду, с его волос на нее градом посыпались капли.

— Да, так здорово я еще, наверно, никогда не отдыхал,— продолжал он.— Этакое нам, видно, боги один раз в жизни даруют.

Усталость, которая охватывала ее временами, проникая до самых костей, снова вернулась сегодня к Джэн, и даже утреннее купание в озере не могло прогнать ее. Ничто не могло отвлечь ее от мрачных мыслей о предстоящем расставании.

В тот вечер она увидела, как пара черных лебедей камнем упала с неба и поплыла над гладью озера мрачной четверкой — два настоящих и два рожденных зеркалом вод; потом они вдруг взметнулись вверх и, прошелестев шелковистыми крыльями, умчались ввысь, пронзая тишину вечера жалобным, дрожащим криком. И, глядя, как взметнулись ввысь огромные птицы, оставляя за собой на воде пенный след, Джэн почувствовала, что в душу ей запала колдовская красота этого вечера. С первой же их ночи здесь она отстранила от себя прежнее чувство неуверенности в их отношениях, но теперь, когда часы неумолимо отстукивали тающие минуты отдыха, она не могла больше обороняться от него. С прежней мучительностью проснулось в ней сознание того, как, в сущности, непрочны их отношения, и пережитое здесь счастье делало эту мысль еще невыносимее. О разлуке их нельзя было думать теперь, как о простом расставании. Их жизни настолько переплелись, что разлучить их теперь значило резать по живому.

В тот вечер прилив поднялся высоко; сидя за ужином на веранде, они слышали, как вода хлупает о сваи лачуги и мерно стучит на приколе старая лодка.

— Такого ужина я не едал за последние полтора года,— сказал Барт, выливая в стакан остатки пива.— Жаре-

ные лешки, креветки собственного улова и пиво — лучше не придумаешь.

Джэн, улыбнувшись, лениво потянулась на кушетке, к которой был придвинут стол.

— Божественное завершение божественного отпуска.

— Да, такие десять дней могут на всю жизнь сделать жителем побережья, одним из тех бродяг, что слоняются по берегу, собирая всякую всячину, принесенную морем. А жаль, что Чилла сдал уже эту лачугу, мы могли бы остаться здесь до конца моего отпуска.

Он подошел к перилам веранды и поглядел вдаль, туда, где за темной гладью озера поднимались темные очертания противоположного берега. Сердце Джэн радостно забилося при этих словах, но потом прежняя грусть овладела ею. Иногда он говорил так, но какое значение придавал он этим словам?

Стояла тишина, и слышался лишь плеск воды о сваи, мерное постукивание лодки о бревна причала да тихий шепот ветерка в низкорослых кустах шиоки у самой воды. Порыв ветра растрепал его волосы; в лампе на столе взметнулось и сникло пламя, оставив темный след сажи на стекле.

Барт глубоко вдохнул воздух, напоенный тысячью запахов, пробужденных ночью. Озерная гладь поблескивала под звездным небом, а вдоль берега озера колыхались фонари: это были ловцы креветок. Барт обернулся к Джэн, чтобы окликнуть ее, и увидел, что она уже спит, подперев рукой раскрасневшую щеку.

Барт подошел к кушетке и взглянул на Джэн. В свете лампы лицо ее показалось ему утомленным; несмотря на яркий румянец, под глазами темнели круги.

Барт почувствовал себя уязвленным, почти обиженным из-за того, что она уснула вот так в их последнюю ночь. Будто почувствовав, что он рядом, Джэн открыла глаза, и, когда он увидел любовь, блеснувшую в ее глазах, прежде чем она успела, как обычно, скрыть свои чувства, гнев его растаял. Он опустился рядом с ней на кушетку.

— Прости,— Джэн виновато улынулась,— я, кажется, уснула.

Барт взял ее руки в свои.

— Ах ты, красавица моя! — произнес он шутивно-жалобным тоном, целуя кончики ее пальцев.— Хорошенькое дело — заснуть в нашу последнюю ночь.

— Я, наверно, перекупалась сегодня утром.

Барт нежно покусал ее за большой палец.

— А теперь, чтоб показать, какой у меня прекрасный характер, я отнесу тебя в постель.

— А посуда как же?

— И чтоб окончательно убить тебя своим великодушием, я еще и посуду сам вымою. Но смотри, чтоб это не вошло в систему.

Он поднял ее, обняв за плечи и под колени.

— Ух,— застонал он,— на вид ты словно пушинка, а весишь небось не меньше тонны.

— Даже две,— прошептала она, прижавшись губами к его шее.

Он осторожно положил ее на кровать и расстегнул ей пуговицы на блузке. Потом вынул из-под подушки и передал ей пижаму. Тело ее золотилось в мерцающем свете лампы, стоявшей на веранде, и, глядя на нее, Барт проворчал:

— Нужно издать закон, запрещающий таким, как ты, детка, пижаму носить.

Барт накрыл ее простыней и распустил противомоскитную сетку, прикрепленную к спинке кровати.

Псдавив в себе нарастающее желание, он легонько поцеловал ее в губы.

— Ну, а теперь, детка, засыпай как можно быстрее.

— Барт, мне так жаль!

— Ты еще не так пожалеешь, если я закончу уборку и увижу, что ты тут все еще не спишь.

Барт плотно подоткнул вокруг нее противомоскитную сетку и вышел, притворив за собой дверь.

Он собрал со стола посуду и перемыл ее в их примитивной кухоньке. Потом он собрал раковины креветок и другие отбросы, выбросил их в старый бачок из-под масла, служивший им вместо печурки для сжигания мусора, подложил туда сухих веточек эвкалипта. Потом он долго еще сидел, глядя, как пляшущее пламя, отбрасывая свет за террасу, выхватывает из тьмы ветви эвкалипта, и на фоне темного неба вдруг возникают их очертания. Наконец все сгорело, и в ночной тиши и мраке остались лишь колышущиеся фонари ловцов креветок на том берегу, случайный всплеск рыбы в озере да жалобный шепот деревьев.

Он тоже устал от долгого дня, проведенного на солнце, от купания в озере и в волнах прибоя, но тяга к Джэн была сильнее этой усталости, и потому он боялся сейчас лечь с ней рядом и лежать без сна, мучительно ощущая ее дразнящее дыхание, ее близость. Нет, лучше уж лечь тут, на влажной от росы траве, и чувствовать, как оседает солоно-

ватая влага на волосах, время от времени шлепать себя по голым рукам и ногам, отгоняя жужжащих moskitov.

Звезды опустились к горизонту, и оконечность Южного Креста скрылась за холмом. Наконец он решился на цыпочках прокрасться в дом и долго стоял в спальне, пока глаза не привыкли к темноте и он не стал различать под москитную сетку смутные очертания ее тела. Он тихонечко ляжет рядом, не притрагиваясь к ней. Сама ее близость успокоит его.

Потом он снял одежду и постоял немного у открытой двери, наслаждаясь прикосновением ветерка к обнаженному телу. Он осторожно нащупал москитную сетку и юркнул под нее. Матрас прогнулся под его тяжестью. Джэн встрепенулась и произнесла его имя. Барт лежал молча, стараясь сдерживать дыхание, чтобы не разбудить ее.

II

Он проснулся, потрясенный гнетущим ночным кошмаром, и теперь лежал, напряженно всматриваясь в ночь сквозь бледный прямоугольник распахнутой двери. Он ничего не мог вспомнить из своего сна, кроме того, что там был Тоби.

За перилами веранды можно было разглядеть лишь черные края холмов да узкий месяц, в бледном свете которого проступали темные силуэты деревьев. Джэн лежала в изгибе его руки, положив голову ему на плечо. Ее волосы щекали ему лицо, всем своим телом от плеча до ступни он ощущал теплое прикосновение ее гибкого тела. Дыхание ее было легким и частым. Он чувствовал у своей груди биение ее сердца, быстрого и трепетного, как птица. При мысли, что это их последняя ночь, он почувствовал грусть. Завтра Джэн вернется на работу, а он окунется в бессмысленную сутолоку, на которую, как правило, обрекает тебя отпуск, где бы ты его ни проводил.

Как разрозненные куски разорванной киноленты, в памяти его промелькнули сценки из времен его прежних отпусков. Как они «давали дрозда» с Чиллой и Тоби в Таунсвилле, и обоих их забрала военная полиция, и они лезли драться пьяные.

И еще была потасовка с тремя янки из-за девочек, когда Чиллу уволокли прочь, а он продолжал кричать и ругаться, и им пришлось затащить его в темное парадное и держать там, зажав ему рот, пока не пройдет военная полиция.

И еще как сразу после Финшафена они пошли в первый же вечер в увольнение в Брисбене и так нализались пива, что едва стояли на ногах и едва добрались до одного из разрешенных полицией домов на темной улице и стали там в очередь. Он вспомнил, как они стояли там в очереди под дождем. Их совсем развезло, и они промочили насквозь, и все там в очереди отпускали непристойные шуточки. А больше всего ему запомнилось, как он вдруг сразу протрезвел, выбравшись из постели, где проститутка уже быстро совершала привычные приготовления к приему следующего посетителя.

Здесь, в эту ночь на взморье, он почти забыл, что существует такая вещь, как бордели, что бывали времена, когда он специально бродил по городу в поисках их синего фонаря или просто женщины, которую покупают так же бездушно и спокойно, как покупают бутылку пива.

Он вспомнил последний вечер перед отправкой в Тэрэ-кэн, и как Пит Уорбэтон все хвастался, что подцепил девушку из общества, с которой он познакомился в местной столовке, и какие несчастные у него потом были глаза, когда он обнаружил, что подцепил еще и кое-что другое и что за эти безумные дни и еще более безумные ночи ему пришлось расплачиваться «лошадиной дозой» и из-за этого его сразу вышибли из их отряда.

Луна опустилась за холм. В дверном просвете теперь был только кусок бледного неба. Тараторка-трясогузка то трещала, то умолкала за домом, москиты злобно жужжали, ударяясь о сетку.

Были и другие картины прошлого, которые ему хотелось бы вычеркнуть из памяти. Но они возникали перед ним с непреодолимой и ужасающей ясностью. Он вспомнил, как они сидели, скрючившись, в грязном окопчике в Финшафене, не решаясь произнести ни звука, потому что кругом в джунглях были япошки и они все время окликали их своими монотонными певучими голосами, понося их или суля им то одно, то другое в надежде выманить их из окопа. Под конец вдруг не выдержал Тоби. Он схватил винтовку и, вспрыгнув на бруствер, стал выкрикивать ругательства, разнося японцев, затаившихся в джунглях. Потом забормотал пулемет, и Тоби свалился прямо на них, забрызгав их кровью. У него был оторван затылок, и он лежал там в окопе, уставившись на них глазами, в которых больше не оставалось ничего человеческого. Трудно себе представить, что человек может жить, когда у него оторвано полчерепа, но Тоби был жив и, глядя на них отчаянным, страдающим

взглядом, он все шептал, захлебываясь и хрипя, и умолял всадить в него пулю. У них не оставалось морфия — весь извели, когда Элф получил пулю в живот. А теперь Элф был мертв, и от его скрюченного тела несло невыразимым зловонием, от которого некуда было спрятаться.

И они не могли пристрелить Тоби, потому что тогда япошки узнали бы, что в окопе есть еще люди. Так и пришлось им смотреть на его мучения, пока тело его не затихло, а глаза не остекленели. Воспоминание об этом до сих пор действовало на Барта как удар электрического тока. И шепот Тоби: «О господи боже, Барт, избавь же меня от этого...» И его умоляющие глаза, что постепенно тускнели, как глаза умирающего кролика, и подергивались пленкой, пока не застыли. Тогда им хотелось кричать от радости, что все это, наконец, кончилось.

Барт крепче обнял Джэн. Джэн — вот что может защитить, загородить тебя от мыслей об Элфе и Тоби, от воспоминаний о джунглях, об одежде, пахнувшей кровью и потом. Джэн может помочь ему вытравить воспоминания о тех других женщинах, о случайных встречах во время отпусков и увольнений, помочь ему обрести чувство надежности, постоянства, впервые обрести покой.

Ему вспомнилось, как он и еще несколько парней затеяли страшную драку в Ивакуни совсем незадолго перед отпуском. Он отогнал прочь это воспоминание. Нет, он не хочет сейчас думать об этом. Ни о чем, кроме того, что Джэн с ним.

«Если б я всегда мог возвращаться к ней, — подумал Барт, — тогда жизнь приобрела бы какое-то значение. Но такая девушка, как Джэн, ведь не станет ждать вечно — тем более и неизвестно, чего ей можно ждать. Нет, для этого она слишком хороша собой, ей надоест ожидание. Появятся другие парни...» Его рука крепче обхватила ее, и она прижалась к нему, зашептав ему куда-то в щеку ласковые слова. А тогда почему не привязать ее к себе? Это очень просто. Жениться на ней. Даже помолвки было б достаточно. Но что-то возмущалось в нем при одной мысли о том, чтобы связать себя с кем-то. Нет, парню нужна осторожность. Легко взвалить на себя брачные обязательства, да только выпутаться из них потом совсем нелегко, когда обнаружишь, что сделал ошибку.

И, будто прочитав его мысли, Джэн вдруг стала жесткой, неподатливой, он почувствовал, как она уперлась рукой ему в грудь, как бы пытаясь оттолкнуть его. Он притянул ее снова, но она не поддавалась и вырвалась от него. Дыхание

ее стало резким, хриплым. Барт испугался, услышав, с каким трудом она дышит. Он сел и пошарил под подушкой, ища фонарик. Джэн метнулась к нему, и кровь прилила к ее лицу, искаженному от страха. Кашель сотрясал ее тело. Она выхватила платок и поднесла к губам. Когда, наконец, она отняла платок ото рта, на ткани были пятна крови.

Джэн снова опустила руку на плечо. Барт почувствовал, как дыхание ее стало медленней и спокойней. Рука ее больше не сжимала так отчаянно его руку.

— Принести воды? — спросил Барт. Во рту у него самого пересохло. Джэн кивнула.

Он осторожно прислонил ее к подушкам и выпрыгнул из постели, но когда он попытался двинуться в кухню, то обнаружил, что колени у него дрожат. Барт схватился за дверной косяк и простоял так с минуту, жадно, словно целебный эликсир, вдыхая сырой, прохладный воздух, поднимавшийся от озера.

III

На рассвете Барт украдкой выскользнул из комнаты. Когда через некоторое время он на цыпочках вошел, чтобы посмотреть, спит ли Джэн, она улыбнулась ему, не поднимая головы с подушки. Барт присел на краешек кровати. Было ясное утро, солнечные блики плясали на поверхности озера, и Джэн была точно такая же, как всегда. Барту даже не верилось, что этой ночью он пережил панический страх, от которого у него дрожали колени и казалось, будто что-то оборвалось внутри.

— Я тебе чашку чаю принес, — сказал он, нежно целуя Джэн.

— Чудно!

Он взбил ей подушки и теперь смотрел, как она маленькими глотками пьет чай.

— Ну как ты себя чувствуешь?

— Превосходно, милый. Мне ужасно стыдно, что я такой переполох подняла.

— Пустяки, — он отмахнулся, — я вот думаю, с чего бы это... это...

Джэн пожала плечами.

— А может, ты рыбью косточку проглотила за ужином? От леда. Я помню один малый как-то косточку проглотил и проткнул себе сосудик в горле. Он тогда перетрухал страшно.

Джэн просияла.

— Так и есть, наверно. Я теперь даже вспоминаю, как я почувствовала, что у меня там косточка, и проглотила огромный кусище хлеба, чтоб ее протолкнуть.

«Ну конечно же, это была косточка. Это наверняка была косточка».

Барт радостно улыбнулся, и у него будто гора с плеч свалилась.

— Во всяком случае, когда в город вернемся, добудем тебе лекаря, чтоб он осмотрел горло.

— Ну да, ходить к врачу из-за какой-то рыбьей косточки? Нет уж. Да она у меня уже небось ночью выскочила, когда я кашляла.

— Все равно надо показаться лекарю,— заявил Барт, напуская на себя серьезность.

Джэн отодвинула чашку и села, обвив руками колени.

— Во сколько мы уезжаем?

— Есть автобус после обеда. Подходит?

— Да, в самый раз. Я хочу еще успеть обед приготовить для Дорин, к ее приходу. Ну, а сейчас надо вставать и начинать уборку.

Но когда она приподнялась, Барт с хозяйским видом снова опустил ее на подушку.

— Нет, уж ты лежи, родненькая, пока я тебе не разрешу встать, а в доме я сам приберу. И вообще мне начинает казаться, что ты вчера ночью все нарочно подстроила, чтоб от сегодняшней уборки избавиться, верно?

— Вот мошенник! — Джэн капризно наморщила носик. — Догадался, а я-то думала, что я все так хитро разыграла.

Лежа на спине, Джэн сквозь дверной проем видела, как над синей полоской неба плывут ватные облака. Она несколько раз глотнула слюну, чтоб убедиться, что горло у нее не болит. Боли не было, чувствовала она себя отлично. Конечно же, это была рыбья косточка. Она слышала, как Барт двигается там по веранде, насвистывая во время работы.

Джэн натянула халат поверх пижамы и пошла на кухню к Барту, но он был на улице — развешивал на веревке кухонные полотенца. И когда она видела его там, веснушчатого, покрасневшегося, в шортах и рубашке защитного цвета, глаза у нее затуманились, и, прислонившись к двери, она вдруг начала смеяться от охватившего ее острого ощущения счастья и смеялась, пока он не остановил ее смех поцелуем.

Они смотрели с верхнего этажа автобуса на сверкающее море, взбудораженное норд-вестом. Джэн казалось, что море в этот день было синее, чем всегда, пенные гребни волн белее, а пески пляжей Наррабин и Коларой золотились еще нежнее, чем прежде. Гладь лагуны Ди Уай, пестреющая чайками, чьи крылья сверкали неправдоподобной белизной, раскинулась, словно приют мира и тишины среди песчаных холмов берега. Стройные силуэты норфолкских сосен за пляжем Мэнли темнели на фоне рябившего белыми барашками неба. В этом мире, полном жизни и красок, в мире, где, поминутно срываясь у них с губ, журчал смех, просто невозможно было грустить и не думать о счастье.

«Ну и ну,— говорил себе Барт.— И не думал, что могу так сильно перепугаться, даже не подозревал, что она так много значит для меня. Да и не знал, что вообще могу относиться к кому-нибудь так».

«Чертовски все же мне повезло, что у меня есть Джэн,— сказал он себе.— С ней как-то уверенней себя в жизни чувствуешь, больше веришь в самого себя. Может быть, наконец, это настоящее».

Он усмехнулся про себя, представив, как, ткнув его в бок, закричал бы Чилла: «Ха! Ребя, гляньте-ка сюда! Барт Темплтон влип наконец!»

Барт устроился поудобнее на сиденье и тихонько потерся ладонью о плечо Джэн. Она улыбнулась, не поворачивая головы, и какое-то совсем новое чувство переполнило его сердце: если бы сейчас не было так много народу в автобусе, он бы непременно нагнулся и расцеловал ее.

ГЛАВА 6

I

Доктор осмотрел ей горло.

— У вас все в порядке.

Глядя на его величественную голову с копной стальных волос, на широкие плечи, на сильные белые руки, Джэн чувствовала облегчение. Он лечил ее, когда у нее был плеврит, и присутствие его всегда действовало на нее одинаково. Стоило только ему войти в комнату, как его решительная быстрая походка, его непринужденная, простая манера обращения сразу же успокаивали ее. Вот и теперь тоже—

ей сразу стало легче. Он взглянул на нее, в его больших, слегка навывкате глазах вспыхнул огонек, и одна щетинистая пушистая бровь недоуменно приподнялась:

— Совершенно не о чем беспокоиться, дорогая мисс Блейкли,— он улыбнулся своей обычной улыбкой,— вы отлично выглядите. Никаких следов от того плеврита не осталось. Надо сказать, вы легко отделались, противная была штука. Я боялся, что нам придется со временем откачать немного жидкости, но в результате лечения, вероятно, все рассосалось. Теперь вам нужно только побольше физических упражнений, бывайте почаще на воздухе и — как можно больше солнца, хотя, судя по вашему загару, вы так и поступаете.

Джэн кивнула. Глаза ее радостно сияли. Как замечательно, что она избавилась от страха, который охватывал ее каждый раз, когда она вспоминала о кровавых пятнах на платке. Она не решалась спросить его об этом, а когда, наконец, решилась, голос ее дрожал.

— А кровь, доктор?..

— Выкиньте это из головы, дорогая моя. Вероятно, вы проглотили рыбью косточку — вот и все.

Он отечески похлопал ее по плечу.

— Ну, и переживания тоже, я знаю.

Он возвышался над ней, большой, добродушный, сердечный, и в глазах его сверкали доверительные искорки.

— Признайтесь, ведь вы волновались, когда ваш молодой человек был в отъезде? Правда ведь?

Джэн прикусила губу. Потом вдруг часто заморгала и отвернулась. Он засмеялся.

— Ну, ну, теперь он вернулся, и все пойдет на лад. Надеюсь, в скором времени услышать о вашей свадьбе. Для вас это будет самое полезное.

Они двинулись к дверям, и голос его звучал теперь с отеческой лаской:

— Знаете, у вас, девушек, за то время, что ваши молодые люди были в армии, нервы немножко порасшатались. Но теперь-то уж все пойдет на лад.

Он протянул ей конверт.

— Возьмите рецепт и закажите это в аптеке. Это поможет вам избавиться от кашля, что беспокоит вас по утрам.

Он держал ее руку, и она чувствовала, как ей передаются его спокойствие и уверенность. Она положила на столик секретарши десять шиллингов шесть пенсов и спусти-

лась по ступенькам на улицу с таким чувством, будто входит в новую жизнь.

II

Облака низко стлались над многоэтажными зданиями, нависая над ними сплошным ватным куполом бледно-серого цвета. Теплый летний ливень падал такой плотной стеной, что, казалось, протяни руку и наткнешься на эту стену. Джэн остановилась на минутку под платаном, укрывшись возле его пестрого, точно леопардова шкура, ствола и прислушивалась к стуку капель по листьям. Она переступала с ноги на ногу, будто танцуя в такт воображаемой музыки. Заключительные слова доктора благословением звучали в ее ушах. Она даже не знала как следует, чего она боялась, но самые разнообразные, неясные и невысказанные страхи теснились в ее мозгу. Слова доктора рассеяли все страхи, а его добродушная насмешка над нервными женщинами только еще раз показала ей, какими нелепыми были эти страхи.

И вот теперь она ждала троллейбуса, чтобы отправиться в город, встретиться там с Бартом и пойти с ним обедать. Но она была сейчас так возбуждена, что у нее не хватало терпения стоять на остановке и ждать.

Она взглянула на часы и подумала, что у нее хватит времени дойти через Вулумулу пешком. Застегнув плащ до самой шеи, она повязала на голову шарфик и направилась размашистым шагом вдоль аллеи к ступенькам, замыкающим улицу Виктория. Из старинных садов, из-за литых железных решеток доносился запах сырой земли. Никогда она не видела таких ярко-желтых гераней и настурций, как сегодня. Длинный склон Кэфидрал-стрит открывался перед ней от Вулумулу до собора Сейнт Мери Кэфидрал; тесные ряды домов, плавая в парах теплого влажного воздуха, казалось, слились в одну линию, а огромное дерево среди улицы возвышалось островом сверкающей листвы, в которую, словно драгоценные камни, были вправлены нежные розоватые бутоны.

III

Возбуждение ее усилилось, когда она дошла до вершины холма, где ее ожидал Барт. Он увидел ее издали. Ее фигура в красном дождевом плаще ярким пятном передвигалась на фоне мрачного песчаника собора Сейнт Мери и

49

увенчанного башенками здания Реджистри Офис, вздымавшегося за собором. Барт был потрясен грацией ее движений и ее красотой, особенно ярко блиставшей в этот тусклый день. «Вот оно, Барт, мой мальчик,— сказал он себе,— вот оно, настоящее».

Она подошла, и глаза ее при виде него ласково засветились, щеки покраснелись от быстрого подъема, дыхание легко и часто вырывалось из полураскрытых губ.

— Привет,— сказал он,— ты рано.

Она улыбнулась.

«Я себя выдал,— подумал он.— Она догадалась, что я уже четверть часа здесь дожидаюсь». И он смущенно улыбнулся, как мальчишка, пойманный на месте преступления.

— Была у лекаря?

Она кивнула.

— Ну, можно не спрашивать, что он сказал.

Улыбка не сходила с ее лица.

— Ты выглядишь такой здоровой, что я не удивился бы, если б он с тебя двойную плату потребовал. А что же он все-таки сказал?

— То, что мы и думали. Это была рыба костька. И еще он сказал, что вообще я кровь с молоком.

— Ну, открыл Америку! — Барт взял ее под руку. — А еще что?

— Спортом надо побольше заниматься, побольше на солнце бывать и есть вволю.

— Ну что ж, мне это нравится, особенно по части еды. Так куда мы отправимся?

— Куда хочешь.

— А как насчет Гарденз? Там в парке есть закусочная, и это единственное место в городе, где за тобой не выстраивается очередь и голодные обжоры не дышат тебе в ватылок, пока ты ешь.

— Ну и прекрасно!

— Да, я получил наши фотографии. Там ты на некоторых неплохо вышла.

— Ой, как хорошо!

Они свернули на дорогу, ведущую через парк Домэйн позади галереи «Артс Гэлери». В воздухе носился запах недавно скошенной травы, и мокрая листва так шумно шелестела над их головой, что они даже не заметили, как кончился дождь. Джэн вздохнула — никогда еще ей не было так хорошо.

Барт сжал ее руку, захватил ее под свою и, положив кисть ее руки на свой рукав, нежно похлопал по ней ладонью.

IV

Прогулочный катер шел через залив, возвращаясь к пристани. Саксофоны подхватили мелодию оркестра и понесли ее над водой. Барт легонько насвистывал мотив, склонившись к волосам Джэн и прижимая ее к себе.

«Нет здесь на площадке ни одной девчонки, которая бы ей в подметки годилась,— подумал он с гордостью, а потом в мозгу кометой пронеслась новая мысль: — Да и вообще такой, наверное, больше нет». Все, что было у них за последние три недели после возвращения из лачуги, все сильней и сильней убеждало его в этом. Музыка кончилась, но он продолжал прижимать ее к себе. Она вздохнула и медленно открыла глаза. Барт окинул ее взглядом: овальный вырез вечерного платья открывал ее шею и плечи, и, когда она шла, пышные складки шифоновой юбки колыхались.

— Встреть я тебя ночью на берегу в этом наряде, я поклясться был бы готов, что это русалка забрела в город.

— Русалки не забредают в город,— улыбнулась Джэн.— Они знают, что это опасно.

Грянуло джазовое попури из экзотических звуков джунглей, и оба они отдались быстрому движению в ритм барабанной дроби, казалось, выбивавшей аккомпанемент стуку их сердец.

А там, за освещенным пространством палубы, в свете полной луны отливала серебром гладь залива. Зеленые и красные огоньки бакенов в проливе то вспыхивали, то гасли, ведя непрерывный таинственный разговор. Вот уже показался форт Деннисон, его каменная башня белела в лунном свете. На западе повисла на фоне неба гигантская арка моста. Музыка смолкла, и Барт накинул плащ на плечи Джэн. Они спустились по ступенькам, и, ожидая, пока подадут сходни, он держал ее за руку. В их крови еще не улеглось веселое возбуждение танца.

— Жалко, что тебе приходится уходить,— произнес он с горечью и снова помрачнел.

Ей очень хотелось взять его с собой, но Дорин теперь стала такой несговорчивой. Раньше в такие вечера она отправлялась иногда ночевать к кому-нибудь из подруг, но теперь, верная своей угрозе, Дорин и не думала никуда уходить. Конечно, ее тоже нельзя винить, и все же возбужде-

ние Джэн затухало, ее охватывала грусть при мысли, что сейчас они поцелуются на прощание у ее дверей, а потом снова, как и каждый вечер с той поры, что они вернулись из лачуги, она услышит его удаляющиеся шаги, и этим на сегодня все кончится.

ГЛАВА 7

1

Ключ от квартиры лежал в почтовом ящике: Дорин оставляла его там в последнее время, так как свой Джэн потеряла. Барт медлил, ему не хотелось уходить, и он наблюдал, как Джэн вынула из конверта завернутый в записку ключ и теперь расправляла записку.

Странно, что Дорин оставила ей записку в такой поздний час. Разве только это предупреждение, чтоб она не приглашала Барта в дом на чашку чаю, как это бывало иногда. Джэн почувствовала, что в ней вдруг вспыхнуло раздражение. В конце концов ведь она никогда не звала его в дом так поздно. Она взглянула на бумажку, исписанную размашистым почерком Дорин:

«Решила переночевать у Мёрл, так что квартира в твоём распоряжении. Бог с тобой! Позвони мне, когда горизонт очистится». Внизу был аккуратно выведен номер телефона.

Она передала записку Барту. Лицо его сразу просияло. Он взял у нее ключ и, схватив ее под руку, почти бегом бросился с ней по вестибюлю.

— Не будем терять время. После этого я, пожалуй, начну верить в чудеса и в то, что сестра твоя — ангел.

Из маленькой квартирки, словно из сырой пещеры, в лицо им пахло спертым воздухом. Запах утекающего газа пропитал все вокруг, но комнатка была веселенькая и приветливая, подушки весело пестрели на холщовом покрове диванов, свет лампы отражался на стенках вазы с геранью, стоящей посреди стола, — во всем была видна хозяйская рука Дорин, чувствовалось ее умение превратить тесную конуру на самом дне светового колодца¹ в человеческое жилье. Честный, прямой взгляд Дорин смотрел на них с фотографии, где она была снята в военной форме АВАС — Женской вспомогательной службы австралийских сухопут-

¹ В Австралии в многоэтажных доходных домах иногда оставляют узенький внутренний дворик, напоминающий колодец, для того, чтобы свет мог проникнуть в квартирки, лишенные окон, которые выходили бы на улицу.

ных войск. Барт глянул на фотографию, с удивлением покачал головой и торжественно взял под козырек.

— В один прекрасный день, если не поостеречься, я самым настоящим образом могу влюбиться в твою сестру. Конечно, если она и впредь будет поступать, как сегодня.

Джэн улынулась, зажгла газ на кухне и поставила кофе. Записка Дорин была как отсрочка приговора, отодвигавшая грустный момент, когда Барт уходил и тоскливое чувство одиночества неизбежно охватывало ее. Приятная эта неожиданность безмерно взволновала ее, и не только потому, что они с Бартом смогут остаться вместе на всю ночь, хотя и это было теперь для нее бесконечно дорого, — неожиданность эта привела ее в какое-то странное счастливое возбуждение, незнакомое ей доселе. Сердце ее бешено запрыгало, в глазах поплыл туман, и, когда она ставила на стол чашки, руки у нее дрожали.

И, готовя ужин, она разговаривала сама с собой в маленькой кухоньке. «Каждая ночь, что мы проводим вместе, так важна для нас, — говорила она себе. — Между нами возникает какая-то связь, которую не так-то просто будет разорвать во время новой разлуки, нечто такое, чего я не могу объяснить словами, но что будет по-настоящему прочным, и когда-нибудь в такую вот ночь он, как и я, поймет это, и тогда он не бросит меня больше никогда, ни за что».

Барт тоже словно услышал об отсрочке смертного приговора. Они целовались, пили кофе, смеялись, доедали остатки шоколадного торта, испеченного Дорин, и на душе у Барта становилось светлее.

Потом он сбросил с дивана покрывало и подушки и выключил свет. И когда он обнимал ее, в мозгу его вспыхнула мысль: как непохоже это на все, что было у него досих пор. Потом их тела словно растворились друг в друге, пламя охватило Барта, горячая волна подняла, захватила его, и он уже не принадлежал больше себе, целиком отдавшись последнему, почти мучительному напряжению страсти.

11

Под утро она проснулась от страшного ночного кошмара. Барт был здесь, рядом с ней, в узкой постели, и ей показалось, что на нее давит огромная тень его тела. Она оттолкнула его руку, пытаясь высвободиться.

Барт вздрогнул, потом проснулся, мгновение пролежал неподвижно, настороженно прислушиваясь к чему-то, вско-

чил с постели и нащупал выключатель на стене. Вспыхнул свет. Он схватил ее за плечи, сразу ощутив, как напряглось ее тело. Глаза у нее закатились, дыхание стало прерывистым. В груди раздавался хрип. Наконец начался кашель, и она почувствовала солоноватый теплый привкус крови во рту. Барт схватил со стула полотенце и поднес к ее губам, на нем проступило багровое пятно. Когда приступ кашля прошел, Барт заставил ее выпить микстуру против кашля, которую прописал ей доктор, но лекарство подействовало лишь на минуту. Потом новый приступ кашля стал сотрясать ее тело.

Когда, совершенно обессиленная, она откинулась, наконец, на подушки, Барт сел с ней рядом, взяв в свои ладони ее пылающую огнем бессильную руку. Он видел, как судорожно бьется жилка у нее на шее, как лихорадочно вырывается дыхание из ее полураскрытых губ. Когда она затихла и по ее мерному дыханию Барт понял, что она уснула, в комнате уже брезжил бледный свет, просочившийся через длинную шахту светового колодца. Барт быстро одевался, и в голове у него была только одна мысль: «Доктора, скорее доктора!»

Но едва он взялся за щеколду двери, она открыла глаза и взглянула на него, будто возвращаясь откуда-то издалека. Барт подошел к постели и, убрав со лба Джэн прядь влажных волос, сказал:

— Я схожу за доктором.

Она покачала головой.

— Весь дом узнает, что ты был здесь,— она говорила тихо, почти шепотом.— Позвони Дорин, только не отсюда.

Он разыскал смятую записку Дорин с номером телефона.

— Я ненадолго,— пообещал Барт. Он наклонился, чтобы поцеловать ее, и она слабо улыбнулась, не открывая глаз.

Когда он вышел, рассвет золотил растрепанные облака, ветерок, дувший вдоль узкой улицы, приносил освежающий запах моря.

III

Барт глубоко вдыхал утренний воздух, как будто желая прогнать не только нездоровый воздух тесной квартиры, но и панический страх, охвативший его там в эту ночь. Он долго возился с телефоном-автоматом на углу улицы, перепутал номер и попал в чужую квартиру, где сонный

голос обругал его дураком, на что и потратил единственную остававшуюся у него монетку в два пенни. Потом он снова вышел на улицу и наменял мелочи у вышедшего спозаранку молочника.

— Ого,— сочувственно сказал парнишка, протягивая мелочь и с любопытством заглядывая ему в лицо.— Ого, друг, вид у тебя бледный. Помочь?

Барт поблагодарил и вернулся к будке. И снова набрал номер. Наконец послышался сонный и недовольный девичий голос, который стал еще раздраженнее, когда он спросил Дорин:

— На кой черт вам понадобилась Дорин в такую рань?

Он объяснил, что заболела Джэн. Дорин почти тотчас же подошла к телефону: от волнения голос ее звучал мягче, чем обычно в разговоре с ним.

— Я буду через полчаса, может, раньше, а ты тем временем постарайся поднять врача.

Барт вышел из телефонной будки и остановился на тротуаре, не зная, что предпринять: разыскивать и будить врача или возвращаться к Джэн.

Он повернулся и пошел обратно — к Джэн. На полчаса раньше или на полчаса позже вызовут они врача, сейчас это дела не меняет, лучше он отправится за ним, когда придет Дорин. Мысль о том, что Джэн задыхается там одна, гнала его с такой силой, что последний квартал он пробежал бегом. Но когда он открыл дверь и на цыпочках вошел в комнату, Джэн спала; ее не разбудила даже звякнувшая щеколда.

Она все еще спала, когда пришла Дорин. У Дорин было испуганное, недоумевающее лицо. Звук приглушенного разговора разбудил Джэн. Она пошевелилась. Дорин подошла и села у постели сестры. Джэн положила свою руку на руку сестры.

— Прости, Дор, что я тебе выходной испортила.

— Болит что-нибудь? — Дорин склонилась над Джэн, вглядываясь в ее побледневшее лицо.

— Нисколечко. Просто меня испугало, что кровь и что дышать трудно.

Дорин подняла взгляд на Барта и облегченно вздохнула.

— А то я думала, что снова плеврит, но раз боли не было...

Барт кивнул, его успокоили слова Дорин. Если у Джэн ничего не болит, значит, все не так уж серьезно. Когда настоящему плохо, должна быть сильная боль. И, на-

правляясь к дверям, чтобы пойти за врачом, Барт с необычным дружелюбием улыбнулся Дорин.

Барт позвонил в ночной звонок у дверей внушительного старинного дома, построенного в колониальном стиле, где жил врач Джэн. Никто не отзывался. Он обошел вокруг дома, но все окна были закрыты и дом казался необитаемым. Барт вернулся к подъезду и в нерешительности постоял на ступеньках. Потом снова нажал на кнопку звонка. Протяжный звонок отозвался в тишине пустого дома.

В доме послышалось движение, зазвучали шаги на лестнице. Дверь отворилась, и из нее выглянула женщина.

— Доктора нет, — угрюмо сказала она, — он всегда уезжает на субботу и воскресенье. Но если хотите, можете зайти за угол, там есть женщина-врач, она обычно замещает хозяина и ходит по его вызовам.

Барт поблагодарил, спустился на улицу и, завернув за угол, отправился разыскивать названный ею номер дома. Сердце упало у него, когда он увидел эту женщину-врача. Она была молода, слишком молода, и даже сейчас, в этот ранний час, с нерасчесанными кудряшками, в наспех запахнутом ярком халатике, она казалась слишком привлекательной. Барт не доверял женщинам-врачам, а против этой говорила еще и ее привлекательная внешность. Она довольно прямо, без всякой профессиональной вежливости выразила неудовольствие тем, что ее в воскресенье вытащили так рано из постели, но она внимательно слушала его рассказ, задавая ему краткие быстрые вопросы.

— Если вы пождете минут десять, — сказала она наконец, — я выведу машину и подвезу вас.

Барт ждал, прохаживаясь взад и вперед по пустынной улице. Колокола зазвонили к утренней мессе, и звон этот, плывший из-за высокой кирпичной стены католического монастыря, только подчеркивал пустынное безлюдие улицы. Барт увидел, как врач спускается по лестнице, аккуратная и подтянутая, в брюках и свитере, и ему стало еще больше не по себе. Но она так искусно вела машину, вырывая по узкой улочке к квартире Джэн, что ему против воли пришлось признать, что, может, она и стоит большего, чем это кажется на первый взгляд.

Она ворвалась в квартиру, словно порыв свежего утреннего ветра. Барт остался в вестибюле, возмущенно глядя на захлопнувшуюся дверь. Право, это несправедливо! Она захлопнула дверь перед самым его носом, будто он и не имеет права войти и узнать, что происходит. Он присло-

нился к двери, пытаясь расслышать, о чем они там говорят, но разобрать было ничего невозможно. Тогда он вышел на улицу, присел на подножку автомобиля и закурил.

IV

А там, в квартирке, Джэн испуганно смотрела на врача. Ей неприятны были термометр, торчавший у нее изо рта, чужие холодные пальцы у нее на запястье, и то, что ее вырвали из состояния мирного оцепенения, в котором она находилась. Наконец врач забрала термометр и подошла с ним к стеклянной двери, выходящей в световой колодезь.

— У вас тут как на дне шахты, не правда ли? — заметила она. — И сколько вы за эту дыру платите?

— Два фунта пятнадцать шиллингов, да еще за свет и за газ, — бросила Дорин. Вопрос казался ей неуместным и бесцеремонным; в ней боролись раздражение и страх: что она там может видеть сейчас на термометре, эта девушка!

Наконец врач отложила термометр и улыбнулась Дорин с обезоруживающим дружелюбием.

— Ну и грабители же они! Да по сравнению с большинством здешних домохозяев Нед Келли¹ был просто джентльмен. У вас тоже небось хозяйка какая-нибудь старая ведьма, что при каждом подходящем случае рада семь шкур содрать. А вы были в АВАС?

Она бросила взгляд на фотографию.

Дорин кивнула.

— Я тоже была. И вот что мы получили за службу родине, детка. Пусть хоть это послужит вам уроком.

Дорин почувствовала, как от улыбки молодой женщины растаял комок у нее в горле.

— Да, но это все, что нам удалось разыскать, — объяснила она. — А ведь мы целыми неделями по Сиднею колесили, пока хоть это нашли.

— Знаю, — голос молодой женщины звучал спокойно и трезво. — Я с этим сталкиваюсь каждый день. Ну что ж, мой тебе совет: в следующий раз, когда будет война, оставайся дома, и, может, тебе тоже удастся попользоваться за счет простаков, которые отправятся воевать. А потом еще сможешь драть с какой-нибудь демобилизованной за такую же вот конуру два фунта пятнадцать шиллингов. Да...

¹ Нед Келли — легендарный предводитель шайки грабителей, действовавших в штате Виктория в 70-х годах прошлого века.

А как ты смотришь на то, чтоб приготовить нам по чашке крепкого кофе, пока я осматрю девочку?

Дорин пошла на кухню. Она была рада, что ей представилась возможность чем-то заняться и хоть на минуту отвлечься от мыслей о Джэн, которая лежит там такая измученная и слабая и не сводит с них широко открытых, лихорадочно горящих глаз.

Джэн неохотно отвечала на вопросы врача; когда врач передвигала по ее груди стетоскоп, она с трудом усмиряла свое неистово колотившееся сердце.

Но вот врач молча отложила стетоскоп и снова натянула на Джэн простыню.

Джэн лежала в одиночестве, пока они пили кофе там в кухоньке. Голоса их приглушенно доносились из-за закрытой двери, и сколько Джэн ни напрягала слух, она ничего не могла разобрать.

Потом разговор прекратился совсем, и Джэн снова увидела подле себя врача.

— Сейчас я сделаю вам укол.

Джэн недоверчиво посмотрела на нее.

— Это даст вам возможность как следует отдохнуть.

Глядя, как врач готовит для инъекции шприц, Джэн хотела сказать, что ей ничего-ничего не нужно. Она еще многое хотела сказать, но слова не шли у нее из горла, и потом она почувствовала на руке холодное прикосновение ватки со спиртом, пронзительный запах и, наконец, укол иглы. Потом врач ушла.

Дорин закрыла за ней дверь и на цыпочках вернулась в комнату.

V

Врач остановилась и выжидающе смотрела на Барта, который, съездившись, прикорнул на ступеньке ее автомобиля. Он вскочил, бормоча извинения.

— Садитесь-ка лучше со мной и проедем немного, чтоб я могла поговорить с вами по дороге. Здесь вам сейчас делать нечего, вы только мешать им будете. Я сделала ей укол и хочу, чтобы она немного отдохнула.

— Она очень...— Барт запнулся,— очень больна?

Врач тронула машину с места и свернула в узкую улочку.

— Откровенно говоря,— произнесла она наконец,— я и сама не знаю, насколько тяжело она больна. Температура у нее тридцать восемь и восемь, и у нее было кровотечение.

Стетоскопом я ничего не смогла прослушать, но это еще ничего не значит.

— Что вы хотите сказать этим «еще ничего не значит»? Ведь у нее не плеврит и не воспаление легких, правда же?

— Не будьте ребенком! — бросила она грубо. — Будто вы в жизни не слышали, что значит, когда начинают кашлять кровью?

У Барта все оборвалось внутри.

— Конечно, я об этом слышал, — он снова помялся, не решаясь произнести страшные слова, — насчет ТБЦ и всякой такой штуки...

— Итак, о ТБЦ вы все же слышали, не так ли?

Он услышал иронию в ее голосе и покраснел.

— Конечно, слышал, но не думаете же вы, что у Джэн...

— А почему бы не у Джэн?

Он внимательно посмотрел на нее: она вела машину легко, уверенно, и в профиль лицо ее казалось значительно старше, чем в анфас.

— Послушайте, вы, — сказал он зло, — я не такой дурак, как вам кажется. Но всего месяц назад Джэн очень тщательно осматривал ее постоянный врач. Это было после тяжелого приступа кашля, случившегося в лачуге на побережье, где мы с нею отдыхали. Вам Дорин, наверно, рассказывала, что мы вместе ездили на побережье?

— Рассказывала... — она произнесла это медленно, задумчиво. — Так вы говорите, это уже случалось с ней раньше?

— Да, примерно недели три назад. — Барт попытался вспомнить точнее. — Да, точно. Мы пробыли там десять дней и вернулись шестнадцатого. Неделю я пробыл дома, а это случилось с ней в последнюю ночь там, в лачуге.

Барт так сосредоточенно пытался припомнить точную дату, что даже не заметил, как изменилось лицо молодой женщины, внимательно смотревшей на него.

— Мы тогда подумали, что это рыба костька проколола ей сосудик в горле. А Джэн не говорила вам об этом?

— Нет, и сестра ее тоже ничего не говорила.

— Да Дорин ничего об этом и не знала. Когда мы вернулись, я заставил Джэн на следующий же день пойти к врачу, и врач сказал, что у нее все в порядке...

Тут только Барт заметил выражение беспокойства на лице своей собеседницы.

— Вы, конечно, не думаете... Нет, нет...

Обрывки разговоров, виденные когда-то плакаты, предостережения — все это пронеслось в его мозгу. Он попытался рассуждать спокойно, воззвать к своему здравому смыслу, к своему хладнокровию. Эта паршивая баба просто-напросто паникует. В конце концов ведь постоянный врач Джэн должен разбираться в этом деле. Он же солидный человек, с репутацией, — не то что эта зеленая девчонка — только что из медицинской школы вышла и носится небось с парнями в своих модных брючках, задравши хвост. Он-то, во всяком случае, знает, кому из них двоих верить.

— Вы не могли бы вспомнить поточнее, что сказал врач?

Барт рассказал ей, и, когда он кончил, она негромко выругалась.

— Ну, а нам этого было достаточно, и поскольку он сказал, что нужно больше бывать на воздухе, на солнце и побольше заниматься спортом...

— То вы стали чаще бывать на воздухе, грелись на солнце и занимались спортом, так?

— Конечно. А что бы вы делали на нашем месте?

Она вздохнула и, промолчав, подрулила к своему дому.

— К сожалению, то же самое, что и вы.

— Нет, ну, по-честному, вы же не хотите сказать... вы же не думаете, что у Джэн действительно ТБЦ?

— Боюсь, что да. Конечно, я могу и ошибаться. Я вам сказала уже: при помощи стетоскопа не всегда можно прослушать ранние симптомы туберкулеза. Есть один безошибочный способ проверки — рентген. Постарайтесь как можно скорее отправить вашу девушку на просвечивание.

— А завтра она уже сможет туда пойти?

— Лучше рискнуть завтра, чем оставлять так.

— Хорошо. Вы могли бы устроить это?

— Да, я могла бы организовать это через бесплатную больницу.

Барт отмахнулся.

— Джэн не нужны никакие бесплатные больницы. Я хочу, чтоб она пошла в самую лучшую.

Врач пожала плечами и выключила зажигание.

— Как угодно, но только, по-моему, это глупо. Можно попасть на рентген через отдел здравоохранения, и это обойдется в десять шиллингов и шесть пенсов. В другом месте это будет вам стоить три гиней.

Барт сжал челюсти, упрямые складки легли вокруг его рта.

— Послушайте, доктор, я беру это все на себя, и я не хочу ничего проворачивать по дешевке. Я хочу, чтобы Джэн получила все самое лучшее. Вы не могли бы устроить ее на просвещение к самому лучшему врачу в городе, и как можно скорее?

— Конечно, если вы так хотите. Но это будет стоить вам три гиней, и потом нужна будет еще консультация с врачом.

— О господи...— Барт выскочил из машины и теперь стоял, вцепившись руками в дверцу.— Не могли бы вы уразуметь своей милой головкой, что мне безразлично, сколько это будет стоить. В общем понятно, за кого вы меня принимаете. Дорин и здесь уже поспела. Вы думаете, я подонок. Ну что ж. Может, я и подонок, но все же не такой подонок, как вы думаете, и будьте уверены, я собираюсь оплатить все расходы на лечение и все счета, в том числе и ваш.

Врач сидела в машине, полузакрыв глаза. Руки ее свободно лежали на баранке руля, уголки губ были насмешливо вздернуты.

— Ну герой, просто герой! — голос ее звучал издевательски.— Позвоните мне завтра в десять утра, и я скажу вам, что мне удалось сделать.

Она еще раз насмешливо улыбнулась ему и помахала рукой на прощание.

Барт повернул обратно: в душе его боролись страх и злость. Когда он добрался до вершины холма, злость его испарилась и остался один страх. Свернув на улицу, которая вела к дому Джэн, он остановился. В его памяти всплыли слова молодой женщины о том, что не надо беспокоить Джэн, потом он почувствовал гнетущую пустоту в груди и зашагал дальше — вдоль Дарлингхёрст-Роуд, через перекресток у Уильям-стрит, где грохот случайного трамвая вдруг ворвался в сонную тишину воскресного утра. Сосисочная на углу была открыта. Барт зашел и заказал яичницу с беконом и чай, потом уселся за стол и попытался читать воскресную газету. Он пробегал глазами страницу за страницей, но до его сознания ничего не доходило.

Барт попробовал яичницу и отодвинул тарелку, потом долго сидел, глотая крепкий черный чай, чашку за чашкой, и безразлично размазывая скудную порцию масла по куску черствого хлеба.

Он чуть не подавился, попытавшись проглотить кусочек хлеба, потом отодвинул и его в сторону. Проведя рукой по

подбородку, он ощутил жесткую щетину. Надо побриться и принять душ и, если удастся, еще поспать, прежде чем отправляться к Джэн. Тут он вспомнил о Чилле и о ветхой халупе Райэнов минутах в десяти ходьбы отсюда — на Гленмор-Роуд. Чилла — вот кто поможет ему в беде.

ГЛАВА 8

I

Барт в отчаянии опустил на траву под пальмами, окаймлявшими улицу Мэжуори возле ботанического сада. Он взглянул на часы. Казалось, что прошли уже сутки с той минуты, как Джэн и Дорин исчезли в подъезде многоэтажного здания, где жил доктор. «Что это может значить, что их нет так долго? Хорошо это или плохо?» — ломал он голову. Сомнение и отчаяние охватили его при воспоминании о том, как Джэн лежала тогда утром, в воскресенье, и какое у нее было исхудавшее, измученное лицо и синие круги под глазами. Потом он прогнал это видение и постарался припомнить ее такой, какой она была сегодня утром, когда она обернулась к нему со ступенек подъезда и улыбнулась, такая сияющая, полная жизни, что он отверг самую мысль, что она вообще может быть чем-то больна, и снова обругал молодого врача паникершей.

Солнце жарко палило с безоблачного полуденного неба, клочья света падали на Барта сквозь остроконечную пальмовую листву, а ее гофрированные тени, словно кружевные юбки, лежали на земле вокруг стволов. Синий крапивник заметался среди стеблей и защebetал что-то своей скромной коричневой подружке; голуби, воркуя, с важным видом разгуливали у ног Барта. И когда он ощущал под собой нежное тепло травы, а вокруг себя — целый мир, полный движения и звуков, ему не верилось, что где-то существует болезнь, и меньше всего верилось, что болезнь эта может быть у Джэн. Барт повернулся на другой бок и лежал теперь, не спуская глаз со ступенек, на которых она должна была появиться. Он представил себе, как зазвенит ее лукавый смех и как, взглянув на него со своей застенчивой, виноватой улыбкой, она скажет: «Ой, прости меня, пожалуйста, я тебе столько хлопот доставила».

Непослушными руками он скрутил сигарету.

А потом он увидел Джэн и Дорин. Они медленно вышли из дома и остановились на верхней ступеньке подъезда. Барт вскочил и бросился через дорогу навстречу им.

Джэн взяла его под руку, и губы ее медленно тронула улыбка. Он взглянул на нее и почувствовал облегчение. Да она выглядит ничуть не хуже, чем всегда. Он же знал, что все будет в порядке. А потом он вдруг увидел, что Дорин плачет, и у него захватило дыхание, как будто его вдруг пнули ногой в живот.

Джэн взяла сестру под руку.

— Пойдем куда-нибудь позавтракаем, я просто умираю с голоду.

Язык у Барта словно прилип к гортани.

— Что он сказал?

Собственные слова резанули ему слух. Джэн продолжала смотреть на него, улыбка все еще блуждала у нее на губах.

— Поговорим об этом после чая, ладно?

— Но я должен знать.

На мгновение Барт даже сам испугался — так резко прозвучал его голос.

— Он сказал, что мне придется ехать в санаторий или еще куда-нибудь в этом роде.

На мгновение все поплыло у него перед глазами. Желтое платье Джэн, ее светло-каштановые волосы, разметавшиеся по плечам, — все будто расплылось в ярком солнечном свете, потом туман рассеялся, и он снова увидел улыбающуюся Джэн.

— Он, должно быть, ошибся. Не может быть, чтоб у тебя...

Он запнулся.

Джэн мягко сжала его руку, увлекая его вниз по ступенькам.

— Нет, все так, у меня это есть.

II

Уже потом, когда они вернулись домой, об этом ему во всех подробностях рассказала Дорин. Джэн, вытянувшись, лежала на своей кровати, пристально глядя в потолок. Она, казалось, и не слышала, о чем они там говорят. Как будто ее все это не касалось.

Барт слушал Дорин, умоляюще заглядывая ей в лицо.

— Значит, у нее то, что называют затемнением в легких?

— Врач говорит, у нее затронута легкое. Думаю, что это одно и то же. К счастью, у нее легкий случай, как он говорит. Правда ведь, Джэн?

Джэн кивнула. Наверное, так он и сказал. Все это прошло, как в тумане. Она ничего не могла припомнить после того, как первые слова врача опустились, словно стеклянная стена, отгородив ее от окружающего мира.

Дорин с трудом продолжала:

— Если она сейчас ляжет в больницу и немного подлечится, а потом поедет в санаторий, то все должно закончиться благополучно.

— ...Окончиться благополучно,— слова медленно, с трудом доходили до его сознания.

— Он не сказал, надолго ли это?

— Насколько я поняла, на шесть месяцев или что-то вроде этого.

— Шесть месяцев! — Барт вскочил, будто эти слова обожгли его.

— Кажется, шесть, правда, Джэн? — Дорин повернулась к сестре.

— Да, шесть месяцев.

— Но это невозможно.— Барт отказывался принимать и сам приговор и вытекавшие из него последствия.— Нет, мы обратимся к другому врачу. И конечно...

Он постучал сигаретой по ногтю и стал отчаянно шарить по карманам в поисках спичек.

— Возьми на кухне,— сказала Дорин.

Он встал и направился в кухню, спотыкаясь и с трудом передвигая будто налитые свинцом ноги, потом шаги его стали тверже. На кухне он прикурил и несколько раз глубоко затянулся.

— Конечно же, нужно будет выслушать мнение и другого врача. Мне всегда казалось, что эта женщина просто-напросто паникерша.

Дорин посмотрела на него в упор.

— Насколько я понимаю, если бы Джэн, когда у нее был плеврит, лечила эта молодая паникерша, которая тебе так не понравилась, всего этого бы не случилось. Хотя сама она и не говорила мне этого. Эти доктора, все они друг за друга стоят. Но важно не то, что она сказала, а то, о чем она умолчала. Так или иначе, мы услышали мнение человека, который считается крупнейшим специалистом в Сиднее, и мнение это подтверждается рентгеновским снимком, так что, я думаю, нет никакого смысла тратить снова деньги.

В ее словах прозвучала горечь. Барт подошел к постели Джэн и, присев на край, накрыл ее руку своей. Рука ее

пылала под его холодной ладонью. Он взял ее пальчики в свою руку, и собственный жест показался ему детским и глуповатым.

— Ну, ну, ничего, девочка, поедешь в санаторий. Что там сказал лекарь, когда нужно ехать?

Джэн облизнула пересохшие губы, но не ответила.

Заговорила Дорин:

— Он сказал, что сначала надо лечь на месяц на лечение в одну пригородную больницу, а потом уже в санаторий.

— Я не поеду,— голос Джэн задрожал,— я просто не смогу. Там надо шесть гиней в неделю платить, да еще за медицинское обслуживание. Мы себе просто не сможем позволить этого. Ведь у меня будет только туберкулезное пособие. Если уж обязательно надо куда-нибудь ехать, то я поеду только в государственную больницу. Там по крайней мере ни за что платить не надо.

— О Джэн, ну давай не будем возвращаться к этим спорам! Ты же слышала, как доктор сказал, что в бесплатный санаторий ты сможешь попасть не раньше чем через три месяца. А столько ждать мы не можем.

— Три месяца! Что за бред! Да если она сразу же туда поедет, то через три месяца пройдет половина всего срока. Ну уж нет, я не позволю, чтоб она три месяца ждала. Ведь это может стоить...

Он запнулся. Он хотел сказать «жизни», но это прозвучало бы слишком мелодраматично, и, подумав, он сказал вместо этого:

— Мы ее сейчас же устроим в частный санаторий. Где он находится?

— В Блю Маунтинз — Голубых горах.

— В Голубых горах! — повторил Барт с сомнением. — Бог ты мой, это ж почти за сто километров отсюда. Разве поближе нет?

— Думаю, что есть и поближе. Только там все равно свободных мест нет.

— Не поеду я ни в какой частный санаторий, мы себе не можем позволить этого. — Голос Джэн звучал вяло, невыразительно.

Барт почувствовал, что в нем закипает злость, совсем как тогда, когда молодой врач насмешливо глядела на него, сидя в машине.

— Я в счет задержанного жалования денег получил целую пачку да еще пачку на черном рынке выручил за тот

жемчуг, что я привез. Так что это, да еще плюс мое жалование, да то, что я без тебя тут сэкономлю,—куча денег будет. В конце концов это же только на шесть месяцев.

Джэн покачала головой.

— Я не могу у тебя денег брать.

— А ты и не будешь у меня ничего брать. Просто я делаю свой вклад в наше дело. И вообще, чтоб ты знала с сегодняшнего дня: все это и меня касается.

— Нет,—он скорее угадал по ее губам, чем услышал это мягкое, но решительное «нет».— Нет, я не позволю тебе.

— О, бога ради, давай не спорить об этом.— Барт повернулся к Дорин.— Скажи же ей в конце концов, чтоб она не вела себя, как маленькая дурешка.

Дорин покачала головой.

— Это очень великодушно с твоей стороны,—сказала она холодно, и он почувствовал враждебные нотки в ее голосе,—но, конечно, она не сможет принять твоих денег.

Барт вскочил на ноги. В нем бурей бушевали какие-то совершенно незнакомые ему чувства.

— В жизни не слышал такой дурацкой белиберды. И вся эта ложная гордость—вот уж ерунда, дальше некуда!

Дорин пожала плечами.

— Попробуй сам уговорить Джэн, я-то тут ни при чем. Все, что у меня есть, все в ее распоряжении, где бы она ни была, да она и сама это знает.

— Но ведь это только разумно, как ты не видишь?

Он остановился, пораженный выражением ненависти, блеснувшим в глазах Дорин, повернулся и снова присел на краешек постели Джэн, склонившись к ее лицу и осторожно положив руки ей на плечи.

— Послушай, детеныш,—голос его прозвучал хрипло,—я хочу только, чтоб ты поправилась, ясно? И я это для себя делаю, а не для кого-нибудь, ясно? Да, да. Я именно такой подонок и есть, каким меня Дорин всегда считала.

Джэн смотрела ему прямо в глаза, и губы ее тронула слабая улыбка, от которой у него сжалось сердце.

— Если бы мы были с тобой помолвлены, то никакого бы шума не было оттого, что я за тебя плачу, а раз у нас не было этой драгоценной помолвки и разных там подписей и печатей, то вы все от меня нос воротите,—он остановился и перевел дух.— Так вот знай, что, насколько это

меня касается, можешь считать, что мы все равно. что помолвлены.

Джэн замерла, как будто перестала дышать.

— И если это имеет какое-то значение при твоём упрямстве и твоей гордости, то я здесь, сейчас же, и пусть твоя сестра будет свидетелем, по всей форме тебя спрашиваю: окажешь ли ты мне честь быть моей невестой? Что ты ответишь мне?

Джэн смотрела ему в глаза, улыбка сошла с её губ, и слезы, наполнившие глаза, стекали теперь по ресницам.

— Не думал, что придется делать вам предложение именно в такой форме, мисс Блейкли.— Он с трудом заставил себя пошутить, чувствуя, как у него сдавило горло, зашипало глаза.— Но я, так или иначе, собирался сделать это в ближайшее время.

Дорин поднялась и вышла в кухню. Барт слышал, как с хлопком вспыхнул газ, потом загремел чайник.

— Джэн, чудная моя, так давай считать, что мы помолвлены, правда?

Слова повисли где-то в пространстве. Джэн казалось, что она слышит, как они, натягиваясь, гудят, словно телеграфные провода на ветру. Джэн вытерла слезы тыльной стороной ладони, и улыбка снова тронула её губы. Она долгим взглядом посмотрела на него, как будто стараясь проникнуть ему в душу, потом губы её зашевелились, и прозвучал тихий, но решительный ответ:

— Нет.

Барт на мгновение был ошарашен. Потом он обрушился на них обоих. Он умолял. Он упрашивал Дорин помочь ему. Но в самой Джэн была какая-то упрямая решимость, которая совсем обескураживала его. Да и Дорин уговаривала сестру нехотя, без воодушевления. Наконец они пришли к компромиссному решению. Джэн согласилась, что глупо было бы ждать три месяца, пока освободится место в бесплатном государственном санатории, и потому она разрешит Барту оплатить её пребывание в платном, но никакой помолвки у них не должно быть, никаких обязательств, никакой ответственности, от которой он не мог бы освободиться в любую минуту, он брать на себя не будет.

Когда наконец они договорились обо всем, он опустился на краешек её постели совершенно обессиленный.

— О боже, никогда не думал, что так трудно уговорить девушку узаконить свои отношения с мужчиной и стать честной женщиной.

Джэн улыбнулась ему улыбкой, полной нежности и любви. Барт нагнулся, чтоб поцеловать ее, но она отвернулась.

— Тебе нельзя целовать меня — это опасно.

— Это чертовски опасно, — он прижался губами к ее губам, — если хочешь знать, это как взрыв бомбы.

ГЛАВА 9

1

Джэн лежала на узкой больничной койке, пытаюсь как-то приспособиться к новой обстановке.

Ей была отвратительна маленькая темная комнатка, где только протяни руку — и сразу наткнешься на соседнюю койку. Ведь вся Локлинская больница умещалась в маленьком домике, битком набитом железными койками, стоявшими впритык, бок о бок, голова к ногам, так что едва оставалось место для прохода. Повсюду, примешиваясь к запахам приготовляемой пищи, носились затхлый запах одеколона, неистребимый дух тальковой пудры и острый запах антисептиков.

Но жаловаться не приходилось. Врач объяснил им, что достать где-либо место было исключительно трудно, и что хозяйка и так оказала им любезность, взяв ее сюда, и потому нужно лежать и помалкивать. И ни слова о туберкулезе — у нее бронхиальное расстройство. Пусть она запомнит — бронхиальное расстройство.

И она запомнила. Постоянно помнить об этом было все равно, что сыпать соль на открытую рану. И так тяжело, когда тебя вдруг приговаривают к долгим месяцам бездействия, потому что, как утверждают, у тебя болезнь, которой могло бы и не быть, но совсем уж плохо, когда с тобой из-за этого еще обращаются как с преступницей.

Она старалась не думать о предстоящих ей долгих месяцах болезни. Мысль эта была невыносима.

Хотя она приехала в Локлин только утром, ей уже казалось, что день этот никогда не кончится. Никогда еще день не тянулся так долго. Время казалось бесконечным. Когда ее положили сюда, она нарочно старалась не общаться со своими соседками.

Она попала сюда по ошибке. Она совсем не такая, как они. И она никогда не будет одной из них. Она была уверена, что и выглядит-то она по-другому. Право же, так хорошо она никогда еще не выглядела. «Врач ошибся, —

горячо убеждала она себя,— все они ошиблись. Ничего у меня нет. Произошла ошибка».

Она лежала на жесткой койке, вытянувшись в неудобной позе. Жаркое солнце все сильней нагревало комнату, тело Джэн покрывалось мелким потом. Она притворялась, что читает, но смысл прочитанного не доходил до нее. Болтовня больных, лепет радиоприемника, когда-то включенного и забытого всеми, исторгающего потоки джазовой музыки и рекламных объявлений,— шум этот сводил ее с ума. Всю неделю, с той самой минуты, как она услышала приговор врача, она чувствовала себя отрезанной от жизни. Бывает же так. Видишь все, что происходит вокруг тебя, видишь, как люди разговаривают, как у них шевелятся губы, но ничего из того, что они говорят или делают, не доходит до твоего сознания. Ты вырван из окружающей жизни, отгорожен от нее. Жизнь проходит мимо, больше не затрагивая тебя. Чувства твои притупились. И вот теперь все эти раздражающие мелочи вторгаются в твое одиночество. Нервы твои напряжены. Это безумие — запирает человека в комнате, полной больных, когда он вообще-то, наверное, здоров.

Джэн украдкой бросила взгляд на девушку с соседней койки, повязывавшую ленточку на своих рыжеватых кудряшках, и вдруг, словно удар, ошеломила ее мысль: «Ведь глядя на эту девушку, да и на ее соседку тоже, не скажешь, что у них что-то не в порядке».

И, словно прочитав ее мысли, девушка обернулась к Джэн.

— Послушай, детка,— сказала она своей хриповатой скороговоркой, глотая слова,— тебе не надо задаваться передо мной и Бетти. Ты, я и Бетти — нас тут только трое с ТБЦ, и ты лучше с самого начала уразумей, что нам, тубикам, надо держаться друг за друга. Чуешь?

Она щедро намазала губы яркой губной помадой и, остановившись в середине этой операции, сказала, глядя прямо в глаза Джэн.

— Меня зовут Линда, вон ту девчущку — Бетти. А тебя?

— Джэн.

— Ну, так вот, Джэн, нас тут, наверно, вместе на месяцы захоронили, так что нам уж придется самим как-то себя развлекать и веселить, потому что в этом чертовом заведении к нам сюда никто и носа не кажет. До смерти боится этой самой инфекции, чуешь? Сколько ты здесь проведешь?

— С месяцем, я думаю.

— Мы уже тут с Бетти снюхались, так что тебе нас придется принимать такими, как есть.

Джэн покраснела.

— А я вовсе и не задаюсь, просто...

Она замолчала. Нужные слова не приходили ей в голову.

— Ты где была до того, как сюда попала?

— Как где? Дома, конечно.

С детски круглого личика Бетти на нее удивленно взглянули широко раскрытые голубые глаза.

— Бозе,— зашепелявила она,— так ты сто зе, в первый раз?

— Да.

Линда опустила глаза.

— Тогда понятно.

Голос ее потеплел.

— И когда ты об этом узнала?

— На прошлой неделе.

— Боже! — вырвалось у Линды. Она подняла зеркальце и стала подводить карандашом брови.— Ты прости, что я так говорила с тобой, просто я видела, как твоя сестра все вещички увязала и с собой забрала, и мне показалось, что вы знаете, что к чему. Тогда мы и подумали, что ты тоже не новичок в этих местах, как и мы.

— Господи бозе,— вступила в разговор Бетти,— я-то помню, какое это потрясение, когда в первый раз про это узнаешь. Я едва на ногах устояла, когда мне сказали. А перед этим играла в теннис, и хоть бы сто.

Линда грустно и понимающе кивнула головой.

— Когда к этой мысли привыкнешь, будет легче, детка,— ее хриплый голос стал мягче, добрее.— Мы все прошли через то, что ты сейчас переживаешь. И правильно Бетти говорит: когда мне об этом сказали в первый раз, то я подумала, что самое лучшее — это сразу же сесть в трамвай и ехать на берег к обрыву, откуда все сиднейские самоубийцы бросаются. Это было пять лет назад, а теперь погляди на меня. Даже срываю цветы удовольствия, если только какой-нибудь цветок посмеет тут вылезти на поверхность.

Ее жесткие карие глаза сверкнули.

— Жизнь неплоха, если только не раскисать. Мы тебе с Бетти все расскажем, только спроси. Мы здесь уже два месяца, и тут не так уж плохо.

— Здесь так тесно...

— Ну, так это они на нас зарабатывают. Наша хозяйка на каждом квадратном метре площади больше зарабатывает, чем любая хозяйка в Сиднее.

— Ей-ей, она в прошлом году на путешествие в Англию заработала.

— Точно. А теперь мы здесь помираем, чтоб ее в Америку отправить,— и Линда горько засмеялась.

Джэн содрогнулась. Несмотря на удушливую слепопуденную жару, у нее даже мурашки пошли по коже. Трудно забыть о болезни, когда Линда и Бетти все время говорят о ней запросто, будто о каких-то самых обыденных вещах. Она содрогалась при мысли о том, что ей придется провести в Локлине долгие дни и недели — в этой душной комнате, в которую не проникает свежий воздух, потому что окна выходят на веранду; в этом домишке с темной прихожей, через которую надо проходить, чтобы попасть в ванную, где даже запахи духов и дезинфекции не могут заглушить тяжелого больничного смрада.

— Как это мерзко! — произнесла Джэн. — Это следовало бы запретить.

— Ах ты, боже мой! — откликнулась Бетти. — После того как потаскаешься по разным местам, будешь рада, что хоть сюда-то попала, правда, Лин?

Линда улыбнулась едва заметной холодной улыбкой.

— Конечно, еще радоваться будешь, что хоть дышать позволяют.

II

Джэн отодвинула поднос, едва притронувшись к еде.

Линда то и дело отпускала грубоватые замечания по поводу пищи.

— Посмотри-ка на это,— восклицала она, поднимая на вилке ломтик солонины и глядя на него с отвращением. — Что толку, что нас с Бетти днем и ночью пичкают стрептомицином, если на обед нам дают вот эту фитюльку, которой и воробья не накормишь.

Взгляд ее остановился на тарелках Джэн, к которым та почти не прикоснулась.

— Ну-ка, глянь на мои тарелки, Джэнни, деточка, и доешь свои витамины. Хозяйка у нас жаднущая, как черт, и она ровно столько дает, чтоб не помереть с голоду, так что доедай все до крошки. Вот смотри.

Она тоненько намазала маслом два ломтика хлеба, потом положила сверху еще мясо и салат и разрежала на кусочки этот неуклюжий сандвич.

Джэн снова пододвинула к себе поднос с ужином и начала медленно есть.

Потом она наблюдала, как Бетти и Линда готовятся к инъекции стрептомицина, как они достают шприцы, стерилизуют иглы, как потом, набрав раствор, нажимают на поршень, чтобы в шприце не осталось пузырьков воздуха, и как они глубоко вонзают иглу в собственное тело. При виде этого Джэн стало дурно.

— Ну конечно же,— сказала Линда, заметив выражение ужаса в глазах Джэн.— Конечно же, мы это каждые четыре часа делаем, деточка, так что придется тебе к этому привыкать. А ты здесь зачем?

— Они собираются мне поддувание делать или что-то в этом роде.

У Джэн будто клещами вырвали эти страшные слова. Она чувствовала, что против ее воли они стараются сделать ее такой же, как они сами.

— А, значит, тебе пневмоторакс начнут? — Линда сказала это так просто, будто речь шла о самой обыкновенной вещи.— А куда тебя потом отправят?

— В санаторий в горах.

— В какой?

— В Пайн Ридж.

— Да ну! — У Бетти даже лицо просияло.— Это тебе повезло! Я там была, когда меня во второй раз положили, ну, там здорово.

Она вздохнула при этом воспоминании.

— Там тогда одна молодежь была среди больных, ну и веселились же мы!

Она снова вздохнула.

— Это, наверно, самое лутшее время было в моей жизни.

Откинувшись на подушки, Джэн задумчиво глядела в потолок. Линда взглянула на нее с состраданием, и голос ее прозвучал мягче, чем обычно:

— Да, в этих смешанных санаториях совсем неплохо, хотя в самом лечении, конечно, приятного мало.

Она повернулась к Джэн.

— Твой врач, наверно, пользуется влиянием. Кто тебя лечит?

— Мёрчисон Лейд.

— А, старина Мёрч. Ну уж он для тебя что-нибудь да выцарапает.

— Он хороший врач?

— Считают, что он о ТБЦ больше всех в Австралии

знает. Один у него недостаток: он так много пациентов набирает, что всегда есть опасность, что он тебя перепутает с кем-нибудь из тех сорока тысяч больных, которых он взял под свое высокое покровительство. Конечно, если у тебя есть кто-нибудь, кто мог бы дать ему вовремя под зад коленкой, когда он о тебе будто совсем забывает, то лучше него врача и не придумаешь.

Джэн погрузилась в молчание. Бетти и Линда измеряли себе температуру и записывали ее в график с такой же привычной небрежностью, с какой другие девушки собираются на танцы или в кино. Все, что Джэн видела и слышала здесь, только еще больше угнетало ее.

— Посетителям сюда часто разрешено ходить? — спросила Джэн, решив хоть в мире здоровых искать опоры.

— Да пусть хоть все время здесь сидят: и днем, и вечером, и ночью, коли тебе этого хочется. Они с собой еду приносят — значит для больничной кладовки экономия, если тебе что нужно — они сделают, — значит персоналу полегче.

— Каждый вечер!

— Факт, — отрезала Линда. — Зверски часто. Будь на то моя воля, я б в такую больницу легла, куда посетителей только по воскресеньям пускают, с восьми до девяти утра — и все.

Бетти взглянула на подругу с удивлением.

— Ой, Лин, — пропищала она. — Подумай, Лин, сто бы мы делали без посесений?

Линда взяла книгу.

— Не было бы приемных часов, не замечали бы, что никто к нам не приходит.

Она установила поудобнее настольную лампу, поправила подушку и погрузилась в чтение, повернувшись спиной к двери.

— Если ты ожидаешь кого-нибудь, то тебе лучше начать прихорашиваться, они могут в любую минуту появиться.

Джэн начала готовиться с лихорадочной поспешностью. Она расчесала волосы, спадающие на плечи, тщательно напудрилась и старательно накрашила губы. Она повязала бантик на свою больничную курточку, а потом подумала, не повязать ли ей новый, потому что этот немножко помялся, когда она дремала перед завтраком.

Зазвенел колокольчик у входной двери. Джэн в последний раз глянула на себя в зеркало и в ожидании откинулась на подушку.

I

Барт осторожно переставлял ноги, направляясь от больничных ворот к домику по красной бетонированной дорожке. Ему казалось, что его солдатские ботинки гремят так, будто марширует целый полк. Вид грязноватого домика с верандами, сквозь спущенные полосатые маркизы которых проглядывали очертания кроватей, показался ему отвратительным. Он нажал кнопку дверного звонка. Послышалось нестройное дребезжание.

Никто не отзывался. Наконец, не дождавшись ответа, он, скрипя ботинками по линолеуму, на цыпочках прошел через прихожую и в неловком молчании остановился перед комнатой, где сидела женщина с добродушным лицом и обедала. «Должно быть, хозяйка», — подумал Барт, заметив спускавшуюся на ее плечи белую сестринскую кофточку.

— Простите, не мог бы я увидеть мисс Блейкли? — Он старался говорить как можно тише, приспосабливаясь к атмосфере больницы, и все же ему показалось, что голос его прозвучал требовательно и гулко.

Хозяйка кивнула.

— Третья дверь направо, вон та, которая закрыта. Когда войдете, затворите за собой снова, пожалуйста.

Он с минуту помялся перед дверью, потом постучал. Изнутри слабо донесся голос. Барт осторожно открыл дверь, и, когда он увидел сидевшую на постели Джэн и ее лицо, светившееся нетерпеливым ожиданием, убожество этой кошмарной обстановки отступило на второй план. Его тяжелые ботинки еще громче закрипели на натертом полу. Барт втиснулся между двумя койками; он испытывал чувство стыдливой неловкости из-за того, что чужая девушка на соседней койке, повернувшись к нему спиной, была совсем близко. Он положил перед Джэн коробку конфет и вечернюю газету и взял ее руки в свои. И когда он прикоснулся к ее рукам, давящий комок в его груди словно растаял.

— Привет! — Он надеялся, что хоть голос его прозвучит как обычно.

— Привет!

Он нагнулся и поцеловал ее, и, когда его губы прикоснулись к ее губам, он почувствовал, что первая минутная неловкость исчезает.

Он сидел у ее койки, держа ее руку в своих руках, они болтали о разных пустяках, привычных и утешительных. Повернувшись спиной к остальным, он старался не думать об этой ужасающей тесноте, и все же обстановка угнетала его.

— Довольно паршиво здесь, правда? — сказал он, украдкой взглядевшись.

— Да нет, здесь совсем не плохо.

— Тебе и правда удобно здесь?

— Ну конечно же, хорошо, Барт, — солгала она.

— А как тут насчет жратвы? Я узнавал в одном месте, и мне сказали, что еда — это главное, чтоб поправиться при этом... Ну, в общем при таком деле.

— Да, вполне прилично, — снова солгала Джэн.

— Ну вот, я тебе шоколадных конфет принес. Расправляйся с ними как можно скорей и набирай весу. Чем больше наберешь весу, тем лучше. А тесновато все же, а?

— Нет, что ты, места достаточно, правда, и знаешь, девочки говорят — мне страшно повезло, что я вообще попала в больницу. Потому что если твой врач не пользуется влиянием, то приходится долго-долго места ждать, месяцами.

И все жалобы, которые накопились у нее за это время и которыми она хотела поделиться с Бартом: и тесно здесь, и пища плохая, и ухода почти никакого нет — все эти жалобы замерли у нее на языке. Теперь ей хотелось только одного — убедить его, что все здесь отлично, в этой больнице, куда он устроил ее и за которую он платил деньги. И после того как он ушел, она долго лежала без сна в темноте, слушая, как хрипло дышит Бетти и как кто-то из больных на веранде громко храпит у них под окнами.

11

Она едва успела задремать, как пронзительный звон будильника вырвал ее из объятий сна. Она села на койке — сердце ее колотилось, что-то сдавило горло, нервы были напряжены. Потом над койкой Линды загорелся свет, и Бетти ворча перевернулась на другой бок. Линда с усмешкой взглянула на Джэн.

— Прости, что потревожила, но придется тебе к этому привыкать. Я предупреждала.

Да, она предупреждала, и теперь, лежа без сна, Джэн наблюдала, как они готовят шприцы к уколу. Пожалуй, ничто не подчеркивало так резко пропасти между нормальной

жизнью и ее теперешним положением, как эта полночная сцена; вместо сна ей приходится слушать приглушенную болтовню двух подружек, видеть поднятые в воздух шприцы, в которых, словно светлое вино, сверкает какая-то жидкость, вдыхать резкий запах спирта, когда они прижимают смоченную спиртом ватку к бедру. Потом Линда разразилась потоком беззлой ругани из-за того, что никак не могла найти у себя неискотого места. У Джэн захватило дыхание, когда они вонзили иглы шприцев себе в тело, она следила, как их лица застывали в напряжении, пока рука медленно нажимала поршень шприца. Наконец она услышала вздох облегчения — инъекция окончена.

Они выключили свет и снова улеглись спать, но Джэн потеряла всякую надежду уснуть. Храп на веранде за окном стал еще громче. Джэн сбросила одеяло, и все же ей было жарко. Громко тикал будильник. Она подумала о Дорин, которая спокойно спит сейчас одна в их квартирке, казавшейся настоящим дворцом по сравнению с Локлином. Она подумала о Барте. Ей вдруг показалось, что они уж больно поспешно отправили ее в санаторий. Наверно, они уже устали от нее. Наверно, они с Бартом и впрямь порядком надоели Дорин, ведь она не раз говорила об этом. Наверно, Дорин давно уже хотелось пожить, наконец, для себя. И Барт, наверно, тоже искал повод, чтобы избавиться от нее. Эти мысли проносились у нее в голове. И она ненавидела эти мысли, ненавидела себя за то, что думает так. Но нелепая логика, порожденная бессонной ночью и болезнью, нагромождала мучительные подозрения одно на другое. Нет, она им не нужна больше.

III

Светало. По улице прогрохотали бидоны молочника, прошлепали по мостовой чьи-то резиновые подошвы. Где-то в кухне загремели посудой. В Локлине начался новый день.

Прислуга принесла им по чашке жидкого чая. Бетти и Линда измерили температуру и отметили ее в графиках над своими кроватями.

Джэн тянула чуть теплый чай. Мысли ее незаметно перенеслись в лагучу, к Барту. На рассвете с озера прилетает ветер, вон уже и птицы защebetали на деревьях возле лагучи. И Барт дышит во сне рядом с ней. На мгновение стена, отгородившая ее от мира, расступилась, и Джэн снова была свободной. Свободной и счастливой. Все стра-

хи этой ночи показались ей смешными. Потом она снова ясно представила себе все, что сулит ей грядущий день. Счастливые видения потускнели, исчезли, и она опять глядела в темноту, как узник, самый настоящий узник, запертый в тюрьме. «Шесть месяцев»,— сказал врач. Шесть месяцев! Шесть невыносимых, шесть бесконечно долгих месяцев, в течение которых ей придется примириться с узким миром, где живут Бетти и Линда и другие, подобные им, что безропотно мирятся с этой тюрьмой. Но она не такая, как они, и она никогда не сможет примириться с этой тюрьмой.

ГЛАВА 11

I

Джэн лежала, неподвижно вытянувшись на волосяном матрасе, постеленном на столе в хозяйкиной комнате.

В животе у нее было какое-то странное ощущение пустоты — «будто бабочки в животе», так однажды сказал об этом Барт. И правда похоже, будто мириады нежных крылышек бьются там в отчаянии. «Глупо так бояться,— сказала она себе,—ничего в этом нет страшного». Доктор Мёрчисон Лейд подробно объяснил ей, в чем будет заключаться операция, но каждый раз, когда она видела его большие ловкие руки, легко скользившие над разложенными на столе инструментами, она с ужасом чувствовала, что ее вот-вот стошнит.

Доктор обменивался безразличными замечаниями с хозяйкой, устанавливая небольшой ящик, в котором стояли две бутылки с какой-то жидкостью и свернутые резиновые трубки, и раскладывая по столу иглы и антисептические средства. Джэн старалась не смотреть на инструменты.

«Не будь дурой,— повторяла она себе,— вот Линда говорит, что пневмоторакс перенести не страшнее, чем зуб вырвать». Она улыбнулась дрожащими губами. Нет, ничего страшного не будет. Вот перед ней была очередь Линды, и Линда вошла в приемную с такой небрежностью, будто она в туалет направлялась, а когда выходила, то она даже подмигнула Джэн и ободряюще кивнула ей.

С Джэн сдернули простыню, и она знала, что они видят, как дрожит ее тело, сверху обнаженное до пояса и закрытое снизу пижамой. Хозяйка потрепала ее по плечу с безразличной лаской, с какой гладят приبلудную собаку.

— Все будет в порядке. Ну-ка, повернись на бок, а руки заложь за голову, вот так. Чего ты дрожишь? Вот глупышка, правда, доктор?

Она продолжала болтать с профессиональной легкостью, и ее добродушная болтовня, заполнившая операционную, казалась здесь неуместной. Краем глаза Джэн видела, как хозяйка взяла бутылку с йодом и ватный тампон. Она стала смазывать ей кожу, и Джэн ощутила резкий сладковатый запах йода. Потом она увидела, как хозяйка подняла квадратную салфетку с отверстием посередине и положила ее на смазанную кожу на уровне груди. Сюда, наверное, они введут иглу.

Доктор Лейд наклонился над столом и своими твердыми пальцами пощупал ей пульс.

— Немножко нервничаем, а?

У него был какой-то слишком уж спокойный голос.

— Не надо волноваться, мисс Блейкли. При первой и второй процедуре мы сделаем вам местное обезболивание, так что вы ничего и не заметите.

Пот проступил у нее на теле, когда в него вошла игла, потом по телу разлилась немота. Доктор делал укол несколько раз, и с каждым разом она все меньше ощущала его. Доктор весело разговаривал с ней, так, будто ничего и не происходило.

«Не впадай в панику,— говорила она себе.— Тысячи людей проходят через это и проходят каждую неделю. Ничего страшного. Это поможет тебе поправиться. И скоро уже конец».

Но нервы ее не подчинялись больше рассудку. Все тело ее содрогалось. Она чувствовала, что рука доктора свободно лежит у нее на боку. Но голос его доносился откуда-то издали:

— А теперь не пугайтесь, мисс Блейкли. Это понятно, что вы в первый раз немного нервничаете, но здесь, право же, нет ничего страшного. Вы не почувствуете никакой боли, только небольшое давление, вот и все. А когда мы пройдем плевру и вы услышите хлопок, не беспокойтесь — это означает: все идет как полагается. Готовы?

Хозяйка сжала руку на ее пульсе. Туповатый укол иглы пронзительно отозвался у Джэн в боку. Потом она почувствовала давление. У нее было ужасное ощущение, ей казалось, будто ее грудная клетка вот-вот обрушится под давлением. Линда рассказывала ей, что кому-то во время пневмоторакса проткнули легкое, и сейчас этот рассказ вдруг всплыл в ее памяти. А вдруг они сделают слишком

резкое движение, игла пройдет слишком далеко и прорвет нежную ткань? А вдруг? Внезапно послышался хлопок. Слабость волной разлилась по телу. Она погружалась в темноту. Тело ее будто повисло где-то в пространстве. Боли не было — ничего, кроме тяжести давления. Как будто накачивали автомобильную шину. И ей представилось вдруг ее собственное тело, в которое, заполняя все, врывается воздух. Не то чтобы она действительно чувствовала, как врывается воздух. Она ощущала лишь ровное сильное давление. И боль порождал, скорее всего, ее собственный панический страх.

Ей показалось, что прошло много времени, прежде чем она почувствовала, как снова возвращается в комнату, прежде чем увидела, что сверху, удовлетворенно и деловито улыбаясь, на нее смотрит доктор. Он потрепал ее по руке.

— Ну, не так уж это страшно, правда? — спросил он с улыбкой.

И ей пришлось сделать усилие, чтобы вернуться к действительности и ответить ему, что нет, не так уж.

— Это всегда так, — сказала ей Линда, глядя на ее бледное лицо.

Джэн только что принесли обратно в палату, и сейчас она прихлебывала из чашки чай.

— Это всегда так: «Ну, не так уж это страшно, правда?» — она передразнивала доктора Мёрчисона Лейда. — Всем бы этим мерзавцам врачам хоть раз в нашей шкуре побывать. Тогда они бы не мололи столько ерунды и не были к тому же так чертовски, так невыразимо довольны собой.

11

Когда Дорин и Барт пришли к ней в тот вечер, они засыпали ее вопросами об операции:

— Ну как пневмоторакс? Страшно, да?

— Больно было?

— Да нет, только если быстро повернешься, то такое впечатление, будто воздух выходит, а потом он снова внутрь врывается.

— Но не больно?

— Нет, не больно.

Она видела, с каким облегчением они переглянулись, как просияли их глаза.

Потом время свидания подошло к концу, и оба они ушли, нежно поцеловав ее на прощанье и взглянув на нее с любовью в последний раз.

«Ничего, я пробуду здесь, в больнице, всего месяц, чтоб «дырку затянуло», а потом, потом — на шесть месяцев в санаторий. Придется выкинуть шесть месяцев из жизни на то, чтобы поправиться. Но ведь это только кусочек жизни. И когда я выйду отсюда, я об этом больше никогда и не вспомню. И когда я в санаторий попаду, то я тоже ни за что не примирюсь с этой жизнью».

Взгляд ее упал на Линду, и Джэн вспомнила, что та болеет уже пять лет, потом она взглянула на Бетти — Бетти три года из своих двадцати одного провела вот так. Мысль об этом привела ее в ужас. Слушая их рассказы о себе, она думала, сколько еще таких, как они, трое, живут себе и живут где-то в счастливом неведении, берут от жизни все, что выпадает на их долю, и вдруг наступает момент, когда они узнают о болезни и от этой страшной вести весь мир вдруг рушится, и болезнь выкидывает их из жизни.

ГЛАВА 12

I

Время ползло незаметно, и ей казалось, что жизнь ее резко поделена сейчас на две части: в одной находились Линда и Бетти, центром этой жизни была болезнь, о которой они постоянно думали и разговаривали, в другой — Дорин и Барт, и Джэн старалась перебросить мостик через эту пропасть, рассказывая им все время об этой ее первой, больничной, жизни.

— Еще одна неделька, — Барт сжал ее руку, — и в санаторий, а там уж не будет так плохо, я уверен.

Джэн кивнула, с трудом удерживая слова, которые рвались наружу. Санаторий был почти за сто километров от города. Ей казалось, что он расположен где-то в самой середине материка, где-то на другой планете. Джэн не решалась оторвать взгляд от лица Барта, потому что боялась, что потом, ночью, не сможет припомнить любимые черты. «Когда я остаюсь одна в темноте, — хотелось сказать ей, — я стараюсь вновь припомнить это ощущение: когда мои пальцы касаются твоего лица, когда я провожу по твоим волосам, туда, к виску, ощущаю жесткие кустики твоих волос...»

Но она не смогла произнести ни слова. Она только смотрела на него, не отрывая глаз, и знала, что потом, в темноте, воспоминанья эти послужат ей утешением.

— Подумать, три недели уже прошли.— Барт поднял ее руку и легонько потерся о нее щекой.— Не так уж страшно было, правда?

Джэн покачала головой.

— Да нет, не так уж.

Она даже улыбнулась, чтобы придать убедительности своим словам. А ей хотелось кричать во весь голос о том, что здесь, как в аду.

«Нет, не нужно, чтобы он знал об этом... Нужно и дальше притворяться, что все прекрасно. Не нужно его огорчать...»

Барт крепче сжал ее руку. Когда она улыбается вот так, кажется, будто солнце вдруг проглянуло после дождливой ночи. Еще пять месяцев без нее. И вдруг он понял, что ждать остается не пять, а целых шесть месяцев, и этот не принятый им в учет лишний месяц вдруг вывел его из себя. «Еще шесть месяцев, о боже, да я же совсем свихнусь! А может, врачи ошибаются? Может, теперь, после того как ей наложили пневмоторакс и поддули легкие и еще в том санатории будут поддувать каждые две недели, может, теперь дело пойдет быстрее? А потом, может, во всей этой белиберде, что городят медики, много самого обыкновенного шарлатанства. Напустить страху — это ведь они любят».

Глядя сейчас на Джэн, лежащую на подушках, невозможно было даже представить себе, что она больна. Он навидался смерти, смерти жестокой, насильственной. Он видел, как его дружки месяцами валялись по госпиталям, выздоравливая от ран и от малярии. Это было понятно. Они были больны, они и выглядели как больные, они и чувствовали себя больными. Но болезнь Джэн внешне никак не отражалась на ней, и тут уж он не мог ничего понять.

Внезапно его осенила мысль: «А почему бы ей не попробовать эту штуку, которой тех двух девушек лечат? Сколько б она ни стояла — лишь бы подействовала скорее».

— А как насчет этой штуки — стрептомицина, которым они лечатся? — тут же спросил он у Джэн.— Что, если и тебе попробовать?

Джэн покачала головой.

— Нет, это ужасно дорого.

— Черт с ней, с ценой. Сколько оно стоит?

Джэн страдальчески улыбнулась и покраснела:

— Что-то около четырехсот фунтов за весь курс.

— Ох, черт! — Барт был озадачен.

Джэн понизила голос:

— Родители Бетти заложили свой дом, а Линда, Линда говорит, что она заложила душу и тело...

Барт нахмурился. Четыре сотни монет — это чертова куча денег. Интересно, смог бы его отец получить такую ссуду в банке?

Джэн прервала его размышления:

— К счастью, нам об этом нечего беспокоиться... Говорят, что при таких случаях, как у меня, это не помогает. Это только, когда в горле, как у Линды, или как у Бетти — в бронхах...

Барт взглянул на круглое сияющее лицо Бетти, потом прислушался к ее хриплому дыханию. «Выглядит она не хуже, чем я,— подумал Барт,— а ведь она уже три года кочует по санаториям». Когда он взглянул на Линду, сердце у него сжалось, словно лист, попавший на язык пламени. Такое молодое и одновременно такое старое лицо. У нее это уже пять лет тянется. Нет, Джэн не станет такой. Они будут выполнять все — хоть он и не видел, в чем смысл этого курса лечения,— и через шесть месяцев Джэн будет здорова.

Конечно же, она будет здорова! «Шесть месяцев!» Он повторил про себя эти слова. Шесть месяцев ожидания. Когда-то он просто не смог бы примириться с этим, но сейчас это означало просто отсрочить то, чего ему так отчаянно хотелось — все равно, как лишиться увольнения в самый последний момент. Джэн не такая, как другие. В его теперешнем возбужденном состоянии была даже досада из-за того, что она не разрешила ему объявить об их помолвке. Он повторял это слово, удивляясь при этом своему совсем новому, непривычному ощущению. Он вспомнил, как парни возвращались в лагерь после отпуска с каким-то отсутствующим взглядом и вечными разговорами о помолвке. Ему это все казалось бредом собачьим. Помолвка! Ха, на кой черт! Зачем столько шуму из-за того, что человек вошел в это чистилище — промежуточное звено между радостями свободной любви и западной женитьбы? Ерунда какая-то. Но помолвка с Джэн — это совсем другое дело: как будто осязаемая связь выкована между ними. Она заставляет его теперь серьезнее относиться ко всему. Он как-то прочнее встал на ноги в жизни, стал думать о будущем. О господи, только бы Джэн теперь поправилась и пришел бы конец всем этим больницам!

У двери зазвонил специальный посетительский звонок. Барт наклонился к Джэн и поцеловал ее в губы долгим нежным поцелуем. Вначале она возражала против того, чтобы он целовал ее в губы, долгое время никак не соглашалась на это и отворачивалась, избегая его поцелуев. Но Барт отмахивался от всех ее возражений. Кто там еще будет указывать, целовать ему Джэн в губы или нет? Он прижимался губами к ее рту, как будто скрепляя этим поцелуем все, что было между ними.

После его ухода Джэн чувствовала, что на душе у нее стало легче. На одеяле лежал принесенный им букет роз. Лучше бы он не покупал цветов, они такие дорогие.

— А что твой дружок, никогда не слышал об инфекции?

Хриплый голос Линды прозвучал внезапно и пугающе, как раздастся иногда треск трамвайной дуги, которая, соскочив с провода, вдруг рассыпает сноп искр. В первый момент Джэн даже не поняла, что обращаются к ней, потом ей показалось, что кровь застыла у нее в жилах и появилось странное ощущение, будто кровь отливает от сердца и в сердце остается пустота. Линда сидела на койке, подняв шприц.

— Кто?.. Ты обо мне говоришь? — запинаясь, проговорила Джэн.

— Конечно, о тебе. К кому из нас приходит дружок, как не к тебе?

Она пристально смотрела на Джэн, и уголки ее рта кривились в усмешке.

Джэн будто окатили ледяной водой. Она провела языком по пересохшим губам.

— Ну так что: слышал он или нет?

— Нет, почему же, конечно, слышал.

— И он знает, что у тебя?

— Он знает обо мне все, что только можно знать.

Линда весело рассмеялась.

— Значит, он просто-напросто не знает, что такое чашотка. Он небось из тех здоровенных парней, которые больше руками действуют, чем головой.

Джэн снова показалось, будто сердце у нее останавливается и кровь застывает в жилах, она задыхалась.

— Если тебе это интересно, то у Барта голова тоже работает.

— Вот как? Ну что ж, тебе видней. Так или иначе, он, видимо, скоро и сам обнаружит, что когда начинается чашотка — «прощай, любовь!».

Джэн почувствовала, как вокруг наступило неловкое молчание.

— Ну, ну, — проговорила Линда. Ее хорошенькое ожесточенное личико было сосредоточенным — она делала себе укол, — ну, ну, у вас еще все впереди.

— Что впереди? — Слова эти, словно выстрел, прозвучали в ушах Джэн, когда она произнесла их вслух.

Линда не ответила.

II

Джэн покидала Локлин. Она сидела на краешке кровати и смотрела, как Дорин вынимает из шкафчика ее вещи и аккуратно упаковывает их в чемодан. Ей не верилось, что она уезжает отсюда и что она пробыла здесь всего каких-нибудь пять недель. Так, должно быть, чувствуют себя заключенные, выходя из тюрьмы.

«Больше никогда в жизни, — думала она, глядя на сестру, проверявшую, все ли вещи она уложила, — больше никогда в жизни не заставят меня лечь в такую больницу. Здесь хуже, чем в тюрьме, потому что там хоть все преступники, а здесь только на нас троих клеймо. К тому же в тюрьме хоть есть камеры-одиночки».

Глядя на серьезное лицо Дорин, на аккуратные завитки ее темных каштановых волос, выглядывающие из-под элегантной шляпки, Джэн чувствовала прилив благодарности и любви к сестре за все, чем она была для нее, за ее доброту и сочувствие, испытывала огромную радость от того, что Дорин ей всегда поможет, что бы с ней ни случилось.

Дорин подняла голову.

— Вот и все.

Джэн нагнулась поцеловать Бетти, полную и хорошенькую в стеганой больничной курточке.

— До свидания, Бетти, до встречи. Желаю тебе поскорей покончить со своим стрептомицином!

— Бозе мой, какое это сцъстье будет! — восторженно взвизгнула Бетти. — Я как подумаю, сто мне осталось только сто уколов и сто я больсе двухсот узе сделала, так просто поверить в это не могу.

— Еще бы! — Линда стряхнула пепел, целясь в пепельницу. — Первые пятьсот уколов всегда самые трудные.

Джэн стояла у своей кровати.

— До свидания, Линда.

Линда подняла на нее ясные жесткие глаза.

— До свидания! Жаль, что уходишь.

Джэн колебалась. Она не знала, протягивать ей руку Линде или нет. Линда сама разрешила эту проблему, подняв с покрывала книгу и повернувшись спиной, так что Джэн видела только ее вызывающе поднятое плечо и впалую щеку.

Джэн помялась в дверях, еще раз взглянув на маленькую комнатку, уже нагретую жарким послеполуденным солнцем.

— До свидания, девочки,— сказала она громко,— желаю вам удачи!

— Тебе тоже, Дзэн,— прошепелявил тонкий голосок Бетти.

— Желаю удачи, Линда,— повторила Джэн.

— Тебе тоже,— бросила Линда через плечо.— Что-что, а удача нам понадобится.

Хозяйка помахала им на прощание из дверей столовой, служившей одновременно и конторой, и приемной, и операционной. Джэн старалась смотреть только вперед, прямо перед собой, чтобы не видеть через открытые двери по сторонам вестибюля тесноту убогих комнатушек, заставленных кроватями. Она старалась сдерживать дыхание, чтобы не слышать одуряющего запаха дезинфекции. И, выйдя из дому, она, как узник, вышедший из тюрьмы, полной грудью вдохнула свежий сладковатый аромат садика перед домом. По обе стороны узкой, мощенной плитами дорожки ярко зеленела трава, цвели исландские маки. И только уже позолоченная увяданием листва тополя у ворот, без умолку шелестевшая и трепетавшая в порывах легкого ветерка, трепавшего волосы Джэн,— только эта желтеющая листва напомнила ей, что прошло уже много-много дней с той поры, когда она впервые вошла в эти ворота и когда тополь был зеленым и по-летнему свежим. Желто-золотистый лист, медленно кружась, упал к ее ногам. И когда она осторожно нагнулась, чтоб поднять его, воздух как будто перекатился в ее груди.



Пайн Ридж дремал на пустынном склоне Голубых гор, укрывшись за стеной стройных сосен, вздымавшихся в небо на западе. А внизу, под ним, заросшие лесом долины сбегали к прибрежным равнинам и к морю.

Сестра Воон отвела их в миленькую комнату, двери которой выходили на широкую веранду. По сравнению с тесной палатой в Локлине эта просторная комната на двоих, с широкими окнами, не заставленная лишней мебелью, казалась сущим раем. Но для Джэн это была лишь новая тюрьма.

Казалось, что мертвенная тишина, застывшая над Пайн Риджем, порождена самим санаторием и была его неотъемлемой частью, так же как синяя дымка над долинами — извечной и неотъемлемой принадлежностью этих гор.

— Вы приехали в тихий час — час отдыха, вот почему так спокойно, — объяснила сестра. — В другое время больные тут развлекаются вовсю. Уверена, что вам здесь понравится.

Она дружелюбно улыбалась, и казалось, что она и на самом деле вам рада. Но ничто не могло рассеять подавленного настроения Джэн. И что бы сна ни слышала, звучало для нее сейчас как смертный приговор. Да и как ей может понравиться здесь?

Больные отдыхали на веранде в плетеных креслах. Большинство из них лежало с закрытыми глазами, но Джэн знала, что они с любопытством наблюдают за новенькой. По их внешнему виду никак нельзя было сказать, что они больны. И в том, что совершенно здоровые на вид люди лежат молча, расслабленно и даже не читают, было что-то противоестественное.

Позади них, из дальней комнаты, раздался кашель. Такого кашля она никогда не слышала: он был тихий и влажный, словно что-то булькало у человека в груди, и он все продолжался и продолжался без конца, и Джэн захотелось убежать прочь, чтобы не слышать его.

Но сестра Воон, казалось, и не замечала его.

— А это наш растрепан Рэфлз,— сказала она весело и, нагнувшись, стала гладить за ушами маленькую длинношерстную собачку, которая подбежала к ним, с любопытством глядя на новых людей.

— Это хозяйкин, и он требует, чтоб ему представляли всех новых больных. Это мисс Блейкли, Рэфлз.

Рэфлз вопросительно взглянул на Джэн сквозь космы, свисавшие ему на глаза, и затрусил в комнату.

Тишина окутывала спускавшийся террасой сад, в котором вязы уже сыпали пожелтевшими листьями и грозды рябины, как факелы, пылали на голых ветвях. Густой золотистый солнечный свет сочился сквозь лапы сосен, и, когда они чуть шелестели под ветерком, казалось, что это лишь поворачивается в своем сне окутавшая все тишина. Барт привлек к себе Джэн, и голова ее опустилась ему на плечо.

Дорин осторожно, на цыпочках прошла через веранду, словно боясь, что резкий стук каблучков прозвучит святотатственно в этой тишине. Она вдохнула свежий, терпкий, прозрачный воздух, напоенный смолистым запахом сосен.

— Я б и сама не возражала провести здесь полгода,— сказала она мечтательно.— Особенно когда подумаешь о том, что надо возвращаться в контору и в нашу вонючую конуру.

Голос ее растаял и замер в тиши. В небе над ними с жалобным криком проплыл куравонг, и, когда его звонкий клич замер вдали, окружавшая их тишина показалась еще глубже, задумчивее, чем раньше.

«Шесть месяцев!» Слова эти отзывались болью в ее душе. Барт чувствовал, как она дрожит, прижавшись к его груди. Стиснув зубы, она повторяла про себя, как молитву: «Господи, не дай мне расплакаться, пока они здесь. Я не должна плакать при них, они так добры ко мне».

Барт подхватил ее под руки и, обняв, прислонил к барьеру веранды.

— Шесть месяцев пронесутся незаметно. Не успеешь оглянуться, как деревья снова развешат свои листья и скажут, что весна пришла и что тебе пора домой.

Джэн с трудом глотнула, стараясь справиться с комком в горле. Она едва преодолевала неудержимое желание броситься к нему на грудь и умолять его, чтоб он забрал ее отсюда.

— Мы будем приезжать к тебе каждую неделю, правда ведь, Дорин?

Он крепко держал Джэн за руки.

— Ну конечно,— отозвалась Дорин.

— И скоро ты заведешь себе здесь друзей,— продолжал Барт.— А если в комнате на двоих тебе скучно покажется, то мы попробуем договориться, чтоб тебя поместили к молодежи. Хозяйка говорит, что здесь много девушек примерно твоего возраста.

Джэн долгим взглядом посмотрела на Дорин, потом на Барта. У Дорин глаза были полны слез и дрожал подбородок.

Барт обнял Джэн, и она почувствовала, как тает комок у нее в горле.

— Да, конечно же, у меня все будет в порядке. В Локлине все говорили, что мне страшно повезло, что я сюда попала.

Она говорила первое, что приходило ей на ум, только чтоб не молчать.

У Дорин успокоенно просветлело лицо. Она взглянула на часы.

— Такси скоро подойдет, и я выну твои вещи, и вы с Бартом можете удрать на минуту в сад, потому что, насколько я понял из хозяйкиных слов, она тебя сразу уложит в постель, как только мы уйдем. Так что ты пока хоть немного осмотришь.

Она пошла в комнату, а Барт и Джэн медленно спустились по ступенькам и направились через полянку к деревьям. Здесь они отыскивали скамью, спрятанную за серыми лапами ели, сели на нее в молчании, взявшись за руки, и тишина обступила их со всех сторон. Багрянец ближних долин переходил дальше в синеватую дымку холмов, которые терялись где-то у горизонта среди причудливых облачных замков, низко нависавших над землей.

Джэн первая заговорила, запинаясь на каждом слове:

— Спасибо тебе, Барт, за все. Ты был так добр ко мне, Барт, страшно много хорошего сделал для меня.

Он привлек ее к себе и держал, неуклюже обняв, будто оберегая от кого-то. Потом чуть-чуть наклонил ее лицо и стал целовать, целовать — в кончик носа, в подбородок. Наконец он прижался губами к ее губам и стал считать поцелуи.

-- Это за каждый день, что ты проведешь без меня, до следующего приезда. А теперь я скажу тебе кое-что по секрету, только обещай, что никому не расскажешь.

Она кивнула. Она смотрела ему в лицо и видела, как бьется жилка у него на щеке. Он нежно потерся носом о ее нос.

— Я люблю тебя, Джэн.

Она прикрыла глаза.

— Ты слышишь меня?

И вдруг она спрятала лицо у него на плече и разразилась неуправляемым потоком слез, как будто они могли смыть все тревоги, всю неуверенность и беспокойство. Он вынул измятый носовой платок и утер ей слезы.

— Ну, ну, глупышка,— сказал он дрогнувшим голосом.— Ну, ну, уж не хочешь ли ты, чтоб меня выставили за то, что я расстраиваю больных?

Он поднес носовой платок к ее носу; она изо всех сил старалась успокоиться.

— А ну, давайте, мисс Блейкли, дуйте сильнее...

Джэн высморкалась. Взглянув на нее, Барт покачал головой.

— Бог ты мой, ну и видик у тебя! И запомни, что одним «спасибо» от меня не отделаешься. Я потребую более ощутимой благодарности. Так что настройся на то, чтобы выживать по-настоящему и поскорее, ясно?

— Ясно.

— И запомни, что я о собственном будущем думаю и в конце концов я твердо намерен получить свой фунт мяса.

Он прижался щекою к ее щеке, и на мгновение они замерли среди ярких солнечных бликов и зубчатых теней еловых лап.

— И я хочу, чтоб мясо это было не тощее, а вполне приличное и упитанное. Так что сразу же принимайтесь за работу, мисс Блейкли, не то я приеду, сам сниму с вас штанишки и всыплю вам по одному месту по первое число, ей-ей!..

Джэн махала им вслед, пока за поворотом не исчезли такси и трепыхавшийся на фоне оливково-зеленого кустарника солдатский носовой платок Барта. Потом Джэн вернулась в комнату и стала медленно раздеваться. Растрепанная Рэфлз следил за ней из-под соседней кровати.

ГЛАВА 14

I

Шли недели, и Джэн все больше привыкала к жизни в санатории. Вещи, которые ужасали ее вначале, постепенно вошли в ее повседневную жизнь. Против воли она обнаруживала, что усваивает привычки других пациентов, с интересом вникает во все подробности их лечения и даже перенимает словечки из их жаргона.

Конечно же, после Локлина Пайн Ридж казался раем. В Локлине ты был парией — здесь же к тебе относились так, будто болезнь ставила тебя в привилегированное положение. Жизнь подчинялась требованиям твоей болезни, а сам ты подчинялся предписанному врачом порядку.

Сначала ей казалось, что она никогда не научится соблюдать часы отдыха — лежать неподвижно с половины одиннадцатого до половины первого — в это время не разрешалось читать, а второй час нельзя было и разговаривать, потом с половины второго до половины третьего лежать плашмя, и на это время с кровати убирали подушки, и, наконец, снова лежать в постели или в шезлонге с половины пятого до половины шестого.

Ходячие больные устраивались в шезлонгах в саду или на веранде. Ей казалось нелепым, что взрослые мужчины и женщины, которые до этого смеялись или болтали, собравшись кружком, вдруг по звонку колокольчика поднимаются и, как дети, послушно отправляются на отдых.

Потом невидимые цепи как будто приковывают тебя к постели, и тишина воцаряется над Пайн Риджем, словно стеклянный колпак отгораживая его от внешнего мира. А через раскрытую дверь и окно видно, как сверкают густая синева долины и прозрачный голубой купол неба.

— Я сойду с ума, — произнесла она вслух.

Она лежала, вытянувшись на постели в неудобной, напряженной позе, крепко закрыв глаза, и тщетно пыталась прогнать одолевавшие ее тяжелые мысли, отгородиться от окружающего мира.

— Скоро привыкнете, — отозвалась миссис Карлтон, ее соседка по комнате. — Это ведь входит в курс лечения. Через некоторое время вы, как и все мы, научитесь принимать это как должное.

Джэн застыла, вытянувшись и крепко закрыв глаза, и думала, как только могут люди даже говорить о том, чтобы принимать все это как должное. Да, именно так относились к своему положению Линда и Бетти. А теперь и миссис Карлтон говорит, что надо принимать это как должное. Правила гласили, что следует лежать в постели неподвижно и отдыхать, для того чтобы поправиться. Да, она будет лежать неподвижно и стараться поправиться. Это входит в курс лечения, так же как и обучение искусству экономить энергию при ходьбе. Все это и еще многое другое придется выполнять, если хочешь выписаться из санатория через шесть месяцев. А она выпишется через шесть меся-

цев. Она выздоровеет. И она ни за что не хочет принимать все это как должное.

Казалось, что тишина в Пайн Ридже осязаема. Она была не просто результатом отсутствия всех звуков, она была сама по себе реальным свойством, менявшимся, скажем, с изменением погоды. Когда осеннее солнце заливало бурые гребни гор, тишина была совсем не похожа на ту, что воцарялась вокруг, когда горы обволакивал туман. В солнечный день крики птиц и пыхтение далекого поезда доносились с потрясающей ясностью, в тумане все звуки казались приглушенными — даже крики бесчисленных куравонгов, свивших гнезда на деревьях около дома, звучали приглушенно и тоскливо.

По ночам темный купол неба опускался на гребни окружающих гор, в густом мраке чернели долины, дальние отроги, переливаясь, светились огоньками городов и селений, а совсем далеко на востоке в небе сияла алмазная россыпь огней Сиднея.

Лежа ночью без сна в тишине уснувшего дома, она видела, как там, вдали, сад, темнея, сливается с долиной и долина сливается с мраком, а надо всем, иссиня-черное и бархатистое, как налет на плодах сливы, покоится небо, так щедро усыпанное звездами, что кажется: протяни руку — и сорвешь звезду. А порой ей казалось, что все вокруг лишь затаилось в молчании.

Время в Пайн Ридже текло совсем не так, как всюду, как до сих пор. Время больше не поддавалось измерению ни ручными часиками, ни стенными часами, ни календарем. И шесть месяцев теперь не казались ей таким долгим сроком, потому что, например, соседка ее, миссис Карлтон, провела в постели полтора года. И шесть месяцев покажутся сущим пустяком, если вспомнить, что по соседству с ними жила девушка одних с ней лет, которая уже в третий раз ложилась сюда на шесть месяцев. Леонард, спокойный темноволосый мужчина, с которым она познакомилась в первый день, пробыл здесь уже три года, и, когда он начинал рассказывать ей об этом, ее собственный срок — от осени до весны — начинал сжиматься в ее представлении, как сжимается гармошка-концертино, и тогда ей казалось, что его можно прикрыть ладонью.

Шесть месяцев! Этот срок начинал казаться ей бесконечным, лишь когда она думала о Барте. И снова мысль о долгой разлуке потрясала ее. Нет, их больше нельзя было накрыть ладонью руки, эти шесть месяцев, нельзя было объять умом.

Когда она думала о том, что не увидит Барта от воскресенья до воскресенья — семь невыносимо и нескончаемо долгих дней, в которых минуты и даже секунды плыли медленней, чем опадающие с деревьев пожелтевшие листья плывут в неподвижном воздухе, когда она думала об этом, время становилось неповоротливым и ленивым, как ход часов, в которых повреждена пружина, но которые идут, если их потрясти, и тикают лениво и глухо, пока не иссякнет инерция толчка.

Бывали и моменты, когда время становилось словно тень на горах: кажется, что она стоит неподвижно весь день, хотя раскаленное солнце продолжает свой путь по небу и, закончив его, скрывается за темной грядой гор. В такие дни время застывало на месте. Были ночи, когда ей казалось, что застывали на месте и звезды, видневшиеся через дверной проем. Тогда время переставало существовать совсем, звук дальнего поезда проносился мимо, словно комета в космическом пространстве, и пылающие перья его паровоза были хвостом кометы, чертившим свой след в небе. На мгновение она застывала в напряженном ожидании.

В Локлине ты был словно пассажир поезда, набитого до отказа случайными попутчиками и мчащегося с сумасшедшей скоростью от одной станции к другой. Здесь ты был пассажиром поезда, поставленного на запасный путь и стоящего там в кромешной тьме в ожидании рейса неизвестно куда, неизвестно зачем.

Тишина уснувшего дома таила в себе угрозу. Невозможно было забыть, зачем ты здесь, потому что то и дело где-то рядом раздавался кашель. То девушка в крайней комнате раздражалась влажным и мягким хлюпающим кашлем, то мужчина из палаты, выходявшей на веранду, громко хрипел, словно задыхаясь. Эти звуки пугали. «Что там с ними?» — мучилась она. Она в отчаянии молила, чтоб здесь оказалась ночная няня, которая подошла бы к ним и успокоила, хотя бы одним своим присутствием. Но ночных нянь в Пайн Ридже не было. Если тебе нужно было что-нибудь, приходилось заботиться обо всем самой. Один за другим вспыхивали среди ночной тьмы бледные огоньки: это больные включали надкроватные лампочки. Конечно, оставалась еще кнопка звонка, но никто никогда не звонил в него.

— Лучше уж пусть найдут мертвой поутру, — говорила с улыбкой миссис Карлтон, — тебе же меньше хлопот.

В эти бессонные ночи присутствие миссис Карлтон, ее тихий шепот защищали Джэн от смутного страха, в котором она никому не признавалась, даже самой себе.

Однажды, уже к концу первого месяца пребывания в Пайн Ридже, она пробудилась рано утром от кошмарного сна. Ей снилось, что она мчится по нескончаемо длинным коридорам, пытаясь скрыться от какого-то страшного чудовища. Миссис Карлтон зажгла свет над своей кроватью. Она лежала с термометром во рту, ее темные волосы разметались по белоснежной подушке. Джэн привстала и взяла свой термометр. Процедура измерения температуры утром в половине седьмого и потом, вечером, снова, казалась ей поначалу какой-то детской игрой, предназначавшейся для того, чтобы как-нибудь убить время.

Но потом она приучилась выполнять весь ритуал с такой же торжественной серьезностью, как и миссис Карлтон, — записывать температуру на графике, висевшем над кроватью, и следить со все возрастающим интересом за ее изменениями — то за дневным повышением температуры, то за ее средненедельным падением. Миссис Карлтон познакомилась со здешним распорядком и процедурами лучше, чем это сделала сама хозяйка или издерганный санаторский персонал, потому что в Пайн Ридже так же, как и в Локлине, было слишком мало сестер и слишком много работы.

Сейчас миссис Карлтон лежала, откинувшись на подушки, с термометром во рту, и взгляд ее был устремлен в распахнутое окно. Рассвет уже обагрил горные отроги, и зажатая между ними долина, покрытая густой и мягкой пеленой тумана, походила на заснеженное поле. На востоке солнце осветило рваную гряду пушистых облаков, чуть позолотив их края — округлые и легкие, словно лепестки. Миссис Карлтон протянула тоненькую хрупкую руку и выключила свет. Ее широко расставленные серые глаза блестели. Джэн подумала, что даже теперь, исхудавшая, изможденная, с запавшими щеками, худобу которых еще больше подчеркивают выступающие скулы, она была красива. И была в ней какая-то светлая и ясная безмятежность, которой Джэн никогда еще не встречала в людях.

Будто читая мысли Джэн, миссис Карлтон повернула голову, и взгляды их встретились. Когда миссис Карлтон взглянет на тебя, так это лучше поцелуя: столько в ее взгляде теплоты и понимания, что слова становятся ненужными.

Миссис Карлтон вынула термометр изо рта и взглянула на ртутный столбик. Ровные дуги ее бровей насмешливо дрогнули. Вложив термометр в чехол, она юркнула под

одеяло и, устроившись поудобнее, повернулась лицом к Джэн.

Снаружи солнечный луч пробился через просвет в облаках, и теперь оттуда, как из проекционной камеры, струился вниз яркий золотой поток света. Он заставил переливаться перламутром туман, заполнявший долину, и до блеска высветил гряды песчаника. Влажный туман заплыл в комнату и, словно благословение утра, коснулся их лиц.

— Вы сегодня выглядите лучше.

Миссис Карлтон произнесла это медленно и спокойно.

— Да я и чувствую себя лучше. Хотя когда вы меня разбудили, за мной какое-то чудовище гналось по темным коридорам. А что за чудовище, я так и не разглядела.

Миссис Карлтон улыбнулась. Когда она улыбалась, казалось, будто солнце проглядывает сквозь утренний туман.

— Уверена, что Фрейд¹ нашел бы этому какое-нибудь ужасное объяснение. А по-моему, все это из-за тех сосисок, что вы вчера ели за ужином.

— Сосиски, — Джэн с отвращением наморщила носик. — Когда я отсюда выберусь, я больше ни за что на свете к сосискам не притронусь.

— Мне бы хотелось записать на пластинку голос хозяйки, когда она щупает мой пульс во время обхода и при этом трещит, как пулемет: «сосиски, яичница, шкварки», и потом, если бы у меня появилось желание на что-нибудь жаловаться, мне бы только стоило поставить эту пластинку и услышать ее голос: «шкварки, сосиски, яичница», как у меня бы раз и навсегда пропало желание ворчать.

— И как это она может сразу и считать пульс и меню заказывать? — усомнилась Джэн.

— Мне это тоже приходило в голову, но в конце концов какое это все имеет значение? Ведь ее не особенно интересует, какой там у нас пульс и сколько она насчитает, зато ее очень интересует, что заказать на обед, потому что это отразится на ее счете в банке.

— Неужели она и впрямь такая корыстная?

Миссис Карлтон вскинула брови и задумчиво прищелкнула языком.

— Не знаю, насколько это подходящее слово — корыстная? Вся беда в том, что обычно в нашем представлении такие санатории связаны с принципами гуманности,

¹ Фрейд Зигмунд (1856—1939), австрийский врач-психиатр и психолог.

тогда как на самом деле они основаны лишь на принципах частной прибыли. В конце концов частный санаторий подобного типа — это нечто вроде пансиона, с той только разницей, что отсюда ты не можешь уехать, когда тебе захочется, потому что если ты отсюда уедешь, то куда ты денешься потом? Когда я захотела приехать сюда во второй раз, мне пришлось ждать несколько месяцев, пока освободится место.

— А я бы лучше домой уехала.

За окном светало, и Джэн сидела на постели, ожесточенно расчесывая волосы.

— А если нет дома, куда можно было бы поехать? — миссис Карлтон произнесла это так спокойно, будто разговор шел о сегодняшнем меню, но у Джэн холодок пробежал по спине от этих слов: ведь если бы не было Дорин и Барта, она тоже могла стать бездомной. Сердце захолоуло у нее при мысли о собственной незащищенности. А что, если Дорин выйдет замуж и уедет? А что, если Барт разлюбил ее, устав от ожидания, от волнений, от бесконечных расходов? А что, если бремя обязательств, которое он с такой готовностью взвалил на себя, покажется ему слишком тяжким? И что, если в один прекрасный день она перестанет быть для него той Джэн, которую он полюбил когда-то, и превратится в больную Джэнет Блейкли, для которой теперь только и существует в жизни, что красная кривая температуры в графике над кроватью да темное пятно на рентгеновском снимке?

II

Прикованные к постели, они узнавали о жизни Пайн Риджа через ходячих больных. Все утро, после первого тихого часа, ходячие бродили взад и вперед по веранде своим медленным, размеренным шагом и весело окликали тех, кто не вставал с постели. То один из них, то другой заглядывал в комнаты лежащих, посвящая их в новые санаторские сплетни. Постепенно в санатории выработался свой собственный специфический образ жизни. Отрезанные от внешнего мира, оторванные от своих прежних занятий, скованные распорядком лечения, больные постепенно приходили к признанию новых ценностей, новых интересов в жизни. Джэн наблюдала за ними и поначалу старалась держаться особняком: прислушивалась к их разговорам, но не принимала в них участия — она не хотела становиться такой, как они.

После завтрака у них в комнате собралось несколько больных. Леонард Мэкстон говорил о музыке. Накануне вечером он и миссис Карлтон слушали скрипичный концерт по ее приемнику.

Рода, флегматичная блондинка с ослепительно красивым лицом и тяжелыми золотыми косами, лениво растянувшись в шезлонге, мечтательно тянула сигарету под их разговор. Леонард был темноволосый, невысокий и коренастый мужчина с могучими плечами. Лицо у него было рябое, а темная борода казалась синей на бледном лице. Иногда Джэн казалось, что она в жизни не видела мужчины некрасивее его. Больше всего он был похож на боксера, и у Джэн почему-то никак не укладывалась в сознании мысль, что он был музыкантом и играл в оркестре первую скрипку до того, как чахотка скрутила его и заставила бросить оркестр. В последние восемь лет жизнь его походила на цепь, звенья которой разрывались одно за другим. Некоторое время эта цепь выдерживала натиск жизни, потом обрывалась, и он возвращался на очередные «шесть месяцев», пока каверна в легких не затягивалась и он не получал возможности снова вернуться в жизнь.

В конце войны, как рассказывала миссис Карлтон, он подорвал здоровье во время долгого гастрольного турне на островах, где он выступал с концертной бригадой перед войсками. Он вернулся в Пайн Ридж, и в тот год, что он был в санатории, жена его убежала с капитаном американской армии. Когда Джэн услышала эту историю, ей стало понятным многое в Леонарде. Вот почему, наверное, он пускается время от времени в запой и пропадает на несколько дней.

Каждый раз, когда Джэн и миссис Карлтон включали передачу «Для любителей музыки», в комнате незаметно появлялся Леонард, и все трое в молчании внимательно слушали музыку.

Сегодня, после того как смолкли последние звуки симфонии, Леонард вдруг заговорил о знаменитых дирижерах. Когда он рассказывал, с лица его на мгновение спадала маска напускного цинизма, и перед Джэн предстал мягкий, тонкий и добрый человек, когда-то мечтавший стать великим скрипачом. Он перешел к дням своей учебы в Лейпциге, потом вдруг замолчал. «Нет, я бы не сдалась так легко», — подумала про себя Джэн.

— А по-моему, это глупо — не делать того, что тебе хочется, — вдруг выпалила она и замолчала, потому что

слова ее прозвучали осуждающе, а она вовсе не хотела этого.

Он поднял на нее взгляд и улыбнулся. Его неровные зубы крепко сжимали мундштук трубки. Он неторопливо вынул трубку изо рта и полушутливо, полусерьезно погрозил ею Джэн.

— Беда ваша в том,— сказал он с деланной веселостью,— что вы до сих пор не осознали еще необходимости соразмерять свои желания со своими возможностями.

— Вовсе нет,— запротестовала Джэн, гоня от себя эту мысль.

— Вы злюка, Леонард,— ласково улыбнулась ему миссис Карлтон,— настоящий ворчливый старикашка профессор. На меня ваше брюзжание не производит никакого впечатления, и я не позволю вам отыгрываться на Джэн. А что до меня, то мне бы только хотелось стать преуспевающим хроником, вот и все.

Ее блестящие глаза задумчиво глядели из-под ровных бровей. Для Джэн эти слова как будто приподняли завесу и открыли перед ней будущее, от которого она в ужасе отшатнулась. Как можно мечтать о том, чтобы стать хроником!

— Вы романтичны,— сказал Леонард, и оба они улыбнулись.— Прямо как Кэтрин Мэнсфилд!¹

— Нет, нет! — миссис Карлтон протестующе покачала головой и заговорила с необычайной для нее горячностью:

— Нет, нет, вовсе не как Кэтрин Мэнсфилд! Она умерла в тридцать четыре. А я хочу быть хроником, как Вольтер, и дожить до девяноста.

И за этими словами, произнесенными с такой легкостью, угадывалась твердая убежденность. Рода закурила новую сигарету.

— Боже, до чего же вы оба веселая компания! — протянула она лениво.— А я вот собираюсь поправиться, отряхнуть санаторную пыль со своих туфелек тридцать седьмого размера, потом найти себе мужика поздоровее, остепениться и завести шестерых детей.

— Я буду крестной матерью у первого,— сказала миссис Карлтон.

— А я у остальных пяти,— подхватил Леонард.

Рода подняла руки над головой и, откинувшись в шезлонге, мечтательно устремила взгляд в потолок.

¹ Мэнсфилд Кэтрин (1888—1923) — английская писательница, умерла от туберкулеза.

«Она как прекрасная статуя,— подумала Джэн,— и она выглядит такой сильной. Никогда б не поверила, что она больна».

Послышался стук в дверь, выходящую в коридор.

— Войдите,— отозвалась миссис Карлтон.

В дверях показалось загорелое лицо, увенчанное шапкой непричесанных светлых волос.

— Входите, Макс,— миссис Карлтон протянула ему руку.

Леонард помахал ему трубкой.

— А, привет, Макс! Мы ожидали вас еще в понедельник.

Макс Ковентри осклабился.

— Об этом вполне недвусмысленно заявила и хозяйка. А я-то думал, что она будет рада поэкономить пару дней на моем рационе.

Миссис Карлтон покачала головой.

— Ну, какой вы нехороший, Макс! А что вы делали все это время?

Макс приложил палец к губам. Рода открыла глаза.

— Скажите, ваше опоздание случайно не связано с тем, что у сестры Воон был вчера выходной?

Макс закрыл ей рот ладонью.

— Тсс,— прошептал он,— ну просто шпионка!

Рода дружелюбно отвела его руку.

— Что ж, не виню вас — она милая.

— Она чудесная,— глаза его засияли.

Он положил чемодан на постель.

— А теперь перейдем к поручениям. Кажется, привез все, о чем просили.

И он принялся раскладывать свертки.

ГЛАВА 16

1

Сестра Воон просунула голову в их палату.

— Доктор Мёрчисон Лейд уже здесь, Джэн. Тебе лучше подготовиться.

Джэн встала с постели, почувствовав, что теперь, как и в первый раз, у нее сдавило горло, а внутри будто что-то стало царапаться от страха — «бабочки в животе». Сестра Воон принесла ей халат и помогла одеться.

— Время еще есть, не спеши,— успокаивала она,— и не надо волноваться.

Но руки у нее дрожали, когда она застегивала халат, и она никак не могла успокоиться.

Сестра Воон сжала ее руку.

— А теперь иди в столовую. Доктор Мёрчисон Лейд еще пьет чай. Так что можешь не спешить.

Ежемесячное посещение доктора Мёрчисона Лейда всегда действовало на Пайн Ридж, как разряд электрического тока. Подъехав на «ролс-ройсе», он проходил через вестибюль, и шаги его гулко отдавались в здании. Потом в гостиной он, казалось, едва успевал проглотить приготовленную для него хозяйкой чашку чаю.

Джэн медленно шла через вестибюль. Сестра Воон — милочка, ее улыбка делает предстоящую процедуру хоть чуточку менее страшной.

— Не заставляйте доктора ждать, — говорила хозяйка, торопя больных и сзывая их с веранды в комнаты. — Помните, что вы не одни у доктора. Отсюда до Спрингвуда у него по меньшей мере еще тридцать больных, которых надо навестить, так что не заставляйте его тратить время понапрасну.

Доктор Лейд быстро вошел в комнату, поспешно и деловито пожал Джэн руку, похвалил ее за то, что она прибавила в весе, обменялся несколькими словами с хозяйкой по поводу того, что температура у Джэн падает, и приготовился к поддуванию.

— Хозяйка жалуется, что вы не отдыхаете как следует, дорогая, — сказал он, глядя на нее сверху вниз с тем же недовольным выражением, с каким обычно смотрел на нее хозяин в конторе, когда ругал за ошибки при перепечатке. — Отдых, дорогая моя, и еще раз отдых. Это один из важнейших факторов. При такой болезни, как ваша, лечат три доктора, — он улыбнулся, предваряя собственную шутку, — я имею в виду не себя, своего помощника и рентгенолога, который делает снимок, нет, я имею в виду трех других докторов: доктора Отдыха, доктора Диету и доктора Свежий Воздух.

Джэн пыталась вслушиваться в его слова, но ей с трудом удавалось подавлять нервный смешок, который грозил вот-вот сорваться у нее с губ, когда она вспоминала, что лежит на покрытом простыней лежаке, который обычно служил ложем растрепе Рэфлзу, и что собачий запах заглушает даже запах антисептиков, и что сегодня на ужин у них снова будут копченые сосиски.

Доктор склонился над нею с иглой в руке. Она напряглась, приготовившись к мгновению, когда игла пройдет через плевру. Она старалась думать только о том, что это поможет ей поправиться, хотя сама она не замечала ника-

ких перемен. Да, это должно помочь ей, все уверяли ее в этом.

Доктор Мёрчисон Лейд улыбнулся своей профессиональной улыбкой и потрепал ее по руке.

— В конце месяца мы отправим вас на рентген, и тогда увидим, как продвигается дело. Хозяйка говорит, что вы послушная девочка и выполняете почти все, что требуется, только вот надо больше считаться с доктором Отдыхом.

Она улыбнулась вымученной улыбкой. Лучше бы он не обращался с ней, как со слабоумным ребенком. Ей отчаянно хотелось расспросить его о многом, но у доктора Мёрчисона Лейда никогда нет времени на разговоры.

— Он очень занятой человек, мисс Блейкли. Когда человек так занят, как доктор Мёрчисон Лейд, нечего ожидать, что он будет часами беседовать с каждым больным, — строго выговаривала ей хозяйка, когда Джэн вздумала пожаловаться ей после ухода доктора Лейда.

Когда Джэн вернулась к себе в комнату после поддувания, в ней бушевало возмущение. Интересно, с другими больными он так же мало разговаривает, как с ней? «Нет, он должен был найти время, чтобы поговорить со мной, — твердила она про себя. — Я должна знать, что со мной происходит. Я не дурочка. Он должен был прямо сказать, что происходит со мной, и я постаралась бы поправиться. Я хочу поправиться. Я должна поправиться. Слишком дорого все это стоит Барту».

Раз в месяц она проходила осмотр. В самой процедуре не было ничего страшного, неприятно было лишь состояние напряженного ожидания и неуверенности. Она снова и снова терялась в догадках, что же там слышит доктор, когда, зажав трубки в ушах, он постукивает чашечкой фонендоскопа по ее спине, как будто прикладывая к ней еще одно волшебное ухо, которому открыто то, чего не увидеть простым глазом.

Со всякими «осмотрами» и «терапией» доктор Мёрчисон Лейд справлялся так же проворно, как и со всем прочим. Стоя посреди столовой, Джэн чувствовала себя словно преступница перед судом. Опустив плечи и свесив на грудь голову, она стояла обнаженная до пояса и повиновалась его властным приказаниям.

— Нагните голову, откашляйтесь, дышите. — Стетоскоп ползал по ее спине. — Откашляйтесь... дышите... — Стук-стук...

Что он там слышит? Какие изменения происходят у нее внутри? Что открывают ему ее легкие через непроницаемую оболочку плоти, через перегородку ребер и плеч?

— Скажите «тридцать три».

— Тридцать три! Тридцать три!

Почему эти слова «тридцать три» отзывались в ее сознании как зловеший приговор? Иногда ей хотелось спросить его, что это значит. Пока он выслушивал и выстукивал ей спину, она принимала решение спросить его об этом, но когда стетоскоп передвигался по груди, мужество ее улетучивалось. Она смотрела на грубое, пышущее здоровьем лицо доктора, и вопрос замирал у нее на языке. Он обращался с ней, как с ребенком, и в его присутствии она чувствовала себя настоящим ребенком, и боялась его рассердить.

— Кашлять, дышать... Хватит!.. Кашлять, дышать... Хватит!..

Это было похоже на какую-то причудливую гимнастику. Доктор отрывисто выкрикивал приказы, она выполняла их, и только фонендоскоп знал, что же там происходит у нее внутри. Иногда ей казалось, что костяная чашечка фонендоскопа была такой же скрытной, как лицо доктора. А может, она и ему ничего не раскрывает, так же как и ей. Эта мысль доставляла ей какое-то злорадное удовольствие. Когда-нибудь фонендоскоп обманет его, как обмануло Джэн ее собственное тело. Можно видеть только оболочку своего тела. Внутри же происходят какие-то изменения, возникают и разрушаются ткани, может быть, неожиданно появляются поражения, может быть, поражено уже и второе легкое... может быть... может быть...

ГЛАВА 17

I

Леонард расположился в шезлонге у окна и читал им вслух. Голос у него был тихий и низкий. Джэн вязала, а миссис Карлтон смотрела на Леонарда.

Он часто читал вслух для миссис Карлтон, а Джэн слушала, но обычно, когда он, как сегодня, читал стихи, она прислушивалась только к звучанию его голоса, к музыкальному ритму строк, не вникая в их смысл. Сегодня же слова вдруг поразили ее своей мучительной горечью:

Я пришелец, я чужой
В мире, созданном не мной...

У нее даже дыхание перехватило от внезапно открывшегося ей страшного смысла этих строк. Как будто о ней написано. Как можно было так точно угадать ее чувства? Пальцы ее лихорадочно сжали спицы. «Я не вынесу этого.— Она даже съежилась в своей постели.— О, скорей бы он закончил!»

И, словно угадав ее мысли, Леонард поднял голову.

— Ну, я думаю, хватит с нас Хаусмана¹ на сегодня,— сказал он, закрывая книгу.

Миссис Карлтон взглянула на Джэн, потом снова на Леонарда:

— Я тоже так думаю.

Леонард откинулся в шезлонге, наблюдая за Джэн, которая, с ожесточением уйдя в работу, вязала пуловер для Барта. В глубоко посаженных глазах Леонарда была легкая усмешка.

— Посмотрите на мисс Блейкли. Она еще не постигла искусства ничего не делать.

Миссис Карлтон с нежностью взглянула на Джэн.

— Боюсь, что никогда и не постигнет. Что-то не верится, что она впадет когда-нибудь в такую же праздную апатию, как мы, здешние завсегдаши.

Джэн покраснела. Она всегда краснела, когда говорили о ней.

— Да нет, право же, миссис Карлтон, не в этом дело. Просто мне хочется... хочется чем-нибудь заняться.

Мысли ее вернулись к дням, проведенным в лачуге. Она вспомнила, как бросалась в огромные волны прибоя, как солнце на пляже припекало ей кожу, как они заплывали далеко-далеко по глади озера, как потом карабкались на деревья — просто так, из-за переполнявшего их острого чувства радости, как они с Бартом плыли на лодке по озеру, а потом завтракали — отбивными, поджаренными на решетке, и картошкой, печеной в золе.

— Не могу я лежать вот так! — вырвалось у нее вдруг. — Не по мне это.

Она пнула ногами одеяло.

— Я тебя понимаю, Джэн. — Глаза у миссис Карлтон были грустные. — Порой мне кажется, что нас заставляют слишком много отдыхать. «Отдых, — долбят они нам, — отдых и отдых».

— Вы это всерьез?

¹ Хаусман Альфред (1859—1936) — английский поэт.

Джэн увидела, что Леонард перевел взгляд на миссис Карлтон. И, глядя на него сейчас, она вдруг сделала неожиданное открытие: в лице его не было больше насмешки, в это мгновение в нем была лишь безграничная нежность. В этот миг на лице его появилось выражение, которого она никогда не видела у него раньше. «Вот так, наверное, выглядит отчаяние,— сказала она себе,— но нет, здесь не одно отчаяние, здесь отчаяние и восторг».

Потом насмешливая маска снова вернулась на его лицо. Он передал им сигареты и, закурив, откинулся поудобней в кресле.

— Когда-нибудь,— сказал он,— я напишу диссертацию о психологическом воздействии отдыха: отдых в мире туберкулеза заменяет все остальные добродетели, умение отдыхать само по себе требует таланта, который соответствующим упражнением может быть доведен до степени гениальности.

«Как они могут так спокойно говорить об этих вещах? — подумала Джэн.— У них мозг работает по-другому. Они на вещи смотрят по-другому. Да, я действительно чужая здесь, в этом созданном не мной санаторном мире, куда меня заточили. Это мир теней, и люди в нем только призраки. Порой кажется, что только я здесь живая».

В комнате воцарилось молчание, и слышно было лишь, как Леонард попыхивал трубкой, выпуская целую цепь дымовых колечек, которые проплывали друг через друга, сливались, а потом растворялись в воздухе.

Миссис Карлтон задумчиво кивнула.

— Помните, в «Макбете» говорится: «Не можешь исцелить болящий разум». Может быть, Макбет тоже не мог отдыхать.

— Но мой разум вовсе не болен,— горячо заговорила Джэн и почувствовала, что слезы подступают у нее к глазам.

— Конечно, нет. Я только привела пример. Хотя мне кажется, что все эти мучительные сомнения, которые начинают нас осаждать, как только мы решаем отдохнуть,— это тоже болезнь, ничуть не лучше туберкулеза, что засел в наших легких. Посмотрите-ка на нашу флегматичную Роду, какая она беспечная, беззаботная. Когда она сюда приехала, болезнь у нее была сильно запущена, а теперь она того и гляди всех нас позади оставит.

— Роду ничто не беспокоит,— сказал Леонард,— даже то, что Джордж Армстронг влюблен в нее по уши. А у бедняги повышается температура и дела идут явно плохо.

В санатории не было тайн. Все знали все друг о друге. «Их взгляды хуже, чем рентгеновские лучи,— подумала Джэн возмущенно,— эти санаторские ветераны знают все, а о чем не знают — догадываются». Догадываются ли они, что с ней?

— Мне кажется, Рода должна поправиться,— задумчиво, как будто думая о чем-то своем, произнесла миссис Карлтон.

— Конечно, поправится, потому что Рода — существо без мыслей. Просто красивое животное,— Леонард произнес это с категоричной убежденностью.— Она ест, как голодное животное. Она спит с безмятежностью усталого животного и живет простыми, незамысловатыми радостями животного. Как Рэфлз...

Он присвистнул хозяйскому псу, который вбежал в комнату, часто постукивая лапками. На его курносой мордочке сквозь путаницу шерсти возбужденно сверкали глазки. Рэфлз задержался на мгновение, снисходительно принимая ласку Леонарда, а потом засеменил прямо к постели миссис Карлтон. Он положил на ее кровать передние лапы и, опустив на них голову, уставился на миссис Карлтон с выражением бессмысленного восторга. Миссис Карлтон пощекотала ему нос.

— Ты бродяга, Рэфлз, но я тебя обожаю.— Она расчесывала длинную шерсть, спускавшуюся на глаза Рэфлзу, и пес восторженно сопел.

— Если вы никогда не видели влюбленную собаку, вот она перед вами...— Леонард философски взирал на эту сцену.— Смешной какой пес!

— Зато милый,— миссис Карлтон потрепала его шелковистые уши.— Песик хочет шоколадку?

Рэфлз прикрыл глаза и облизнулся, когда она отломала от плитки кусочек шоколаду. Закатив глаза и роняя слюну, он захрустел шоколадкой, а покончив с ней, снова положил голову на кровать миссис Карлтон. Наконец, устав стоять на задних лапах, он в последний раз бросил на миссис Карлтон обожающий взгляд, улегся под ее кроватью и захрапел.

— Бедный Джордж,— произнесла миссис Карлтон с состраданием.— Он славный парнишка, и я уверена, что Рода не желала ему зла.

Леонард пожал плечами.

— Это дела не меняет — результат один и тот же. Впрочем, все это скоро разрешится, независимо от него. Я слышал, как хозяйка говорила сестре Воон, что она звонила родственникам Джорджа и просила забрать его.

— Не может быть, он ведь так хорошо поправлялся до этого обострения.

— Все так. Но вы знаете, как здесь: он нуждается в уходе, а специальную сиделку он оплатить не может, и вот его выгоняют отсюда.

— Как это ужасно! — Джэн испуганно посмотрела на Леонарда.

— Ужасно, но факт. Я даже не знаю, что является бóльшим преступлением в глазах хозяйки: обострение или отсутствие денег?

Деньги... Джэн тошнило от этого слова. Здесь нельзя было ни на минуту забыть о деньгах. Больные вечно говорили о них.

— Чахотка — она обманщица, — продолжал Леонард, выпустив колючку дыма. — Сначала шесть месяцев. «Через полгода будешь здоров, как бык, или умрешь через год». Но ты не выздоравливаешь и не умираешь, а деньги твои тают, и, наконец, тебе ничего больше не остается, как, совсем отчаявшись, отправляться на заработки, чтобы, заработав, снова вернуться сюда. Если, конечно, ты не такой раздутый буржуй, как миссис Карлтон. У нее ведь денег куры не клюют.

Миссис Карлтон печально улыбнулась.

— Это все правда. Им бы теперь нужно было изменить старую поговорку и говорить по-новому: «Кошелек и жизнь».

Джэн продолжала молча вязать. Сострадание к Джорджу Армстронгу сменил страх за собственное будущее. А что, если и у нее будет обострение? Ведь у них не хватит денег, чтобы платить за сиделку. Как экономно она ни расходует, а пенсия ее просто тает. Всю зиму она только диву давалась, куда уходят ее драгоценные тридцать два шиллинга в неделю.

Даже не удастся их на две недели растянуть, хотя миссис Карлтон, понимая все это, старалась как-нибудь незаметно избавить ее от лишних расходов.

— Муж мне сюда выписывает все ежедневные газеты, так что мы можем читать и даже обмениваться новостями — они во всех газетах разные, — сказала как-то миссис Карлтон. — И тут у нас всегда полно книг по моей библиотечной подписке, так что мне только будет приятно, если есть с кем поделиться впечатлениями от прочитанного.

И все же расходы Джэн росли. Ей было неудобно, если ее ваза для фруктов пустовала, потому что тогда мис-

сис Карлтон заставляла ее брать фрукты из своей вазы. И каждый раз, когда ходячие больные отправлялись на прогулку в город, все давали им деньги на пирожные к чаю, ведь санаторская пища была такая однообразная и невкусная. Деньги таяли, и Джэн удручала мысль, что она так беспомощна и зависит от других, что она обуза для Дорин, обуза для Барта.

ГЛАВА 18

I

В субботу утром Джэн просыпалась в мире, полном трепетного ожидания. В субботу ей все нравилось. Даже рыхлые гренки и упругая, словно резиновая, яичница, казались восхитительными. Даже Лайла, неряшливая уборщица, которая, натирая пол, шлепала тапочками и беспорядочно слонялась по комнате, возя за собой швабру, даже Лайла казалась совсем другой. В субботу даже Лайла раздражала Джэн меньше, чем обычно, хотя она, уставившись на них своим пустым взглядом, размахивала тряпкой так, что вся пыль летела на их постели. Даже на Лайлу в этот день Джэн, казалось, смотрела через розовые очки — улыбалась, когда та натыкалась на стулья, и перемигивалась с миссис Карлтон, когда Лайла опрокидывала вазу с цветами. Потом шарканье больничных туфель на веранде отмеряло течение времени — десять часов, одиннадцать часов. К полудню Дорин была уже здесь, иногда она приезжала с девушками из своей конторы.

Джэн с жадностью выслушивала рассказ о разных мелочах из их жизни. Когда-то увлеченная книгами и музыкой, она считала малоинтересными подобные мелочи жизни, но сейчас эта жизнь казалась ей полной чудес, а эти мелочи были частью внешнего мира, в котором жизнь кипела ключом, а не стояла на месте, как здесь.

В сумке Дорин всегда оказывалось множество замечательных и крайне практичных подарков. То пижамная курточка, которую Дорин сама связала для нее, то пудра, которая так ей нужна, то карточка самой Дорин в форме АВАС, которую Джэн просила сестру привезти, то снимок, который Барт сделал прошлым летом на побережье и который Дорин нашла в старой сумочке: ветер растрепал их волосы, зубы блестят на лицах, темных от слишком яркого солнечного света. Взглянув на эту фотографию, Джэн как будто снова ощутила и волны прибоя, и песок под ногами,

и ветер, обвеваящий лицо. И она тщательно заткнула фотографию за уголок рамки, из которой с армейской торжественностью глядела Дорин.

Среди вещей Джэн Дорин отыскала стеклянный шар, который когда-то, давным-давно подарил ей отец. Внутри кристалла, около маленькой церквушки, стояла девочка в красном плаще с надетой на руку корзинкой. Если шар встряхивали, внутри него кружились хлопья снега и миниатюрный мир начинал жить своей зачарованной жизнью. Сейчас игрушка стояла возле кровати Джэн и напоминала ей о тех счастливых днях, когда они все жили вместе.

Они получили письмо от Виктории от тетки, единственной сестры их матери, и смеялись над этим письмом до упаду. Тетка писала, что она молится за здоровье Джэн и надеется, что болезнь послужит ей уроком, что уж теперь-то, когда она выйдет из санатория, она будет носить круглый год теплое фланелевое белье. В своих письмах тетушка Мария вечно молилась за них и предостерегала их от чего-нибудь.

— Лучше б она выслала пару фунтов, это было бы куда более кстати, — улыбнулась Дорин. — У нее ведь их предостаточно, у старой жадины.

И на какое-то мгновение Джэн снова стало горько при мысли о том, что она обуза для них.

После отъезда Дорин у Джэн всегда бывало такое чувство, будто сестра оставила ей частицу своего мужества, своего здравомыслия, практичности и умения ценить простые радости жизни.

Воскресенье врвалось в ее жизнь, словно яркий сверкающий мяч, падающий прямо в руки с первыми лучами утра.

— Мне всегда кажется, что солнце пляшет по утрам в воскресенье, — сказала она как-то миссис Карлтон. Она расчесывала волосы, сидя в постели, а миссис Карлтон измеряла температуру.

— Вам никогда не говорили в детстве, что на пасху солнышко пляшет по утрам? Я помню, как маленькой я всегда просыпалась пораньше, чтобы увидеть это. Вы знаете, я всегда была уверена, что так оно и есть.

Миссис Карлтон улыбнулась:

— Да я и сейчас уверена, что так оно и есть — для детей. А теперь у тебя каждую неделю пасхальное воскресенье.

Рука Джэн, державшая над головой гребень, замерла на месте. Как удар, поразила ее неожиданная мысль:

ведь за все время, что они были здесь, мистер Карлтон приезжал только один раз. Он был очень добр, очень щедр, он был весь обвешан подарками, и ему было явно не по себе. Каждую неделю от него приходила посылка.

— У Роберта хорошая секретарша, — сказала миссис Карлтон, когда Джэн однажды упомянула об этом. — Я уверена, что она делает отметку в блокноте и следит, чтобы посылка была отослана точно во вторник утром.

В ее словах не было горечи, казалось, она примирилась с этим, но вскрывала эти посылки она без радости и нетерпении. Там обычно бывали или книги, или дорогое белье, или духи, или огромные коробки конфет. Большинство подарков миссис Карлтон обычно раздавала, а конфеты оставляла себе, чтобы грызть их вместе с Джэн или угощать своих гостей — навещавших их ходячих больных.

Джэн взглянула на тонкие линии ее красивого лица и увидела на нем морщины, наложенные не болью, а страданиями, более глубокими, чем страдания болезни. В мгновенном озарении перед Джэн предстала вся картина. Мистер Карлтон был добр, он был щедр, у него хорошая секретарша, но он человек занятой и он редко приезжает навестить жену.

— Простите... — произнесла Джэн, хотя и не смогла бы объяснить себе, в чем она извиняется.

Миссис Карлтон протестующе подняла свою красивую тонкую руку.

— Дорогая моя, если ты будешь извиняться за свое счастье, то я с тобой вообще разговаривать не смогу. Да что ты, у меня самой на душе теплее становится, когда этот твой долговязый рыжий парень приходит. Даже я себя лучше чувствую. Тебе повезло, и ты заслуживаешь этого. Впрочем, тут дело не в том, чего мы заслуживаем. Просто цени это счастье. И держись за него крепче. Ты выздоровеешь, потому что тебе есть за чем выздороветь, и помни, каждый раз когда он целует тебя, он как будто говорит смерти «нет!».

Барт приезжал в воскресенье утренним поездом. Джэн видела, как белые клубы дыма от двух паровозов, тянувших состав, подымались в горах, когда поезд проходил по вырубленным в скалах проходам или по заросшим деревьями гребням хребта. Она видела, как он трогался из Вудфорда, выбрасывая хлопья дыма, сверкавшие белизной на фоне туманной долины. Джэн знала, что он останавливается в Хейзелбруке и в Лоусоне, и она слышала, как он тре-

бовательно свистит, отходя от станции Баллабурра, как пыхтят паровозы на длинном подъеме к Уэнтурт Фолз. Джэн слышала, как в чистом прозрачном воздухе отдается пронзительный свисток, как все громче и громче становится пыхтение паровоза, и, наконец, она видела и сам поезд на высокой железнодорожной насыпи. В окнах еще прощально трепыхались платки. После этого она начинала считать минуты, за которые Барт должен был добраться от станции. И вот на веранде уже слышатся его тяжелые шаги и его голос, приветствующий больных, а вот и сам он появляется на пороге, и тогда вся жизнь превращается в сверкающий золотой шар, и они с Бартом в самом его центре, и никто и ничто на свете не имеет к ним отношения.

Он приносил с собой смех, и у него всегда были для нее смешные и трогательные подарки. Пестрая игрушечная собака с жалобным выражением морды, которая, когда нажмешь резиновую грушу, вдруг принимала самые уморительные и дурацкие позы. Неохотно, после многочисленных просьб Джэн он привез ей собственную фотографию: он сфотографировался у уличного фотографа, на карточке он шурился на солнце и выглядел настоящим щеголем в своих белых крагах и летней форме. Потом он привез ей луковку гиацинта в глиняном горшочке, чтобы по росту цветка можно было отмечать приход весны. Каждое воскресенье было для нее пасхальным, и солнце плясало весь долгий день.

ГЛАВА 19

I

Зима установилась в горах, и далекие поездки в санаторий из увлекательной прогулки превратились для Барта в тяжелое испытание. Приходилось рано вылезать из постели, чтобы успеть на первый поезд, и потом подолгу сидеть в нетопленном вагоне в холодные дни, когда порывистый ветер метался в горах, когда воздух был сверкающий, морозный или когда туман окутывал землю. Такие дни Барт ненавидел больше всего. В эти дни поездки раздражали и расстраивали его, и предстоящие месяцы ожидания начинали казаться бесконечными.

В такие дни он молча сидел у постели Джэн. Горы тонули в тумане, земля хлюпала под ногами, от пребывания в нетопленной комнате начинали глухо ныть кости. Свидания проходили грустно, и вовсе не из-за Джэн: нет, она встречала его с такой любовью, что чувство ее, казалось,

обволакивало его словно плащ в ненастную погоду, защищая от всех невзгод, смиряя его беспокойство и нетерпеливую жажду близости. Миссис Карлтон лежала, отвернувшись к стене: у нее было обострение.

— Обострение?

Джэн кивнула.

— Да, в начале недели у нее стала подниматься температура, и тогда нашли, что у нее начинается пневмония.

Барт взглянул на растрепавшиеся черные волосы миссис Карлтон и почувствовал, как его тело пронизывает холод, еще более пронзительный, чем промозглый холод зимнего дня. Он придвинулся поближе к Джэн, и они разговаривали шепотом, чтоб не беспокоить миссис Карлтон. Она лежала так тихо, что казалось, будто они одни в комнате, но эта мертвая тишина угнетала их. Паузы между фразами становились все продолжительнее. Барт обхватил руки Джэн своими холодными руками и долго молчал.

А снаружи все заволокло туманом. Он всплывал из долины, окутывал сад, стлался по веранде, проникая всюду, и такой плотной завесой нависал вокруг дома, что были видны только самые ближние деревья — они застыли в молчании, словно призраки, и лишь капли влаги монотонно стучали, падая с их сучьев.

Все вокруг пропиталось влагой. Туман плавал маленькими озерками на подоконнике, замутил поверхность зеркала. Он капельками свисал с одеяла и с грубой шерсти пальто Барта. Дыхание вырывалось у них изо рта клочьями тумана, как будто и сами они были сотканы из него.

— Говорят, нам это полезно, — объяснила ему Джэн, — поэтому нам и не разрешают окна и двери закрывать.

Глядя на ее щеки, пылавшие над воротом розовой пижамной курточки, он подумал, что этот холод, превративший его руки и ноги в ледышки, зажег в ней огонек. Ее глаза сияли, а щеки порозовели и округлились за месяцы постельного режима.

— Ты словно роза, — прошептал он, — а я-то всегда думал, что так не бывает, что это все слюнтяи придумывают, которые популярные песенки сочиняют, но вот ты ведь и правда словно роза.

Он поднял ее руки и прижался губами к ее мягкой ладони. Она провела пальцами по его шевелюре. Его жесткие влажные волосы непослушно вились у нее под рукой. Они долго молчали. Любовь и жалость переполняли Джэн, ей хотелось прижать к груди его голову и не отпускать ее, ус-

покаивая, утешая его. Но она не осмеливалась пошевелиться. Слишком хорошо она знала его, знала, как омрачается его лицо, знала каждое его движение, знала, что означает каждый его нетерпеливый жест, что значит это затянувшееся молчание. Ему приходилось тяжело.

Джэн с грустью подумала, как много раз ему еще придется приезжать к ней вот так же снедаемому жаждой не только духовной, но и физической, и она будет бессильна помочь ему. Что толку, что ты изольешь на мужчину всю любовь, какая только есть на свете, если ты не можешь дать ему при этом ни радости, ни облегчения. Ноги у нее затекли, но она старалась не шевелиться, пока он лежал в какой-то дреме, положив голову ей на колени.

Никто не навещал миссис Карлтон, и она спала, одурманенная лекарствами, потерянная не только для окружающих, но и для собственных мыслей, отгородившись от боли, от всех утрат и желаний.

А может быть, это и лучше — так, как у нее? Ведь как тяжело, должно быть, приходится мужчине, который любит тебя и не может к тебе прикоснуться? На их с Бартом долю выпало всего шесть месяцев, и больше двух из них уже прошли, а ведь у миссис Карлтон это тянулось годами. У Линды это тянулось годами. «Прощай, любовь» — сказала Линда. И, вспоминая об этом теперь, обогащенная собственным опытом, Джэн начинала понимать, что придавало такую горечь словам Линды.

Растрепанная Рэфлз, весь насквозь пропитанный влагой тумана, прошлепал от двери к постели миссис Карлтон. Он уперся грязными лапами в край ее кровати, постоял немного, глядя сквозь нависшие над глазами космы на ее спящее лицо, лизнул ей руку и затрусил прочь. В зале послышалось дребезжание подносов — разносили чай. Барт поднялся, глядя на Джэн заспанными глазами.

— Хорош посетитель, правда? Подумаешь еще, что я кутил где-то, а потом пришел отоспаться у тебя на постели.

— Ничего.

«Милый мой, — хотелось ей сказать, — я понимаю, я знаю все. И я хочу, чтоб и ты понял, как мне тяжело. И мне бы хотелось сказать тебе, какой ты чудный и как много значит для меня твоя любовь и твоя доброта. И я всегда буду любить тебя за это, до конца своих дней...» Но вслух она сказала:

— Ты бы лучше выпил чашку чаю. Немножко согреешься.

Барт сел, зябко ежась.

— Не буду я твой чай пить. Он тебе и самой нужен.

— Да у меня чашка молока осталась с обеда. Пей. И пирожные тоже неплохие. Нам такие только по воскресеньям дают.

Джэн налила чаю и передала ему чашку. Он пил большими глотками, и, когда кончил, Джэн сказала, что ему бы, пожалуй, стоило поторопиться на ранний поезд, потому что сейчас так сыро и холодно. Он быстро поднялся с ее кровати и, стараясь скрыть облегчение, которое он почувствовал при этом, стал шумно похлопывать в ладоши и топтать, разогреваясь и разгоняя кровь.

Когда он нагнулся, чтобы поцеловать ее, она чуть-чуть отклонилась, и он ощутил губами только краешек ее рта.

Он стоял, осторожно положив руки ей на плечи, не решаясь ни обнять ее, ни снова нагнуться к ее уклонившемуся от поцелуя рту.

На улице туман коснулся его лица, как чьи-то холодные, мокрые пальцы. Всю дорогу до станции он бежал. Он слышал, как гудит паровоз, подтягивая к станции состав, и, пробежав изо всех сил последние двести метров, он ввалился в последний вагон, который уже тронулся с места.

II

Барт привалился к стенке в углу сиденья, слушая, как поезд, грохоча, спускается с предгорья в долину. Ему было холодно и неудобно, и обратное путешествие казалось ему бесконечным.

У Эму Плейнз туман сменился изморосью, и поезд мчался теперь через плоскую мокрую равнину, которую уже обволакивали сумерки. Дым из труб низко стлался над крышами домов, в окнах зажигались огни. Около Парраматты, словно порождение этих серых вечерних сумерек, к нему подкралась тоска. Он встряхнулся, выйдя из Центрального вокзала, и пожалел, что уехал ранним поездом. И не только потому, что он мог бы пробыть лишний час с Джэн, а потому еще, что теперь он стоял совсем один на ветру в толпе, где все деловито спешили по домам. Перед ним был длинный вечер, делать было нечего и пойти некуда. Конечно, можно было пойти в солдатскую гостиницу и там поиграть в покер с кем-нибудь из ребят.

Но никогда, кажется, ему не хотелось этого меньше, чем сегодня. И он сыт был по горло обществом этих парней, что околачиваются по гостиницам. Вечно одно и то же: слишком много пьешь грогу, проигрываешь и тратишь больше, чем можешь себе позволить, все те же непристойные шуточки и все те же сногшибательные рассказы об одержанных победах, как правило, придуманных.

Он был слишком хорошо знаком со всеми этими грубоватыми и скучными увеселениями и был сыт ими по горло. Можно, конечно, было поехать в казармы и лечь спать пораньше, но самая мысль эта показалась ему отвратительной. Так он и стоял в нерешительности в суетливой толпе перед указательными стрелками, размышляя, пойти ему в вокзальное кафе поужинать, отправиться в солдатскую гостиницу или заскочить к Джэн домой, чтобы потолковать там с Дорин. Джэн дала ему записку для Дорин. Так можно тоже было убить вечер. К тому же надо познакомиться с ней сейчас поближе: Дорин хорошая девка, настоящий товарищ.

Он еще раз обдумал все это. Нет, ни в казарму, ни в гостиницу идти не хочется, а Дорин, может быть, занята сегодня вечером. Он смотрел на указатель и лениво думал: не взять ли ему на несколько дней отпуск и не съездить ли домой? Здесь все уже здорово опостылело, а там он хоть занят будет. Там его будет изнурать тяжелая работа, и он не будет так беспокожно метаться по ночам. Там он хоть им пользу принесет какую-нибудь, да и на него эти поездки домой всегда хорошо действуют. А при теперешней нехватке рабочих рук старик будет рад, коли он хоть на несколько дней заглянет. Во всяком случае, это будет в тысячу раз лучше, чем бессмысленно толочься в лагерях да гостиницах, — к добру это не приведет.

— Только не говорите, что вы снова уезжаете ночным поездом.

Голос так неожиданно прозвучал у него за спиной, что ему среди его мрачных размышлений показалось, будто у него за спиной раздался выстрел. Он обернулся и увидел девушку, с которой он пил чай в станционном буфете в Оранже несколько месяцев назад.

Кажется, целая вечность прошла с тех пор. Она выглядела немножко другой, более городской и еще более возбуждающе привлекательной в своей меховой шубке и меховой шапочке, надвинутой на темные волосы.

Он улыбнулся:

— По правде говоря, об этом я как раз и подумывал.

— Ну что за человек! Вы как будто все время куда-то уезжаете или откуда-то приезжаете.

— Вы не лишены наблюдательности.

— Безусловно. А вы сейчас похожи на бродягу, который под дождем протопал всю дорогу от Центральной Австралии и сейчас ищет, где бы ему обогреться у костра.

— Да вы просто ясновидящая.

— Так у меня бабка была колдунья.

— А-а, значит, наследственное.

«Что за девушка! — думал Барт. — Чуть не каждый проходящий мимо мужчина с восхищением задерживает на ней взгляд».

— Вы уезжаете ночным поездом?

— Нет.

— Нет? — Она сдвинула брови и, наклонив голову, искоса взглянула на него. — Куда-нибудь собираетесь?

— Да вот хотел в казармы податься, но теперь, раз уж вас встретил, мог бы отложить.

— Хорошо, — ее обтянутая перчаткой рука взяла его под руку. — А я только что проводила мужа. Он уехал всего на две недели, к сожалению, но из-за этого такой шум поднял и столько было сборов, будто он отправляется на Южный полюс. Так что у нас поужинать просто времени не хватило, и теперь я умираю с голоду.

Глаза ее лукаво сверкнули.

— И если вы действительно так голодны, как это кажется со стороны...

— В два раза голоднее.

— Хорошо. Я знаю возле Кросса одно местечко, где по-настоящему прилично кормят, а в Сиднее, да еще воскресным вечером, это просто редкость.

Он колебался. Она заметила его минутное замешательство, и ее рука легонько сжала его руку.

— Понятно, вы оставили дома бумажник или просто до полочки еще далеко, но вы не беспокойтесь об этом. Муж всегда оставляет мне кучу денег...

— Еще бы! — сказал он вдруг с внезапной злобой.

— Ну, не вздумайте упираться сейчас, когда я могу в любую минуту помереть от голода и упасть на мостовую.

— Не думаете же вы...

— Дорогой мой, я никогда не думаю. Но если вам будет легче и если вы еще не оправились от этого приступа рыцарства, то я скажу, что мой муж заработал эти деньги

на черном рынке, когда вы в джунглях на животе ползали, так что эти деньги по праву вам принадлежат. Ну пошли же, и давайте возьмем такси.

— Давайте.

Он повернулся и, ведя ее через вокзальную толпу, почувствовал, что гнетущее состояние, навеянное мыслями об одиноком ужине в кафе и картах в солдатском клубе, рассеивается. Такси, развернувшись по кругу, подкатило к платформе.

— Скорей, скорей,— заторопил он ее, переходя на бег,— а то кто-нибудь перехватит!

Смеясь, они опустили ее на сиденье такси, и она назвала шоферу адрес кафе. Барт взглянул на нее сбоку. Он не особенно хорошо разбирался в женских туалетах, но все-таки понял, что одета она по моде и что у нее есть свой стиль. И он понял также, что эта меховая шубка обошлась ее спекулянту мужу в добрую тысячу. Он видел такие в Токио, где япошки старались сбыть их подороже, и некоторые ребята, особенно летчики, покупали их, а потом летели на юг и там продавали на черном рынке втроедорога. На черном рынке или не на черном рынке купил ее муж эту шубу, все равно она обошлась ему в добрую тысячу. Уж за это он может поручиться. Она выглядела старше, чем в прошлый раз, волосы ее были уложены под меховой шапочкой и открывали линию шеи и маленькие прижатые к голове ушки, в мочках которых сверкали бриллиантовые серьги. Элегантно, ничего не скажешь.

— Если вспомнить о правилах приличия, то вы еще не знаете, как меня зовут,— сказал он, предлагая сигарету.

— Разве нет? А ведь правда, кажется, нет.

— Барт. Барт Темплтон.

— А меня Магда. Уменьшительное от Магдален.

— Мне нравится. Просто Магда, так?

Она улыбнулась.

— Ну, если вы предпочитаете миссис Брукс, пожалуйста.

— Остановимся на Магде.

Она откинулась на спинку в углу сиденья, откровенно разглядывая его, но взгляд у нее был дружелюбный, простой и, пожалуй, доброжелательный.

Сидней утопал в потоках воды, и дождь продолжал лить безостановочно. Такси, скрипнув на тормозах, завер-

нуло на Уильям-стрит, убежавшую вверх по холму сверкающей рекой мокрого асфальта, в которой плавали красные и зеленые отсветы неоновых реклам. В такой вечер плохо быть одному.

III

Они спустились по ступенькам в ресторан. Магда распахнула шубку, и в воздухе послышался аромат духов, такой нежный и легкий, что Барт еще раз втянул в себя воздух, желая убедиться, что ему это не почудилось. Маленький столик с затененной лампой создавал атмосферу уюта и интимности. Еда была вкусная, и оба ужинали с аппетитом. Судя по всему, Магду здесь знали, и ей без труда удалось упросить официанта принести им бутылку вина. Вино согрело Барта, и плохое настроение прошло. Он согрелся, почувствовал себя бодрым, немножко возбужденным, и теперь они сидели за кофе, докуривая последнюю сигарету.

— Ну вот, теперь вы уже меньше похожи на голодного бродягу.

— Чувствую.

Она сбила пепел с сигареты длинным пурпурным ногтем и окинула его взглядом.

— Вы похудели с тех пор, как я вас видела. Много работы?

— Да, знаете ли, в мирной жизни приходится не так уж легко, — улыбнулся Барт.

— И старше выглядите тоже. — Она склонилась над столиком и, облокотившись на него, долго смотрела Барту в лицо. — Сейчас скажу... впалые щеки — вот что придает вам такой благородный вид. Вы случайно не собираетесь сниматься в кино?

— В настоящий момент нет, хотя мне и предлагали заменить Чипса Рэффerti.

— Что ж, меня это бы ничуть не удивило, хотя, по моему, ему чего-то недостает, что есть в вас.

— Может, рыжих волос?

— Возможно. Наверно, это символ.

— Символ или симптом?

— Симптом? Чего же — ненасытности и пылкого темперамента?

Она с вызовом и кокетством смотрела ему прямо в глаза.

Он пожал плечами:

— Может быть.

Когда Барту в конце ужина вручили счет, ему в первый момент даже нехорошо стало. И он рад был, что у него все же хватило денег, чтобы расплатиться, несмотря на всю непомерность суммы. То, что он смог заплатить за ужин так же, как и ее муж-спекулянт, принесло ему какое-то злобное чувство удовлетворения. И, словно почувствовав перемену в его настроении, она примяла остатки своей сигареты и, взяв перчатки, взглянула на усыпанные драгоценными камнями часики.

— Ого! Почти половина десятого, мне пора идти.

Он подал ей шубу. Магда медленно продела руки в широкие рукава и на мгновение, нарочно откинувшись назад, прислонилась к нему. Барт стоял, обнимая ее за плечи и сдерживая себя, потом опустил руки со странным ощущением, будто его смыло отливом и вот теперь выносит обратно на берег из темной глубины. Он заплатил за ужин, грустно отметив про себя, что у него осталась какая-то мелочь, на которую едва ли протянешь до следующей полочки. Они поднялись по ступенькам и вышли на мокрую, холодную улицу.

— Посмотрю, может, я такси вам найду.

— Не стоит. Я живу тут рядом, на Мэкклиэй-стрит. Можем пойти, тут навес всю дорогу.

Барт едва понимал, о чем она говорит, такое смятение охватило его.

Она остановилась на нижней ступеньке лестницы, ведущей в вестибюль роскошного дома. Теперь она стояла вровень с ним.

— Если бы в квартире не было такого разгрома после сборов мужа, я бы пригласила вас выпить.

Она взглянула на него, и он прочел в ее взгляде, что она хочет этого.

Барт был в нерешительности. Он знал, стоит ему сейчас сказать, что ему наплевать на разгром и что ему хочется выпить, и она пригласит его к себе. Она ждала. Он подумал о холодной койке в казарме, об одинокой, без конца тянущейся ночи впереди. Потом подумал о Джэн...

— Да нет, спасибо, не надо,— сказал он с какой-то не ловкостью.— Боюсь, мне тоже пора, мне ведь еще сегодня в полночь в караул заступать.

Он лгал, и она знала, что он лжет. Но лицо ее ничего не выдало.

— Жаль, жаль! Но я должна как-нибудь вечером угостить вас ужином, чтобы отплатить за вашу любезность.

Не отказывайтесь, а то меня совесть замучит. Найдете мое имя в телефонной книге вот по этому адресу.

Барт поблагодарил. У него с трудом ворочался язык, и он чувствовал, что ведет себя дурацки натянуто.

— Что ж, как-нибудь вечерком я вам об этом напомню. Она протянула руку и коснулась его руки.

— Не забудьте.

Она стала подниматься по лестнице, и ее туфельки на высоких каблуках легко касались ступенек. Она помахала ему рукой из освещенного вестибюля. Барт повернулся и зашагал вдоль улицы к трамвайной остановке.

ГЛАВА 20

1

Джэн глазам своим не поверила, когда в среду после полудня вдруг увидела в дверях Барта. Над долиной, словно над кипящим котлом, клубясь, поднимался туман. Он стлался над верандой, проникал в их комнату, оставляя на всех предметах свой сырой след. Барт казался в дверях непомерно огромным, полы его шинели, сверху донизу унизанной бисеринками влаги, еще мотались после быстрой ходьбы. На мгновение Джэн показалось, что тоска вдруг вынесла ее за границы реального мира, и вот Барт возник перед ней из тумана как порождение ее одиночества и стремления к нему.

— Привет, — он взял в свои холодные жесткие ладони ее горячую ручку. — У тебя такой вид, будто ты увидела призрак.

— Да мне в первую минуту так и показалось.

— Ну, на призрак-то я все же не похож. И что еще там офицеры скажут, когда заметят, что я улизнул. Хотя, между нами говоря, мне на это наплевать.

— О Барт! Это так чудесно!

— Ну, конечно, чудесно, моя синьорина. Сидней так просто утопает под водой, рыба заплывала ко мне в окно и присела на койку, и когда я услышал по радио, что на Голубые горы лег туман, я подумал, что мне самое время ехать. Я подумал, что, так или иначе, вам, девочки, не помешает немножко искусственного солнца.

Он повернулся к миссис Карлтон:

— Надеюсь, вы не будете возражать против того, что ультрафиолетовые лучи вторгаются сюда в образе мокрого пса, и, надеюсь, дамы не сочтут оскорбительным для себя этот запах, боюсь, несколько... — Он понюхал грубую за-

шитную ткань шинели,— и не несколько, а определенно собачий.

Миссис Карлтон улыбнулась и протянула ему руку:

— Ну что вы, Барт! Лучшего способа для принятия ультрафиолетовых лучей просто не придумаешь.

— Несмотря на собачий запах?

— А я люблю собак, и вот теперь только я заметила, что вы очень похожи на моего эрдельтерьера — у меня когда-то был эрдель.

Барт поклонился, прижав руку к сердцу.

— Миссис Карлтон, вы редкая женщина. Я уверен, что у этого славного пса было большое сердце.

— О, любой лев мог позавидовать! Вам бы он понравился.

— Не сомневаюсь. А где он теперь?

Лицо ее помрачнело.

— Видите ли, когда я сюда во второй раз легла, хозяйство наше распалось, мы отказались от дома, а большая собака, ведь знаете, как с ней...

Он дружески сжал ей руку.

— Знаю.

Барт глянул на себя в зеркало.

— Эрдельтерьер, говорите вы, так, кажется?

— Совершеннейший.

— Гм... Между нами говоря, я думал, что у меня черты лица несколько правильной.

Она задумчиво посмотрела на него.

— Да это дело вкуса. Видите ли, мой пес тоже был в своем роде выдающийся.

Оба рассмеялись, и Барт заметил, что лицо ее немного просветлело.

— Вы гораздо лучше выглядите, чем в воскресенье.

— Да я и чувствую себя лучше. Уверена, что после вашего сегодняшнего посещения я в полдник уже буду сидеть за чаем, вгрызаясь в кусок телячьей вырезки.

— Ради бога, не надо,— взмолилась Джэн,— ведь если хозяйка это увидит, она больше не разрешит ему приезжать. Не забывайте, у нас сегодня на ужин копченые сосиски.

Миссис Карлтон зажмурила глаза и содрогнулась.

— Сосиски! Подумать, до чего я дожила!

Они снова засмеялись, хотя вряд ли могли бы сказать, что тут было смешного: просто какой-то возбуждающий

ток пробежал по их нервам. Барт принес с собой столько тепла и силы, что они больше не замечали ни тумана, клубившегося вокруг, ни монотонного стука капель, падавших с деревьев в саду.

Миссис Карлтон взглянула по очереди на них обоих.

— Вы ведь знаете, что я себя все еще постыдно балую, так что с вашего разрешения я сегодня свой послеобеденный сон начну пораньше. Вы уж мне простите. Ладно?

— А мы вам не будем мешать?

— Да нет, не беспокойтесь. Когда я сплю, вы можете в комнате галдеть, как на аукционе, меня это не потревожит.

Барт осторожно положил руку на ее покрывало.

— Вы знаете, по-моему, Джэн очень повезло, что у нее такая соседка.

— И мне повезло. И вам тоже.

Она улыбнулась, глядя ему в глаза.

— И раз уж вы здесь, помогите Джэн составить список заказов в библиотеку на этот месяц. Да, и тут у нас есть одна новая книжка про Японию, мне ее муж прислал, вы тоже можете взять ее почитать.

Она легонько пожала ему руку.

— А теперь я засну.

Она повернулась к стенке, и они остались одни, отгороженные от всего мира.

Барт пододвинул стул к кровати Джэн, погладил ее руку, потом взял библиотечный каталог.

— Что ж, это интересно,— сказал он,— сейчас мы тебе пропишем что-нибудь полегче, хотя бы на часть месяца. С чего начнем?

Закончив, они помолчали. Ни разу еще за все эти месяцы Барт не чувствовал себя так спокойно. Ручка Джэн в его ладонях была словно якорь, прочно удерживавший его в созданном ими мире. Узкая больничная кровать, в которой она лежала, опершись на подушки, была оазисом в пустыне. Смятение в его крови затихало. Во всем этом сумасшедшем мире только Джэн была реальностью. И долгие часы, проведенные вдали от нее, не значили ничего. Он не целовал ее сейчас. Ему почему-то не хотелось целовать ее сегодня. Ему хотелось только быть рядом, ощущать тепло ее любви. Быть рядом с Джэн — этого было достаточно.

Последние три ночи он провел в казарме без сна. Мысли его были в лихорадочном смятении, тело томилось

мукой. Эти ночи и заставили его мчаться сломя голову на вокзал, к поезду, уходившему в горы. Забившись в угол купе, он курил без конца, сигарету за сигаретой, глядя невидящим взглядом на пробегавший за окнами мир, мир клубящихся туманов и призрачных деревьев. Он шел от станции, не замечая холодного тумана, лизавшего лицо, шел быстрым шагом, как человек, убегающий от своих мыслей. И вот в комнате Джэн он, наконец, обрел мир: понимание без слов, обладание без прикосновения. Рядом была Джэн.

Он болтал без умолку, смешно поддразнивая ее. Он пересказывал ей казарменные истории, а она смеялась вместе с ним и замечала в нем что-то новое, замечала, что выросло какое-то новое, более глубокое и прочное чувство, и она больше не боялась долгих месяцев, которые ей еще предстояло провести в Пайн Ридже. Почти половина уже прошла. Он начертил ей график на обложке тетради, месяцы они разделили на недели, недели на часы, а возле каждого из них он нарисовал себя — в виде тоненького человечка из палочек, который с каждым днем все больше и больше радуется и ликует, а к концу шестого месяца уже перепрыгивает с вершины на вершину по высоченным горам, чтобы забрать обезумевшую от счастья Джэн, которая тоже прыгает, словно туземец, на одной ножке около длинного кубика, который должен обозначать Пайн Ридж.

Она не сказала ему, что его сегодняшний приезд был им вдвойне приятен, потому что помог рассеять мрачное настроение, вызванное неожиданной смертью девушки из крайней комнаты. О таких вещах обычно не говорят. И не то чтобы эта девушка значила для нее что-то. Джэн никогда и не видела ее. Она знала о ней лишь по санаторским сплетням да еще по непрестанному влажному кашлю, что доносился все время до их комнаты. Но почему-то от этого было еще печальнее: где-то рядом умирает девушка, и ты ничего не знаешь ни о ней, ни о том, что она вот-вот может умереть, и узнаешь только тогда, когда все уже кончено. Но сейчас, глядя на Барта, который так и пышет здоровьем, трудно думать о смерти.

Она показала ему тоненькую зеленую стрелочку, пробившуюся из луковки гиацинта в горшочке. Они с трепетом смотрели на этот вестник пробуждения жизни, слишком сильно взволнованные, чтоб говорить, взволнованные тем, что именно в это утро, когда зима так властно заявляла о себе, показался зеленый стебелек и напомнил им, что

весна вернется снова, а вместе с весной к ней придет освобождение, и они будут вместе. Спрятанная под слоем почвы луковица шевелилась, росла, весной она зацветет.

Когда пришло время уходить, он поцеловал ее легко и нежно, и даже после его ухода ей казалось, что его присутствие согревает холодную, утопавшую в тумане комнату.

ГЛАВА 21

I

На следующий вечер Барт постучал у дверей маленькой квартирки Дорин. У него вошло в привычку заходить к ней время от времени среди недели, чтобы обсудить последние новости о здоровье Джэн. Дорин встретила его у дверей в алом домашнем халате, делавшем ее по-детски юной и легонькой. Волосы у нее были распущены по плечам в непривычном беспорядке.

«А она хорошенькая,— с удивлением подумал Барт,— никогда не замечал этого раньше».

Дорин приняла его приветливо, от ее бывлой неприязни не осталось и следа.

— Заходи, садись и располагайся как дома. У меня тут страшный беспорядок. Только что помыла голову, а теперь вот пытаюсь волосы высушить у радиатора.

Барт опустился на старый диванчик Джэн и стал наблюдать за Дорин. Воздух в квартирке был тяжелый, из светового колодца проникали запахи канализации, в комнате было жарко от включенного радиатора. Все тут наводило на воспоминания. Ему хотелось жаловаться Дорин на свое одиночество, но у Дорин хватало своих неприятностей, чтобы еще слушать его нытье. Мысль о том, что теперь, когда Джэн так далеко, ему на целом свете и поговорить по-настоящему не с кем, на мгновение повергла его в уныние.

Дорин поднялась и, сняв со спинки стула свое пальто, протянула его к радиатору.

— В такую мерзкую погоду ни за что вещи не высушишь. А мне бы не хотелось плащ покупать.

Она прибрала в комнате и, улыбаясь, повернулась к нему.

— Я тебе сейчас чаю приготовлю. Мне и самой давно уже хочется, да для одной себя лень его готовить было.

Ему нравилось, как ловко и аккуратно она двигается по комнате. Ставит чайник, расставляет чайную посуду. Ему нравилась ее непринужденность, ее дружелюбие. Джэн повезло, что у нее такая сестра.

— Вчера был у Джэн.

Дорин удивленно обернулась с чайником в руке.

— Ну да. У меня несколько часов выдалось свободных после обеда, ну, я вскочил в поезд — и туда.

— Как она выглядит?

— Отлично. Прибавила полтора килограмма.

— О, это чудно, Барт! На будущей неделе у нее будет просвечивание, и тогда уж мы точно узнаем, как идут дела. Я жду не дождусь, пока результаты просвечивания не получу.

— Уверен, что все хорошо будет. Она отлично выглядит, — Барт улыбнулся, вспомнив свою поездку, и протянул ноги поближе к радиатору. — Знаешь, мне все больше и больше нравится эта миссис Карлтон. Джэн просто повезло, что у нее такая соседка.

— Конечно, повезло. Особенно если вспомнить, какие там старые ведьмы попадаются.

— Да, угрюмые тетки, правда?

— В понедельник у них там девушка умерла из крайней комнаты — я видела сообщение в газете.

— Серьезно? А Джэн мне ничего не сказала. Я думал, та поправляется.

Барт почувствовал какое-то смутное беспокойство.

Дорин, присев к столу, налила ему чаю.

— Я рада, что ты у нее побывал. Особенно после этого случая.

— Мне там вчера просто жутко стало. Все окна и двери распахнуты, и туман все ползет, ползет, пока все внутри не заполнит. Я знаю, это полезным считается. Но уж больно мрачный способ лечения. У меня от этого мороз по коже продирает.

— Да. А у меня для тебя приятная новость. Мне сегодня на работе сказали, что я смогу в конце следующей недели часть своего отпуска использовать, и вот я заказала место в пансионе близости с санаторием.

— Вот это здорово! А я, может, с тобой на субботу и воскресенье поеду.

— Это будет замечательно. Я не очень-то умею речи произносить, но мне бы хотелось, Барт, чтоб ты знал, как я ценю все, что ты для Джэн сделал и делаешь.

— Бога ради! Не будем начинать все сначала, правда?

— Нет, не будем. Я по отношению к тебе вела себя по-свински вначале, это так. И мне хочется сказать, что я переменила о тебе мнение. По-моему, ты замечательный парень.

— Да брось ты! И мне б не хотелось, чтоб мы тут друг перед другом в комплиментах рассыпались, но я-то ведь тоже знаю, что ты для Джэн делаешь.

— О, это совсем разные вещи! Она моя сестра, и у меня, кроме нее, никого, нас двое осталось, когда отец был убит.

Дорин взглянула на него с необычной нежностью.

— И вот теперь... ты.

— Понимаю, Дорин, и мне очень приятно.

— Но знаешь, иногда меня ужасно мучает мысль, что тебе столько тратить приходится. Расходы просто жуткие.

Он сделал нетерпеливый жест.

— Я знаю, что ты не жалуешься, и это чертовски мило с твоей стороны. И все же факт остается фактом. Я тут до твоего прихода просматривала счета. Вот глянь — счет от аптекаря: за две недели шесть фунтов четыре шиллинга и десять пенсов. Никогда б не подумала, что будет еще столько дополнительных расходов, тем более что я ей туда все, что только можно, привожу!

— Не нужно тебе тратить все свои деньги, ведь тебе еще квартплату за эту дыру целиком приходится вносить.

— Да это я осилю. К тому ж я теперь ко всем сверхурочным работам примазываюсь — тоже кое-что дает. Мне хочется, чтоб Джэн знала, что ей будет куда вернуться после санатория.

Дорин продолжала перебирать счета.

— Да, вот счет из санатория. Семьдесят дней: по шесть гиней за неделю, вычтем отсюда две гиней за счет фонда здравоохранения. Получается сорок два фунта. О Барт, это просто ужасно! Мне кажется, все-таки надо было ее в бесплатный санаторий устроить.

— И чтоб она еще три или четыре месяца места ждала?

Дорин вздохнула и снова зашелестела счетами.

— Три гиней за предыдущий пневмоторакс и за этот. Стирка, какой-то там анализ — семь шиллингов и шесть пенсов и, вероятно, еще три гиней за просвечивание, которое ей сделают на этой неделе. Джэн хотела бросить курить из экономии, но я сказала, что не надо.

— Вот уж ерунда — ведь это у нее сейчас единственное удовольствие.

— Да, но все это слишком дорого, Барт.

Дорин подсчитывала, перебирая счета:

— Сорок два, сорок пять, сорок шесть, сорок девять фунтов. Надо попытаться подыскать что-нибудь другое.

— У меня хватит еще на несколько месяцев. Лишь бы только она поправилась, а на все остальное мне наплевать. Судя же по всему, что говорят, она идет на поправку.

— Это правда. Там просто диву даются, как быстро она выздоравливает, и все же это чертовски дорого.

— Раз Джэн нуждается в лечении, я всегда найду деньги на это. Есть еще жалованье, которое мне задержали, а если на то пошло, то и мое наградное пособие. Но я думаю, она еще до этого поправится.

Он усмехнулся:

— Я его в течение пяти лет заберу на какие-нибудь покупки для наших детишек.

— Мне жутко становится, когда подумаю, что вот и миссис Карлтон, и Линда, и этот их симпатичный Леонард — все они сначала надеялись, что это только на шесть месяцев.

Барт отодвинул стул.

— Не нужно так думать. Они, вероятно, не делали всего, что полагается. Джэн совсем другая. Она не похожа на них на всех.

— Нет. Я тоже думаю, что нет.

— Что бы я хотел знать точно, так это, когда она выпишется, чтоб я мог подать на увольнение и подыскать пока работу.

Он положил себе три полные ложечки сахару во вторую чашку чаю.

— И что тогда?

— Тогда я сразу же женюсь на Джэн.

Дорин со стуком опустила свою чашку.

— Послушай, Барт! Разве ты не понимаешь, какой она для тебя обузой будет, пока не поправится как следует? Тебе не кажется, что лучше будет хоть немного подождать?

— К черту это ожидание!

— Но иметь больную жену...

— Больная или здоровая — Джэн будет моей женой. И чем скорей я найду себе работу, тем лучше.

Он вынул из бумажника пачку денег и протянул Дорин.

— Это тебе должно помочь разделаться с ворохом счетов. И если будут еще, скажи мне. Я вовсе не хочу, чтобы ты тратила все до последнего гроша.

Дорин взяла деньги и тщательно пересчитала. Пятьдесят фунтов! Она помялась.

— Если бы ты знал, Барт, как мне не хочется брать эти деньги...

— Бога ради, Дорин, как будто я чужой!

Он разозлился.

— Да я это не к тому, что у тебя брать. Я даже не знаю, к чему это я. Просто мне страшно думать, что, когда она выйдет и вы поженитесь, все, что пошло бы на дом, на обзаведение, будет проглочено этими расходами. Как-то обидно это.

— Давай не будем об этом говорить.

Она подперла голову ладонью.

— Все это очень беспокоит меня, Барт. Я все спрашиваю себя, правильно ли мы поступаем. Потом решаю, что правильно. Ее там лечат по последнему слову науки. И ты ни перед какими затратами не останавливаешься. А потом я вспоминаю, какое у нее лицо, когда я с ней в субботу расстаюсь. Правда ведь, просто сердце разрывается от этого ее взгляда? Она старается и веселой казаться и жизнерадостной, и все ж будто мы ее на необитаемом острове бросаем.

— Да.

Некоторое время Барт глядел в пустоту. Потом резко обернулся к Дорин.

— Но теперь уж недолго. Мы все будем выполнять, пока она не поправится. И до чего ж я рад буду с этим Пайн Риджем распрощаться наконец!

— Я тоже. Я ведь по ней очень скучаю. Знаешь, мы с ней никогда не разлучались, кроме того времени, что я была в армии. Да и тогда мы тоже часто виделись. А когда меня перевели сюда из Виктории, она только месяц там пробыла без меня. Тетушка ни за что не хотела, чтоб она сюда ехала, но мы страшно скучали друг без друга, особенно после того, как отец был убит.

— Да, вам туго пришлось.

— Иногда я думаю, что мне не следовало ее сюда звать, но она сама так хотела, и хотя тетка хорошо за ней ухаживала, она там никогда не была счастлива.

— Если б она не приехала, я бы никогда ее не встретил.

Дорин промолчала, и Барт понял, что она осуждает их и считает, что для них всех лучше было бы, если бы они никогда не встречались.

— Ты была для Джэн замечательной сестрой, Дорин, — попытался он отвлечь ее от этих мыслей.

Дорин покачала головой.

— Я не должна была допускать, чтобы так случилось. Я виню в этом себя. Надо было ее еще в прошлом году на рентген послать. Конечно, ее врач говорил, что все хорошо, но мне-то нужно было и свою голову иметь.

Она стояла у двери, положив руку на щеколду. Барт обнял ее за плечи.

— Меня это тоже касается, и в будущем мы будем сами думать.

Он нагнулся и легонько чмокнул ее в щеку.

— Я позволю тебе в начале следующей недели, договоримся и поужинаем вместе как-нибудь вечером и, может, сходим куда-нибудь. Для разнообразия полезно и в разгул пуститься.

Дорин улыбнулась. Совсем как Джэн. Он прошел через вестибюль, в душе его еще теплился огонек ее улыбки. Чертовски славная девушка Дорин! Им с Джэн повезло, что у них есть Дорин.

ГЛАВА 22

I

Туман продержался две недели, а в день, когда у Джэн был рентген, с утра ударил морозец; иней белел на барьерах веранды, дыхание клубилось в ясном воздухе. На деревьях сверкала влага, и голые сучья вязов четко вырисовывались на фоне светлого неба. Какая-то птаха уселась на тоненький-тоненький сучок, который так и затрепыхался под ее тяжестью. В такие дни хочется жить. Они там могут говорить что угодно о том, как полезен туман для здоровья, но когда он заволакивает долину, и дом, и все вокруг, и так день за днем, неделя за неделей, то устаешь от этой проникающей всюду мутной серости, от холодной сырости, покрывающей все вокруг. А сейчас солнце, выйдя из-за гряды облаков, залило светом весь мир.

Миссис Карлтон повернулась к Джэн.

— Хорошее предзнаменование для твоего рентгена.

Джэн согласилась, что это чудесное предзнаменование, да и вся эта неделя была счастливым предзнаменованием: она не похожа была на тоненькую серую ниточку дней, тянущуюся от воскресенья до воскресенья, она вилась, словно рождественская гирлянда, скрашенная сияюще радостным событием — неожиданным приездом Барта среди недели.

Джэн подошла и выглянула в сад, который мороз убедел инеем, а солнце покрыло алмазной россыпью. Между

столбами веранды видна была изящная пряжа паутины; посеребренный ее сверкающий иней начинал таять на солнце, обращаясь в бриллианты капель. Горные гряды отличал аметистом, долины были до краев наполнены клубами тумана. Из-за подножий гор, над рекой Непин, колыхаясь, вздымалось густое облако тумана, а за ним, нежно-бежевые в утренних лучах, переливались равнины. Воздух был напоен смолистым ароматом сосен и елей, сладковатым запахом гниющих листьев и прелой земли.

Джэн стояла в дверях, помахивая резиновым купальным мешочком. Она собиралась в ванную и после двух долгих месяцев раздражающе неудобной процедуры мытья в постели посещение ванной было настоящим приключением. В такой день все казалось приключением. У нее было чувство, что сегодня все должно быть хорошо.

— В такое утро почти начинаешь верить, что сам господь бог заботится о тебе, да?

Миссис Карлтон не отвечала.

Джэн взглянула на нее, удивляясь, почему она молчит.

Миссис Карлтон медленно покачала головой.

— Вы не верите в бога? — спросила Джэн.

— Нет, не верю. А мне хотелось бы верить. Это, должно быть, большое утешение.

— Но столько людей верят. Они говорят: «Господь добр», или «такова воля господня», или «господь поможет»...

— Разные слова говорят. Когда я во второй раз сюда в санаторий приехала, я думала, вера в бога мне поможет. Я пыталась верить. Я читала, и я задавалась вопросами, и делала все, что делают в таких случаях. И все же я не смогла верить.

— А разве вам иногда не бывает страшно?

Миссис Карлтон долго молчала.

— Бывает, — сказала она наконец.

— А чего вы боитесь? — продолжала расспрашивать Джэн. Ей хотелось знать, не скрывается ли иногда за спокойствием миссис Карлтон тот же страх, что и у нее.

Ответ прозвучал совершенно неожиданно. Миссис Карлтон вдруг подняла на нее сияющие серые глаза и сказала:

— Я боюсь, что умру, и боюсь, что не умру.

Джэн замерла у двери и ощутила в мозгу ледяное прикосновение этих слов. И, словно поняв это, миссис Карлтон засмеялась.

— Ну и мрачные разговоры же я завожу, да еще в такое ясное утро! Беги, дитя, радуйся ванне и не обращай на меня внимания. Я тоже почувствую себя совсем по-другому, когда милая нянечка оботрет меня губкой.

Джэн медленно побрела в ванную, стараясь идти размеренным шагом, которому ее учили здесь, все время напоминая себе, что нужно сдерживать привычную торопливую походку так, чтобы легкие напрягались как можно меньше.

Она думала о словах миссис Карлтон и об отблеске страха, который она увидела впервые в ее глазах. Джэн слышала, как накануне хозяйка беседовала на веранде с врачом миссис Карлтон. Врач считал, что миссис Карлтон нужно произвести торакопластику. Джэн содрогнулась. Это значило не только перенести операцию, хотя уж одна мысль о том, что у тебя удалят ребра, была достаточно страшной. Это значило бы изуродовать тело! Если бы ее изуродовали так, она никогда бы не согласилась больше, чтоб Барт увидел ее тело.

«Я ни за что бы не сделала этой операции,— жесточно твердила она про себя.— Что бы там ни говорили доктора». Потом какое-то смутное воспоминание пронеслось в ее мозгу: да, да, миссис Карлтон как-то говорила то же самое, до того как у нее началось обострение. Вероятно, все говорят так».

II

Джэн выглядывала из машины, увозившей ее, Роду, Леонарда и Макса Ковентри из санатория в госпиталь «Голубые горы», и красота этого дня наполняла ее непереносимым волнением. В сверкающем прозрачном воздухе сизая дымка долины синела ярче и гуще, чем всегда. Просто быть на воздухе, ощущать ласку солнечных лучей на коже, смотреть на узловатые искривленные эвкалипты, на их четко вырисовывавшиеся узкие листья, острые и жесткие, как ножи,— все это было настоящим блаженством. Всю дорогу она смотрела сквозь деревья на одинокую вершину Маунт Солитари над долиной Канимбла Вэли, на двугорбую Маунт Джордж и на сахарную голову горы Маунт Кейли, вздымавшейся за долиной Гроуз Вэли.

Маунт Солитари нависала над долиной, и ее плоскую срезанную макушку венчала темная шапка леса. Поросшие лесом ущелья убежали до самого горизонта, темнея лапислазуревыми пропастями на фоне песчаных скал. Пронзительный ветер обдувал ее лицо. Горная дорога петляла

среди скал так, что на поворотах захватывало дух. Казалось, весь мир замер в покое, и только они мчат в машине среди окружающей тишины.

По дороге в госпиталь сердце ее взволнованно билось. Ну конечно же, такой день, как сегодня, когда все будто замерло в невыразимом спокойствии,— конечно, такой день был добрым предзнаменованием.

— О боже,— молилась она,— о боже, сделай так, чтобы этот снимок был благоприятным, ведь столько зависит от этого. Пусть он будет хорошим — ради Барта, ради Дорин и ради меня. И не только для себя я прошу, но и для них тоже. Они так много делали для меня и так много, ужасно много истратили денег. Пожалуйста, господи, сделай, чтоб снимок был хорошим. И тогда дело пойдет на поправку. И я не буду больше обузой для Дорин и для Барта. О господи, пожалуйста!

Она не знала, какому богу она молилась, потому что, кроме того, что иногда им говорили о боге в школе — а она редко прислушивалась к этому,— она совсем мало знала о том, какие бывают боги. Но она надеялась, что есть кто-то, кто услышит ее там, над кристальной прозрачностью дня, над тишиной, разлитой в природе. Она вспомнила чудеса, о которых им в школе рассказывал священник. Конечно же, если Он мог обратить воду в вино, если Он мог воскресить мертвого, конечно же, Он может сделать одну-единственную вещь — сделать хорошим ее рентгеновский снимок. Но может ли Он? А что, если все это одни разговоры? Ведь не верит же в бога миссис Карлтон.

— Вот и все.— Голос у рентгенолога был спокойный, приятный. Он улыбнулся ей.

— А когда я узнаю результат?

Она чувствовала, что голос ей изменяет, что он плывет, словно звук на замедляющей ход граммофонной пластинке.

— Завтра или послезавтра. Точно не могу сказать. У нас сейчас много работы.

Она пробормотала «спасибо» и «до свидания» и пошла к выходу через залитый солнцем коридор, глядя прямо перед собой и стараясь идти медленным шагом.

Конечно, они могли бы сказать ей все и сейчас. Горло у нее сдавило, и она боялась, что расплачется раньше, чем сможет укрыться в машине. Конечно же, ни к чему было бы тянуть так долго. Они могли бы сразу проявить снимок.

Она села в машину, поджидая остальных. Тишина, царившая в долине, казалась еще более глубокой, чем прежде,

а вершина Маунт Солитари еще более одинокой. «Если б я жила одна на вершине Маунт Солитари,— подумала она,— и то я не была бы такой одинокой, как сейчас, отгороженной от всего мира, отрезанной от всего».

Поезд медленно проходил через тоннель, сдвоенные паровозы пыхтели на крутом подъеме, дым вырывался из труб. Первый паровоз предупреждающе засвистел. А по шоссе вверх и вниз мчался поток машин, автобусы вздымали клубы пыли, автомобили, взревев, исчезали за крутыми поворотами горной дороги. «Все это Жизнь,— подумала Джэн и заплакала,— все эти люди куда-то едут, что-то делают. Все эти люди свободны. Почему мне тоже нельзя быть свободной?»

ГЛАВА 23

1

Барт грустно стоял на тротуаре возле отеля «Капитан Кук», где они с Чиллой пили пиво после футбольного матча. Потоки зрителей все еще текли из ворот стадиона, трамваи и автобусы были забиты людьми, спешившими домой. Трамвай тронулся, и Чилла помахал Барту рукой с подножки вагона. Они собирались провести вместе вечер у Райэнов, но миссис Райэн и с полдюжины маленьких Райэнов заболели гриппом, и вот Чилле пришлось возвращаться домой, чтобы помогать отцу готовить чай и ухаживать за больными. Так что это отпало. Барту ничего не оставалось, как возвратиться в казарму, но самая мысль об этом была ему ненавистна. Даже к Дорин зайти нельзя было — в это утро она уехала в Уэнтуорт Фолз. Барт вяло подумал, куда бы это податься.

Опускался зимний вечер, в сгущающихся сумерках едва виднелись просторы Мур Парка, на светлом фоне огней бульвара Энзэк Пэрейд темной массой выделялись мортонбейские фиги.

Ну и жизнь, угрюмо думал Барт. Может, они с Дорин слишком поспешили послушаться советов этого лекаря и отослать Джэн в горы чуть не за сотню миль отсюда. Но она так быстро поправляется, что, может, ей скоро разрешат вернуться. Так или иначе, завтра надо будет связаться с Джэн и узнать, что она об этом думает. Он-то знает, что ей там приходится не лучше, чем ему здесь без нее. И что уж совсем глупо держать ее там взаперти, когда она так хорошо выглядит! Да, уж попадешь в руки к врачам, ни за что не узнаешь, когда от них вырвешься. Долгая раз-

лука с Джэн была не только мучительна, но и вызывала в нем озлобление.

Горечь, чувство одиночества и тоска по Джэн переполняли его. К чертям все на свете!

Он вскочил на трамвай, шедший вдоль Флиндерс-стрит. Потом вдруг, повинувшись какому-то порыву, вышел на Тейлор-сквер, пересек ее, вышел на Кингз-кросс и зашел поесть в закусочную. Здесь кормили неплохо и к тому же дешево. А сейчас он не мог швыряться деньгами. Нет, он вовсе не жалуется на расходы из-за Джэн, но все ж дохлое это дело для парня — разгуливать по Сиднею без пары фунтов в кармане.

Свет уличных фонарей выхватил из темноты обшарпанную каменную стену старого здания суда и телефонные будки, ярко алевшие в серых вечерних сумерках.

Вдруг он остановился. Ну что за дурак! Нужно только зайти в будку, набрать номер, опустить два пенни, и все вопросы на сегодняшний вечер будут решены.

Он с трудом отыскал ее имя, перелистав для этого несколько раз телефонную книгу с обтрепанными на углах страницами и убедившись, что фамилия ее пишется «Брукс», с «с» на конце, а не «Брук», как он думал вначале.

Он набрал номер и услышал долгий гудок — «у-у-у». Телефон продолжал пронзительно гудеть. Никто не отвечал. Он довольно долго держал трубку, пока ждавшая своей очереди женщина не застучала в нетерпении по стеклу. Он повесил трубку, вынул из щели монетки и вышел из будки еще в худшем настроении, чем вошел.

Скучная серая улица с ровными рядами домов казалась неприветливой, как тюрьма. На углу его окликнула девушка:

— Пошли-ка домой, милоч?

Он, грубо отмахнувшись, прошел мимо. Ну их к черту! С этим он покончил. Но голос, оказавшийся неожиданно мягким и нежным, все еще преследовал его.

Да, хитрый приемчик. Для такого одинокого парня, как он сейчас, которому и пойти-то некуда, слово «домой» звучит довольно заманчиво, даже если дом — это всего-навсего неприбранная комнатуха где-нибудь в доходном доме по пять шиллингов в час. Он шел вперед, не отвечая ей и быстро пересекая пустынные улицы своей широкой, размашистой походкой. Наверно, Магды нет дома.

Он позванивал монетками в кармане шинели. При виде новой телефонной будки ему снова захотелось позвонить

ей. Может, она вернулась. Ну, а если ему не повезет, тогда он пойдет в закусочную, поест, а потом один отправится в кино.

Телефонный гудок громко дребезжал ему в ухо. Ему стало совсем грустно. И вдруг, когда он уже собрался повесить трубку, он услышал, как на том конце провода женщина, запыхавшись, произнесла: «Алло!» Голос Магды звучал тепло, дружелюбно, как будто она стояла здесь рядом.

— О, добрый вечер,— сказала она приветливо,— так это вы звонили мне раньше? Я была в ванной и едва успела выскочить. Ну, видели б вы меня!

Он представил себе ее, соблазнительную, смуглую, завернутую в большое полотенце.

— Может быть, это и хорошо, что тут телефон, а не телевизор.

Она засмеялась.

— Что вы делаете?

— Стою в телефонной будке.

— О!

Он старался говорить спокойно.

— Я... Я подумал, может, вы сегодня не заняты. У меня неожиданно освободился вечер.

— Правда?

— Да, мне, конечно, следовало позвонить раньше, вы сейчас, наверно, куда-нибудь собираетесь, или что-нибудь еще в этом роде?

— Насколько я понимаю, вы предлагаете провести вместе вечер?

— Вот именно.

— Ну до чего ж деликатный парень!

— Я понимаю, что надо было предупредить гораздо раньше.

— О, гораздо!

Так ему и надо. Почти полмесяца уже прошло с тех пор, как они виделись.

— Я думал, может, если вы ничего не делаете...

— Делала.

— Ах, так. Ну что ж, прошу прощения. Желаю приятно провести время.

— Я говорю: делала.

— Да?

Они помолчали. Он был озадачен.

— Делала, понимаете, а теперь, так или иначе, я уже свободна.

Она была откровенной и кокетливой в то же самое время. Он вытер пот со лба и пересчитал свои деньги. Да, сегодня на такой ужин, как тогда, не хватит. И, словно читая его мысли, она сказала:

— Я просто замерзаю, на мне одно полотенце. Дайте мне четверть часа, хорошо? Я оденусь и потом смогу приготовить ужин. Как раз ужин за мной.

— Это очень мило с вашей стороны.

— Ну-ну, не зазнавайтесь. Где вы сейчас?

— Возле казармы.

— Ладно, у вас займет добрых полчаса сюда добратся, так что до встречи, au revoir.

— Хорошо, только особенно-то из-за меня не старайтесь.

— А почему бы и нет? Ну ладно, пока!

Он критически осмотрел свою потрепанную солдатскую форму, к тому же еще изрядно помявшуюся в толпе болельщиков на стадионе. Надо зайти в туалетную при какой-нибудь забегаловке и немного почиститься. А заодно и время пройдет, и его выдумка о том, что он звонил из Рэндуика, будет выглядеть вполне правдоподобно.

II

Нажав кнопку звонка у гладко отполированной деревянной двери ее квартиры, он пережил минутное колебание. Ему захотелось сбежать вниз по аккуратно устланным коврами ступенькам и через вестибюль и тяжелую стеклянную дверь выбежать на улицу. Но было уже поздно: внутри слышался шум. Потом Магда отворила дверь, и выглядела она при этом еще более обольстительной, чем прежде. На ней был темно-красный бархатный халат, облегавший фигуру и подчеркивавший стройные линии ее тела, волосы тяжелой волной падали на плечи так же, как тогда, при их первой встрече. Она встретила его весело и приветливо.

— Ух, бедняга, замерз же небось!

Он вошел в маленькую прихожую. Толстый ковер на полу, вазы с цветами, на низеньком столике телефон. Ободренный дружелюбной непринужденностью ее встречи, он почувствовал себя свободнее. Глядя на нее, смуглую и разгоряченную ванной, он подумал, что он слишком много возомнил о ее отношении к нему, и при этой мысли он почувствовал еще большее облегчение, к которому почему-то примешивалось и некоторое сожаление.

Магда отлично смешивала коктейли, и, выпив второй коктейль, Барт с удивлением подумал, почему он был таким дураком и целых две недели ей не звонил. Ведь с ней можно было разговаривать свободно и непринужденно.

Да, с Магдой можно держать себя по-приятельски, она ничего не требует и принимает тебя таким, как ты есть. Разговаривать с ней так же легко, как с женщиной, но разговор этот волнует больше, гораздо больше. После третьего коктейля он удобно откинулся в кресле, больше не чувствуя никакой скованности в этой роскошно обставленной комнате, не думая больше о своей потрепанной форме и тяжелых ботинках. Магда на это не обращала никакого внимания, и Барт жалел о том, что раньше не хотел приходить к ней.

И зимний вечер, так пугавший его недавно, одинокий и долгий зимний вечер был позабыт. Здесь было тепло, смех, радио и решетка электронагревателя, имитировавшего камин. Здесь все было удобным, уютным, все располагало к отдыху.

Черный кот, отнюдь не персидский кот, какого он ожидал встретить в таком окружении, а обыкновенный черный кот с гладкой атласной шерсткой важно вошел в комнату.

— Знакомься, ЧР,— Магда ласково поманила кота.— Это сокращение — от черного рынка, потому что это символ нувориша. Мы нашли его как-то ночью. Он сидел на пороге мокрый, дрожащий от холода, голодный и бездомный кот. Ник — это мой муж,— пояснила она,— назвал его, конечно, Ниггером, черномазым. Но он стал таким лоснящимся и так растолстел, что я прозвала его «Черный Рынок». Знаете, чувство товарищества. Мы оба стольким обязаны черному рынку. Ник вовсе не находит это забавным, но коту имя понравилось.

— Оно ему определенно подходит.

— Да. Верно ведь? Он явный пример того, как портятся люди, попадая в привилегированный класс. Если бы Ник не был так невероятно суверен, то ЧР и сейчас ловил бы мышей где-нибудь в районе Кросса и честно зарабатывал себе на жизнь. А теперь он ест филе из леща и бифштексы.

Она провела рукой по шерсти, и кот томно выгнул спину.

— Совершенно испорчен, мошенник, правда?

Барт прищелкнул пальцами и поманил его: «Кис-кис». Кот спрыгнул с ручки Магдиного кресла и, медленно прошествовав по ковру, обнюхал протянутую ему руку.

— Ого, вам оказана честь! Он редко проявляет такое расположение к людям.

Обнюхав для знакомства его руку, кот вскочил Барту на колени и потерялся головой о его грудь.

— Вот как даже! Вы приняты в семейство. Он к вам просто неравнодушен.

— Похоже на то, верно?

Она поднялась.

— Ну, раз вы так уютно расселись, я пойду готовить ужин.

Не обращая внимания на его слабый протест, она вылила в его бокал остатки коктейля из миксера.

— Ну, ну, не дурачьтесь! Чтоб оголодавший мужчина такого сложения и не выпил коктейль, да еще в такой холодный вечер?

Он не спеша допивал коктейль.

Все в этой комнате действовало на него усыпляюще: и кот, довольно мурлыкавший на его колене, и коктейль, искрившийся в бокале, и огонь, сверкавший за решеткой. Расслабленно лежа в кресле, Барт прислушивался к стуку тарелок на кухне. Он пощекотал атласное брюшко ЧР, и кот вытянулся у него на коленях, то выпуская коготки из бархатных подушечек лапок, то втягивая их обратно.

Барт лениво откинул голову на спинку кресла, — он чувствовал себя умиротворенно.

Магда пела в кухне, и он понял вдруг, что для полного блаженства ему не хватало именно вот этого — голоса женщины, которая поет, готовя ему обед.

Она выглянула из кухоньки, ее губы лукаво улыбались.

— Конечно, если вы очень хотите, вы можете прийти и помочь мне лущить горох. Это ускорит дело.

Он встал, и ЧР спрыгнул с его колен, протестуяще мяукнув. К своему удивлению, Барт обнаружил, что коктейль привел его в приподнятое состояние духа. Он растегнул ворот форменной рубашки и, усевшись в кухне на скамеечке, стал лущить горох. Тем временем Магда, вновь преобразенная передником, повязанным поверх халата, крошила на сковородку луку, разрезала пару помидоров и слегка отбила ломоть мяса, как это часто делала дома его мать.

Барт лущил горох, вдыхал запах жарящегося лука, следил за ловкими движениями ее холеных ручек, слушал

ее веселое щебетание и чувствовал, как рассеивается грусть, одолевавшая его в последнее время, как будто маленькое солнце восходит у него внутри, согревая тело и душу.

Запах стирки был таким знакомым, таким домашним, что на мгновение ему стало стыдно своих прежних мыслей о Магде и подозрений, которые заставляли его избегать ее. Такая свежая после ванны, она была лишь чуть-чуть напудрена, губы у нее были покрашены гораздо меньше, чем обычно, и вообще она вовсе не напоминала ту коварную соблазнительницу, какой он рисовал ее себе раньше. Вот еще одно доказательство того, как можно ошибаться в женщине. Он, вероятно, все это вообразил. Магда просто обращалась с ним по-приятельски. А он-то дурак! И они могли бы отлично проводить время, пока ее мужа не было. Полмесяца, сказала она тогда, а полмесяца уже подходит к концу. Ну, да, может, еще как-нибудь вечером мужа ее не будет дома. И они смогут посмеяться и поболтать, и он будет помогать ей готовить обед — все так хорошо, просто по-товарищески. Он никогда и не думал, что еще с какой-нибудь женщиной, кроме Джэн, он сможет чувствовать себя так свободно.

IV

Ни запахи, ни заманчивый вид обеда не обманули его. Барт не помнил, когда еще ему доводилось есть такой мягкий бифштекс, приправленный таким острым луком, таким нежным зеленым горошком или такими вкусными помидорами. Окончив, он удовлетворенно вздохнул и отложил нож с вилкой.

— Давненько я не ел такого обеда. Вы меня просто удивили, Магда.

Она вопросительно подняла брови, росшие вразлет, словно крылья птицы.

— Ну, просто я не ожидал, что такая женщина, как вы, умеет готовить.

— Ах, это! Это одно из заблуждений, которое идет чуть не от сотворения мира. Знаете, все эти девушки, которые говорят, что не умеют готовить, они думают, что это прибавляет им привлекательности. Это одна из черт, которые считаются совершенно необходимыми в роковых женщинах-сиренах, из тех, что видишь в кино по субботам на дневных сеансах.

Оба они посмеялись над такими фильмами.

— Попробуйте себе представить, чтобы такая женщина,

как там, когда-нибудь думала о бифштексе или, что еще хуже,— о том, чтобы поджарить бифштекс. Невозможно?

Он смотрел на нее с восхищением.

— Вы не похожи ни на одну из моих знакомых.

— Неужели?

— И каждый раз, когда я вижу вас, вы другая.

— Вероятно, потому что вы тоже с каждым разом меняетесь.

— Ну нет, я все такой же темный.

Он пододвинул к себе сыр и отрезал ломтик.

— Ну да, это вы-то темный! Ну, нет, особенно когда у вас этот хищный взгляд, словно у коршуна, как тогда на Центральном вокзале вечером, когда вы стояли перед указателем. Нет уж, что угодно, только не темный.

Он почувствовал приятное тепло оттого, что она так хорошо его понимает.

— Да, мне много чего пришлось повидать.

Подперев подбородок ладонью, Магда смотрела ему в лицо и грызла миндаль.

— Да, уж наверно, немало всякого. Расскажите мне о Японии.

Есть еще тысяча вещей, которые он никому не рассказывал и которые он расскажет ей. Магде легко рассказывать. Иногда даже похоже, будто говоришь с женщиной. Не нужно все время бояться, что шокируешь ее. Разговаривая с Джэн, он всегда чувствовал, что многие вещи ей не надо рассказывать, потому что ей не следует знать о них. И не потому, что он стыдился их, а потому, что они каким-то образом могут быть оскорбительны для ее чистоты. С Магдой совсем другое дело — она все поймет. Остроумная, веселая, она может отпустить любую мужскую шутку, и ты при этом не испытываешь никакой неловкости.

Они долго сидели за кофе, ЧР мурлыкал, пристроившись у Барта на колене. Потом они пошли мыть руки. Барт обвязался при этом полотенцем и закатал рукава рубахи. Он чувствовал себя совершенно как дома.

Вернувшись в гостиную, они продолжали разговаривать под приглушенное бормотание радио. ЧР, свернувшись клубком, дремал у него на колене. Магда открыла бутылку великолепного шотландского виски. Такого Барт никогда еще не пробовал. Они чокнулись. Он припомнил ночь, когда они пили чай в станционном буфете в Оранже. Она рассказывала, что тогда она заметила его сразу, как он зашел, следила за ним, когда он проходил к стойке, и решила заговорить с ним первая.

— Тебя это покорило?

— Нисколько, скорее польстило.

— Мне всегда казалось глупым, что нельзя сказать мужчине о том, что он тебе с первого взгляда понравился.

Он почувствовал, как виски огнем разливаются по телу. Магда звонко рассмеялась.

— Ты не настолько старомоден, чтоб возражать, когда я прямо говорю, что ты мне нравишься?

Он, не отрываясь, смотрел на нее. Она лежала, свернувшись калачиком, в большом кремовом кресле. На ее выставленной вперед ноге качалась домашняя туфля, волосы у нее разметались по плечам, губы были красные и полные, такие, какими Барт запомнил их с той первой встречи ночью на станции.

Барт оторвал от нее взгляд, посмотрел на часы.

— Черт возьми, а мне и в самом деле пора.

— Ну тогда выпей еще перед уходом.

Он смотрел, как она двигалась по комнате, которая вдруг показалась ему огромной. Она нагнулась, чтобы наполнить его бокал, халат ее распахнулся, и он увидел просвет между грудей, снова ощутил едва уловимый запах ее духов. Он резко отодвинулся, и ЧР спрыгнул с его колена. Барт притянул ее на кресло рядом с собой, прижимаясь губами к ее губам. Потом она просунула руку под его рубашку, и он ощутил прохладу этой руки у своего отчаянно колотившегося сердца. Она потянула его к себе, и он ощутил, как ее зубы впиваются ему в плечо.

ГЛАВА 24

!

Барт проснулся, внезапно возвращаясь к действительности от ужасов привидевшейся ему во сне бомбардировки. На мгновение ему показалось, что он сошел с ума. Солнце пробивалось сквозь кремовые жалюзи, отбрасывая на занавеси волнистые тени. Он быстро сел на постели, приведенный в замешательство незнакомой обстановкой комнаты. Потом он вспомнил, где он находится. Магда еще спала рядом с ним, зарывшись головой в подушку, а над ней в солнечных лучах поблескивало выстеганное атласом изголовье. Розовое одеяло сползло с ее обнаженного плеча.

Барт ощутил неприятный вкус во рту. Ну и ночка была! Взгляд его остановился на плече и груди Магды, и он потянулся к ней. Потом вдруг остановился и, еще не веря себе, уставился на запястье — стрелки часов показывали

десять! Не может быть! Он, наверно, просто забыл завести часы. С надеждой прижал он часы к уху — нет, идут. Барт быстро вскочил с постели и побежал по толстому кремовому ковру к столику, где стояли золотые часы. Десять часов! Он вышел в кухню, и здесь со стены на него смотрели электрические часы. Десять часов. Он вернулся в спальную. Прохладный живительный ветерок повеял на него из окна. Боже, десять часов, он опоздал на последний поезд, уходящий в горы.

С минуту он стоял потрясенный, не в силах успокоить нервы. Он пропустил поезд и, значит, не увидит Джэн. В нем бушевала сумятица разнообразных чувств. Гнев — при мысли о том, как расстроится Джэн, презрение к самому себе. Хорошо тут Магде лежать, свернувшись на кровати калачиком, словно кошка. Он с треском поднял жалюзи. Магда проснулась, медленно перевернулась в постели и неохотно открыла глаза. Некоторое время она лежала, сонно глядя на него.

— Милый, ты сейчас там стоишь, как бог солнца. Таких мужчин, как ты, я бы просто запрещаю носить одежду.

— Десять часов.

— Ну и что? У нас еще целый день впереди.

— Мне надо немедленно сматываться. Я на поезд в горы опоздал.

— Ну, а другого что, нет?

— Нет.

— Тогда какой же смысл сматываться?

Она заложила руки под голову и лениво потянулась.

— Черт побери! — Барт тяжело опустился на край постели и закрыл лицо руками.

Магда погладила его по ноге. Он вздрогнул от ее прикосновения и отодвинулся.

— Что с тобой? Мутит с похмелья?

Он встал и, злясь на нее, отошел к окну. Солнечный свет за окном, казалось, тоже укорял его. Его глодало чувство вины. Он знал, что несправедливо было злиться на Магду. Но воспоминания этой ночи вставали перед ним чудовишным упреком. Магда, подняв брови, наблюдала за ним. Он повернулся и, ни слова не говоря, пошел к двери. Потом, вдруг застыдившись, остановился.

— Прости, Магда, это опоздание меня совсем из колеи выбило. Это моя вина, и совсем незачем вымещать зло на тебе.

— Это так важно для тебя?

— Да.

— А нельзя ли просто заказать междугородный разговор?

— Нет.

— К какому времени тебя ждут?

Он сказал. Она лежала, задумчиво глядя на его высокую мускулистую фигуру, широкие, покрытые веснушками плечи, узкие бедра. Она видела, как углубились складки вокруг его рта.

— Угрюмый и ворчливый паршивец,— сказала она мягко,— иди прими душ и одевайся. Я пока приготовлю кофе, а потом все обсудим.

Он отправился в ванную, чувствуя себя неблагодарным идиотом. Магда же не виновата. Он открыл душ и стоял под горячими струйками, играющими на коже, потом повернул ручку до отказа и пустил холодную воду. Постепенно в голове у него прояснилось. Магда всунула голову и крикнула, покрывая шум воды:

— Бритва и все, что нужно, в шкафчике!

Потом он услышал стук чашек на кухне, и до него донесся запах кофе. Он побрился и присыпал пудрой щипавшую кожу.

На столе стояли горка тостов и дымящийся кофе, и сейчас, когда он смотрел на Магду, хлопотавшую за приготовлением завтрака, ему не верилось даже, что это была та самая женщина, что так самозабвенно и отчаянно отдавалась ему в эту ночь. Когда он покончил со второй чашкой кофе и доел тост, она взглянула на него через стол.

— А теперь, если у тебя нет особых причин скрывать от меня, скажи, что значит вся эта паника с поездом?

Он рассказал ей обо всем, сбивчиво, стесняясь чего-то и не понимая, почему он стесняется.

Он рассказывал ей о Джэн, глубоко затягиваясь дымом сигареты и медленно выпуская его.

Магда слушала молча, разглядывая свои тщательно отполированные ногти.

— Понятно,— сказала она наконец,— а теперь нам лучше сматываться обоим.

— Что ты имеешь в виду?

— Ты ведь не можешь подвести бедную девочку, правда? Вот я и подброшу тебя туда на машине. Мы, видимо, не сумеем перегнать поезд, но мы постараемся сделать все, что можно.

Он смотрел на нее с изумлением.

— Но ведь... но...

— Никаких «но». Поскольку и моя вина есть в том, что ты опоздал на поезд, я по крайней мере должна помочь тебе выпутаться. Сейчас я быстренько приму душ, и мы выезжаем.

11

Воздух в горах еще сверкал после морозного утра, и небо светлым хрустальным куполом нависло над долиной. Акации у дороги уже покрылись пышной пеной желтых цветов. Магда молча вела свою большую машину по петляющей горной дороге, а Барт смотрел по сторонам, откинувшись на сиденье. Машина с шуршанием неслась вперед, и стрелка спидометра лежала на восьмидесяти. Интересно, о чем она думает? Никогда нельзя сказать, о чем думает Магда. Когда лицо ее спокойно, оно просто непроницаемо. Вот и сейчас она ведет машину, крепко сжав губы и внимательно следя за дорогой, и кажется, что она думает только о дороге и о машине. Водит она хорошо. Чертовски много вещей она делает хорошо.

— Дай сигарету, пожалуйста.

Он зажал в губах две сигареты и, прикурив, передал ей одну. Она бросила взгляд на часы, вделанные в щиток управления.

— Идем неплохо. Если и дальше удача нам не изменит, через полчаса на месте будем. Может, даже тебе не придется жалеть о поезде.

Он надеялся, что так оно и будет, а то, если сказать Дорин, что приехал на машине, начнутся расспросы. Ему стало немножко страшно при мысли, что Дорин может заметить, как он подъедет и выйдет из машины. Ох, и паршиво будет! У него даже пот проступил на лбу.

От самого Сиднея они мчались со скоростью восемьдесят километров, а сейчас стрелка спидометра качалась где-то у ста. Он взглянул на Магду. Она была одета в элегантный костюм из твида, очевидно, очень дорогой. Да, как бы много ни хралел ее муж, обеспечивает он ее неплохо.

В нем поднялось возмущение. Он подумал, как легко доставались им деньги и как тяжело доставались они ему.

Но с этим покончено. Он, наверное, так же виноват во всем этом, как и Магда, хотя сейчас, оглядываясь назад, он ясно видел, что она с самого начала все подстроила.

У него внутри все сжалось от страха, когда он стал думать, что он скажет Джэн. Интересно, подведет его эта их «женская интуиция» или нет? Ведь Джэн всегда будто внутрь тебе заглядывает, видит тебя насквозь. Ей нельзя

лгать. При этом чувствуешь себя дурак дураком. И не то, чтоб она была подозрительной, нет. Он и представить себе не мог, чтобы Джэн стала подозрительной. Но если она догадается, что случилось с ним после всего, что он говорил ей, после всего, что было между ними, если она догадается, тогда уж ему придется настаивать на своем и лгать так упорно, как он никому и никогда не лгал, потому что правду сказать он ей не сможет, что бы ни случилось.

Он втянул запах Магдиных духов. Хотя он принял горячий душ и с мылом помыл голову, он не мог с уверенностью сказать, исходит этот запах все еще от него или только от нее. И, глядя на ее спокойное лицо с высокими скулами, с коротким прямым носиком, на ее руки, уверенно лежащие на баранке руля, на ее тело, свободно откинувшееся на спинку сиденья, он давал себе клятву, что это никогда больше не повторится. Это было просто сумасшествие.

С похмелья или не с похмелья, но сегодня он уже владел собой. И сейчас, думая о Джэн, он удивлялся, как это он мог так потерять голову, словно от солнечного удара, в тот миг, когда губы Магды прижались к его губам. В тропиках он научился оберегаться от солнечного удара, и теперь он будет оберегаться от Магды. Во всяком случае, он выкинет все это из своей жизни, чтоб оно не беспокоило его больше. Подумать только: четыре месяца сдерживался и теперь не устоял перед Магдой! Потом ему стало стыдно, что он так думает о ней. В конце концов Магда чертовски порядочно себя ведет. Немногие женщины вели бы себя так порядочно в подобных обстоятельствах и жертвовали целым днем для того, чтобы привезти его сюда, так, будто Джэн что-то значила для нее. И в конце концов она ведь, ничего не скрывая, рассказала ему о муже, а он никогда не рассказывал ей о Джэн. Даже сейчас при мысли о том, чтобы разговаривать с ней о Джэн, его как-то покоробило.

Горные поселки вставали на их пути и проносились мимо, а они все мчались сквозь горы вдоль линии железной дороги. Наконец показались так хорошо знакомые ему очертания Пайн Риджа и высокая насыпь, темневшая на фоне неба, а впереди они увидели дымок поезда, преодолевшего последний подъем к Уэнтурт Фолз.

Магда снова взглянула на щиток с часами.

— Ну что я тебе говорила? Ты сможешь выйти у поворота и подоспеешь к больнице прямо как с поезда. Каков расчет, а?

— Замечательно!

Он улыбнулся ей, чувствуя уверенность в себе, и только при мысли о Джэн у него на душе заскребли кошки. Наваждения больше не было. Магде больше не удастся искушить его.

— Я тебя подберу под вечер. Я пока поеду в Катумбу и там повидаюсь с друзьями, а с тобой встретимся на станции.

— Бога ради, не надо,— сказал он с тревогой.— Сестра Джэн живет там, и если она тебя увидит...

Магда пожала плечами.

— Так что ты хочешь, чтобы я обратно одна ехала, так, что ли?

Барт нахмурился. Да, ничего себе положеньице! Она с иронией наблюдала за ним. Отправить ее назад одну было бы с его стороны довольно паскудно.

— Порядок,— сказал он ворчливо.— Но мне придется сесть на поезд в пять тридцать в Уэнтурт Фолз, если Дорин окажется поблизости. А ты жди меня на следующей станции.

Магда остановила машину на повороте к санаторию.

— Вы прибыли, сэр. Ваш шофер подаст машину в Балабурру в назначенное время. Можете положиться.

Он быстро выскочил из машины, стараясь придумать, что бы это такое сказать, чтобы не показаться грубым, но машина рванулась с места и умчалась, прежде чем он успел заговорить.

III

Когда Барт вошел в комнату Джэн и увидел, как она подалась навстречу ему, у него появилось чувство, будто он никогда с ней не разлучался. Миссис Карлтон, к счастью, спала, и Барт, взяв ручки Джэн в свои руки, прижался к ним щекой. Он стоял так и чувствовал, что мир и спокойствие изливаются на него, как вода изливается из источника.

— Я знаю, что сказал врач,— выговорил он наконец.

— Правда, чудесно?

— Чудесно, просто слов нет.

Он сидел у ее постели, держал ее руки в своих, как будто не собираясь больше выпускать их, и был сейчас похож на человека, который едва не утонул и теперь продолжает цепляться за веревку, которой его вытянули на берег.

— Они с сегодняшнего дня хотят разрешить мне вставать на несколько часов каждый день.

И при виде ее радости ему стало больно.

Он вдруг осознал яснее, чем когда бы то ни было, что значили для нее последние месяцы, подобные месяцам заточения, для нее, такой живой и подвижной, чье каждое движение было как сама жизнь, для нее, которая носилась вместе с ним по берегу океана, как молодая лань, и которая лучше, чем он сам, умела прыгать и гоняться на волнах прибоя! И вот с сегодняшнего дня ей собираются разрешить вставать лишь на пару часов, и лицо ее сияет при этой мысли, словно ей посулили райское блаженство!

— Милая, это просто замечательно! — Голос его дрогнул. — Что ж, думаю, через несколько недель ты будешь носиться по горам вместе со стариной Леонардом и другими ходячими.

Она счастливо засмеялась, и сердце его оттаяло. Прошедшая ночь отступила, как привидевшийся во сне кошмар.

— Ну, а что ж на самом деле сказал тебе лекарь?

— Да он сказал, будто просвечивание показало, что очаг стал явно меньше, что пневмоторакс мне здорово помогает и что пульс у меня становится медленнее.

— А у меня чаще.

— Температура сейчас нормальная, и в общем еще через несколько месяцев я буду совсем как новая, еще лучше, чем до болезни.

— Ты для меня всегда новая — самого последнего выпуска.

Он остановил взгляд на ее лице, на котором лихорадочным блеском сияли глаза. Потом стал перебирать пальцами ее мягкие волосы.

— У тебя сегодня очень красивые волосы.

— Правда, приятно? Сестра Воон помогла мне помыть голову, когда мы вернулись из Катумбы. Какая это была радость помыться! А то они уж стали совсем как проволока.

— Ну мне-то никогда не казалось, что они как проволока.

Он склонился к ней и спрятал лицо в ее волосах. Прошло много времени, прежде чем он снова поднял голову.

— Говорил ли я вам когда-нибудь, мисс Блейкли, что я люблю вас?

— Я склонна думать, мистер Темплтон, что, если память меня не обманывает, вы об этом как-то упоминали.

— А не ощущаете ли вы случайно, мисс Блейкли, того же самого по отношению ко мне?

— О Барт!..— глаза ее вдруг наполнились слезами, губы задрожали.

— Тогда, я думаю, вам не мешало бы рассказать мне немного об этом.

Никогда еще так не нуждался он в ее заверениях. Он всегда считал, что это само собой разумеется, но сегодня он хотел услышать об этом от нее самой. Ему хотелось увезти с собой воспоминания об этих словах, хранить их в памяти.

— Ну так что же?

Она, не отрываясь, смотрела на него, щеки ее пылали, губы были крепко сжаты, и слезы сверкали на ресницах.

— Я люблю тебя! Я полюбила тебя с самой первой нашей встречи. И, наверно, стоило заболеть, чтобы узнать, что ты тоже меня любишь.

Барт почувствовал, будто огромная тяжесть свалилась с его плеч.

— А ты уверена, что не передумаешь, когда начнешь носитьте по горам с кем-нибудь из здешних обольстителей?

Она продолжала смотреть на него, не отрываясь.

— Я всегда буду любить тебя, Барт,— произнесла она так тихо, что он едва расслышал.

— Хорошо.

Он разжал руку, вынул портсигар и прикурил для нее и для себя по сигарете.

— Расписки я с тебя не беру, верю на слово.

Глядя, как он прикуривает, Джэн подумала, что в нем сегодня есть что-то новое. Он мягче и нежнее, в нем нет этой ужасной опустошенности. «Что-то новое вошло в нашу жизнь. Вероятно, так бывает с людьми, когда они любят так, как мы, и столько страдают».

И когда она видела, как Барт яростно вычеркивает из календаря прошедшие дни, как он выделяет сегодняшний день, как он смотрит на сделанный им график,— когда она видела все это, три месяца больше не казались ей таким бесконечно долгим сроком. Всего несколько недель назад ею владел страх, но сейчас в душе ее больше не было страха. Барт нежно целовал ее, отсчитывая поцелуи. Он поцеловал ее в кончик носа и сказал:

— Это за утро, когда ты проснешься и ощутишь мой поцелуй с прикосновением солнечного луча.— Он целовал ее в глаза и шептал: — А это за ту ночь, когда я приснюсь тебе.

Она подумала: «Уже недолго осталось ждать, скоро мы будем вместе, и тогда ему не будет так тяжело. Господи, помоги мне, чтобы я могла помочь ему».

С ужасающей быстротой пролетело время свидания, и он ушел.

И в первый раз со времени приезда в Пайн Ридж она прислушивалась к его удаляющимся шагам не с отчаянием, а словно в полусне, так, будто она лежала ночью без сна и ей приснилось, что он пришел к ней.

Луна выплыла в морозном зимнем небе, розовеющем в лучах вечерней зари. Она смотрела на небо и вспоминала полную луну, заливавшую их светом в тот последний их вечер, когда они танцевали вдвоем. Казалось, что эта сегодняшняя луна освещает совершенно иной мир, и горы и долины, к которым она уже привыкла, казались сегодня в ярком лунном свете такими далекими и незнакомыми, словно кратеры Луны.

IV

Подъезжая к станции Балабурра, Барт в нетерпении выглянул из поезда. Машина Магды была на месте. Невозможно было не заметить этот большой серебристо-серый автомобиль, но вид автомобиля и самой Магды подействовал на него раздражающе. Мгновение он мучительно колебался между нежеланием сидеть рядом с ней всю дорогу до Сиднея и страхом разозлить ее. Страх победил. Магда кивнула ему, когда он подошел к машине.

— Залезай. Я раздобыла термос с кофе и несколько бутербродов. Немного проедем и найдем тихое местечко. Ты, наверно, умираешь с голоду.

После кофе и сэндвичей он почувствовал себя лучше, и то, что она была с ним рядом в машине, больше уже не раздражало его. Как и все, что делала Магда, бутерброды были отличные, а крепкий кофе, приправленный ромом, разогнал холод.

В сгущавшихся сумерках они петляли по горной дороге. Под ними в полумраке сияли огоньки Пенрита, а еще дальше сверкающими гирляндами переливались огни Сиднея. Восходившая луна серебрила луга у дороги. Они ехали в дружелюбном молчании, пока Магда вдруг не спросила:

— Ну, как сегодня Джэн?

— О... Да ничего, неплохо...

В смущении он запнулся, подыскивая слова.

— Не будь дураком,— сказала Магда спокойно,— в конце концов я потратила целый день, возя тебя туда и об-

ратно, и ты мог бы мне сказать, как себя чувствует девочка. Кроме того, меня вообще интересует ее судьба.

Он взглянул на нее с сомнением, но лицо ее, освещенное отсветом от приборного щитка, было спокойно, как этот лунный вечер. Если Магда относится к этому так просто, с его стороны тоже глупо упорствовать и мучаться угрызениями совести.

— Для нас сегодня в некотором роде знаменательный день.

— Правда?

— Да. На прошлой неделе ей делали просвечивание. И врач говорит, что результаты хорошие.

— Прекрасно.— Голос Магды звучал с искренней теплотой.— У тебя, наверно, на душе легче стало.

— Да что скрывать, конечно, легче. Мы с ее сестрой страшно беспокоились за нее. Знаешь, все это случилось с ней так неожиданно. Вот она была вроде бы совсем здоровая, такая, как ты или я,— и вдруг...

Рассудок говорил ему, что нехорошо вот так беседовать с Магдой о Джэн! Во всяком случае, после вчерашней ночи.

— Расскажи мне о ней.

Голос Магды звучал спокойно и в то же время заинтересованно. И Барт сам не заметил, как начал рассказывать ей, сначала запинаясь, неуверенно, потом все более и более свободно. Он рассказывал Магде о Джэн, как он еще никому не рассказывал о ней. Он даже не мог бы сказать, что так развязало ему язык — ром, добавленный в кофе, или просто сосредоточенное внимание, с которым Магда слушала его рассказ. Одного у Магды не отнимешь: с ней не нужно притворяться, не нужно делать вид, что ты какой-то особенный. Она принимает тебя таким, как ты есть.

— Бедная девочка,— сказала она с искренним сочувствием,— страшно подумать, что с ней случилось! А как вы управляетесь в материальном отношении? Ведь лечение, наверно, обходится невероятно дорого.

Он рассказал ей все. Как-то само собой получалось, что с ней легко было разговаривать о Джэн. Она слушала его, и лицо ее впервые за время их знакомства казалось настоящим серьезным.

— Ей повезло, по-моему, что у нее есть ты.

— Это мне повезло.

— Тогда вам повезло обоим.

— Со следующей недели ей разрешат вставать на несколько часов в день,— сказал он вдруг в припадке откоро-

венности.— И я хочу ей устроить сюрприз — купить теплый халатик. Где ты посоветуешь поискать?

— Предоставь это лучше мне. Вы, мужчины, когда хотите девушке подарок сделать, обязательно какую-нибудь ерунду купите. Я присмотрю что-нибудь и попрошу прислать мне домой для выбора, а ты придешь и выберешь. Идет?

— Иде-от,— произнес он со странной восточной интонацией, к которой привык в Японии, пряча за ней все еще глодавшее его чувство вины; потом, устыдившись этого, он стал неловко благодарить ее.

Они проносились через поселки, цепочкой растянувшиеся между Пенритом и Парраматтой, и молчание снова воцарилось в машине. Но сейчас в молчании этом не было никакой натянутости. Волнистые гряды холмов казались нагими на фоне зимнего неба. Барт чувствовал себя успокоенным и умиротворенным. Да, сегодня он возвращался от Джэн совсем в другом настроении, чем в последние недели.

Машина быстро и плавно мчалась через окраины, и его совсем не удивило, когда, подъезжая к Центральному вокзалу, Магда обернулась к нему и сказала:

— Думаю, мы поужинаем дома, а? Тебе незачем тратить деньги на рестораны.

И так же мало удивился он тому, что ответил на это согласием.

ГЛАВА 25

1

«Никогда еще не было такого чудного дня»,— думала Джэн, идя по веранде навстречу Дорин. Она теперь каждый день вставала с постели, а в последние две недели даже на целых два часа в день. И ей больше не казалось, что ноги у нее, как шланги от пылесоса, могут подогнуться при каждом шаге. И доктор обещал, что сегодня он разрешит ей дойти до скамеечки в саду.

Дорин ждала ее внизу у крылечка, на три ступеньки ниже, и обе они смеялись так, будто принимали участие в увлекательном приключении.

— Ты выглядишь просто замечательно,— сказала Дорин.— А халатик у тебя первоклассный.

Джэн любовно погладила мягкую шерсть халатика. Барт прислал его ей после воскресного посещения. Конечно, это была недопустимая роскошь, но халат так шел ей, и у него был такой красивый цвет.

— Барт говорит, что это мой альпинистский костюм. Вы еще, наверно, увидите, как я в нем взберусь на вершину Трех Сестер. Ох! Подумать только, что я снова смогу ходить, смогу плавать.

Джэн медленно пошла вниз по ступенькам, взяв под руку Дорин, и от непривычных движений воздух перекатывался у нее в груди, как футбольный мяч.

— Раз, два, три,— торжественно считала Дорин.

Когда они спустились на тропинку, послышались возгласы. Это Леонард и Рода, наблюдавшие за ними, приветствовали их с другого конца веранды.

— А денек сегодня просто фантастический!— Леонард спустился с веранды и пошел им навстречу.— Конечно, уж достаточно фантастично и то, что я вижу вас снова на ногах, но это, признаться, уж совсем сверх программы. И воздух сегодня такой прозрачный, что видно все до самого побережья. Даже мост видно — посмотрите!

Джэн посмотрела в направлении, в котором указывал его палец. Там вдали, где на горизонте темнел дымным пятном Сидней, над заливом вздымались знакомые очертания сиднейского моста.

— О Дор, подумай только! Еще три месяца — и я снова буду с тобой, и мы никогда больше не расстанемся.

— А я бы могла остаться здесь навсегда,— сказала Дорин.

Джэн содрогнулась.

— А мне один вид этого моста кажется сущим раем, и чего бы я сейчас ни отдала, чтобы только снова сидеть в своей конторе и снова слышать стук своей машинки. Иногда вспоминаю и понять не могу, чего мне тогда недоставало.

— И все же это мерзкая, грязная контора,— Дорин не могла сдержать гнева.— И если бы ты не торчала всю зиму в этой конуре без всякого отопления, не видя белого света, ты бы ни за что не заболела плевритом в прошлом году, и этого тоже бы с тобой никогда не случилось.

— Может, ты и права,— вздохнула Джэн.

Они медленно подошли к скамеечке, на которой Джэн сидела с Бартом в день своего приезда в Пайн Ридж, и молча опустили на нее. Дорин вынула вязанье, и ее быстрые пальчики замелькали в петлях джемпера, который она вязала для Джэн.

Голые ветви вязов и тополей были словно выгравированы на светло-голубом фоне неба. Еще ничего не цвело в саду, но кое-где уже показались над землей зеленые стрелки молодой поросли. Вялая прошлогдняя гроздь рябины

еще шелестела в вышине, а края красновато-рыжих листьев розового куста потемнели от мороза. В укромном уголке сада росла акация, ее листва казалась серебристой на фоне темно-оливковых кустов и деревьев, а цветы уже отличали золотом.

— Ой, Дор! — воскликнула Джэн, не веря своим глазам. — Акация зацвела! Значит, весна близко.

— Еще два месяца до весны, — строго сказала Дорин, — а этой акации еще прихватит нос морозом, чтобы не совала его раньше времени куда не следует. И ты тоже не забывай об этом.

Джэн, не отрываясь, смотрела на акацию. Что бы там ни говорила Дорин, цветы были вестником того, что зима почти прошла и что наступает весна, а весной...

Дорин взглянула на часы.

— Хозяйка сказала, что тебе можно оставаться здесь не больше получаса. И скоро уже время отдыхать, так что нам пора двигаться обратно.

Слова эти прервали мысли Джэн. На какое-то мгновение воображение перенесло ее через расстояние этих месяцев, но теперь она вернулась к действительности и нужно было вновь подчинять свою жизнь бесконечно томительному процессу выздоровления. Прошла только половина срока. Акация лгала ей.

— Хорошо. Но только, Дор, милочка, прежде чем возвращаться, сорви для меня несколько веточек акации. Одну я подарю миссис Карлтон, а другую поставлю в вазу к себе на тумбочку и буду смотреть на нее и думать...

— Ну, ты все такая же фантазерка, как и раньше!

Дорин отложила вязанье и пошла по дорожке к нижней веранде, где в воздухе слышался легкий аромат акации и роями носились пчелы. Она собрала небольшой букет и прижалась щекой к его мягким нежным цветам.

II

Теперь, когда она обрела и возможность и способность двигаться, время снова стало вещью вполне нормальной и измеримой. Оно больше не тянулось между редкими посещениями, словно звенья в разболтавшейся цепи, оно сжалось до вполне терпимых размеров дней и часов. С каждым разом ей разрешалось гулять все больше, разрешалось делать большее количество шагов, и каждый раз это казалось настоящим событием после бесконечной монотонности недель и месяцев, проведенных в постели.

И, словно приветствуя ее возвращение к нормальной жизни, сад тоже возрождался после зимы. Между стрелками нарциссов показались почки. Гиацинт, который подарил ей Барт, распрямился, вытолкнув наружу крепкий стебелек, на котором калачиком свернулся бутон.

На вязах проглянули сережки, дубы оделись прозрачным зеленым покровом, нежно зарозовела молодая листва японских кленов. Гуляя по саду и наблюдая, как весна, подобно ей самой, набирает силу, Джэн будто заново открывала для себя мир.

Шли недели. А в то утро, когда ей разрешили обойти вокруг Пайн Риджа, незаметная белогрудая птичка канарейкой заливалась на ветвях седого кедра.

В тот день, когда она совершила первую прогулку к шоссе, нарциссы выбросили золотистые флаги соцветий. Воздух был полон пьянящего восторга, и весь мир находился в радостном возбуждении. Смех непрестанно срывался с ее губ.

Она собиралась на прогулку, и миссис Карлтон бросила на нее нежный взгляд.

— Ну, в этом зеленом шарфике и желтом свитере ты словно весна.

Она радостно улыбалась.

«Можно подумать, будто это не я собираюсь на прогулку, а она», — мелькнуло в голове Джэн, и острая, как удар ножа, боль пронзила ее радость.

«А если б я лежала без всякой надежды хоть когда-нибудь встать снова, смогла бы я быть такой великодушной?»

Она увидела свое отражение в зеркале и поразились. Она так давно не видела себя в обычной одежде, что ей казалось, будто она заново знакомится с собой. Она оглянулась на миссис Карлтон и в первый раз заметила, что лицо у нее стало еще изможденнее, чем четыре месяца назад, и что она сильно исхудала. Джэн разрывалась между жалостью к женщине, на которую болезнь наложила такую глубокую печать, и непреодолимым отчаянным желанием бежать прочь от нее, прочь отсюда — на свежий воздух, к жизни. Улыбнувшись и помахав рукой миссис Карлтон, она пошла по веранде, где ее уже ждал Леонард, и хотя она шла медленным, осторожным шагом, к которому ее постепенно приучили здесь, ей казалось, что она бежит.

Когда она подошла к Леонарду, он вынул трубку изо рта и медленно поклонился.

— Приветствую вас, Примавера.

— Я забыла, кто это такая, но уверена, что вы хотели сказать мне приятное.

— Так и есть. Примавера была богиня весны.

— Миссис Карлтон сказала, что я как весна.

— Вот видите, как сходно мы мыслим.

— Я и чувствую себя весной.

Она остановилась на мгновение, любуясь садом, невыразимой тишиной сапфировых долин и лесистыми склонами холмов, простором прибрежной равнины, зажатой, словно огромное озеро, между берегом океана и кряжами гор и уходившей далеко-далеко — туда, где неясным пятном маячил Сидней. И впервые со дня приезда покой, царивший здесь, не пугал ее, пустынность этих мест не угнетала. Они больше не были враждебным миром, жаждавшим поглотить ее, они были лишь окружением, в котором жила она, радостная, торжествующая, вновь ставшая самой собой.

— Хозяйка сказала, что вам можно только до поворота, — напомнил ей Леонард, когда они вышли из ворот и направились по бурой лесной дорожке.

— Все равно, куда идти, лишь бы подальше отсюда.

Леонард усмехнулся.

— Вы сейчас, как узник, выходящий из тюрьмы, верно? Я-то вас понимаю, но никто из тех, кто не жил здесь, не поймет. Вы по горло сыты покоем. Сейчас вот эта Скамья Сочувствия для вас самое подходящее место. Здесь вы будете сидеть у поворота и смотреть, как вверх и вниз по этой горной дороге мчатся машины. Вас присыплет пылью, обдаст дымом паровоза, и вы впервые хотя бы как наблюдатель приобщитесь к дорогому вашему сердцу, прекрасному, грязному, жестокому, отвратительному и горячо желанному миру.

— Мне хотелось бы дойти пешком до Катумбы.

Леонард улыбнулся.

Они медленно шли по дороге среди густых зарослей горного кустарника, молодые побеги эвкалиптов отливали на солнце гранатовым и рубиновым цветом. Из земли пробивались полевые цветы, маленькие тувельки орхидей, какие-то долговязые веретенообразные цветы, бахромчатые фиалки, борония.

Трава пестрела цветами, воздух был напоен их ароматом. Джэн, осторожно нагибаясь, рвала цветы, и резкий освежающий запах обломанных стеблей оставался у нее на руках.

Она с удовольствием опустила на скамью у поворота дороги, и Леонард сел рядом с ней.

— Не огорчайтесь. Все мы, выходя на прогулку в первый день, чувствуем, что могли бы дойти до Катумбы, а к тому времени, как добираемся до этой скамьи, она кажется даром небес.

Со скамейки открывался вид на Западное шоссе, по которому непрерывным потоком пронеслись легковые и грузовые автомобили. Зрелище повседневной жизни зачаровывало ее. Два мощных паровоза, часто пыхтя и заполняя прозрачный воздух клубами дыма, тянули товарный состав по крутому склону. Горбатая вершина горы на горизонте, белоснежные облака, плывущие в ясном небе, залитые солнцем аметистовые долины, протянувшиеся на север без конца и края,— все это было только фоном, декорацией; бурное движение на дороге, символ жизни, к которой она возвращалась, было реальной действительностью.

— Великолепный вид,— заметил Леонард, обводя вокруг себя рукой.

— В жизни больше не буду смотреть ни на какие виды,— горячо отозвалась Джэн.— Хочу смотреть на людей, машины, многолюдные улицы.

Леонард попыхивал трубкой, глядя на сплетение горных гряд и долин, уходящих далеко на юг и на север, где они терялись в нависавших низко над землей облаках.

— Я знаю, что вы сейчас переживаете. Когда-то у меня были точь-в-точь такие же ощущения. Но с каждым разом, что я возвращаюсь сюда, мне легче. Не знаю, может, это потому, что я старею и становлюсь ленивее, а может, оттого, что привыкаю философски смотреть на вещи. А может быть, просто трусость. Но каждый раз, когда я возвращаюсь вот к этому,— он указал трубкой на склон шумной дороги,— я делаю это все менее охотно. Может, это и жизнь, но трудная это наука.

— Ничего нет труднее, чем просто лежать в постели день за днем.

— Правда?

— Правда! Я не хочу спокойствия. И наплевать мне на то, что жизнь трудна. Другой я и не хочу. У меня такое чувство, что все эти последние месяцы моей жизни пропали даром, и я постараюсь забыть их, как только выберусь отсюда. Я постараюсь забыть, что была больна.

Морщины на лице Леонарда, казалось, стали грубее. У рта легла горькая складка.

— ТБЦ — совсем не болезнь, малютка Джэн, ТБЦ — это наша жизнь. И всем нам раньше или позже придется признать это.

От ее сознания эта мысль отскакивала, как плевок отскакивает от раскаленного железа. Джэн вскочила на ноги так быстро, что воздух перекатился у нее в груди, и ей пришлось ухватиться за спинку скамьи, чтобы удержаться на ногах.

— Я не позволю, чтобы это стало моей жизнью. Когда я поправлюсь...

Она вдруг замолчала, вспомнив, что здесь, в Пайн Ридже, не говорят: «когда я поправлюсь». Употребляют всевозможные слова вроде: «когда мой процесс стабилизируется» или «приостановится», но никогда не говорят: «когда я поправлюсь». Она похолодела, вдруг поняв, что это значит. Она прогнала страх, подкравшийся вслед за этой мыслью, и резко ткнула рукой в сторону спокойного, застывшего пейзажа.

— Нет, я уверена, что, когда я уеду, мне никогда-никогда не захочется снова вернуться сюда. Слишком уж здесь пусто, одиноко.

Водворилось молчание. В ее мозгу бурлило много мучительных вопросов. Ей хотелось о многом спросить Леонарда, но она боялась, что он будет давать вовсе не те ответы, какие бы ей хотелось услышать. Ей хотелось просить Леонарда, чтобы он успокоил, утешил ее, а этого он сделать не мог. Ей хотелось выбежать на дорогу и остановить там машину, грузовик, что угодно, лишь бы ее довели до дому.

Леонард взглянул на часы.

— Пожалуй, нам пора.

— О Леонард! — в голосе ее звучало страдание.

Он поднялся и протянул ей руку.

— Пойдемте, дитя мое. Не нужно переутомляться. Хозяйка будет ругать меня, если вы опоздаете к отдыху.

Она неохотно повернула назад. Сидя на скамье, там, над шумной дорогой, она снова чувствовала себя участницей жизни. Возвращаясь назад, она словно признавала тем самым, что Леонард был прав.

ГЛАВА 26

1

Подошло воскресенье. Джэн с трепетом следила за погодой. Если погода будет солнечная, она снова пойдет к Скамье Сочувствия и будет ждать там Барта.

— Я не буду его предупреждать, — говорила она миссис Карлтон. — Пусть это будет для него сюрпризом. Он

знает, что я хожу по саду, но не знает еще, что у меня такие успехи. Когда он покажется из-за поворота, я просто встану, пойду ему навстречу и скажу как ни в чем не бывало: «Привет!»

В среду долины заволокло туманом. В четверг весь мир утонул в тумане, в густой серой пелене которого деревья маячили, словно призраки. В соснах за домом жалобно кричали куравонги. В пятницу волны тумана пришли с юга и заползли к ним в комнату. Все окружающие предметы стали влажными на ощупь, и Джэн все больше подавалась унынию. Для нее было очень важно, она и сама не смогла бы объяснить почему, но для нее было очень важно дожждаться Барта на Скамье Сочувствия и небрежно, как ни в чем ни бывало поздороваться с ним, когда он покажется из-за поворота на дороге, ведущей к Пайн Риджу. Это будет как бы подтверждением того, что она снова стала полноценным человеком, снова стала участником этой жизни, а не выброшенным из нее чужаком. Джэн не могла дожждаться мгновения, когда Барт снова увидит ее здоровой — увидит нормальную, прежнюю Джэн, такую, как раньше. Не больную в халате, а девушку в юбке и джемпере, которые ему нравились. И она пойдет с ним рядом по дороге, живя в его мире, в их общем мире.

В субботу ветер разогнал туман и подсушил пропитанную влагой землю. И когда Джэн проснулась спозаранку в воскресенье, она увидела мир, сверкающий и чистый, будто он только что народился заново. Рассветные лучи коснулись горных вершин, в долинах залегли темно-синие тени. Солнце вышло из-за дальней гряды облаков, скрывавшей Сидней, и залило светом комнату. И в его лучах молодая листва на деревьях казалась символом надежды, а бледно-желтые нарциссы — провозвестниками весны.

Когда подошло время его приезда, Джэн отправилась по лесной дороге к Скамье Сочувствия. Она опустилась на скамью: отсюда она могла видеть поезд, когда он выходит на насыпь. Она увидела белый дымок, вырывающийся из ущелья, и она знала, что это поезд отошел от Вудфорда. Она видела, как он медленно-медленно полз на подъеме от Лоусона. Когда же он прогрохотал вдоль путей, пролежавших под самой ее скалой, сердце у нее забилося так часто, что стало трудно дышать. С ее скамьи не было видно станции, но она слышала, как свистнул и запыхтел паровоз, когда поезд тронулся дальше. Ждать осталось всего пять минут!

Она, не отрываясь, смотрела на дорогу, на которой должен был появиться Барт. До поворота всего пять минут — так он обычно говорил. Она взглянула на стрелки часов и подумала, что они, наверно, стоят на месте. Она снова взглянула на дорогу, но никого не было видно. Потом какая-то фигура появилась над гребнем, и сердце ее бешено заколотилось. Но человек свернул на другую дорогу, и она поняла, что это не Барт. Время тянулось медленно. Она была в таком напряжении, что не могла спокойно сидеть.

Она немножко прошла по дороге. Стрелки часов показывали, что прошло пять, десять, пятнадцать минут. Она вернулась на скамью и села, пытаясь успокоиться. Двадцать минут. Она вспомнила, что однажды он задержался из-за того, что встретил на платформе товарища и остановился поболтать с ним. Полчаса. Она так отчаянно вцепилась в спинку скамьи, что на ладони у нее остался рубец. Полчаса! Если бы он встретил товарища, он бы не задержался так долго. Наверно, он не приехал. Но ведь он должен был приехать. Он должен приехать. Иначе он позвонил бы ей. Было достаточно времени, чтобы позвонить ей, если он опоздал на поезд.

Сорок минут... Ей нужно возвращаться, чтобы успеть к часу отдыха. Но она не может уйти. Во всяком случае, сейчас, пока еще есть надежда, что Барт придет. Через полчаса придет еще один поезд. Она дождетсЯ. Хозяйка будет рвать и метать, если узнает. В Пайн Ридже вы можете делать что угодно, но часы отдыха соблюдать вы должны. Сейчас все улягутся в свои кровати и шезлонги, и поднимется страшный шум, если обнаружат, что ее еще нет. Скоро снова будет поезд, на нем и придет Барт. Если б он не собирался приехать, он бы ей позвонил.

Подул холодный ветер, и Джэн пожалела, что вышла без пальто, но пальто у нее было потрепанное, старомодное, и без него она выглядела лучше. Ветер насквозь продувал ее шерстяной джемперок. Все же надо было надеть пальто.

Она перестала смотреть на часы. Каждую минуту ее могли окликнуть.

Если они придут за ней раньше, чем прибудет поезд, решила Джэн, она не пойдет с ними. Никто не заставит ее уйти. Почему же Барт не позвонил ей и не сказал, что он опоздал на поезд? Потом она стала успокаивать себя: если он прибежал в последнюю минуту и опоздал, ему было неоткуда заказать междугородный разговор.

«Ну, конечно же,— говорила она себе,— ты просто ду- рочка. Так оно и случилось. Он опоздал на первый поезд и теперь околачивается в Сиднее на платформе».

Сердце ее переполнилось жалостью, когда она представила себе, как он там меряет шагами платформу. Это при его-то теперешней нетерпеливости и раздражительности.

«Не нужно расстраиваться,— думала она.— Это глупо. Только нагоню себе температуру, и завтра они не разрешат мне встать. В конце концов скоро уже будет следующий поезд».

Время тянулось невыносимо медленно. Наконец она уви- дела белый дымок, вырывающийся из-за гряды гор,— при- ближался второй поезд. Он шел с медлительностью, сводив- шей ее с ума, медленнее, чем когда-либо, целую вечность простаивая на всех остановках. Через ущелье он шел так медленно, что казалось, будто он не движется вообще. По- том она увидела состав внизу, под собою.

Прогрохотали и скрылись вагоны. Потом она услышала пронзительный свисток — поезд отошел от станции. «Чук- чук, чук-чук», — пыхтели паровозы, набирая скорость. Серд- це у нее учащенно билось, в ушах стучало. Мимо проноси- лись машины. Она напряженно вглядывалась туда, где на дороге из-за холма должен был появиться Барт, пока жел- тая полоса, разделявшая дорогу пополам, не заплесала у нее в глазах.

Она знала, что он появится из-за бугра. Пять минут — самое большее до поворота. Пять минут. Желтые полосы го- рели у нее в мозгу. Деревья, смыкаясь вокруг дороги, су- жали поле ее зрения. Десять минут, пятнадцать, полчаса. Она с трудом оторвалась от скамьи и побрела по дороге к Пайн Риджу.

II

Барт повернулся на спину и бессмысленно уставился в потолок. Потом вытянул руки над головой и уперся в вы- стеганное атласом изголовье. Во рту у него точно полк сол- дат ночевал от выпитого накануне грога. Боже, что это бы- ла за ночь! Магда еще крепко спала, положив под голову руки, волосы ее разметались по подушке. Свет пробивался сквозь жалюзи. Чувствовал он себя отвратно. Ого, один- надцать часов! Надо двигаться, чтобы добраться в горы, прежде чем пройдет этот чертов поезд. Когда в голове у него окончательно прояснилось, он понял, что им надо мчаться сломя голову, чтобы подоспеть туда хоть ко вре- мени прихода второго поезда.

Мерзостный день сегодня. Единственное, чего бы ему хотелось сейчас,— так это как следует отдохнуть и побездельничать. Он уже много месяцев не отдыхал как следует. Он смотрел на разметавшиеся волосы Магды, на тень от черных ресниц на ее щеках, на изгиб плеча, и ему еще больше не захотелось вставать. Что за женщина! Ну, да ладно, придется все же будить. Надо сматываться. Он протянул руку и нежно потряс ее за плечо. Она лениво пошевелилась и открыла глаза.

— Нам надо сматываться.

— Правда?

Она обхватила его за шею рукой и, плотнее прильнув к нему, прижалась губами к его губам.

— А я думала, мы еще...

— О черт! — Барт вырвался из ее объятий.— Времени ж нет для этого.

Она закрыла ему рот своими мягкими полураскрытыми губами.

— Неужели нет?

Ее тихий шепот стоял у него в ушах. И он невольно ослабил руку, отталкивавшую ее. Его уже затягивало в этот водоворот.

Он застонал. Ох, боже, ведь времени нет!..

Потом Магда сама вернула его к мысли о времени.

— Тебе лучше бы заказать междугородный разговор,— сказала она рассудительно,— нам уже ни за что не успеть.

Барт молчал. Нет, конечно, им не успеть, а если он и приедет на машине после полудня, то придется многое объяснять.

— И все равно день такой слякотный сегодня,— нежно шептала ему в ухо Магда.— Небо все обложено тучами, я уверена, что в горах льет как из ведра. Позвони туда. Объясни ей, что тебя задержали в казарме. В конце концов одно воскресенье ничего не значит. Ты ведь еще не пропускал ни одного воскресенья.

Одно воскресенье ничего не значит. Может, она и права, может, он просто ненормальный, что ездит каждое воскресенье.

— Ну, так заказать разговор?

— Да, пожалуйста.

Магда потянулась к телефону, стоявшему у кровати на столике. Он слышал, как она назвала номер телефонистке.

— Обещают дать в течение двадцати минут.

Она прикорнула у его плеча.

— А я что-то устала. Нам обоим полезно будет провести день в постели.

Она опустила голову ему на плечо, и он машинально обнял ее. Подложив свободную руку под голову, он смотрел в потолок. Жизнь его раздваивалась: одна часть ее была с Джэн, и Джэн нужна была ему в этой жизни, он любил ее, строил планы их совместной жизни; другая теперь была связана с Магдой. Полтора месяца назад он и представить бы себе не мог, что Магда займет такое место в его жизни: она была для него как наркотик, он уже не мог без нее обходиться. Сейчас, успокоившись, он с удивлением думал о том, на какие безумства толкают его взрывы ее страсти. Еще больше удивляло его то, что, хотя он чувствовал пресыщение и даже отвращение каждый раз, когда покидал ее, желание снова приводило его сюда.

Завонил телефон, и Магда молча передала ему трубку. Он ждал, слушая сухой, казенный голос телефонистки. Потом послышался голос кого-то из персонала Пайн Риджа. В долгие секунды, прошедшие, пока они звали Джэн, он перебирал в уме всевозможные причины своего отсутствия и, нервно глотая, молил бога, чтобы эти причины показались ей убедительными. И когда она подошла, наконец, к телефону, ее голос прозвучал так близко, что он даже вздрогнул из-за глупого опасения, что она каким-то шестым чувством вдруг узнает всю правду.

— О милый! — Голос ее дрожал, словно она готова была вот-вот расплакаться. — А я подумала, что с тобой что-то случилось.

Он осторожно изложил ей выдуманную им причину. Увольнения отменили в последний момент. Специальное задание. До сих пор никак не мог вырваться ей позвонить. Очень жалко. Он надеется, она не будет слишком сильно расстраиваться.

В горле у него пересохло. Он казался себе таким нечистоплотным. Никогда раньше он не лгал Джэн.

— О, у меня все в порядке, — успокоила его Джэн, — все просто замечательно.

— Как там у вас погода? У нас слякоть.

— Здесь тоже слякоть. Я все понимаю, милый. Я знаю, как тебе трудно ездить каждое воскресенье. Ты не беспокойся. Я все понимаю.

Он положил трубку.

— Все в порядке?

— В полном порядке.

— Я знала, что она поймет. В конце концов ты так чудесно к ней относишься, и она не будет ворчать, если ты один раз проведешь выходной в Сиднее, вместо того чтобы таскаться в поездах да еще стоять полдороги.

Он резко поднялся с постели, и голова Магды упала на подушку.

— Джэн никогда и ни за что меня не осудит. В этом все дело.

Взгляд Магды вдруг стал настороженным.

— Конечно, нет. Да, кроме того, я и не отнимаю у нее ничего из того, что ей принадлежит.

— Нет.

— Ведь я не ишу себе мужа. Я неплохо устроена в своем гнездышке. Ты же знаешь это, правда?

— Знаю.

Барт свесил ноги с кровати и встал. Нет, Магда ничего не отнимала у Джэн, ни его любви, ни верности. Эта мысль утешила его, когда он побрел в ванную. То, что произошло у них с Магдой, не имело никакого отношения к Джэн. Как будто Джэн жила в одном мире, а это происходило в другом.

Ему повезло, что у него есть Магда. Они давали друг другу что могли, брали что могли и были этим довольны. Никаких уз, никаких обязательств. Ничего. Да, им чертовски повезло обоим. Ее муж большую часть времени отсутствовал, и они делали что хотели. Всякий раз, когда он думал об этом, он приходил к выводу, что Магда все же удивительная женщина. На любую женщину, особенно такую шикарную, как Магда, ему пришлось бы кучу денег истратить, а он сейчас не имел права тратить деньги ни на кого, кроме Джэн. Для всех них так гораздо лучше — он приходит сюда каждый вечер, вот как в этот раз, вместо того чтобы тратить деньги на выпивку с ребятами или проигрывать в покер. И когда он отправлялся к Джэн, он больше не бывал взвинченным и раздражительным, а по-настоящему радовался часам, проведенным вместе, и Магда, оставаясь где-то на втором плане, убаюкивала его чувства, притупляя и смягчая их, как опиум.

«И не нужно делать из этого мелодрамы, — говорил он себе, яростно растирая тело полотенцем после холодного душа. — Магда чертовски порядочная девчонка. Вспомнить только, как она облазила весь город в поисках хорошего халатика для Джэн, а потом даже деньги с него взять отказалась и заявила, что хочет послать халатик в подарок

Джэн, хотя Джэн никогда и не узнает, что это от нее. Многие женщины поступили бы так».

Он слышал, как она гремела чашками в кухне, готовя кофе. Нет, такую, как Магда, еще поискать.

ГЛАВА 27

1

На следующей неделе у Джэн слегка поднялась температура и участился пульс. Ее на несколько дней уложили в постель, и она снова стала одной из тех пациенток санатория, что живут, только созерцая. Обострение заставило ее внимательней прислушиваться к разговорам больных, и она стала различать в их голосах нотки, которых раньше не замечала. Теперь она была одной из них, и, находясь под впечатлением даже этого слабого обострения, она поняла многое из того, чего не понимала раньше. Она узнала, что она ходит по краю пропасти, и, чтобы сохранить равновесие, необходимо терпение. На минуту она потеряла терпение, и вот ее организм безжалостно отозвался на это высокой температурой и участившимся пульсом. Миссис Карлтон и Леонард давно уже научились терпению. В них обоих была какая-то черта, для характеристики которой она никак не могла подобрать слова. Это было больше, чем просто примирение! Это было приятие. Это было совсем не то, что она наблюдала у Линды и Бетти, которые, принимая все как должное, остановились и набирают силы, чтобы продолжать жизнь. В этом приятии было нечто более глубокое — в нем было нечто окончательное и потому более ужасное.

Под влиянием чувств, охвативших ее в тот день, когда Барт не приехал, она по-новому взглянула на многие вещи. В новом свете она увидела своих собратьев-больных. Глядя на спокойное лицо миссис Карлтон, она задавала себе вопрос: интересно, сколько раз плакала в подушку эта женщина, когда не приезжал ее муж? Она подумала о том, как, должно быть, терзался Леонард, когда обнаружил, что жена его полюбила другого. Она подумала о том, сколько людей жили здесь так же, как и она, оторванные от всего, что было для них дорого. У нее это временное, а ведь многие из них болели так давно, что утратили уже всякую связь со всей прежней жизнью. Миссис Карлтон вела когда-то жизнь полную вечеров, приемов, увеселений. У нее было много друзей. Она не жалуется: редко кто из них жа-

луется. Вероятно, каждый незаметно для себя постепенно проходит путь от примирения к приятию.

В тот день, когда ей пришлось остаться в постели, шел снег. С постели она видела, как снежинки, кружась, словно рои белых бабочек, припорошили деревья и лужайку, заполнили небольшие ложбинки на клумбах в саду. И мысль о том, что ей приходится оставаться в комнате, когда на улице падает снег — первый в ее жизни снег, — сводила ее с ума. Она взяла свой стеклянный шарик и трясла его до тех пор, пока маленькую девочку в красном плаще не окутала снежная буря.

— Вот, — она протянула шарик миссис Карлтон, — если нам не разрешают выходить, мы устроим себе свой собственный снег.

Притрусил возбужденный растреп Рэфлз. Коротенький хвост его мотался из стороны в сторону, в пушистой шерсти сверкали тающие снежинки.

— Ах ты, дурашка мой милый. — Миссис Карлтон провела рукой по морде Рэфлза, который стоял, упершись грязными лапами в край ее постели. — Ты, наверно, знаешь, что я обожаю снег.

Она глядела в сад, так быстро преобразившийся под тонким белым покровом. Глаза ее мечтательно глядели вдаль, как будто она видела что-то далеко за садом.

— Бывало, мы каждый год ездили на гору Косцюшко.

Рэфлз радостно засопел, когда она потянула его за шелковистое ухо.

— Что может быть прекраснее, чем мчаться на лыжах по горным склонам, когда весь мир такой сверкающий, белоснежный, кусты пригибаются под тяжестью снежных сугробов, а небо — глубокой, почти невероятной синевы.

Джэн, сидевшая на кровати, обхватив руками колени, при этих словах вдруг почувствовала испуг. Она сама любила всякие прогулки и спорт, и ее представление о миссис Карлтон просто не вязалось с таким мужественным видом спорта, как лыжи. Джэн казалось, что миссис Карлтон всегда была хрупкой. И вот сейчас она никак не могла связать нарисованный миссис Карлтон образ с лежавшей перед ней женщиной — с миссис Карлтон, таявшей день ото дня, с ее желтоватой кожей, плотно обтянувшей скулы, с ее неестественно большими лихорадочно блестящими глазами.

Джэн откинулась на подушки. Ей больше не хотелось смотреть на снег.

Из-за того, что она была снова прикована к постели, Джэн не смогла уйти из комнаты, когда пришел лечащий врач миссис Карлтон вместе с консультантом. Они пришли обсудить операцию, которой должна была подвергнуться миссис Карлтон. Джэн отвернулась, натянула на голову одеяло, притворяясь спящей и пытаясь не слышать их голосов. Но она слышала все: и знакомый бубнящий басок лечащего врача, и тихий размеренный голос консультанта, и чуть насмешливый голос миссис Карлтон.

— Доктор Торрингтон видел ваш снимок, миссис Карлтон, и он согласен со мной.

Лечащий врач старался придать особую убедительность своему полковничьему басу. Последовала пауза, во время которой Джэн ясно представила себе, как иронически поднялись брови миссис Карлтон.

— Да, это так, — сухо и деловито подтвердил доктор Торрингтон. Голос его внушал доверие.

— Грубо говоря, миссис Карлтон, рентген показывает, что у вас нет выбора — надо делать торакопластику.

— О нет, выбор есть!

— Что вы хотите этим сказать?

— Что я предпочитаю не делать операции.

— Послушайте, миссис Карлтон, мы ведь уже обо всем этом говорили. — Голос лечащего врача звучал нетерпеливо. — И теперь, когда доктор Торрингтон подтверждает мое мнение и ваш муж настаивает на этом, я уверен, вы согласитесь.

— Нет.

После ответа миссис Карлтон наступило неловкое молчание. Наконец врач сердито выпалил:

— А вы знаете, чем грозит ваш отказ?

— Вы хотите сказать — смертью?

— Вот именно, миссис Карлтон!

— Ну, доктор, вам нечего смущаться, упоминая о смерти, раз не смущаюсь я.

Лечащий врач раздраженно прищелкнул языком.

— Прошу вас, будьте рассудительны, миссис Карлтон. Мы немножко подправили вас за последние месяцы, и теперь мы оба, и я и доктор Торрингтон, считаем, что вы достаточно окрепли, чтобы перенести первую стадию операции. Это даст возможность управиться со всем до наступления жары.

— Прошу вас извинить мое упрямство, но я отвечу — нет.

— Тогда я не беру на себя ответственность за последствия.

— А я и не прошу вас об этом. Я знаю все, что может случиться, и предпочитаю, чтоб было так. Когда-то вы говорили мне, что торакопластика меня не вылечит. Зачем же сейчас я буду подвергать себя операции, которая только еще протянет мою жизнь инвалида? Детей у меня нет. Я обуза для мужа и друзей. А вы бы согласились жить на таких условиях?

Остатки разговора до Джэн доносились смутно. Потом оба врача ушли. Когда Джэн, наконец, решилась выглянуть из-под одеяла, она увидела, что миссис Карлтон откинулась на подушки и, заложив за голову руки, спокойным, невидящим взглядом смотрит на остатки снежной пороши, припудрившей ели за окном.

II

В следующее воскресенье, несмотря на то, что хозяйка отсутствовала, Джэн с трудом удалось уговорить сестру Воон отпустить ее к повороту дороги. И только когда Леонард обещал пойти вместе с Джэн и вовремя привести ее обратно, сестра согласилась.

Джэн проснулась поутру и увидела небо, покрытое облаками, и серебристые лучи утреннего солнца, падавшие на долины. Одеваясь, она чувствовала, как ею овладевает волнение. Барт сказал, что наверняка успеет к раннему поезду, и, с горечью вспоминая прошлое воскресенье, она еще больше волновалась, представляя себе, как она, наконец, увидит сегодня Барта и как он удивится при этом. Она тщательно приделась и оглядела себя в зеркале. «Сегодня я не буду так глупо себя вести,— сказала она себе.— Нет уж, прошлое воскресенье не повторится. Это было мне уроком».

Леонард окликнул ее; она надела пальто и вышла к нему на веранду.

— Что вы скажете, если мы пойдем для разнообразия через сад и спустимся к скамейке по Холму Инфарктов? Времени у нас много.

— Великолепно, я там еще никогда не ходила.

— Если будете идти осторожно, спуск по этой тропке не причинит вам вреда, но обратно вы непременно возвращайтесь по дороге.

По тропинке путь был короче, чем по дороге, но тропка была крутая и каменистая. Вниз по ней идти было очень

удобно, но только глупый или безрассудный решился бы подниматься по ней.

День выдался облачный и очень тихий. Они медленно шли по узкой тропинке, вдоль которой на кустах густого и низкорослого кустарника ярко пестрели весенние цветы. Леонард молчал, как будто подлаживаясь к ее настроению. Когда-то он казался ей непонятным и немного высокопарным, но теперь, когда она узнала его поближе, она стала понимать его настроения так же, как он, кажется, инстинктивно понимал ее.

Она намеренно замедлила шаг. Нужно беречься. Сегодня она будет выполнять все, что ей говорят. Даже если Барта задержат сегодня в последний момент, как в прошлое воскресенье, она не позволит себе расстраиваться. Это глупо. Сейчас она готова была смеяться над собой, вспоминая об этом. Если она и после их женитьбы будет поднимать такую панику всякий раз, как он задержится, хорошенькая у них будет жизнь. Нет, нужно быть терпеливой, уравновешенной. Она постарается перебороть себя, стать другой, потому что иначе это снова отразится на ее температуре, на ее пульсе.

Она радовалась, что день был серенький. Тучи, словно серые перья, низко нависали над горами, и клочья тумана плавали внизу, над долиной. Когда они дошли до скамьи, Леонард угостил ее сигаретой, и они мирно курили, сидя рядышком на скамье, пока в выемке на склоне холма не показались знакомые серебристые клочья дыма, вырывающиеся из паровозной трубы. Она смотрела на них, спокойно ожидая и твердо решившись вести себя разумно, даже если Барту снова не повезет и он и сегодня не сможет приехать. Наконец поезд прошел под ними, и они услышали, как он замедляет ход, подъезжая к станции.

Леонард встал.

— Побреду обратно. А ты обещай мне, что если Барт не придет на этом поезде, ты сразу же пойдешь назад.

— Конечно, пойду. Больше никогда не буду вести себя так глупо.

Он легонько потрепал ее по щеке своей огромной пятерней.

— Вот и умница! И помни, если ты не придешь вовремя, мне от сестры Воон попадет.

— Помню. Если его здесь через пятнадцать минут не будет, я сразу же отправлюсь домой и лягу в постель, как послушная девочка.

Она смотрела, как он медленно бредет по дороге к санаторию. В сыром воздухе резко прозвучал свисток паровоза. Джэн слышала, как поезд отошел от станции. Сердце ее стало биться чаще. «Спокойно, спокойно, — молила она, кутаясь в пальто. — Мне нельзя расстраиваться». Она, не отрываясь, смотрела на дорогу, потом перевела взгляд на часы. Вдали замер шум поезда. Джэн снова взглянула на дорогу, пробежав взглядом по желтой черте, обозначающей ее середину, до самого бугра, из-за которого должен был появиться Барт. До поворота пять минут. Она снова взглянула на часы. Прошло уже десять минут с тех пор, как ушел поезд. Сердце ее отчаянно колотилось в груди. Подул резкий ветер, и ей стало холодно. Нет, лучше не ждать здесь больше. Еще пять минут подождет, и все. И, словно против своей воли, она вдруг быстро поднялась. Нет, она больше не может ждать здесь. Она пойдет назад в санаторий. Она будет отдыхать в положенное время. Барт придет следующим поездом. Если же нет, то он позвонит. Только не нужно впадать в панику.

Когда она уже повернулась, чтоб идти, со стороны города на большой скорости подъехал серебристо-серый лимужин. Она и не заметила бы его в потоке машин, если бы он вдруг не развернулся размашисто у поворота и не подкатил к развилке дороги, направляясь теперь к Сиднею.

Из машины вышел Барт, и сердце ее от радости подпрыгнуло в груди. Он все-таки приехал! Она знала, что он придет. Ему, наверно, повезло, кто-нибудь подбросил его, и ему не пришлось тащиться в поезде. Он стоял, опершись рукой на дверцу машины, и разговаривал с водителем. Только теперь она увидела, что за рулем сидела девушка. Лицо ее было обращено к Барту, и Джэн видна была только темная волна ее волос, спадавших на плечи. Джэн увидела, как Барт непринужденно склонился к дверце машины, и девушка, тоже наклонившись, положила руку ему на плечо.

Джэн замерла на месте, скрытая деревьями. Он, наверно, хорошо знаком с этой девушкой. Очень хорошо. Джэн увидела, как девушка засмеялась и любовно потрепала его за чуб. Потом она притянула его за шею и поцеловала в губы. Это был долгий поцелуй, и, когда, наконец, он поднял голову, девушка протянула к нему зеркальце и держала его, пока Барт вытирал рот от помады.

Джэн повернулась, ничего не видя вокруг. Она не может идти по дороге, она рискует встретить Барта. Он не

должен знать, что она была здесь. И, не думая ни о чем, кроме одного: нужно во что бы то ни стало избежать встречи с ним, она стала карабкаться по крутому склону Холма Инфарктов.

III

Барт, наконец, разыскал ее в самом конце сада и так обрадовался, снова увидев ее в обычной одежде, что даже не заметил того, что Джэн не радуется его приходу, а просто стоит, как будто с трудом удерживая равновесие, на верхней ступеньке лесенки и молча следит за его приближением.

А потом, обняв и крепко прижав к себе ее напрягшееся тело, он даже не заметил, что она молчит, в то время как он так и сыплет извинениями и сожалениями по поводу того, что не смог приехать в прошлое воскресенье. Он и сам не заметил, как, оживляя собственную выдумку, стал объяснять, что он сегодня задержался, потому что хотел купить ей шоколадку или еще что-нибудь на станции в Уэнтурт Фолз. И что у них такой переполох был в казарме, что он едва успел сесть на поезд. Все это звучало так убедительно, что он сам почти уверовал в свой рассказ. Магда была забыта. И, глядя в ясные глаза Джэн, видя ее губы у своего лица, он снова с чувством, похожим на страх, подумал, как все же ему повезло, что у него есть Джэн. И то, что она смогла выйти в сад вот так, в желтом свитере и шерстяной юбке, казалось ему залогом их грядущего счастья. Она действительно поправляется. Он спрятал лицо в ее волосах.

— Джэн, дорогая, знала бы ты, что это для меня значит.

Когда он ощутил, как, прижавшись к нему, дрожит ее тело, он вдруг вспомнил слова Магды: «Я ничего не отнимаю у Джэн». Она говорила правду. То, что происходило у них с Джэн, было чем-то особенным, не похожим ни на что другое в этом мире, и держать ее так — было воистину неземным блаженством.

ГЛАВА 28

I

А в четверг Дорин позвонила ему и сказала, что у Джэн обострилась болезнь. Барт сначала не поверил. Не может быть, да она никогда так хорошо не выглядела, как

в прошлое воскресенье! Никогда еще он не видел ее такой веселой. Да и вообще такого счастливого дня у них не было уже много месяцев. Она ни разу столько не смеялась с тех самых пор, как заболела. Когда он приехал, она ждала его в саду, и выглядела она здорово. И одета она была в свою обычную одежду, как когда-то. Дорин прервала его резким от волнения голосом:

— Ну, как бы там она ни выглядела в прошлое воскресенье, сейчас она очень больна. У нее плеврит. Они уложили ее в постель, совсем.

— Но... но...

Мысли его были в смятении. У него было такое чувство, будто его вдруг изо всех сил ударили в солнечное сплетение. Да нет, это просто чушь. Ведь прошлое воскресенье как будто вознаградило их за долгие месяцы тревог и волнений. Он вернулся оттуда, чувствуя, что запутанный клубок его жизни наконец распутался.

В воскресенье оба они были на вершине счастья. А теперь у Джэн обострение. Он был уже достаточно знаком с санаторским жаргоном, чтобы понимать, что обострение могло означать что угодно.

Он не мог этому поверить. Он пытался сосредоточиться и вникнуть в то, что говорила ему сейчас Дорин.

— После разговора с Леонардом я позвонила хозяйке.

— Что она говорит?

— Да все, что они говорят в таких случаях. Что при туберкулезе никогда ничего нельзя сказать наверняка, что Джэн прекрасно поправлялась, но что от таких вещей никто не застрахован.

— Врач ее осматривал?

— Да. Они вызвали местного врача, и он сказал, что она переутомилась. Перенапряжение. И что было еще какое-то нервное потрясение. Я сказала ему, что, насколько я знаю, никакого нервного потрясения у нее не было.— Голос Дорин звучал очень уверенно.

Барт молчал. Он ощутил, как похолодело у него внутри и страх стал закрадываться ему в жилы.

— Да, верно,— сказал он хрипло.— Конечно, она расстроилась из-за того, что я не приехал в прошлое воскресенье, но когда я позвонил ей по телефону, она сказала, что все отлично понимает.

— Ах, это!— Дорин отмахнулась.— Конечно, она немножко огорчилась вначале, но ненадолго, ведь Джэн разумная девушка.

— Что он еще сказал об этом ее потрясении?

— Да много всякой чепухи. Я думаю, он просто паникер,— Дорин говорила теперь вяло, утомленно,— думаю, что он все это говорит просто так, чтобы сказать что-нибудь. Кроме того, эта старая паскуда хозяйка была так от-вратно настроена, что я вообще из нее ничего выудить не могла.

— Она не сказала, в чем же там все-таки дело?

— Я не все поняла из того, что она говорила, но, во всяком случае, звучало все это весьма серьезно, и она жаловалась на то, что нужен специальный уход, и на то, что с Джэн много хлопот. Ей нужна специальная сиделка.

— Так почему же, черт подери, она не приставит к ней няню?

— Я ей сказала, так она мне чуть голову не откусила. Говорит, что если нам не нравится, то можем забирать ее домой.

— Ну и ну!

— Еще слава богу, Мёрч, ее врач, туда едет на этой неделе, он ее сегодня осмотрит, а я ему завтра с утра позвоню и договорюсь о приеме. Это, по-моему, будет лучше всего, как ты думаешь?

Он что-то пробормотал ей в ответ. Ему вспомнилась Джэн. Он вспомнил ее такой, как она ожидала его в воскресенье на нижней дорожке сада: ветер играет ее волосами, глаза сияют, цвет ее зеленого пальто гармонирует с несмелой зеленью молодой листвы. Это была снова прежняя Джэн, и жизнь разворачивалась перед ними в эту минуту — обе их жизни, в которых он видел уже и ее выздоровление и их любовь.

Дорин торопила его.

— Это будет лучше всего, как ты думаешь?

— Да, конечно, лучше всего.

— Конечно, это обойдется в лишнюю гинею, но я думаю, что оно того стоит, как ты думаешь?

— Ну, конечно же, стоит.— Глодавшее его чувство вины придало особую силу этому его заверению.

— Я уже весь свой отпуск использовала. Попробую взять за свой счет или просто возьму выходной и поеду в санаторий.

Барт оперся о стенку душевной телефонной будки.

— Послушай, я все устрою. Ты не беспокойся. Я сам повиджаю Мёрча в девять и успею на поезд в горы. Я там все разужнаю. А с тобой мы увидимся завтра вечером.

— О Барт!— проговорила она с облегчением.— Спасибо тебе большое.

Барт в каком-то потрясении вышел из будки на яркий весенний солнцепек. Его мутило.

— Боже ты мой!

Голос Чиллы немного отрезвил его.

— Вид у тебя совсем хреновый. Что случилось?

Барт повернул к нему испуганное и недоумевающее лицо.

— Она заболела.

— Кто, Джэн?

Барт кивнул. Теперь, когда он сумел что-то сказать, чувство тошноты мало-помалу утихло. Дубленое лицо Чиллы казалось встревоженным.

— Да, Джэн. Говорил сейчас с ее сестрой.

— По-моему, ты только вчера сказал, будто она успешно поправляется?— удивленно проговорил Чилла.

— Она и поправлялась. А теперь вот вдруг стало хуже.

— Ну ладно, хныкать нечего!— Чилла сдвинул панаму на затылок и потрянул светлым чубом.— Послушь-ка, у меня там в шкафчике есть бутылка этой отравы. Пойдем и хлебом по маленькой. Похоже, что тебе теперь это нужно.

Они украдкой прокрались в спальный барак, стараясь не попадаться на глаза сержанту. Чилла оглянулся в последний раз и хрипло прошептал:

— Если эта щучья морда нас поймает, придется выпить еще раз. Он сегодня мне в печенки вьелся.

Они пробрались в барак незаметно. Чилла пошарил в своем вещмешке и вытащил бутылку виски, завернутую в грязную рубаху. Он налил в кружку крепкого пойла и передал Барту.

— Ну, глотай, может, у тебя хоть вид будет не такой смурной.

Барт благодарно проглотил обжигающий напиток и задержал дыхание. Чилла налил себе и тоже проглотил. Они снова выскользнули на двор.

— А теперь пойдем лучше ко мне в мастерскую и сделаем вид, что мы работаем,— предложил он,— и если эта щучья морда сунет сюда свой любопытный нос, то у нас все в порядке будет. Мне больше без увольнения оставаться не хочется.

Открыв капот, они склонились над мотором огромного грузовика, перебирая в руках свечи, и Барт пересказывал Чилле все, что сообщила ему Дорин.

— Ну да?— Чилла был потрясен.— Это теперь-то, когда она выздоравливать стала? И что ты собираешься делать?

Барт выпрямился.

— Хочу смыться сейчас же. Мне еще нужно сделать кое-что до отъезда, а утром у меня не будет времени. Поезд отправляется около десяти.

Чилла подошел к дверям мастерской и украдкой осмотрелся.

— Я пройду и посмотрю, чисто ли там на горизонте, если ты хочешь заскочить и собрать там в бараке, коли что надо.

— Да, надо.

— Порядок. Я тебя жду.

Барт отправился в спальную, сделав крюк, чтобы ввести в заблуждение начальство, если оно встретится на пути. Ему надо было пошарить у себя в вещмешке, и он вдруг почувствовал, что даже если все сержанты, сколько их есть, вылезут на дорогу и захотят остановить его, им это не удастся. Барт вытащил фотоаппарат и любовно повертел его в руках. Он знает одно место, где можно получить за него сорок фунтов, если повезет. Барт сунул аппарат в карман и пошел обратно. Грузовик, который чинил Чилла, с ревом выезжал из мастерской. Капот его радиатора был все еще поднят. Машина медленно тронулась по дороге к главным воротам.

— Живо, живо!— Чилла указал на место в кабине.— Чем скорее мы проскочим ворота, тем лучше.

Барт колебался.

— Ты ж влипнешь.

— А, брось ты! Прыгай сюда скорей, пока никто не видел. Хорошо еще, если этот паршивый драндулет не развалится раньше, чем мы из ворот выедем.

Грузовик дребезжал по залитой гудроном дороге. Чилла высунулся из кабины и крикнул часовому у ворот:

— Надо дотащиться на ней до подъема, посмотреть, как она пойдет. Если взорвется по дороге, скажи, друг, что мы погибли, выполняя свой долг.

Часовой крикнул им что-то на прощание, и грузовик еще сильнее задребезжал на крутом подъеме.

— Ну и ну!— Чилла даже присвистнул.— Если на ней еще после этого можно будет хоть с места сдвинуться, то это будет просто чудо из чудес. Пока я буду наверху разворачиваться, ты прыгай. Я машину поставлю так, чтоб ты

мог за угол заскочить, и тебя никто не заметит. А потом, если она по дороге не заглохнет, я ее обратно в гараж загоню, и никто и не допрет, что к чему.

Барт выскочил из машины и, проскользнув за угол, скрылся за забором. Потом бросился бежать к трамвайной линии по ту сторону холма.

II

Трамвай грохотал вдоль бульвара Энзэк Пэрейд, направляясь к центру. Потрясенный сообщением Дорин, Барт до сих пор не мог поверить, что все это так. Это бессмысленно. Ведь не может же человек вот так просто заболеть. Тем более если он выглядит так, как выглядела Джэн в прошлое воскресенье. А если все-таки может? И он припомнил тот далекий, будто из другой жизни вечер, когда они танцевали вдвоем на пароходике, и Джэн, такая легкая, полная жизни, двигалась в ритм музыке. А потом в квартирке — в его объятиях... и вдруг... Нет... Он отбросил это воспоминание, воспоминание, к которому ему никогда не хотелось возвращаться: Джэн, судорожно прижавшаяся к его плечу, приступы кашля, которые, казалось, разрывали ей грудь. Кровь... Нет, это не может повториться. Это невозможно.

Так что же произошло? Они что-то говорили о нервном потрясении. Но что же могло ее так огорчить? Что-нибудь в санатории? Всем своим существом он мучительно стремился найти ответ на этот вопрос. Неужели она догадалась насчет Магды? Он отбросил эту мысль. Каким образом? Да нет, это невозможно. Ничто в его поведении не могло выдать его. Он готов поручиться. И никто не мог насплетничать ей об этом. Он был очень осторожен. Нет, какая бы там ни была у нее интуиция, ничто не могло насторожить ее. Вероятно, это все из-за той самой неуверенности в его чувствах, которая так часто мучила ее раньше, еще до болезни, той самой неуверенности, на которой он так любил играть раньше. Ну, да ладно, он больше на этом играть не собирается, и если ее это беспокоит, он с этим покончит. Вот те крест, покончит!

Он пошел в лавку на Каслри-стрит и выложил на прилавок фотоаппарат. Человек за прилавком взял его и внимательно осмотрел, не говоря ни слова. Прежде всего он тщательно проверил объектив. Попробовал механизм. Посмотрел через видоискатель. Наконец поднял взгляд, явно удовлетворенный осмотром.

— Хороший аппарат. Сколько вы за него хотите?

— А сколько вы дадите?

Продавец закрыл аппарат и, держа его на ладони, поглядывал на него и задумчиво пожевал губами.

— Тридцать фунтов.

— Я хочу сорок.

— На тридцати пяти сойдемся?

— Идет.

Барт сложил хрустящие бумажки и аккуратно спрятал их во внутренний карман. Витрина лавки была забита серебром, драгоценностями, кольцами. Он остановился, глядя на кольца. Некоторые выглядят вполне прилично. Никогда не догадаешься, что подержанные. Но нет, эти не подойдут. Джэн не нужно ничего подержанного. Нет, нет, эти не годятся.

Он свернул в пассаж и постоял перед другой лавочкой, поменьше. На его неисклюшенный взгляд все кольца в ярко освещенной витрине казались одинаковыми. Те, на которых стояла цена пятьдесят фунтов, выглядели ничуть не лучше тех, что стоили тридцать. Наверно, какая-то разница и была, но он мог истратить максимум тридцать пять фунтов, желательно даже тридцать. Если он истратит тридцать фунтов, тогда у него еще пара шиллингов останется до полочки и не придется снова грабить Чиллу.

Он бродил по пассажи, заглядывая в ярко освещенные окна ювелирных лавочек. Бриллиантовые кольца, разложенные на бархате, казались разными по размеру и рисунку, но он не знал, чем измеряется их ценность. Ему понравилось только одно, но на нем не было цены. Оно было выставлено особняком на куске голубого бархата, и скрытый источник света был расположен так искусно, что под его лучами камень вспыхивал синим и желтым огнем. Оно было немножко похоже на то, что носила Магда, но поменьше. Это воспоминание подсказало ему, примерно сколько оно должно стоить, и он больше уже не собирался спрашивать о его цене. Все, что носила Магда, стоило кучу денег. Нет, конечно, она никогда не говорила ему об этом, но он и сам был не такой уж темный, чтобы, видя что-нибудь, не догадаться, хорошая это вещь или нет.

Барт вышел на улицу и остановился перед маленькой витриной, за которой какой-то лысый мужчина склонился над часами, зажав в глазу инструмент, похожий на маленький бинокль. В витрине было совсем немного предметов: несколько опалов на подносе, пара-другая часов и цепочек и с полдюжины колец. Было что-то домашнее в этой лавочке,

наводившее на мысль о честной торговле, она не была похожа на лавки, где все разложено напоказ с явной целью заманить тебя и непременно, во что бы то ни стало всучить тебе свой товар.

Барт вошел, и ювелир, оторвавшись от работы, поднял на него взгляд. У него было бледное опухшее лицо, и его выцветшие глаза долго не могли остановиться на Барте после напряженной работы над часовым механизмом.

— Ну и что? — Голос его звучал устало, но его полная фигура, его распахнутый жилет и рубаха с закатанными рукавами дышали каким-то дружелюбием.

— Покажите мне кольцо.

— Какое?

— Кольцо с бриллиантом.

— А-а! — Он протянул руку к витрине и вынул маленький поднос с подушечкой, на которой были закреплены шесть колец. Барт беспомощно взглянул на них, чувствуя себя довольно глупо.

— Полагаю, это для молодой женщины?

— Совершенно верно.

— Ну что ж, молодыми мы бываем раз в жизни. Мерка с пальца у вас есть?

— Нет. Даже не подумал об этом.

Ювелир пожал плечами.

— Вот так всегда. Может быть, ваша девушка придет и сама померяет какое-нибудь из этих колец.

— Она не может. Она и не знает, что я покупаю ей кольцо.

Ювелир пытливо взглянул в его суровое молодое лицо, прорезанное слишком глубокими для его возраста складками.

— Тогда, может, вы возьмете одну вот из этих карточек и примерите, чтоб не вышло ошибки? Так обычно определяют размер.

— Да нет, — Барт взял одно из колец и внимательно осмотрел под лампой над прилавком. — Сколько за это?

— Это двадцать пять фунтов, вон то — тридцать пять, а вот это пятьдесят пять фунтов.

Барт глазел на эти кольца в тщетной надежде разобраться, какое же из них все-таки лучше. Он пожалел, что с ним не было Магды, она могла бы помочь ему, но он поспешно прогнал эту мысль, словно она жгла его.

— Фальшивые?

— Вы имеете в виду бриллианты?

— Да.

Ювелир тихо, почти беззвучно хохотнул.

— Дорогой юноша, неужели вы думаете, что какой-нибудь ювелир ответит вам «да»?

Барт в отчаянии смотрел на кольца. То, что стоило пятьдесят пять фунтов, выглядело точно так же, как то, что стоило двадцать пять, только чуть больше украшений. Барт взял его и повертел между пальцами.

— Вы ничего не понимаете в кольцах?

— Ничего.

— И, насколько я понимаю, вам нужно обручальное кольцо?

— Да.

— Сколько вы собираетесь на него истратить?

— У меня остается тридцать пять фунтов до следующей полочки, и я не хотел бы тратить больше тридцати.

Ювелир снова усмехнулся.

— А вы откровенный мальй.

— Не знаю, откровенный или нет, а только это все деньги, что у меня есть, и мне хотелось бы получить за них что-нибудь приличное.

Он замолчал, продолжая крутить кольцо между пальцами, пытаясь представить его на пальце у Джэн и прикинуть, подойдет оно ей или нет.

— Послушайте, — сказал он наконец, — моя девушка в больнице: она страшно больна. Утром я отправляюсь первым поездом в горы — навестить ее, ясно?..

Ювелир кивнул.

— И если я обнаружу потом, что вы мне подсунули подделку, я вернусь и сверну вам голову, ясно?

— Ясно.

Глаза ювелира превратились в настоящие щелочки на рыхлом лице.

— В горы, вы говорите? Тогда надо найти что-нибудь особенно красивое. Нет, не это, — он отобрал у Барта кольцо. — Это не подходит вам из-за цены, а я не могу продать его дешевле. Вот это...

Он открыл ящичек под прилавком и вынул три кольца в маленькой коробочке.

— Вот это.

Он протянул кольцо Барту.

— Оно стоит тридцать пять фунтов, можете сами взглянуть на ярык. Красивый камешек, и оправа красивая. Только один камешек, заметьте, поэтому вы столько и платите. Красивое колечко. И хорошего вкуса, так что вашей

девушке не стыдно будет показать его кому угодно. Отдаю вам его за тридцать фунтов.

Барт с сомнением взял в руки кольцо. Единственный камешек ярко сверкнул при свете ламп. Похоже, что оно и правда хорошего вкуса, но выглядит оно чертовски маленьким для тех тридцати монет, что оно стоит.

— Беру его, но помните, что я сказал.

Ювелир снова хохотнул.

— Помню. Если оно не подойдет или если оно ей не понравится, принесите его обратно, и мы подумаем, чем бы его заменить. Да, и возьмите карточку размеров с собой, на всякий случай.

— Спасибо.

С минуту Барт постоял в нерешительности, потом взглянул на большое доброе лицо ювелира, и у него самого лицо скривилось в вымученной улыбке.

— Спасибо,— повторил он, пряча кольцо в карман, и вышел на улицу, где уже сгустились сумерки.

ГЛАВА 29

1

На следующее утро Барт отправился к доктору Мёрчисону Лейду. Он никогда раньше не встречался с лечащим врачом Джэн, и сейчас, сидя в его светлом просторном кабинете, выходявшем окнами на ботанический сад и дальше на залив, замкнутый оконечностями мысов Хэдз, он думал, что доктор Лейд больше похож на предпринимателя, чем на врача.

Лицо доктора Лейда было настороженным, как будто он все время опасался доверить вам мысли, которые скрывались за его высоким лбом. Он никогда не смотрел вам в глаза, и в манере его было какое-то обезоруживающее добродушие, как будто он был готов вот-вот разоткровенничаться с вами и все время должен был себя от этого удерживать.

— Да-да,— кивнул он, и глаза его следили в это время за большой мухой, с ленивым жужжанием летавшей по комнате.— Да, у мисс Блейкли, как это ни прискорбно, началось обострение, да, как это ни прискорбно. В особенности после того, что она так хорошо шла на поправку. Последний ее рентгеновский снимок был весьма обнадеживающим, да, весьма обнадеживающим. Каверна затягивалась успешно, мисс Блейкли прибавляла в весе, и температура у нее была нормальная.

— Насколько это серьезно сейчас?

Доктор теперь то завинчивал, то выкручивал грифель золотого карандашика, пристально глядя на его кончик.

— Когда я вчера ее осматривал, состояние ее было уже лучше, чем когда ее осматривал местный врач. Плеврит понемногу рассасывается, хотя жидкости еще много.

— Но он рассосется, да?

Взгляд доктора Мёрчисона Лейда медленно перешел с портрета на стене к лицу Барта и, скользя по нему, остановился где-то на гравюре, висевшей у Барта над головой.

— Да,— голос его звучал бесстрастно, и в глазах нельзя было прочесть никакого выражения.— Да, оно рассосется со временем, но, конечно... Вы не должны забывать, что при туберкулезе ничего невозможно предвидеть, невозможно предвидеть.

Он смотрел на гравюру и, поглощенный этим занятием, как будто совершенно забыл о Барте.

— А для легких этот плеврит не вреден? — в нетерпении спросил Барт.

Доктор Мёрчисон Лейд чуть повернулся в своем вращающемся кресле, и взгляд его упал на промокашку. Он стал рассеянно тыкать в нее карандашом, потом едва заметно усмехнулся краешком рта.

— Видите ли, на этот вопрос трудно ответить, и, пока у нас не будет нового рентгеновского снимка, мы сможем только гадать.

Он стал рисовать на промокашке крестики и нолики, как в детской игре.

— А когда мы сможем получить снимок?

Доктор пожал плечами.

— Пройдет, вероятно, три недели, может, месяц, пока она начнет вставать.

Барт был потрясен.

— Неужели все так плохо, доктор?

— Насколько я мог понять из осмотра, боюсь, что это именно так, как вы сказали: очень плохо. У нее, к сожалению, появилась жидкость.

— Это очень серьезно?

Доктор Мёрчисон Лейд медленно кивнул и заполнил все клетки крестиками и ноликами. Голос его звучал спокойно.

— Очень серьезно.

У Барта было ощущение, как будто ему в живот вдруг всадили штык.

— Но... но... как это могло случиться?

Доктор продолжал аккуратно заполнять крестиками и ноликами все новые клеточки, между бровями у него залегла глубокая складка, на лице была написана досада на глупость этих людей, столь мало искушенных в тайнах медицинской науки.

— Я полагаю, вы несколько знакомы с физиологией и механизмом действия искусственного пневмоторакса?

Барту все труднее было скрывать свое враждебное отношение к доктору.

— Да я знаю совсем мало, я только знаю, что пневмоторакс — это вроде шины, наложенной на легкое.

— Вот именно, и если развивать вашу метафору, то можно сказать, что у мисс Блейкли эта шина лопнула.

— Ей не угрожает опасность?

— Насколько я понимаю, вы имеете в виду непосредственную опасность?

— Да.

— Нет, — доктор остановился, — непосредственной опасности нет.

Он на мгновение случайно встретился глазами с Бартом и тут же отвел глаза, принявшись созерцать настольный календарь.

— Конечно, я понимаю, что плеврит немного отбросил ее назад, но, надеюсь, это не помешает ей выписаться к концу октября? — настаивал Барт.

Доктор внимательно изучал промокашку. Когда он заговорил, в голосе его послышалось раздражение.

— Боюсь, что не могу сказать вам ничего определенного относительно того, когда мисс Блейкли поправится настолько, чтобы покинуть санаторий.

— Но, доктор, я-то ведь должен знать, хотя бы когда она сможет выписаться. Понимаете, я собираюсь все уладить насчет демобилизации, мы думаем пожениться, когда она выйдет, и еще множество других вещей надо устроить.

Доктор Мёрчисон Лейд положил промокашку на место. Он говорил теперь с раздражением:

— Не могу сказать о состоянии здоровья мисс Блейкли ничего определенного, во всяком случае до того, как получу снимок, но могу сказать вам, что к концу октября она еще не будет достаточно здорова, чтобы выйти замуж.

Барт сжал челюсти.

— Но когда она в первый раз к вам пришла, вы сказали, что, пробыв шесть месяцев в санатории, она даже забудет, что когда-то была больна.

Доктор покачал головой.

— Ну, это, несомненно, несколько вольная интерпретация того, что я сказал вашей невесте. И это было сказано, разумеется, на случай, если все будет развиваться успешно.

Барт почувствовал, что земля уходит у него из-под ног, будто он ходит по краю трясины.

— Когда же она сможет снова подняться?

Доктор Мёрчисон Лейд развел руками.

— Я предписал ей три месяца полного покоя в постели, а вероятней всего, это протянется и шесть месяцев. В зависимости от того, что покажет снимок, этот срок может и удлиниться. Больше я вам пока ничего сказать не могу.

Барт в упор смотрел на доктора, на его приглаженные брови дужками, на его красные щеки и сложенные сердечком губы. И в мозгу у Барта кипели мысли, которых он не смог бы выразить словами.

— Шесть месяцев,— выдавил он из себя наконец.— Вы хотите сказать, еще шесть месяцев в санатории?

— Постельный режим может быть наиболее удовлетворительным образом осуществлен в санатории, но он может также должным образом соблюдаться и дома, если родные больного проявят готовность заботиться об этом.

— Но мы думали... вы сказали... Мы рассчитывали на октябрь...

— Боюсь, что вы все-таки не представляете себе, как трудно что-либо предсказать, когда речь идет о туберкулезе.

— Еще шесть месяцев...— все еще не веря себе, повторил Барт.

— А может быть, и больше.

— Но... но...

В нем кипело возмущение, и не столько против доктора, сколько против самой жизни.

— А ей и в самом деле больше ничем, кроме покоя и пневмоторакса, помочь нельзя?

— Ничем. И от пневмоторакса мы пока тоже воздержимся. Жидкость, которая, вы простите мою прямоту, уже наполовину заполнила ей грудную клетку, действует сейчас как пневмоторакс, и, пока она не вносит инфекции, мы предоставим природе делать свое дело.

— А если она будет вносить инфекцию?

— Тогда возникнет необходимость операции.

Барт снова почувствовал, что стоит на краю трясины. Он представил себе изуродованную Джэн, ее иссеченное шрамами тело, и у него засосало под ложечкой.

— А что если попробовать новые лекарства?

Доктор коротко усмехнулся.

— Вы, я вижу, читаете газеты. Они, к прискорбию, слишком оптимистичны. И, к сожалению, пока, несмотря на заявления прессы, нет каких-либо определенных лекарств или средств, которые излечили бы туберкулез. Их нет, и, хотя я вполне поддерживаю ваш призыв к активным действиям, я не вижу все-таки, что бы я мог прописать мисс Блейкли, кроме покоя.

Стены комнаты поплыли в глазах у Барта, и он вцепился в край стола.

— Шесть месяцев, вы сказали, в санатории?

— Лучше, конечно, в санатории, хотя это зависит уже от вашего решения.

— Но мы не сможем, мы рассчитали средства только до конца октября.

Доктор поднялся.

— Это весьма прискорбно, хотя, вероятно, сама моя юная пациентка была бы рада вернуться домой. Она так и не смогла по-настоящему освоиться с санаторской жизнью, и у нее есть сестра, которая может за ней ухаживать. Где они живут?

— У них квартира — жалкая дыра на Кингз-кросс.

— Не совсем то, что нужно. Но, может быть, они смогут переехать.

Барт поборол в себе искушение сказать, чего стоит этот совет, когда достать квартиру в Сиднее труднее, чем найти золото. Он стоял, неловко комкая в руках шляпу и стараясь привести в порядок мысли.

— Но, доктор, ведь сестра ее работает. Мы оба работаем, и Джэн будет целый день одна.

Доктор Мёрчисон Лейд сочувственно похлопал его по плечу.

— Поверьте мне, я очень хорошо понимаю ваши затруднения. И я глубоко сожалею, что дело приняло такой оборот. Мисс Блейкли — одна из моих любимых пациенток.

— Вы, конечно, и дома будете навещать ее.

Доктор грустно покачал головой.

— К сожалению, это невозможно.

— Но ведь она ваша пациентка.

— Дорогой мой, мистер... э-э-э... мистер Темплтон, у меня много пациентов и в Сиднее и в провинции, которых я изредка навещаю. А лечат их местные врачи, которые при этом консультируются со мной. Время от времени я принимаю их у себя и, таким образом, могу следить за ходом болезни и давать им соответственно советы.

— Вы хотите сказать, что ей придется искать другого врача?

— Вовсе нет. Просто прибавится еще местный врач. Зайдите ко мне после следующего просвечивания, и если оно покажет, что пневмоторакс сможет снова принести ей пользу, то я в нарушение всех своих правил сам его сделаю. И я смогу как-нибудь по пути заскочить к ним на Кросс. В этом случае я бы для вас назначил более низкую цену — скажем, за две гинеи вместо трех.

Барт хотел пробормотать какие-нибудь слова благодарности, но слова просто не шли у него из горла. Доктор стоял, сложив руки за спиной.

— И, возможно, все-таки при данных обстоятельствах лучше всего было бы попросить места в бесплатном государственном санатории. Да, полагаю, это было бы самое лучшее.

Барт хотел было ответить, что, насколько он слышал, там нужно три месяца ждать места, но он не успел еще открыть рот, как доктор Мёрчисон Лейд заговорил сам:

— В любом случае, прежде чем что-либо предпринимать, вы должны поговорить с хозяйкой — скажем, завтра, когда будете в санатории, и подумать, что еще можно сделать. Да, в настоящий момент это будет самое лучшее. Поговорите-ка с хозяйкой.

Он открыл дверь и стоял на пороге, улыбаясь с профессиональной вежливостью.

— Очень важно, чтобы мисс Блейкли отдыхала не только физически, но и нравственно — абсолютно никаких огорчений. Вы меня понимаете? Никаких огорчений.

Дверь закрылась за ним. Совершенно ошеломленный, еще не в силах оправиться от потрясения, Барт стоял в приемной. Секретарь с нескрываемым нетерпением взглянул на него, и Барт, положив на стол фунтовую бумажку и шиллинг, вышел вон.

Надо спешить, чтоб не опоздать на поезд. Он взглянул на часы и удивленно замедлил шаг. Времени оставалось еще много. Ему просто не верилось, что с тех пор, как он вошел в кабинет, прошло всего десять минут.

II

Поезд громыхал через последнее горное ущелье около Уэнтурт Фолз. Когда он снова вышел из ущелья на открытый участок насыпи, внизу показался проем долины, невыразимо синей в лучах утреннего солнца. Со снеговых

Альп дул холодный и пронзительный юго-западный ветер, за Пайн Риджем, на фоне бледного, усеянного клочьями облаков неба, дрожали очертания сосен и эвкалиптов.

На платформе Барта сразу прохватило холодным ветром. Он выругал себя за то, что ушел из казармы без шинели, и пробежал бегом почти всю дорогу до санатория. Если сейчас разогреться, потом хоть некоторое время будет тепло: в такой день в комнате у Джэн холодно, как в погребке. Подходя к воротам санатория, он замедлил шаг.

Хозяйка встретила его довольно кисло.

— Так и быть, повидайтесь с ней, раз уж вы проделали такой путь,— проворчала она,— но лучше, если бы вы сначала позвонили. Ей сейчас нельзя принимать посетителей, и, смотрите, ничем ее не расстраивайте. Она очень больна, и я не могу допустить, чтобы ее расстраивали.

— Право же, я не собираюсь никого расстраивать, у меня и в мыслях не было...

— Может, вы и не собираетесь, но вы, молодые люди, не всегда достаточно внимательны. Она полночи проплакала в прошлое воскресенье после вашего ухода. Вы что, поссорились?

— Да нет, конечно, нет. Мы никогда с ней не ссоримся.

— Ну тогда вы не похожи на других молодых людей, единственное, что могу сказать. Я сейчас зайду и посмотрю сначала, не спит ли она, и если она не спит, то вы сможете зайти, только не разговаривайте слишком много и не давайте ей говорить.

Барт неуклюже прошел за ней на цыпочках через зал, и грохот его солдатских ботинок раздавался в тишине корпуса так, словно маршировал целый полк. В санатории был час отдыха, и Пайн Ридж напоминал город, в котором внезапно остановилась жизнь.

Хозяйка приоткрыла дверь в комнату Джэн и тихо вошла в нее. Барт на цыпочках отошел к перилам веранды. Неистовые порывы юго-западного ветра несмолкающим рокотом бушевали в кронах деревьев; ветви эвкалипта дрожали, струясь листвою, как речной поток; молодая листва вязов взметалась фонтаном, переливаясь всеми цветами радуги; словно невидимый прибой стонал в ветвях сосен. А вдали, на горизонте, будто мираж, маячила горбатая тень сиднейского моста.

Хозяйка вышла из комнаты Джэн и прошла через веранду. Ее маленькие круглые глазки непрерывно моргали под нависшими бровями. Она уставилась на него сквозь очки.

— Она еще не совсем готова, сестра ее подготовит. Это, конечно, очень для нас неудобно, когда приезжают в такое время. Ну ладно, раз уж вам все равно придется ждать, я хочу поговорить с вами.

Она даже не старалась говорить тише, и несколько больных, лежавших в своих шезлонгах в конце веранды, с любопытством подняли головы.

— Мисс Блейкли требуются сейчас особый уход и внимание. Так что вам придется взять ночную сиделку. Нам и так тяжело приходится с больной в дневное время. Это ведь все-таки санаторий, а не больница. Мы здесь не можем ухаживать за больными, мы принимаем их сюда на том условии, что они сами могут о себе позаботиться.

Барт вспыхнул:

— За что же мы тогда шесть гиней в неделю платим?

Хозяйка удивленно покосилась на него.

— Вы платите шесть гиней в неделю за то, что вас вообще берут в санаторий, в любой, и это, конечно, не подразумевает ночного ухода. И если мисс Блейкли намерена оставаться здесь, то ей, без сомнения, понадобится ночная сиделка.

— Так почему же вы не наймете ей ночную сиделку? У вас с ней пока хлопот было немного.

— Молодой человек, вы, я вижу, за словом в карман не лезете, но, полагаю, вы знаете, что сиделке нужно платить.

— Платить? Ведь мы уже и так платим предостаточно.

— За специальную сиделку вы ничего не платите. Беда с вами, людьми, побывавшими в армии,— вы, кажется, вообразили, что все должны получать бесплатно.

— Я ничего не собираюсь получать бесплатно. Мы платим за все, и платим в срок!

— Так вот, если мисс Блейкли собирается здесь оставаться, то надо платить еще за специальную сиделку.

— Хорошо, мы заплатим за специальную сиделку. Сколько это будет стоить?

— Мне придется выписывать ее из Леуры, значит, оплачивать ее проезд, ну и с другими расходами это составит девять фунтов в неделю.

Барт замолчал и смотрел на хозяйку не в силах выговорить ни слова.

Хозяйка взглянула на него с мрачным удовлетворением. Да, это поубавило у него спеси, у молодого нахала!

Она победоносно улыбнулась.

— Ну так что, будем брать сиделку?

У Барта так и чесались руки; на мгновение он ощутил желание схватить ее за жилистую шею и душисть, душисть, пока из нее дух вон не выйдет, так, как учили их в джунглях. Перед глазами у него поплыл красный туман, и в этом тумане колыхалось лицо хозяйки, словно какая-то пожелтевшая ягода на длинной ножке. Он снова с трудом остановил на ней взгляд. Подавив в себе гнев, он попытался заговорить примирительно.

— Ну, конечно, хозяйка...— голос прозвучал, как чужой.— Мы, наверно, сможем найти еще кого-нибудь. Ну, не квалифицированную сиделку, а просто кого-нибудь, кто бы за ней присматривал.

— Если уж мы нанимаем сиделку, то это должна быть только квалифицированная сиделка. Я должна думать о репутации своего санатория, а если мы найдем квалифицированную сиделку, это будет стоить примерно девять фунтов в неделю дополнительно.

Последнее слово она произнесла с особым ударением.

— Но это нам не по силам, вы ж отлично знаете, что это нам не по силам.

Хозяйка, видимо, хотела пожать плечами, но в ожесточении просто дернула плечом.

— В таком случае вам придется забрать ее отсюда.

Барт растерянно смотрел на нее.

— Но доктор Мёрчисон Лейд сказал, что она по крайней мере должна еще три месяца оставаться в постели.

— Не в моем санатории. И не в том состоянии, в каком она сейчас находится. И доктор Мёрчисон Лейд отлично знал, как обстоит дело, когда уезжал отсюда вчера. Я ему об этом заявила совершенно ясно.

Барт едва не выругался, когда вспомнил, как уклончиво доктор советовал ему переговорить обо всем с хозяйкой. Ох, и свинья же этот доктор!

— Ну,— прервала его размышления хозяйка,— когда же вы ее заберете?

— Заберу? В таком состоянии, как сейчас? Вы хотите сказать, что вы сможете выгнать девочку в таком состоянии, как сейчас, когда ей и деться некуда?

Хозяйка снова пожала плечами.

— Это не мое дело, куда она денется.

— Но это ж бесчеловечно.

— Таковы правила. Я беру сюда больных на определенных условиях. Если состояние их здоровья настолько ухудшается, что они не могут за собой смотреть, они или

берут специальную сиделку, или уезжают. Если вы за специальную сиделку платить не можете, то я закажу карету скорой помощи, и вам придется забрать мисс Блейкли домой. И вам лучше связаться сейчас с ее сестрой и предупредить ее, чтоб она знала, когда встречать больную.

Барт подумал о единственной пятифунтовой бумажке, что оставалась у него до следующей полочки.

— А надолго ей понадобится сиделка?

— Неизвестно. Пока она будет в таком состоянии.

— Что, если я оплачу пока за неделю, чтобы мы могли обдумать, что еще можно предпринять.

— Хорошо, но деньги лучше сейчас оставьте. Мне приходится сразу платить сиделке за ее работу, и я не хочу влезать в долги.

— Я вам оставляю пять фунтов. А остальные сестра мисс Блейкли привезет в субботу. Я ж не мог ожидать, когда сюда собирался, что у меня тут с ножом у горла будут требовать эти паршивые деньги. Я думал, здесь больница, а не притон рабителей.

Глаза хозяйки угрожающе сверкнули под очками.

— Подобные разговоры к добру не приведут, и ни вам, ни мисс Блейкли пользы от них не будет. Еще раз напоминаю вам, что здесь не госпиталь.

— Еще бы, оно и видно! Я бывал в военных госпиталях, и если бы вы там попробовали так за больными ухаживать, вас бы под трибунал отдали, и вы, черт подери, этого вполне заслуживаете.

— Вы при мне не чертыхайтесь, пожалуйста! Я у себя этого не потерплю. Вы не в армии. Прошу вас не забывать об этом.

— Ха, санаторий! — У Барта гневно раздувались ноздри. — Одно название, что санаторий! Да вы элементарных правил гигиены не знаете, что ж касается ухода...

— Хватит! Я и так уж нарушила свои правила и разрешила подержать здесь немного мисс Блейкли, пока вы все не устроите. И да будет вам известно, я это только потому и сделала, что у вас ни у кого и денег-то нет, знаю я вас. В прошлый раз, когда случилось подобное, я просто заказала карету скорой помощи и отослала больную в частную больницу в Сидней, а когда она была уже в пути, я известила об этом ее родных. Если бы я была поумней, мне и сейчас надо было так же поступить, вместо того чтоб стоять здесь и позволять, чтоб меня всякий нахальный молокосос, вроде вас, оскорблял.

— Я-то думал, ваши больные преувеличивают, когда говорят, что вы просто паршивая старая жадина, но они, оказывается, правы.

— Еще одно такое оскорбление, и я на вас в суд подам! И скажите спасибо, если мне на вас и так за долги не придется подавать. Не забывайте, что вы еще за этот месяц не платили.

— За этот месяц мы заплатим, как только придет счет, так же как платили и за все другие месяцы. Одному богу известно, как это вы такую сумму нагоняете.

— В счетах мисс Блейкли нет никаких незаконных поборов: шесть гиней это только за постель и питание. И я хочу, чтоб вы раз и навсегда поняли, что если вам здесь не нравится, можете забирать больную куда угодно. И если бы сама мисс Блейкли вела себя разумно, она бы так не болела. Зачем это ей понадобилось в прошлое воскресенье снова выпрашивать у сестры Воон разрешения идти на скамейку у дороги, после того как она в постели несколько дней провела? После этого я вообще умываю руки.

Барт смотрел на нее, ничего не видя и не понимая.

— А теперь давайте внесем ясность,— хозяйка продолжала говорить, украдкой взглянув, отчего же он вдруг замолчал.— Если вы оплатите услуги сиделки, я разрешу мисс Блейкли побыть здесь эту неделю, но ни минуты больше. Если же вы не оплатите, я вызову скорую помощь из Катумбы и отправлю мисс Блейкли в Сидней завтра же утром. А сейчас я не могу больше терять с вами время. Вы можете войти к ней, но не говорите слишком много, а ей вообще не позволяйте говорить. Она очень больна.

Хозяйка пошла прочь, потом обернулась.

— И запомните: не огорчайте ее. Когда освободитесь, можете зайти ко мне в кабинет и внести, сколько сможете, в счет платы сиделке за неделю. А я закажу машину, чтоб она пришла к вам ровно через неделю — день в день.

— У вас совести нет. Куда же я заберу ее?

— Это меня совершенно не касается. Как только она отсюда уезжает, за нее отвечаете уже вы. Вы, кажется, вообразили, что у меня тут благотворительное заведение. Так вы ошибаетесь.

Барт засмеялся, и этот резкий смех заставил обернуться всех больных на веранде, которые до этого старательно отворачивали головы.

— О нет, уж чем здесь не пахнет, так это благотворительностью!

Хозяйка, не оборачиваясь, быстро пошла прочь, выпрямив свою тощую фигуру — будто аршин проглотила. Барт стоял, крепко вцепившись в перила веранды и прислушиваясь к чему-то, сам не зная к чему: то ли к шуму в ветвях деревьев, то ли к шуму крови, стучавшей ему в виски.

III

Барт вошел в комнату. В первое мгновение он видел только глаза Джэн, широко раскрытые глаза, устремленные вдаль, лишённые всякого выражения. Казалось, она видела перед собой незнакомого человека. Его поразила перемена, происшедшая в ней с прошлого воскресенья. Лицо у нее сжалось, глаза горели лихорадочным блеском. Она смотрела, как он неловко ступает, направляясь к ее кровати, и в глазах ее не зажглось даже искорки чувства. И когда он пододвинул стул и сел рядом с ней, ее потускневший взгляд был все еще прикован к его лицу. Барт взял ее пылающую ручку в свои холодные ладони. Он услышал ее хриплое и частое дыхание, увидел, как напрягаются жилки у нее на шее. Губы у нее пересохли и потрескались, а когда кашель сотрясал ее тело, лицо у нее кривилось от боли, и она отворачивалась к стене.

Мучимый сознанием своей вины, он видел в ее невольном болезненном жесте отказ от всего, что было между ними, как будто нечто более глубокое, чем простая ее осведомленность, выдало его с головой. И в этот момент он почувствовал свое одиночество. Он знал, что без Джэн для него нет покоя, нет мира, нет удовлетворения.

Сердце его обожгло болью, слезы, переполнив глаза, упали ей на руку. Он почувствовал, как эта рука пошевелилась в его ладонях, потом ощутил ее руку на своей щеке, на ресницах. Он нагнул голову, стыдясь встретить ее взгляд, и услышал ее шепот:

— О нет, Барт, нет!

— Джэн, милая!..

Он поднес ее руку к своим губам и увидел, как теплеет ее взгляд, почувствовал, как обмякла в его руках ее рука, как ослабло напряжение в ее теле. Он не мог произнести ни слова и только держал ее руку, как будто это могло удержать ее в жизни.

Время шло незаметно, потом он с трудом заставил себя подняться с места и сунул руку в карман.

— Я принес тебе подарок, Джэн.

Когда он вытащил маленький бархатный футляр, глаза ее потемнели от какого-то невысказанного, необычного волнения. Он открыл футляр, и бриллиантик в оправе засверкал. Она смотрела на него, приоткрыв губы, но глаза ее ничего не выражали, словно это не имело сейчас для нее никакого значения.

Барт с трудом проглотил комок в горле.

— Нравится?

Джэн не ответила. Он вынул кольцо из футлярчика и надел ей на третий палец левой руки. Оно было велико и болталось на худом пальчике, хотя косточка и мешала ему спадать совсем. Джэн медленно подняла руку, как будто кольцо сделало ее слишком тяжелой и у нее не хватало сил поднять ее. Постепенно безразличие и пустота сменились в ее глазах удивлением, радостью.

— Нравится? — настойчиво повторил Барт.

Она медленно перевела на него взгляд, и ее высохшие губы тронуло какое-то бледное подобие улыбки.

— Красивое, — слабо выдохнула Джэн. — Только тебе не нужно было... Столько денег...

— Да теперь, похоже, единственный способ, чтоб мне разрешили здесь околачиваться, так это зарекомендовать себя твоим официальным ухажером.

Барт старался говорить веселым тоном, но ее улыбка мучительно пронзила его сердце, и комок снова подступил у него к горлу.

— Так тебе, правда, нравится?

Она едва заметно кивнула головой.

— А то, если не нравится, я его обменяю.

— Нет, — глаза ее протестующе вспыхнули, и она поднесла руку к губам, словно оберегая кольцо. Потом взгляд ее снова потух. — Но... но... столько денег...

— Ах, это! — он громко рассмеялся. — Мне наследство привалило.

Ее маленькая ручка покрыла его руку, лежащую на постели; она недоверчиво смотрела на него.

— Где ты достал деньги?

Заметив, как посерьезнело ее лицо, он тоже сразу стал серьезным и понял, что должен сказать ей правду.

— Откровенно говоря, я заложил свой фотоаппарат.

Она удивленно взглянула на него.

— Неужели тот симпатичный аппаратик?

— Тот самый!

— О Барт!

Слезы катились у нее по щекам.

— Ради бога, милая, не плачь,— уговаривал Барт.— Если ты будешь плакать, они меня отсюда выгонят. Скажут, что я тебя расстраиваю.

Он нежно вытер ей слезы. Потом лицо ее скривилось от приступа душевной боли.

— Боюсь, я уже больше не пахну, как роза,— прошептала она стыдливо,— меня несколько дней не умывали.

Он отвел со лба ее свалевшиеся, взмокшие от пота волосы, и сердце его переполнилось гневом против жестокости тех, кто оставил ее лежать вот так и даже не помог ей умыться. Как бы ему хотелось свернуть шею этой хозяйке. Слова хозяйки пришли ему на память и потрясли его с прежней силой. Он вдруг ослабел от страха. Как ни больна сейчас Джэн, он должен узнать, видела ли она его в то воскресенье, и если видела, то... самые фантастические предлоги, причины, отговорки приходили ему на ум. Он должен разуверить ее во всем.

— Джэн,— проговорил он тихо и настойчиво: миссис Карлтон, старательно делавшая вид, что спит, не должна была слышать этого,— Джэн, хозяйка говорит, что ты простудилась, когда встречала меня у скамьи возле дороги в то воскресенье. Это правда?

Джэн подняла на него взгляд, и он ничего не мог прочесть в этом взгляде, кроме любви.

— Нет, я не ходила. Я ждала тебя в саду — там, где ты нашел меня.

Эти слова окончательно истощили ее силы. Она улыбнулась ему, подкрепляя своим правдивым, доверчивым взглядом эту ложь. Он с облегчением перевел дух.

Глаза ее медленно закрылись. Даже во сне она прижимала руку с кольцом к щеке. Другая ее рука оставалась в его ладонях. Он чувствовал, как сквозь окружавшую ее завесу боли и наркотиков на него изливается ее любовь. И в шаткости, тщете и неустойчивости живого мира единственной реальностью для него была сейчас Джэн.

ГЛАВА 30

1

Барт испытывал неловкость, сидя в вестибюле перед туберкулезным отделом департамента здравоохранения. В старомодном здании с мрачными серыми коридорами и грязными лестницами не было ничего, что могло бы вселить надежду в посетителя. Барт тупым взглядом уставился на плакаты, развешанные по стенам, но различал он только

отдельные буквы, которые, словно языки пламени, плясали у него в глазах.

Что ему было до того, что от туберкулеза погибло больше народу, чем за две войны? Эти люди ничего не значили для него. Мысль о том, что другие страдали так же, как Джэн, только раздражала его. Эти тысячи, которые умирали ежегодно, значили для него не больше, чем значили имена и цифры из похоронных списков в прошлую войну. И только когда среди этих имен одно вдруг привлекало внимание — имя твоего друга, — только тогда эти имена становились реальностью. Он в нетерпении отвернулся от плакатов. Они только страх на него нагоняли: ведь раз у них столько больных, они, вероятно, ничего не смогут сделать для Джэн.

Когда же наконец Барта пригласили в кабинет и он, войдя за врачом, присел у стола, нетерпение его достигло предела. Не ожидая вопросов, он выложил всю историю. Он рассказал ее коротко и резко. Врач слушал, пытливо глядя ему в глаза и время от времени перебивая его вопросами.

Воспоминание о цифрах на плакатах подхлестывало Барта — он должен убедить врача, что Джэн не такая, как все, что для Джэн это важнее, чем для других. И врач слушал так, будто он уже успел проникнуться сознанием чрезвычайности этого случая.

Он записывал некоторые подробности истории болезни Джэн.

«Не истории болезни Джэн, — хотелось закричать Барту, — не просто истории болезни, а истории жизни, жизни Джэн, моей жизни!»

Когда все сведения были записаны, врач сложил руки перед собой.

— Положение у вас, конечно, тяжелое, — заговорил он сочувственно. — Но самое большее, что я могу сделать сейчас для вашей невесты, это включить ее в списки больных, ожидающих места в санаториях Рэндуик, Уотерфол или Спрингвэйл.

— А как скоро она сможет попасть туда? Я мог бы постараться достать денег, чтоб оплачивать сиделку еще некоторое время, что ж, я не против. А сестре Джэн, может, удалось бы убедить хозяйку, чтоб она подержала ее еще пару недель.

Врач медленно покачал головой, и жалостливая улыбка осветила его морщинистое лицо.

— Не думаю, чтоб из этого что-нибудь вышло, во всяком случае, насколько мне приходилось слышать, так не

бывает. Скорую помощь она, вероятно, уже заказала. Нет, на это надежды нет. И ведь может месяц пройти, а может, и три месяца, прежде чем для мисс Блейкли освободится место в санатории.

— Боже правый, как же так, ведь она не может ждать три месяца, даже месяц не может ждать!

— Как это ни грустно, ей все же придется ждать.

— Но она больна, доктор, страшно больна.

— Да ведь и другие пациенты, ждущие места, они тоже больны. И я хотел бы, чтоб вы поняли сейчас, что и у других ожидающих очереди столь же плачевные условия.

— Я верю, но ведь речь идет всего об одном месте.

— А освобождается в лучшем случае два места в неделю. Грубо говоря, это зависит от того, сколько там умирает людей.

— Но я не понимаю,— запинаясь, проговорил Барт,— наверняка в государственном санатории...

— В государственных санаториях не хватает мест. В неделю освобождается два места для пациентов-женщин. Ваша невеста сейчас четырнадцатая по списку, и все тринадцать женщин до нее ждут, пока кто-нибудь умрет и освободится место для них.

От ужаса у Барта сжалось сердце. Он облизнул пересохшие губы, титетно пытаюсь подыскать слова, чтобы объяснить врачу, почему его Джэн все-таки должно быть оказано предпочтение перед остальными тринадцатью.

— А если бы мы могли предложить плату? Ну, не столько, сколько мы платим в Пайн Ридже или сколько они там за сиделку просят, но какую-нибудь умеренную плату?

— Деньги здесь не играют роли. Как только вы попадаете в один из этих санаториев, вы освобождаетесь от расходов, но, пока нет свободных мест, вы туда не можете попасть.

— Это ужасно. Страшней я ничего в жизни не слышал.

— Согласен с вами. Но вы думаете сейчас только о положении своей невесты и о своем положении. Мне же приходится думать и о других. Каждый имеет право на жизнь, и перед вашей невестой в списке ждут очереди еще тринадцать женщин, и некоторые из них находятся в еще более плачевном положении, чем ваша невеста.

— Это просто позор!

— Как это ни назови, нам не станет легче достать койку в санатории. И, вероятно, вы сможете лучше представить себе положение, если я расскажу вам, что двенадцатой в списке больных стоит многодетная женщина, которая

ютится с детьми в одной комнатухе в Алтимо и спит на одной постели с дочкой.

Дрожащей рукой Барт вытащил сигарету.

— Разрешите мне закурить?

— Пожалуйста.

Врач тоже взял сигарету из протянутой пачки. Они молча курили. Врач записывал что-то в лежавшей перед ним карточке. Послышался стук в дверь, и он поднял голову.

— В чем дело, сестра?

— Можно вас на минутку?

Врач поднялся и подошел к двери. Барт курил, задумчиво глядя ему вслед. До него долетал их приглушенный разговор. Он знал, что не следует слушать, и все же, не в силах преодолеть навязчивого как кошмар чувства страха, он прислушивался к их разговору.

— Доктор,— сестра говорила с такой же отчаянной настойчивостью, с какой только что говорил он сам.— Доктор, нет ли сейчас места в Рэндуике? Миссис Смит просто умирает. Это настоящая трагедия. У нее горло, и воспаление кишок тоже, а теперь муж ее на работу ушел, и она осталась одна с тринадцатилетней дочкой, которую пришлось из школы взять, чтоб она за матерью ухаживала. А ведь муж с работы возвращается не раньше шести часов вечера.

— Какую-нибудь помощь ей оказывают?

— Брауновское общество сестер милосердия присылает ей сестру раз в день, но нельзя же ее на весь день оставлять одну, только с девочкой.

Доктор вздохнул с долготерпением человека, которому ежедневно приходится иметь дело с подобными трагедиями.

— На сегодняшний день, сестра, там нет свободных коек, и я не знаю, когда они будут. Я только что звонил туда, и пока что там...

Сестра раздраженно прищелкнула языком.

— Это все бесполезно, сестра. Я не могу сотворить чуда. Чтобы освободилось место для миссис Смит, кто-то должен там умереть, и все тут.

Он вернулся и сел за стол. Между бровями у него залегли глубокие складки.

— Так вот, что касается мисс Блейкли, я могу посоветовать только следующее. В конце будущей недели вы привезете ее домой. Не следует заблуждаться на этот счет, они не будут держать ее в Пайн Ридже еще неделю. И вам нужно будет устроить все как можно лучше, пока не освободится место в санатории. Вы говорите: у нее есть сестра?

— Да. Но она работает.

— Если у нее будет возможность приготовить больной завтрак и оставить что-нибудь на второй завтрак, я смогу договориться, чтобы брауновские сестры заходили к ней ежедневно.

— Сколько это будет стоить?

— Ничего. К тем, кто может платить, они не ходят. Это одно из их правил.

Барту казалось, что в этом кроется какой-то подвох, и он недоверчиво взглянул на врача.

— А что они будут делать? Измерять температуру, щупать пульс или еще какую-нибудь ерунду делать, которую выдают за уход?

— Нет. Они очень деловые женщины. Они придут, помогут больную, уберут в квартире — короче, они никакой работой не гнушаются. Вы сообщите мне, когда приезжает мисс Блейкли, и я все улажу.

Барт поднялся. Он хотел было благодарить врача, но стал запинаться и не мог подобрать нужных слов. Доктор отмахнулся от благодарности, и его морщинистое лицо осветилось улыбкой.

— Нет, нет, меня благодарить не за что. Наши услуги оплачены, мы ведь на жалованье. Вот кто действительно заслуживает благодарности, так это брауновские сестры. И не впадайте в панику. Старайтесь только сделать все это как можно лучше, да вы, кажется, и делаете все, что можно, а как только освободится место, я вам дам знать.



Был ясный весенний день, когда скорая помощь привезла Джэн домой. Когда они вынесли ее из машины и она увидела кусочек неба над головой в узком просвете между домами, ей показалось, что такого неба, как здесь, нет больше нигде в мире, и свет лучей, отраженных белой стеной дома, был тот самый свет, который столько раз снился ей во сне и который она уже не надеялась больше увидеть. Прихотливо разросшиеся герани, ярко пылающие в оконных ящиках, неопрятный запущенный фасад дома, ряды грязноватых домов, террасами поднимающиеся над улицей, женщины, наблюдающие за скорой помощью, лениво перегнувшись через перила, дети, возбужденно бегущие к ним по дороге, боясь пропустить что-нибудь интересное, — все это была жизнь. И когда Дорин открыла двери их квартир-ки, сердце ее переполнило мучительное чувство — она возвращалась домой.

Джэн с удовлетворением вдохнула тяжелый, спертый воздух их квартир-ки — все, как обычно. Все здесь было знакомым, даже запах. Санитары положили ее на постель и, пожелав удачи, уехали.

Наступил миг, о котором она так часто мечтала, — миг, к которому она стремилась в отчаянной и непрерывной тоске, как узник, который ищет выхода из своей камеры. Она была дома, она была свободна, и сегодня гиацинт, подаренный Бартом, выпустил наружу зеленые стрелки, среди которых уже угадывались очертания бутона.

Да, все в их комнате было знакомым и родным — диваны с яркими покрывалами и подушечками, картинка на стенах, ваза с цветами на столе. На ее постели было новое ситцевое покрывало, нежно-розовое, с васильками. Джэн провела рукой по его блестящей поверхности и сияющими глазами взглянула на Дорин.

— О Дор, какое чудесное покрывало! Ну право, зачем ты...

Дорин смотрела на нее с улыбкой.

— Я знала, что оно тебе понравится. Это я купила два куска из остатков материи, попорченной огнем, и подпален-

ные места пустила на оборочки. Это почти незаметно, правда?

— Совсем. Здорово ты придумала.

Джэн любовно переводила неторопливый взгляд с одного так хорошо знакомого предмета на другой.

— А теперь я приготовлю нам с тобою по чашечке чаю, — сказала Дорин.

Джэн счастливо вздохнула.

Как чудесно будет снова попробовать настоящего чаю!

Дорин отправилась в кухню, и Джэн услышала знакомые звуки — хлопнул газ, забренчали чашки. Потом Дорин вернулась, держа в руке чайник для заварки с носиком, отбитым до середины.

— А ну, чашечку чаю из коричневого чайника, как?

— Великолепно. Может, потому, что у чайника в Пайн Ридже носик был целый, там никогда не было такого вкусного чая.

— Да уж наверное.

Дорин принесла ей дымящийся чай в ее собственной чашке на подносе, который они когда-то купили вместе в лавке случайных вещей на Бурк-стрит.

— О Дор, это такое блаженство снова быть дома! — воскликнула Джэн, и на глазах у нее показались слезы.

Барт пришел к чаю, и в маленькой квартирке стало весело и шумно. Джэн никогда еще за эти месяцы столько не ела, сколько сейчас, и она шумно восхищалась вкусной стряпней Дорин.

— Просто объедение, — повторяла она. — В Пайн Ридже всегда чувствуешь, что это все варено-переварено... А у тебя...

Дорин и Барт опасались, что путешествие в машине окажется тяжелым для Джэн, но оно, казалось, только оживило ее.

Дорин расчесала спутанные волосы сестры.

— Я никак не могла их распутать, — жаловалась Джэн. — Когда мне было плохо, они у меня все спутались, и ни у кого времени не было, чтоб меня причесать.

Волосы у нее стали прямые и тяжелые от пропитавшего их горячего пота, и теперь Дорин заплела их в две смешные короткие косички с голубыми бантиками, которые торчком стояли у зардевшихся щек Джэн.

— Ты все хорошеешь, — сказал Барт. Тяжелое чувство, угнетавшее его с того самого момента, как он узнал, что они должны забрать Джэн из санатория, рассеивалось. В конце концов все складывается не так уж плохо. К тому

же пройдет, вероятно, всего несколько недель — и они устроят ее в Рэндуик, Уотерфол или в Спрингвейл.

Джэн переводила взгляд с Барта на Дорин, с Дорин на Барта.

— Я даже рассказать вам не могу, какое это блаженство снова быть дома. Я знала, что сразу начну себя лучше чувствовать, как только меня домой привезут.

Барт нежно потянул ее за косичку. Она поправится. Уж он позаботится об этом.

Дорин смотрела на них обоих. Когда она видела, как сияет Джэн, у нее на душе становилось легче, но мысль о том, что пройдут еще долгие месяцы, прежде чем освободится место в санатории, все же угнетала ее. И дел у нее теперь будет немало. Нужно будет вставать на час раньше, чтобы приготовить завтрак для Джэн и оставить ей что-нибудь на второй завтрак. Потом придет брауновская сестра, чтобы умыть Джэн и убрать в квартире.

«Интересно, какие они, эти брауновские сестры», — подумала Дорин. Она боялась, что Джэн расстроится. Дорин хотелось бы самой быть дома в первый раз, когда придет сестра, но это невозможно. Она теперь не может упускать ни гроша из того, что можно заработать. Санитар со скорой помощью вручил ей счет на семь гиней. Это был для нее настоящий удар: ей казалось, что уж доставка-то больного, разумеется, будет бесплатной. Ладно, она постарается сама оплатить этот счет. У Барта и так забот хватает. В свое время она возмущалась, что он безрассудно истратил деньги на кольцо для Джэн в пору такого безденежья, но сейчас, глядя, как Джэн все время прикасается пальцами к этому кольцу, как она глядит на него, когда думает, что на нее никто не смотрит, Дорин приходила к мысли, что Барт, вероятно, был прав. Обручение по всей форме дает Джэн столь необходимое ей чувство надежности, спокойствия.

II

На следующее утро к тому времени, как Дорин, наконец, собралась уходить на работу, ей казалось, будто она уже проработала целый трудовой день. Конечно, это замечательно, что Джэн дома, особенно если сама Джэн в таком диком восторге, все это так, но в жизни этой у них будут не одни удовольствия.

Дорин мысленно проверила, ничего ли она не забыла: обед готов, мыло, полотенце и таз для сестры милосердия оставлены, ключи в дворницкой.

Дорин ушла, и Джэн лежала, глядя на закрытую дверь. Она устала и спала неважно, но до чего все-таки замечательно дома. Она вспомнила, как часто из гор она смотрела на дымовую завесу над Сиднеем и тосковала по дому. Как жаль, что у нее нет сил и она не может встать и принять ванну. Тело было липким от пота, и ночная рубашка насквозь пропиталась им. Дорин оставила ей мочалку и немного теплой воды, чтобы она могла хотя бы промыть глаза, но тело ее тосковало по горячему прикосновению губки. Она попробовала вкусный завтрак, оставленный ей Дорин, но аппетита не было. И все-таки надо есть. Только если она будет есть все, что дают, и выполнять все правила, только тогда она поправится.

Она подняла левую руку, и камешек на ее обручальном кольце сверкнул в лучах электрической лампочки. Вслед за мыслью об их обручении ей в голову тут же пришла и другая мысль: кто была та девушка в машине, которая его поцеловала? И почему Барт так хотел узнать, приходила ли Джэн на скамью в то утро? Снова и снова Джэн повторяла себе, что она не должна его обвинять ни в чем. Какие бы случайные знакомства ни завязались у него в пору, когда он был одинок, он всегда принадлежал ей. Кольцо подтверждало это. Все, что он делал, подтверждало это.

И все же она не могла прогнать из памяти эту сцену: девушка в машине, ее губы прижимаются к его губам, ее рука треплет его волосы. Она никогда не сможет спросить его, кто была эта девушка. И она никогда не узнает, что было между ним и темноволосой девушкой. И она без конца думает об этом. Только теперь ей стал ясен смысл слов Линды: «Когда у тебя чахотка. прощай, любовь». И все же, утешала она себя: «Барт любит меня, он любит меня одну».

Она задремала, и от этой смятенной и беспокойной дремоты ее пробудил тихий голос, спрашивавший:

— Можно к вам?

У постели стояла высокая женщина, казавшаяся еще выше в своем длинном коричневом плаще и высоком сестринском чепце с тесемками, завязанными под подбородком.

— Я сестра Даггин. А вы маленькая мисс Блейкли, правда? Доктор рассказывал мне о вас.

— О, спасибо, что вы пришли,— выдавила из себя Джэн.

Глаза сестры Даггин просияли улыбкой из-за очков в стальной оправе, придававших какой-то старомодный вид ее округлому мягкому лицу.

— Первое, что я собираюсь сделать,— это помыть вас

хорошенько губкой с теплой водой. Как вам это предложение?

— Чудесно!— Джэн особенно охотно отзывалась на дружелюбный тон сестры еще и потому, что в это утро, пробуждаясь временами от дремоты, она с ужасом думала о предстоящем визите сестры.

— Ну как теперь себя чувствуем?— спросила сестра, закончив обтирание.

Джэн улыбнулась ей, наслаждаясь ощущением свежести и прохладным прикосновением чистой ночной рубахи.

— Я будто заново родилась!

— Вот и хорошо!

Сестра перестелила постель и ловко взбила подушки.

— Вам надо поудобнее голову пристроить на диване. Сегодня я стул в головах поставлю, а потом, может, ваш жених здесь что-нибудь оборудует. Как вы думаете, сможет он?

— Конечно, сможет,— убежденно сказала Джэн.— Он у меня замечательный.

— Я в этом уверена,— улыбнулась сестра Даггин.— А что, если нам теперь выпить по чашечке чаю, прежде чем я начну уборку? Я заядлый водохлеб, так что у меня с собой и щепотка чая есть на случай, если у вас не найдется.

У Джэн комок подступил к горлу. «Ну да, мы нуждаемся в благотворительности, значит, мы так бедны, что у нас и чаю может не оказаться». С горечью, но без возмущения повторяла она про себя эти слова.

Сестра Даггин занялась уборкой квартиры. Она работала тихо и споро. Казалось, она все на свете делает так же тихо и споро.

— Завтра я опять приду,— сказала она, надевая свой длинный коричневый плащ и натягивая перчатки.— А вы будьте умницей, выпейте молочко и съешьте все, что вам сестра оставила, все до крошечки, хорошо?

Джэн пообещала съесть все.

— И спите как можно больше. Сон — замечательный целитель.

Она потрепала Джэн по руке и вышла так же незаметно, как и пришла. В ушах Джэн еще стояло ее прощальное благословение, произнесенное скороговоркой.

Когда Джэн осталась одна, самые разнообразные трудности, которых не существовало, когда с ней была Дорин, и которые теряли остроту в присутствии сестры Даггин, ста-

ли снова осаждать ее. Она долго лежала, глядя на часы и напоминая себе, что уже пора есть. Еда была в кухне на подносе, но мысль о том, что нужно встать с постели и пойти на кухню, мучила ее целый час, прежде чем она заставила себя сделать это. Ноги у нее подгибались, и, чтобы пересечь комнату, ей приходилось хвататься то за стол, то за стулья. Джэн даже не подозревала, что так ослабла. Она перенесла каждый предмет по отдельности на столик возле кровати, не решаясь нести все сразу на подносе. Потом она долго лежала, прежде чем заставила себя есть. Ей не хватало общества миссис Карлтон. Было что-то неестественное в этом завтраке в одиночку. И не верилось, что прошло всего четыре часа с тех пор, как ушла Дорин, и что должно пройти еще по крайней мере пять часов, прежде чем она вернется.

После обеда она все время спала, почувствовав, наконец, глубокую усталость после переезда из санатория, и проснулась она уже затемно от яркого света электрической лампы, когда Дорин открыла дверь.

— Ну, как прошел день?

Ей показалось, что голос Дорин звучит слишком громко и нетерпеливо.

В первое мгновение Джэн не могла припомнить, где она. Потом она пришла в себя и улыбнулась.

— Все было очень мило.

— Весь обед съела?

— Все до крошки.

— А как выглядит брауновская сестра? Страшное чудище?

— Да нет, она чудесная. Милейшее и добрейшее существо, симпатичнее просто трудно себе представить. И она ничем не напоминает тебе о том, что работает бесплатно.

— Вот эта новость для меня приятней всего.

Дорин едва успела закончить мытье посуды после обеда, как раздался стук в дверь. Это была домохозяйка. У Джэн оборвалось сердце. Если ты платишь квартплату вовремя, домохозяйка заглядывает только затем, чтоб сделать какое-нибудь замечание. А что, если хозяйка возражает против ее возвращения домой? В санатории ей пришлось слышать и о таких случаях.

Дорин вышла и затворила за собой дверь. Джэн напрыгала слух, но они, наверно, пошли в контору хозяйки. Джэн сердилась на сестру. Как это глупо со стороны Дорин: всегда все старается скрыть от нее.

Миссис Смит тщательно прикрыла за собой дверь конторы.

— Вы не предупредили меня, что снова привозите сюда сестру,— сразу выпалила она.

— А я не предполагала, что должна обязательно предупредить вас.— Голос у Дорин дрожал, хотя она и старалась сохранять спокойствие.

— Как же это не обязательно, если вы привозите тяжелобольную девушку в мою собственную квартиру?

— Так вот и не обязательно. Вы сдавали квартиру на двоих, и я вносила квартплату за двоих все время, пока сестры моей не было, так что, естественно, я думала, что это — мое дело, привожу я ее сюда или нет.

Домохозяйка остановила на Дорин жесткий взгляд своих круглых глазок. У нее была привычка плотно сжимать рот, так что губы становились едва заметными. Дорин молчала, неловко переминаясь с ноги на ногу.

— Это противозаконно привозить человека с инфекционным заболеванием в дом, где живут здоровые люди, и я не позволю, чтобы у меня в квартире жили туберкулезные.

— Мы платим за квартиру и никого не беспокоим, не понимаю, на что вы можете жаловаться.

— Ну так знайте, вам придется выехать, вот и все.

— Но, миссис Смит, нам же некуда деться!

— Это не мое дело. Мое дело содержать дом и смотреть, чтобы никто из жильцов не мог жаловаться. Если станет известно, что у вашей сестры туберкулез, все мои жильцы начнут разъезжаться.

Хозяйка затронула больную для Дорин тему.

— Хотела бы я спросить у них, куда они станут разъезжаться? Если бы это было так легко, как вы говорите, я бы давно уже уехала отсюда.

Миссис Смит взорвалась.

— В общем, я не хочу, чтобы она здесь жила, и все. Вам понятно?

Дорин покачала головой.

— Мы вынуждены будем оставаться здесь, пока не подыщем еще чего-нибудь.

— Тогда я заявлю на вас в департамент здравоохранения. И подам в суд.

— Отлично. Заявляйте в департамент, заявляйте в суд, делайте что угодно, но знайте, что я с места не тронусь, пока мне некуда будет перевезти сестру.

Миссис Смит встала и погрозила Дорин пальцем.

— Отлично! А пока я запрещаю вам стирать в прачечной вещи вашей сестры, слышите? Завтра с утра я первым делом отправлюсь в департамент здравоохранения, и посмотрим, что они скажут на это.

Дорин вышла из конторы. В вестибюле она встретила Барта и коротко передала ему содержание их разговора, но, увидев, как он рассвирепел, сразу же пожалела, что сказала ему.

— Дай-ка я поговорю с этой старой дрянью.

И он двинулся к конторе прежде, чем она успела остановить его. Дорин схватила и потянула его за руку.

— Не делай глупостей, Барт. Из этого ничего хорошего не выйдет. Единственное, чего мы добьемся, так это того, что она выместит все на Джэн, когда нас дома не будет. Нам нужно примириться с этим, вот и все.

Барт остановился, сжимая и разжимая кулаки, и лицо у него посерело.

— Почему мы должны мириться с этим? Разве Джэн виновата, что она заболела? Разве она виновата, что нам пришлось забрать ее обратно в этот погреб? А эту старую каргу не грызет совесть, что она сдирала с тебя втридорога за такую дыру?

Дорин прислонилась к стене, ее трясло, и она чувствовала дурноту.

— Все это правда, но что нам пользы от этого разговора? Джэн останется здесь одна на весь день, так что мы в руках у этой женщины.

— Ты расскажешь Джэн, что произошло?

— Нет. Это только расстроит ее. Ты лучше подожди здесь, а я зайду первая и сделаю вид, что тебя не видела, а то она догадается, что случилось что-то.

Дорин вернулась в комнату и бодро солгала Джэн. Барт поддержал ее ложь. Джэн смотрела на них с постели недоверчиво и испуганно.

ГЛАВА 32

1

Машина Магды поджидала его у вершины холма. Барт заметил ее слишком поздно, а заметив, остановился в нерешительности и стоял, глядя на Магду, пока она не указала ему на место рядом с собой. Он неохотно сел. Иначе поступить он не мог, во всяком случае здесь, где с полдюжины солдат, вышедших вместе с ним из военного городка на

улицу, теперь высунулись из трамвая, чтобы посмотреть, что же будет дальше.

Магда тронула машину и только спустя некоторое время заговорила.

— Ну, тебе нечего сказать в свое оправдание?

Барт смотрел прямо перед собой, испытывая одновременно и озлобление и чувство вины.

— Я собирался связаться с тобой,— заговорил он, наконец, извиняясь,— но в последнюю неделю или около этого как-то получилось, что я не мог.

— Неделю или около этого! Прошло три недели с тех пор, как мы виделись в последний раз, и ты даже не позвонил ни разу. Ну и подонок же ты!

— Ты прости, Магда, но, знаешь, с тех пор как мы виделись, случилось много всякого.

— Да уж видно! — угрюмо сжав рот, она гнала машину по улицам.

— Ну, ну, не лезь в бутылку,— сказал он, пытаюсь говорить как можно небрежнее.

— Не лезь в бутылку! Хотела бы я видеть женщину, которая бы не лезла в бутылку на моем месте!

— Послушай! — Он повернулся к ней.— После нашей последней встречи Джэн страшно заболела. Понимаешь?

— Да? — Она немного замедлила ход машины.— Это правда?

— К сожалению, правда. Так заболела, что хозяйка выкинула ее из санатория, потому что мы не могли платить еще девять фунтов дополнительно за специальную сиделку.

— Не может быть!

— «Не может быть» — ты говоришь, и тем не менее это факт.

— Куда ты забрал ее?

— Пришлось забрать ее домой на время, пока не освободится место в государственном санатории.

— Домой, это в ту самую сырую конуру на Кроссе, где она жила с сестрой?

— Вот именно.

— Но ведь это ужасно, Барт!

— Что и говорить.

— А скоро место в санатории освободится?

— Не раньше, чем умрут тринадцать человек, стоящих впереди нее.

— О! — Магда подкатила машину к тротуару у разворота возле Сентенниал-парк. Она обернулась на сиденье

и смотрела на него, не снимая руки с баранки и постукивая по ней отполированными ноготками.— Ты хочешь сказать, что ты и в самом деле забрал девочку из санатория только потому, что у тебя денег не было?

— А разве это недостаточно веская причина?

— Так почему ж ты не пришел ко мне, ты же знаешь, что я смогла бы тебе одолжить?

— Я знаю, что я должен благодарить за это предложение, но я этого просто не мог сделать.

— Разрешите все-таки узнать, почему?

Барт неловко поерзал на сиденье, потом вынул сигареты и, зажав машинально две сигареты в губах, прикурил и передал ей одну. Заметив, как дрогнули уголки ее губ, когда она взяла сигарету, он покраснел.

— Но ведь это так понятно.

— По-моему, это просто ерунда.

— Все равно, даже если б мы и смогли платить за специальную сиделку, вряд ли еще хозяйка согласилась бы держать там Джэн. Она сказала, что санаторий — это не больница, и когда пациенты заболевают, так что не могут сами за собой ухаживать, их выписывают. И не только Джэн, но и любого другого, — она к ним ко всем так же относится.

— Правда? И это все в 1947 году нашей эры!

— Так что видишь, в чем дело, — продолжал Барт, — вначале Дорин и я просто с ума сходили, а с тех пор, как Джэн дома, у меня ни минуты свободной.

— А кто за ней ухаживает?

Барт снова неловко поерзал на сиденье.

— Ну, Дорин делает все, что может, а днем заходит сестра милосердия — моет Джэн и убирает комнату, и я захожу, чтоб передышку дать Дорин.

Магда глубоко вздохнула и покачала головой с молчаливым, но нескрываемым презрением к его глупости.

— Все это очень благородно и романтично, но, по-моему, ты все же ведешь себя, как дурачок, если только, конечно, ты действительно заинтересован в выздоровлении этой девочки.

— Верь или не верь, но только мне ничего на свете так не хочется, как этого.

— Да я верю, но только вы что-то, по-моему, все не так делаете. И вот сейчас, если б ты мне позволил дать тебе денег, уверена, мы могли бы устроить ее куда-нибудь. Я ничего не знаю, чего бы нельзя было за деньги устроить, и бьюсь об заклад, если заплатить как следует, мы бы мень-

ше чем за неделю смогли Джэн в больницу устроить и обеспечить ей хороший уход.

— Спасибо тебе и все там такое, но только это невозможно.

— А почему невозможно?

Барт пожал плечами.

— Во-первых, Джэн захочет знать, откуда деньги. И во-вторых, я никогда не смогу их тебе вернуть.

— Что касается второго, то мой муж загребает деньги лопатой, и единственное, что я могу сказать в его пользу, так это то, что он человек щедрый и никакого отчета у меня не спрашивает. Что же до Джэн, то, конечно, вам с Дорин нужно будет сочинить какую-нибудь историю о сердобольной старой благотворительнице.

Барт колебался. Никогда не узнает Магда, как хотелось ему согласиться на ее предложение. Мысль о том, что Джэн можно будет поместить куда-нибудь, где за ней будут по-настоящему ухаживать, о том, что он сам освободится от гложущего беспокойства за нее, омрачающего всю его жизнь,— эта мысль была для него большим искушением. И он знал, что ему никогда не придется возвращать Магде долг, во всяком случае не деньгами. Перспектива, которая открылась перед ним, была такой соблазнительной, такой осязаемо доступной, что отказаться от этого предложения казалось сейчас не только глупым, но и преступным. Мужу Магды так легко достаются деньги — он никогда и не заметит этого расхода, не заметит его и Магда. Денег у них куры не клюют. А шансы на выздоровление Джэн сильно возрастут, и для Дорин это будет огромным облегчением. Она выглядит такой измученной. Да и для него самого это тоже будет облегчением. Будет ли? А чего захочет Магда взамен?

Он поднял глаза и увидел, что она смотрит на него с горячеей настойчивостью, увидел в ее глазах блеск, который он так хорошо знал, увидел ее полураскрытый рот, слегка вздрагивающую полную нижнюю губу. Незачем спрашивать, чего захочет Магда. Ответ можно прочитать у нее на лице.

— Ты настоящий друг, Магда,— сказал он,— и я ценю это. Но только так ничего не выйдет. Я просто не смогу взять у тебя деньги.

Она сжала челюсти и надавила на стартер.

— Идиот — вот ты кто!

Машина рванулась на повороте, и сквозь зелень парка неясно замерцало озеро.

Он равнодушно смотрел на нее, удивляясь, куда девалась ее прежняя неотразимая притягательность. И все же ему хотелось установить с ней более спокойные отношения. Ему не хотелось расставаться так. И потом она может быть опасна. Ему вспомнились слова хозяйки о том, что Джэн ждала его на скамье.

— Не думай, что я тебе не благодарен, Магда...

— А, брось!

Они проскочили, едва не задев другую машину.

— Да нет, это правда. Ты была настоящим другом.

— Предупреждаю, если ты еще что-нибудь скажешь в этом роде, ты больше не вернешься живым к своей Джэн, так что поосторожнее. И подумать, что ты обрекаешь девчонку мучиться в этой адской дыре только потому, что считаешь унизительным у меня деньги взять, и еще притворяешься, что любишь ее.

— Я не считаю унизительным. Ты же знаешь.

— Ну так что же? Ха, все вы в определенный момент полны всяких высоких мыслей и готовы на самопожертвование, но надолго ли хватает этого?

— Да вовсе не в этом дело. Просто я по-настоящему понял, как много для меня значит Джэн, и, откровенно говоря, больше не собираюсь ничем рисковать.

Магда недобро улыбнулась, обнажив крепко сжатые белые зубы.

— А чем же ты собирался рисковать? Ты знаешь, за муж за тебя я не думаю выходить. Мне не так-то легко было устроиться в своем гнездышке, чтобы я из него вылезла даже из-за тебя. Но я не понимаю, почему мы оба не могли бы идти своей дорогой. Я никому не принадлежу. Ты мне нравишься, и у каждого из нас есть то, что нужно другому. И никаких обязательств и пут. А какую пользу ты приносишь Джэн своим героизмом?

Барт молчал. Он не мог объяснить этого Магде. И даже если бы объяснил, он был не уверен, что она сможет его понять. Есть вещи, которых Магда ни за что не поймет, так же как он не понимал их когда-то.

— Если не возражаешь, я вылезу на Дарлингхёрст.

Магда так резко затормозила, что его кинуло вперед к ветровому стеклу.

— Ты вылезешь здесь и сейчас же.

Он пожал плечами и распахнул дверцу.

— Как угодно.

На мгновение он остановился возле машины. Магда смотрела на него в упор.

— И упаси тебя боже сунуться ко мне еще когда-нибудь! Мне доставит удовольствие захлопнуть дверь у тебя перед носом.

И прежде чем он успел что-нибудь сказать, машина рванулась вперед, обдав его пылью.

ГЛАВА 33

I

Когда возбуждение после приезда домой улеглось, потянулись томительные и монотонные будни, заполненные мелочами процедур, выполнение которых отнимало у нее все силы. Единственным просветом в течение дня был приход сестры Даггин. Порой Джэн казалось, что только спокойная уверенность сестры и ее умелая помощь дают ей силы переносить эти бесконечно долгие дни.

Погода становилась теплее, и тяжелый спертый воздух квартиры действовал на Джэн все более угнетающе. Порой она в страхе думала, что от этого ей, наверно, и становится хуже. Так это или не так, она не могла сказать, и это, пожалуй, было самое ужасное в ее болезни. Лежишь день за днем, лежишь ночи напролет, лежишь, думаешь об этом и не можешь узнать, так ли это.

Когда она немного окрепла и сестра Даггин сказала, что ей можно встать с постели, Барт повез ее на рентген. Они отправились в старом дребезжащем драндулете, который Чилла чинил для кого-то из друзей, и Чилла поехал с ними, чтобы помочь Барту отвезти и привезти Джэн.

Заключение доктора Мёрчисона Лейда о рентгеновском снимке было утешительным.

— Не вижу, почему бы ей не идти на поправку,— сказал он, похлопывая Дорин по руке.

— За такое стоит заплатить гинею,— улыбнулся Барт, когда Дорин пересказала ему разговор с доктором.

Да, им всем казалось, что Джэн идет на поправку. Она ела с аппетитом, температура у нее упала, и сестра Даггин говорила, что пульс у нее стал лучше. Она и кашляла меньше, по мере того как плеврит ее рассасывался. И все же она очень уставала, лежа целый день на узком диване, хотя Барт приделал к дивану изголовье, позволявшее держать подушки на нужной высоте. Временами она даже тосковала по вольным просторам долин и неба, которые так надоели ей в Пайн Ридже. И она всегда с тоскою ждала минуты, когда, наконец, услышит, как поворачивается в дверях ключ Дорин.

Часы, которые Барт проводил с нею, были исполнены глубокой и тихой радости. После их обручения его поведение стало явно уверенней и ровнее. Барт и Дорин — в них заключалась ее жизнь. Любовь и привязанность Барта возмещали ей утрату всего остального.

Лежа целый день в одиночестве квартиры, она думала о нем и поражалась происшедшей в нем перемене. Прежнего, легкомысленного, небрежного Барта больше не существовало. Что-то случилось с ним тогда, что и побудило его привезти ей кольцо. Она знала это так же точно, как и то, что темноволосая девушка за рулем машины играла во время ее отсутствия какую-то роль в его жизни. Мысль эта начинала грызть ее временами, но она решительно прогоняла ее. Что бы там ни было у него, теперь все это наверняка кончено. Барт принадлежит ей. Только бы ей поправиться теперь: впереди у них вся жизнь, впереди у них любовь, которая будет крепнуть. Нет решительно никаких причин, почему бы ей не идти на поправку. Она постоянно вспоминала слова доктора Мёрчисона Лейда. У нее было временное обострение, и, если бы она не вела себя так глупо, так по-детски, она никогда бы не заболела. Порой ей казалось, что если б ей выбраться снова на чистый воздух, чтобы только видеть небо и солнце, ощущать дуновение ветра на лице, выбраться куда-нибудь вроде той лачуги на берегу озера, — она стала бы поправляться быстрее.

— Когда я смогу выходить, ты возьмешь меня в нашу лачугу? — спросила она Барта как-то вечером.

— Решено. Как только ты встанешь на ноги, тут же отправляемся в лачугу. Пусть это будет наш лозунг «Друг к другу — в лачугу!».

— Как только я смогу вставать, — сказала она на следующее утро сестре Даггин, — мой жених возьмет меня в лачугу, где мы проводили отпуск. Это на самом берегу озера, и вода подходит прямо к хижине во время прилива, даже плещет о сваи. А вокруг все деревья и птицы. Иногда видно, как черные лебеди поднимутся и кружат над водой, а потом построятся таким клином и улетают далеко за холмы.

— Лучше для вас ничего и не придумаешь, — сказала сестра Даггин, с нежностью расчесывая ей волосы.

— Может, я к тому времени смогу и купаться.

— Конечно, сможете, — сестра Даггин улыбалась, ободряя ее.

— А иногда мне становится страшно, что все это будет тянуться без конца. Ох, сестра, как мне тяжело быть обузой для Барта и для Дорин!

— Если любишь человека, он для тебя никогда не бывает обузой.

— Нет,— Джэн задумчиво вглядывалась в ее умиротворенное лицо,— как бы сильно Барт ни заболел, он никогда не будет мне в тягость. Но у мужчин ведь все по-другому. И как тяжело, когда подумаю, что я и Дорин жизнь калечу.

— Таких чудесных людей, как ваша сестра, я просто не встречала.

— Она изумительная.

— А главное, что оба они вас любят. Любовь — это великий целитель.

И Джэн думала: «Что может знать сестра Даггин о простой человеческой любви?»

Весь первый месяц по возвращении из Пайн Риджа она продолжала поправляться. Радость возвращения возмещала все неудобства, все недостатки в лечении. Но становилось все жарче, а из департамента здравоохранения вызова не приходило, и Джэн овладевало беспокойство. Она нервничала из-за хозяйки, грозившей им выселением, тревожилась за Дорин, у которой было с ней слишком много хлопот, она боялась, что Барту тоже надоест возиться с ней: приходиться сюда каждый раз после работы и просиживать весь вечер в душной квартирке, отдавать все свои деньги на лекарства для нее. Ночью она спала тревожным, чутким сном, часто просыпалась и долгие часы лежала без сна, думая о том, как найти выход из этого положения. Она перебирала в уме все, что можно бы сделать, но чего они сделать не могли из-за того, что не было денег. Вот если бы выиграть по лотерейному билету... Если бы кто-нибудь оставил им наследство... Если бы... Если бы... Под утро она начинала кашлять, и кашель ее будил Дорин.

Прислушиваясь к кашлю сестры, Дорин думала о том, что долго так продолжаться не может. Кашель у Джэн становился все сильнее, а сама она, Дорин, так уставала, что просто не знала, сколько она сможет еще тянуть таким образом. Ей пришлось отказаться от сверхурочной работы потому, что надо было так много делать дома. А значит, денег стало меньше и поводов для беспокойства еще больше. А работе конца не было видно. Когда она кончала с домашними делами, у нее ломило ноги, она была совершенно без сил. Слезы усталости и отчаяния капали на подушку. Они с Джэн были так страшно одиноки. Кроме Барта, в

целом свете никому не было дела до того, что с ними произойдет. И даже Барт явно начал уставать от всего.

А почему бы ей самой не пойти в департамент здравоохранения к врачу, который ведаёт туберкулезными болезнями, и не сказать ему, что сейчас просто необходимо, чтобы они нашли место для Джэн. И когда она, наконец, принимала это решение, на душе у нее становилось легче и она погружалась в сон; в этом чутком, тревожном полусне ей виделось снежно-белое больничное белье, расстеленное на зеленой лужайке, и заманчиво мерцающие в глубине палат свободные больничные койки.

II

В это утро Дорин, как всегда, в спешке убегала на работу. Закрывая за собой дверь, она дожевывала на ходу последний тост. Хозяйка мрачно провожала ее взглядом, когда она проходила через вестибюль.

В обеденный перерыв Дорин отправилась в департамент здравоохранения. Дул порывистый западный ветер. В дикой пляске металась ветвь пальм, окаймлявших Мэкуористрит возле парка Гарденз. В последний раз она была здесь вместе с Джэн почти девять месяцев назад. Воспоминание это причинило ей боль: Джэн тогда шагала рядом с ней в своем желтом платье, и сердца их были полны надежды.

Дорин поднялась по ступенькам в унылый вестибюль департамента здравоохранения.

— Подождите, пожалуйста, несколько минут,— попросила сестра,— доктор сейчас занят.

Дорин ждала, собираясь с духом для предстоящего разговора; сердце ее неровно колотилось, и внутри все горело. Она проглотила комок, подступивший к горлу. Она должна быть спокойной и связно изложить свое дело. Ей вовсе не хочется, чтоб они сказали о ней: «Еще одна истеричка», с них хватает таких.

Доктор указал ей на стул возле себя. Он кивнул, когда она сказала о цели своего визита, подошел к картотеке и вынул оттуда карточку.

— Джэнет Блейкли, двадцать три года. Она была четырнадцатой по списку полтора месяца назад, когда встала на очередь, сейчас она седьмая.

— Седьмая! Но, доктор, это значит, что пройдет еще месяца полтора, а может, даже и больше, прежде чем она будет госпитализирована.

Врач медленно кивнул, не отрывая глаз от карточки. «Он бесчеловечен,— подумала Дорин,— что ему за дело до Джэн? Для него Джэн — это просто номер в его списке. И что ему за дело, если она не поправляется? Все они такие, эти врачи». Она взяла себя в руки. «Спокойнее. Надо попытаться его убедить. Он должен, непременно должен понять».

— Но как вы не понимаете, доктор? Мы не сможем ждать так долго. В первое время по возвращении домой она была ничего, но сейчас...— у Дорин сдавило в горле,— кашель у нее стал хуже, она не спит по ночам.

Доктор делал пометки.

— Я дам вам рецепт, купите таблетки против кашля и снотворное.

Дорин махнула рукой.

— Но дело ведь не только в этом. Она перестала есть. Каких бы я ей вкусных вещей ни наготовила, она не ест. Целый день она лежит взаперти одна, в душной маленькой квартирке, в смертном страхе, что придет хозяйка.

Доктор кивнул, коротко улыбнувшись.

— Она тут как-то приходила ко мне после того, как ваша сестра вернулась. Пыталась убедить меня, что мы должны выселить вас обеих из-за болезни вашей сестры.

— Ну и что вы ей сказали?

Он поднял глаза от карточки, и она встретила его сочувственный, полный сострадания взгляд.

— То же, что я говорю сейчас вам: каждый имеет право на жизнь, и те шесть женщин, которые ждут своей очереди перед вашей сестрой и должны быть помещены в больницу,— они тоже.

— Но не может быть, чтоб им было так же плохо, как Джэн! За некоторыми из них, наверно, есть кому присматривать, есть кому оставаться с ними дома.

Голос ее зазвенел, она боялась, что сейчас расплачется.

Доктор просматривал карточку.

— У некоторых есть, у некоторых нет. К вам ведь приходит одна из брауновских сестер, не правда ли?

— Да! И я не знаю, что бы мы делали, если б не сестра Даггин. Она чудесный человек. Не представляю, чтоб кто-нибудь еще мог проявить к нам столько же доброты.

Голос у Дорин снова задрожал.

— Да, все о них так отзываются.

— И все же Джэн лежит одна весь остаток дня. И мы не можем найти другую квартиру. Если б были деньги, я бросила бы работу, забрала ее и сама ухаживала за ней.

— Вы очень любите свою сестру, правда?

Сочувствие, слышавшееся в его голосе, отняло у нее последние силы. Дорин больше не могла сдерживаться, и слезы обильно потекли по ее щекам. Она стала поспешно вытирать их платком.

— Простите, что я так веду себя. Просто... просто я мало сплю в последнее время. Боюсь, что нервы немножко расшатались.

— Вашей сестре никто не помогает, кроме вас?

— Только ее жених. Он замечательный. А больше у нас никого нет, только вот еще тетушка в Виктории, которая пишет нам, чтоб мы почаще ходили в церковь и носили красную фланель¹.

Оба они улыбнулись, и Дорин стало немного легче.

— А ваши родители?

— Отец был убит в Дарвине в начале войны, а мама умерла, когда Джэн была совсем маленькая.

— От чего она умерла?

— Я даже не знаю толком — кажется, воспаление легких или что-то в этом роде. Я и сама была слишком мала, чтобы запомнить.

— Гмм...

Врач испытующе посмотрел на нее.

— А вы сами делали просвечивание?

Эти произнесенные так добродушно слова обрушились на нее, словно удар.

— Нет, а что? Во всяком случае, когда увольнялась из армии три года назад, я проходила очередное просвечивание.

— И никто в последнее время не советовал вам сделать снимок?

— Нет.

Пальцы ее судорожно сжимали сумочку.

— Неужели вы думаете... — она остановилась, не в силах подыскать нужное слово.

— Я так долго занимаюсь туберкулезом, что я ни о чем не хочу думать прежде, чем не увижу снимок. Не могли бы вы зайти на рентген сегодня после работы?

— Наверно, смогла бы, но мне кажется — это так глупо. К тому же я не могу выбрасывать на ветер три гиней.

— Это будет стоить только десять шиллингов и шесть пенсов. Вот вам адрес, куда идти. Направления вам не требуется, и все это займет у вас пятнадцать минут. Будьте

¹ Красная фланель, согласно поверью, приносит удачу.

умницей и сделайте это ради меня, ну, пожалуйста! Сделаете?

Дорин неохотно кивнула.

— Хорошо, но я думаю, что это излишняя трата денег. А как насчет моей сестры?

— Как только освободится место в санатории, мы поместим туда вашу сестру.

Дорин медленно пошла к дверям, и на сердце у нее словно легла свинцовая тяжесть.

III

Когда, вернувшись домой на следующий день, она обнаружила в своем почтовом ящике конверт, пальцы ее так дрожали, что она едва смогла вскрыть его. Буквы, напечатанные на машинке, расплывались у нее в глазах. Она прислонилась к длинному ряду почтовых ящиков в вестибюле и глубоко вдохнула воздух, опасаясь, как бы не упасть в обморок здесь же, на ступеньках. Потом она снова взглянула на бумагу.

Здесь, наверно, какая-нибудь ошибка. Она медленно прочитала бумагу, заставляя себя осмысливать каждое слово, повторять его вслух. Потом она сложила бумагу, положила ее во внутренний кармашек сумки и пошла через вестибюль, чувствуя, что ноги могут отказать ей в любую минуту.

Она не рассказала Джэн ни о том, как она ходила к доктору, ни о том, что он ей сказал. Она не рассказала и об извещении, полученном ею по почте. Она жарила куски цыпленка, которого купила сегодня в каком-то припадке мотовства, и обе они виновато смеялись и шутили, как будто было что-то смешное в том, что вот она купила цыпленка, когда они так бедны, что даже не могут сиделку нанять, потому что платить ей нечем.

Дразнящий запах жареного цыпленка наполнил квартиру. Они посмеивались и мечтали, чтобы сестра Даггин зашла в этот момент. Им казалось, что она бы оценила ситуацию. Ее глубокое знание человеческой природы позволило бы ей понять, почему иногда так важно вдруг купить цыпленка, причем именно тогда, когда ты никак не можешь позволить себе этой роскоши.

Движимая тем же порывом, что побудил ее купить цыпленка, Дорин купила еще лукошко ранней клубники, при виде которой у Джэн даже глаза широко раскрылись от удивления. Это уж была невообразимая роскошь.

— Здорово,— Дорин обмакнула ягоду в горшочек со сметаной и вываляла ее в сахарной пудре,— жить так жить.

Она уселась на краешке постели Джэн, и они стали медленно смаковать прохладные сладкие ягоды.

— М-м! Ничего подобного я просто никогда не ела.— Глаза Джэн сияли.

Дорин выбрала две самые крупные ягоды и обваляла их в сметане и сахарной пудре.

— Черт с ними, с расходами! — воскликнула она беззаботно.— Один ведь раз живем, правда?

Она особенно тщательно накрыла поднос для Джэн, делая все с отрешенностью и хладнокровием, которым сама поражалась. Если бы она сейчас задумалась на минуту... но нет, она не будет задумываться и, уж конечно, не будет думать об этой записке, что запихнула в сумочку. Саму сумочку она тоже спрятала с глаз долой под матрац, как будто, убрав ее подальше, она могла забыть о том, что в ней лежало; но забыть об этом ей не удавалось.

Обед был изысканный. Дорин смеялась и болтала во время обеда больше, чем обычно. Но пища останавливалась у нее в горле. Она вынесла свои тарелки на кухню, прежде чем Джэн успела заметить, что она ничего не ела, и, усевшись у постели сестры, стала есть клубнику, обсасывая ягоды до белого стерженька, окруженного венчиком резко пахнущих зеленых листиков.

Когда пришел Барт, они так веселились, что он даже обвинил их в том, что они тут без него выпили. Они смотрели на него и смеялись.

— А у нас тут был целый пир,— Джэн протянула ему руку,— целый пир с цыплятами и клубникой.

— Они так дорого стоят, что мы себя чувствуем настоящими грешницами, это и сделало нас легкомысленными.

— Ты выглядишь чудесно, на миллион долларов,— обратился он к Дорин и подумал: какой хорошенькой она становится, когда лицо у нее освещается улыбкой вот так, как сейчас. Конечно, не такой хорошенькой, как Джэн,— она совсем другого типа, но есть у нее в лице что-то веселое и смелое, что так и берет за душу, особенно когда подумаешь, как ей много приходится выносить.

— Ну, я помою посуду, а потом сварю нам по чашечке кофе.

Дорин резко встала и вышла в кухню.

— Что ж, это будет неплохо после гнусного пойла, которое нам дают в казарме. Да, кстати, у меня есть новости! Офицер сказал мне сегодня, что примерно через неделю с моим увольнением будет все улажено.

Джэн сжала его пальцы.

— Как я рада!..

В кухне внезапно наступила тишина. Потом послышался напряженный голос Дорин.

— А что ты собираешься делать?

— У друга отца Чиллы есть гараж здесь неподалеку. Он предложил мне работу, так что похоже, что все у нас будет в лучшем виде.

— Вот и чудно.

На мгновение ему показалось, что Дорин и вправду немного выпила — такая она была веселая, возбужденная, но он отогнал от себя эту мысль. Близость Джэн вселяла в него поглощавшую его целиком радость. Он обхватил ее руками и притянул к себе. Ее легкое тело обмякло в его объятиях. И когда он держал ее вот так, его охватывала невыразимая нежность. Никогда в жизни не мог он представить себе, что сможет относиться так к какой-нибудь девушке, что сможет безропотно переносить бремя такого долгого воздержания. Да, он ее любил, это уж точно, а в любви много такого, о чем не знают и самые дошлые умники.

ГЛАВА 34

I

Назавтра в обеденный перерыв Дорин снова была в кабинете врача. Она сидела, неловко выпрямившись, на краешке стула и собиралась с силами, чтоб выслушать все, что он ей скажет. Он поднял на нее взгляд, и его морщинистое лицо скривилось в дружелюбной улыбке.

— Ну, ну, не нужно так волноваться!

Она нервно глотнула.

— Я больна, да? У меня...

— Да, есть небольшое туберкулезное поражение в нижней доле правого легкого.

Дорин стукнула по столу кулаком.

— Так почему же мне раньше ничего не сказали? Почему другие врачи меня на рентген не отправили? Я гинею за гинею тратила, когда ходила на приемы к доктору Мёрчисону Лейду, чтобы с ним о Джэн поговорить. Почему

же он мне не сказал, что мне тоже следует снимок сделать? Это подлость — вот это что! Подлость!

Резкий окрик врача остановил начинавшуюся истерику.

— Выслушайте меня, мисс Блейкли,— сказал он спокойно и твердо,— выслушайте и не впадайте в панику. У вас нет причин впадать в панику.

— Вам хорошо говорить: нет причин,— голос ее снова зазвенел.— Сначала Джэн. Теперь я. Нам не на что больше надеяться?

— Есть, и очень много,— голос врача звучал сухо, бесстрастно.

Она резко встала и пошла к дверям. Когда она взялась за дверную ручку, он остановил ее.

— Вернитесь, сядьте сюда и выслушайте.

Она остановилась, борясь с душившими ее рыданиями, потом овладела собой, медленно вернулась и села на место.

— Простите... Со мной обычно этого не бывает. Но такое потрясение, и я так о Джэн беспокоюсь.

— Надо разок побеспокоиться и о себе для разнообразия, дитя мое. Вы, кажется, говорили мне, что служили в армии, так ведь?

— Да, я была в женской вспомогательной службе — АВАС.

— Ну, тогда вам повезло.

— Не вижу, что тут можно назвать везением.

— И все-таки вам повезло,— подтвердил он,— если принять во внимание ваши обстоятельства. Государство в двадцать четыре часа поместит вас в госпиталь Конкорд, и вы получите бесплатно самое лучшее лечение.

— О!— Ее нервно напрягшееся тело чуть расслабилось.— Вы хотите сказать, что мне не придется месяцами ждать места?

— Вам даже пару недель ждать не придется или хотя бы несколько дней. Идите домой, собирайте вещи и отправляйтесь туда, а через шесть месяцев...

— Нет!— Дорин протестующе подняла руку.— Не говорите мне про шесть месяцев. Я слишком часто о них слышала, и я уже знаю, что это ложь, которой утешают больных.

— Но это не ложь. На вашей стороне все, плюс еще, если не ошибаюсь, довольно решительный и твердый дух в сочетании с таким характером, как ваш.

Он улыбнулся, желая подбодрить ее.

— Так всегда говорят, а посмотрите на Джэн.

— У вашей тестры совсем другое дело. У нее болезнь не захватили на ранней стадии, и, насколько я понял из того, что говорил мне ее жених, у нее с первого дня болезни были одни только огорчения! У вас же лечение будет начато вовремя, и вам не придется беспокоиться о финансовой стороне дела.

— Вас послушать, так все очень просто получается.

Врач покачал головой.

— Один знаменитый специалист по туберкулезу сказал как-то, что успешное лечение этой болезни зависит от двух факторов: от характера человека и его чековой книжки. Насколько я могу судить, первое у вас есть, а вашей чековой книжкой, пока это нужно, будет служить благодарное отечество.

Дорин почувствовала, что слезы щиплют ей глаза. Ей стало легче, словно кто-то снял тяжесть с ее плеч. Если то, что он говорит, правда, ей не о чем беспокоиться. Но тут на нее снова нахлынули мысли о Джэн.

— А что будет с Джэн?

— О ней вы не беспокойтесь. Мы уж тут сами что-нибудь придумаем. Она сейчас шестая по списку, и ей недолго еще придется ждать места. А вы окажете ей добрую услугу, если отправитесь в госпиталь как можно скорее, желательно на этой же неделе.

II

Закончив все приготовления, Дорин позвонила Барту.

Он долго оторопело молчал, потом она услышала только одно слово: «Боже!» Разглядывая каракули на грязных стенах телефонной будки и ожидая, что он скажет ей, она подумала, что он испугался не только за нее. И с горечью она стала размышлять, насколько он беспокоится сейчас о ней, а насколько — о Джэн и о самом себе.

— Ты уже сказала Джэн?

— Еще нет, но придется сказать, как только вернусь домой.

— Для нее это будет настоящим ударом. А ты никак не могла бы подождать, пока она в санаторий уедет? Раз она шестая на очереди, теперь уже недолго.

— Да, теперь недолго. Я и предложила подождать, но врач сказал, что ехать нужно сейчас же, к тому же следует подумать о пенсии и прочем.

— Да, конечно. Я все понимаю, Дорин. Сейчас пора подумать и о тебе.

Она холодно улыбнулась про себя. Он говорил громко, с деланной сердечностью.

— Собирай вещи и не беспокойся. Я, как освобожусь, сразу же зайду к вам, и к тому времени я постараюсь придумать что-нибудь.

Дорин безрассудно истратила пять фунтов, которые выдала ей в дополнение к жалованью в конторе, когда она заявила об уходе. Она купила хорошенькую ночную рубашу на лето для Джэн, кое-какие самые необходимые вещи для себя и вскоре заметила, что деньги на исходе. Врач сказал, что как только она ляжет в госпиталь, она начнет получать пенсию. Ей даже не верилось, что она будет получать четыре фунта десять шиллингов в неделю, в то время как Джэн приходилось довольствоваться такой мизерной суммой: как бы там ни было, оказывается, в ее службе в армии была хоть какая-то светлая сторона.

Наконец Дорин отправилась домой, поднялась по ступенькам, направилась к двери через вестибюль, и свертки в ее руках, казалось, с каждым шагом становились все тяжелее.

В двери она ворвалась с шумным возгласом:

— А ну-ка взгляни на Санта Клауса!

Джэн от изумления широко открыла глаза.

— Так рано, Дор!

— Ты посмотри, что я купила тебе!

Дорин присела на краешек постели и стала разворачивать ночную рубашу, купленную для Джэн.

— Ой, Дор! Зачем же? — Джэн любовно перебирала рубашу в пальцах. — Такая красивая! У меня такой никогда не было, но ведь она дорогая, Дор. А что у тебя еще?

Джэн показала на второй, большой пакет.

— Да тут кое-что для меня, — медленно проговорила Дорин.

— Вот это правильно. Я давно говорила, что тебе нужно сделать что-нибудь новое. Но дай-ка я погляжу.

— Не нужно.

Дорин смотрела на свою крепкую смуглую руку, темневшую на прозрачной ручке Джэн, на которой видна была каждая косточка, каждая синяя жилка просвечивала сквозь кожу.

— В чем дело? — Джэн взглянула на сестру, и в глазах у нее появился страх. — Ты ведь никуда не собираешься уезжать, ведь нет же, Дор?

— Собираюсь. О нет, я вовсе не собираюсь бросать тебя, глупышка!

Дорин замолчала, ободряюще похлопала Джэн по руке и продолжала:

— Джэн, обещай мне, что не будешь расстраиваться. Мне необходимо уехать, Джэн, детка милая! И ради нас обеих не нужно расстраиваться!

Джэн смотрела на сестру, и в глазах ее все ясней проступало страшное подозрение.

— Куда ты едешь?

— Я еду в Конкорд, в военный госпиталь. Понимаешь... Выражение ужаса проступило на лице Джэн.

— Неужели и у тебя...

Дорин кивнула.

Джэн обхватила ее руками.

— Нет! Нет! Только не это, Дор!

Сестры плакали, тесно прижавшись друг к другу.

III

Барт закрыл за собой дверь и остановился в темноте, глядя на две плачущие фигуры. Он включил свет.

— Привет, девчонки! О чем весь этот шум?

Сестры смущенно разжали объятия и взглянули на него покрасневшими от слез глазами. Джэн протянула ему руку.

— О Барт!

— Да, я знаю об этом.— Он нагнулся и поцеловал Джэн.— Дорин звонила мне, вот я и освободился пораньше. И хорошо сделал, а то бы вы тут плакали и плакали без конца. Ты что же, не знаешь, что тебе вредно плакать?

Они молча утерли глаза. Барт приоткрыл дверь и, подойдя к ним ближе, приподнял их головы.

— Хорошенькая парочка, нечего сказать! Нельзя на пять минут вас одних оставить, чтобы вы не нарушили указаний врача.

— Барт, Дорин уезжает в Конкорд.

— Конечно, она поедет в Конкорд, и ей чертовски повезло, что у нее все так просто обошлось.— Барт повернулся к Дорин.— Когда ты едешь?

— Они хотели, чтоб я поехала завтра, но я просила, чтоб подождали хотя бы до понеделника.

— Хорошо,— Барт улыбнулся, но взгляд его стал еще мрачнее.— Тогда у нас есть время, чтобы все подготовить к свадьбе.

— К свадьбе?

Джэн непонимающим взглядом смотрела на него.

— Конечно, к свадьбе. Не думаешь же ты, что я смогу въехать сюда и принять на себя обязанности Дорин по дому, прежде чем сделаю тебя замужней женщиной, как положено по закону. Да эта старая волчица, твоя хозяйка, напустит на нас целую свору сыщиков из полиции нравов.

— Нет, Барт! Я не могу допустить, чтоб ты на это пошел!

— Но ты ведь не можешь запретить мне этого. Я на тебя в суд подам за нарушение обещания. Поэтому утретика лучше глазки, высморкайтесь, и приступим к делу побыстрому. Я принес отбивные и бутылочку пива, так что начнем с предсвадебного ужина.

IV

Невесту обряжала сестра Даггин. Она принесла кусок домотканого кружева изумительной красоты на фату и украсила всю комнату розами, явно сорванными где-то в загородном саду. Она одела невесту в новую рубашку, купленную Дорин, и изящную кофточку, подаренную Джэн миссис Карлтон перед отъездом из Пайн Риджа. Накануне она помогла Джэн вымыть голову и велела Дорин уложить ей волосы, заявив, что для невесты просто недопустимо носить косички. Сейчас волосы у Джэн рассыпались по плечам, сверкая сквозь прозрачную вуаль. И, глядя на блестящие глаза Джэн, на яркий цвет ее лица, невозможно было поверить, что она болеет или вообще когда-нибудь болела.

Обряд совершал батальонный священник. Вообще-то Барт нравился ему, но как священник он его не одобрял. Он всегда язвительно отзывался о людях, которые прибегают к церкви, когда приходит время вступить в брак или умирать, но, выслушав историю Барта, он пришел без всяких возражений, нарушив для этого распорядок своего до отказа заполненного делами дня. Это был низенький человек, наделенный от природы языком хлестким, как удар бича, обескураживающим чувством юмора и подвижническим жаром — хоть крестоносцу впору, — с которым он убеждал паству своего прихода, расположенного в городских трущобах, в том, что война еще не была выиграна в тот день, когда прозвучал последний выстрел. За три года, что он провел с войсками во время войны в джунглях и во время кампании по прочесыванию островов, ему пришлось видеть немало тяжелых зрелищ, но сейчас даже у него запершило в горле, и ему пришлось несколько раз откашляться прежде, чем он начал службу.

Они отодвинули кровать Джэн от стены, и Дорин стояла возле нее наготове, чтобы принять букетик из крошечных пунцовых роз и папоротника, приготовленный сестрой Даггин. Для Дорин, печально стоявшей рядом в своем прошлогоднем платье, во всей этой церемонии было только страдание, только нескончаемая мука от мысли о том, что предстоит еще пережить этим двум самым дорогим для нее в мире существам.

Сестра Даггин стояла подле Дорин. Ее высокая, полная достоинства фигура застыла в белой накрахмаленной сестринской форме, в длинном коричневом плаще и круглом сестринском чепце, прямо стоявшем на ее голове.

Чилла настаивал на том, что он будет шафером жениха, и вот теперь он тоже стоял рядом с Бартом, нервничая и чувствуя себя неловко в летней солдатской форме, которую до блеска нагладила ему мать, в ремнях и крагах, на которые младшие Райэны навели невероятный лоск. Ему было не по себе, язык его отчего-то словно прилип к гортани, и каждый раз, когда он поднимал взгляд на Джэн, у него комок застревал в горле.

Священник испытующе взглянул на Барта, застывшего у постели по стойке «смирно» в своей защитной рубашке и военных брюках. «Ты постарел на десять лет,— подумал священник,— и хотя я не скажу тебе этого, Темплтон, но то, что ты делаешь сегодня, требует больше мужества, чем атака, что ты вел на дот в Финшафене. Тут тебе понадобилось мужество иного рода, и, да простит мне господь, я никогда не думал, что оно у тебя есть». Вслух он произнес только: «Все готово?»— и начал свадебный обряд.

И, повторяя знакомые слова молитвы, он думал про себя: «О боже, в милости и сострадании своем, вознагради этих двух молодых людей за их любовь и верность. Не допусти, чтобы мучения их оказались напрасными».

Сестра Даггин сложила покрасневшие от работы руки: «О пресвятая мать божия, дай этим детям благословение свое. И если будет на то святая воля господня, верни здоровье этой милой девочке, чтоб они могли узнать и изведать всю полноту любви своей».

Подружка невесты взяла букет. Чилла широким жестом вынула кольцо и с облегчением расплылся в улыбке оттого, что эта ужасная ответственность свалилась, наконец, с его плеч.

Барт поднял худенькую руку Джэн и надел ей на палец свадебное кольцо рядом с единственным бриллиантиком ее обручального колечка. Джэн взглянула на него, и лицо ее

преобразилось. Их взгляды встретились, и они долго смотрели друг на друга. Барт поднял ее руку и крепко прижал к губам. Священник прокашлялся, служба продолжалась.

Священник не помнил такого веселого свадебного обеда.

Миссис Райэн прислала торт, который она чуть не до утра держала на льду. Папаша Райэн, услышав, что обед будет «сухой», прислал бутылку сидра и на всякий случай, чтоб не ошибиться, вторую бутылку — пива. Священник согласился, что жалко будет, если пиво пропадет зря. Они пили за счастье друг друга, и когда провозгласили тост за жениха и невесту, Барт сел на край постели Джэн и, обхватив ее за плечи, прижал к себе.

В порыве воодушевления Чилла, который теперь был и душой и телом предан Джэн, протянул к ней стакан и сказал:

— Ваше здоровье, миссис Темплтон!

Наступило неловкое молчание, потом все разу поспешно заговорили. Чилла был так смущен, что ретировался в кухню, и только когда Дорин пришла за ним и стала грозить ему всевозможными карами, если он и впредь будет вести себя так по-идиотски, его удалось выманить из кухни. И Чилла тут же влюбился в подружку невесты, что всегда происходило с ним на свадьбах.

Наконец сестра Даггин взглянула на часы и воскликнула:

— Ну, мне действительно пора бежать! У меня еще столько дел.

Священник взглянул на часы и обнаружил, что он уже опоздал на следующее деловое свидание.

Они вместе вышли по ступенькам на узкую грязную улочку, где в просвете меж высокими стенами нещадно палило полуденное солнце.

— Какая трагедия! — не выдержал священник. — Какая трагедия, когда молодая красивая девушка лежит вот так...

— Она очень счастлива, — голос сестры Даггин звучал тихо, глаза ее затуманились слезами.

— А есть у нее надежда поправиться?

Сестра в отчаянии махнула рукой, обтянутой перчаткой.

— Если бы она была в санатории, я могла бы сказать «да». Когда она только вернулась домой, вполне можно было надеяться на выздоровление, даже после того обострения, что у нее было, но с тех пор она уже много недель как лежит взаперти в тесной, плохо проветриваемой комнате, почти весь день одна и все время терзается из-за того,

что нет денег, что она в тягость своим...— сестра глубоко вздохнула.

— Это не только трагедия, это преступление.— Священник сурово сжал губы.— В такой стране, как наша, где солнца и свежего воздуха больше, чем где бы то ни было, девушка умирает от плохого ухода — от того, на что, кажется, последняя тварь божия имеет право!

Сестра Даггин медленно кивнула.

— А деньги идут на войну! — В голосе священника зазвучала горечь. Он протянул руку сестре:

— Рад, что познакомился с вами, сестра.

— Я тоже. Да благословит вас господь!

Он глядел вслед ее высокой худощавой фигуре, поднимавшейся по узкой улочке, и сердце у него изнывало от гнева при мысли о бесконечности этой борьбы, борьбы против страданий и бесчеловечности.

ГЛАВА 35

1

Только когда Дорин уехала, Джэн смогла по-настоящему оценить, как беспомощна стала она сама и как сильно зависела она от сестры. Барт обнимал Джэн, шептал ей на ушко всякие милые и нежные глупости, обещая заменить ей Дорин. Первым делом ему предстояло приготовить чай. Он появился облаченный в фартук с оборочками, принадлежащий Дорин, и разыграл комедию приготовления завтрака. Но приготовленный им чай, о котором она мечтала с самого утра, был тепловатый и безвкусный, тосты — рыхлые, яйца — сварены вкрутую. Под пристальным взглядом Барта Джэн давилась этим малоаппетитным завтраком и уверяла его, что он просто замечательный повар. Вздохнув с явным облегчением, Барт поцеловал ее и отвел у ней со лба взмокшие волосы.

— А сейчас я приоткрою дверь, чтобы сквознячок тебя охладил немного, пока я себе поесть приготовлю.

Она встревоженно взглянула на него.

— А хозяйка, Барт? Она сказала, что мы ни в коем случае не должны дверь открывать.

— О ней не беспокойся! Она будет иметь дело со мной.

И Барт снова ушел на кухню готовить себе завтрак.

Звук шагов в вестибюле испугал Джэн. Послышался громкий стук в дверь.

Барт вышел из кухоньки. Он выглядел очень смешно в фартуке Дорин с хлебным ножом в руке.

— Я ведь, кажется, говорила, чтоб вы держали дверь закрытой! — слышался пронзительный голос хозяйки.

— Мне вы ничего подобного не говорили.

— Ну, значит, я говорила мисс Блейкли — этого достаточно! Сейчас же закройте дверь и держите ее закрытой. Слышите вы?

— А что, если я не захочу держать ее закрытой?

— Пока вы здесь, вы будете делать то, что я вам говорю. Если бы в департаменте здравоохранения работали как следует, они бы давно вас отсюда вышвырнули! Но в наше время у домохозяев никаких прав не осталось!

— Неужели так и не осталось?

— Нет. Но если мне не дадут вас отсюда вышвырнуть, то заставить вас держать дверь запертой я могу. Я вовсе не хочу, чтобы все мои жильцы заразились этой мерзкой болезнью.

— Ах, так вы не хотите, никак не хотите? — Барт двинулся навстречу толстой седой даме, нелепо взгромоздившейся на высокие каблуки. Он поднял руку с хлебным ножом и угрожающе помахал им перед хозяйкиным лицом.

— Знаете ли вы, миссис Смит, что ваши жильцы скорей всего могут подцепить какую-нибудь мерзкую болезнь в одной из ваших вонючих помоек, которые вам следовало бы держать в чистоте.

— Да как вы смеете! — Она отступила на шаг.

— И разрешите мне сказать вам также, если вы сами так невежественны, что не знаете этого, разрешите мне сказать вам, что нельзя заразиться этой, как вы называете ее, мерзкой болезнью через микробы, находящиеся в воздухе! Вам ведь сказали это, когда вы бегали в департамент здравоохранения, сказали ведь?

Она отступила еще на шаг и огляделась.

Барт спустился к ней, направив нож, словно штык, прямо в ее пышную грудь.

— Они ведь сказали вам также, что вы не можете нас выгнать, правда? Но вы решили, что сможете нас запугать. Что ж, вы, может, и смогли бы запугать двух беззащитных девушек, но меня вам не запугать, ясно?

Он поднес нож ближе к ее колышущейся груди.

Коротенькими перебежками она отступала к лестнице, выставив перед собой унизанные кольцами руки.

Барт шел за ней следом по вестибюлю. Его громкий голос разносился по всему дому, до самого четвертого этажа, и Барт получал от этого истинное удовольствие. Хозяйка облизнула губы, в ужасе оглядывая вестибюль.

— Может, вам никто не говорил еще, кто вы такая на самом деле, так вот я собираюсь вам это сказать. Вы трусливая старая стерва и обдираала! Вы здесь спекулировали всю войну и сейчас продолжаете спекулировать, вы здесь со всех дерете втридорога. Вы их всех запугали, и они вас боятся. Но я-то вас не боюсь. Нисколечко! И отныне жена моя тоже не будет вас бояться. И смотрите же, если она скажет мне когда-нибудь, что вы свой нос к нам сунули, я, когда вернусь домой, приду сюда, в вашу контору, и тогда...

Он многозначительно провел ножом по воздуху на уровне ее горла. Она схватилась руками за шею, повернулась и, бросившись в контору, захлопнула за собой дверь.

Барт пошел обратно через вестибюль и тихо усмехнулся про себя, когда услышал, как она тщательно запирает двери конторы. Он вернулся в комнату и еще шире открыл дверь.

— Отныне, миссис Темплтон,— сказал он громко,— мы будем держать дверь распахнутой, и храни господь того, кому это не понравится!

Его раздражение и гнев улеглись, и он обернулся к Джэн, ожидая, что она посмеется вместе с ним и похвалит его. Но она рыдала, зарывшись лицом в подушку и заткнув уши руками.

II

В первые дни Барт удивленно думал, как оказывается, много работы, когда присматриваешь за больным в маленькой однокомнатной квартирке. А к концу недели он только диву давался, как Дорин ухитрялась справляться со всем этим да еще и работать. Ему пришлось научиться оказывать Джэн очень интимные услуги, оскорбляющие ее стыдливость. В первое время она плакала после его неуклюжих попыток помочь ей в этом, плакала из-за горькой беспомощности своего состояния, и его добродушные шуточки не могли сделать все это менее унижительным.

Когда он поступил работать шофером в парк автомашин, сдаваемых напрокат частным лицам, он стал уходить на работу рано утром, и ему еще нужно было до ухода приготовить завтрак для себя и для Джэн, постелить постель, погладить рубашку и оставить Джэн что-нибудь поесть на день. Покончив со всем этим, он чувствовал себя, как после дневного перехода в армии, и когда он, наконец, запирает за собой дверь и заносит ключ в дворницкую для сестры Даггин, он виновато ловил себя на том, что испытывает облегчение.

Сама по себе его новая работа ему нравилась, и ему вовсе не казалось утомительным водить свою большую машину по городу. Ему доставляли наслаждение часы, проведенные на чистом воздухе, но ему претило, что многие клиенты, берущие машины напрокат, ожидали от него какого-то подобострастного прислужничества. Он презирал себя, когда ему приходилось выпрыгивать из машины и распахивать дверцу для человека, который и сам отлично мог бы это сделать. Ему приходилось стискивать зубы, когда они небрежно совали ему в руку чаевые, и сдерживаться, чтобы не сказать, куда они могут отправляться вместе со своими чаевыми. Ему нужны были эти чаевые, нужны были все деньги, которые только можно было заработать. Он и не представлял себе, как быстро расходятся деньги, когда нужно кормить двух человек, платить за квартиру и покупать лекарства. Много было трудностей в мирной жизни, которых он и не предвидел.

III

Как-то под вечер, вскоре после их женитьбы, он вернулся домой, совершенно вымотанный за день тяжелой сменной, целой вереницей привередливых пассажиров и собственными попытками успеть сделать закупки между ездкими. Хотя солнце уже село, жара тяжело нависала над узкой улочкой. В вестибюле их дома воздух оказался еще более душным и спертым. Когда же он открыл двери их квартирки, в лицо ему так и ударили смешанные кислые запахи испарений, дезинфицирующих средств и стирки. В свете маленькой лампочки, горевшей у кровати, Джэн выглядела бледной, измученной. Он почувствовал, как в нем поднимается волна раздражения и протеста против того, что она вынуждена лежать вот так день за днем, не видя солнечного света, не вдыхая свежего воздуха.

— Здравствуй, детка.— Он старался, чтобы в голосе его не слышалось раздражения.— Хорошо провела день?

Она кивнула. Она обманывала его, и он знал это. Он наклонился, чтоб поцеловать ее, но она оттолкнула его и обвиняюще помахала у него перед носом каким-то письмом.

— Ты знал об этом, да?— настойчиво спросила она.

— А что это?— Он взял у нее письмо.

— Мне перестали выплачивать пенсию.

— Ах это? Ну конечно! Они прекращают платить, как только выходишь замуж. Это обычная вещь.

— Так я бы не выходила за тебя, если бы знала, что они перестанут платить мне.— Она заплакала и отвернулась от него, стараясь справиться со слезами.

— А что б на это та добродетельная мегера, что в конторе под лестницей сидит, сказала?

— Ей и не обязательно было б знать. Мы бы сделали вид, что поженились, а я сохранила бы пенсию.

— А тебе не кажется, детка, что муж стоит тридцати двух шиллингов в неделю?

— Ох, Барт!— Она прижала его руку к своей щеке.— Я никогда не сумею объяснить тебе, что значило для меня то, когда ты захотел на мне жениться. Но я и так всю свою жизнь до самого конца была бы твоя, если б ты только захотел, и без того, чтобы ты связывал себя.

— А если я хотел быть связанным?

Он погладил влажные пряди волос у нее на лбу.

— Ты не мог предвидеть, как это тяжело будет, и мне бы нужно было тебя удержать от этого, но только все было так неожиданно, а мне так отчаянно хотелось этого. Если бы это было не так сразу, я остановила бы тебя.

— Значит, мужем я оказался неподходящим, так?

— Ты самый замечательный муж на свете, Барт, но ведь ты мне даешь все, а я ничего не могу дать тебе взамен.

Барт опустил на колени у постели и обхватил Джэн руками. Он прижался щекой к ее щеке, и сердце его разрывалось от желания и от сострадания к ней.

— Не говори так, Джэн! Никогда больше не говори этого! Я знаю, что я неуклюжий малый и что я не могу так хозяйничать, как Дорин, но я научусь. И с каждым мгновением, что мы проводим вместе, что я ухаживаю за тобой, ты становишься только дороже для меня. Веришь?

Она молчала, нежно проводя пальцами по его лицу. А внутри у нее все бушевало от боли и испуганной радости.

— Никто меня не торопил, и я давно уже хотел на тебе жениться, но только в этом тогда было бы мало толку, потому что мы все равно не смогли бы вместе жить. А теперь мы вместе. Разве этого недостаточно?

Она покачала головой.

— Нет. Сейчас, когда я ничего не могу дать тебе взамен,— нет.

Он крепче прижал ее к себе.

— Ты даешь мне все на свете. Только то, что дала мне ты, и стоило иметь — из всего, что у меня в жизни было. У меня среди приятелей бывали раньше и настоящие дру-

зья, теперь ты мой дружище, Джэн. Я всегда, в сущности, был довольно одинокий парень, а теперь я нашел тебя — нашел половинку себя, которой мне не хватало все время. И с тобой я стал целым человеком. Ты единственная смогла дать мне спокойствие. Разве этого недостаточно?

Джэн тихо плакала. «Нет, нет,— твердила она про себя,— этого недостаточно, ты же знаешь, что этого недостаточно. Брак не должен быть таким. Ты ведь только и знаешь, что ухаживать за мной все время. Брак — это как тогда в лачуге и так, как сейчас — вместе: когда дают и берут, когда страсть и уверенность друг в друге — вот каким должен быть брак». Рыдания душили ее.

Барт принес две снотворные таблетки, которые прописал ей доктор, и заставил ее принять их. Он долго стоял у постели на коленях, держа ее в объятиях, пока она не уснула. Руки у него затекли, а колени, казалось, вот-вот треснут от усталости. Наконец он разжал объятия и бережно опустил ее на подушки. Потом выключил свет и лег в свою постель. Он лежал без сна, глядя в темноту широко открытыми глазами, и ему казалось, будто зловонный воздух квартирки давит ему на грудь. Ему тоже вспомнились дни, проведенные в лачуге. И ему казалось, что через просвет двери, выходящей в световой колодезь, он видит небо над прерывистой линией скал на противоположном берегу.

Воспоминания о лачуге причиняли боль. Они были достаточно мучительными и тогда, когда они находились в разлуке, но сейчас лежать вот так в темноте и слышать, как она хрипло дышит здесь же рядом,— это было адскою мукой. Каждый день бывать с девушкой, которую любишь, лежать каждую ночь в одной комнате с нею и не касаться ее — это настоящая пытка. Если бы его хотели наказать за то, что было у него с Магдой, трудно было придумать пытку изощреннее этой.

Конечно, Джэн понимала все. Иногда, глядя на выражение ее лица, он думал, что она переживает то же самое. Но он знал, что это невозможно. И он метался без сна на узкой постели. Он слишком сильно уставал и не мог заснуть.

Лежа без сна каждую ночь, усталый, отчаявшийся, вновь и вновь возвращаясь в мыслях к тому же самому и не находя выхода из этого положения, он спрашивал себя, сколько же это может продолжаться. Он гадал, скоро ли, наконец, они получат место для Джэн в санатории, и он сам ненавидел себя за то, что гадает об этом.

...Наконец он погрузился в тяжелый сон и неохотно, с трудом вышел из забытья, услышав, что она зовет его.

Она хотела пить. Он забыл поставить стакан воды рядом с ней на ночь. Он поднялся, шаря по стене в поисках выключателя и опрокидывая стулья, потом, почти не видя в полусне, отправился в кухню. Он принес ей попить, но каждый нерв его протестовал против того, что его тревожат, и раздражение бередило его мозг, как обломанный ноготь царапает шелковую ткань. Наконец он снова повалился на постель измученный и раздраженный, чувствуя, как, преодолевая усталое недовольство его тела, в нем поднимается презрение к самому себе за эту раздражительность.

IV

От Дорин с самого начала приходили бодрые письма. Ей отвели в госпитале уютную комнатку. Ей уже сделали многочисленные анализы, и доктора уверены, что она быстро пойдет на поправку. Сестры здесь замечательные, питание хорошее. Она будет высылать Джэн какую-то часть своей военной пенсии. Ее бодрость помогала Джэн переносить жару и одиночество.

Тянулись недели. Дни становились жарче. А вызов из департамента здравоохранения все не прибывал. Каждый раз, когда приходила сестра Даггин, Джэн спрашивала ее, не передавал ли ей чего-нибудь врач. И каждый вечер Джэн спрашивала, нет ли от него писем. Но ничего не было.

Джэн становилась все подавленнее. Она устала от себя самой, устала от жизни. Собственная беспомощность и необходимость зависеть во всем от других еще больше изматывали ей нервы.

Порой у нее появлялось страшное ощущение, будто она сходит с ума. Целый день она лежала одна в раскаленной комнате, блуждая где-то между сном и бодрствованием, пока обычные предметы не начинали терять свои нормальные размеры и пропорции.

Она беспокоилась о Дорин. Если она не получала письма от сестры, она начинала сходить с ума от беспокойства. Когда же она получила письмо от Дорин, рассказывавшее, как успешно идет лечение, как хорошо за ней ухаживают, как удобно и благоустроено все в Конкорде, сердце ее разрывалось от противоречивых чувств: она испытывала и облегчение и зависть. С одной стороны, она радовалась при вести о том, что Дорин успешно поправляется: в первый же месяц она прибавила полтора фунта. И в то же время ей становилось еще труднее мириться со своими невзгодами, когда она слышала о тех больных, кому приходится

только бороться с болезнью, и больше ничего. Она, казалось, не способна была думать ни о чем, кроме болезни. Ей приходилось делать над собой усилие, чтобы говорить с Бартом о чем-нибудь другом.

Чтение утомляло ее, она не могла сосредоточиться на чтении. Она даже не могла слушать музыку по радио, а раньше это доставляло ей столько радости. Но что пользы вспоминать о былых радостях, если жизнь твоя сейчас совсем съежилась, если она загнана в тесную скорлупу.

ГЛАВА 36

1

Ранним декабрьским утром Барт подогнал машину к высокому дому в начале шоссе Элизабет Бэй-роуд. Он сдвинул кепку со лба и подставил лицо свежему ветерку, дувшему с залива. Потом закурил сигарету и откинулся на сиденье. Теперь можно немного подышать. Он надеялся, что пассажирка его не выйдет раньше чем через полчаса. Это была богатая старая вдова, которая постоянно нанимала одну из их машин, отправляясь за покупками, и всегда опаздывала при этом. Он с завистью подумал о пятикомнатной квартире, которую она занимала одна с тремя китайскими мопсами. Вот бы Джэн в эту квартиру, из окон которой открывался такой вид!

Он выкурил уже половину сигареты, когда его окликнули. Он резко обернулся, и мысли его вдруг повернули на сто восемьдесят градусов — впервые за эти месяцы он подумал о Магде. У него не бывало сейчас ни времени, ни желания думать о Магде. Он обернулся, испытывая какое-то чувство вины. Лицо девушки, смотревшей на него с мостовой, показалось ему знакомым, но где он его видел, он не мог припомнить. Карие глаза лукаво сверкнули на него из-под коротко стриженных рыжеватых кудряшек.

— Не узнаете?

— Простите, но...

— Помните Линду? Я была с Джэн в Локлине.

— Это та Линда, со стрептомицином?

— Та самая.

— Боже правый! — Барт смотрел на нее в изумлении. — Никогда бы не узнал вас. Вы так изменились!

— Полагаю, это комплимент?

— Ну конечно.

— А как Джэн?

— Не особенно хорошо.

— О,— Линда прикусила губы.— А где она?

— За углом, в квартирке на Казуэл-стрит. Мы поженились.

— Ну да?

— Да, поженились. Сестра ее — вы помните Дорин? — ну, так у нее тоже чахотка, и она в госпитале Конкорд. Так что мы с Джэн остались одни.

Линда восхищенно покачала головой.

— Ну, просто преклоняюсь. А какой у вас адрес?

Барт сказал адрес и добавил извиняясь:

— У нас комнатенка так себе.

— Да черт с этим! Как вы думаете, она мне обрадуется?

Барт просиял.

— Вы зайдете? Это было б замечательно. У нас сейчас дела довольно паршиво идут, и она просто духом воспрянет, когда увидит, как вы поправились.

— Так я прямо сейчас и зайду. Вы уверены, что там больше никого нет дома?

Барт покачал головой.

— Что вы! Это было бы слишком хорошо!

Линда положила ему на руку свою загорелую ручку.

— Не огорчайтесь, я знаю, как это бывает. Я тоже постараюсь сделать что можно.

Барт с благодарностью взглянул на нее.

— О, я в этом уверен!

Его пассажирка медленно спускалась по ступенькам, натягивая перчатки. Толстенький мопс неистово скакал рядом с ней. Барт поправил фуражку и выпрыгнул, чтобы открыть ей дверцу.

11

— Войдите! — крикнула Джэн, услышав легкий стук в дверь. Сердце ее заколотилось сильнее, в висках заломило. Не нужно было Барту ругаться с хозяйкой, особенно теперь, когда она одна на целый день остается. Но это была не хозяйка. Джэн удивленно смотрела на улыбающееся лицо вошедшей.

— Привет, Джэнни, детка!

— Ой, Линда! Как ты сюда попала?

— Я встретила Барта, и он мне все рассказал. Ну, поздравляю! Парень у тебя замечательный.

Она нагнулась и горячо расцеловала Джэн.

— Но скажи, Линда! Ты так чудесно выглядишь. А что...

Линда засмеялась. Но не прежним хриплым смехом, а легко и радостно.

— Я не знаю, что тут подействовало — лекарство, или то, что денег не осталось, или еще что-нибудь, а только я стала ходячим чудом, о которых иногда рассказывают доктора, и — видит бог! — им я и собираюсь оставаться.

Джэн взглядывалась в ее веснушчатое лицо.

— Ты выглядишь просто чудесно! Я бы ни за что тебя не узнала.

— А как у тебя дела? Я слышала, ты ждешь очереди в бесплатный санаторий.

— Да. Надеюсь, что уже немного осталось. А то Барту так тяжело приходится.

— Да и тебе тоже не сладко.

— А тебе, Линда, тебе долго пришлось ждать?

— Всего восемь недель. Когда я выписалась из Локлина, я была уже без копейки, так что сразу встала на очередь, и, когда достаточно народу вымерло, я получила место в Спрингвейле.

— Говорят, это ужасное место, и все-таки ты поправи-
лась.

— Да, поправилась, Джэн. Правда, не знаю, насколько дело тут в психологии, — лицо ее вспыхнуло под веснушками и стало совсем миловидным. — Я там встретила одного парнишку, тоже чахоточного, и он в меня влюбился, а это замечательно поднимает дух. У меня раньше была довольно паршивая история, и я приняла ее близко к сердцу. Видишь ли, когда я в первый раз заболела, мой дружок меня бросил.

— О Линда! Если бы я тогда это знала!

Линда пожала плечами.

— Это одна из причин, почему я и пришла к тебе сегодня: я хочу извиниться за некоторые свои высказывания там, в Локлине. Я была такая свинья! Нет, нет, не спорь!.. Я сама это знаю. Я иногда бываю такой скотиной, и я завидовала, ох, как смертельно я тебе завидовала! А теперь я вышла замуж и снова стала человеком. Через пару недель мы оба отправляемся в туберкулезный городок в Пиктон Лейкс.

— Но... — Джэн резко одернула себя. Все это казалось ей таким безрассудным: оба они под вечным страхом болезни, висящей над ними. И не на кого опереться! Голос ее задрожал: — Я страшно за тебя рада.

— Да я и сама тоже рада. И я хотела сказать тебе: по-моему, твой Барт просто замечательный.

Глаза Джэн наполнились слезами.

— Ты даже представить себе не можешь, какой он замечательный! И часто я чувствую себя виноватой оттого, что я лежу вот так, ничего не делаю. Он такой хороший, у него душа такая широкая, а я... я только и делаю, что держу его на привязи, как в тюрьме.

— Чепуха! — Линда потрепала ее по плечу и живо вскочила с места. — Поверь мне, ни одного мужчину не удержишь на привязи, коли он сам того не хочет. А теперь я приготовлю нам поесть. Я ведь знаю: тебя небось держат на кашке, так что я забежала в пару магазинов и разорилась на целую кучу всяких острых и неудобоваримых штук вроде твердо копченых колбасок, маринованного лука, мороженого с карамельным кремом, картофельного салата, торта «безе» и еще... Но, черт, куда же они задевались?.. — Она шарила в своей плетеной сумочке.

— У меня просто слюнки текут.

— Ага! Вот они! Тут у меня две чудесные булочки с кремом. Ну, черт возьми, мы с тобой сейчас пир на весь мир учиним.

— Ну, Линда, ты просто как в воду глядела! Мне уж так опротивели все эти «полезные» вещи.

— Кому ты рассказываешь! Тебе для души нужна пища, а не только для тела.

— Ты о Бетти что-нибудь слышала?

— Да, она в Рэндуике. Ее лечат бронхоскопией.

— Какой ужас!

— Довольно паршиво. Я ее на прошлой неделе видела. Она совсем как привидение стала!

— И есть надежда?

— Была бы, если б она туда сразу после Локлина отправилась, но у них тогда денег больше не было, и ей пришлось ждать полгода — старая история.

Линда взяла в руки корзину.

— Ну, а теперь за еду! Я помираю с голоду.

После обеда Линда попросила:

— Расскажи о своей сестре. Как она поправляется? Джэн прочитала ей последнее письмо Дорин. Оно было полно медицинских описаний и терминов. В письме говорилось о ее анализах. О пневмотораксе. О группе докторов, которые проводят у них специальные исследования. О ее поправке. Дорин поправлялась замечательно.

Линда утешала Джэн. Она была уверена, что Дорин поправится скоро. У ее мужа приятель лежал в Конкорде.

Так тот рассказывает, что это райское место для туберкулезника.

Посещение Линды приободрило Джэн. Она оживленно рассказывала о нем Барту во всех подробностях, и глаза ее сияли при этом, как в былые дни.

— Линда совсем переменилась. Она больше не кажется...— она помялась,— не кажется ни такой озлобленной, ни безнадежно больной.

Барт присел на кровать к Джэн и, обняв ее за плечи, притянул к себе и поцеловал. История Линды на него тоже подействовала ободряюще.

Линда заходила еще несколько раз и каждый раз приносила с собой надежду и бодрость. Когда они с мужем собрались уезжать, она, прощаясь с Джэн, взяла ее за подбородок и, заглянув в глаза, сказала:

— Выше голову, Джэнни, детка! Вспомни, ведь год назад казалось, что я куда безнадежней, чем ты, и к тому же я куда меньше тебя знала, зачем мне жить.

ГЛАВА 37

1

В их квартирке, куда не проникал солнечный свет, о приходе рождества возвестили прежде всего порывы горячего ветра — отзвуки жары, царившей во всем штате; потом поздравительные письма и денежный перевод от Дорин; изящная кофточка от миссис Карлтон с приложенной открыткой, на которой дрожащими, неверными каракулями было нацарапано, что ей не разрешают много писать; книжка от Леонарда; рождественский пирог от Райэнов; визит Чиллы, которого почти не видно было из-за рождественского деревца, что он принес им; пакет с апельсинами от Линды; букет цветов от сестры Даггин и, наконец, короткое посещение батальонного священника — на этом для Джэн с рождеством было покончено. Барт работал в вечернюю смену, и ей предстояло провести целый долгий вечер наедине с собой и в полном одиночестве, слушая звуки рождественских гимнов, доносящихся через световой колодезь из многочисленных радиоприемников, включенных в квартирах, наедине с воспоминаниями о том, как она праздновала рождество в прежние годы, воспоминаниями, которые разрывали ей сердце и лишней раз подчеркивали, что она выброшена из жизни. В гараже была маленькая вечеринка, и накануне Барт пришел домой поздно. Он довольно много

выпил, и это привело его в исключительно веселое и шаловливое настроение. Джэн пыталась разделить его веселье как могла.

В канун Нового года он ушел на работу рано утром. После посещения сестры Даггин, побывавшей у нее сразу же после завтрака, Джэн целый день лежала одна. У нее болело горло, и при взгляде на неаппетитный обед, оставленный в ящичке со льдом, ее начинало тошнить. Весь вечер она беспокойно металась в постели, обливаясь потом, и со все растущим раздражением ждала возвращения Барта.

Время шло, Барт все не приходил, и Джэн стала ощущать какой-то необычайно настойчивый голод. На льду стояли молоко и пирог, который она могла бы съесть, но она не делала попытки достать его; она предпочитала лежать так — голодная, несчастная, страдая от жажды, от одиночества и предаваясь мыслям о том, что вот Барт опаздывает в этот рождественский вечер; в своем раздраженном состоянии она придавала его опозданию неоправданно большое значение. Ее глодали ревность и подозрения, и в памяти у нее вставала та темноволосая девушка в серебристо-сером лимузине. Она думала, что, может, Барт снова встретился с ней сегодня. Она не знает, так ли это, и никогда не узнает. Ногти ее впились в ладони. Тело у нее горело, хотя погода переменилась, и после десятидневной жары с юга вдруг подул холодный ветер. Она терзала между пальцами носовой платочек, пока он не превратился в тряпку. А если у Барта появится кто-нибудь еще, что станет с ней? Эта случайная мысль постепенно укрепилась, стала навязчивой идеей и терзала ее в эти долгие часы одиночества. А что, если Барт покинет ее?

А Барт в это время отработывал и вторую смену, чтоб заработать побольше денег и чаевых, которые были в новогодней горячке более щедрыми, чем обычно. Потом, усталый и проголодавшийся, он пропустил пару рюмок с ребятами и явился домой навеселе.

Когда он пришел, его слишком громкий голос, бьющая через край веселость показали ей подтверждением ее истерических подозрений. Он бы не вел себя сейчас так, если бы он был все это время только с ребятами! Когда он подошел поцеловать ее, она отвернулась, чтобы он не видел ее слез.

— Пожалуйста, не целуй меня, когда ты пьян!

Слова вырвались у нее против воли, прежде чем она успела даже подумать. Барт резко выпрямился.

— Пьян! Но, родненькая, не будь же дурочкой! Да я в обычный день могу гораздо больше выпить, и ты даже не замечаешь, что я пил вообще.

— Ты можешь пить хоть каждый вечер, но я не хочу, чтобы ты подходил ко мне, когда ты пьян.

— Джэн, бога ради, не делай ты из мухи слона!

Но в ней все сильнее нарастала истерия.

— Поздненько же ты приходишь домой, если ты не пьян.

— Я никак не мог сообщить тебе, солнышко, но я работал сверхурочно. Один из парней не вышел, и я работал за него. Под Новый год больше всего можно чаевых получить, и мне просто жаль было упустить такой случай.

Джэн отвернулась, закрыв лицо руками. Снова и снова обжигала ее мысль: «Ты был с этой, с темноволосой!» Мысль эта раздувала ее истерию, но Джэн не решалась высказать это вслух.

— Лучше бы мне умереть! Лучше бы мне умереть! — всхлипывала она.

Барт ничего не мог поделать: он стоял, разрываясь от жалости к ней и возмущения ее несправедливостью. Он хотел бы взять ее на руки, но боялся, что от его прикосновения у нее снова начнется истерика. Всю его искусственную веселость как рукой сняло. Он слишком устал, чтобы тронуться с места, и продолжал сидеть у ее изголовья, убирая с пылающего, воспаленного лба влажные волосы и глядя ее сотрясающиеся плечи.

II

Барт заснул тяжелым сном, но Джэн не могла уснуть, несмотря на снотворное, которое Барт дал ей перед сном. Она прислушивалась к его дыханию и не переставала проклипать себя. Таблетки успокоили ее, но сон так и не пришел. Истерия ее улеглась, и вот она лежала без сна, с ужасом думая о том, что она натворила.

Ей очень хотелось сейчас разбудить Барта и просить у него прощения, но он выглядел таким измученным после двух смен, что она просто не решалась будить его. Барт лег без ужина, и она тоже не в силах была проглотить ни кусочка из того, что он ей приготовил. Ей было стыдно за свою истерику, за слова, сказанные ему. В долгие бессонные часы ночи эта глупая истерика показалась ей низкой и неблагодарной выходкой. Барт проработал две смены, чтобы заработать для них хоть немного денег. Потом он

выпил чуть-чуть с ребятами — с каким мужчиной этого не бывает,— а когда он вернулся домой, она вела себя, как базарная торговка! Ему и так нелегко живется. И единственное, что она могла сделать, это обеспечить ему спокойную обстановку дома.

Дом... Ее даже покорило от этого слова! Дом! Да что находит он дома? Он прикован к тесной и душной квартире, где болезнь жены связывает его по рукам и по ногам. Что это за жизнь для него, для любого мужчины, а особенно для Барта, который так любит жизнь?

В памяти ее с мучительной ясностью всплыли воспоминания о днях, проведенных вместе до ее болезни. Дни, проведенные на пляже. На озере. Прогулки в горах. Музыка по вечерам, танцы по вечерам. Их ночи в лачуге. Она страдала, думая о том, кем она стала сейчас. Инвалидом, прикованным к постели, и, вероятно, навеки. Кашель потряс ее, как будто подтверждая все ее страхи. Она зарылась лицом в подушку, заглушая кашель, чтобы не разбудить Барта.

В припадке гнева против самой себя собственная неблагодарность возрастала в ее глазах до чудовищных размеров. Как могла она наговорить ему такие ужасные вещи? Ведь он никогда не обманывал ее. И если у него было что-нибудь с той темноволосой девушкой, так это со всеми мужчинами бывает. А какой мужчина сделал бы то, что делает Барт? Она возвращалась в памяти к бесконечно долгим месяцам своей болезни — скоро уже год,— и все его поступки казались ей невышненными и полными благородства. Барт никогда не обманывал ее, а что она дала ему взамен? Он не оставил ее, когда она заболела. Он оплачивал все ее расходы. Он регулярно навещал ее в больнице, а потом в санатории, и, когда ей стало труднее всего, он женился на ней. Недели, нет, месяцы изнурительного, отвратного труда, когда он выхаживал ее, был ее сиделкой и при этом всегда оставался жизнерадостным, хотя она-то уж видела, каких это стоило ему усилий. Все их деньги уходило на нее. Нет, это не брак для него, это не жизнь. А что ждет их в будущем? Может быть, она так и не выздоровеет. Она может остаться, как миссис Карлтон,— прикованной на долгие годы к этому земному аду.

Ее раздражение прошло, утихли последние отзвуки истерии. Сознание ее стало таким ясным, каким оно давно уже не было. Смогла бы она перенести то, что случилось с миссис Карлтон? Видеть, как тает любовь Барта, пока, наконец, только долг не будет вынуждать его поддерживать

какое-то подобие любви? К тому же Барт связан по рукам и по ногам куда больше, чем тот же мистер Карлтон, который все-таки сохранял свободу. Ведь у Карлтонов было достаточно денег, чтобы оплачивать санатории и специальную сиделку.

Нет, ей не нужно было выходить за него замуж. Только в насмешку можно назвать это браком. Да что значит для него этот брак? Ничего. И в ее воображении под влиянием кошмара эти недели превращались в месяцы, а месяцы — в годы.

Она представила себе, как Барт все больше и больше становится жертвой собственного великодушия. Она представила и себя — слабеющую, с каждым днем все более беспомощную и незащищенную. В первый раз ей пришла в голову мысль, что она, может быть, никогда уже не поправится.

— Я, наверно, никогда уже не поправлюсь, — произнесла она вслух и обмерла от страха, что Барт услышит ее. Но он, намаявшись за день, безмятежно спал, тихо похрапывая во сне.

Шесть месяцев — так сказали ей вначале. Но прошло уже двенадцать. Что, если это продлится еще год? Два года? Бесконечная нищета, нескончаемые годы отчаяния для них обоих; жизнь Барта, замкнутая в кругу его забот, и сама она, мало-помалу превращающаяся в сварливую истеричку. Она вдруг увидела все это с ужасающей ясностью и полнотой. Никогда раньше она не представляла этого так ясно. Раньше она смотрела на будущее сквозь сентиментальную дымку их чувств и надежд, твердя себе, что, когда она поправится, она оплатит ему за все, чего он лишается сейчас, веря ему, когда он говорил, что она ему необходима, и оставаясь при своем всегдашнем убеждении, что любовь выдержит все. Но вот она не выдержала даже первого испытания. Она подозревает его, она попрекает его. Может ли она поручиться, что нервы не подведут ее снова, что она не станет снова попрекать и пилить его? Она знала, что поручиться она не может.

Лежа без сна в темноте, она рассуждала сейчас обо всем ясно и логично. Когда Барт проснулся, он увидел ее лихорадочно блестящие, но успокоенные глаза. Она целовала его колючую щеку и, приблизившись, шептала ему на ухо свои извинения. Он крепко прижимал ее к себе.

— Это не повторится, — пообещал Барт.

Она улыбнулась. Нет. Это больше никогда не повторится.

Он обещал ребятам в гараже поработать сегодня за другого шофера. Но раз сестра Даггин думает, что он в праздники дома и не собирается приходить, то ему лучше не ходить на работу.

Джэн заявила, что он обязательно должен пойти. За работу в праздники платят вдвойне. К тому же она совсем не спала и теперь поспит немного. Наконец он ушел, бесмысленно и беспричинно радуясь чему-то.

Джэн подождала немного, чтоб убедиться, что он не вернется. Потом встала и пошла, нетвердо и неуверенно передвигаясь на подгибавшихся ногах. Ей нечего спешить, прийти к ней никто не должен, а Барт теперь вернется только под вечер. Еще вчера мысль об одиночестве угнетала бы ее, но сейчас это только казалось подтверждением того, что решение ее должно быть неотвратимо приведено в исполнение.

Она оставила незаконченным письмо к Дорин (Дорин ни за что не должна ни о чем догадываться). Если они догадуются, скажут, что она была не в себе. Но нет. Такой ясности в мыслях у нее не было уже много месяцев. Безумием с ее стороны было думать, что их женитьба может что-то решить. Она только сделала все еще хуже.

Джэн послунила тупой карандаш. Ей бы хотелось написать о своих чувствах к Барту. Объяснить, что то, что она делает, не внезапный, необузданный поступок, вызванный злобой или отчаянием. «Дорогой любимый муж (так ей хотелось написать)! Никогда я не сумею высказать тебе свою благодарность, и то, что я делаю, я делаю для нас обоих».

Она боролась с искушением написать эти слова, но она не написала их.

В конце концов она нацарапала небольшую записочку, стараясь писать так, чтоб записка выглядела как можно небрежнее. Потом надела кофточку, подаренную миссис Карлтон, принесла из кухни пузырек со снотворными таблетками и снова легла в постель.

Сестра Даггин взяла ключ в дворницкой и, зная, что Джэн не ждет ее сегодня, окликнула ее еще от двери:

— Это я, милочка! С Новым годом тебя!

Ответа не было. Сестра тихо притворила за собой дверь. В комнате было темно. Сестра решила не пробираться к окну, чтобы поднять занавеси, а сразу включила свет. Джэн спала, подложив под щеку обе руки, ровно и тяжело дыша.

Свет не разбудил ее. Сестра Даггин осторожно потрясла ее за плечо. Джэн не шевелилась. Встревожившись, сестра Даггин приподняла ей одно веко. А через мгновение она, сбросив с себя плащ и чепец, сняв перчатки, уже поднимала бесчувственное тело девушки. Голова Джэн бессильно валилась то на одно, то на другое плечо. Сестра положила ее обратно на подушки. На столе она заметила записку. Она подняла ее и стала искать очки.

«Дорогой мой,— читала она бледные карандашные каракули,— если я буду спать, когда придешь, не буди меня. Я приняла снотворное...» Сестра Даггин взглянула на бутылочку из-под таблеток. Обычно она находилась в кухне на полке. Сестра схватила календарь, на котором Дорин записала для нее номер телефона врача, и бросилась в вестибюль.

Сестра закрыла дверь телефонной будки и прижала ее ногой. Врач была дома. Сестра облегченно вздохнула и, договорившись обо всем, повесила трубку.

Еще до прихода молодой женщины-врача, со своей обычной энергией ворвавшейся к ним в квартиру, сестра успела дать Джэн рвотное.

— Сколько она приняла? — спросила врач.

— Вчера, когда я была здесь, пузырек был почти полный.

— Когда она приняла?

Этого сестра сказать не могла. Муж больной уходит обычно в половине восьмого.

Они вдвоем суетились над недвижимым телом Джэн.

— При ее легких это будет особенно полезно,— мрачно сказала врач, опуская резиновую трубку в горло Джэн.— Когда мы очистим ее, я дам ей два кубика корамина.

Моя над раковиной руки, она резко обернулась к сестре:

— Несчастный случай?

Сестра Даггин отвернулась.

— Да, я уверена в этом. Вот ее записка к мужу.

— Это еще ничего не доказывает. Женщина, которая так любит мужа, как она, оставила бы такую записку, просто чтобы побережь его.

Сестра покачала головой.

— Не думаю, чтоб она могла так нехорошо поступить. Она всегда держалась очень мужественно.

Врач бросила на сестру быстрый взгляд и промолчала. Доброе лицо сестры было опечаленным.

Джэн приходила в сознание медленно и неохотно. Она ощущала во всем теле свинцовую тяжесть, ощущала острую боль в горле. То и дело подкатывала тошнота. В глазах у нее все плыло, и лишь постепенно она стала различать знакомую обстановку комнаты и две фигуры, стоящие у ее постели. И только, когда она увидела их, к ней, наконец, вернулось сознание. Она жалобно, не говоря ни слова, посмотрела на них, потом отвернулась и стала так же молча смотреть на стену. Они поняли все. Врач многозначительно взглянула на сестру Даггин.

— Вам лучше остаться. Я по дороге домой заеду в гараж и оставлю записку для ее мужа.

Джэн резко обернулась. Она на ощупь поймала руку врача и лихорадочно сжала ее.

— Не говорите Барту,— молила она,— пожалуйста, не говорите Барту.

И в своем нервном потрясении она раскрыла им все, что они хотели знать.

III

Джэн пообещала, что она никогда больше не сделает ничего подобного, если только они убедят Барта, что это несчастный случай.

Барт слушал рассказ врача, и ярость боролась в нем со страхом. Он кипел от негодования из-за того, что эта затяжка с лечением чуть не привела к трагедии, и он боялся, что за рассказом врача скрывается больше, чем она говорит. А что, если Джэн?..

Он отбросил это подозрение. Она не могла сделать этого нарочно. Она случайно приняла слишком большую дозу, ведь она была так истерзана вчерашними огорчениями. Вот тебе еще пример, какую шутку могут сыграть с тобой нервы.

Сейчас, когда он глядел на ее измученное лицо, мысль эта казалась ему еще более нелепой. Джэн спокойно выдержала его взгляд. Она так ослабела, что едва могла говорить, но, когда он склонился к ней, она прошептала:

— Как глупо, правда?

Комок встал у него в горле. Он опустился на колени у ее постели и подложил ей руку под голову. Джэн дотронулась пальцами до его щеки, и в душе у него поднялась целая буря чувств. Он прижался щекою к ее щеке.

Когда сестра Даггин взглянула на них, глаза ее наполнились слезами.

Она на цыпочках вышла в кухню, оставив их вдвоем.

I

В департаменте здравоохранения врач сочувственно выслушал Барта.

— Не думайте, будто я не знаю, что вам приходится переносить: я отлично знаю, но выхода все же нет, и вряд ли я смогу и сейчас обещать вам что-нибудь.

Барт в отчаянии взглянул на него.

— Не думайте, будто я вообразил, доктор, что у нас хуже, чем у других, но вы же слышали, что вчера стряслось.

Да. Он слышал. Сестра Даггин все ему рассказала. Он смотрел на Барта, размышляя, догадывается ли он обо всем.

— Меня это, по совести, просто ошарашило,— продолжал Барт,— вначале мне даже пришла такая дикая мысль в голову, что, может, это она нарочно. Вот до чего нервы доводят! Но нет, конечно, это не так. Джэн совсем не такая. И она так же, как я, верит, что она поправится, если б только...

— Если б только мы могли тут совершить чудо, так ведь? Да, так вот, ваша жена пока еще только третья на очереди, и, боюсь, что надежды на место сейчас немного.

Барт почувствовал, что гнетущее уныние снова овладевает им. Он примчался сюда, подхлестываемый пережитым вчера потрясением и убежденный, что уж на этот раз департамент должен будет что-то предпринять.

Зазвонил телефон. Доктор отвечал медленно, кратко. Положив, наконец, трубку, он с улыбкой повернулся к Барту.

— Похоже, что вам привалила удача, молодой человек. Вот тут мне звонят и говорят, что за эти несколько дней в Спрингвейле должно освободиться место. Никто из стоящих перед вами на очереди туда ехать не хочет, потому что это на железнодорожной ветке, в сторону от Кэмпбелтауна, и туда трудно добирается. Но если вы согласны, то как только место освободится, ваша жена может туда поехать.

— Спрингвейл!

Барт почувствовал, словно огромная гнетущая тяжесть свалилась с его плеч.

— Как странно! У Джэн недавно в гостях была девушка, которая там лечилась: безнадежный случай был — и вышла оттуда совсем здоровая.

— Они там хорошо работают, несмотря на большие трудности. Там отличный медицинский персонал — и стар-

ший и младший. Вот единственное неудобство у них — трудно туда добираться.

Барт почти не слышал того, что говорил доктор. Мысли его целиком поглотило это известие, он думал о том, что оно означает для Джэн. Выбраться из квартирки. Получить, наконец, настоящий уход — сестры, врачи, лекарства, и потом, самое главное, не лежать целый день одной. Затем мысль его невольно перешла к перспективе собственного освобождения. Освободиться от непрестанных, тошнотворных обязанностей больничной сиделки. Спать сколько захочется, не просыпаясь то и дело оттого, что тебя будят. По-забыть о нудных хозяйственных мелочах — о закупках, о стирке. Выбраться из дому, когда захочется, приходить, когда захочется. Никогда больше не дышать нездоровым воздухом тесной квартирki.

И одна мысль искушала его: ты сможешь ездить к ней раз в неделю, как в Пайн Ридж. Когда вы встречались раз в неделю, вам так хорошо бывало вдвоем. И у тебя будет собственная жизнь.

Но что-то в нем протестовало против этого: если ты отпустишь ее сейчас, вы пропадете оба.

Больше чем когда-либо они нуждались сейчас друг в друге, и большее, чем просто преданность, привязывало его к Джэн. Речь шла теперь не только о ее жизни — без нее его жизнь тоже теряла смысл.

И он произнес вслух, словно бы против воли:

— А как вы думаете, есть возможность достать какую-нибудь работу в этом районе? Мне не хотелось бы отпускать Джэн одну, ведь я не смогу туда приезжать часто.

Доктор сжал губы.

— В соседнем городе вы, вероятно, что-нибудь достанете, но я не знаю, будет ли это иметь смысл. Все равно после семи часов вечера автобус там не ходит, а от города до санатория три или четыре мили.

Барт вздохнул. Облегченно или расстроено — он и сам не смог бы сказать. Он сделал все, что мог. Никто не может упрекнуть его.

Вдруг доктор поднял глаза и, встретившись взглядом с Бартом, некоторое время смотрел на него в упор.

— А в самом санатории вы не стали бы работать?

Барт от удивления даже рот раскрыл.

— В санатории?

Он глуповато уставился на доктора. Та часть его сознания, что поддавалась искушению свободной жизни, восставала. Одно дело быть поближе, чтобы чаще видеть Джэн,

другое — привязать себя к санаторию. Это все равно что самого себя засадить в тюрьму.

— А какая там работа? — спросил он после паузы, которая показалась ему бесконечной.

— Единственная работа, какую я могу вам в данный момент гарантировать, — это работа больничного санитаря. У них такая нехватка рабочей силы, что они за вас сразу ухватятся!

— Санитаром! Это вроде сестры, что ли?

— Ну, боюсь, что для начала работа у вас будет не такая почетная, как у сестер, но со временем вы сможете, наверно, выполнять и их работу.

Его охватило острое физическое отвращение, которое ему так часто приходилось подавлять в последние месяцы. «Нет, не могу я этого», — подумал он. Но вслух произнес:

— А сколько они там платят в неделю?

— Около семи фунтов в неделю, за вычетом содержания, спецодежды и так далее. Я знаю, что это покажется вам не особенно роскошным, но вы и жить будете там, так что отпадают проблемы жилья и транспорта.

— Я согласен.

Казалось, кто-то другой принял за него решение.

— Хорошо.

— Когда она поедет туда?

— Как только освободится место, а это должно наверняка произойти в ближайшие несколько дней. Они принимают только ходячих больных, так что за эти дни постарайтесь поставить ее на ноги, чего бы это ни стоило ей, да и вам тоже.

— Но она почти не поднималась с постели со времени последнего...

— Она должна войти в Спрингвейл сама, даже если она свалится после этого. Женщин там принимают по средам, так что постарайтесь быть готовыми к следующей среде, и отвезите ее туда между половиной третьего и четвертью. Но запомните: она должна войти туда сама!

— Хорошо, будет выполнено.

— Желаю удачи вам обоим! Вы заслужили ее. Вас я увижу, когда буду там во время следующей инспекционной поездки.

Барт вышел на улицу и заморгал от яркого света. Он чувствовал себя усталым и совершенно измотанным — душой и телом, как, бывало, после боя.

Джэн и понятия не имела, как это случилось, но, так или иначе, в среду, в день отъезда в Спрингвейл, у их дома объявился Чилла с военным фургоном, который должен был доставить ее на станцию. Чилла держался с солидной внушительностью, столь характерной для военных властей и насмерть перепугавшей хозяйку, но своими отнюдь не военными приветствиями, кивками и подмигиванием он как будто предупреждал их: «Не задавайте вопросов и да не услышите неправды». Недаром же он прослыл первым доставалой и ловчилой не только во всей роте, но и во всем батальоне.

«Новый год принес нам удачу»,— подумала Джэн.

Все у них складывалось великолепно. Как только она узнала о том, что в Спрингвейле есть для нее место и что вдобавок она поедет туда не одна, а с Бартом, чувство безнадежности, тяжким камнем лежавшее у нее на душе еще с той поры, когда она приняла снотворное, рассеялось.

И в это утро при расставании она снова сказала сестре Даггин:

— Не беспокойтесь обо мне, сестра, больше я такой глупости не сделаю. Я знаю, что должна поправиться.

Да, она должна поправиться. Счастье улыбнулось ей. Все говорило об этом.

Это доброе предзнаменование — то, что она едет в Спрингвейл. Линда выздоровела в Спрингвейле. И то, что Чилла изыскал такой дешевый и удобный способ доставить ее на вокзал,— тоже хорошее предзнаменование.

Барт протянул к ней руки.

— Поехали, миссис Темплтон.

— Но я могу дойти. Я всю неделю тренировалась.

— Нет, нет! Всю силу, что есть в этих ножках, ты продемонстрируешь в Спрингвейле. Тебе придется войти туда самой, так сказал доктор, а до этого времени не трать ни капли энергии, она тебе там понадобится.

Джэн обхватила его за шею руками, и он поднял ее.

— О, да ты целую тонну весишь!

Она спрятала лицо у него на груди.

— Даже две!

Душу им обожгло воспоминание о той ночи в лачуге, когда он вот так же внес ее на руках с веранды.

«Я и не представлял себе, что она так исхудала»,— подумал Барт, когда они уселись на широком переднем сиденье военного фургона.

А у Джэн, когда она сидела здесь между двумя мужчинами, на короткий миг появилась иллюзия освобождения. Но с приездом на Центральный вокзал эта иллюзия сразу же рассеялась. Барт на руках вынес ее из машины на платформу. Она спрятала лицо у него на плече и вся съежилась от стыда. Ей казалось, что все оборачиваются и смотрят на нее. Она умоляла его спустить ее на землю. Он нехотя согласился, и последние несколько метров до вагона, специально предназначенного для больных, направляющихся в Спрингвейл, она прошла сама.

В вагоне она с облегчением опустилась на сиденье, и колени у нее дрожали после этого короткого пути. Двое мужчин, уже сидевшие в вагоне, понимающе улыбнулись ей. Барт пошел за ней следом, но проводник остановил его, заявив:

— Вам здесь нельзя ехать, для этого нужен специальный билет.

— Здесь моя жена, и я тоже здесь поеду. И плевать мне на билет,— отрезал Барт.

— Ну и ну! — Проводник изумленно покачал головой.— Да меня туда и за тысячу фунтов не затащишь.

Барт закрыл дверь и с отвращением осмотрел купе. Купе было старое, запущенное, в спертом воздухе носился запах дезинфекции.

— Правда, замечательно, что мы едем в такой чудесный день,— весело произнесла Джэн, хоть на душе у нее было далеко не весело.— У меня такое чувство, будто мы едем отдыхать.

«Если я сумею мириться со всем этим и не жаловаться,— подумала она,— то скорее пойду на поправку».

Поезд тащился по тесным, перенаселенным пригородам Сиднея, но Джэн волновал даже этот пробегающий мимо пейзаж. А вскоре перед ней развернулась плоская равнина, потрескавшаяся под знойными лучами летнего солнца. Полетному бледное небо на горизонте подпирала желтовато-коричневая кромка холмов, зелень была запыленная и поникшая; но Джэн все казалось прекрасным. Она судорожно сжимала кулаки, глядя по сторонам. Безграничный простор неба, дуновение ветра на ее щеках, солнечные блики на сверкающих железных крышах домов, ясная прозрачность дня — все казалось ей хорошим предзнаменованием.

И она рисовала себе самые радужные картины будущего. Выздоровела же Линда, почему бы и ей не выздороветь?

Наконец они вышли на платформу и около получаса прождали у станции, пока придет машина, чтобы отвезти их в санаторий. Они укрылись от солнца в тени джакаранды, и цикады мерно жужжали над ними в ее ветвях.

Джэн смотрела, как пятнистая тень листы медленно двигалась по земле. «Если она дойдет до моей ноги раньше, чем появится машина, я поправлюсь скоро», — загадала она. Тень упала на кончик ее туфли раньше, чем крытый брезентом санаторский грузовик вкатил на станционный двор.

Она крепилась всю дорогу, без жалоб перенося тряску на неровном шоссе.

«Если нам встретится четное число машин, то я поправлюсь до рождества», — загадала она про себя, глядя на пыльную ленту дороги, пролегавшей среди выжженных солнцем лугов. Им встретились четыре машины. Сердце ее ликовало. Все предзнаменования были добрыми. Она улыбнулась Барту. Он обнял ее за плечи, и даже вид запущенных, грязных зданий Спрингвейла, открывшийся им в низине среди холмов, не смог отравить радости этих сладких минут.



Они смотрели на скопище полуразрушенных зданий, которые и назывались Спрингвейлом. Еще на заре колонизации и потом вплоть до первой мировой войны здесь размещалось скотоводческое хозяйство, потом военные власти заняли его под казармы; когда же война закончилась, здесь был размещен туберкулезный санаторий — «на время», как было сказано вначале, но это «время» тянулось уже тридцать лет. В старом каменном доме, отведенном прежде под жилье, теперь разместился административный корпус, а в облупившихся, крытых железом лачугах ютились больные.

Вдыхая чистый воздух, Джэн чувствовала, как легкие ее очищаются от скопившейся в них за эти месяцы городской грязи. Если б только она могла лежать на свежем воздухе, она бы скорее поправилась.

Джэн смотрела вдаль на округлую чашу низких холмов, в которых глубокие красные овраги, разъеденные дождями и ветрами, зияли, словно открытые раны, и чувствовала, как душа ее растворяется в этих просторах.

Она так долго была заперта в четырех тесных стенах, что теперь каждая былинка, все растения казались ей красивыми: и запущенный садик, и просторы выжженных солнцем лугов вдали, и запыленная листва камфорных лавров, и поникшие перцовые деревья.

Джэн с ликующей улыбкой взглянула на Барта и пошла вслед за неряшливой старухой, которая повела их в палату. Барт обнял Джэн за талию, и ей показалось, что часть его силы передалась ее нившим от боли ногам. Но даже при его поддержке расстояние до палаты показалось ей бесконечным. Маленькая, словно карлик, старушка, шлепавшая впереди в тапках со стоптанными задниками, указала им грязным пальцем в сторону дальней лачуги у конца дороги и что-то прошамкала, подбадривая Джэн.

Спускаясь по пыльной дорожке, Джэн сжимала губы. Она устала от путешествия, от непривычного напряжения, но все это было частью того испытания, которое ей нужно выдержать, чтобы поправиться. Если она вынесет без жа-

лоб и это непереносимое напряжение, она обязательно поправится.

У двустворчатой двери палаты № 3 они остановились. Сестра, сидевшая за столом у входа в палату, улыбнулась им.

— Ах, так это вы, миссис Темплтон! Заходите, заходите! Я сестра Конрик. Сейчас мы вас устроим.

Джэн медленно прошла вслед за ней по длинному проходу между двумя рядами коек. Щеки ее пылали. Она чувствовала, что взгляды больных прикованы к ней, что все они оценивающе разглядывают ее. Ноги у нее подгибались, словно шланг от пылесоса, и она нетвердо ставила их, выворачивая носками наружу; ей казалось, что колени у нее могут в любую минуту подогнуться, и, когда ей приходилось отрывать ступни от пола, они казались ей невероятно тяжелыми.

Ей казалось, что вся палата видит, как плохо она ходит. Но она шла, и это было сейчас очень важно.

«Надо войти туда, даже если вы свалитесь после этого», — сказал доктор, и она продолжала идти, хотя ей казалось, что не будет конца этому длинному натертому проходу между койками, тянувшемуся, наверно, на целые мили.

Сестра остановилась.

— Немного устали, правда?

Сильная рука обхватила ее вокруг талии.

— Пойдем, малышка, осталось всего с полмили.

Джэн доковыляла таким образом до кровати в дальнем углу палаты.

— Ну вот здесь. Теперь садись и отдохни немножко, а потом сможешь лечь.

Это была крупная женщина, сильная и ловкая, с мускулистыми руками и приятным скуластым лицом. Джэн благодарно опустилась на стул. Она дрожала, руки и ноги у нее будто налились свинцом.

— Сейчас все будет в порядке, — проговорила она, с трудом переводя дух, — я просто...

— Знаю, — сестра потрепала ее по плечу. — А вот ваша соседка — миссис Лэмберт.

Миссис Лэмберт подняла на них синие, будто нарисованные на фарфоре глаза, нервно улыбнулась и снова отвела взгляд, побормотав:

— Рада познакомиться.

Сестра окинула взглядом палату и крикнула:

— Девочки! Это миссис Темплтон, я хочу, чтоб вы за ней присматривали, пока она не освоится. Может, чашечку чая кто-нибудь приготовит?

Женщина, лежавшая напротив Джэн, кивнула.

— Будьте так добры, милочка, приготовьте для нашей новенькой.

Женщина снова хмуро кивнула. Ее дряблые щеки свисали над ярко-красной пижамной курткой, седые пряди спадали ей на лицо. Над ее постелью висела большая табличка с надписью «Молчание».

— Ну, а теперь, если ноги у вас отошли немного, давайте захватим вашу ночную рубашку, халат и отправимся в ванную. Вы и полотенце тоже с собой захватили? Умница! Переоденстесь и — в постельку, а тем временем миссис Майерс приготовит вам чашечку чаю. Она у нас по этой части лучший специалист во всей палате.

При этих словах тусклые карие глаза миссис Майерс просияли. Она с собачьей преданностью взглянула вслед сестре и стала натягивать халат.

II

Возвращаясь из ванной в палату, Джэн испытала то же чувство, что и вначале, когда она шла между рядами коек, — такое чувство, будто она голая. Никто не смотрел на нее открыто, но она знала, что все они следят за ней из-под полуопущенных ресниц, как бы мысленно оценивая ее. Когда ты вот так прикован к постели, появление новичка в палате настоящее событие, нарушающее монотонное однообразие жизни.

Джэн юркнула в постель и со вздохом облегчения натянула на себя простыню, будто отгораживаясь от других.

Миссис Лэмберт снова улыбнулась ей своей нервной улыбкой и вернулась к чтению. С чашкой дымящегося чая к ней медленно подошла миссис Майерс. Чашка была толстостенная, а на блюдечке лежало два печенья.

— Большое вам спасибо! Вы так добры ко мне! — проговорила Джэн.

Что-то сверкнуло в темных глазах миссис Майерс, и опущенные уголки ее рта дрогнули. Она ничего не ответила Джэн. Повернувшись, она тяжело заковыляла к своей постели, легла и стала пить чай, шумно втягивая в себя горячую влагу и причмокивая.

Джэн тоже пила маленькими глоточками обжигающий небо чай и грызла печенье, внимательно разглядывая противоположную стену. В просветах между койками на противоположной стене были окна, но они были так высоко, что в них ничего нельзя было разглядеть: видна была лишь узкая полоска неба между оконной рамой и покатой крышей

веранды, примыкавшей к бараку снаружи. Но и эта полоска доставляла Джэн радость, она говорила о том, что тесные стены, в которые заключила ее болезнь, наконец, раздвинулись, и если это была еще и тюрьма, то, во всяком случае, тюрьма более просторная.

Подошел вечер, и горизонтальный луч солнца, проникнув через окно позади ее койки, упал на противоположную стену. Она радостно смотрела на золотистый зайчик, в котором плясала пятнистая тень ветки. Она уже забыла, как дрожат ветки на ветру, как дрожат и плещутся маленькие островки света — само солнце в миниатюре, солнце, которого ей отсюда не было видно.

Барт пришел после ужина, и на лице у него была его прежняя улыбка: тревоги и волнения, угнетавшие его по возвращении домой там, в городской квартире, здесь больше не тяготили его. Он рассказал, что уже беседовал с секретарем и договорился начать работу со следующего понедельника и что сегодня вечером он отправляется на поезде обратно в Сидней и будет жить у Чиллы до воскресенья.

— У тебя не будет времени навестить Дорин до возвращения?

— Найду время. Она ведь будет рада узнать, как у тебя дела. Что привезти из города?

— Только себя самого.

Барт сжал ее руку, и на сердце у него стало легко от того, что к ним вернулась надежда и что снова установились их прежние отношения.

Зазвонил колокольчик: час приема посетителей кончился.

— Ну, мне надо идти! Два дня пройдут, и я снова буду здесь. Тогда мы сможем видеться ежедневно. Тебе еще опротиветь успеют мои посещения.

— Ну этого-то я не боюсь!

— Надеюсь, тебе здесь будет неплохо.

— Я знаю, что так и будет. И я здесь обязательно поправлюсь.

— Вот теперь я узнаю свою жену.

Он склонился к ней, и поцелуй скрепил их возрождающую надежду.

III

Дневная сестра укладывала больных спать, бодро напутствуя каждого на прощание: «Приятного сна!»

«Приятного сна!» Эти слова казались насмешкой Джэн, лежавшей без сна в полутьме палаты, где единственная

тусклая лампочка мерцала над дальней койкой у входа. В палате, где днём казалось так тихо, теперь, как под гулками сводами погреба, разносились кашель и хриплое дыхание больных. Джэн отвернулась к стене, чтобы не видеть света, но она не могла отгородиться от тяжелого дыхания миссис Майерс, то и дело ерзавшей на подложенных под спину подушках, от беспрестанного кашля, доносившегося из дальнего конца палаты.

Джэн слушала, как позвякивают стаканы и больные наливают себе воду, как беспокойно мечутся люди, которые так долго пробыли в постели, что ночь стала для них лишь томительным продолжением дня.

С дальней койки у входа, освещенной тусклой лампочкой, доносились тихие монотонные стоны, прерываемые лишь ужасными приступами кашля. Джэн видела, как там, словно хватаясь за воздух, поднимается женская рука, когда больной не хватает воздуха. Джэн слышала, как булькает у нее в горле во время приступов кашля, который, кажется, никогда уже не прекратится и который вдруг прекращается, когда больше нет воздуха в легких. Потом снова раздаются тихие стоны, и больная мечется, беспрестанно поворачивая голову из стороны в сторону.

— Почему к ней никто не подойдет? — прошептала Джэн, вдруг охрипнув от страха.

Миссис Лэмберт глубоко вздохнула.

— Во всем здании только одна ночная няня и один санитар, а нас двести пятьдесят человек и за всеми надо присмотреть. Так что, как видите...

— Но все-таки кто-нибудь должен к ней подойти! Она, видно, в ужасном состоянии.

Джэн услышала, как всхлипнула миссис Лэмберт.

— В ужасном. Говорят, она сегодня ночью умрет.

Джэн в ужасе попыталась сесть на койке.

— Сегодня!

Ей никогда не приходилось видеть умирающих. Даже когда умерла та девушка в крайней комнате в Пайн Ридже, она не сразу узнала об этом.

Но здесь — в тусклом желтоватом свете лампочки, освещавшей обтянутое кожей худое лицо и вздрагивающее в конвульсиях тело задыхавшейся женщины, — здесь перед Джэн предстала сама смерть.

Она прислушивалась к беспрестанным приступам удушья, к бульканью в горле, к раздрающему грудную клетку кашлю, после которого больная лежала без движе-

ния, обессиленная. И не выдержав всего этого, Джэн почти крикнула миссис Лэмберт:

— Но ведь они заберут ее, правда же, они не заставят нас лежать вот так и слушать это, правда ведь?

— Не нужно нервничать,— донесся до нее торопливый шепот миссис Лэмберт.— В первую неделю, что я здесь провела, умерло трое. Я тогда думала, с ума сойду. Я никогда не видела раньше, как умирают, и теперь никогда не забуду этого. Вот почему я с вами сегодня разговаривать не могла. От страха. Тут такое поверье, что больные всегда по трое умирают. А последняя так тихо умерла, никто и не знал об этом. Вот почему для вас место освободилось.

— Здесь? Здесь, на этой койке? — прошептала Джэн с ужасом.

— Да нет! Когда хуже становится, то вас в тот конец палаты переводят — ближе к двери, чтобы сестре не так далеко было до вас добраться.

— Но теперь-то уж, конечно, сестра...

— А что еще сестра может поделать? Она ей укол сделала прежде, чем сдать смену, а ночная сестра придет к полуночи и сделает ей снова укол. Говорят, что больше ничего и нельзя поделать.

— К полуночи!

А сейчас только девять. Джэн сжала руки. Агония умирающей привела в нервное возбуждение всю палату. Стены гулким эхом отзывались на ее всхлипывающее дыхание, прерывистые стоны и ужасный, нескончаемый, мучительный кашель. Больные беспокойно ерзали на койках.

К двенадцати часам пришла ночная сестра и сделала умирающей укол. Несколько минут она постояла у ее постели. Потом снова ушла.

— Но ведь могла бы она побыть здесь хоть еще немного!

— У нее слишком много дел.— Миссис Лэмберт села, откинув простыню.— На той половине умирает мужчина, и она небось мечется между ними двумя.

Джэн видела, как застыло на постели в неловкой позе худенькое тело соседки, как судорожно сжимаются и разжимаются ее руки.

— Я этого не вынесу,— шептала она,— я этого не вынесу. Мне так страшно!

Джэн почувствовала, что на нее тоже, как морские волны, накатывают приступы страха. Обе они сидели, не

двигаясь, на постели, пока не забрезжил первый серый рас-
светный луч и на том конце палаты не затихло в непо-
движности тело.

Первый день работы у Барта прошел, как в тумане. Он ничего подобного не испытывал за всю свою жизнь, да и представить себе не мог. За всю жизнь он лишь несколько недель провел в госпитале после кампании в Кокоде — у него тогда было несерьезное, но болезненное ранение. Правда, были еще Пайн Ридж и Локлин, куда он приходил как посетитель, но к тому времени, как он приходил, самая неприятная часть больничных процедур бывала закончена, и он видел больных уже подготовленными к приходу посетителей. Даже недели, проведенные вдвоем с Джэн в городской квартирке, как оказалось, слабо подготовили его к работе в Спрингвейле. Самую неприятную работу там выполняла сестра Даггин, и большую часть дня его не бывало дома.

К тому же в Сиднее его поддерживало еще какое-то состояние искусственного возбуждения. Он не мог не знать, что все считают его в некотором роде героем. Может, он сам не стал бы так заноситься, но он все время чувствовал, как согревают и подбадривают его и уважение Дорин, и высказывания доктора, и похвалы сестры Даггин, и изумленное восхищение Чиллы. И прежде всего Джэн. Все, что он делал, он делал для Джэн. С ним были ее любовь и ее благодарность. Здесь же была только работа — работа, не скрашенная присутствием Джэн.

Сбстановка больницы и ее атмосфера угнетали его — неопрятные, обшарпанные строения, переполненные палаты, измученный работой персонал.

Палата № 21, в которую он был назначен, была по виду такая же, как и все другие палаты, — длинный узкий барак с широкой верандой, крытый железом и обшитый досками. Когда-то здесь были военные казармы; приспособившая их под больничные корпуса, к ним пристроили веранды и в каждом корпусе отгородили конец палаты: туда клали тяжелобольного, когда становилось ясно, что он уже умирает.

Барт был отдан на попечение Уэстону, одному из санитаров. Это был невысокий серьезный человек, энтузиаст своего дела, проработавший санитаром уже семь лет. В от-

лично от остальных санитаров, которые согласились на эту работу временно, только потому, что ничего другого не подвернулось, он специально готовился к экзаменам на эту должность.

Как долго Барт собирается здесь пробыть?

Барт ответил, что он будет здесь столько, сколько здесь будет Джэн. Врачи говорят, что это «примерно на год». Он проторчит здесь год, а когда Джэн поправится, они оба уедут куда-нибудь подальше, чтобы никогда больше не слышать этого слова — «туберкулез» и не видеть его жертв.

Уэстон, знакомивший в это время Барта с его обязанностями, ничего не ответил на его горячую тираду. Он только пожал плечами и тут же выбежал из комнаты, услышав звонок, вызывавший его в палату.

Барт просматривал список своих обязанностей, и при этом его на мгновение охватило непреодолимое желание бежать прочь отсюда. «Не по мне все это дело — все эти утки, писсуары. Не могу я этим заниматься. С самого начала было сумасшествием согласиться на это. Нет, лучше удрать, пока не поздно, и подыскать работу где-нибудь поблизости. Джэн поймет меня. Джэн поймет, что я должен сохранить все силы для нее, чтобы приходиться и сидеть у ее постели после работы». Ну что же, скажите на милость, они оба выиграют, если он останется здесь и будет с утра до вечера выполнять отвратительную черную работу, ухаживая за людьми, которые ничего для него не значат? Он подошел к двери и вдохнул сухой прозрачный воздух долины. Он взглянул на потрескавшуюся асфальтовую дорожку, убегающую за соседние бараки. Вон они стоят здесь, приземистые и неприглядные, и каждый, повернувшись фасадом к дороге, обнажает свою убогую непривлекательность. Многие палаты вообще стоят закрытыми из-за нехватки персонала. Это зрелище его отрезвило. В Пайн Ридже по крайней мере можно было забыть, что там царит болезнь и даже смерть, потому что взгляд там невольно обращался к прекрасному ландшафту долины и неба. Но для того, чтобы лечиться в Пайн Ридже, нужны деньги, а когда денег больше нет, вас выбрасывают на улицу. Сюда же невозможно попасть, потому что многие палаты закрыты из-за недостатка средств. В каждой из пяти лачуг, которые еще работают, размещены по тридцать человек, и вот они лежат здесь месяцами и, может, годами, как лежит сейчас Джэн, лежат, глядя друг на друга через узкий проход в палате. Они не видят даже выжженных рыжих лугов, уходящих к острым забубринам холмов на горизонте. Они видят толь-

ко друг друга да еще низкие покатые крыши веранд, при-
мыкающих к домам снаружи.

«Если я уеду,— сказал он себе,— Джэн поймет, что я не смог вынести этого. А если я не могу вынести этого, то почему же должна она?»

Он повернулся и снова вошел в комнату. Вбежал Уэстон.

— Мориарти с восемнадцатой койки нужна утка. Возьми ее в стерилизаторе и пойдем со мной — я покажу тебе, как это делается. Он очень слаб. Его нужно поднимать очень осторожно, а то у него кожа на спине полопается и тогда уж не заживет.

Барт вытянул утку из стерилизатора и отправился вслед за Уэстоном выполнять свое первое задание.

||

Уже к середине первого дня работы Барт едва волочил ноги от усталости.

В палате было тридцать больных: двадцать внутри и десять снаружи — на веранде. Вначале он видел одни только лица: лица болезненно желтые, лица грубые, лица сияющие, розовые, молодые и старые — самые разные лица, и люди здесь тоже были самые разные, начиная с семидесятидевятилетнего дедушки до двенадцатилетнего горбатого мальчугана — правда, двенадцатилетний Билли Мейн уже так давно лежал в санатории, что тоже скорее напоминал сморщенного старичка, чем ребенка. Сейчас он сидел на постели, уставившись на Барта, пижама его была расстегнута, и голова под тяжестью горба склонялась на худую костлявую грудь. Билли провел восемь лет в мужской палате в Спрингвейле, и мир обыкновенного детства, наверно, показался бы ему совершенно чуждым и непонятным. Сейчас он махал тоненькой, как прутик, ручкой и, подражая взрослым больным, матерился, требуя у Барта утку.

Потом Барта вызвали раздавать ужин под придиричьим надзором сестры Суэйн. Была только половина третьего, но в санатории приходилось начинать ужин очень рано, иначе из-за недостатка обслуживающего персонала они бы не управились с ужином до ночи. Барт удивлялся, что больные вообще хоть что-то едят в эту послеполуночную январскую жару. Барт подал старику, известному здесь под именем Папаши, тарелку, на которой для быстроты были положены вместе и салат, и мясо, и хлеб, и масло. Папаша пытался усесться прямо, пока Барт подкладывал ему под спину подушки, и при этом стонал.

— Чертов ревматизм просто покою мне не дает,— пожаловался он и взял тарелку скрюченной, узловатой рукой.

— Фу! — Он ткнул в холодный кусок сосиски искривленным, распухшим в суставах пальцем,— такие грузчику жрать впору.— И он пристально посмотрел на Барта.— Я слышал, у тебя хозяйшка в третьей палате.

— Верно.— Барт только подивился, как быстро распространяются здесь слухи.

— Ну, так вот, если хочешь, чтоб она поправилась, то ты ей лучше пожевать что-нибудь купи, когда пойдешь в город, потому что после вот этого она до самого завтрака ничего больше не получит, кроме стакана молока, это уж точно.

— Хорошо, Папаша, так и сделаю.

Старик пожевал кусок хлеба беззубыми деснами.

— И ты не беспокойся. Тридцать лет назад доктора говорили, что мне жить остается шесть месяцев, а я уж трех докторов пережил.

И он беззвучно засмеялся, не скрывая, что гордится этой своей живучестью.

— Я и еще двух схороню, будь уверен,— добавил он, когда Барт принес чай его соседу.

До сих пор болезнь существовала для Барта лишь как мир женщины, с ее вечными заботами о своей внешности, с ее стремлением сохранить привлекательность в любых условиях. Здесь же все было по-другому. Здесь тоже был мир, где царила болезнь, но все же это был мужской мир — более жестокий, резкий и грубый. Мужчины, лежавшие здесь, тоже были больными, но все же это были мужчины. И они сохраняли свой соленый хлесткий юмор.

Палата № 21 была палата нелегкая. У нескольких больных туберкулезный процесс зашел уже далеко, и за ними требовался особый уход, а сестра, дежурившая здесь, старалась почти всю работу переложить на санитаров. Она была низенькая, пухлая, лицо у нее все время было какое-то обеспокоенное, а характер несдержанный.

— У нее язык, ну, просто крапива,— пооткровенничал с Бартом Гарри Пэкстон, один из больных, лежавших на веранде.

— Только что вот язык, а так сестра она совсем паршивая,— добавил его сосед.— Поговаривают, она раньше за слонами ухаживала в зоопарке.

Пэкстон сочувственно подмигнул Барту.

— Да, друг, ты у нее попрыгаешь.

— Ух! Она такая тварь ленивая! Никогда лишний раз задницу не поднимет. Помирать будешь, а она только завопит, чтоб санитар пришел. Да вот, слышишь!

В окно донесся голос сестры Суэйн:

— Куда он запропастился, этот новый санитар, что у него, ноги отнялись, что ли?

Барт вышел из палаты.

III

В тот вечер Барт чувствовал себя таким усталым, что не мог ни переодеться, ни навестить Джэн. Он с изумлением смотрел на Уэстона, который, казалось, нисколько не устал и еще уселся за стол заниматься — такой же подтянутый, аккуратный и энергичный, как утром.

— Диву на тебя даюсь, Джэк. Просто не знаю, как тебе это удастся. Я тебя вдвое больше и то едва до дому дополз после работы!

Уэстон едва заметно улыбнулся, обнажив выпирающие вперед зубы.

— Ты слишком много бегаешь. Учись беречь свою энергию. Нельзя сказать, чтобы ты не то делал, что надо, ты просто все не так делаешь.

— Да уж наверно, особенно если сравнивать с тобой и с сестрой Суэйн.

— Когда ты узнаешь ее поближе, ты увидишь, что у нее тоже есть свои достоинства.

— Можешь взять ее себе. Мне ни сама она не нравится, ни ее замашки, ни ее язык.

— Привыкнешь. С ней в паре работать, конечно, больше ответственности.

— И работы тоже.

Уэстон задумчиво пожевал губами.

— Она уже двадцать четыре года за туберкулезными ухаживает, а ведь это самые тяжелые больные.

— Тем более ей бы не следовало вести себя так.

— А я ее и не оправдываю, я просто объясняю. Здешняя жизнь любую женщину может ожесточить. Она здесь работает в этих ужасных условиях, пока все здоровье не потеряет, а когда состарится, то получит только скудную пенсию по старости.

Барт удивленно покачал головой.

— Одного не могу понять: отчего люди со всем этим ужасом мирятся? Бьюсь об заклад, что даже в тюрьме таких дряхлых тюремщиков нет, как эти старые неумытые развалины, что здесь работают.

— Но труд их очень дешев — вот почему их тут держат. Правительство платит им шиллинг в день, а им куда ж еще идти — разве что в тюрьму, в богадельню или в приют для алкоголиков. Да и чего от них требовать можно за шиллинг-то в день?

Барт со вздохом вспомнил военные дни.

— Эх, подумать только, как за нами в военном госпитале ухаживали!

— А! Вот мы и до сути дошли. На войну и разрушение никогда в деньгах недостатка не было, — глаза у Уэстона сверкнули под очками, и он погрозил Барту пером, — того, что мы тратили на войну в одну неделю, хватило бы, чтоб для всех туберкулезников, сколько их есть в Австралии, достаточно санаториев настроить. Доктор Хейг как-то сказал, что мы за одно поколение могли бы от этой болезни избавиться. Так, думаешь, они это сделают? Как бы не так!

Он помолчал и резко добавил:

— Ну ладно, мне заниматься надо. У меня через две недели экзамен.

Он критически осмотрел Барта.

— Я думаю, тебе лучше будет повязать тот галстук, в котором ты сюда в первый раз приехал, вместо этого. Твоей жене приятно будет, если ты как можно лучше будешь выглядеть, когда придешь ее навестить. Ты и не представляешь, наверное, как важно для больного, чтобы посетитель, который его навещает, выглядел как можно лучше.

Барт со все возрастающим изумлением глядел на маленького человечка.

— Черт бы меня подрал, если...

— Да, да, психология больного — вещь очень важная.

— Ну ладно! Твоя взяла.

Барт переменял галстук.

IV

Барт проходил по третьей палате, улыбаясь, кивком приветствуя женщин и отмечая про себя их героические усилия выглядеть как можно лучше. Санаторий был расположен далеко от города, и потому лишь немногим счастливицам выпадало встречать посетителей, да и то лишь по субботам и воскресеньям. И все же в посетительский час они каждый день прихорашивались, расчесывали волосы, пудрились и красили губы.

Джэн сидела, облокотившись на подложенные под спину подушки, и, когда он увидел ее лицо, ее глаза, следив-

шие за его приближением, он почувствовал, что ради этого можно перенести все.

И только сейчас он по-настоящему обрадовался, что согласился на эту работу. Он выдержит это, как бы тяжело ему ни пришлось. Он должен выдержать это ради Джэн.

— Здравствуй, родная! — Он поцеловал ее, ощутив на губах прикосновение ее пересохших горячечных губ. — Ну как ты себя чувствуешь сегодня?

— Чудесно! Особенно когда ты здесь. — Голос ее прозвучал хриплым, и она крепко сжала его руку.

«Какое-то смятение у нее на лице, почти страх, — подумал он. — Интересно, хорошо ли с ней обращаются?» Он ощутил приступ бессильного гнева: «Упаси боже, если увижу, что кто-нибудь плохо обращается с Джэн!» Если бы с ней кто-нибудь посмел заговорить так, как сестра Суэйн разговаривала с больными двадцать первой палаты, он бы, кажется, его на месте убил.

Джэн во всех подробностях рассказала ему об осмотрах и анализах, и ее рассказ подбодрил его. Ей уже сделали просвечивание, осмотрели горло, сделали анализ крови, анализ мокроты и произвели общий осмотр. Она не знала, для чего это все, но все было сделано очень тщательно.

— Мне сказали, что они всегда делают просвечивание перед пневмотораксом и после. Неудивительно, что Линда здесь выздоровела. Я и сама чувствую, что начинаю выздоравливать.

— Ну, теперь мы, кажется, чего-то добьемся наконец, — согласился Барт. — Столько анализов и осмотров — и все в первые же дни. Ха! Подумать, сколько бы это все стоило в другом месте!

Он чувствовал себя, как человек, который наконец выбрался на свет из подземного лабиринта, где он долгие месяцы плутал в тумане и мраке, хватаясь за стены. Если бы они так с самого начала сделали вместо того, чтобы плутать вокруг да около! Теперь, оглядываясь назад, он видел все их ошибки. Ведь тогда никто не помог им советом, никто не объяснил, чем все это грозит. Ну, да теперь все будет в порядке. Вот когда заболела Дорин, там не было ни ошибок, ни проволочек — и посмотрите, как здорово она идет на поправку. Без сомнения, с Джэн теперь будет то же самое.

Глаза Джэн остановились на его лице, и взгляд ее на мгновение просветлел. Она увидела в его глазах надежду на будущее. Их руки встретились.

— А как у тебя сегодня?

— Блестяще! Сестра сказала, что если так пойдет, то лет через пять у меня смогут обнаружиться кое-какие проблески интеллекта в количестве, достаточном для того, чтобы меня наняли убирать палаты.

У Джэн возмущенно вспыхнули глаза.

— Мерзкая старуха! Ты пошли ее ко мне, я ей расскажу, какая ты замечательная сиделка.

Комок подступил у него к горлу. Он сжал ей руку.

— Я научусь еще. Я только сейчас начинаю понимать, что тебе пришлось вытерпеть с такой сиделкой, как я.

— Жаль, что тебе попала не такая сестра, как наша сестра Конрик. Она просто изумительная.

— Я рад за тебя. А насчет этой старой карги ты не беспокойся. Она всех заставляет побегать. Тут она у одного больного нашла поллитровку в тумбочке. Ну, ты бы слышала, как она разорялась. Любой старшина бы мог позавидовать!

Оба засмеялись, но и, смеясь, Барт не переставал думать, отчего она так выглядит сегодня? Он никогда еще, кажется, не видел ее в таком состоянии: глаза глядят куда-то мимо, никогда она не была в таком нервном возбуждении.

«Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы он остался со мной еще немного,— молила она, стараясь скрыть свой испуг под застывшей на губах улыбкой.— Мне страшно. Если бы только Барт мог остаться со мной, мне не было бы так плохо».

— Так тебе действительно ничего не нужно? — спросил он, встревоженно вглядываясь в ее лицо.— У меня завтра будет несколько свободных часов после обеда, и я мог бы заскочить в город.

Она покачала головой.

— Нет. Просто сходи туда и выпей там кружку пива. Тебе нужно хоть ненадолго вырваться отсюда.

Барт согласился с ней.

— Ну что ж, это можно,— сказал он.— И ты, пожалуйста, обо мне не беспокойся. Я быстро научусь, и работа здесь ничего. А больные у меня так просто любопытные. Мне они вначале все показались на одно лицо, но уже к концу дня я обнаружил, что всё это интереснейшие типы.

Джэн смотрела мимо него, она нервно следила краем глаза, как сестра Конрик проходила по палате, как потом, склонившись над одной из больных, сделала ей укол.

«Боже милосердный, если ей суждено умереть, то пусть она умрет спокойно», — молила Джэн, и с губ ее при этом не сходила застывшая улыбка.

— Ты и вправду не хочешь, чтоб я тебе чего-нибудь купил? — снова спросил Барт.

Она покачала головой и с отвращением посмотрела на стакан молока, на поверхности которого уже собралась сметана.

— Ничего, милый.

Не могла же она рассказывать ему, что у нее тошнота подступает к горлу, что весь ее организм восстает при виде пищи, которую ей приносили, — жирных кусков мяса, непрожаренных отбивных котлет, вокруг которых уже застыл жир, водянистой тыквы, мятых черносливин, заварного крема с непроваренными комками и яичницы, о которой Шерли, ругаясь, говорила, что она делается из того же ба-рахла, что и крем, только вместо сахара в нее соль кладут.

Иногда Джэн с отчаянием думала, что вообще никогда больше не сможет прикоснуться к пище. Она с тоской вспоминала аппетитные блюда, которые готовила ей Дорин. Когда она вспоминала о Дорин, ее начинали душить слезы.

— Ну, что пишет сегодня Дорин? — спросил Барт.

Джэн с трудом заставила себя собраться с мыслями, чтобы ответить на его вопрос.

— Все чудесно. Она прибавила еще два фунта. Ей дают какое-то новое лекарство. Доктора ею очень довольны. Она пишет, что в Конкорде очень хорошо и что лечение там первоклассное.

— Приятные вести.

Дорин поправляется, Джэн испугана и подавлена. При этой мысли он ощутил безотчетную грусть.

Джэн с горечью подумала, насколько все было бы легче и для нее и для Барта, если бы она, как Дорин, могла с самого начала поехать куда-нибудь, где за ней бы по-настоящему ухаживали, если бы с самого начала они не терзались этой вечной заботой о деньгах.

— Ты не напишешь ей от моего имени? — Джэн опустила глаза. — Сестра Конрик считает, что мне для полного отдыха неплохо было бы примерно с месяц не писать совсем.

Что-то оборвалось у Барта внутри.

— Ну конечно. А где письмо Дорин?

— В верхнем ящике.

Барт вынул письмо, и пальцы его при этом дрожали. Может, они нашли у нее еще что-нибудь. Уэстон сказал

ему, что, когда больному запрещают писать, это обычно значит, что дела его не особенно хороши. Но он не находил в Джэн никакой перемены. Ничего, кроме того, что глаза ее смотрели все время куда-то мимо него. Это было так не похоже на нее. Но ведь тот же Уэстон говорил ему еще, что при туберкулезе ни о чем нельзя судить по внешности больного.

Простившись, наконец, с Джэн, Барт остановился поговорить с сестрой Конрик.

— О нет, ничего страшного,— ответила сестра на его расспросы,— просто я считаю, что если дать им в самом начале по возможности более полный отдых, то это только на пользу. А писать письма — это так утомительно.

— Мне показалось, что она что-то нервничает.

Сестра испуганно зашикала на него.

— Да, они все страшно взвинчены. У нас на той неделе был смертный случай, прошлой ночью был второй, ну, а ведь вы знаете, что за народ туберкулезники. У них примета: где второй, там всегда и третий. Так что мне на этой неделе достанется: каждая будет за температурой следить, как кот за мышью, и каждой будет казаться, что у нее кровохарканье началось.

— Но это же бесчеловечно так делать. А нельзя ли было б особенно тяжело больных совсем отдельно класть, как в мужской палате?

— Вы здесь много чего бесчеловечного найдете, мой мальчик, и в самом скором времени. Но мы все делаем, что возможно. У меня их здесь двадцать четыре души и двадцать две на веранде, так что прикиньте, как со всеми управиться, да еще женщине.

— Да я не вас имел в виду, сестра. Мне о вас Джэн много рассказывала.

— Ну, а теперь отправляйтесь, отдохните сами и не принимайте все это так близко к сердцу, а то вы здесь долго не продержитесь.

Сестра Конрик потрепала его по плечу и отправилась обратно в палату.

ГЛАВА 41

1

Тишина в третьей палате была обманчивой, под ее покровом таился страх. Поглядывая украдкой на соседок, Джэн думала, что об их мыслях нетрудно догадаться. Они молча измеряли себе температуру и записывали ее, не про-

пзнося ни слова. Каждая боялась взглянуть в лицо соседке. Каждая боялась, что в глазах ее прочтут этот немой вопрос, и каждая боялась прочесть этот вопрос в глазах соседки.

Завтрак они съели без обычных жалоб на еду, а многие даже съели все до крошки. И только миссис Лэмберт отодвинула тарелки, так и не притронувшись к ним. Взглянув на нее, Джэн торопливо опустила глаза и заставила себя приняться за безвкусный завтрак. Медленно, через силу, она все-таки съела его. В еде сейчас было ее спасение.

Вошла сестра Конрик. Она поздоровалась с преувеличенной веселостью, заявив, что это их счастье, что они сейчас в помещении, потому что на улице страшное пекло, дует западный ветер — вообще сущий ад. Она пересказала им несколько сенсационных санаторских сплетен, которые в другое время вызвали бы целую лавину жадных расспросов. Но сегодня все попытки сестры отвлечь женщин от их неотвязных мыслей о собственной судьбе пропали даром. Сестра остановилась у койки миссис Лэмберт и стала выговаривать ей за то, что она не съела свой завтрак.

Голова миссис Лэмберт конвульсивно дернулась на подушке, худая шея вздрогнула. Взглядом затравленного зверька она скользнула по палате, остановилась на мгновение на пустой койке у двери, потом снова встретилась с глазами сестры. Она поднесла обратную сторону ладони ко рту и, вздрагивая всем телом, прижимала ее к губам. Потом разразилась громкими неуправляемыми рыданиями. Сестра Конрик вздохнула и отправилась за нюхательной солью.

Джэн взяла книжку и отвернулась, стараясь не слышать этих безудержных рыданий. Нет, ей нельзя расстраиваться, она не может позволить себе этого. Она приехала сюда выздоравливать и не позволит, чтобы из-за каких-то глупых суеверий у нее снова началось обострение.

Мало-помалу рыдания стихли, и палата замерла, изнывая под раскаленной железной крышей от полуденного зноя, в котором, словно нечто весомое и осязаемое, повисла тишина.

«Она старается отвлечь нас от этого», — подумала Джэн, когда сестра Конрик снова вошла в палату, полная радостного возбуждения, которое, впрочем, никого не обмануло.

— Хотя вы и не заслужили такой хорошей сестры, как я, — сказала она, — ну, уж что поделаешь, раз я вас всех так люблю. Я тут из-за вас целую битву с «властями» выдержала и добилась, чтобы разрешили для вас передать

концерт по заявкам вместо репортажа о крупнейших скачках сезона, который мужчины требовали.

За право выбирать программу для внутренней трансляции по радио между палатами шла обычно самая яростная борьба, и одни всегда оставались в твердой уверенности, что предпочтение отдадут другим. На этой почве между женскими и мужскими палатами царила постоянная вражда: женщинам казалось, что передается слишком много спортивных репортажей, мужчины же были убеждены, что кто-то из тех «наверху» нарочно выбирает всю эту слюнявую бабскую дребедень, именно в те самые часы, когда можно услышать интересные спортивные репортажи.

Сестра Конрик обегала всю палату, расспрашивая, что бы они хотели услышать. Но третья палата никак не могла сделать выбор. Мирна, миловидная молоденькая учительница, предложила «Час классической музыки». Джэн поддержала ее, но на них зашикали сразу с полдюжину голосов и их обозвали «мудреными» и «задавалами».

Сестра Конрик останавливалась у каждой койки.

— Ну, а ты что выберешь, Робби? Ты здесь уже давно, так что на твой выбор можно положиться.

Мисс Робертсон, иссохшая тоненькая женщина, близкая подруга сестры, только заморгала в ответ.

— Что хотите, дорогая.

— Ну, мне просто стыдно за вас, Робби.

Сестра Конрик сердито отправилась к следующей койке.

— А вы, миссис Эверет?

Миссис Эверет повела своими большими грустными глазами и глухо прохрипела, что она бы лично хотела понастоящему приличную женскую передачу с рецептами приготовления пищи, чтоб раз уж им приходится есть эту мерзость, что здесь дают, так хоть вспомнить можно было бы, что есть на свете такая вещь, как хорошая кухня! Нескольким человек поддержали миссис Эверет.

Шерли заказала джазовую музыку.

— Ну-ка, дайте нам джазуху, сестра,— умоляла она, прищелкивая языком.

Но Шерли никто не поддержал. Ходили слухи, что ее снова положили в постель потому, что она тут как-то опять исчезла на два часа и «дала жизни»: на языке Шерли «дать жизни» означало провести время в одной из лачуг среди зарослей с любым мужчиной, который согласится ее туда сопровождать. И теперь женщины все, как одна, ненавидели Шерли за то, что у нее, кажется, не было ника-

кого обострения, хотя она нарушила правила и ушла из палаты ночью, чтобы провести время с кем-то из санитаров. И потому сегодня палата скорее согласилась бы слушать репортаж о крикетном матче, чем дать Шерли послушать ее «джазуху».

Миссис Холл, темноволосая хрупкая женщина с огромными зелеными глазами на тонком личике, мечтательно посмотрела на сестру.

— Если бы это было утром, я бы хотела услышать детскую передачу — знаете, эту — «Детский сад у микрофона». Я всегда слушала ее с моей малышкой.

Миссис Лэмберт снова разрыдалась.

Сестра Конрик в отчаянии всплеснула руками.

— Ну, вы просто невозможный народ, больше я ничего не могу сказать, все вы, все, все! Вот я пойду и сама выберу программу, а если вам не понравится, можете выключить.

Она возмущенно отправилась к выходу и в дверях остановилась, чтобы погрозить им всем кулаком.

— Если я вернусь и вы не будете слушать, я вам, ей-ей, головы всем поотрываю вместе с наушниками.

И вся третья палата, даже миссис Лэмберт, послушно надела наушники и стала слушать программу, выбранную сестрой Конрик, — смесь убогих мелодий, музыкального сопровождения рекламы и бесконечных увещаний принимать то-то и то-то, чтобы улучшить здоровье, носить то-то и то-то, чтобы улучшить фигуру, и употреблять такой-то и такой-то крем, чтобы улучшить цвет лица.

Джэн оглядела длинный ряд коек, но ничего не смогла прочитывать на лицах больных. Все они лежали с полуприкрытыми веками, откинувшись на подушки, прижав к голове наушники, и лица их такие различные и по чертам своим и по цвету: круглые и розовые, иссера-желтые и худые, огрубевшие или тонкие и красивые, — все эти лица были схожи в одном — на всех них лежал отпечаток какой-то скрытности. Даже когда глаза у них были открыты, как у маленькой миссис Холл, которая, не отрываясь, смотрела через противопожарное окно на узкую полоску неба, зажатую между краем окна и стоком наружной веранды, даже тогда нельзя было понять, о чем они думают.

«Тра-ла-ла-ла-ла-ла... —плыли звуки «Голубого Дуная». «Где второй, там и третий», — слова эти помимо ее воли настойчиво звучали у нее в голове.

«Это глупо, — говорила она себе, — это просто суеверие, правильно говорит Барт, что даже когда это случается, это, конечно, простое совпадение».

Джэн аккуратно сняла пепел от сигареты, попавший в послеобеденную чашку молока. Она должна пить молоко, она должна есть все, что ей приносят. Она не поддастся этому постыдному суеверию. Взять, к примеру, хотя бы Линду и Дорин. Да и сама ведь она уже начала поправляться. Она не будет, как миссис Лэмберт, лежать здесь и реветь в платок. Она достала печенье, которое принес ей Барт, и стала угощать миссис Лэмберт. Но та только покачала головой. Сестра Конкрик остановилась у них в ногах.

— Ну-ка, миссис Лэмберт, выпейте свое молоко и съешьте печенье, которым вас душечка миссис Темплтон угощает. И чтоб я больше не слышала от вас всей этой ерунды!

Миссис Лэмберт смотрела вслед сестре, как будто не понимая, о чем она говорит.

— Сестра,— умоляюще прошептала она, не шелохнувшись.— Сестра!

Сестра Конкрик обернулась.

— Ну, будете умницей?

Миссис Лэмберт теперь сидела на постели, и глаза ее лихорадочно сияли на исхудавшем сморщенном личике.

— Сестра, вы не могли бы вызвать по телефону моего мужа?

— Звонить вашему мужу? Боже мой, деточка! Чего ради звонить среди недели? Вы же знаете, доктор даже не позволит вам подойти к телефону.

— Знаю, но вы не смогли бы сами ему позвонить, ну, пожалуйста, сестрица, и попросите, чтоб он приехал за мной. Я хочу домой.

Сестра Конкрик удивленно взглянула на больную, потом рассмеялась с напускной веселостью.

— Так вам домой хочется, правда, девочка? — Она подошла к ней ближе и потрепала ее по влажным волосам.— Хорошенькие вы мне вещи говорите после того, как я для вас специальной передачи по радио добилась и все такое прочее. Ну-ну? Так мы вам больше не нравимся?

Миссис Лэмберт взяла в свои тонкие ручки большую и ловкую руку сестры и любовно сжала ее.

— Вы же знаете, что это не так, сестра. Просто... Просто я хочу домой — вот и все.

Сестра обняла миссис Лэмберт за дрожащие плечики и прижала к себе, словно испуганного ребенка.

— Ну, ну, детка, теперь вам уже недолго осталось ждать,— уговаривала она.— Последний снимок у вас был

хороший, и доктор был вами очень доволен. Так что уж вы теперь не портите все. Вы же помните, что случилось, когда вы домой вернулись в последний раз.

— Тогда совсем другое дело! Тогда у нас настоящего дома не было, мы жили в заливе Херн Бей в военном бараке из кровельного железа, знаете?.. Он сильно нагревался в жару, от этого мне и хуже стало. У меня б никогда этого кровоизлияния не случилось, если бы не жара,— она вцепилась в руку сестры.

— Ну вот, а теперь подождите немножечко, пока муж достанет для вас подходящее жилье, а вы чуть-чуть окрепнете, и тогда он приедет за вами в настоящей сказочной карете, и детишки ваши будут рядом скакать на белых лошадках, и мы устроим вам замечательные проводы тогда, правда, детка?

Миссис Лэмберт подняла на сестру Конрик умоляющий взгляд.

— Но я не могу ждать, сестра! Я должна сегодня же уехать домой.

— Ну хорошо, хорошо! — Сестра Конрик потрепала ее по плечу.— Вы ложитесь, а я пойду поговорю с доктором.

Через несколько минут сестра вернулась со шприцем. Миссис Лэмберт не протестовала. Она лежала молча, и ее широко раскрытые, полные муки глаза, не отрываясь, смотрели куда-то мимо сестры, словно видели что-то там вдали, чего не видел никто из них.

Сестра Конрик повысила голос:

— А ну, кто здесь еще в палате радио не слушает и молоко не пьет, а?

Замелькали десятки рук. Женщины поправляли наушники и подносили чашки к губам.

Сестра Конрик медленно шествовала вдоль палаты, поглядывая по сторонам, и с напускной свирепостью грозила им уткой.

— Если я увижу, что кто-нибудь из вас не ест, не пьет и не слушает радио, то тут же кверху попой поверну и приложу ей вот это судно другой стороной, да так, что не поздоровится. Слышали?

Со всех сторон послышался нервный смех, забулькало молоко, взволнованные глаза следили за сестрой. В наушниках слащавый тенор уверял каждую в том, что пойдет рука об руку с нею через просторы прекрасной золотой страны.

Кашель миссис Лэмберт пробудил Джэн от беспокойного сна. Больше никто во всей палате не пошевелился. Джэн не знала, сколько сейчас времени, в узкой полоске неба, что виднелась в противоположном окне между стоком веранды и подоконником, все еще светила одинокая звезда. Джэн пошарила рукой, ища выключатель, и в тусклом свете надкроватной лампочки увидела, что миссис Лэмберт всем телом подалась вперед, словно это могло дать воздух ее страждущим легким. Джэн услышала, как она, всхлипывая, глотает воздух, как сдавленно шепчет, задыхаясь: «Сестра, сестра!»

Не снимая руки с кнопки звонка, Джэн соскользнула с кровати, ощутив под ногами прикосновение холодного пола. Сердце ее отчаянно колотилось, и все в ней возмущалось при одной мысли о том, чтоб прикоснуться к этому телу, корчившемуся в ужасной борьбе с удушьем. В этом теле больше не было ничего человеческого. Это был предмет.

Затем совершенно машинально Джэн приподняла миссис Лэмберт и прислонила ее к подушке. Она почувствовала, как рука молодой женщины вцепилась ей в запястье, как будто таща ее за собой куда-то во мрак, где шла сейчас борьба между жизнью и смертью. Джэн услышала какой-то хрип и клекот у нее в горле, потом кашель потряс тело миссис Лэмберт, и изо рта у нее теплой струей полилась кровь, обливая ночную рубашку, простыни и зажатую, как в тисках, руку Джэн.

Подошла ночная сестра. Она оттолкнула Джэн и, назвав ее дурочкой, велела ей немедленно идти в ванную, отмыть руки и переменить ночную рубашку. Вернувшись, Джэн юркнула в постель и лежала там, застыв в неловкой, напряженной позе. Потом она ощутила укол в руку, и блаженная дремота, разлившись с наркотиком по ее телу, отгородила ее спасительной стеной от агонии миссис Лэмберт.

Когда на следующее утро Джэн пришла в сознание, койка миссис Лэмберт была уже пуста. И хотя Джэн была еще слишком оглушена наркотиком, чтоб обратить на это внимание, она все же заметила, что прежней нервозности в палате не было — неумолимый третий удар обрушился, и палата № 3 вернулась к обычной жизни.

На следующий день Барт получил записку с просьбой зайти в кабинет глазного врача. Он шел туда, полный самых радужных надежд. Все очень хорошо отзывались о докторе Хейге. и сейчас, впервые знакомясь с ним, Барт почувствовал, что действительно все в этом человеке располагает к доверию. У него было удивительно молодое и свежее лицо, но держался он со спокойным достоинством, внушавшим уважение.

Доктор Хейг просто и приветливо пригласил Барта сесть в кресло и предложил ему сигарету, потом подошел к себе ворох врачебных рапортов, на самом верхнем из которых Барт прочитал имя Джэн.

— Я подумал, что вы, наверно, хотели бы поговорить со мной о миссис Темплтон.

Он постукивал пальцами по бумагам, задумчиво хмурился.

— Она, вероятно, уже сама рассказывала вам, что мы ей сделали просвечивание, несколько анализов и произвели всесторонний осмотр.

Он вопросительно взглянул на Барта.

— Мне нет нужды повторять это все снова, поскольку вам, видимо, обо всем подробно рассказывали?

Барт улыбнулся.

— Да, мы оба были так рады, что наконец что-то стало налаживаться.

— М-да...

Доктор помялся и помолчал немного, сдвинув свои густые брови.

— Когда в последний раз миссис Темплтон была на просвечивании перед тем, как приехать сюда?

Барт задумался, прикидывая в уме сроки.

— Дайте мне сообразить — так, это было, по-моему, около полутора месяцев назад. Она была на рентгене через три недели после возвращения с гор.

— У вас есть этот снимок?

— Нет, он у доктора Мёрчисона Лейда.

— Вы не помните, каково было его заключение?

— Я точно не помню медицинских терминов, но он тогда сказал, что заключение подтверждает его мнение о том, что продолжать пневмоторакс больше нет нужды.

— И все?

— Да, и еще, что он не видит, почему бы ей теперь не идти на поправку. Если бы еще что-нибудь важное было, я бы ни за что не пропустил.

Что-то в поведении доктора Хейга заставило Барта вдруг замолчать, прервав свои объяснения.

— А что, доктор, разве с ней что-нибудь случилось? — настойчиво спросил Барт.

— Видите ли, Темплтон, мне очень жаль вас расстраивать, но вчерашний осмотр показал изменения в состоянии вашей жены.

— Ей хуже, доктор?

— К сожалению, как показало просвечивание, теперь поражены оба легких.

— Но ведь, когда она из Пайн Риджа вернулась, только одно легкое...

Барт пытался собрать пришедшие в смятение мысли.

— И насколько это серьезно?

— К сожалению, дело зашло довольно далеко.

Барт поднялся и яростно швырнул окурок в камин. Когда он повернулся к доктору, лицо его было искажено от гнева.

— Если дела так плохи, то доктор Мёрчисон Лейд должен был бы знать об этом. Почему же он ничего не сказал нам?

Доктор Хейг пожал плечами.

— Из того, что у вашей жены теперь двустороннее заражение, не следует, что его можно было увидеть при просвечивании три месяца назад. Без сомнения, те месяцы, что вашей жене пришлось провести дома без надлежащего ухода, значительно ухудшили ее состояние.

— Во всяком случае Лейд должен был знать во время прошлого просвечивания, что ее второму легкому тоже грозит опасность. Если бы он мне все прямо тогда сказал, я бы любым путем денег достал и устроил ее в больницу. Доктор вздохнул.

— Теперь бесполезно возвращаться к этому. Садитесь-ка и выслушайте меня.

Лицо у Барта скривилось от злобы, и казалось, что руки его судорожно сжимаются вокруг чьего-то воображаемого горла.

— Ух, если бы мне этот лживый мерзавец в руки попался...

— Прекратите это!

Голос доктора привел его в чувство.

— Бранью мы тут ничего не добьемся. Единственное, что сейчас можно сделать,— это установить, как надо лучше лечить вашу жену, а если вы будете себя так вести, то от вас помощь будет невелика.

Барт закусил губу, стараясь снова овладеть собой. Руки его были судорожно сжаты. Наконец он сел и после долгого молчания заговорил:

— Простите, доктор! Просто мы оба так ликовали, когда здесь освободилось место. Нам казалось, что кончились, наконец, все наши невзгоды. А теперь еще это! Так что я немного не в себе.

— Вам нечего извиняться передо мной. Я понимаю, что вы должны переживать; я о вас много слышал от заведующего туберкулезным отделением в Сиднее. Я, пожалуй, и вам тоже что-нибудь укрепляющее пропишу. Вы ж небось совсем измотаны после всего, что пришлось перенести.

Барт подозрительно взглянул на врача.

— Ах это? Нет, нет, ничего такого у вас нет. Ваш снимок показал, что у вас совершенно здоровые легкие. Любопытная вещь,— вам это может показаться интересным — инфекция от мужа к жене и наоборот передается довольно редко. И не берусь даже сказать почему, ведь вообще в семьях случаи заражения очень часты. Но, так или иначе, укрепляющее средство вам не повредит. Вряд ли работа здесь покажется вам легкой или приятной. Откровенно говоря, когда я услышал, что вы хотите приехать, мне эта затея поначалу вовсе не улыбалась! Но теперь, когда я с вами повидался, я себя чувствую спокойнее.

Он замолчал и поправил стопку бумаг на столе.

— Сейчас мы начнем вашей жене курс стрептомицина.

Барт озадаченно взглянул на врача.

— Но доктор Мёрчисон Лейд сказал, что в ее случае это не подходит.

— В то время, вероятно, не подходило, но сейчас совсем другое дело.

Барт снова настороженно поднял взгляд.

— А что, у нее еще что-нибудь появилось?

— К сожалению, да. Я заметил, что голос у нее стал хриплым. И вот осмотр показал, что у вашей жены туберкулез гортани.

Барт продолжал смотреть на главного врача, не в силах выговорить ни слова.

— Это, как вам известно, весьма серьезно, но, к счастью, в таких случаях великолепно помогает стрептомицин.

Барт провел по глазам тыльной стороной ладони, как будто отгоняя заволакивавший их туман.

— Простите, доктор, но это ваше сообщение меня здорово стукнуло,— он помолчал. Потом вдруг выпалил с отчаянием:— А есть ли надежда, доктор?

Доктор складывал бумаги в папку. Барту показалось вначале, что доктор не расслышал его слов. Потом он заговорил, медленно, обдумывая каждое слово:

— Будем возлагать надежду на современную науку и хороший уход... Есть еще один момент, который мы должны обдумать с вами: что мы ей расскажем?

Барт попытался сосредоточиться, но мысли его были в смятении.

— Ну, так что? — спросил доктор.

Барт растерянно пожал плечами.

— А ей обязательно нужно говорить что-нибудь?

— Ваша жена умница, Темплтон. А как иначе вы объясните ей необходимость уколов?

Барт почувствовал на плечах тяжелый груз ответственности. Нужно было принимать решение. Рассказать Джэн все — значило бросить на нее зловещую тень смерти, а он вовсе не собирается уступать ее смерти.

— Хорошо,— сказал он наконец.— Мы ей расскажем насчет гортани, но ничего не скажем о втором легком. Тогда она будет знать, что нужно бороться, но не будет чувствовать, что силы в этой борьбе так неравны.

— Давайте сделаем так.— Доктор Хейг встал и улыбнулся ему.— Если речь зашла о борьбе, то я буду на вашей стороне, как бы тяжело ни пришлось.

— Скажите, а она...— Барт запнулся. Он не мог заставить себя спросить о том, что ему больше всего хотелось узнать.

— Поправится ли она, вы, наверно, это хотели спросить?

Барт кивнул.

— Ну, вы теперь, вероятно, не хуже моего знаете, что я не могу ответить на этот вопрос. В былые времена у больного в ее состоянии надежды почти не оставалось, но при помощи стрептомицина иногда удается достичь замечательных результатов. И если только он на нее подействует положительно, то в ближайшее же время вы увидите

разительную перемену. Запомните: я не обещаю вам чуда. Надеюсь, вы и сами это понимаете?

— Понимаю.

Барт толкнул дверь и вышел на улицу. «Я не обещаю вам чуда». Слова эти снова и снова всплывали в его памяти. Чудо? А что такое чудо?! Линда называла себя ходячим чудом. За время болезни Джэн он уже столько раз слышал обнадеживающие прогнозы врачей, что сдержанная формулировка доктора Хейга даже показалась ему успокаивающей. «Я не обещаю вам чуда...»

Он остановился на ступеньках крыльца, окинул взглядом выжженные солнцем луга, белевшие, как слоновая кость, под палящими лучами солнца и уходившие далеко-далеко, туда, где у самого горизонта на фоне неба виднелись голые отроги бурых скал. И в душе его шевельнулась надежда.

Они сотворят чудо.

II

Третья палата предвкушала перемены. Сестра Конрик решила устроить перестановку. За двадцать лет ухода за туберкулезными больными она пришла к выводу, что ничто так не поднимает дух больного, как некоторая перемена обстановки, даже если это просто новая стена или новый сосед по койке. Это отвлекает их мысли от жары и от самих себя.

— Ну, а теперь, миссис Темплтон,—скомандовала сестра,—выбирайтесь-ка отсюда. Достаточно вы тут кисли в этом углу. Мы вас на другой стороне положим, в центре палаты. Будете там лежать между двумя юными и веселыми существами. К тому же вы там сможете посмотреть на наших девочек, а палата посмотрит на вас. Ну-ка, наденьте халатик и туфли. Захватите, что сможете, а остальное я вам перенесу из тумбочки. Вот ваша снежная буря. Вам она понадобится еще рядом с Шерли.

Сестра передала Джэн стеклянный шар.

Джэн медленно прошла по проходу между койками — мимо молча следившей за ней глазами миссис Майерс, мимо койки миссис Лэмберт, на которой лежала только сегодня прибывшая новенькая, мимо других коек, откуда на нее глядели теперь уже не чужие лица — лица, которые она за неделю успела изучить, так же как свое собственное, — прошла мимо двери, ведущей в ванную и в уборные. Ноги у нее подкашивались, как в день приезда. Как тогда, Джэн

ощутила на своем лице взгляды больных, но теперь они глядели на нее уже без любопытства — они успели приглядеться к ней, так же как и она к ним.

Новая соседка Джэн, хорошенькая учительница, радостно приветствовала ее.

— Я вас положила вместе, девочки, потому что вы обе такие мудреные и обе с ума сходите по книжкам и по хорошей музыке, — сказала сестра Конрик, складывая в тумбочку пожитки Джэн. — Так что не ссорьтесь!

— Да мы не поссоримся. Меня зовут Мирна, если вы еще не знаете. А вас как? Не звать же мне вас миссис Темплтон.

— Джэн.

Впервые после смерти миссис Лэмберт ей стало легче.

— Ну вот и хорошо, Джэн, теперь нас будет две мудреных.

С другой кровати на нее смотрели дерзкие глаза Шерли.

— Эй, сестра, — пожаловалась она наконец, — вы что же, и впрямь хотите меня положить с этими длинноволосыми?

— Ничего, пока вы не вцепитесь друг другу в волосы, все будет хорошо!

Сестра Конрик остановилась у нее в ногах и погрозила ей пальцем.

— Видели? — Большой крашенный рот Шерли тронула лукавая улыбка. — Вы строги со мной, а сестра, — милочка... А я-то думала, что я ваша любимица!

Сестра Конрик строго посмотрела на нее.

— Если б не твой двойной пневмоторакс, Шерли, детка, я бы сейчас перевернула тебя и здорово нашлепала по заду после всего, что мне донесла ночная няня.

Шерли поморщила нос.

— Да какого черта! — весело крикнула Шерли вдогонку сестре. — По мне, уж так: хоть недолго пожить, да весело.

Сестра Конрик остановилась на полпути и, обернувшись, ответила:

— Ну, может, эта жизнь у тебя и называется веселой, но если так дело пойдет, дитя мое, то короткой она будет наверняка. Девчата, которые сейчас спешат любить, вряд ли доживут до любви, что потом придет.

Шерли откинулась на подушку и серьезно взглянула на Джэн.

— Они, видно, и впрямь думают, что мы тут будем лежать и гнить заживо. По мне, лучше хоть немного повеселиться, пока есть еще у меня, на что мужчине посмотреть.

Джэн нервно улыбнулась ей. Она побаивалась острого язычка Шерли и боялась, что та изберет теперь ее объектом своего остроумия.

— А меня, детка, бояться нечего,— Шерли закурила и перебросила пачку Джэн.— Я тебя не съем. Я только лаю, а не кусаюсь. Так что лучше опасайся Мирны, когда она начинает с ума сходить по этому своему задавале.

Мирна вспыхнула и украдкой взглянула на фотографию, стоявшую на тумбочке.

Шерли выпустила колечко дыма.

— Бог ты мой, ты бы только его послушала. «Ми-и-рна,— передразнила она,— Мирна-а, мая дарага-ая!» Точь-в-точь как диктор на Эй-Би-Си¹.

Мирна с улыбкой взглянула на Джэн, и Джэн ответила ей сочувственной улыбкой.

ГЛАВА 43

1

Джэн наблюдала со своего нового места, как миссис Майерс безмолвно и тихо переселилась на противоположную койку, к которой сразу же прикрепили табличку «Молчание». Джэн предпочла бы, чтоб миссис Майерс не переселяли сюда: смотреть на нее было так тягостно. Зато Джэн видела теперь в соседнем окне ветку перцового дерева, тень которой раньше целый день дрожала на противоположной стене. Ветер яростно раскачивал ветку, и листва ее переливалась мелкой серебристо-зеленой рябью. А дальше, за листвой, можно было разглядеть изогнутую линию дальних холмов на фоне узенькой полоски неба, по которой были разбросаны тонкие перья облаков. Видеть даже эту веточку было для Джэн настоящим блаженством.

Она решила, что новое место должно ей понравиться во что бы то ни стало. Она не должна забывать, зачем она здесь. Она здесь, чтобы поправляться. Джэн решила лучше познакомиться со своими новыми соседями. Общество Мирны ее подбадривало; поведение Шерли, как бы вульгарна она ни была, напоминало о том, что жизнь за стенами третьей палаты идет своим чередом. Пусть это была та

¹ Эй-Би-Си -- австралийская радиовещательная корпорация.

сторона жизни, от которой Джэн всегда коробило, но все-таки это была жизнь.

Напротив них миссис Эверет, которой только накануне делали френикоэкзерес — расплющивание диафрагмального нерва, — рассказывала миссис Майерс все подробности вчерашней операции. По словам Шерли, она уже в третий раз излагала эту историю. Миссис Эверет сидела на постели, очень гордая тем, что она хоть раз оказалась в центре общего внимания.

— Смотрите, — она отвернула ворот своей пижамной куртки, — смотрите, какой рубец остался!

Джэн невольно взглянула на нее. Ей удалось разглядеть только маленький шрам у основания пухлой шеи миссис Эверет.

— Не умеют они операции делать, вот что. Где вы видели, чтоб такой рубец оставался при расплющивании!

— А больно было?

— Больно?! О! — при воспоминании об этом миссис Эверет даже глаза закатила. — Меня словно молнией стукнуло.

— Ох-ох-ох! Неужто в самом деле так больно? — заохала Шерли. — Да ты что думаешь, тебе одной, что ли, это делали? Ха, да я в тот же день, как мне операцию сделали, пешком из больницы ушла и одна домой отправилась.

— Ну, наверно, у тебя не такая была операция, как у меня, — не сдавалась миссис Эверет, — вон, глянь на рубец...

— Тьфу, плевать мне на твой рубец! Да он тютелька в тютельку такой же, как и у всех других. Вот еще, подумаешь, Мария Антуанетта нашлась. Да кабы моя воля, я б вообще и разговаривать об этой поганой чахотке под страхом казни запретила.

Миссис Эверет сдалась, продолжая что-то возмущенно бормотать себе под нос.

— А у меня идея, — объявила вдруг Мирна. Она села на койке и забарабанила ножницами по крышке тумбочки. — Слушайте, девочки! — крикнула она. — У меня идея! Давайте будем каждого, кто заговорит о своей температуре, о пневмотораксе и вообще упомянет о туберкулезе, штрафовать на пенни. Ну, что вы скажете?

Миссис Холл просияла.

— Просто замечательная мысль. Веселая компания нам сейчас нужнее всего.

— Ну так, — фыркнула Шерли, — а что мы сделаем со всеми этими пенни, «ролс-ройс» купим?

— Это мы можем потом решить,— сказала Мирна.— Как, все согласны?

Палата отозвалась одобрительным ропотом.

— Да, если только Шерли не улизнет со всеми денежками, чтоб подарок купить одному из своих дружков,— сказал кто-то.

Шерли бросила злобный взгляд в сторону говорившей.

— Заткнись ты!— огрызнулась она и громко прищелкнула языком, выражая презрение ко всей палате, да и к целому миру тоже.

Мирна выскользнула из постели и поставила на стол посреди палаты жестянку из-под ячменного сахара.

— Это для монеток!

— Я знаю, что мы с деньгами сделаем!— закричала миссис Холл и захлопала в ладоши.— Мы купим лотерейный билет. Вот и развлечение у нас будет. Будем следить за номерами по газетам.

— Боже ты мой!— простонала Шерли.— А народищу-то нас здесь! Подумаешь, шесть тысяч монет на двадцать четыре души. Да я одна столько в неделю загребала, когда янки были в Сиднее. Эх-эх!— Шерли даже вздохнула, припоминая лучшие времена.

Мирна похлопала по жестянке.

— Итак, состязание начинается, девочки. Подумайте только, у меня завтра рентген, а я не смогу вам рассказать, как там моя каверна.

Шерли вскочила и вытянула тоненькую руку, указывая на Мирну.

— Ага, мисс Мудреная! Первый пенни с вас!

Мирна в ужасе схватилась за голову.

— Боже правый! Ну что ты будешь делать? А я-то еще все старалась о чем-нибудь другом думать.

Мирна отправилась к своей тумбочке, взяла пенсовую монетку и, торжественно вернувшись к столу, бросила ее в жестянку.

— Это для вас урок будет, девочки, выбирайте для разговора темы поинтереснее.

II

Узенькая полоска неба за веткой перцового дерева в тот ветреный вечер отливала шафраном в лучах заката.

Сестра Конрик остановилась в ногах у Джэн.

— А ну, надень-ка свою пижамную курточку. Ты в ней гораздо лучше выглядишь. А то твой муженек уж скоро придет. Ты не забывай, что у тебя здесь соперниц поболь-

ше, чем в старом углу. Там только миссис Майерс этому твоему здоровенному парню глазки строила, а тут ведь Шерли под боком, так что ты уж принарядись как следует.

Джэн послушно надела свою голубую пижамную курточку. Шерли присвистнула:

— Эх! Если бы мне только попался в лапы этакий шикарный верзила!

Она даже глаза закатила.

— Ну-ну, ты можешь не вздыхать и глаза не закатывать. Он парень верный.

— Ха!— Шерли откинулась на подушку и сладострастно потянулась, закинув руки за голову.— Где вы видели такого зверя?

Джэн тоже откинулась на подушку, и впервые за время пребывания в Спрингвейле лицо ее осветила счастливая улыбка.

III

Барт катил по коридору кресло с горбатеньким Билли Мейном. Билли походя обругал дряхлого старичка, попавшего им на пути в рентгеновский кабинет, одного из тех, что нанимали здесь за шиллинг в день. Билли находился в Спрингвейле с четырех лет, и собственные родители, наверно, давно уже забыли о нем.

«Какие мысли прячутся за его недетским лицом?— думал Барт.— Только не детские мысли, уж это точно. Слыхом долго он пробыл в одной палате со взрослыми мужчинами, чтобы хоть что-нибудь детское уцелело в его языке или в образе мыслей». Билли почти не умел читать и писать, некому было обучить его самым простым вещам, которые должен знать каждый ребенок. Уэстон говорил, что, по мнению врачей, он долго не протянет, и, везя его сейчас в рентгеновский кабинет, Барт думал про себя, что на этой стадии болезни вряд ли даже есть нужда в просвечивании. Но, может быть, в этом состоянии для него вообще неважно, что с ним делают, важно теперь другое: рассматривая неясные контуры его полусгнивших легких, его искривленного позвоночника, врачи смогут узнать нечто такое, что позволит им помочь другим. А может, и помочь Джэн.

Когда Барт рассказал Уэстону о своем разговоре с доктором Хейгом, тот лишь озабоченно кивнул.

— Да при этой болезни никогда ничего нельзя сказать наверняка,— подтвердил он.— Главное — это поддерживать ее дух. Чем лучше настроение у больного, тем больше на-

дежды на выздоровление. Я видел, как выздоравливали люди, которых врачи уже приговорили к смерти...

Барт вкатил кресло с Билли в рентгеновский кабинет. Воздух здесь был спертый, все равно что в лисьей норе. Больному приходилось стоять, вдыхая пропитанный запахом потных тел воздух и глядя на рентгенолога, сидящего перед вертикальным экраном в свинцовых перчатках и свинцовом фартуке поверх белого халата, в ожидании, пока не привыкнут глаза. Но вот смутные очертания окружающих предметов начали проясняться, послышался шорох, короткий, отрывистый смех и густой гортанный голос доктора, со странным акцентом произносивший знакомые имена.

Стоя со списком больных в руке за экраном, около скрытой под абажуром лампы, повернутой так, чтобы свет не слепил глаза доктору, Барт всякий раз, когда больной подходил к светящемуся экрану, начинал испытывать сомнения: ведь на этом экране в темноте трепетал живой человеческий организм — слабо пульсировало сердце, шевелилась диафрагма, проступали очертания легких, сжатых пневмотораксом, тени ребер и весь скелет — оболочка человеческого тела.

То же сомнение шевелилось в нем, когда ему показывали рентгеновский снимок Джэн. Откуда им знать? Как смогут они по этому снимку судить о том, что происходит у нее внутри?

Доктор охотно рассказывал ему все, что он хотел знать, подробно объясняя значение рентгеновского снимка — снимка Джэн! Но, глядя, как сильные белые пальцы скользят по контурам, обозначающим каверны и скопление гноя, Барт не мог поверить, что все это правда. Разум говорил ему, что это Джэн, но все в нем содрогалось при виде расплывчатых очертаний плоти, окружавшей твердый скелет. Ему никогда не удавалось мысленно связать рентгеновский снимок с ее внешним обликом.

Что они могли понять в этом таинственном изображении? Как могут они сказать, что происходит там, у нее внутри? Откуда им знать, что сулят эти темные и светлые пятна? К добру они или к худу, эти просветы и тени? И как могут врачи понять, что это предсказывает: жизнь или смерть? Он продолжал исполнять свои обязанности, но мысль о Джэн не покидала его. Сегодня доктор Хейг собирался объяснить Джэн, почему ей необходимо начать курс стрептомицина. Как повлияет на Джэн это известие? Впадет ли она снова в отчаяние, как тогда в их городской квартирке? Или будет бороться?

Сменившись с дежурства, Барт поспешил к Джэн. Он больше не испытывал неловкости, пробираясь по узкому проходу между койками в палате № 3. Теперь он шел сюда как старый знакомый и наметанным взглядом подмечал не приглядные детали быта, которые не могли скрасить ни тщетные попытки женщин прихорошиться, ни усилия сестры Конрик украсить палату цветами.

Нет, нужно все-таки найти какой-то способ сделать поприглядней подобные места. Сделать так, чтобы палаты меньше походили на тюрьму. Ведь людям приходится так долго находиться в них. У него упало сердце при мысли о том, что Джэн еще не меньше года придется пробыть здесь, в этих унылых, серых стенах, придется лежать, глядя на длинные ряды коек и длинные ряды лиц, на которых в большей или меньшей степени отражаются те же самые страдания и тревоги, что мучат и ее.

Он боялся встретиться с ней взглядом, потому что она могла прочесть в его глазах страх, мучивший его самого с той самой минуты, как доктор Хейг сообщил ему о своем печальном открытии.

Но когда она поздоровалась с ним, у нее было веселое лицо, глаза ее сияли, и он не заметил в них ни тени тревоги. Когда он целовал ее, она нежно провела рукой по его лицу.

— Доктор Хейг сказал тебе?..— сразу же спросила она.

Он кивнул, боясь ответить что-либо.

— Ах, мне сразу стало легче,— прошептала она.— Я боялась...— На мгновение лицо ее омрачилось.— Я боялась, они скажут, что нужна торакопластика.

Он взял ее руки в свои, комок в горле душил его.

— Я бы не вынесла этой операции, но теперь, когда есть стрептомицин, я за свое горло не боюсь. Вспомни Линду.

Он заставил себя отвечать ей в тон.

— Ну, конечно. Вспомни хотя бы Линду.

— Как нам повезло, что я сюда попала и могу здесь получить стрептомицин, не думая о деньгах!

Да. Им действительно повезло.

— Доктор Хейг говорит, что мы захватили болезнь вовремя. Так что нам не о чем беспокоиться.

— Да. Не о чем беспокоиться...

— Я еще никогда так сильно не надеялась на выздоровление, как сейчас, с самого обострения в Пайн Ридже,— уверяла она.— Все-таки теперь они предпринимают что-то реальное, и я чувствую, что скоро начну поправляться.

Слова эти пробудили надежду в его душе.

— Они начали инъекции сегодня спозаранку и уже два укола сделали,— продолжала Джэн.— Слава богу, с тех пор как я была в Локлине, у них предписания изменились, и меня не колют каждые четыре часа, как Линду и Бетти.

— Ну и как?

— Прекрасно. Я уже себя лучше чувствую. Теперь мне понятно, что Линда имела в виду, когда говорила, что после этих уколов совсем другим человеком себя чувствуешь.

Барт нежно пожал ей руку.

— А мне не нужно, чтобы ты была другим человеком,— прошептал он.— Предпочитаю тебя такой, как ты была, старого образца.

Она весело рассмеялась, и он ощутил внезапную радость, вспомнив, что она не смеялась так с тех самых пор, как заболела.

— Ты должен поскорей написать обо всем Дорин. Вот она обрадуется!

— Ну уж не больше, чем я.

— Ну конечно,— Джэн ласково улыбнулась ему и сжала его руку.— Ах, милый, как это чудесно, что я наконец начала выздоравливать!

ГЛАВА 44

1

Барт бежал по двадцать первой палате, спеша на вызов Дэнни Мориарти. Барт проработал в Спрингвейле уже больше месяца, и теперь даже сестра Суэйн доверяла ему одному поднимать старого ирландца.

— Ну! Ты такой нежный. прямо мать родная, верзила ты этакий,— ворчал Дэнни, обхватывая Барта за шею костлявой рукой.

— Да ну, наверно, с чертом легче справиться, чем с тобой, старина Дэнни,— отвечал ему Барт, делая мучительную попытку усадить на судно это длинное иссохшее тело и при этом не ссаднить пролежни на его спине.

— Что же ты ругаешься, чертов паршивец, сопляк ты нахальный! Ну ладно, прощаю тебе все за твои здоровенные ручки. Вот Уэстон и сестра, господь благослови их обоих, они вдвоем меня обхватят со всех сторон, и то, кажется, столько еще болтается — на двоих хватит.

— Есть чему болтаться, длинный ты черт!

— Будешь длинным, сынок, коли одни кости останутся.

Барт осторожно подложил подушку под костлявую спи-

ну Дэнни, натываясь при этом на острые выступы его плеч, проступавшие сквозь пижаму. Барт смотрел на синие глаза старика, сиявшие на его морщинистом огрубелом лице.

— Эх, вот не думалось, когда покидал я свою бедную Ирландию, несчастную мою родину, ой, не думал я, когда в эту страну изобильную отправлялся, что до такого докачусь.

Барт нежно похлопал его по плечу, и ему показалось, что прямо через пижаму у Дэнни прощупываются все кости скелета. У Барта от ужаса дрожь пробежала по жилам. А что, если Джэн?..

— А все кризис наделал, сынок! Да в те времена небось все лесорубы в Австралии на одно пособие по безработице перебивались. Пять шиллингов десять пенсов — вот и все, что нам давали, сынок, вот и все. На это и воробья не прокормишь, а уж я был детина слава богу — рост шесть футов три дюйма, весил я шестнадцать стоунов, такой фигуры, как у меня, ты небось на своем веку-то и не видел, ну и, конечно, есть охота было три раза в день, а хватало-то денег всего на один раз.

— Да, туговато пришлось.

— У-у, совсем я синий стал, пока доковылял от Дорриго до Гипсленда и холодными ночами все дрожал под мокрым своим одеялом. Так ни разу и не привелось мне в теплой постели поспать, пока не свалился в один прекрасный день прямо на шоссе Принсиз Хайуэй и молочная цистерна меня в больницу не отвезла. А там, в больнице, мне доктор и сказал, что у меня это, как оно, нюмония, в общем воспаление легких. Так все и началось.

Он сжал потрескавшиеся губы, прикрыв ими крупные белые зубы, казавшиеся слишком большими в его иссохшем рту; голова его покачивалась на худой шее. Барт не мог оторвать взгляда от его напрягшегося тела. Дэнни молчал, голова его упала на грудь, глаза невидяще уставились в пустоту; его крупные худые колени вырисовывались под пижамой, придавая ему сходство с жуком-богомолом.

«Дэнни Мориарти, 33 года» — гласила табличка над его кроватью. От него остались только кости, туго натянутая желтая кожа, блестящие глаза да еще хлесткая речь, в которой иногда вдруг сверкали блески бывшего юмора, который, очевидно, был его неотъемлемой чертой до того, как туберкулез развел его легкие.

— Ничего не выходит, Барт! — Голова его опустилась еще ниже. — Я только зря время у тебя отнимаю. Наверно, просто немножко внимания захотелось после одной из

атомных атак сестрицы Суэйн. Да нет, только толку уже не будет. Забери-ка ты эту штуку! Тебе бы пожарный шланг сюда приволочь вместо нее.

Барт одной рукой обхватил Дэнни за спину, другую продел ему под колени.

— Боюсь, тут придется лебедку завести, чтобы меня поднимать.

Барт окликнул ходячего больного.

— А ну-ка, Олфи, помоги.

Олфи ловко выхватил судно, а Барт приподнял и бережно опустил на резиновый матрас огромное тело. Мгновение Дэнни оставался недвижимым, ловя воздух и дыша так коротко и часто, что воздух едва попадал ему в легкие.

— Ну, ну, успокойся. А ну-ка, глотни кислорода.

Барт приложил Дэнни маску к лицу и держал ее, пока дыхание у него не стало свободнее.

У Барта сдавило в горле при виде этого мужества и этой беспомощности — костлявой руки Дэнни, хватающей воздух, его темных волос и пожелтевшей кожи.

— Да, уж хлопот со мною до черта! Ведь стреляют же лошадей, так почему ж такую тушу, как я, жить оставляют? Чтоб вам тут всем хлопот добавить, что ли?

Его ясные глаза смотрели на Барта с болью и усмешкой.

— Ну, ну, давай! — Барт стал поправлять ему подушки. — Болтаешь только, все хочешь меня, беднягу, разжалобить, а сам-то знаешь, что тебя уж скоро отсюда выпишут.

Дэнни перевел дух, и его потрескавшиеся губы скривились в улыбке.

— Черта с два, Барт, боюсь, я здесь долгонько проваляюсь и вам всем еще от меня достанется. Мы, Мориарти, народ живучий, нас не скоро уходишь!

Дыхание его стало спокойнее, и он указал Барту на газету, лежавшую нераскрытой на тумбочке.

— Будь другом, отдай это Джимми Чэмберсу по дороге, ладно?

Джим Чэмберс был в палате единственным больным, возле койки которого не стояли бутылочки и баночки с разными фруктовыми пюре, вареньем и прочими яствами. Он никогда не покупал газету, не курил; как скряга, берег он каждый пенни и думал только о том, чтобы поскорей выписаться и вернуться на работу. Однажды он уже выписался из Спрингвейла, но снова был спешно водворен сюда с туберкулезным менингитом, от которого его лечили уколами.

Джим с благодарностью принял газету и отложил блокнот, в котором он делал какие-то вычисления.

— Вот подсчитывал, сколько там жена моя получает,— объяснил он.— Нет, Барт, не может она прожить на это да еще троих ребятишек прокормить. Нужно мне возвращаться на работу.

— Ты сперва сам поправься, Джимми, а потом уж о работе думать начнешь!

Глаза Чэмберса лихорадочно заблестели, когда он попал на страницу с объявлениями о найме на работу.

— Нет, ей там одной не управиться,— бормотал он вслед Барту.

У выхода на веранду Барт столкнулся с доморощенным букмекером палаты, собиравшим ставки и заключавшим пари к предстоящим скачкам. Официально игра здесь была запрещена, но на деле к ней относились весьма снисходительно. И все же Олфи предпочитал действовать, когда сестры Суйэн не было поблизости. Олфи знал здесь все ходы-выходы. Он попал в Спрингвейл девяти лет, и единственное, чему он здесь научился, так это любительскому букмекерству. Жизнь в раю представлялась Олфи в виде нескончаемой вереницы субботних вечеров, когда радио, включенное в каждой палате, трубит о результатах скачек и все головы склоняются над программой скачек и составленным по форме перечнем ставок.

— Ну что, Барт, ставишь? — спросил Олфи.

— А как же!

— На собак или на лошадей?

— Две ставки по пять шиллингов на Огнедышащего.

Олфи даже застонал и сделал пометку в своей выдавшей виды тетрадке.

— Елки, если он первым придет, вот я тогда в заваруху попаду.

И он двинулся дальше по палате, все еще качая головой и бормоча что-то себе под нос.

На веранде было впритык поставлено тринадцать коек. Деревянный навес предохранял больных только от неистовства дождя, сегодня же знойные порывы западного ветра беспрепятственно проникали на веранду, принося с собой клубы пыли.

— Навоз,— пожаловался Барту Гарри Пэкстон, попросив его вытащить соринку из глаза.— Каждый раз, когда этот поганый ветер дует, нас тут лошадиным навозом с конюшни засыпает.

— Надо посмотреть: может, нам с лошадьми местами обменяться?— лениво протянул его сосед. Тедди Хэррингтон провел на веранде четыре с половиной года, и они ожесточили его.

Сейчас Тедди занимался организацией проводов Рега Миллера, другого обитателя веранды. Главная трудность — постоянная проблема в Спрингвейле — заключалась в том, чтобы достать выпивку для прощальной вечеринки, да так, чтобы сестра Суэйн не узнала об этом. А отъезд Рега, по мнению Гарри Пэкстона, стоил того, чтоб его отметить.

— Он когда сюда приехал два года назад, так прямо на ладан дышал — три кровоизлияния и туберкулез гортани. А сейчас глянь-ка на него!

Барт взглянул на Рега, который смущенно улыбался, прислонившись к перилам веранды.

— Врачи говорили, ему и жить всего остается три месяца, а он их всех обдурил.

— Да, мне иногда кажется, что доктора в этой проклятой чахотке понимают не больше нашего.— В тягучем голосе Теда Хэррингтона слышалась усталая безнадежность.

Один из старичков, из тех, что «по шиллингу в день», задумчиво возивший щеткой взад и вперед по веранде, вдруг распрямился, облокотился на метлу и, отказавшись от своих тщетных попыток вытащить ею окурок из щели пола, стал с упорством фанатика развивать излюбленную тему обитателей веранды.

— Вот, право слово, мистер Темплтон, там эти ихние лошади, они в конюшне живут, как господа. Я сам ихнюю конюшню видел, мы там с Джо Седдоном были. В воскресенье мы туда ходили, когда Джо был свободный.

Старый Джэбез безуспешно продолжал попытки вытащить шваброй окурок из щели. Наконец он оставил швабру и выковырял его грязными ногтями.

— Бьюсь об заклад, Джэбез, что у них там даже ковры есть,— вставил Гарри Пэкстон.

— Ну, про ковры я ничего не говорю, а вот еда у них есть! На настоящей кухонной плите им всю зиму еду готовят.

Он с достоинством опустил окурок в карман жилета.

— Нет, эти лошади, они там получше, чем иные люди живут.

«Получше, чем люди»,— злобно повторял про себя Барт, помогая Уэстону убирать в общей комнате, где бетонный

пол был разбит, ванна потрескалась, а краны вечно текли. Эта комната, служившая и приемной и процедурной, была лишена абсолютно всех удобств.

— Черт возьми, до чего ж мировые парни тут лежат, и когда я вижу, в каких условиях им приходится...— заговорил Барт, обращаясь к Уэстону, и глаза его при этом недобро блеснули.

Маленький Уэстон осторожно наполнял шприц.

— Если ты собираешься здесь надолго остаться и работать как следует, то тебе нельзя раскисать.

— Раскисать!— Барт возмущенно хлопнул дверцей шкафчика и почувствовал, как в нем закипает гнев.— Я когда подумаю, сколько страданий и несчастий происходит из-за того, что никто и пальцем шевельнуть не хочет, пока еще не поздно, я готов в щепы разнести это чертово заведение. Сколько хороших ребят мучаются и умирают только от того, что места никак дожидаться не могут. А когда им наконец удастся получить место в такой вот паршивой дыре, то уже поздно. Какой бы поднялся шум и вой, если б мы со скаковыми лошадьми и собаками так обращались, как здесь с людьми обращаются.

Маленький Уэстон удивленно поднял брови. Он заговорил размеренно и сухо:

— Вы должны уразуметь, Темплтон, что люди не представляют такой ценности, как собаки и лошади. Их нельзя ни продать, ни выставить на скачки.

При мысли о Джэн горестная обида захлестнула Барта, и он с лязгом швырнул утку в стерилизатор.

— Подумать только, что миллиарды тратятся на войну и лишь какие-то жалкие тысячи на борьбу с туберкулезом.

Маленький Уэстон начал с обычным спокойствием:

— В том, что мы просто охать будем, пользы мало. Надо предпринимать что-то. Они и впредь будут миллиарды на войну тратить и жалкие тысячи на туберкулез, если мы по-прежнему будем, как дураки, с этим мириться.— Теперь Уэстон разошелся и говорил с большей горячностью.— Так или иначе, в настоящую минуту тебе лучше взяться за свою работу и не устраивать истерики по поводу всякой несправедливости, что ранит твое чувствительное сердце...

Барт с удивлением смотрел вслед его маленькой аккуратной фигурке. Ну и Уэстон, каждый раз в нем вдруг что-то новое откроешь.

Все, что происходило в третьей палате, казалось, было специально предназначено для того, чтобы вселять надежду в Джэн. Жаркая погода сменилась прохладной. Игра, придуманная Мирной, целую неделю поддерживала в палате радостное возбуждение.

Монетки падали в жестянку одна за другой. Только трое избежали штрафа — миссис Майерс, которая вообще не говорила, женщина на крайней койке возле двери, которая обращалась только к сестре и то лишь, когда ей было что-нибудь нужно, и, наконец, Шерли: Шерли никогда не говорила о туберкулезе, но зато могла без конца предаваться воспоминаниям о славном времени, когда янки были в Сиднее, отпускать ядовитые замечания в адрес персонала санатория или с откровенностью рассказывать всей палате о своих похождениях.

Миссис Холл была объявлена «совершенно здоровой». Доктора сказали ей, что она еще одно ходячее чудо и что она может отправляться домой, как только ее муж подыщет квартиру. Муж ее взял отпуск и целые дни проводил в поисках квартиры. Каждый день миссис Холл зачитывала вслух его подробный отчет об этих поисках, и вся палата следила за ними с огромным интересом.

Поправилась и мисс Робертсон. Наука одержала еще одну победу. Но у мисс Робертсон не было ни семьи, ни знакомых, и ехать ей было некуда. Она медленно вынимала вещи из тумбочки, сидя на койке, где она пролежала семь лет, и к ее радости примешивался страх. Спрингвейл стал ее миром, и она боялась того мира, что начинался за стенами Спрингвейла. Где теперь найти работу в ее возрасте, жалобно спрашивала она. И как может прожить одинокая женщина на пенсию в два фунта двенадцать шиллингов и шесть пенсов в неделю? Прощаясь с палатой, она не выдержала и разрыдалась, а когда она пошла к выходу между длинными рядами коек навстречу своей нежеланной свободе, вид у нее был совсем убитый.

Мирна была полна надежд. Она уже восемь месяцев ждала, пока освободится место в отделении грудной хирургии кентерберийской больницы, куда она должна была лечь на прожигание спаек. Из-за этих спаек пневмоторакс не давал результатов, и Мирну беспокоило, что такая долгая проволочка с операцией может вызвать обострение болезни. Но теперь последнее просвещение показало, что состояние ее несколько не ухудшилось, и вот, поддавшись

оптимистическому настроению, охватившему всю третью палату, Мирна вдруг преисполнилась уверенности, что ей уже недолго осталось ждать операции.

Письма Дорин по-прежнему подбадривали Джэн. Дорин продолжала прибавлять в весе, рентгеновские снимки ее были все более утешительными, а больница нравилась ей все больше — кормили там хорошо и персонал был изумительный. Самая мысль о том, что Дорин так успешно поправляется, поддерживала Джэн.

Джэн чувствовала, что уколы приносят ей пользу. Утихла боль в горле, аппетит улучшился, и она постоянно испытывала какое-то радостное возбуждение. Все будет чудесно.

И когда Барт видел Джэн радостной, полной надежд, ему легче было поверить в то, во что ему так хотелось верить.

Она, без сомнения, поправлялась. Они снова говорили о будущем, и им казалось, что радостный просвет уже виднеется где-то в конце этого года. Год больше не казался им бесконечностью. Как-то незаметно для самих себя они примирились с тем, что время приходится измерять санаторными мерками. И окрыленные надеждой, они в мечтах своих с легкостью преодолевали этот отрезок времени. В конце года они вернутся в лачугу. Само это слово вызывало в памяти дни их самого полного счастья, отблеск которого освещал настоящее и предвещал еще большее счастье в будущем.

Наконец подошел день врачебного осмотра, взвешивания и рентгена. Все забыли в этот день про жестянку с монетками, потому что каждый был слишком занят рассказом о результатах осмотра, чтобы помнить еще о штрафе, а собеседник не мог дожидаться конца этого рассказа, чтобы поделиться своими собственными новостями, и потому тоже не напоминал о штрафе. Собранные деньги Мирна отослала, заказав лотерейный билет на имя третьей палаты.

ГЛАВА 45

1

Незаметно бежали дни и недели. Однажды вечером, когда Барт вернулся в свою комнату после выходного дня, маленький Уэстон поднял голову, оторвавшись от медицинской книги.

— А, привет! Тут сестра оставила записку. Спрашивает, не мог бы ты в десять на ночное дежурство заступить. Должен был Смизерс дежурить, но он еще не вернулся: опасаются, что он снова запил.

— На ночное? Но я никогда раньше ночью не дежурил!

— Да это нетрудно.

— Черт бы подрал! — Барт расстроено опустил на стул. — Ну что ты скажешь? Просто как снег на голову. А я-то мечтал выспаться как следует.

— Если хочешь, я за тебя подежурю.

— Да ну, не дури! Ты же весь день проработал. В десять? А сейчас семь. Ну ладно, я забегу с Джэн повидаюсь, а потом сразу сюда и попробую хоть пару часов подремать, чтоб там на дежурстве не уснуть.

Уэстон взглянул на него с усмешкой.

— Не беспокойся. Да один Джим Чэмберс не даст тебе задремать! Он сегодня с утра начал буянить.

Перемена, происшедшая в Чэмберсе за одни сутки, потрясла Барта. Этого тихого, кроткого, сдержанного, вечно погруженного в какие-то религиозные книги человека будто подменили. На Барта глядели сумасшедшие глаза незнакомого человека. Человек этот брызгал слюной, извергая бесконечный поток проклятий. Он поносил и сестру, и Барта, и соседей, и жену свою, и мать.

— Оставляйте здесь и присматривайте за ним, а я подойду попозже и снова ему укол сделаю, если он не успокоится, — коротко сказала Барту сестра, когда он явился к ней ровно в десять за распоряжениями. Она уже отдежурила одна с семи до десяти часов, и на лице ее от усталости залегли глубокие морщины.

— Заткните же вы ему глотку бога ради! — жалобно попросил с соседней койки Пит Эндрюс. — Целый день приходится это выслушивать. Какого черта его в зеленую комнату не переводят?

Барт не отвечал. Он осторожно сдерживал рвавшегося с койки Джима, увещевая его при этом, как малое дитя. Но слова не доходили до сознания Джима, в его глазах снова появлялось какое-то чужое, несвойственное им выражение, и тогда его расслабленный рот извергал потоки ругательств, проклятия и жизнь и бога, бога прежде всего.

Больные спокойно ерзали в постелях, натягивали на голову одеяла, зарывались в подушки, чтобы только не слышать нескончаемого потока истощенных ругательств.

Сестра ввела иглу в вялую руку Чэмберса выше локтя, потом распрямилась со вздохом.

— Когда он немного успокоится, переведем его в зеленую комнату.

Толкая перед собой кресло, в котором лежал Чэмберс, Барт чувствовал, что к ним сейчас прикованы все взгляды и во всех этих глазах, что глядят на них с каждой койки, светится молчаливый вопрос. Фигуры, съежившиеся в постелях, всем своим обликом будто протестовали против необходимости слушать ужасную агонию умирающего, агонию, которая, может, завтра, а может, на следующей неделе ждет их самих. Страх вспыхнул в двадцать первой палате и теперь, распространяясь, как лесной пожар, переходил от соседа к соседу. И даже когда постель Джима исчезла из палаты и проклятия его стихли, страх продолжал оставаться среди них, он рос, принимал зловещие очертания — он мигал им и ухмылялся изо всех углов полутемной палаты.

Дарки, мальчишка-абориген, вдруг разразился громким плачем. Ночная сестра строго отчитала его и отправилась готовить шприц для нового укола, оставив подле мальчишки Барта. При ее приближении Дарки в ужасе выкатил глаза, и белки их страшно заблестели на его темном личике. Он вцепился Барту в руку и взвизгнул, когда игла вошла ему под кожу.

— Аборигены, они нюхом чувуют! — сказал из темноты чей-то голос, и огонек зажатой в руке сигареты прочертил в воздухе черту, как будто подчеркивая значение сказанного.

— Они чувуют. Они вроде бы как лошади или собаки — всегда нюхом смерть чувуют.

— Заткнись-ка, Пит, — сердито оборвала его сестра. — Отправляйся-ка спать, а то ты у меня и не такого еще нюхнешь.

Больной тихо усмехнулся.

— Порядок, сестра. Вы, конечно, не о цветах толкуете.

— Ну, бога ради, Пит! Уж тебе-то не следовало бы шума поднимать! Ведь ты здесь у нас не первый год.

— В этом-то, может, и все дело, сестра. Я здесь слишком долго пробыл! — прозвучал им вслед его тихий голос, когда они направились в зеленую комнату.

— Оставайтесь здесь с Чэмберсом, а я пока другие палаты обойду, — сказала Барту ночная сестра. — Конечно, вы ему по-настоящему ничем не поможете, но все же укол его хоть немного успокоит. И смотрите, чтоб они не зате-

вали в палате никакой бузы. А то если так пойдет, они у нас все к утру беситься начнут.

Сестра натянула дождевик и в нерешительности остановилась на пороге.

— И поглядывайте на двор, пока я до двадцать второй не доберусь. Если вы мне будете нужны, я вам дам знак фонариком. По телефону звонить нет смысла, это только снова их взбудоражит.

Она спустилась по ступенькам на дорогу и пошла между строениями, притаившимися под тяжело нависающим небом. После заката стало совсем холодно. В воздухе стоял запах осени, и с юга то и дело налетали порывы неистового ветра. Барт следил за высокой фигурой, двигавшейся через завесу косого дождя; фонарь прыгал в темноте, освещая только белые чулки и туфли сестры, которые, казалось, передвигались в темноте отдельно от тела. Барт видел, как отблеск ее фонаря появлялся на мгновение в темных окнах спящих палат, где лишь изредка в изголовье тяжелобольного мерцал слабый свет. А дальше, через дорогу, едва различимые в темноте, маячили пустые больничные бараки.

«Интересно, спит ли Джэн?» — подумал он. И вдруг словно вспышка молнии озарила его: он понял, что переживает здесь Джэн каждую ночь. Так вот откуда это устойчивое и будто напряженное выражение ее лица, этот уклончивый взгляд. Барт поежился на холодном ветру. «Я-то считал, что это все от нервов,— подумал он,— теперь мне понятно».

Когда Дарки угомонился, двадцать первая палата погрузилась в беспокойный сон. Даже Джим Чэмберс притих на некоторое время. Барт присел подле него. Убогий бедняк Джим! Он даже в куреве, даже в газете себе отказывал, не решаясь истратить на себя и пенни из своей ничтожной пенсии, потому что никогда не оставляла его мысль о том, как там перебивается его жена с тремя детишками, пытаясь прожить на жалкие гроши пособия.

«Нет, ей не управиться, Барт. На эти деньги никак не проживешь»,— говорил он, бывало.

Барт представил себе, как бы он себя чувствовал сам, если бы очутился в таком положении, как Джимми, а Джэн пришлось бы перебиваться на пенсию да еще ребенка растить.

И, будто отвечая на его вопрос, Джим открыл глаза и остановил на нем свой невидящий взгляд.

Барт похлопал его по руке.

— Порядок, Джимми, теперь все будет в порядке.

Вошла ночная сестра, пощупала пульс у Джима и пожалала плечами. Потом устало опустилась на стул.

— Я могла бы здесь минут на пяток задержаться и посидеть, если вы не против чайку приготовить.

Барт пошел в операционную и в тот момент, когда он включал электрический кипятильник, в памяти его всплыло воспоминание, пришедшее словно из другой жизни: он вспомнил, как там, в Сиднее, он поднимался по ночам, чтобы поухаживать за Джэн, как он сонно и нехотя делал это и, бывало, только устыдившись своего недовольства, подавлял он в себе нарастающее раздражение. И вот сейчас он представил себе, как она спит там в палате, а скорее всего даже не спит — мучается и не может уснуть. Она ведь вообще плохо спит. Он представил ее такой, какой часто видел, — рука подперла щеку, полураскрытые губы, — и, представив ее, он дал себе клятву, что теперь уж, когда он заберет Джэн отсюда и они вернутся домой, он никогда больше не будет роптать, даже если придется вставать десять раз за ночь.

Ожидая, пока закипит вода, он подошел к двери и окинул взглядом дремавшие больничные корпуса. «Тихо, как на кладбище». При этой мысли он замер: так горька была она, так больно она укусила его.

И все же после этого мрачного сравнения, так расстроившего его, он внезапно снова увидел Джэн, увидел ее такой волнующей, такой дразняще живой на фоне абрикосово-желтого песка пляжа Нарабин, синего-синего неба, увидел ее гибкое загорелое тело, рассекающее волны прибоя в серебре пены. И, вспомнив это, он еще раз с болью подумал о неустойчивости человеческой жизни, и не только ее жизни или его, но и всех этих несчастных, заполняющих длинные корпуса.

И здесь, среди ночного мрака, он вдруг ощутил какие-то узы товарищеской солидарности со всеми этими мужчинами, терзаемыми не только болезнью, но и мучительным беспокоемством о женах и детях, оставленных за стенами больницы. Ему показалось, будто тьма давит его, словно воплощение его собственной боли и воплощение всех обступивших его страданий, опустошения и отчаяния.

Сестра большими глотками с жадностью выпила принесенный им крепкий горячий чай, потом медленно поднялась, зябко кутаясь в вязаную кофту.

— Бр-р-р-р! Ну и холод! Вы мне тогда помигайте фонариком, если что-нибудь случится. Если я не вернусь к четырем часам, приготовьте тазики и горячую воду для

больных, ладно? Здесь только трое сами не могут умыться. О тех, что на веранде, пока не беспокойтесь, мы их будим только в шесть. Бр-р-р! Ну и холодина!

Она взяла фонарь и двинулась по грязной дороге сквозь пелену дождя.

Барта окликнули из палаты. Это был Дэнни. Его огромная фигура приподнялась на койке навстречу Барту.

— Я б тебя, друг, не беспокоил, у тебя и так больной на руках, но что-то спина у меня разошлась опять. Ты меня немного не приподнимешь?

Барт приподнял его огромное тело и повыше подложил подушки под спину. Дэнни вздохнул.

— Хороший ты парень, Барт. Твоей жене повезло.

— Это мне повезло, Дэнни.

На мгновение у Барта появилось искушение рассказать Дэнни о своих страхах, о тревоге за Джэн. Но потом он сдержался. С Дэнни хватает и своих невзгод. А сейчас у него на лице такая довольная улыбка.

— Это уж точно! Да какой мужчина в такую дыру б забрался, как ты, если б только господь бог не сулил ему за это всех благ, какие только он человеку может дать, кроме здоровья!

Он снова вздохнул.

— Ну, а теперь держать тебя не буду, тебе небось пора к бедняге Чэмберсу: ему ты сейчас больше нужен, хотя я люблю среди ночи поболтать чуток. И время идет быстрее.

— Я еще подойду,— пообещал Барт.— Ты меня не выдашь, если я тебе чашечку чаю принесу из сестриного чайника?

Дэнни затрясся от сдерживаемого смеха.

— Ты что же думаешь, я доносчик, да? Вот те слово, Барт, если кто спросит, что там в чашке у меня, так я и под присягой совру! А коли сам главный нагрянет, словно нечистый дух, то я чаек-то прямо на простыню, вот, мол, скажу, так и так, ошибка вышла!

Барт повернулся и, уходя, услышал хриплый шепот Дэнни:

— Только сахарку побольше положи, ладно?

Осторожно передвигаясь среди коек, Барт принес ему чаю. Дэнни взял чашку в свою огромную костлявую руку и с жадностью выпил чай.

— Ну ты мне, Барт, просто жизнь спас,— хохотнул он радостно после первого глотка.— Я уж не знаю, должен ли я за это благодарить, а только все же спасибо тебе, и уж коли тебе какая услуга понадобится, например, наврать

чего сестре там, или доктору, или хоть самому папе римскому, то я уж, будь уверен, навру. А уж какой я помоложе брехун был — ну!

Барт, немного успокоенный, отнес чашку назад. Было в Дэнни какое-то достоинство, которое не могли истребить ни болезнь, ни страдания. Была в нем какая-то отвага. На мгновение Барт почувствовал, что их сейчас связывает то же бесконечно дорогое чувство товарищества, какое связывало его в джунглях с Тоби и другими ребятами. Барт остановился послушать, как дышит Дарки. Сестра оставила над его койкой слабый огонек, освещавший его лицо, чернеющее на фоне подушки, завитки его густых черных волос, спадавшие на лоб, повернутые кверху розоватые ладони.

ГЛАВА 45

!

Джэн беспокойно заметалась на койке и сбросила простыни, хотя ночь была прохладная и холодные порывы ветра то и дело залетали в окно. Ей было жарко. Она выпростала руку из рукава пижамы и некоторое время лежала, раскрывшись, ощущая приятную прохладу ветерка на обнаженных руках и груди. Интересно, сколько сейчас времени? Ей видно было, как мерцает, блуждая от палаты к палате, фонарь сестры. Второй раз обходит палаты — значит, время уже за полночь.

В палате было непривычно тихо. Лишь что-то странно шелкало в груди у миссис Майерс, когда она дышала, но Джэн уже привыкла к этому звуку, и он ее больше не беспокоил.

Миссис Майерс становилось все хуже и хуже. Ее некогда полное лицо осунулось, и теперь кожа, как коричневая пергаментная бумага, висела на нем. Когда миссис Майерс спала, что-то пронзительно хрипело у нее в горле при каждом вдохе и выдохе. Все знали, что миссис Майерс должна вот-вот умереть.

Когда Джэн по ночам прислушивалась к дыханию миссис Майерс, ее переполняли жалость и раздражение. Миссис Майерс сама виновата, что состояние ее так быстро ухудшается. Она ничуть не лучше Шерли. Все предписания нарушает, кроме одного — молчания. И она совсем не отдыхает. Даже теперь она все время выбирается из постели и готовит бесконечное количество чашек чаю. И с каждым днем она все медленнее передвигается по палате, и ее кост-

лявое тело там, под халатом, кажется совсем бесплотным. Миссис Майерс служила предостережением для всех, кто не хотел соблюдать правила.

Щелк, щелк, щелк, храп! Звуки эти не умолкали — однообразные и непрерывные. Джэн пожалела, что на нее не действовали снотворные таблетки, которые дала ей сестра Конрик. Ей совсем нетрудно лежать вот так без сна каждую ночь, но она знала, что это вредно.

Отдых и сон, отдых и сон — они так же необходимы, как и все другие элементы лечения. Она отдыхала, старалась двигаться как можно меньше, но заснуть она не могла. Впрочем, это не раздражало ее. В этом ночном бодрствовании среди ночи, в часы, когда вся палата спала, она находила даже какое-то своеобразное и непонятное удовольствие. Весь Спрингвейл спал, не спали только ночная сестра и Барт. «Интересно, что сейчас делает Барт?» — подумала она, и, представив себе, как он с таинственным и внушительным видом проходит сейчас где-то в ночи с фонарем, наблюдая за спящими, успокаивая бодрствующих, она испытала какое-то чувство товарищества.

Как замечательно, что у нее есть Барт! Вначале она была не уверена, правильно ли они делают, что Барт едет сюда. О чем они будут разговаривать с Бартом каждый день? Здесь труднее будет обманывать его, делая вид, что все в порядке. Слишком много он будет знать, слишком многое увидит. Он уже не будет верить ее рассказам. Он ничего не говорил ей в первые недели, но и новое выражение, появившееся у него в глазах, и то, как, взглянув на других женщин, он отворачивался, и то, как держа ее за руку, он украдкой щупал ей пульс, — все говорило о том, что он догадывается. И тогда ей начинало казаться, что ни за что не нужно было разрешать ему приезжать сюда.

Но сейчас все стало по-другому. Сейчас, когда она определенно шла на поправку, его присутствие только придавало ей силы, и бессонными ночами мысли о Барте приносили ей глубокую радость. Ей казалось, что она недостойна всего, что посылает ей жизнь, что ей дано слишком много. Она не заслужила такой любви.

Порыв ветра швырнул на железную крышу капли дождя, словно град осколков хлестнул по листе перцового дерева. Палата была похожа теперь на темную пещеру, и в темноте белели лишь сбившиеся в ком простыни на койке Шерли. Джэн немного подвинулась — у нее ныла спина. Потом тихонько налила себе воды. Связки болезненно напрягались при каждом глотке. Она пожалела, что

под рукой нет свежей ночной рубашки — ее рубашка уже намокла от пота.

Некоторое время она лежала, глядя в темноту, слушая, как шумит дождь и ветер, как хлопают ставни на веранде, думая о Барте. Потом она погрузилась в полудремоту, и ей показалось, что койка ее куда-то поплыла и стала невесомо парить в пространстве между потолком и полом.

Ей чудилось, что она бросается в волны прибоя, ощущает холодное прикосновение моря к разгоряченному телу, ощущает, как песок осыпается у нее под ногами и морская пена вскипает у лица. Она снова поднялась на зеленоватом гребне волны и почувствовала, как волна, прогнувшись, схлынула под ней и рассыпалась облаком пены, оставив на этом месте лишь искристо-звездную пропасть. Вместе с Бартом она бродила по бескрайнему простору — иглы золотого дождя кололи им тело, ветер неистово трепал волосы, развевавшиеся у запрокинутых лиц, планеты хороводом кружили вокруг них, свистя, словно ветер в деревьях, и звезды дрожали в танце под перестук небесных кастаньет.

II

Джэн нехотя пробуждалась от сна, потревоженная стуком эмалированных тазиков. В глаза ей ударил незатененный свет лампы, горевшей посреди палаты, полоска неба в противоположном окне была еще совсем темная, и холодный ветер задувал в открытую дверь.

Молоденькая сестра, заменявшая сестру Конрик во время ее выходных, бегала взад и вперед по палате с тазиками теплой воды и будила больных, которые при этом недовольно ворчали.

Больные ненавидели этот утренний час.

— Ну, Шерли, проснись же! — весело крикнула сестра.

Шерли спросонья угрюмо таращилась на сестру, и ее худое, изможденное лицо и всклокоченные волосы выглядели в этот час неуместно и бессмысленно юными и трогательными.

— В одно прекрасное утро я горло перегрызу тому мерзавцу, который станет меня будить ни свет ни заря и совать мне под нос этот таз!

— Ну, ну, Шерли, пожалуйста, не надо ругаться!

Сестра подала Шерли туалетные принадлежности и полотенце, подождала, пока она справится с приступом кашля, и понесла тазик к следующей больной, которая встретила ее так же неприветливо.

С того конца палаты сестру окликнула миссис Холл:
— Идите ко мне, сестра! Только я вам и буду сейчас рада. Мне надо привыкать вставать рано. Когда домой вернусь, нужно будет и мужа провожать на работу и дочурку собирать в школу.

— О господи боже! — простионала Шерли. — И чему они так радуются?

Мирна с трудом села на койке, протирая заспанные глаза.

— Иногда я жалею, что я не на веранде лежу. Туда хоть тазики приносят не раньше шести.

Шерли поежилась.

— Ну уж нет.

Она уселась на постели и, раздевшись до пояса, намылила свои исхудавшие руки.

«Она выглядит так, будто только что из концлагеря вышла», — подумала Джэн, глядя на тело Шерли, и содрогнулась, вспомнив, как таяла с каждым днем миссис Карлтон.

Теперь уже все женщины проснулись, и их кашель гулко раздавался в утренней тишине. Спала только больная у двери: снотворное утоляло боль и бессонницу.

Джэн села на койке, выбираясь из пропитавшейся потом ночной рубашки, и стала ждать, пока сестра помоеет миссис Майерс и подойдет к ней.

— Я такой странный сон видела... — обернулась она к Мирне.

Сестра, нахмурившись, посмотрела на нее.

— Пожалуйста, не разговаривайте, миссис Темплтон. Вы же знаете, что вам нельзя разговаривать.

Джэн удивленно взглянула на сестру.

— Мне? А почему?

— Не знаю. Я только знаю, что вам с сегодняшнего дня предписано не разговаривать. И, пожалуйста, не снимайте рубашку, пока я не подойду и не помогу вам. Я сначала вас вымою, а потом уж вон ее разбуджу.

Сестра кивнула в сторону тяжелобольной, что лежала у двери, потом ушла.

Джэн смотрела ей вслед, снова опустив рубашку на плечи. Она подумала, что она, может, ослышалась, и взглянула на Мирну. Но Мирна не смотрела на нее — она с каким-то яростным усердием чистила зубы. Джэн повернулась к Шерли, но и Шерли, казалось, была поглощена изучением какого-то пятнышка на собственном подбородке. Джэн обвела палату глазами, полными отчаяния, но не встретила

ничего взгляда, кроме взгляда миссис Майерс, которая с сочувствием и жалостью молча смотрела на нее через проход.

III

К тому времени, когда Барт начал разносить тазики с водой по двадцать первой палате, Джим Чэмберс уже спал, хрипло дыша во сне. А когда Барт кончал обход, за округлыми холмами на горизонте разлилась утренняя заря, и в ее сиянии поблек свет электрических лампочек под потолком палаты. В зарослях эвкалиптов возле конюшни громким смехом заливались кукабарры¹.

В шесть часов Барт принес тазики с водой больным на веранду. Эти проявляли еще меньше желания подниматься, чем больные в палате. Дождь уже прошел, но ледяные порывы ветра хлестали их мокрые тела, когда они умывались, сидя в постели.

Больные бойко ругались в перерывах между приступами кашля и проклинали судьбу, приковавшую их к этой веранде, где за лето солнце все глаза выжжет, а зимой такой ветер поднимается, что, по выражению Пэкстона, аж до самых кишок пробирает.

Тем временем волнистые склоны холмов начали золотиться, небо из зеленого стало синим, облака занялись багрянцем, и в воздухе повеяло первым осенним холодом. Где-то вдали замычали в своих стойлах коровы, возбужденно залаяли собаки, мир просыпался, золотистый, умытый росой, и двадцать первая палата приветствовала его пробуждение нестройным кашлем.

ГЛАВА 47

I

Когда Барт вернулся после выходного дня в больницу, доктор Хейг объяснил ему, что они предписали Джен режим молчания, чтоб обеспечить ее горлу максимум покоя.

— Нет, нет, ей не хуже,— ответил доктор на вопрос Барта,— уколы принесли ей пользу, а режим молчания позволит ей сейчас совсем не напрягать гортань, вот и все.

А когда потрясенный этим сообщением и раздираемый страхами Барт пришел на работу, он узнал, что Джим

¹ Вид зимородка, распространенный в Австралии.

Чэмберс умер в тот же вечер, вскоре после его ухода. Он увидел, что койка маленького аборигена Дарки тоже пустует.

— А куда Дарки перевели? — спросил он удивленно.

Воцарилось молчание. Прежде чем ему успели ответить, Барт уже мысленно обозвал себя ослом.

— В гости отправился к бабушке, — протянул, не отрываясь от спортивных известий, Боб Шейл, сосед Дарки.

Все молчали. «В гости отправился», — отозвалось в мозгу у Барта. Барт с болью припомнил личико спящего парнишки в тот предрассветный час.

— Чинарик есть? — грубо спросил Боб. — Я свою норму уже выкурил.

— Да, конечно. — Барт протянул ему сигарету.

Больные двадцать первой палаты продолжали читать, курить, играть в карты. Они не хотели говорить о Дарки. Глубоко затянувшись, Боб Шейл стал выпускать дым колечками.

— Совсем неожиданно парнишка помер, — сказал он, наконец, спокойным голосом. — Без предупреждения. До черта из него крови вышло, прямо фонтаном било, бог ты мой!

Кашель прервал его рассказ.

— В жизни еще такого не видел! Никогда не подумал бы, что в этакое тощем коротышке кровички столько!

Боб беззвучно откашлялся, и краешек века у него нервно задергался.

— Зато с ним все быстро кончилось. Слава богу, хоть все кончилось быстро!

Обходя палату, Барт слушал мрачные шутки больных, их невеселый деланный смех, за которым они прятали свое возбуждение. Барт обнаружил, что двадцать первая палата по-своему реагировала на страшные события: она словно тянула жребий, с возбуждением ожидая результатов этой лотереи: кто будет «неизбежным третьим».

Дэнни вздохнул, когда Барт, собирая его на рентген, осторожно надел на него халат.

— Нет, сейчас не моя очередь помирать, Барт. Слишком большое было б счастье.

«Быстро же все у Дарки кончилось, — подумал Барт. — Неужели когда-нибудь он должен будет радоваться, если так и у Джэн будет? Нет. Он ни за что не будет так думать. Нет. Джэн совсем не такая. Она не похожа на других. Джэн борется. И она поправляется. Вдвоем они победят смерть».

Джэн молча выслушала предписания доктора. Она смотрела, как сестра Конрик вешает на ее койку табличку с огромными черными буквами — «Молчание». И сердце у нее на мгновение сжалось. По одному из больничных суеверий больная, над постелью которой появлялась такая табличка, считалась обреченной. Конечно, это глупое суеверие, такое же глупое, как и все другие. «Чепуха все это,— говорит Барт.— Вот Линда пролежала шесть месяцев с такой табличкой и поправилась, да что там — только на прошлой неделе из двадцать первой выписался мужчина, который больше полугода не разговаривал. Если уж он выздоровел, то, значит, каждый может выздороветь».

Молчание само по себе не представляло для Джэн особого неудобства. Молчание стало ее второй натурой, еще с тех пор, как она почти весь день лежала совсем одна в своей сиднейской квартирке. Здесь, в Спрингвейле, она тоже с первых дней довольствовалась тем, что прислушивалась к пустеньким палатным разговорам, редко принимая в них участие.

Самым утешительным в ее теперешнем положении было то, что теперь ей не нужно было думать, как лучше отвечать. Никто ведь не думает, что на блокноте, лежащем у койки, она станет писать что-нибудь лишнее, нет, только самое необходимое. Кроме того, можно вообще ответить кивком или улыбкой. Улыбка в любом случае будет кстати, и порой Джэн начинало казаться, что на лице у нее, как у клоуна, нарисована постоянная улыбка.

И все же одно дело молчать, когда тебе не хочется разговаривать, а совсем другое — если это молчание вынужденное. Тогда ты сразу становишься узницей, молчание — твоим тюремщиком, и за затворами твоих немых губ, не находя выхода, бушуют мысли, так, как никогда не бушевали они в ту пору, когда ты могла говорить. И, кажется, что невозможно ни на минуту оторвать взгляда от миссис Майерс и потому невозможно забыть о ней. Глядя, как день за днем угасает миссис Майерс, Джэн будто наблюдала за собственным отражением в зеркале. Если не бороться, то же случится и с ней. Вот таким иссохшим существом, на лице которого зубы кажутся непомерно большими, такой станешь и ты, если только не будешь бороться. Шерли рассказала ей однажды, что с той самой поры, как миссис Майерс предписали молчание, «она сложила лапки» и прекратила борьбу.

И Джэн дала себе клятву, что она будет продолжать борьбу, что она будет выполнять все предписания — не так, как миссис Майерс. Постепенно миссис Майерс стала для нее символом капитуляции. Нет, она ни за что не сдастся.

Ты молча наблюдаешь окружающее. А когда ты молчишь, все происходящее вокруг с каждым днем приобретает для тебя все больший смысл. Вон Шерли. У нее сейчас очередной психоз. Она огрызается на Мирну, придирается к сестре Конрик, грубит доктору. У Шерли началось кровохаркание, и она пытается скрыть это. Но разве здесь что-нибудь скроешь?

Мирна становится все печальнее, потому что вызов в Кентербери на прожигание спаек еще не пришел. Мирна отлично знает, что эта проволочка вредна для ее легких. И она все меньше говорит о своем Роджере, хотя фотография его еще стоит на тумбочке. Роджер сейчас по горло занят экзаменами. Ему очень трудно стало сюда выбирать-ся. Бедный Роджер, он так страдает из-за их разлуки.

Постепенно Джэн перестала наблюдать за жизнью палаты, ее больше не волновали проблемы, занимавшие ее соседок. Она слышала, как они говорят, но смысл их разговоров ускользал от нее — она замкнулась в своем собственном мире. Часами она лежала теперь, глядя на противоположную стену. С приходом осени глубже стала синева неба, узенькая полоска которого виднелась в окно напротив, а на ветке, метавшейся в этом окне, листья становились все желтей. Джэн подолгу смотрела на стеклянный шарик, стоявший на тумбочке. Когда сестра Конрик встряхивала шарик, крохотная девочка пробиралась через миниатюрную снежную бурю. И эта снежная буря уводила Джэн прочь из тусклого больничного мира. И вот она снова была сильной, ловкой, подвижной — ветер трепал пряди ее волос, снег холодил лицо. Легко и свободно она шла по белой снежной равнине, прохваченная зимними ветрами.

В неверном плывущем ее сознании заснеженные холмы превращались вдруг в песчаные дюны, и ветерок рябил их склоны, и теперь уже не снег хлестал ей в лицо, а брызги соленого моря; она качалась на гребне, плеск и говор волн стояли у нее в ушах, горячие животворящие лучи солнца ласкали тело.

Барту все мучительнее становилось сидеть подле нее, глядя на улыбку, которая больше не казалась естественной, и пытаюсь прочесть в ее лихорадочно блестящих глазах то, что, наверное, должно скрываться за этой улыбкой. Когда она писала ему записочки на листках блокнота, он тайком

сравнивал эти каракули с прежними ее записочками, пытаясь проверить, действительно ли почерк у нее становится менее четким и разборчивым, чем раньше, или это ему только кажется.

На все вопросы и врачи и сестры отвечали ему одно и то же: состояние ее не ухудшилось. Уколы оказали положительное воздействие на ее горло, уменьшили боли, и она съедала теперь все лакомства, что приносил ей Барт, хотя с санаторской пищей она все еще не могла примириться.

Надежда то угасала в их сердцах, то вспыхивала вновь. Барту все труднее становилось разговаривать с ней в те долгие вечера, когда он не уезжал ни в соседний городок, ни в Сидней, а оставался у ее постели. То, над чем смеялись в мужской палате, вряд ли подходило для ее ушей, о событиях, заполнявших больничные будни, тоже не стоило ей рассказывать.

И зачастую после целого дня работы он чувствовал себя слишком усталым, чтобы вести разговор. Если бы она не была так больна, он рассказал бы ей кое-что о Дэнни Мориарти, но трудно понять смысл шуток Дэнни, не зная его самого, а описывать его Джэн, да еще когда она в таком состоянии, Барт просто не мог. Сначала их молчание словно каким-то ощутимым барьером отгораживало его от Джэн. Джэн будто замкнулась в каком-то своем мире, куда ему не было доступа.

Постепенно он научился по-другому воспринимать ее молчание. Оно стало для него символом успокоения, отдыха. В свободные от работы часы он сидел усталый и безмолвный у ее постели, не испытывая никакого желания разговаривать. Ее легкая ручка лежала на его руке, и мечты о полном ее выздоровлении причудливым хороводом пронеслись в его усталом мозгу. Иногда он говорил о тех днях, когда они снова будут вместе, далеко-далеко от Спрингвейла. Он рассказывал ей про домик у озера, который они строят, о детях, что будут играть возле домика. А она, зачарованная, смотрела на него блестящими глазами, легкая улыбка блуждала у нее на губах, и ей казалось, что она ощущает на своих пылающих щеках прикосновение прохладного ветра, дующего над озером.

ГЛАВА 48

1

Все санаторские правила полетели кувырком в то утро, когда третья палата выиграла лотерею. Сестра Конрик ничего не могла поделать с больными и в конце концов мах-

нула на них рукой, да она и сама была возбуждена не меньше их.

— Пусть их, ладно,— сказал во время обхода врач, глядя с улыбкой на возбужденно щебетавших женщин.— Не часто на их долю выпадает столько радости!

Палата ликовала какой-то непостижимой, совершенно сумасшедшей радостью. Подумать только, что билет, который они купили на выдуманные ими штрафы, выиграл! Вот бывает же, что ни говори! Так сколько это выходит — шесть тысяч фунтов на двадцать четыре человека? Глаза у них сияли, щеки зарделись: одни производили быстрые, другие не слишком быстрые подсчеты в уме. Вдруг Шерли бесшабашно вылетела на середину палаты и, остановившись там, закричала:

— Нас не двадцать четыре, нас двадцать пять! Мамашу Конрик тоже надо включить, тогда по двести сорок кругленьких на душу выйдет!

Раздались одобрительные возгласы, и даже миссис Майерс, нарушив свой режим, хриплым голосом выразила одобрение.

— А ну-ка, на место! — Сестра Конрик легонько шлепнула Шерли по заду.— Так ты меня умастить решила, bestия?

Но больные третьей палаты твердо решили, что сестра Конрик должна разделить их удачу. И вот она стояла посреди палаты, глядя на них, и покраснела от смущения, когда они вдруг начали аплодировать ей, а те, у кого горло крепче, выкрикивали приветствия.

— Боже ты мой! — расчувствовалась она.— Подумать только, у меня двести сорок фунтов будет, моих собственных! Даже не верится!

— А что вы с ними сделаете, а, мамаша? — спросила Шерли.

Сестра Конрик вытерла изборожденный морщинами лоб и тяжело опустилась на койку рядом с Шерли.

— Мы вместе с Робби купим на пару маленький домик здесь в окрестностях. Мы уж давно его присмотрели, когда со старухой Робби здесь гуляли вечерами, но у нас денег не было, чтоб задаток внести.

Она закрыла глаза и улыбнулась, будто ей пригрезился счастливый сон.

— Робби сможет там на свою пенсию жить, а я буду приезжать по выходным.

Она снова улыбнулась.

— Пойду-ка ей позвоню, чтоб она тут же приехала.

— Ну! Вот я рада за Робби.— Шерли бросилась на койку и обняла сестру.

Поглаживая Шерли по волосам, сестра Конрик продолжала мечтать:

— Деньги мы постепенно выплатим, а когда я и сама стану слишком стара, чтобы таскать вас тут, девочки, у меня тоже будет куда деваться, чтобы не жить где-нибудь на больничных задворках. Боже ты мой! Подумать только! Собственный угол!

Снова со всех сторон слышались разноголосые приветствия. Но сестра Конрик уже вспомнила о своих служебных обязанностях и вскочила с места. С шутливой строгостью она погрозила Джэн:

— Не забывайте, что вам запрещено разговаривать, миссис Темплтон!

Джэн улыбнулась сестре, и та улыбнулась ей в ответ.

— Какое счастье! — Сестра Конрик медленно обвела их всех взглядом.— Девочки! Да вы понимаете, что это значит? Значит, мне не придется здесь надрываться, пока меня на носилках отсюда не вынесут, чтоб свою пенсию по старости получать. Ведь если у нас с Робби будет свой уголок, мы сможем держать пансион. Всегда найдутся старухи нянечки, которым нужно где-нибудь отпуск свой провести за умеренную плату.

— Ого! Ты еще того и гляди превратишься в этакую безжалостную скрягу хозяйку и будешь всех обдирать!

Шерли, повернувшись на спину, мечтательно смотрела в потолок.

— Двести сорок кругленьких! Ну и ну! Вот я на них повеселюсь, когда отсюда выберусь. Я уж засяду в пивной возле Кросса. Эх, девочки, ну и повеселюсь же я! Эх, мама!

Сестра Конрик легонько шлепнула Шерли.

— Я в тебя, наверно, никогда разума не вобью. Ну прокутишь ты свои двести сорок кругленьких, а потом что? Снова сюда, как только место свободное будет?

— Ну уж нет! — Шерли поболтала ногами в воздухе.— Уж я недолго, может, проживу, но зато, вот-те крест, весело!

Сестра Конрик задумчиво обвела их взглядом, как будто стряхивая с себя остатки сна.

— Мне вас благодарить надо, девочки, а только я...

Она запнулась, не в силах произнести больше ни слова, но крики и шум аплодисментов сделали ненужными слова.

Двести сорок фунтов на душу!

— Теперь у меня все в порядке! — крикнула миссис Холл. — Я смогу вернуться домой! Доктор сказал, что у меня все в порядке, а муж мой пишет, что квартиру он подыскал. Там только две комнатки и кухонька, но жить можно. Хозяин нас пустит, если мы дадим пятьдесят фунтов задатку. Конечно, нам бы никогда пятидесяти фунтов не набрать, но теперь-то мы и задаток дать можем и еще на мебель останется. И дочку, наконец, домой взять сможем.

Она сидела на койке, обхватив руками колени и мечтательно глядя куда-то вдаль, за окно.

— А я отправляюсь прямо в Сидней и там сделаю прожигание спаек, — поделилась с Джэн Мирна. — Теперь я могу себе это позволить. Доктор говорит, что если я снова начну пневмоторакс, то через шесть месяцев меня выпишут.

II

— Ну, а ты что с деньгами сделаешь? — спросил Барт. — Отложишь их, чтобы в разгул пуститься, когда выпишешься, или купишь себе сейчас алмазную тиару и будешь ее к моему приходу надевать?

Джэн подняла на него блестящие глаза. Барт пододвинул ей блокнот, но она, покачав головой, оттолкнула его.

— Не нужно, я хочу говорить.

— Тебе нельзя, Джэн. Тебе нужно молчать.

— А я буду говорить, и ты мне не запретишь. Я знаю, что мне делать с деньгами.

Барт настороженно смотрел на нее. В ней было сейчас что-то новое, чего раньше не было, какая-то решимость.

— Что ж, как ты скажешь, так и будет.

— Прежде всего нужно один долг оплатить, Барт. Счет за машину скорой помощи. Он вот здесь в верхнем ящике стола, под письмами Дорин. Я тебе об этом не говорила.

Барт вытащил счет и молча просмотрел его.

— Ладно. Я им это сейчас же отошлю, и черт бы побрал их всех!

Она протянула руку и накрыла лишь часть его огромной ладони.

— Обещай мне, Барт... Обещай мне, что остальными я смогу распорядиться, как захочу.

— Ну конечно же.

Джэн подняла в воздух свою худенькую руку, на которой ясно вырисовывалась каждая косточка и нежно синели розовато-лиловые жилки.

— Я хочу, чтоб ты забрал меня отсюда, помнишь: «Друг к другу — в лачугу!»

Барт удивленно смотрел на нее, не веря своим ушам.

— В лачугу! И это теперь, когда ты выздоравливать стала!

— Хочу туда, «друг к другу — в лачугу», хочу!

— Но там ведь ничего нет, никаких условий для ухода!

— А мне и не нужно. Хочу видеть небо, любоваться деревьями, и чтобы ветер дул мне в лицо, и чтоб вокруг никого не было, кроме тебя.

— Джэн, милая, но это ведь невозможно! Ты ж не хочешь, чтоб опять так было, как тогда у вас в квартирке, до того, как мы сюда приехали? Ты ведь понимаешь, что если отсюда уедешь, то один бог знает, когда еще снова место освободится!

— Я в лачуге выздоровею.

Она снова с упорством повторяла это, и ее умоляющие глаза, не отрываясь, смотрели ему в лицо.

— Но послушай, Джэн, теперь, когда ты устроена и стала поправляться так хорошо, стала привыкать к санаторию, сейчас просто безумием было б уезжать отсюда, пока они тебя сами не выпишут и пока доктор не скажет, что все в порядке.

Она продолжала, не отрываясь, смотреть на него лихорадочно блестящими глазами.

— Ты ведь обещал меня в лачугу забрать.

— Конечно, но только как ты поправишься.

— Нет, сейчас.

Сомнение, смутно беспокоившее Барта, стало все ясней вырисовываться в его мозгу. Говорят, это дурной признак, когда больной начинает проситься домой. Да нет же, что за чепуха. Он заставил себя улыбнуться.

— Я тебе вот что скажу. Я поговорю с доктором Хейгом, и посмотрим, что он скажет. Если он скажет, что можно, то мы с тобой сразу же в лачугу поедем, как только он разрешит. Так?

Она покачала головой.

— Что бы доктор ни сказал, я все равно хочу сейчас поехать. Я там обязательно поправлюсь, я знаю.

Она прильнула к его руке, и глаза на ее раскрасневшемся личике лихорадочно блеснули.

— Милый, забери меня отсюда. Я здесь никогда не поправлюсь. Здесь слишком... слишком тесно, и темно, и жарко... и здесь миссис Майерс, и здесь... да все, все. У нас

теперь есть деньги, и я знаю, что я поправлюсь в лачуге, там ведь ты будешь за мной ухаживать.

Он поднес ее руку к губам и, прижавшись к ней, долго не отпускал сухую, пылающую руку.

И, словно прочитав его согласие в этом жесте, она облегченно вздохнула.

— Помнишь, как вода целую ночь плещется под верандой?

Он кивнул.

— И как лебеди треугольником пролетают в небе? И следы чаек на песке поутру, когда мы, бывало, шли купаться в волнах прибоя? И пение трясогузки в листве?

Барт снова кивнул.

— И солнце на озерной глади, и ветер, доносящий запахи леса? Помнишь?

Она говорила теперь едва слышным шепотом, и беспредельная невыразимая радость была в ее улыбке.

Да, он помнил, слишком хорошо помнил все.

ГЛАВА 49

1

Он провел мучительный день, со страхом ожидая беседы с главным врачом. В этот день он особенно устал: сестра Суэйн была сильно не в духе, Уэстон отсутствовал, а работы в двадцать первой палате было еще больше, чем всегда.

Когда он вошел в кабинет главного врача, доктор Хейг бросил на него испытующий взгляд.

— Ну поздравляю вас, Темплтон. Ваша жена, конечно, тоже получила свою долю в выигрыше третьей палаты. Да, им повезло! Хоть бы персоналу когда-нибудь такая удача выпала.

Барт нетерпеливо отмахнулся от поздравлений. Мысль о просьбе Джэн сверлила его мозг, и он ни о чем больше не мог сейчас думать.

— Вы знаете, доктор, жена моя вбила себе в голову, что раз у нас есть теперь деньги, ей нужно непременно уехать из Спрингвейла.

Доктор Хейг жестом пригласил Барта сесть и сам медленно опустился за стол, аккуратно, чтобы не помять свой белый халат. Казалось, его вовсе не удивило то, что сказал ему Барт.

— Серьезно? И что же вы ей на это ответили?

— Я, конечно, пытался ее отговорить. Это же безумие, но она вбила себе в голову, что ей хочется обратно в лачугу, где мы с ней как-то отдыхали еще до ее болезни. «Друг к другу — в лачугу!» — это у нас такой лозунг был в начале ее болезни, для нас он был как бы символом ее выздоровления.

Доктор Хейг протянул Барту сигарету и закурил сам. Потом он откинулся на спинку кресла и перекинул ногу через его ручку.

— Ей здесь плохо, да?

— Не то чтобы плохо. Она знает, что здесь она получает лучшую медицинскую помощь, что для нее здесь делают все, что только возможно, но вот втемяшилось ей в голову, что она поправится только в лачуге, и все тут.

Доктор удивленно поднял бровь, и Барт был поражен внезапным открытием: он понял, что означает этот старательно поддерживаемый доктором дружелюбный и непринужденный тон, что означают все его усилия держаться неофициально, так, чтобы Барт чувствовал себя как дома.

— Доктор! А как идет ее выздоровление?

Доктор задумчиво смотрел на столбик пепла на конце сигареты, на волнистую струйку дыма, таявшую над ним и уносившуюся вместе с потоком воздуха в окно.

Барт выпрямился в кресле, положив руки на колени, и ждал ответа, а в мозгу его все четче и определеннее звучал один и тот же вопрос, вопрос, который он начал задавать себе еще раньше, когда сидел у изголовья Джэн.

Доктор Хейг вздохнул и поднял на него взгляд.

— Она не выздоравливает вообще.

— Но ведь с тех пор, как стали делать вливания, она, кажется, стала поправляться.

— Боюсь, это улучшение явилось весьма неглубоким. Ни одна из наших мер не дала коренного улучшения: ни курс стрептомицина, ни режим молчания, ни другие меры.

— Так вы полагаете... — Барт запнулся.

Доктор устало поднялся с места. Он остановился перед Бартом, положил руку ему на плечо и, заглянув в лицо, увидел, как в нем зарождается страх. Он увидел, что кровь отхлынула от этого грубого обветренного лица, и помедлил, как будто желая смягчить удар, удар, который ничто на свете не могло смягчить.

— Да, я хотел вам сказать, что она уже не выздоровеет.

Барт резко вскочил со стула, сбросив руку, лежавшую у него на плече. В нем дрожал каждый мускул, в мозгу его пылали два слова.

— Не верю! — Слова разорвали тишину. Барт вызывающе взглянул на доктора.

— К сожалению, это дела не меняет, факт остается фактом.

— Тогда почему же вы раньше мне не сказали?

— Я не был в этом уверен вплоть до вчерашнего осмотра, и хотя все время с того самого дня, как она прибыла сюда, состояние ее оставляло желать лучшего, все же при туберкулезе никогда нельзя сказать наперед. На разных больших лечении производит разное действие, и бывают настоящие неожиданности: возьмите хотя бы Рега Миллера. Что касается вашей жены, то у нее стрептомицин лишь смягчил боли в горле, не более того. К сожалению, она попала к нам слишком поздно.

Барт отвернулся. Горечь этих слов была нестерпимой. Он стоял, опершись руками о камин, уронив голову на руки и стараясь справиться с нахлынувшими на него чувствами.

— Ну, ну, успокойтесь.— Доктор положил руку ему на плечо.— Если вы сейчас расклеитесь, то хорошего мало будет, мне сестра из третьей палаты говорила, что состояние вашей жены очень во многом от вас зависит.

Барт сосредоточенно думал, и в его опустошенном мозгу не находилось ни одной утешительной мысли, которая могла бы смягчить зловещий смысл того, что сказал врач. Барт резко повернулся.

— Лучше скажите мне прямо, как обстоят дела. Если я правильно понял, жена моя умирает?

Последние слова он выдал из себя с трудом.

— Да.

Барто овладело вдруг какое-то странное противоестественное спокойствие. Голова у него была словно ватой набита. Наконец он медленно и с трудом заговорил.

— И сколько еще...

Доктор Хейг сделал неопределенный жест рукой.

— Месяц-полтора...

И вдруг доктор не выдержал, он больше не в силах был придерживаться этой профессиональной прямоты.

— Боже мой, дружище! Вы уже достаточно видели здесь, чтоб знать, как трудно вообще предсказать что-нибудь!

— Дэнни Мориарти из нашей палаты должен был умереть через шесть месяцев.

— У Дэнни другое дело. Он может и еще шесть протя-

нута. Когда речь идет о гортани, тут, хорошо это или плохо, но все быстро. К счастью, стрептомицин сейчас позволяет избежать самого худшего.

— Вы хотите сказать, что Джэн осталось жить всего месяц-полтора?

— Может, больше, а может, и меньше. У нее исключительно слабая сопротивляемость.

— Тогда, значит, ей не повредит, если я заберу ее в нашу лачугу на эти последние месяцы.

Доктор резко повернулся.

— Не знаю, поняли ли вы то, что я сказал вам, Темптон? Жена ваша умирает, а вы обсуждаете, в лачугу или не в лачугу ее везти. Да вы понимаете, что она по дороге умереть может, если вы ее с места тронете?

— А хуже ли это, чем то, что ожидает ее, где бы она ни находилась?

Доктор Хейг в отчаянии прищелкнул языком.

— Я отказываюсь с вами спорить. Вы, должно быть, с ума сошли, если хотите забрать отсюда больную туберкулезом гортани женщину, которой и жить-то осталось считанные недели.

— Но она сама хочет этого.

— А кто будет там за ней ухаживать?

— Я с этим справлюсь.

— Справитесь! Да вы хоть представляете себе все, что вам придется делать?

— Довольно отчетливо.

— Впрочем, полагаю, теперь вы об этом имеете представление. Но не забывайте все-таки, что это ваша жена!

— Я не забываю.

— Вам предстоят страшные недели. Надеюсь, это вы понимаете?

— Но ведь она все равно должна через это пройти, правда?

Голос доктора зазвучал резче:

— Надеюсь, вы также понимаете, что если вы заберете ее отсюда, а назавтра пожалеете об этом, то она снова окажется последней в списке, и тогда у вас, вероятно, не будет никакой надежды пристроить ее куда-нибудь, где бы за ней был присмотр. До тех пор, пока не будет уже поздно.

— Не пожалею! А если и пожалею, то нечего беспокоиться, что я попытаюсь снова ее сюда положить. Я все снесу сам.

— Но уколы ей нужно будет делать до самого конца.

— А мне нельзя научиться делать уколы?

Доктора Хейга покинуло его обычное спокойствие.

— Нет, нет и нет! — закричал он. — И не подумаю вас учить! Это просто безумие. И я сейчас думаю не только о вашей жене, но и о вас тоже. То, что вы хотите сделать, выше человеческих сил!

Барт в упор взглянул на врача.

— Может ли она протянуть дольше, чем нам хватит этих двести сорока фунтов? Скажем, из расчета десять фунтов в неделю?

— Предсказать это невозможно.

— Вы считаете, что она ни за что не может выздороветь?

— Вы же сами знаете, что никто не сможет ответить вам на этот вопрос. Согласно всем медицинским показаниям явно не может. Но разное может случиться — больные называют это чудом, мы говорим, что здесь действуют факторы, еще не изученные наукой.

— А не может ли она поправиться быстрее там, куда ей так отчаянно хочется поехать, там, где она будет счастлива?

— И на это тоже ни один врач не даст вам ответа. Единственное, что я, к сожалению, могу сказать, это то, что, насколько я могу судить, она должна умереть, и довольно скоро.

— А она не умрет еще до того, как я успею ее забрать?

— Видите ли, если мы будем продолжать уколы, то сейчас уже ничто не сможет коренным образом изменить ее состояния — ни в лучшую, ни в худшую сторону. Я в данном случае больше думаю о вас, чем о ней. Мы здесь сделаем все, что в человеческих силах, чтобы облегчить ее и ваше положение.

— Если вы проинструктируете меня, я все могу сделать сам.

— Но послушайте, друг мой! Вы превратитесь в настоящую развалину, в жалкого психопата! Нет, нет! Я вам этого не позволю. Я позвоню в туберкулезный отдел и свяжусь с доктором. Может, ему удастся вас вразумить.

— Сейчас уже не имеет никакого значения, что там думает он, или вы, или даже я, главное сейчас, что думает Джэн. Не могли бы вы, доктор, заказать скорую помощь, чтобы увезти ее отсюда — теперь-то мы сможем оплатить ее услуги.

— И не подумаю. Вообще я запрещаю вам делать это.

И не воображайте, что вы сможете достать машину в округе. Ни один таксист не возьмет вас ни из любезности, ни за деньги, если я с ним поговорю. Предупреждаю, что я буду делать все, чтоб ваша жена осталась здесь. Это просто безумие.

— Но Джэн хочет к морю, в лачугу.

— Хорошо, я сам с ней поговорю.

Из этих слов Барт понял, что разговор окончен.

II

Барт стоял на крыльце главного корпуса, глядя прямо перед собой невидящим взглядом. В окнах уже загорались огни, обманчивая вечерняя тишина опускалась над Спрингвейлом.

Ему нечем было дышать, хотелось набрать полные легкие чистого воздуха полей. На дорожке он наткнулся на трех подвыпивших стариков поденщиков (из тех, что «по шиллингу в день»), которые возвращались домой после выходного. Они приветствовали его непристойными шуточками, обдав запахом дешевого вина, но Барт отстранил их и, словно слепой, побрел дальше, за больничные корпуса.

Он шел через скотный двор, и добрые коровьи морды поворачивались ему вслед, таращась в темноту. Какая-то собака увязалась за ним вприпрыжку, и теперь они брели вместе среди скота, который, жуя свою жвачку, бессмысленно глазел на закат, догоравший за холмами.

Колкая стерня царапала по ботинкам, комья земли разбивались под ногами, и мелкая пыль щекотала ноздри. Возшла звезда и одиноко засияла в сиреновом небе. Собака бежала за ним по пятам, тычась ему в руку своим холодным носом, и Барт рад был ее обществу. Возле реки влажный воздух был напоен запахом свежескошенной люцерны.

В притупленном сознании Барта вдруг всплыло воспоминание: так же вот пахла люцерна на приречных лугах около Батерста в ту самую ночь, когда он возвращался из Нелангалу, чтобы наутро встретиться с Джэн и отправиться вместе с ней в лачугу у моря.

Мимолетные воспоминания, полные радости и мучительной горечи; не верится даже, что это было так недавно, каких-нибудь пятнадцать месяцев назад, если считать по календарю. Но сколько изменилось с тех пор — словно минуло пятнадцать лет или пятнадцать веков! Ведь это время отделяло любовь от потери любимой, жизнь от смерти.

Тогда тоже был он, Барт, неопытный, самоуверенный и самонадеянный, принимавший как должное все, что отдавала ему Джэн, и теперь, сегодня,— это тоже был он. Он стоял у реки, слушая, как она журчит по камням, вдыхая свежий запах приречной травы, примятой его ботинками, ощущая прикосновение ивовых листьев на своем лице.

«Это конец»,— в отчаянии подумал он. Он так часто не мог выполнить желаний Джэн, и сейчас он не выполнит последнего, о чем она просила его.

Он стоял у берега над обрывом, слушая, как комья земли обрываются и падают с глухим плеском в заводь, темневшую под ивой. Какой-то зверек скользнул из травы к реке и со всплеском нырнул в воду: мопок¹ закричал в дупле эвкалипта где-то на заречном лугу, и дрожащий крик жалобно упал в тишину.

— Конец. Я побежден,— произнес он вслух, ломая между пальцами ивовые прутья.

Собака, растянувшись подле него, тихо завывала и лизнула ему руку. В этом теплом прикосновении среди ночного одиночества и мрака было что-то утешающее. Присев на землю, Барт потрепал собаку за уши. Она отчаянно пыталась лизнуть его в лицо.

Нет! Это еще не конец! Они думают, он сдался, но нет, черт возьми, он еще им всем покажет!

Он встал, оттолкнув собаку, и она, почуяв перемену в его настроении, побежала впереди. Он отправился назад через луг, и костюм его стал влажным от росы. Если поторопиться, то можно еще успеть на поезд. Нужно только захватить автобус, который в семь часов повезет персонал санатория в кино. Он обратится к Магде, вот что он делает. Магда его поймет. Всю дорогу в такт стуку колес, грохотавших в ночи, в мозгу его складывались эти слова. Тело казалось опустошенным и невесомым. В последний раз он поел в полдень, да и тогда он наспех проглотил легкий завтрак. В голове не было ни единой мысли, порой он будто грезил наяву. И снова и снова повторял он слова: «Магда меня поймет».

III

Когда Магда открыла дверь, она показалась ему еще красивей, чем он помнил ее. Она удивленно глядела на него, и на какое-то мгновение ему показалось, что сейчас

¹ Небольшая коричневая сова, водится в Австралии.

она захлопнет дверь у него перед носом. Тогда Барт выставил ногу, чтобы не дать ей закрыть дверь.

— Магда, ради бога!

Она молча отступила, и он вошел в прихожую. Магда закрыла дверь, и он, откинувшись, привалился спиной к двери.

— Ты пьян,— резко произнесла Магда. Она враждебно выпятила нижнюю губу, и глаза ее зло сузились.

Он покачал головой. Она взглянула на свои оправленные бриллиантами ручные часики.

— Тогда лучше выкладывай, что тебе надо, чтоб не тянуть зря! А то я через несколько минут должна уходить.

Он только смотрел на нее, не говоря ни слова.

— Ну так что с тобой, бога ради? — раздраженно спросила она.— У тебя будто язык отнялся.

И вдруг совсем неожиданно колени у него подогнулись, и он покачнулся. Невольно она протянула руку, чтоб подержать его.

— Заходи, присядь!

Он опустился в кресло и, будто сквозь пелену тумана, увидел, как Магда наливает и подносит ему стакан неразбавленного виски.

— Вот выпей-ка!

Барт послушно проглотил виски. Спиртное обожгло пустой желудок, но в голове сразу прояснилось. Некоторое время он сидел молча, пытаясь собраться с мыслями.

Магда села против него на ручку кресла, всем своим видом выражая презрение.

— Прости, Магда,— выговорил он наконец.— Я вовсе не собирался к тебе приходиться в таком виде.

— Ну вот, это уже лучше. Ради бога, что с тобой стряслось? Вид у тебя такой, будто ты дрых с похмелья где-то под кустом.

Барт оглядел себя, и только теперь, когда он понял, как он выглядит, ему вдруг стало стыдно за свой растерзанный вид, за военные брюки, измазанные травой, за мокрую измятую рубаху.

— Да, я немного не в порядке,— сказал он, извиняясь.— Я ничего этого не заметил. Я ведь только... только о том думал, как бы мне сюда добраться.

Оба долго молчали. Магда снова налила ему виски. Налив себе, она вернулась на свое место, на ручку кресла, и взглянула на него из-под нахмуренных бровей.

— Тебе здорово повезло, что мужа дома нет,— произнесла она наконец.— Придумал же, явиться вот так ни с

того ни с сего. Что бы муж подумал — это ты соображаешь?

Барт только покачал головой.

— Ты уж прости! — снова пробормотал он.

Он долго молчал, подыскивая слова, огненное виски растекалось у него по жилам, голова была ясная, пустая.

— Я не мог не прийти, — начал он.

Магда пожала плечами.

— Послушай, мне в гости пора, так что тебе лучше поторопиться.

Он склонился еще ниже, сжав стакан между ладоней и стараясь сосредоточиться на своей просьбе.

— Дело вот в чем, — с трудом выдавил он. — Я хотел одолжить у тебя машину!

Магда резко вскинула голову.

— Ну и наглец же ты, Барт Темплтон, просто пробы негде ставить! Вспомни, как ты со мной обошелся, а теперь еще у меня же хочешь машину одолжить!

Барт провел рукой по лицу, словно пытаясь прогнать дурной сон.

— Послушай, Магда. Тут совсем другое дело. И я бы не просил, если бы это не было... — Он сбился и замолчал, подыскивая слова, которые показались бы ей наиболее убедительными. — Не было вопросом... — Он снова запнулся, согнувшись над стаканом, и свет лампы падал на его запавшие щеки и резко выступающие скулы.

— Без сомнения, вопросом жизни и смерти, — презрительно закончила за него Магда.

— Нет... — он медленно покачал головой. — Нет, смерти!

Она встала и направилась через всю комнату к столику, где лежали сигареты. Барт слышал, как шелестела ее тяжелая атласная юбка, краем глаза увидел, как сверкнули кольца на ее пальцах и браслет у запястья. Магда зажгла сигарету и глубоко затянулась. Она стояла сейчас у стола, высоко подняв голову в пышной короне темных вьющихся волос, в которых сверкала алмазная звезда. Потом она вернулась к Барту, протянула ему сигарету, прикурив ее от своей, и уселась против него в кресле.

— Ну, а теперь, бога ради, давай все-таки выясним, в чем же дело, и, пожалуйста, без мелодрамы. Во-первых, отчего ты примчался в таком растерзанном виде и, во-вторых, для чего тебе нужна моя машина?

Он поставил стакан рядом с собой. Голос его дрожал:

— Джэн умирает. Мне врач сказал сегодня вечером.

Ей всего месяц-полтора жить осталось. И она просила меня отвезти ее снова в лачугу, где мы с ней раньше бывали. А доктор против, и он сказал, что сделает все, чтоб мне помешать. Он не закажет нам скорую помощь, и он сказал, что помешает мне нанять машину там, в окрестностях, хотя мы бы могли нанять: мы деньги выиграли. И я подумал, что ты мне, может, свою одолжишь. Опасаться инфекции не придется.

Магда молча смотрела на него. Потом глубоко выдохнула.

— Да ты рехнулся совсем! — отрезала она. — Просто рехнулся. Перевозить девочку, которая... — Она запнулась. — Которая так больна, в какую-то там разваливающуюся лачугу. А кто за ней ухаживать будет?

— Я.

— Да умеешь ли ты ухаживать за... — Она снова запнулась, и Барт закончил за нее.

— За умирающим?.. Последние два с половиной месяца, что Джэн лежала в Спрингвейле, я там работал санитаром, так что я многому научился.

Он видел изумление на лице Магды, видел, как она невольно открыла рот.

— Кем, кем?

— Кем слышишь. Санитаром в мужской палате, и если я научился за чужими людьми ухаживать, то уж за своей женой небось как-нибудь присмотрю.

— Так вы женаты!

— Да. Перед рождеством поженились.

Магда взглянула на него, и он не смог бы сказать, что означает этот взгляд.

— Но раз доктор сказал, что было бы неразумно...

— Они не знают, что это для Джэн значит.

— А ей они тоже сказали?.. — она запнулась.

— Нет. Но вчера женщины их палаты выиграли по лотерейному билету. Каждой достанется по две сотни фунтов, и вот, когда я спросил у Джэн, что она собирается со своими деньгами делать, она сказала, что хочет в лачугу. Она уверена, что там она поправится.

Магда глубоко затаилась и медленно выпустила дым. Барт никогда еще не видел у нее такого лица.

— Ладно, парень! Можешь взять машину. Скажи мне только, когда она тебе нужна, и я все устрою.

Барт поднялся, нетвердо держась на ногах.

— Ты молодчина, Магда, спасибо тебе. И будь спокойна, машина будет в полной сохранности. Ее Чилла Райэн,

дружок мой, поведет, а он шофер замечательный. Даже и не знаю, как мне тебя благодарить.

Магда тоже встала.

— Да тебе меня не за что благодарить. По совести говоря, хочешь — верь, хочешь — нет, но я это не для тебя делаю, — губы у нее дрогнули, — я это для Джэн делаю. Она, наверно, какая-нибудь особенная, если смогла из такого подонка, как ты, что-то путное сделать.

— Это так. Она и правда особенная.

— Во сколько тебе на работу завтра?

— В половине седьмого утра.

— Поездом успеешь добраться?

— Да, в пять утра есть поезд.

— Отлично. Тогда забирайся в мою постель. Вид у тебя совсем заезженный. Нет, нет! — Видя, что он собирается возражать, она тихонько тронула его за руку. — Нет, тебе беспокоиться нечего. Ты меня больше не интересуешь.

— Спасибо тебе за все.

— Да оставь ты это! Прыгай-ка в постель, а я уж позабочусь, чтоб тебя к поезду разбудить.

Барт побрел в знакомую комнату, чувствуя себя совсем обессиленным от усталости и выпитого виски. Он стянул ботинки и носки, сбросил одежду и повалился на постель. Подошла Магда со стаканом в руке. Ни о чем не спрашивая, он молча проглотил протянутую ему таблетку. Она склонилась над ним, чтоб натянуть на него одеяло, и он ощутил запах знакомых духов. Потом она выключила свет.

ГЛАВА 50

1

Мир, пронесившийся перед Джэн во время их долгого путешествия, казался ей прекрасным, как сон. Безоблачно чистый купол апрельского неба широко раскинулся над холмами, округлые склоны которых зеленели в лучах осеннего солнца. Разбросанные там и сям мелкие фермы и беспорядочно застроенные поселки, возникавшие за окном машины, представлялись плоскими и какими-то не настоящими, словно картонные домики; и даже их тени, застывшие на земле, казались неизменными и недвижимыми. Воздух был прозрачный, искристый. Сочные и яркие луга казались еще сочнее и ярче, чем в обычные дни; поблескивала

листва деревьев, а на поверхности бурлящих рек и ручьев, над которыми они проезжали, играли сверкающие зайчики.

Она с равнодушием смотрела на кипевшую вокруг жизнь, больше всего радуясь сейчас открывшейся перед ней красоте природы. В последний момент доктор Хейг предложил им машину скорой помощи, но Джэн предпочла ехать в этой серой машине, и тогда они пристроили для нее матрац на заднем сиденье, а сестра Конрик уложила подушки так, чтобы Джэн, лежа на них, могла смотреть по сторонам.

Барт сказал ей, что они взяли автомобиль у друга Чиллы, но Джэн сразу узнала эту машину по ее серебристо-серому корпусу и красной обшивке. На мгновение ей стало так же больно, как и тогда, когда она увидела, что Барт целует темноволосую девушку, сидевшую в этой самой машине. Но теперь все это осталось далеко-далеко позади — так далеко, что боль утихла. Что бы там ни было, Барт принадлежал ей. И главное, что она на свободе и снова едет в лачугу. Барт забрал ее из этой тюрьмы и вернул ее к жизни.

Чилла осторожно вел машину. Иногда, подняв глаза, она встречала его взгляд в зеркальце над ветровым стеклом, и тогда Чилла улыбался и ободряюще подмигивал ей. Барт сидел рядом с Чиллой, полуобернувшись к Джэн и озабоченно следя за каждым ее движением. Чувство любви и благодарности к Барту переполняло ее душу. Право же, никогда, кажется, она не любила его так сильно, так полно, как сейчас.

Когда они подъехали к Сиднею, Чилла стал тщательнее следить за маршрутом, выбирая тихие улицы. Они собирались перебраться в северную часть города, переехать по одному из мостов через реку, минуя центр города, но Джэн попросила провезти ее хоть разок по знакомым улицам, где ей так часто приходилось бродить. Они проехали по Колледж-стрит, мимо Гайд-парка и выехали туда, где Уильям-стрит спускается к низине Вулумулу. В парке, облетая, кружила золотая листва тополей; вот такая же листва кружила у ворот Локлина, и воспоминание о прохладном прикосновении желтого листа к ладони вдруг согрело ее нежностью, какую испытываешь, видя что-нибудь близкое, давно знакомое.

И, поддавшись внезапному порыву, она попросила Барта провезти ее через Вулумулу. Она заметила, как мужчины с сомнением переглянулись, а потом Барт кивнул. Ма-

шина свернула вниз по крутому спуску позади собора Сейнт-Мери и окунулась в толчею путаных улочек за пристанями. Перед ней мелькнула спокойная гладь залива, где сгрудились серые корабельные корпуса и стройные мачты. Прошлое возвращалось к ней. Вот утро, когда Барт вернулся из Японии. Джэн протянула руку, и Барт, перегнувшись через спинку, взял ее руку в свои руки, и при этом он тоже увидел ее такой, какой видел в то утро,— ее фигурку, обтянутую платьем, трепетавшим на ветру, ее поблескивающие на солнце волосы. Воспоминание наполнило его душу горечью. Сейчас лицо ее светилось улыбкой; она будто снова расцвела, на мгновение он встретился с ее глазами и не увидел там боли и страданий, омрачавших прежде ее взгляд. Глаза ее сияли, и красивый блеск этот пугал его. Он понял, что, протянув ему руку, она будто снова отдавала ему этим немим жестом все, что отдала тогда, в то летнее утро. Он видел в этом жесте подтверждение того, что она вернулась к жизни, и, когда их руки сомкнулись в крепком пожатии, он ощутил уже не просто надежду, а уверенность в будущем.

Они снова мчались через зеленый тоннель темных мортонбейских фиг, через парк Домейн и дальше по Мэкуористрит, где пальмы качали ветвями, купаясь в лучах солнца. Потом перед ними возник сиднейский мост, и Джэн показалось, что на какое-то мгновение они повисли между морем и небом. И она смотрела, смотрела вниз на сверкающие воды залива, на изрезанный берег бухты, пока настоящее и прошлое не слились в ее сознании и она почти перестала различать, что же с ней действительно происходит сейчас.

11

В лачуге, выполняя ее просьбу, ее положили на веранде; она не хотела упускать ни одной из тех чудесных перемен, что вечно свершаются в безднах неба и моря. Она была так измучена дорогой, что они даже не стали раздевать ее. Опершись спиной на подушку, она смотрела на лесистый берег на той стороне озера, на вечернее солнце, отражавшееся в воде ослепительным каскадом огней; долго слушала она, как волны плещут о сваи лачуги, как мерно хлопает на приколе старая лодка, вдыхала сырой сладковатый запах прибрежного тростника — пока и свет, и звуки, и ароматы не перемешались в ее сознании и она не ус-

нула; и ветер, прилетавший с озера, теребил ее волосы, а на губах ее была блаженная улыбка.

В первые дни Барту казалось, что путешествие вопреки их опасениям не только не истощило ее, но, наоборот, придало ей сил. За утренним чаем он смотрел на ее сияющее лицо и чувствовал, как в нем укрепляется надежда. Невозможно было не поддаться ее спокойной уверенности.

Она улыбалась, глядя на озерную гладь, на которой играли золотые блески солнечных зайчиков, на легкие дымки, поднимавшиеся над водой,—остатки утреннего тумана. Утро сверкало каплями росы, на деревьях шумно ссорились птицы, где-то верещала сорока, и утиный выводок кричал в камышах. Когда вокруг так бурлит и ликует жизнь, невозможно думать о смерти.

А все-таки, может, врачи ошибаются. Случаются ведь самые неожиданные вещи. Врачи и сами это признают. Он перебирал в памяти все слышанные им в санатории рассказы, рассказы о людях, которые должны были вот-вот умереть, а потом в результате какой-то странной перемены снова уцепились за жизнь и выжили. Может, и в Джэн уже началась эта перемена к лучшему.

Он щупал ей пульс: пульс был сильнее и четче. Он принес ей термометр, но она, улыбнувшись, только покачала головой, и он отложил его.

— Давай забудем об этом,—сказала она. На ощупь ему казалось, что руки у нее стали не такие горячие. Она ложку за ложкой, не спеша проглатывала легкую пищу, которую перед отъездом научила его готовить сестра Конрик.

Горло у Джэн больше не болело. Даже кашель у нее стал слабее, и приступы мучили ее реже. И она больше не смотрела на мир тем потухшим взглядом, что появился у нее в последнее время. Она была весела, они вместе смеялись и вместе вспоминали дни, когда впервые поселились в лачуге. А потом она замолкала и лежала, глядя куда-то вдаль, за озеро, уйдя в свои счастливые мечты. И он смотрел на нее, с удивлением думая о том, что страдания сделали ее лицо еще прекрасней.

В эти дни Джэн для него заполняла собой весь мир, и, постоянно думая и заботясь только о ней, он жил теперь в каком-то особом, совершенно новом мире, в котором обостренные чувства его чутко откликались на каждое ее движение, каждую мысль.

Оттого, что это была Джэн, все, что он делал, казалось ему нетрудным: он мыл ее исхудавшее тело, оказывал ей другие, самые интимные услуги, от которых когда-то он отвернулся бы с отвращением.

Стерилизуя иглы и шприц, набирая в него бледную янтарную жидкость, он думал только о наставлениях, которые давали ему в санатории. И когда он стоял с поднятым шприцем, прежде чем ввести иглу в тело Джэн, и она шарила руками, ища еще не исколотый бесчисленными уколами кусочек тела, он старался ни о чем не думать. А если и думал, то думал не о боли, которую ей причиняет теперь, а о муках, от которых он ее избавляет. Рука его оставалась твердой, хотя во рту у него пересыхало и все будто обрывалось внутри; когда же он нажимал на поршень шприца, ему казалось, что игла вонзалась в его собственное тело.

Для Джэн эти дни были полны восторгов. Безвозвратно исчез страх, владевший ею там, в палате, где она лежала целый день под табличкой с надписью «Молчание», глядя на медленно умирающую от удушья миссис Майерс, горло которой неумолимо разъедала болезнь. Болезненная слабость, владевшая ее телом, перешла в какое-то совсем иное качество. Джэн жила теперь в состоянии подъема, и это уносило ее за пределы боли и страха, сознание ее не туманилось больше, оно вновь обрело ясность, которая, как ей часто думалось в последнее время, начинала покидать ее. Часами она следила за облаками, плывшими в небе, за солнечными бликами, игравшими на озерной глади, за тенями, пробегающими по ее постели; прислушивалась к бесчисленным звукам мира — к стрекоту сверчка в траве, к треску трещотки-трясогузки в низкорослых кустах лиллипилли, к шепоту сучьев шиоки и всплеску и всхлипам волн, лизавших сваи.

Иногда Барт брал ее на руки, она клала голову ему на плечо, и тогда счастье переполняло ее, слишком глубокое, чтоб выразить его словами. Любовь и благодарность к нему вспыхивали в ней ярким пламенем. И при виде его постаревшего, осунувшегося лица, седины на висках, его усталой походки, становившейся день ото дня тяжелее, слезы начинали душить ее. «Что я сделала с ним?» — думала она.

— Милый, ты столько дал мне,— говорила она ему.— Когда я поправлюсь, я заплачу тебе за все.

Она нежно касалась рукой его рта, и он на мгновение прижимал ее пальцы к губам.

После нескольких тихих дней бешеный ураган вдруг прилетел с юга. Дикие порывы ветра швыряли дождь в окно, словно пригоршню камней, хлестали по кронам деревьев и нещадно секли озерную гладь, покрывая ее мутною пеной.

С переменной погоды кончился и краткий период начавшегося улучшения в здоровье Джэн. Началось то, о чем предупреждал его доктор Хейг,— начались разнообразные нарушения функций организма, к которым он уже привык, работая в палате. Но ни предостережения доктора, ни работа в палате не могли подготовить его к перемене, происходившей сейчас в Джэн.

Он наблюдал страдания мужчин в двадцать первой палате со стороны, сейчас же ему казалось, будто страдает его собственная плоть, словно у него самого ломит кости, словно это его пульс вдруг учащается, пропадает и снова начинает бешено стучать, словно это его легким не хватает воздуха, словно это у него сдавливает и болит горло. И, прижимая к себе Джэн, раздираемую приступом кашля, он словно терзался от собственной муки.

Иногда ее сердце, трепыхавшееся слабо-слабо, как у птицы, вдруг останавливалось совсем, и тогда у него тоже на мгновение замирало дыхание; но потом сердце ее начинало биться снова. Ночи и дни слились, он уже не различал их. Словно все свелось к одной нескончаемой процедуре умывания — он обмывал хрупкое тело Джэн, и казалось, что плоть ее таяла с каждым часом у него на глазах, и остались только кости да обтягивавшая их, кожа. Благословенное облегчение давал им обоим лишь укол. С неистово колотившимся сердцем он ждал, когда кусочки таблетки разойдутся в кипяченой воде и он сможет наконец наполнить раствором шприц. Потом он сжимал пальцами ее мягкое нежное предплечье и с горечью думал, что ни любовь, ни забота — ничто в мире не может облегчить сейчас ее муки: только лекарство.

Вначале Джэн не разрешала ему забрать себя с веранды в дом. Но когда южный ветер сменился юго-западным и порывы его, обратившие озеро в миниатюрное подобие бурного моря, стали залетать на веранду, Барт перенес ее в спальню, и она больше не возражала. В жизни ей оставалась теперь лишь отчаянная борьба с удушьем, но в минуты, когда, успокоенная лекарством, но не усыпленная им, Джэн

затихала, Барт брал ее руку в свои, и оба ощущали, как поток чувства устремляется от сердца к сердцу, и чувство это было гораздо сильнее того, что испытывали они в пору, когда, беззаботные юные любовники, они приехали сюда впервые.

Большую часть времени она молчала, ей было тяжело говорить. Она лежала молча, и Барт рассказывал ей об эпизодах его и их жизни, начиная с того дня, когда он впервые встретил ее.

— Я любил тебя тогда,— говорил он, и действительно, оглядываясь назад, он не мог припомнить времени, когда он не любил бы Джэн.— Я полюбил тебя еще больше в то утро, когда «Канимбла» пришла в порт и я вдруг увидел тебя на пристани, словно солнечный лучик проглянул. И все, что происходило потом, только усиливало мою любовь. Я не знал, что смогу так любить, а теперь вот...— он замолчал. Слишком горьки, слишком грустны были воспоминания о днях любви, слишком мучительной была мысль о том, что скоро всему придет конец. Она тихонько сжала его руку, словно желая утешить, подбодрить его. Он склонился к ней, чтоб она могла слышать каждое слово. Голос его звучал твердо и сильно:

— Я любил тебя тогда, любил в тот день, когда просил стать моей женой, но никогда я еще не любил тебя так, как сегодня.

И, словно у заслушавшегося ребенка, губы у нее полуоткрылись и глаза расширились, выделяясь на исхудавшем лице, а когда он замолчал, она прошептала:

— Когда поправлюсь, я за все отплачу тебе, Барт.

II

Она просила не сообщать Дорин, что она решила покинуть Спрингвейл. Дорин не должна ничего знать: это расстроит ее, а она ведь так успешно поправляется. Однако когда погода наконец прояснилась, она вдруг сказала ему:

— Ты знаешь, хорошо бы повидать Дорин. Как ты думаешь, не смог бы Чилла привезти ее?

Барта охватили сомнения. Он боялся и за них обеих, боялся, что Джэн слишком сильно взволнует встреча с Дорин. Он боялся и за Дорин тоже. В конце концов он все же позвонил Чилле. Чилла заверил его, что он может не волноваться — все будет сделано.

Через два дня Чилла подкатил к заднему крыльцу их лачуги в какой-то новой машине, которой Барт до сих пор никогда у него не видел.

Дорин выглядела хорошо, лучше, чем до болезни.

— Ну как Джэн? — спросила она.

Барт пожал плечами.

— Можешь сказать мне откровенно, Барт! — Она взяла его за руку и часто заморгала, борясь со слезами. Губы у нее дрожали. — И обо мне не беспокойся. Я и виду не подам, когда войду. Мне еле удалось уговорить их там в госпитале, чтоб меня отпустили, и они только тогда согласились, когда я пригрозила, что все равно убегу. Но я обещала, что сегодня же вечером вернусь, и я хочу, чтоб этот единственный день остался у меня в памяти на всю жизнь!

Джэн ждала сестру в постели, снова установленной на веранде. На ней была надета ее лучшая пижамная куртка, в косички были вплетены свежевыглаженные голубые ленточки. Слова были лишними при этой встрече. Дорин не отрываясь смотрела на сестру. Сидя у ее постели, она держала ее за руки и с трудом пыталась скрыть охватившие ее чувства. В этом незнакомом женском лице, с обтянутыми кожей скулами, с глубоко запавшими и оттого казавшимися еще больше глазами, с незнакомым ей рисунком рта, которому страдание придало новую красоту, трудно было узнать веселое девичье личико прежней Джэн.

Но это была Джэн, и сейчас в ней вдруг пробудилась прежняя веселая девчушка — она радостно смеялась и требовала, чтобы Дорин со всеми подробностями рассказывала о себе. Когда же Барт подошел к ней со шприцем, она не захотела делать укол.

— Не нужно, — сказала она. — Пока Дорин здесь, у меня не будет кашля, и я не хочу спать. Я хочу все время быть с Дорин в этот раз. А то они могут еще долго ее ко мне не отпустить.

И Дорин с трудом верилось, что «этот раз» — последний, что больше они не увидятся. И все же она знала, что это так, и Барт тоже знал, и только Джэн переживала сейчас какой-то радостный подъем.

— Так ты действительно будешь совсем здорова, Дор?

Джэн запнулась, произнося это слово, которое они уже столько раз произносили с надеждой.

— Да, вроде бы, это уже точно. Врач сказал, что если я буду поправляться так же быстро, как теперь, то я вполне смогу к концу года выписаться из Конкорда.

— Побожись.

— Вот те крест, — Дорин с серьезностью выполнила ритуал их детской клятвы.

Лицо у Джэн просияло от радости.

— Ох, Дор! Я так рада! Когда тебя выпишут, ты к нам сюда приедешь. Вот уж где поправиться можно, правда, Барт?

— Лучшее место в мире, — Барт заставил себя улыбнуться.

Дорин взяла сестру за руку и прижалась щекой к ее руке. Барт и Чилла тихонько вышли из комнаты.

Джэн снова и снова расспрашивала Дорин о подробностях ее жизни, о лечении, о госпитале, пока, наконец, не задремала.

Кошмар удушья пробудил ее ото сна. Глаза у нее были полны ужаса, новые и новые приступы удушливого кашля терзали ее тело, и казалось непостижимым, как может человеческий организм вынести все это и сохранить жизнь. Барт сделал ей укол.

Наконец она успокоилась и теперь лежала тихо-тихо, словно не дыша. Неровно вздымалось и опускалось одеяло на ее груди, иногда замирая на месте, когда она вдруг переставала дышать. Они сидели подле нее в ожидании, в страхе...

Она открыла глаза в тот момент, когда солнце проглянуло сквозь гряды облаков над холмами на том берегу и косяй луч, пробившись через листву у веранды, засветился мягким, слабым светом, как светились взгляд и затухающая улыбка самой Джэн.

— Ох, Дор! Как хорошо, что ты приехала! Теперь я увидела, как ты поправилась, и сама тоже постараюсь выздороветь как можно скорей.

Джэн говорила так убежденно, что на мгновение они всей измученной душой поверили ее словам.

— Я скоро поправлюсь, — проговорила она, протягивая к ним руки. — А завтра Барт сможет взять меня к озеру, и мы поплывем в лодке, правда, Барт?

Барт кивнул.

— А ты найдешь мои брючки, Дор? Ведь глупо, если я буду грести в халате.

— Ну, конечно, найду, Джэн! Я знаю, где они лежат.

— Вот и замечательно! — Она смотрела куда-то вдаль, мимо них, за сияющую гладь озера — туда, где темнели лесистые склоны и облака плыли над холмами. Потом перевела взгляд на Дорин. — А когда я поправлюсь, как нам весело будет всем вместе. Здесь так хорошо!

Она пристально глянула в лицо сестры, и что-то в поведении Дорин вдруг охладило ее восторженный порыв.

— Ты ведь веришь, что я поправлюсь, правда же, Дор?

— Ну, конечно, родная!

Джэн обернулась к Барту.

— И ты тоже веришь, да, Барт?

— Да я просто убежден в этом!

Джэн торжествующе улыбнулась.

— Вот видишь!

Джэн подняла руки, и резная тень листвы запрыгала на ее прозрачных ладонях.

— Видите? А вы не верили. Вот вам и подтверждение — солнце в моих руках.

Незаметно она погрузилась в сон. С трудом ему удалось наконец проводить плачущую Дорин. В машине она цеплялась за руки Барта.

— Ты приедешь, когда кончится, и расскажешь мне обо всем... Обещай мне.

— Обещаю. Да и куда еще мне тогда ехать?

III

А Джэн все спала, прижавшись щекой к подушке и полураскрыв губы, спала каким-то необычно крепким сном. И Барт всю ночь сидел подле ее постели, держа ее руку в своих руках, как будто пытаясь силой удержать ее здесь. В ее худеньком запястье легко и часто бился пульс, вдруг становясь порой почти неразличимым; дышала она теперь тяжело, неровно, порой дыхание ее и вовсе прерывалось. Барт сидел у постели и смотрел на ее лицо, на котором дрожали тени, отбрасываемые лампой. Следы недавних страданий исчезли с ее лица — оно было спокойным и отрешенным, и в этой отрешенности Барту чудилось предвестие предстоящего ему одиночества.

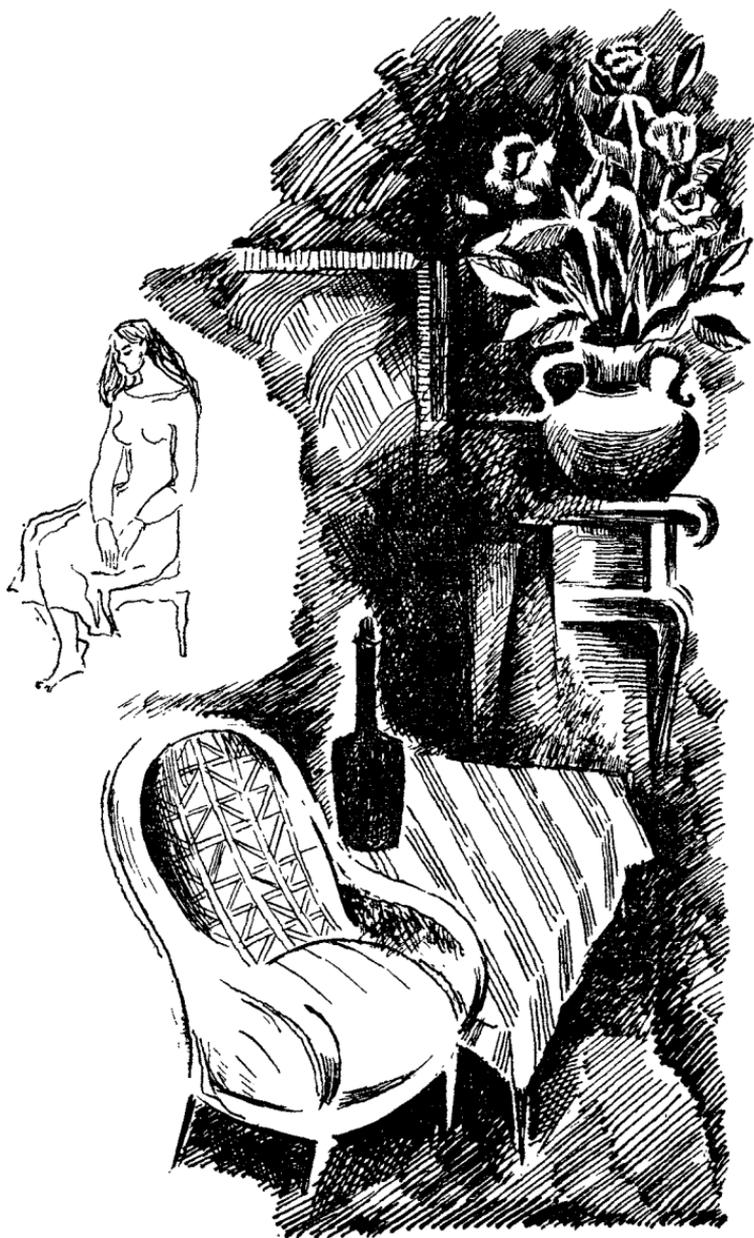
Пока она дышала, она принадлежала ему, и он жадно прислушивался к ее хриплому дыханию и старался нащупать ее учащенный слабый пульс с отчаянием человека, который был выброшен на пустынный остров и теперь смотрит, как спадает прибой и уходит волна, оставляя его на песке...

Под утро Барт задремал. Он проснулся от испуга, с которым просыпался иногда в кишевших врагами джунглях, нервы были напряжены до предела, в ушах стучало.

Над холмами на том берегу занимался бледный восход, и озеро в утренних сумерках отливало сероватой сталью.

Но для Джэн это утро уже никогда не наступит.

**ЧЕР-
НАЯ
МОЛНИЯ**
РОМАН



Ослепнув, оглохнув, онемев, она словно плыла в облачном коконе между смертью и жизнью. Откуда-то из небытия донеслась размеренная барабанная дробь. Пикассовские лица, фигуры закручивались во тьме раскаленными спиралями, сверкали огненными стрелами. Временами сквозь плотно сжатые веки просачивался дневной свет. Отзвуки жизни врываются в ее рыхлый, как вата, мозг, где не было места мыслям. Она чувствовала только, что свет причиняет ей боль, звук причиняет ей боль.

Где-то залаяла собака, разрывая кокон.словно молот застучал по черепу, дробя кости, превращая плоть в бесформенное месиво. Неожиданный проблеск сознания — она поняла, что осталась жива. Стук молота — это пульс; сердце ее принудили биться, пробуждая к жизни отравленное наркотиком тело.

Тук... тук... тук. Мучительно, ритмично и четко сердце гнало кровь по заблокированным артериям, било по отупевшим нервам, барабанило в оглохшие уши, уколами игл пронзало онемевшие руки, в то время как сознание отвергало жизнь, неумолимо возвращавшуюся к ней.

Тошнота раздирала внутренности. Рот наполнился кислой слюной. Она застонала. Холодные компрессы на лбу и щеках. Лавандовая вода на волосах. Порыв ветра. Шаги. Голоса — как шуршание грифеля по доске. Холодная рука на ее запястье. Пальцы, приподнявшие ее веки.

Плоть ее сжалась от этого прикосновения. Бесчувственная, недвижимая, она уже начинала осознавать свое «я», сопротивлявшееся силам, которые замыслили возродить ее к жизни.

Шарканье резиновых подошв по полу. Чуть слышный щелчок закрываемой двери. Тишина.

Отчаяние с новой силой охватило ее, будто вместе с потоком крови по всему ее телу хлынул яд.

Где-то в немыслимой дали, за миллионы световых лет отсюда, радио разнесло рев фанфар, но до нее долетел лишь чуть слышный отзвук.

Опять послышался лай, и мучительная боль вновь привела ее к шаткому мосту, соединявшему маяк с берегом. Джаспер все лаял и лаял. Волны разбивались о прибрежные скалы, ветер хлестал по башне маяка, а его свет рассекал тьму зелеными вспышками. Радуга арочного моста, паромы, спующие по блестящей глади воды, огни причалов, колеблющиеся от зыби,— все проносилось в ее возбужденном мозгу в диком, фантастическом танце на фоне неба, где поднимались светящиеся коробки небоскребов и бегущие неоновые буквы отправляли ввысь таинственные послания.

Почему она тоже не умерла? Тогда все эти кошмары не возвращались бы к ней. Не вернулись бы и эти мысли. О, почему она не бросилась в море вместе с Джаспером?!

Вспышки воспоминаний. Вздрагивающее тело Джаспера, умные, доверчивые глаза, и она сама дает ему эту шоколадку. Сомкнулась пасть, глоток. Она смотрит и ждет быстрой и легкой смерти, обещанной Китом. А вместо этого...

Она попыталась стиснуть зубы, но у нее не хватило сил. Попыталась сжать кулаки, но пальцы не подчинились, и она лежала, обмякшая, забыв обо всем мире, снова переживая нескончаемую борьбу Джаспера со смертью. Снова она нагнулась, прижала к себе тело собаки, почувствовала, как его лапы сводит судорога, увидела, как в его глазах на какой-то миг вспыхнуло недоумение — неужели она могла сделать это?! И снова она мучилась, видя его предсмертные конвульсии, а Джаспер лежал, весь потный, без сил, и его страдающие глаза все еще неотрывно смотрели на нее. Потом тяжелое дыхание вдруг прервалось, глаза остекленели. Ведь это она, она сама убила его — единственного, кто любил ее, кто был ей верен. А она жива.

У нее в горле заклокотали рыдания...

Игла шприца впилась в ее руку.

Прошла целая вечность. Отрывистый лай разорвал окружавшую ее мглу. Не веря самой себе, она явственно слышала лай Джаспера, обычный приветственный лай, видела его заостренные уши, его веселые, с искорками глаза, чувствовала, как он своим бархатным языком лижет ее руку. Потом включилась память, и она вспомнила, что Джаспер мертв.

Всхлипывая, она старалась отогнать от себя эти безжалостные воспоминания, которые выводили ее из состояния отрешенности, обретенного в наркотическом сне.

Кто-то тихо похлопывал ее по плечу.

— Ну, ну же, Тэмпи, дорогая,— донесся до нее голос тети Лилиан.— Ну не надо, милая, не волнуйся, самое худшее уже позади.

Пульс глухо стучал: Тэм-пи, Тэм-пи, Тэм-пи. Что-то неизменно тяжелое давило на ее веки, мешая открыть глаза. Да она и не хотела их открывать, потому что не смогла бы вынести выражения жалости на лице тети Лилиан.

Рядом шелестел шепот тети Лилиан:

— Кажется, приходит в себя.

И ответный шепот:

— Да, но в норму она придет еще не скоро.

— Но она ведь поправится, не правда ли?

— Конечно.

Это голос медицинской сестры, голос раздраженный — видимо, она считала просто глупым так суетиться только из-за того, что человек вернулся к жизни.

Она лежала и прислушивалась к слабым скрипучим и шелкающим звукам. Тетя Лилиан вяжет, и это бесконечное движение спиц у ее постели, когда она вырвалась из объятий смерти,— еще одно доказательство нелепости и бессмысленности жизни. Она напрягла остатки воли и повернула голову на подушке. Жестокая боль взорвалась в черепе. Она словно окаменела от этой боли.

Тетя Лилиан вздохнула:

— Нет, это просто счастливая случайность, что я тогда приехала. Я давно уже не была у нее. А вчера утром проснулась, и вот что-то щемит, какое-то предчувствие — со мной это иногда случается. «Что-то неладно с Тэмпи», — подумала я, быстро собрала вязанье и села в автобус. И вот, пожалуйста! Она лежала как мертвая, только слабое дыхание говорило о том, что она еще жива. Я позвонила врачу, мгновенно приехала «скорая помощь» и отвезла ее сюда.

— Да уж, действительно счастливое предчувствие! — Сестра негромко хихикнула.— Странно, что она решила на такое дело. Знаменитая телезвезда. В газетах постоянно ее портреты. Куча денег. И всякие любовные приключения, шикарная жизнь. Вроде как это было с Мэрилин Монро.

Тетя Лилиан быстро нашлась:

— Нет, здесь просто несчастный случай. Сосед этажом ниже рассказал, как ужасно она была расстроена, узнав, что убили ее маленькую собачку.

— Из-за собачки такого не делают.

Дверь тихо закрылась, она осталась одна. Запекшиеся губы чуть слышно прошептали:

— Я не вынесу этого!

«Я, я, я». Волна воспоминаний нахлынула на это странное «я», в полной неподвижности лежавшее на больничной койке.

Есть ли на свете человек, способный поверить, что смерть маленькой собачки делала для нее эту снова обретенную ею жизнь невыносимой? «Сентиментальная чепуха», — сказал бы Кит. Но он покинул ее, она осталась одна. Теперь одиночество стало еще нестерпимее.

— О, я не вынесу этого, — повторила она.

И все же никакая сила не смогла бы заставить ее еще раз проглотить эти таблетки, даже если бы она была уверена, что просто спокойно уснет и больше уже не проснется.

Кит подарил ей собаку в день их десятой годовщины. Десятая годовщина! Слово застучало в мозгу, в ритм пульсу. Го-дов-щи-на. Го-дов-щи-на. Го-дов-щи-на.

Ей стало так легко, когда она решила убить себя и Джаспера! Она вытащила из домашней аптечки крошечный пузырек, который как-то купил Кит, чтобы усыпить кошку, потому что она уж очень часто приносила котят. «Быстро и безболезненно», — сказал он. Сказал и улыбнулся.

Она могла бы броситься в море — это было бы больше похоже на нее. Романтическое самоубийство сентиментальной женщины, обнаружившей, что жизнь слишком жестока. Но она не бросилась в море. Наоборот — повернула назад, с трудом вскарабкалась по каменистой тропинке и кинулась бежать, словно ее преследовали, к краю скалы, сжав в объятиях тело Джаспера. Ветер хлестал ее по лицу. На губах она чувствовала соль своих слез, перемешанных с дождем. Она сорвала с себя косынку и укутала ею маленькое тельце. Потом положила его под кустом жасмина, упала на колени и зарыдала так, как не рыдала еще никогда в жизни: ни когда умер отец, ни когда убили сына, ни когда ее бросил Кит.

Она пришла в себя, лишь начав копать яму, разрезая лопатой сырую землю. Свет ослепил ее.

— Что вы тут делаете, миссис Кэкстон?

Луч фонарика остановился на тельце Джаспера. Старик сосед приподнял косынку и воскликнул:

— О господи! Неужели это ваша собачка? Сшибла мащина? Вот бедняжка. Уже окоченела, и ни одной царапины.

Он передал ей фонарик и взял лопату.

— Вы подержите фонарик, а я выкопаю ямку. Да не нужно так убиваться! Тс-с! Тс-с! Хорошая была собачка, лучше не сыщешь. Очень уж она мне нравилась.

Мокрая земля выростала горкой. Потом он отложил лопату, поднял трупик и, завернув его в косынку, сказал:

— Ну вот, достаточно глубоко. Собачка-то совсем ведь маленькая.

Рыдания снова сдавили ей горло. Он довел ее до дверей квартиры, словно плачущего ребенка.

То самое «я», которое она силилась оттолкнуть от себя прошлой ночью, с еще большей силой овладело ею. Она увидела, как пробирается словно привидение в ванную комнату, как достает флакон со снотворными таблетками, высыпает их на ладонь, подносит ко рту, запивает стаканом виски — доктор как-то обмолвился, что опасно после снотворного пить спиртное. Вспомнила, как затряслась от хохота при мысли о том, что люди привыкли считать опасным все, что угодно, кроме самой жизни, вспомнила, как стояла и покачивалась в ванной. Она испугалась, что у нее начнется рвота, поэтому налила в стакан воды и снова выпила. Потом легла в постель, и тьма навалилась на нее.

Страх появился слишком поздно. Она попыталась подняться и вызвать по телефону «скорую помощь», но наркотик уже начал действовать, проник в кровь, поразил мышцы и нервы.

Последние проблески сознания медленно угасали.

Тупая боль заставила ее очнуться. Позвякивание пузырьков с лекарствами действовало на нервы. Пробуждающееся сознание подсказывало, что бессильное тело на кровати принадлежит ей.

Языком, похожим на наждачную бумагу, она провела по пересохшим губам. Рот наполнился желчью.

Смерть отвергла ее, и она лежала, покорно вытянувшись, с горечью думая о своей постылой жизни. Внизу гремели тарелками, в коридоре слышались шаги. Двери открывались и закрывались.

Она вздрагивала при каждом звуке, с беспокойством слушая, как шаги то приближаются, то удаляются. Скоро ей придется увидеть не только раздражающий свет и унылый день, но и людей, прочесть немой вопрос в их глазах, презрение или, еще того хуже, сострадание. Сострадание — позорное клеймо неудачника.

Она лежала, плотно сжав веки, не желая открыть глаза, потому что, как только откроет их, жизнь начнется снова.

Пришла тетя Лилиан, принесла грейпфрут, слишком дорогой для ее пенсии, и туберозы, запах которых был чересчур резким для такой небольшой комнаты. Она слышала, как тетя Лилиан шепотом переговаривалась с сестрой, тоже вошедшей в палату.

— Пока что без сознания, но выглядит лучше.

— Все хорошо,— ответила сестра.— Теперь ей нужно только отоспаться... А я ведь часто видела ее по телевизору.

— Неужели? — В голосе тети Лилиан послышалась гордость.— Да, она очень популярна.

— А выглядит значительно старше, чем я ожидала.

— После того, что она пережила, вряд ли можно выглядеть молодо.— Теперь в голосе тети Лилиан зазвучали нотки негодования.

— Сколько ей лет?

— Сорок один.

Тетя Лилиан солгала — она убавила ей четыре года, как будто хотела защитить это распростертое на кровати тело. Если бы она могла хоть пошевелить губами, она бы выкрикнула правду, но язык был словно сухая губка, а губы как резиновые.

— Странно, кроме вас, никто еще к ней не приходил.

— Я ее единственная родственница, и я не хочу, чтобы ее беспокоили,— многозначительно ответила тетя Лилиан.— Стоит лишь кому-нибудь узнать — тут же набегут толпы.

Ложь, ложь, ложь!

Теперь она нашла прибежище в надежном мире своего детства. Она снова сбегала вниз по петляющей дорожке среди кустов. Опавшие листья, как мягкая подушка, скрадывали шум шагов, и шаги становились частью окружающей ее тишины.

Только эта тишина теперь властвовала вокруг. Она висела в воздухе между искривленными корнями эвкалиптов и ветками, поддерживавшими голубое небо, словно купол туго натянутого зонтика. Тишина захватывала, обволакивала ее и держала так до тех пор, пока сама не рассыпалась на мириады бесконечно малых, едва уловимых звуков; ветер пробегал по верхушкам деревьев с нежным шелковым шелестом, кора бесшумно спадала с дерева; лишь чуть-чуть вздрагивая, птичий голосок заливался вдалеке

серебряным колокольчиком. Потом наступала еще более глубокая тишина.

Она прислонилась щекой к стволу и почувствовала, что он такой же гладкий, как человеческая кожа, только холодный. Приложила к нему ухо, и ей показалось, будто она слышит, как пульсирует сок — совсем так же, как кровь в ее запястье.

Потом она лежала на земле. Стебельки высохшей прошлогодней травы приятно щекотали кожу, и ей чудилось, будто сама земля дышит, опускается и поднимается в такт ее собственному дыханию, движению грудной клетки; казалось, она чувствует, как молодая трава выпускает побеги, нежные и сладкие; муравьи деловито сновали в чашечках цветов, росших близко к земле, божьи коровки тащили свои пятнистые лакированные панцири по тонким стеблям. И в этой тишине, наполнявшей все ее существо, она слышала, как растет трава.

Она не помнила, когда очнулась от грез. Невольно раскрылись веки. Свет жег глаза. Сестра улыбнулась ей. Она увидела лишь эту улыбку и неправильно посаженные передние зубы, все остальное расплылось неясным пятном.

— Сегодня вы чувствуете себя уже лучше, миссис Кэкстон? — Голос сестры, как рашпилем, проскрежетал по нервам. — Вы и выглядите лучше. Доктор обрадуется. А теперь не хотите ли чашечку крепкого чаю? Ваша милая тетушка принесла целую пачку отменного индийского чая. Она говорила, что вы любите крепкий чай без молока. Ведь так?

Тэмпи кивнула, и острая боль пронзила затылок. Дверь закрылась, открылась, и сестра поставила на столик хромированный поднос.

— Может быть, чуть приподниметесь?

Сильная рука скользнула ей за спину, ловко переложила подушки. Когда она стала усаживаться, у нее закружилась голова. Полотенце, смоченное теплой водой, прошло по лицу и рукам.

— Это только чтобы освежиться. Потом я вас умою как следует, а может, вы будете чувствовать себя настолько хорошо, что сами дойдете до ванной. А теперь выпейте чаю. Когда немного поправитесь, начнем строить планы, согласны?

Она увидела, как пухлые пальцы взялись за ручку чайника, как полилась струйкой янтарная жидкость, почувствовала вкусный запах, когда сестра поднесла чашку к ее губам. Она пила, стыдясь своей беспомощности.

— Ну, вот и хорошо, — сказала сестра с раздражающей веселостью, когда Тэмпи допила вторую чашку, — это снимет сухость во рту.

Действительно, сухость во рту прошла. Приподнялся покров, сковывающий тело и мысли, но теперь ее словно оголили, словно содрали с нее кожу, превратив все ее существо в комок обнаженных нервов.

Каждое действие, рассчитанное на то, чтобы вернуть ее к жизни, лишь усугубляло ее отчужденность. Тетя Лилиан принесла из дому все, что могло ей понадобиться: в ванну насыпали ее любимую ароматическую соль, шампунь был тот, которым она всегда пользовалась, шелковая ночная рубашка была тоже ее собственной. Освеженная, она снова откинулась на подушки. Даже стены палаты были выкрашены в такой цвет, чтобы он успокаивал тех, чьи нервы на время сдали. Она сомкнула веки, но как бы хотела она замкнуть свой разум!

Очнувшись, Тэмпи увидела у постели тетю Лилиан; она вязала, от нее веяло покоем, надежностью. Ее добрые глаза были полны немых вопросов, на губах — готовый вырваться наружу нескончаемый поток бессвязных рассуждений.

Тэмпи вспомнила, как длинными вечерами тетя Лилиан вязала, а она сама сидела за столом, помогая отцу составлять гербарий. Свет лампы падал на его квадратные ладони, на пожелтевшие от табака пальцы, на обкусанные ногти, вечно перепачканные мелом. Круг на столе, освещенный лампой, стал для нее символом мира детства, мира, где руки отца и тети Лилиан защищали ее, как бы создавая преграду тьме и ужасу, таившимся за его пределами.

Но так было лишь в детстве. Потом, как-то вдруг, наступило девичество с его романтическими мечтаниями, и тогда руки любящих опекунов превратились в оковы. Именно такое настроение охватило ее, едва ей исполнилось восемнадцать — тогда ей показалось, что к ней пришла любовь.

Теперь, после всего случившегося, присутствие тети Лилиан наполняло ее сознанием вины. А тетя Лилиан, не смотря ни на что, продолжала изливать на нее свои нежные чувства. Чувства эти, однажды возникшие по отношению

к оставшемуся без матери ребенку, она пронесла **сквозь** годы, невзирая на измену и вероломство этого дитяти.

Приглушенным голосом тетя Лилиан говорила:

— Доктор не советует тебе жить одной, пока ты полностью не поправишься, особенно теперь, когда у тебя нет Джаспера. О господи, вот уж беда! Я всегда говорила: этих лихачей шоферов нужно сажать в тюрьму. Такой милый был песик! Теперь будешь скучать без него. Вот я и подумала, может быть...

Тэмпи знала, тетя Лилиан намекает на то, о чем никогда не говорила открыто, — ей хотелось переехать к Тэмпи и вести хозяйство. Раньше Тэмпи старалась не замечать ее намеков. Теперь они были для нее не только выражением любви тети Лилиан, которая всегда оставалась неизменной, но и вестью о собственном одиночестве.

Она положила ладонь на руку старушки и заставила себя улыбнуться.

— Может быть. Посмотрим, когда я немного окрепну.

Она закрыла глаза, сделав вид, что засыпает, почувствовала, как губы тети Лилиан слегка коснулись ее лба, и ощутила запах лавандовой воды, вечно преследовавший ее.

Дверь притворилась. Пустота поглотила ее.

Жизнь безжалостно возвращалась. Одиночество повисло над ней грибовидным облаком, опустошая ее всю без остатка, пожирая разум, сердце, проникая до мозга костей.

Бесконечно долгие часы лежала она без сна — снотворное больше не действовало — и думала, сколько еще лет суждено ей жить, тая в душе желание умереть и не решаясь на самоубийство.

«Из-за собачки такого не делают», — сказала медицинская сестра. «Да, не делают, — думала она. — Это делают из-за того, что жизнь рушится».

Покинув Тэмпи, Кит унес с собой опору ее существования, и теперь ничто не поддерживало, не защищало ее от неумолимых ударов судьбы.

Она представила себе Кита в сияющем ореоле. Таким она запомнила его в тот день, когда он вторгся в ее жизнь. Она стояла на коленях на берегу моря, помогая Кристоферу строить крепость из песка.

— Вы ничего не будете иметь против, если я сфотографирую вас? — спросил он.

Она взглянула на него изумленно и надменно. Он стоял между ней и солнцем. Покрытые солью волосы образовали сияющий ореол вокруг его головы.

Ее фотография была опубликована в тот же день во всех вечерних газетах: «Соломенная вдова фронтовика со своим сыном». Она стремительно вынесла Тэмпи из небогатой событиями жизни предместья.

Теперь его лицо предстало перед ее закрытыми глазами как в фильме, крупным планом, таким, каким она постоянно видела его: густые брови над глазами неопределенного цвета туманного моря, желтоватые, выгоревшие на солнце жесткие волосы, резко очерченные губы под щеточкой светлых усов.

Если чувство, которое она питала к нему все эти годы, можно назвать любовью, то она полюбила его с той первой минуты. И сколь глубоко и близко она ни узнавала его, сколь более неотрывной частью ее существа он ни становился, сколь более зависимой от него ни делалась ее собственная жизнь — все же никогда она не знала его лучше, чем в тот первый момент их встречи, когда он не только встал между нею и солнцем, но и затмил его для нее.

Когда Кит покинул ее, она узнала, что есть на свете боль, которая хуже смерти.

Смерть Кристофера явилась для нее сокрушительным ударом. Разочарование, душевные страдания, обида разрывали ей сердце. Уйдя из жизни, он, как по волшебству, снова стал для нее ребенком, который первые пять лет своей жизни олицетворял смысл ее существования. Все, что казалось давно забытым, опять возвратилось к ней в эти часы бессонницы: крошечные ручки, хватающие ее за пальцы, губы у ее груди, беззубая улыбка, первые неуверенные шаги.

Когда его убили в джунглях Малайи, ей стало страшно, что со временем из памяти может уйти все то, что лежало в глубине ее чувства к нему, потому что сын к тому времени превратился в неуклюжего юнца, чьи слова и поступки ежедневно и ежечасно в клочки разрывали ее любовь к нему. Неблагодарный и чужой. Он не любил ее и не хотел ее любви. Теперь Кристоферу ничего не было нужно, да вряд ли нужно было и раньше. Если бы хоть в прошлом осуществились какие-то ее заветные мечты... Но так как и в прошлом не было ничего, кроме разрушенных надежд, ссор, непонимания, ничего, кроме весьма поверхностного общения, то потеря сына лишь усугубила горькое чувство, что силы ее потрачены впустую.

Ей хотелось остаться одной, наедине с собой пережить первые недели своего горя, но тетя Лилиан приехала, чтобы побыть с ней. И хотя их объединяла общая скорбь, они были разделены молчаливым укором тети Лилиан. Каждый раз, встречаясь с ее покрасневшими, полными слез глазами, Тэмпи видела в них упрек — ведь у нее самой слез не было. Смерть Кристофера иссушила ее.

Много душевных мук принесла ей смерть отца. Ее терзала мысль, что она омрачила последние годы его жизни. Нет, он этого никогда ей не говорил. Лишь один раз сказал об ее отношениях с Китом. Это было в самом начале их связи — до него дошли какие-то слухи. Конечно, он не перестал любить свою дочь, но честно и открыто заявил о своих взглядах на подобного рода связи. Она нечасто виделась с отцом, но все время получала от него письма с известиями о новых открытиях, сделанных им на заросших кустарником землях, и ей казалось, будто они по-прежнему, как в дни ее детства, бродят вместе, присматриваясь, прислушиваясь ко всему.

С его смертью умерла частица ее самой, жизнь ее стала гораздо беднее. В сердце надолго осталась тихая, щемящая тоска, к ней примешивалось раскаяние за всю боль, которую причинила отцу, хотя ни разу она не пожалела о том, что сделала.

Так она и жила с постоянной тоской от потери отца, с незаживающей раной, нанесенной ей смертью сына. Но без отца и сына жизнь продолжалась. Без Кита она остановилась.

Когда он в первый же год улетел обратно в Англию, она скучала по нему так, как никогда не скучала по мужу за все то время, что он был на войне. Бодрствовала ли она или спала, днем и ночью, она всей душой и сердцем стремилась к Кита. Ее плоть, утратив свою физическую сущность, превратилась в пустую оболочку.

Никогда раньше она не могла себе представить, как можно предать мужа, или сына, или семью. Но страсть к Кита сожгла все. Тело ее расцвело новой красотой, сознание проснулось и потянулось к новому, волнующему миру, о котором она и не подозревала за все время супружеской жизни с Робертом Армистеджем — этим облысевшим, с тяжелой квадратной челюстью человеком, который, казалось, ни о чем в мире не думал, кроме своей работы, своей жены и своего ребенка.

В те годы она, по словам тети Лилиан, просто обводила Роберта вокруг пальца, платила мужу привязанностью, по-

звояла брать от нее то, чего ему хотелось,— а это было совсем немного после сумбурного медового месяца — заботилась о его ребенке, вела хозяйство в его доме, развлекала его друзей, таких же скучных и нудных, как он, приходивших в одни и те же вечера поиграть в бридж, отсылала мужа по субботам в гольф-клуб, а по воскресеньям навещала его родственников, заезжая к ним на дорогом старомодном автомобиле, который он содержал в образцовом порядке.

Когда началась война, он немало удивил всех, отправившись добровольцем на фронт, хотя возраст его давно уже перевалил за призывной. Его отъезд разрушил привычный уклад жизни, однако никак не затронул ее чувств. Жизнь ее была заполнена Кристофером, а муж постепенно исчезал из памяти, оставаясь лишь автором длинных и скучных еженедельных писем, из которых в ее размеренно текущую жизнь входили чистенькие, приукрашенные картинки войны.

Когда Кит стал ее любовником, она поняла, что ничего не дала Роберту,— проститутка и та дала бы ему больше. На какой-то момент в душе ее всколыхнулись угрызения совести и сожаления: она поняла, почему уже во время их несчастливого медового месяца у него на лбу появилась складка, а взгляд стал хмурым.

Потом, когда их отношения с Китом уже перестали быть секретом и в воздухе запахло скандалом («Прелестная соломенная вдова фронтовика танцует с известным военным корреспондентом»), на нее обратили внимание организаторы показа мод в благотворительных целях. Люди охотно платили деньги, чтобы посмотреть на красивую манекенщицу, придававшую одежде особую элегантность, отсутствующую у других женщин. Сплетни и многочисленные фотографии делали ее еще привлекательнее в глазах толпы.

Она не внимала предостережениям и упрекам близких, потому что в этом новом, очаровавшем ее мире она петеряла не только чувство осторожности, но даже потребность в нем. Тетя Лилиан, с ее возвышенными взглядами на брак, бережно хранимыми в течение четверти века, с тех самых времен, когда в одном из сражений погиб ее жених, не раз говорила ей, что она подменяет действительность мечтами.

— Что-то не похоже, чтобы он женился на тебе,— повторяла она,— даже если Роберт и согласится на развод. А он вряд ли на это согласится, так как он человек глубоко религиозный.

Но Роберт, хотя и был человеком глубоко религиозным, обладал болезненным чувством собственного достоинства. Он сам потребовал развода, опять удивив всех.

.. Она не узнавала того сдержанного человека, за которого вышла замуж. Роберт вернулся упрямым и несговорчивым после нескольких лет, проведенных в пустыне. И вот он сидит перед ней в форме капитана, вытянув перед собой загорелые руки. Она была потрясена, услышав, как он говорит:

— Я развожусь с тобой. Я намерен привлечь Кита Мастерса в качестве ответчика в бракоразводном процессе и потребовать возмещения убытков.

— Роберт, неужели ты можешь это сделать?

— Могу и сделаю. Ты не только выставила меня на посмешище перед всеми моими друзьями, но опозорила мое имя и имя моего сына, да и свое собственное, если это еще что-то для тебя значит. А раз тут повинен Мастерс, пусть он и расплачивается.

— Я никогда не думала, что ты такой корыстный.

— Дело не в корысти — я просто требую справедливости. Я мог бы понять тебя, влюбись ты в человека молодого. Я не стал бы обвинять тебя, потому что — да простит мне бог! — сам поступил тогда в Сиднее не очень порядочно, уговорив тебя, восемнадцатилетнюю девушку, выйти за меня замуж. Я знал, что ты пошла на это не по любви, а лишь затем, чтобы выбраться из той дыры, в которой тогда прозябала. Я был глуп, надеясь тебя изменить. Я мог бы просто тихо, спокойно отпустить тебя, признав, что в первую очередь должен винить самого себя. Я мог бы и дальше жить с тобой, зная, что ты меня не любишь и никогда не будешь любить, но я не могу жить с тобой, раз ты любишь другого. К тому же ты сама смешала всех нас с грязью. Подумала ли ты о том, что должен был чувствовать я, видя, как солдаты в столовой сосредоточенно разглядывают фотографии, на которых ты снята в ночном клубе с этим известным военным корреспондентом? Подумала ли ты о том, каково теперь Кристоферу в школе?

— Он еще слишком мал, чтобы понять.

— Мальчик никогда не бывает мал, чтобы понять такие вещи. А если еще и не понял, то приятели очень скоро объяснят ему, что его мать — шлюха.

— Да как ты...

— Ну так станешь шлюхой еще до того, как я разведусь с тобой. А Мастерс заплатит за все.

Они оплатили судебные издержки по бракоразводному процессу. Опекун над ребенком, который совсем замкнулся в себе, была передана Роберту.

— Забудь об этом,— сказал в тот вечер Кит, осушая поцелуями ее слезы.— Нас это не должно тревожить, мы нашли друг друга. Навеки!

Именно с тех пор началась ее настоящая супружеская жизнь, хотя Кит и не мог официально жениться на ней, потому что его жена находилась в психиатрической больнице после того, как родила мертвого ребенка.

Квартира, где они поселились вместе, стала ее настоящим домом, какого у нее не было никогда прежде. И враги и друзья терялись в догадках, каким образом Киту удалось создать, по выражению модных писателей, «очаровательную оправу для очаровательной женщины», помня ту большую сумму, которую ему пришлось выплатить ее мужу в качестве компенсации за причиненный ущерб. Они просто не знали, что Кит оказал услугу одному американскому полковнику, который в знак благодарности снабдил его фешенебельной обстановкой за весьма скромную плату и без дополнительных расходов при продлении аренды.

Квартира эта, с огромными окнами, выходившими на просторы залива и на гавань, стала образцом современного жилища. Стены были увешаны абстрактными картинами; меняющийся свет вносил новые, свежие краски в эту бесформенную, необузданную стихию, и временами даже казалось, что в ней таится какой-то смысл.

Единственной вещью, нарушавшей гармонию, была старомодная деревянная резная двуспальная кровать в георгианском стиле, которую они купили на распродаже в доме какого-то колониста. Кит парировал насмешки друзей, заявляя, что предпочитает иметь лучшее из старого в сочетании с новым. Так он и поступил, купив новый роскошный матрац для этой старой кровати.

Квартира была прекрасным обрамлением приемов, которые они устраивали для избранных лиц: для тех, на кого всегда можно было положиться, кого мало интересовали сплетни, но чье искусство как бы проникало в пятое измерение, недоступное менее восприимчивым умам, чья музыка отрицала мелодию и углублялась в область диссонансов, чья литература пренебрегала формой и содержанием, анализируя природу человека вне связи с внешним миром.

Она всегда чувствовала свою органическую связь с тем образом жизни, который они создали вместе. Они подходили друг другу в обществе точно так же, как соответство-

вали друг другу физически, каждый из них был неотъемлемой, жизненно необходимой частицей идеального целого. А может, ей просто так казалось.

Она наслаждалась ролью гостеприимной хозяйки дома, в котором подавались экзотические блюда, сопровождаемые бесконечным множеством напитков, и гости расточали в ее адрес похвалы, восторгались ею как женщиной и как хозяйкой.

Кит, с присущей ему энергией, всегда умел извлечь гармоничный аккорд из разноголосицы своих гостей, ненадолго примирить разбушевавшиеся страсти, хотя временами и случалось, что подобная гармония была пригодна лишь для симфонии самого новейшего стиля, где музыка, за исключением нотной записи, почти целиком уничтожалась.

Однажды, смущенная более обычного абстрактностью картины, подаренной Киту, она попросила его объяснить, что же там изображено. Он рассмеялся:

— Живопись отказалась от формы, так же как музыка, литература, как сама жизнь. Все они — не более, чем пуантилистские точки, в конечном счете создающие иллюзию света или формы. Все есть иллюзия.

— Не верю.

— Все, кроме нашей любви.

И как всегда, он спутал ее мысли, прильнув к ее губам. Она почувствовала настойчивый призыв его сильного тела и, отдавшись порыву страсти, забыла обо всем на свете.

Ни разу за все годы, прожитые вместе, его желание не оставалось у нее безответным. Когда они были вдвоем, лишь это являлось главным для них, лишь это составляло реальность, лишь это означало жизнь, принося невыразимое блаженство. Когда потом она постепенно приходила в себя после бесконечности и беспредельности, в которые бросали ее его объятия, небо казалось ей несказанно высоким, море неизмеримо глубоким. Деревья, шелестевшие своими зелеными кронами у балкона, становились лесом, сквозь листву просвечивало солнце и роняло кубовидные узоры на оранжево-розовые гладкие изгибающиеся ветви. Небо и море, деревья и ветер создавали чувственную музыку.

Когда он ушел от нее, вместе с ним ушли и воспоминания о простых радостях любви. Теперь они возвращались к ней только по ночам, вызванные грубой физиологией, и жестоко мучили ее.

Дни и ночи в больнице проходили монотонно и однообразно, почти ничем не отличаясь друг от друга. Лишь днем эта монотонность нарушалась какими-то привидениями в белых халатах, что-то делавшими с ней. В прессе не появилось и намек на то, что случилось с ней. Об этом позаботилась газета, которая владела телевизионной студней, где она работала. По ее просьбе посетителей к ней не пускали, без конца передавались лишь записки и цветы. Тетя Лилиан приходила каждый день. Неизменно доброжелательная и понимающая, она вязала, что-то тихо говорила, строила планы.

Снотворное, которое Тэмпи принимала каждую ночь, казалось, только обостряло ее чувства, и она лежала без сна, как бы проглядывая снова и снова картины своего блистательного прошлого. Мозг сверлила одна мысль: почему же все-таки она потерпела фиаско?

В дни успеха деньги, как и лесть, стекались к ней рекой. После того как один американский журнал опубликовал на обложке ее фотографию, она получила международную известность. А когда газета, где работал Кит, стала владельцем телевизионной студии, Тэмпи стала эталоном хозяйки дома, воплощением всего, о чем мечтали обывательницы, столь жаждавшие романтики. Иногда Кит, подшучивая над ней, спрашивал: а нет ли у нее тайных сомнений в том, что они страстно желают всего этого лишь потому, что их заставляют этого желать. Она категорически отрицала подобные утверждения. Если уж требовалось доказательство, что все, проповедуемое ею, направлено на достижение счастья, таким доказательством она считала свою собственную жизнь.

Она научилась вполне профессионально оценивать свои достоинства. Кит подтрунивал над ней, по пунктам перечисляя, что ему нравилось в ней, сочинял стишки — что-то среднее между шуткой и непристойностью, — восхваляя ее глаза тигрицы, иссиня-черные волосы, стройные бедра и тугую грудь. Она смеялась в ответ, но никогда это не доставляло ей радости.

Она любила свою профессию и верила в нее. Те, кто изобретает рекламу, начинают верить своим собственным призывам, явил Кит. И как бы в подтверждение его слов она, являя собой «стандарт идеальной женщины», притягательная сила которой способствовала сбыту косметики, парфюмерии и даже образа жизни, сама истово потребляла этот товар.

Она получала огромное наслаждение, когда часами про­сизживала в шикар­ных салонах красоты и искусные руки разглаживали ее и без того гладкую кожу, делали ей маски для лица, испытывала сладострастное удовольствие от массажа тела, маникюра и педикюра.

Она проводила много часов в фотостудии, демонстрируя перед объективом новые модели одежды, полученные из Лондона, Парижа и Нью-Йорка, и, как ребенок, радовалась тому, что ее лицо и фигура так гармонируют с этими моделями. Масса времени уходила на съемки телевизионных фильмов для домашних хозяек, живущих в пригородах, — миниатюрный экран телевизора представлял им единственную возможность бегства от действительности. Долгие часы она проводила с заказчиками телереклам, со специалистами отдела объявлений, принимала участие в пикниках, где комментировала показы мод, устраиваемые в благотворительных целях (правда, большая часть денег, вырученных от таких показов, шла на покрытие расходов, а не на благотворительность).

Она получала ни с чем не сравнимое удовлетворение от популярности своего «Клуба обаяния», от писем женщин, где они рассказывали о разительных переменах во внешности и в домашней обстановке, которых достигли, следуя ее советам.

И если неумолимые годы иногда вдруг выглядывали из-за ее плеча в тот момент, когда она внимательно изучала свое отражение в слишком уж правдивом зеркале, висевшем в ванной, то все тени сомнений тут же улетучивались, едва лишь над ней загорался взгляд Кита. И когда их охватывала не иссякающая с годами бурная страсть, она, хоть и ненадолго, снова была уверена в бессмертии красоты и любви.

Все время, пока они были вместе, она старалась не только для себя, но и для него: приглашала на приемы людей, которые могли быть ему полезны, создавала вокруг него общество по его вкусу — это были искушенные в житейских делах, умные, влиятельные люди, которые в должное время смогут понять, что именно он является человеком, способным возглавить редакцию газеты, а это было его непреодолимым желанием.

Она жила в мире подобострастия, в мире обезличенном — ведь окружавшие ее люди в большинстве своем были ее поклонниками и льстецами, а не друзьями. Настоящих друзей у нее не было. Кит ревновал ее и к женщинам не меньше, чем к мужчинам, ревновал ко всему, что так или

иначе отвлекало ее от него. Временами он ревновал ее даже к Джасперу.

Она не протестовала — его ревность льстила ей.

Женщины ей завидовали. В их мире преданность и верность мужа считалась чем-то необычным, достойным удивления. А преданность мужчины, который даже не был мужем, — преданность любовника расценивалась не иначе как чудо.

Жизнь и невзгоды других женщин ничему не научили ее. Неверность чужих мужей лишь еще более выгодно оттеняла ее счастливую судьбу. Тэмпи, конечно, видела, что измены и горести являются нормой окружавшей ее жизни, но считала, что сама она — исключение из этой нормы. Настанет день, думала она, и жизнь скрепит их любовь узами брака. Это случится тогда, когда несчастное безумное создание, на котором он женился в молодости, отойдет в мир иной, а может быть, и раньше, если изменится закон о психически ненормальных. Сейчас это ее не волновало.

Она бы с радостью родила ему ребенка и бросила тем самым вызов обществу, подобно тому, как сделала это, приняв его любовь. Но Кит и слышать не хотел о ребенке.

Порой ей казалось, что это трагические события в жизни Кита — рождение мертвого ребенка и сумасшествие жены — выжгли из его сердца все чувства к детям. Порой она думала, что виной тому его ревность: он боится, как бы что-то не встало между ними, и ему так же мало хочется иметь собственного ребенка, как и Кристофера.

Он ненавидел детей. Их отношения в первые годы совместной жизни омрачались лишь тогда, когда она была беременна. Насколько беспечен он был в минуты страсти, настолько же он был напуган возможностью появления ребенка.

— Пусть у нас будет ребенок, — умоляла она, забеременев в третий раз. — Давай на этот раз оставим его.

Лицо его потемнело.

— Нет! — сказал он резко. — Нет! Я не хочу детей. Никогда. Нужно избавиться от него. Не так уж это и трудно.

«Это не трудно тебе, потому что не ты будешь делать это», — с болью думала она, снова ложась в одну из самых фешенебельных клиник, где обходительный доктор нажил себе целое состояние, исполняя волю таких же, как она, женщин.

Всякий раз, как это случалось, она не могла отделаться от горького чувства крушения своих надежд. Вообще-то ей

и самой не очень хотелось ребенка. Все ее материнские чувства были отданы Кристоферу в дни его детства. И все же, как только жизнь начинала в ней свою созидательную работу, у Тэмпи возникало желание как-то защитить ее, сохранить. После пятого аборта, едва очнувшись от наркоза, она испытала такой прилив возмущения, что дала себе клятву: «Никогда больше». И никогда больше это не повторялось. Кит не спрашивал, что и как, а она, когда порыв страсти бросал их в объятия друг друга, была даже рада, что больше не нужно ни о чем заботиться.

И вот теперь она осталась бездетной и бесплодной. Он отнял у нее возможность зачатия с такой же бессердечностью, с какой лишил жизни кошку, слишком плодovitую, по его мнению.

Они были вдвоем, когда принесли телеграмму о смерти его жены. Он читал ее, и лицо его становилось желто-серым. Он протянул ей бланк. Она пробежала глазами несколько скупых, официальных строк из дома умалишенных и молча вернула ему телеграмму. Говорить было не о чем. Ни он, ни она не произнесли ни слова. Но в ту ночь их захлестнул такой шторм любви, что она осознала, насколько глубоко он был потрясен этим известием.

Тэмпи не заговаривала о свадьбе. Она не придавала ей большого значения. Она даже не была уверена, хочет ли этого брака. В той или иной степени он, конечно, был тем, к чему они стремились все эти годы, он узаконил бы их отношения, освященные любовью, кроме того, он облегчил бы и устранил возможные трудности к тому времени, когда Киту придется занять пост главного редактора газеты.

После того как женщина, ставшая женой Кита в молодости, так незаметно ушла из его жизни, в отношении Кита к Тэмпи появилось что-то новое. Он был так же ненасытно жаден в своей страсти, как и в первые дни их совместной жизни, но к этой жадности прибавилась какая-то жестокость, оставлявшая на ее теле довольно заметные следы.

Это случилось после одной из таких ночей. Они завтракали на балконе, увитом хрупкими колокольчиками джакаранды. Казалось, слившаяся с небом волнистая сверкающая рябь моря затопила своим светом весь мир. Кит еще до кофе выпил двойную порцию виски. Это ее удивило, потому что, хотя Кит временами и любил как следует выпить, он никогда не пил до завтрака. Он поставил на стол свою

рюмку и запил виски крепким черным кофе. Он молчал, но в этом не было для нее ничего странного. За завтраком он всегда молчал. Обычно они ложились спать очень поздно, поздно вставали. Около часа уходило на туалет, и только после этого они лениво принимались за завтрак, когда другие уже подумывали об обеде. Утренние газеты лежали перед ним на столе, он просматривал их, как всегда сосредоточенно нахмурившись. Это тоже было в порядке вещей.

Тэмпи медленно тянула грейпфрутовый сок, запивая его кофе. Ее глаза с любовью ласкали худое лицо Кита. При ярком солнечном свете на нем яснее обозначились глубокие бороздки около рта и сетка мелких морщинок вокруг глаз. Она взглянула с балкона вниз, туда, где в тени деревьев раскачивались на ветру розовые соцветия лилий, полупрозрачные лепестки ярко-красных лазиандров. Она изумилась тому, насколько чудесен этот мир и ее собственная жизнь. «Если бы я была поэтом,— подумала она,— я бы сказала стихами: «Тело мое напоено медом, как доверху наполненные соты». Странно, что ни один поэт из тех, которых она знала, не додумался до того, чтобы сказать такие слова о любящей и любимой женщине.

Зазвонил телефон. Она сделала движение, чтобы подняться и взять трубку, но он сказал:

— Я сам.

Вернувшись, он остановился у двери балкона, вынул из пачки сигарету, небрежно сунул ее в рот — она повисла на губе — и тряхнул зажигалкой, которая никак не хотела загораться.

Тэмпи ни о чем его не спрашивала. По опыту знала: лучше не спрашивать — больше узнаешь.

— У Мак-Эндрю сердечный приступ.

Мак-Эндрю был редактором его газеты. Ни он, ни она не осмелились сказать того, что было у них на уме, — ведь в любой момент их старый друг мог умереть.

— Я должен поехать в Мельбурн.

В Мельбурне находилась главная редакция газеты. Там жил сам босс, владелец газеты. Там будет решена его, Кита, судьба.

— Я еще успею на двухчасовой самолет. Пусть уж сразу все встанет на свое место.

Его руки, на которые она положила свои, были холодны. Она встала, подошла к нему, прикоснулась губами к его лбу в знак молчаливого понимания. Он отошел к решетке балкона, оперся о нее и нахмурился, глядя куда-то вдаль,

не замечая, как ей казалось, ничего: ни блестящего на солнце моря, ни неба с обрывками облаков.

Больше он к ней не вернулся. Он даже не позвонил. Обычно, уезжая, он звонил ей каждый вечер, а если бывал за границей, засыпал ее телеграммами или короткими, наспех написанными письмами.

Вначале она оправдывала это молчание той весьма щекотливой ситуацией, в которой он оказался.

Каждый вечер, когда раздавался телефонный звонок, она подбегала к аппарату, а потом клала трубку с упавшим сердцем — звонил опять не он, а кто-то из знакомых. Она придумывала ему различные оправдания, полагая, что произошло нечто такое, о чем нельзя сообщить по телефону. Правда, от него ежедневно поступали телеграммы: пришли то... вышли это. К ней даже приезжали из сиднейской редакции, чтобы по его поручению забрать необходимые ему вещи.

Он так и не звонил ей, ни тогда, ни потом, а она все посылала и посылала ему письма. Она утешала себя тем, что их код, выработанный за долгие годы, ребяческий код, позволявший им в самое краткое послание вместить всю их безграничную любовь, придавал его обрывочным телеграммам особый смысл, понятный только им двоим.

День за днем она следила за бюллетенями о состоянии здоровья Мак-Эндрю. Она даже позвонила его жене, выразив сочувствие, хотя и испытывала при этом угрызения совести.

«Я, право же, не желаю ему ничего плохого», — говорила она себе, но ведь то, чего она хотела для Кита, могло произойти лишь в случае смерти Мак-Эндрю. Она всеми силами старалась отогнать эти мысли, вспоминая свою суеверную тетю Лилиан, считавшую, что «любая беда, которую кличешь на других, обрушится на тебя самого». Она пыталась заглядить свою вину, будя в себе особенно добрые чувства к этой безвкусно одетой маленькой миссис Мак-Эндрю, с которой виделась лишь пару раз — ее скучный загородный дом являл собой слишком тяжелое воспоминание о том мире, который она покинула ради Кита.

Его не было рядом с ней, и она спала тревожно. Из гнетущей дремоты ее выводил первый же бесшабашный смешок кукабарры. Она брала Джаспера и вела его на любимую прогулку к вершине горы. Ранними утренними часами в самый разгар лета она бездумно бродила по тем местам, где высокое, голубое небо как в зеркале отражалось

в голубом заливе, где в заповедниках благоухали райские цветы и ярким оперением сверкали птицы, где солнце играло на голубых чашечках цветов, сплошь покрывавших тенистые скалы, и голубые крапивники переливались, словно сапфиры, в его лучах.

Джаспер, заходясь лаем, гонялся по скалам за чайками, потом возвращался к ней, усаживался и наблюдал, склонив голову, за тем, как она завтракала. Глаза его искрились сквозь нависавшую на них шелковистую шерсть.

Проходила неделя за неделей, а от Кита не было ни слова. И тогда ее охватила непреодолимая потребность услышать его голос. Много лет эта потребность была взаимной, связывавшей их через огромные расстояния. Поговорив, они обретали покой — но лишь на время, а потом снова предпринимали неистовые попытки соединиться по телефону друг с другом. Эти попытки совпадали так странно, что они приписывали это телепатии.

Она заказала междугородный разговор на тот час, в который он обычно сам звонил ей, — она знала, что в это время он всегда отдыхает в редакции после сдачи в печать утреннего выпуска газеты. Она знала даже, как он выглядит в такие моменты: галстук сбился набок, рукава рубашки закатаны, между пальцами зажата сигарета, он быстрыми глотками пьет черный кофе. Она сделала заказ, заранее предупредив, кто будет разговаривать — во избежание каких-либо недоразумений.

Бесстрастный голос секретарши раздался совсем рядом так четко и ясно, будто она находилась в соседней комнате. Но едва она заговорила, эта бесстрастность утонула в бурном потоке слов.

— О господи! Извините, миссис Кэстон, но мистеру Мастерсу пришлось срочно уехать.

Еще до того, как секретарша закончила объяснения, чутье подсказало Тэмпи, что это ложь. Однако, когда на следующее утро она прочитала в газете извещение о смерти Мак-Эндрю, она подумала, что, вероятно, на этот раз ошиблась.

А через неделю в газетах появилось официальное сообщение о том, что мистер Кит Мастерс назначен редактором газеты «Глоуб». Прочитав это сообщение, она от радости разрыдалась.

Но никто из друзей журналистов не позвонил ей и не поздравил. Не сделали этого и знакомые, часто бывавшие в их доме на званых вечерах. Завидуют, думала она. Лишь один телевизионный комментатор последних известий, за-

кончив сообщение о назначении Кита, добавил, чуть приподняв щетиновые брови:

— Что ж, он получил то, к чему стремился. Будем надеяться, это ему по душе. Говорят, завтра вечером он придет обратно и займет свое место председателя на собрании сотрудников газеты.

Домой она неслась словно на крыльях. Значит, и его молчание, и необъяснимое нарушение сложившихся привычек — все это теперь уже позади. Он возвращается к ней, да еще с назначением, о котором мечтал всю жизнь.

Она заказала его любимые блюда, купила его любимые цветы. Сама приготовилась, как могла бы подготовиться лишь невеста.

Эту ночь она спала беспечно и крепко, как будто он уже был рядом. Проснулась рано. Поставив завтрак на поднос, положила туда же газеты и вышла на балкон. Быстро пробежала глазами страницы совсем неинтересных для нее сообщений о войнах и революциях, о сверхмощных бомбах и спутниках. Наконец добралась до колонок, где печаталось то, что занимало ее больше: хроника дел того мира, которым она жила. Именно там, в неприметном уголке, под заголовком «Скромно отпразднованная свадьба», она наткнулась на лаконичное сообщение о бракосочетании Кита Мастерса и Элспет Робертсон, единственной дочери мистера Дэвида Робертсона.

Она могла бы принять эту заметку за одну из тех чудовищных опечаток, которые наводят ужас на любого редактора газеты. Она никогда не поверила бы этому сообщению, если бы Элспет Робертсон не была увечной дочерью могущественного владельца газеты, редактором которой стал теперь Кит.

Телевизионная компания направила ее в заграничную поездку, показавшуюся ей нелепой фантазмагорией моды и изящества. Европа, Соединенные Штаты. Лишь порой, в коротких перерывах между возбуждением от работы и наркотическим сном, ей вдруг приходило на ум, не дело ли это рук Кита, уже вступившего в роль редактора и повлиявшего на загадочно неожиданное решение директоров телевидения. Не его ли это желание — отослать ее, чтобы не тяготиться в медовый месяц мыслями о том, как она одна лежит в их кровати. Именно тогда начала она в избытке принимать наркотики, обнаружив, что без них не может заснуть, и в то же время возненавидев такое забытье без сновидений.

— Ты никогда не состаришься,— сказал ей Кит в тот последний день, когда они были вместе. Глядя в ее лицо на подушке, он внимательно рассматривал морщинки у глаз, которых раньше не замечал.— Но кожа твоя начинает увядать, у тебя уже появились морщинки вот здесь. И вот здесь.— Он провел пальцем по ее шее.— И линия рта у тебя начинает обвисать.

Увы, зеркало подтвердило его правоту. Она уехала в Швейцарию, в клинику прославленного специалиста по пластическим операциям, заплатила баснословные деньги и вышла оттуда обновленной — морщинки вокруг глаз разгладились. Из зеркала на нее смотрело новое, незнакомое ей лицо.

Лежа в затемненной комнате после операции, она думала, почему теперь, когда современная наука творит чудеса, еще не научились делать пластические операции на человеческих душах.

Три месяца колесила она по всему свету. Она настолько уставала, что как-то почти не думала об одиночестве. И, лишь переступив порог своей квартиры, где ее встретили только Джаспер и тетя Лилиан, ясно представила себе, каким одиноким с этих пор будет ее существование.

Внешне все шло по-старому. Она так же подолгу лежала на столах массажисток, сидела в креслах парикмахеров, отдыхала, когда над ней хлопотали умелые руки косметичек. Лицо ее сохраняло свежесть, кожа была упругой, тело крепким, волосы густыми и блестящими. Но внутри у нее было пусто, пусто, пусто. Теперь она нуждалась не в подновлении красоты, а в чем-то ином, что определило бы смысл ее жизни и дало бы ей цель.

Самыми мучительными были для нее часы, которые она проводила дома. Она никак не могла найти выход из создавшегося положения. Конечно, можно было продать все и переехать. Это стоило бы ей дешевле, но пока она еще не задумывалась о деньгах как о сложной жизненной проблеме.

С уходом Кита прежняя светская жизнь прекратилась, и ей пришлось воочию столкнуться с крахом своих иллюзий о том, что она является частью этой жизни. Правда, она еще широко пользовалась гостеприимством и сама оказывала его, но теперь уже не у себя дома. Она предпочитала приглашать знакомых в фешенебельные рестораны, где всегда в нужный момент оказывался фоторепортер, запечатлевавший на пленку ее визит, где управляющий и метрдотель встречали ее подобострастно, потому что при-

существование в их заведении Тэмпи Кэксон было рекламой, а стало быть, приносило прибыль.

Особенно страдала она от одиночества в субботние вечера. Вряд ли какая-нибудь женщина, так же, как она, дорожившая репутацией счастливой и преуспевающей, осмелилась бы появиться в общественном месте одна или в компании другой такой же одиночкой особы. Прийти в театр, в ресторан одной или с подругой означало бы признать перед всеми свое поражение. Ей приходилось принимать приглашения мужчин, которые лишь раздражали ее.

Она пробуждалась от наркотического сна, как только озорные кукабарры начинали заливаться громким смехом, и ее квартира казалась ей чем-то вроде пустой скорлупы.

Воспоминания преследовали ее, хлестали, словно плетью. И хотя в доме не осталось уже ни единого вещественного напоминания о Ките, она никуда не могла убежать от него: пол отзывался эхом его призрачных шагов, кровать дышала его незримым присутствием.

Она долго не могла подняться, лежа в полузабытьи, а вокруг пробуждалась жизнь: куравонги перекликались звонкими трелями в листве деревьев, весело щебетали бюль-бюли, чайки своими пронзительными криками, будто хор, аккомпанировали грохоту первых отплывающих паромов, взрывая тишину у причалов. Тэмпи ощупывала свою кровать, отказываясь поверить, что она пуста. Слезы медленно скатывались из-под ресниц, стекали по вискам и ушам. Она лежала, плотно сжав веки, не открывая глаз, не видя наступившего утра.

Потом ее тело начинало гореть от острой тоски по нему, она переворачивалась и зарывалась лицом в подушку, кусала ее зубами, лишь бы не закричать во весь голос. Так лежала она, скованная страстью, пока неудовлетворенное желание не утихало в ней, а сердце не начинало биться нормально.

Беспощадное солнце настойчиво врывается в широкие окна, заливая уже не просто сверкало, а весь горел от ослепительного света. Она нехотя поднималась, долго, очень долго лежала в ванне. От воды исходило благоухание, а по лицу ее, покрытому густым слоем крема, неудержимо текли слезы.

Она пробовала читать, но ни в одной книге не были описаны муки ее одиночества. И поэтессы и романистки, видимо, стыдились правдиво показать глубину страданий, отчаяние покинутой женщины. А может, они просто этого

не испытали. Или талант предохранял их от разъедающего чувства потери и горечи поражения.

Романтический ореол, который раньше окружал ее работу, начал постепенно тускнеть. Теперь, когда телекамера брала ее в фокус, она должна была собрать все свое умение, весь свой опыт, чтобы придать позе естественность и эффектность, чтобы владеть модуляциями голоса. Теперь ей претили и резали ухо рекламные передачи. Раньше они не казались ей такими вульгарными, слащавыми попытками одной женщины вызвать доверие других. Теперь она ощущала чудовищную неискренность, лицемерие созданного ею образа, скрытые безмятежным выражением лица, спокойными глазами и улыбающимися губами, которые говорили: «Твоя святая обязанность по отношению к самой себе и к мужу — постоянно думать о красоте своего тела, о том, чтобы волосы твои отливали блеском, а кожа была упруга и нежна. Заботясь о своих нарядах, ты исполняешь долг не только в отношении своего дома и своей семьи, но и в отношении своих соседей — ты воспитываешь в них хороший вкус». А червь в мозгу замечал иронически: «Как же ты можешь давать советы этой незнакомой женщине, какими чарами удерживать возле себя мужчину, если сама не смогла этого сделать?»

Теперь она уже не швыряла секретарше письма, пачками пришедшие на ее имя ежедневно, — она внимательно вчитывалась в каждую строчку, стараясь за неуклюжими фразами немолодых женщин, спрашивавших, как сохранить свою внешность, найти подтверждение тому, что в сорок лет жизнь еще не кончается.

Она начала бояться пустоты жизни этих женщин и дрожала вместе с ними от страха, хотя совсем еще недавно смеялась над их трогательными излияниями. Теперь она сама оказалась в том ненадежном положении, в котором находились ее невидимые поклонницы, а ведь она всегда была уверена, что застрахована от их невзгод. Она начала задумываться над вопросами, никогда ранее ее не волновавшими. Каково будущее женщины, истратившей лучшие годы своей жизни на бесконечные, изнурительные заботы о семейном благополучии и лет через тридцать обнаружившей, что стала для мужа просто частью мебели, купленной в рассрочку, а детям и вовсе не нужной, так как не поспевала за их устремлениями, слишком занятая поисками панацеи от разрушительного действия времени?

Сидя в автобусе или на пароме, она пыталась разгадать, что кроется под внешне вполне благополучными масками

женщин, какие мысли роятся в их головах под копнами золотистых, цвета хны или платины волос? Какие тайные заботы испепеляют их под красивым бельем и элегантными платьями? Что делают эти выхолненные руки, накрыв чехлом пишущую машинку, приведя в порядок письменный стол в конторе, убрав кипы товаров с никогда не пустующих прилавков, опустив шторы на окнах модных салонов или пробив последний чек на кассовом аппарате? В каких дешевых квартирах или комнатах бродят эти одинокие женщины, сбросив туфли с усталых ног, чтобы дать им временный отдых от невыносимых страданий, причиняемых болезненными мозолями и плоскостопием?

Что станет с ней самой, если она заболит и не сможет зарабатывать? Сбережения ее всегда были скромными, а образ жизни, который она вела, слишком дорогостоящим для одинокой, независимой женщины.

Теперь, когда деньги из предмета забавы и удовольствия превратились для нее в средство существования, одна мысль не оставляла ее: как же другие женщины справляются со счетами, которые скапливаются в конце каждой недели?

Всматриваясь в лица женщин, похожие на маски, она задавала себе вопрос: у многих ли из них есть верный спутник, ласки которого помогают забыть все неприятности, огорчения трудно прожитого дня? Многим ли бегущие струи вечернего душа приносят облегчение от непролитых слез, от постоянного сознания того, что судьба отметила их печатью вечного одиночества, уготовив жизнь хуже смерти?

Все это время она пребывала в состоянии полной самоотрешенности, захваченная вихрем бесконечного молчаливого диалога с Китом. Она мысленно спорила с ним, осуждала его за все случившееся, с бесстыдной откровенностью распространялась перед ним о своих женских достоинствах, которые были столь желанны для него всегда и должны были оставаться желанными до сих пор.

Действительность ворвалась в эту отрешенность в тот день, когда ей передали записку от управляющего телевизионным центром с просьбой увидеться с ним.

Она вошла в кабинет без каких-либо предчувствий. Ей всегда недоставало прозорливости тети Лилиан! Даже увидев там одного из главных заказчиков телепрограмм и руководителя фотостудии, она еще не почувствовала, что надвигается беда.

А беда уже ждала ее. Улыбающаяся, извиняющаяся, внешне дружеская, полная сочувствия, но тем не менее истинная беда.

Они начали разговор с тонкого лицемерия. Да, они по-прежнему восхищаются ею, они весьма довольны работой, которую она для них выполняет, но... но... Может быть, она сама заметила... правда, это еще не стало явью для ее друзей и почитателей, но уже ясно для фотообъектива... Нет? Может быть, она еще не видела пленки последнего показа мод? Может быть, ей угодно будет вместе с ними просмотреть фрагменты этого фильма?

— Да,— сказала она решительно, а про себя взмолилась: «Господи! Сжался надо мной!»

Но никто ни на земле, ни на небе не сжалился над нею. Во время демонстрации фильма ей хотелось закрыть глаза, провалиться сквозь землю, а кадры, безжалостные кадры, один за другим мелькали на небольшом экране. Отвержение к самой себе, которого она раньше никогда не испытывала, охватило ее при виде того, как она улыбалась, позировала, лепетала какие-то банальности: «Избыточный вес? Худоба? Первые морщинки? Предательская седина? Посвятите все свободное от домашнего хозяйства время тому, чтобы наверстать упущенное. Откладывайте из домашнего бюджета каждый цент на косметику и наряды».

А за этими ее словами скрывались другие: «Даже если красота и вечна, она не спасет вас. Ведь не помогла же мне красота удержать Кита и вовсе не красота отняла его у меня».

Они в упор смотрели на нее. Нет, дело вовсе не в том, что она на фотографиях выходит теперь хуже, чем прежде,—наоборот, после поездки за границу она стала еще эффектнее.

Внезапно она почувствовала, как поток крови хлынул по невидимым жилам, заставив ее покраснеть до корней волос. Горло перехватило. Она засмеялась заученным смехом.

— Конечно, если говорить по существу, то вы верх совершенства,—разглагольствовали они,—но, к сожалению, за последние пять лет в моду вошел новый тип женщины. Очарование, подобное вашему, отступает. И мы считаем необходимым привлечь для показа этого нового типа более молодую актрису. Но ведь это для вас не страшно. Мы уверены, что найдется новая сфера применения вашего таланта, новая область, совсем не исследованная,—это женщина средних лет. Ведь именно у нее есть лишние деньги, свободное время и... будем откровенны! — она

больше нуждается в хорошем портном, парикмахере, косметичке, элегантных туалетах — во всем том, что вы всегда с таким блеском демонстрировали. Но это сейчас не для нас. Мы должны следовать моде. Логично, не правда ли? А вы вряд ли столкнетесь с трудностями в поисках новой работы.

Ей казалось, что она соглашалась с их доводами и объяснениями с такой же легкостью и деликатностью, с какой они их выдвигали.

Расстались они, галантно улыбаясь друг другу, перемежая разговор шутками на давнем своем жаргоне.

— Милая, вы, как всегда, очаровательны... Там еще груда писем, присланных вам недавно. Вот видите, все по-прежнему идет блестяще.

В тот вечер, возвращаясь домой на пароме, она прочла сообщение о рождении у Кита близнецов.

Вот тогда-то она и поняла до конца, до самой последней горькой капли, как жестоко обходится жизнь с женщинами средних лет, обрекая их на пустое, бесплодное существование, в то время как их возлюбленные становятся отцами детей более молодых соперниц.

Малюсенький однопалубный паром с трудом прокладывал себе путь по серо-стальным водам залива. Суровое море под суровым небом. Впереди — ни единого огонька, так как солнце, окутанное хмурыми сумерками, еще не зашло. Хмурый мир, хмурые женщины, возвращающиеся домой с хмурыми от усталости лицами.

Они обогнули мыс Креморн-пойнт, и бухта засверкала перед ними огнями маяка, разорвавшими мглу изумрудными россыпями. Как бы в ответ золотыми гирляндами вспыхнули береговые огни. Небо угрожающе низко опустилось над морем, предвещая шторм. Едва они успели пришвартоваться к Старому Причалу, как началась зловещая увертюра бешеных порывов ветра, примчавшегося с юга. Опустошенная, без каких-либо надежд на будущее, Тэмпи машинально поднялась по ступенькам лестницы до своей квартиры, такой же пустой, как и ее существование.

Именно тогда она и решила умереть.

Днем медицинские сестры, мелькавшие то и дело у ее кровати, были лишь ожившими призраками. Ночами же бестелесные, но более реальные призраки преследовали ее и не отпускали. Глаза отца были полны любви и недоумения; Кристофер пристально смотрел на нее, его лицо было

так похоже на ее собственное, что страшно становилось. Она силилась, но не могла понять, что выражает его взгляд, точно так же, как не могла этого понять при его жизни. Но во взгляде этом не было ни любви, ни прощения. Бледный, словно мертвец, бродил вокруг нее Кит, пока ее сознание пребывало где-то на грани сна и бодрствования, а потом она вдруг, как от толчка, пробуждалась. Даже мир ее снов, где он властвовал безраздельно, был невыносим для нее.

Вновь и вновь она вспоминала свою жизнь и удивлялась, как могут жить на земле люди, если у них нет ни цели, ни близких — ведь только ради этого стоило жить. Если бы хоть Кристофер был оставлен ей судьбой, она отдала бы ему все сокровища души, потраченные на Кита.

Она страдала от бессонницы. Картины последних двадцати лет жизни скользили перед ее глазами, как по льду замерзшего озера на горе Косцюшко — ослепительный блеск ярких красок, лучи прожекторов, затмевающих звезды на небе, толпы конькобежцев, которые ткут разноцветные узоры, нимало не задумываясь о глубине, таящейся подо льдом. Однажды лед проломился, и молодая девушка погибла под ним. Ее труп так и не нашли.

Часто в сновидениях являлось к ней теперь это милое создание, оконеченное в ледяной бездне. Являлся иногда и Кристофер, плывущий по неведомому озеру где-то далеко в джунглях.

Она просыпалась, задыхаясь от угрызений совести, и лежала без сна, медленно возвращаясь к пониманию того, что выхода у нее нет. Безвыходность положения усугублялась теперь новыми душевными страданиями. Эти страдания нельзя было облегчить слезами, и не было такого бальзама, который смягчил бы эту разъедающую боль.

Кристофер был мертв. Она старалась отделаться от мучительной мысли, что, если бы она вела себя иначе тогда, его не послали бы в Малайю. К чему теперь говорить себе, что сделано это было ради его же собственной пользы. К чему оправдываться незнанием того, что, поддерживая решение Роберта об отправке туда сына, она послала его на верную смерть. Столкнись она вновь с подобной ситуацией, она поступила бы так же. Другого решения нельзя было и представить себе.

Что еще могли они сделать для своего беспутного сына?! Нет, это был уже не прежний застенчивый, молчаливый мальчик — его место занял другой человек, которого она

никак не могла понять. Ни разу не удалось ей услышать, о чем он говорит, или увидеть, чем он занят. Раньше у него был единственный способ противодействия родителям: замкнуться в себе, молчаливо, но упорно отказываться исполнять их желания и не делать того, чего он не хотел делать. Теперь было уже нечто другое. Это была бешеная сила, накопившаяся в нем от безрассудной страсти, колдовских чар пола, нахлынувших на мальчика, которого слишком строго ограждали от того, что мальчишки его возраста считали само собой разумеющимся. За это она винила его отца. Она и Кит все-таки старались показать ему, как должны жить нормальные люди, но отец держал его в тепличной атмосфере воскресных утренних церковных служб, воскресной школы и всего того старомодного и отжившего, в чем сам Роберт видел смысл своей жизни.

Проснувшись, она поняла, что наступил следующий день, который она ненавидела за то, что он был светлым и ярким. Но сегодня она наконец должна решить, как ей быть дальше. Нельзя же бесконечно лежать в больнице под предлогом какой-то фантастической болезни, пытаясь уклониться от встречи с жизнью.

Она отложила в сторону письма, не раскрывая их, и без особого интереса взглянула на пакет, который протянула ей сестра.

— Ну-ка,— голос сестры был очень оживлен,— раскройте его. А если вам трудно, я помогу.

Сестра разорвала бечевку, сняла обертку и вручила ей тетрадь. На кожаной обложке золотыми буквами было вытиснено «Дневник».

Тэмпси открыла его и прочитала имя, написанное неуклюжим ученическим почерком: «*Кристофер Роберт Армистедж*». На первой странице рукой тети Лилиан было изящно выведено: «*Дорогому Кристоферу в день его восемнадцатилетия*».

Тетрадь обожгла ей руки. Вся дрожа, она испуганно отбросила ее в сторону. Ей вдруг почудилось, что в комнате возник призрак Кристофера, полный горечи и ненависти к ней.

Сестра недоуменно взглянула на нее, повернулась и вышла.

Тэмпси немного успокоилась, торопливо выпила чай, принесенный сестрой.— почти кипяток,— открыла дневник и принялась читать.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«16 января. Итак, с этого дня начинается дневник Кристофера Армитеджа, который сегодня празднует семнадцатую годовщину своего нежеланного рождения. Аминь!

Дорогой Дневник... Мой весьма ограниченный опыт в записывании истории моей жизни приводит меня к убеждению, что подобное обращение является правильным, хотя я и не могу представить себе, почему должен чувствовать привязанность к чистым страницам этой новенькой тетрадки. Ну, если только потому, что тетрадку эту дала мне тетя Лилиан. Кого еще из моих близких и не слишком дорогих родственников осенила бы идея, что этим можно хоть как-то развеять скуку шестинедельного карантина? И разве не типично для моей судьбы, что я подцепил скарлатину как раз во время больших каникул, — ведь случись это немного раньше, я был бы на целых полтора месяца спасен от чертова ада, называемого школой.

Только тете Лилиан (на самом деле она тетка моей матери) могла прийти в голову мысль, что мне, который и письма-то всегда писал из-под палки, вдруг захочется взяться за дневник. Это вполне в ее духе, и я только теперь понял, как должен быть благодарен ей за все, что она для меня сделала. Странно, но именно тетя — единственное существо на свете, которому я могу открыть душу. Да еще, пожалуй, учитель математики, временно преподающий у нас в школе. Я называю его В. У. Это он познакомил меня с единственным предметом, действительно заинтересовавшим меня, — математикой. Когда я занимаюсь математикой, у меня словно лампочка зажигается в голове. С тетей Л. я болтаю без умолку, и мне кажется, будто эти наши разговоры — продолжение моего младенческого лепета — ведь тетя Л. ухаживала за мной в те дни, когда у моей матери начался Великий Роман, а отец сражался на войне, на второй мировой войне, которая должна была навсегда покончить со всеми войнами.

Я не мог бы сказать, что люблю тетю Л. Я не хочу ни писать о любви, ни тем более думать о ней. Я ненавижу слово «любовь». Все эти шуры-муры и амурсы, ахи, вздохи при луне... Такая пошлятина, такая ложь. Эта так называемая любовь сделала сухого угрюмого человека моим Законным родителем, самовлюбленного волка моим Отчимом (титул этот он носит только по обычаю, а не по закону), а его прекра-асную «спутницу» моей Родительницей.

Больше всего я осуждаю родителей за то, что они вычеркнули тетю Лилиан из своей жизни. А значит — и из моей. Не понимаю, почему отец не захотел взять ее в наш дом? Когда умер дедушка (какой это был человек!), я много раз упрашивал отца разрешить тете Лилиан приехать к нам, чтобы присматривать за нами обоими. В то время я еще был слишком мал и не сумел скрыть от него, что чувствовал себя очень несчастным. Но сколько я ни просил его, он с диким упрямством отказывал мне. У него репутация человека сурового, но справедливого. Он этой репутации не заслуживает. Разве справедливо он осудил меня на то, чтобы я рос в доме, где правил лишь Долг с большой буквы?

Тетя Лилиан могла бы как-то обогреть меня. Но она поселилась не у нас, так сильно в ней нуждавшихся, не у матери, которая была у нее в неоплатном долгу, а в каком-то чужом доме, прирабатывая к своей пенсии по старости — присматривала за детьми, вязала.

И если ей не будет сооружен никакой другой памятник, я хотел бы написать здесь: *«Посвящается тете Лилиан, которая служила всему миру, недостойному миру, и ради которой ее внучатый племянник чуть было не написал слово «любовь».*

Небольшое отступление. На тот случай, если тебе, Дорогой Дневник, не понравится мой стиль, разреши объяснить (между нами ведь не может быть никаких секретов), что этот стиль вырабатывался в течение многих лет специально, чтобы приводить в ярость отчима. У меня превратилось в своего рода привычку обходиться минимальным количеством слов и никогда не пользоваться сложными словами, если достаточно было четырех букв англосаксонского алфавита, а это совершенно выводило его из себя.

Мои зануднейшие выступления на уроках бесят учителей и ошеломляют однокашников — они даже испытывают

восхищение, хотя ни за что на свете не признались бы в этом: я отказываюсь пересыпать свою речь местными идиотизмами, которые превращают их язык в нечто не-сусветное, понятное лишь тем, кто находится в одной с ними клике. Я подбираю слова так, как другие ребята коллекционируют фотографии кинозвезд. Теперь я уже выработал собственный стиль, который в сочетании с весьма оригинальной орфографией вполне способен привести преподавателей английского языка в состояние шока.

Но вернемся к нашим баранам, как ни за что не сказал бы француз.

Размышляя о противоречиях в моем воспитании, я порой удивляюсь, как это я не стал каким-нибудь полоумным, как там их называют: шкизоф, шизоп, шиз... Извини меня, Д. Д. Надо будет посмотреть в словаре, но звучит это вроде «шизофреник» и означает, что внутри человек расколот на две части.

Я всегда жил такой вот жизнью, состоявшей из двух половинок, всегда меня тянуло в разные стороны, как это однажды случилось во время подводной охоты, когда я угодил между двумя течениями. Странное, пугающее ощущение.

Мое детство, которое теперь уже официально закончилось, словно перемолото двумя мельничными жерновами. Все мои субботние и воскресные дни проходили поочередно то в слишком большом старомодном доме отца, то в слишком современной квартире матери и отчима.

Я совершенно уверен, что между родителями шла жесткая борьба за право затащить меня к себе на время моих двухнедельных каникул. Но делалось это отнюдь не из родительских чувств ко мне, а только из желания досадить друг другу. Оба пытались доказать, что каждый из них мог бы быть образцовым отцом (матерью), если бы она (он) не срывала его (ее) планов.

Тетя Л. говорит, что мне следует жалеть отца. Но как можно чувствовать жалость к человеку, душа которого застегнута на все пуговицы еще со времен прошлой войны и который бесконечно разглагольствует с себе подобными о былых сражениях, нисколько не интересуясь событиями, происходящими вокруг него. Это самый настоящий педант. Он никогда не обращается к моей матери иначе как «миссис Кэкстон», при этом живьем сдирая кожу с меня и — мне это только сейчас пришло в голову! — с себя самого.

После скандала, который учинила в Сиднее моя мамаша и который был подобен взрыву атомной бомбы, оставляющей радиоактивные осадки повсюду — и в особенности на мне! — я еще мог бы иметь какое-то подобие дома, если б отец разрешил тете Лилиан приехать жить к нам. Но нет, вместо этого он отослал меня, девятилетнего мальчика, в один из лучших частных пансионов, забрав из обычной школы, где мне нравилось и где никого никогда не интересовало, кто такая моя мать. Там, в этом пансионе, я провел все школьные годы, я — радиоактивный ребенок, на которого все нацеливали свои счетчики Гейгера.

Меня преследовала мысль, что за всеми этими действиями отца скрывалось одно — он хотел быть уверенным, что я общаюсь с сыновьями «лучших людей», ибо где-то в отдаленном будущем моя жизнь могла оказаться в зависимости от одного из сих папаш, владевших огромным капиталом.

Он имел обыкновение говорить: тот или иной «стоит» столько-то тысяч, хотя ни один из них как человек не стоил и подметки тети Л.

Отец и эта частная школа постоянно вдалбливали мне в голову принцип: «Все для бога и для королевы». Они подчас настолько отрывались от действительности, что начинали всерьез рассуждать о Британской империи и даже были готовы на любом столбе водрузить британский государственный флаг. Отец из-за своей демагогии даже отказался купить телевизор. Он, видите ли, не собирается тратить деньги на то, чтобы иметь в доме американскую мерзость, развращающую его паиньку-сына. Когда же я пытался убедить его, что английские передачи ничем не уступают американским, он приходил в ярость и обзывал меня космополитом.

В доме матери мне пели совсем другую песню. Газета, где работал отчим, была подчинена принципу: «Все взоры — на Америку!». Модели платьев, демонстрировавшиеся по телевидению матерью, были американскими, да и весь образ жизни, который она проповедовала, был американским. Пицца (кстати, чертовски вкусная!) и вечеринки, которые они устраивали, были на американский лад: в городской квартире — великосветские приемы, а в загородном доме на Питтуотере — сногшибательные пиршества, которые закатывал отчим в уик-энды.

Вот поэтому теперь я всегда ношу с собой японский транзистор (давнишний подарок отчима) и слушаю только

народную музыку из всех стран мира. Это единственные передачи, которые стоит слушать.

Сегодня в моей ничем не примечательной жизни произошло важное событие. Я получил подарки, которые здесь следует перечислить.

№ 1. Чек на пятьсот фунтов от отца. На мое имя заведен по всем правилам счет в банке, и мне выдана новенькая чековая книжка. Видимо, мой возраст требует теперь от меня более вдумчиво, чем прежде, расходовать эту щедрость, выпавшую на мою долю (другими словами, всего лишь два жалких австралийских доллара в неделю на карманные расходы).

№ 2. Шикарный костюм для подводного плавания от матери. Кто знает, почему она сделала мне такой подарок — от естественной ли доброты своего любвеобильного (?) сердца или от сознания вины передо мной? Эту ее вину передо мной я иногда чувствую так же, как Гамлет чувствовал вину своей матери.

№ 3. Классный японский фотоаппарат от отчима, привлекательный с виду и технически совершенный. Но я не могу отделаться от подозрения, что он просто купил его по дешевке где-нибудь в Гонконге, потому что слишком часто ощущал на себе скарденное великодушие человека, любящего делать дешевые подношения.

Ну что ж, Дорогой Дневник, наступило, кажется, подходящее время задать самому себе вопрос: что дали мне мои восемнадцать лет?

Думаю, если принять во внимание все описанное выше, а также мои умственные способности и характер, то можно сказать, что на девяносто девять процентов личность я малопривлекательная, не вызывающая симпатии, даже теперь, когда у меня уже исчезли с лица прыщи.

Здесь мне хотелось бы дать оценку некоторых моих личных качеств; она получится наиболее правильной, если я дам квинтэссенцию всевозможных мнений, вольно или невольно высказывавшихся в мой адрес.

Итак, *внешность*: большоголовый, долговязый, неуклюжий. Ноги чересчур большие, тело чересчур худое. Плечи сутулые. Упрямый, но отнюдь не упорный в учении. Волосы не очень густые, но всегда взъерошенные. Хорошо укладываются только с помощью дорогих косметических средств, которых полно в доме матери, но я категорически отказываюсь ими пользоваться. Глаза мои сходны с глазами материного любимца — шелковистого терьера Джаспера, хотя

выражение их, в отличие от собачьих, не слишком дружелюбное.

Тетя Л. утверждает, будто мои волосы и глаза напоминают отцовские в дни его молодости, но сколько я помню, он всегда был лысым, с небольшим венчиком седых волос, а глаза его всегда прикрыты толстыми стеклами очков. Ни физически, ни как-либо еще я не похож на отца и не нахожу в себе его генов и хромосом. Он смотрит на тебя прямо как Иегова, хотя больше смахивает на апостола, правда, у него нет бороды, как у того старца, что сидит в ночной рубашке на облаке в Библии тети Лилиан. Может быть, именно из-за этого мы никогда не были близки с отцом. И вовсе не потому, что он по возрасту годится мне в дедушки. С дедом я был близок, и мне кажется, самое счастливое время в моей жизни я провел, живя с ним и тетей Лилиан, когда мать покинула нас ради своей Великой Любви, а отец еще не вернулся с войны. Правда, тогда я не ощущал своего счастья, так как сильно скучал о матери и даже плакал, вспоминая ее. Но все же именно тогда я был счастливым. Дедушка и тетя Лилиан хорошо относились ко мне, я был им нужен. Может, они и избаловали меня. Отец, например, в этом уверен. Но если это и верно, я — за такое баловство. Если хочешь, чтобы ребенок, став взрослым, не чувствовал пустоту там, где должно находиться сердце, нужно еще в детстве дать ему понять, что он тебе дорог. А родители мои никогда к этому и не стремились, я был им нужен лишь как инструмент для игры на нервах друг у друга. Мать любит только отчима и себя. Отец вообще никого не любит. Он мог бы обменять меня на несколько акций какого-нибудь ракетного завода, а мать — на лекарство, гарантирующее ей сохранность красоты тела и фотогеничности лица. Красота! Как ненавижу я это слово! Мать торгует ею направо и налево, как последняя проститутка, выставя напоказ все свои прелести в студии на Киинг-кросс. Но между прочим, она уже стареет, и ей это должно быть виднее, чем кому-либо...»

«Нет, нет, нет! — Тэмпи отбросила дневник. — Это неправда! О Крис!»

Она откинулась на подушки, вся дрожа от мысли, что так мало знала о своем сыне, представляя его себе тихим, невинным, простодушным ребенком.

Так вот как он думал о ней: «Как последняя проститутка».

«Как же ты мог быть таким жестоким ко мне?» — прошептала она.

В ответ, словно эхо, до нее донеслись его слова: «Как ты могла быть такой жестокой ко мне, мать?»

Его презрение к ней заставило ее увидеть, как в нелепом телевизионном фильме, всю свою жизнь. Она услышала его голос: «Красота! Как ненавижу я это слово!»

«Я тоже ненавижу его, Крис, — теперь».

И все же, откуда ему знать, какую радость или печаль несет с собой красота? Красота, которая из знамени, трепещущего на заре каждого нового дня, с годами становится тяжким бременем; красота, которая из тяжелого бремени становится вымогателем, с каждым годом добавляя на туалетном столике все новые и новые улучшенные и дорогостоящие косметические средства; красота, которая наливает в ванну чудодейственные растворы, призванные вернуть цветение молодости; красота, которая безжалостно морит голодной диетой и делает весы в ванной комнате арбитром вашего вкуса; красота, которая управляет вашей улыбкой и вашим смехом, — ведь надо избежать углубления складок, идущих от носа к верхней губе, и морщинок около глаз.

Ей хотелось крикнуть: «Нет, нет, нет!», но аргументов у нее не было, поэтому она вынуждена была признать: «Да, ты прав, Крис, но не совсем. Я обманывала себя, думая, будто делаю полезное дело. А, торгуя красотой, забывала, что жизнь секса коротка. Теперь я вышла из моды. Я торговала сексом утонченно. Теперь с утонченностью покончено».

Кит обычно смеялся, когда она рассказывала ему о закулисной стороне рекламы и рассуждала относительно способов психологической обработки — как заставить людей покупать те вещи, которые им вовсе не нужны.

— Странно, что мы осуждаем других, — говорил он. — Ты вот капашь на мозги телезрителям, и они рвутся покупать всякую дрянь, а газеты делают то же самое в своих целях. Оба мы занимаемся рэкетом, только в разных областях.

В глубине души Тэмпи не считала то, что она делала, жульничеством, хотя и играла на чувствах женщин и вынуждала покупать недоступные для их бюджета вещи, внушая, словно под гипнозом, мысль, что за ту же цену они покупают и свое душевное спокойствие.

«Нет, это неправда, Кристофер, что я торговала красотой. Я просто хотела сохранить ее, потому что думала: сохранив красоту, я смогу сохранить и любовь. И ты мне был нужен. Ты мне был нужен ради тебя самого. Я любила тебя, но ты меня отверг. И если я потеряла тебя, Крис, то я потеряла и себя».

Она снова взяла тетрадь.

«...Учитель английского языка, Д. Д., был прав, считая моим главным недостатком неумение сосредоточиться на чем-то одном. Я всегда отвлекался и оставлял работу, не доделав ее до конца.

Итак, описание номер два. *Умственные способности*: сообразительный, быстро схватывающий, но ленивый и неусидчивый. Ах, вот где камень преткновения! Вот почему меня не жаловали учителя. Школьные же товарищи недолюбливали меня за те призы, которые я неизменно получал по математике, хотя проваливался по другим предметам. Взрослые неодобрительно смотрели на мои успехи в математике, считая, что они не способствуют выработке характера — ведь у меня был природный талант, и победа давалась мне без труда.

— Достижения без усилий,— говорил старший наставник,— это совсем не то, к чему мы стремимся, Армитедж.

Но если это действительно так, почему же репутация финансиста, которая закрепилась за моим отцом, дала ему прочное положение в школьном совете? Очевидно, потому, что на него работали деньги, а сам он ровным счетом ничего не дал миру, кроме хаоса и кризиса? (Я цитирую В. У.)

Описание номер три. *Характер*: никакого. Но раз уж мы изучаем классические науки, то давайте лучше скажем: я — nil¹. И все. Точка. Или знак вопроса???

Может, они правы, а может, и ошибаются. Я этого не знаю, так же как не знаю, что это вообще такое — характер. Если это означает способность подлизываться к учителям, или избивать младших, или заискивать перед педагогическим советом, или с вожделием глазеть на девчонок через бокал с содовой и лимонным соком во время встреч, устраиваемых раз в месяц, то такого характера у меня нет. Если это означает стремление проводить свободное время

¹ Nil (nihil) — ничто (лат.).

с одноклассниками, то такого характера у меня тоже нет. Если это означает желание жертвовать своим призванием ради карьеры, вроде той, какую отец уготавливает мне, то и здесь вряд ли что получится. Одним словом, Дорогой Д., к сожалению, должен повторить, что характер у меня отсутствует. Я — nil.

Мне никогда не нравилась школа. Идеи, которыми здесь руководствуются, нельзя назвать доэйнштейновскими — они скорее догалилеевские. Мораль, которой нас пичкают, скорее монашеская, чем обезьянья, хотя окружающий мир подстрекает нас именно к последнему, а не к первому.

Манеры, которые в нас воспитывают, — викторианские. Нам говорят, что мы должны вести себя по-джентльменски, хотя мы не вполне ясно представляем себе, что такое быть джентльменом. Разве что иметь собственный дом и машину стоимостью в две тысячи фунтов. В нашем мире престиж человека растет в зависимости от того, насколько быстро этот человек обзаводится собственной машиной. Впрочем, отец никогда не разрешит мне иметь машину. У него, знаете ли, характерец!

Наши наставники произносят напыщенные речи — мол, при выборе карьеры мы должны руководствоваться не только личными выгодами, но и думами о пользе обществу... Но все это такая дребедень! Не нужно быть чересчур грамотным, чтобы прочесть библию делового человека — рубрику газетных объявлений о вакансиях «Для тех, кто вступает в жизнь» или посулы вроде: «Если вы зарабатываете пятьдесят фунтов в неделю, приходите к нам, и ваша зарплата удвоится!» Но для этого нужно иметь приличную внешность, приятные манеры и, самое главное, дубленую шкуру.

Поскольку я не обладаю сими достоинствами, плевать я хотел на их приманки. Конечно, это все от зависти!

Но нет, Д. Д., я правда не хочу такой жизни. Когда однажды нам предложили написать сочинение о наших мечтах, никто, кроме Уитерса по прозвищу Зубрила, не написал, что хочет заниматься трудной, интересной работой. Никто не пожелал стать ни ученым, ни исследователем, ни моряком. Различны были лишь пути, которыми мои одноклассники собирались прийти к тому, чтобы к *тридцати годам стать начальником*. Начальником чего? А это неважно, лишь бы доход составлял пять тысяч фунтов в год. Я написал, что намерен стать начальником ассенизационной тележки — мне нравится работать по ночам на свежем

воздухе, к тому же не придется опасаться безработицы, да и занятие это полезное, так как помогает содержать общество в чистоте. Ну и переполох же тогда поднялся! (Винюват, Дорогой Д., больше такого я себе не позволю. Слишком это типично для подростка, а я из этого возраста уже вышел.)

Однажды, когда я приехал к матери на уик-энд, я услышал передачу о проникновении в среду подростков идеи пресыщения; выступал какой-то умник из низкооплачиваемых литературных критиков, разбиравший подростков — героев книг, театральных постановок и фильмов — буквально по косточкам, рассматривая в отдельности, как и почему функционируют конечности, кровяные сосуды, мускулы, нервные узлы, извилины мозга. Ох уж эти мне умники! И какие они глубокомысленные — этакая метафизическая глубина, которая в конце концов теряется в тумане ими же самими придуманных небылиц. Но несмотря на всю их глубокомысленность, они ровным счетом ничего не знают о подростках. Большинство из нас представляют собой сплошной комок нервов. Коралловый полип знает, что делает. Если у тебя слишком уж слабые нервы, постарайся создать вокруг себя оболочку. Даже если ты в ней и задохнешься. Но на самом деле все не так уж страшно — лет через десять эти чокнутые, дерганые сопляки создадут общество бывших одноклассников и станут распевать старые школьные песни, только чтобы не думать о том, что им скоро исполнится сорок, а еще лет через двадцать, уже сделавшись церковными старостами, начнут рассказывать своим внукам, что дни, проведенные ими в школе, были лучшими в их жизни. И никогда до них не дойдет, что единственный способ преодоления неприятностей подросткового возраста — просто вырасти из него.

Вот с такими «детишками» мне приходится жить, работать, а иногда, к несчастью, и проводить свободное время. Большинство из них — отпрыски всяких «шишек», и их пустые башки заняты только одним — как бы удовлетворить свои половые потребности. По разным причинам не всем удается это, хотя я знаю парней из нашего класса, которые уже с тринадцати лет путаются со шлюхами. Нетрудно догадаться, что если они и не представляют себе, как размножается амеба, это не столь уж важно для них.

Ага, слышу-слышу, Д. Д. Ты хочешь спросить, что знаю я о сексе?

Этот вопрос часто задает мне отец, и делает он сие, разумеется, самым благородным манером. Он с торжественностью просвещает меня, рассказывая о некоторых явлениях жизни, а я знаю о них уже давным-давно. Я слушаю его с невозмутимым видом, еле сдерживая душащий меня смех — мне не хочется, чтобы он что-нибудь заметил. А он желает знать, что именно я знаю.

Конечно, он интересуется этим не из праздного любопытства — он попросту хочет увериться в том, что я не развращен обществом презирающих условности друзей моей матери. Я выслушиваю его с бесстрастным выражением лица, удивляясь, как это интеллигентный человек (а отец интеллигентен в своем роде, хотя и не так, как бы мне хотелось) может быть столь туп, что полагает, будто воспитанника одной из привилегированных школ способны развратить еще больше футбольные матчи или вечеринки в частных домах — эти великие создатели наших характеров.

Здесь, Дорогой Д., мне хотелось бы посвятить тебя в кое-какие тайны подростков. Меня просто воротит от того, как эти великовозрастные бычки, мои однокашники, часами откровенничают о своих сексуальных подвигах. Я в этих разговорах не участвую, а раз так, меня считают тварью и подонком. Они не верят, что я, имея такие возможности проникнуть в этот заманчивый мир, где моя мать — звезда первой величины, а отчим — целая планета, не могу рассказать ничего такого, что заставило бы побледнеть всех болтунов и свело бы ласки Клеопатры к неуклюжим поцелуям какой-нибудь провинциальной секс-кошечки.

Репутация матери ставит меня поистине в дурацкое положение. Меня без конца просят рассказать, что делается во время уик-эндов в ее квартире, конечно же, что-нибудь этакое, пикантное. А на самом деле там только и знают, что трепать языками да напиваться. Трепотни там больше, чем где-либо в другом месте, кроме разве обезьяньих клеток. А какие мысли! Ни один из них не верит в то, что делает. Я давно уже перестал верить газетам, особенно после того, как убедился, что все эти блистательные любимчики прессы, которых я встречаю в доме матери, заставляющие читателей восхищаться их остроумием, скептицизмом или цинизмом, пишут просто-напросто то, что им приказано. Да здравствует свободная пресса! Меня прямо тошнит, когда я читаю статьи отчима, восхваляющего

в своем топорном стиле идеи босса, с которыми он втайне не согласен.

Старшие твердят, будто у меня нет ни капли уверенности в себе! Чушь! У меня нет уверенности в них, ни в одном из них!

Да, так к нашим баранам... Здесь я раскрою тебе, Дорогой Дневник, код или правила поведения молодых джентльменов (старшеклассников и малышни), изобретенный ими для того, чтобы легче было пробираться сквозь джунгли взаимоотношений с другим полом. Эта система цифр (от одного до четырнадцати) сразу же помогает выяснить, с какой страстью та или иная девственница или почти девственница относится к тебе, что она может разрешить тебе, чего ждет от тебя. Экономия времени. Не нужно напрягать ум, чтобы подыскать нужные слова. Спросишь, например: «Один или одиннадцать?» Если она ответит «один», твои шансы ничтожны, если «одиннадцать», считай, что ты близок к раю.

Мое высокомерное пренебрежение к этой системе цифр (механической, но не математической), устанавливающей степень фамильярности с будущими кошечками-Клеопатрами, отсутствие у меня интереса ко всем этим «четверкам», «семеркам» и даже к двузначным цифрам объяснялось тем, что я познал уже иступление оргии, значащееся под цифрой «четыренадцать».

Все это, Дорогой Дневник, конечно, ерунда. Я могу исповедаться перед тобой — ведь все это останется между нами. Я еще ни разу не поцеловал ни одной девчонки, ни разу не пускал в ход рук. Ни у одной я не пытался сорвать поцелуй, если получал ответ «три», ни одну не сжимал в объятиях при «восьми», не расстегивал пуговиц при «одиннадцати» и не раскрывал молний на платьях при «тринадцати». А когда при мне смакуются такие вещи, я равнодушно поднимаю брови (как отец) и пренебрежительно усмехаюсь (как мать), и это мое презрение одноклассники принимают за искушенность в житейских делах.

Я получаю много приглашений на домашние вечеринки. Папаши других парней из нашего класса полагают, что мой отец может пригодиться им в будущем — например, при вложении капитала в какое-нибудь предприятие или при получении повышенного кредита в банке. Отец считает, что я не хожу туда из-за своего упрямства или даже извращенности. А я, оказывается, просто не создан для вечеринок. Единственный дом, где я охотно бываю, — это

дом Уитерсов. Уитерс помешан на астрономии, а астрономия, как и математика, свободна от всякой чувственной муры. Когда слушаешь Уитерса, космос становится близким-близким, его ощущаешь где-то совсем рядом. Уитерсы приглашали меня к себе несколько раз, и всегда это были волнующие посещения. От каждого из них исходили лучи. Уитерс-старший — профессор физики, дочь изучает медицину, а миссис Уитерс — председатель комитета, ратующего за запрещение испытаний атомных бомб. Она хочет быть уверенной, что у ее детей будет спокойная жизнь. Моя мать даже и не задумывается об этом. Почему бы ей не заняться чем-нибудь действительно важным вместо всех этих пустяков? В доме Уитерсов все ужасно серьезны, но в то же время и веселы, как-то по-особому, по-своему. Они обожают друг друга, и часть этого обожания распространилась и на меня. Мне никогда прежде не приходилось бывать в подобных семьях. Возможно, и еще у кого-либо из нашей школы такие же семьи, но они меня не приглашали, да и Уитерсы потом перестали приглашать — ведь я не делал ответных приглашений в наш дом-склеп.

Хотя отец и являлся членом школьного совета, но друзей, кроме членов клуба ветеранов, у него никогда не было. А эти его друзья жили лишь воспоминаниями о баталиях последней войны и предыдущей, хотя, по мнению отчима, видимо, давно уже забыли, с кем они воевали и против кого.

Мне на память пришла последняя вечеринка, на которой я побывал. Она действительно была последней, потому что после нее я никуда больше не ходил. Правда, приглашения я принимал, следуя советам отца. Обычно спустя полчаса после начала таких вечеринок все лампы выключались, и кто мог бы сказать, был я там или нет? Таким образом, у меня всегда имелось алиби на тот случай, если кому-нибудь захотелось бы пожаловаться на меня отцу.

Святой Ньютон! Как же это я тогда дал себя уговорить пойти на вечеринку в тот огромный дом, что в газетах разрекламирован как дом, куда съезжался цвет общества. Я пришел один, без девушки. Хотя каждый из нас мог бы найти себе секс-кошечку, выбор наш довольно ограничен. Правда, есть среди нас исключения — головорезы, которые с оглушительным ревом и бешеной скоростью гоняют на машинах, но это уж совсем шпана, а мы, допускающие лишь мелкие нарушения, как правило, не связываемся со шлюхами, потому что они нас просто заложат, дойди дело до полиции. Но даже и у этой шпаны есть свой неписанный закон

об «избранных» — в их число входят только учащиеся частных школ, одного поля ягоды. Выйти за пределы этого круга означает поставить на себе крест. В нашей демократической стране мы, аристократы, не являемся с учащимися бесплатных государственных школ, хотя они и получают на экзаменах более высокие оценки и нередко выигрывают у нас в футбольных встречах и лодочных состязаниях.

Но вернемся к нашим баранам. Родители встретили нас, поздоровались, если так можно выразиться, потому что они успели лишь крикнуть нам «Привет!» где-то на лестнице, уезжая в гости. Я так и не понял реакции этих родителей на подобные сборища молодежи: то ли они обладают невероятно широкими взглядами на жизнь, то ли невероятно наивны, то ли невероятно обеспокоены той ответственностью, которая лежит на них за все происходящее в их доме.

Как бы то ни было, но до их отъезда все мы стояли чинно, перебрасываясь односложными фразами, чтобы как-то поддержать разговор, который никак не клеился, и чувствуя, что тонем, в третий раз повторяя одно и то же.

Все были похожи на персонажей американского телевизионного шоу для молодежи. Определить, девчонка это или парень, можно было только по формам — прически у всех одинаковые.

Но едва предки укатили, кто-то сразу опрокинул бутылку джина в вазу для фруктов, затем туда же вылили несколько бутылок хереса. И тут началось.

Подушки моментально оказались на полу, а разделение на пары не потребовало много времени. Я всегда терялся в подобных случаях, не умея быстро решить, которая из девчонок меня больше прельщает. И мне обычно перепали девушки такие же темные в этих делах, как и я сам, поэтому мы просто сидели, развываясь на диване, и изредка лениво обнимались, хотя это не доставляло нам особого удовольствия; зато они были очень рады, что я не пытался идти дальше.

Но на сей раз все было иначе. Из шикарного пансиона для благородных девиц (!!!) приехала племянница хозяев дома, и, так как она была здесь новенькой, никто не знал ее способностей, хотя с первого же взгляда в ней угадывалась хищница. Она была, что называется, «знойной женщиной». Когда уже все разошлись парами и ей не из кого было выбирать, она подошла ко мне, схватила за руку и изрекла: «Мой гороскоп предсказал, что сегодня со мной

произойдет что-то необыкновенное!» Потом, пронзив меня хищным взглядом кошачьих глаз с зелеными веками, она облизнула свои кроваво-красные губы. Не будь я трусом, я тут же сбежал бы, но я уже был сжат в объятиях, как в тисках. До этого вечера мне не приходилось встречаться с такими решительными, а может быть, просто очень опытными особами. Сначала мы танцевали, обнимались, потом она меня потащила в кусты, уложила рядом с собой. И тут началось! Эта Клеопатра обвилась вокруг меня, как удав, мы катались с ней по траве. Уж не помню, как все это закончилось. Только когда я оторвал свои губы от ее губ, раздался звук, какой бывает, когда пробка вылетает из бутылки. Я поднялся, шатаясь вышел за ворота сада, доплелся до угла... и меня стало рвать. Да-да, рвать! Я выплеснул все: и ужин, и пунш, и херес. Кое-как я дотащился до дому, пробрался через кухонную дверь, принял душ, лег в кровать и начал читать «Историю математики».

После этого я уже никогда не ходил на подобные вечеринки. Временами, когда отец возвращался домой «тепленьким», я сбегал от него в кино. А то заглядывал к В. У., и мы всю ночь напролет говорили о нашей доброй старой математике.

Я чуть не лопаюсь от смеха во время проповеди капеллана о пользе воздержания, когда все парни смущенно опускают глаза и краснеют.

Странная вещь, но ни педанты, вроде моего отца, ни учителя, видимо, никогда не задумывались над тем, как помочь нам справиться с нашими возрастными бедами. Я считаю, что в этом их большая вина, ибо уверен: большинство из нас охотнее занялись бы чем-либо другим, если бы нам посоветовали, чем и как заняться.

Не знаю, почему мы все-таки занимались этим. Многим, как и мне, это было не по душе, но ни у кого не хватало пороха отказаться от этого. На нас будто бы что-то давило, и мы делали это против воли. А если кто-то не делал, его бойкотировали. Что же ему еще оставалось?

Но теперь, Дорогой Д., порядок: я — исключение из общей массы. Произошло это после того, как мне исполнилось шестнадцать.

Однако, Дорогой Дневник, не стоит думать, будто я из какого-то другого теста и сильно отличаюсь от этих поме-

шанных на сексе, с неразберихой в головах подростков, которых писатели среднего возраста выводят в качестве антигероев наших дней в своих антипьесах и антироманах.

Но если ты, Дорогой Дневник, полагаешь, что я слишком хорошо осведомлен в подобных делах, ты заблуждаешься. Я многое почерпнул из дискуссий на приемах, устраиваемых отчимом и матерью; сама она, правда, в этих дискуссиях не участвовала — только изливала на гостей свое прославленное обаяние да временами поддакивала им. Она делала подсобную работу, ну и прекрасно! У нее ведь совсем пустая голова. Любое ее высказывание — лишь отголосок того, что когда-то говорил отчим. А где он находит новые мысли, я даже не знаю, хотя готов поклясться: они не его собственные. Он всегда использует то, что считает полезным для себя, — и тела и умы других людей. А она этого не понимает!..»

Тэмпи не слышала, что ей говорила сестра. Та повторила еще раз, громче:

— Вам не кажется, миссис Кэкстон, что уже давно пора спать?

— Нет, — ответила Тэмпи, потом, словно очнувшись, захлопнула тетрадь. — О, простите. Да, конечно, пора.

Она сомкнула глаза. Сестра опустила на окне шторы и закрыла балконную дверь. При этом она без конца о чем-то болтала. Потом принесла стакан горячего молока и снотворное. Дверь за ней затворилась.

Тэмпи лежала не шевелясь. Она ничего не видела, ничего не чувствовала. О, до чего же ужасен этот мир подростков! Ее сын предстал перед ней жестоким чудовищем: он лишил ее всякого достоинства, он осуждал ее. Но ведь он прав! Как в свои восемнадцать лет он сумел понять то, что ей казалось недоступным в тридцать восемь?

«Пустая голова!» «О Крис, если бы ты знал, как ранят меня твои слова... А что остается делать женщине, Крис? С тех пор как я покинула дом отца, моя голова никому не была нужна».

Она вспомнила, как Роберт обычно подшучивал над ее «подвижным, как ртуть, умом». Он хотел, чтобы она всегда оставалась такой.

Кит поступал более утонченно. Он постоянно внушал ей, что инстинкты женщины более важны, чем ее разум. Он вполне доверял ее предчувствиям, но совершенно не терпел ее мыслей.

«Ты представить себе не можешь, Крис, как это тяжело для женщин. Даже твоя обожаемая тетя Лилиан часто говорила мне, еще девочке, что женщине не нужно быть чересчур умной, если она хочет стать счастливой».

Была ли она счастлива с Китом? Ей казалось, что да. Но это счастье обернулось иллюзией. Кит прав. Вся жизнь — иллюзия, и она сыграла с ней жестокую шутку. Теперь-то иллюзий больше нет — они рухнули, но до сих пор ее рассудок отказывался согласиться с этим.

Так она и лежала без сна, продолжая свой диалог с умершим сыном.

«...А теперь, Дорогой Дневник, закончив разговор о животных инстинктах, я хотел бы посвятить несколько страниц моей единственной страсти или, как сказали бы некоторые, моему пороку — математике.

Если это и звучит сентиментально, то, видимо, оттого, что я впервые решился написать об этом.

Итак, математика! Прекрасная проза!

Мои тайные увлечения обрели форму и аргументацию лишь в прошлом году, когда нам всем вдруг повезло — наш учитель математики заболел и на несколько месяцев выбыл из строя. Раньше я лишь смутно догадывался, что за всеми этими опротивевшими формулами, уравнениями, теоремами, перестановками многочленов скрыт волнующий мир, и вот теперь его приоткрыл нам учитель, временно заменивший заболевшего, — В. У. О, это был чародей! Он рассказывал нам о разобренных понятиях, которые в сумме образуют теорию чисел, занимавшую величайшие умы человечества со времен шумерской культуры. Но большую часть нашего класса математика не интересовала. Могу поклясться, что у нас нет башковитых парней, за исключением Уитерса Зубрилы да еще недавно приехавшего к нам ученика (фамилия его занимает целую строчку), имеющего какую-то неправдоподобную склонность к истории. Если все здесь написанное, кажется тебе, Дорогой Дневник, несколько напыщенным, то прошу тебя: вспомни, что с математикой я справляюсь куда лучше, чем с писаниной.

Добрый старый В. У.! Это ему я обязан всем. Те недели, которые он провел тогда в классе, были для меня озарением. В этом грязном, алчном мире стяжателей я нашел для себя чудесную и благодатную математическую логику.

Совершенно случайно я на какое-то время прославил нашу школу, решив математическую задачу, которая постави-

ла в тупик даже некоторых профессоров университета. Ее принес мне В. У. Не спрашивай, как я справился с ней. Я просто сел и начал решать. Она не отняла у меня много времени. Если бы я не чувствовал отвращения к метафизической чепухе, я мог бы назвать это вдохновением. Но это было! Такое больше никогда не повторится, живи я еще хоть миллион лет.

Кроме удивления перед собственной личностью, у меня появилась еще вырезка из газеты — думаю, это дело рук отчима, — и на какое-то время я оказался в одном ряду с прославленными победителями футбольных матчей.

Отчим, в очередной попытке преодолеть отчужденность между нами, начал было рекомендовать меня своим скептически настроенным друзьям, как не по годам развитого мальчика, занимающегося чтением книг по математике ради собственного удовольствия. Низкопоклонствуя перед силой, которую он представлял в прессе, они снисходительно улыбались. Меня это выводило из равновесия, я чувствовал, как кровь приливает к моему лицу, и про себя я кричал им: «Что же смешного в том, что математические книги можно читать ради собственного удовольствия? Вам, видимо, более понятно, когда предпочтение отдается порнографии?» Конечно, я не говорил этого вслух, иначе мой отчим решил бы, что ему наконец удалось проникнуть сквозь завесу отчужденности, а подобного удовольствия я ему никогда не доставлю.

Мне прислали приглашение — принять участие в телевизионной передаче (я подозреваю, что это мать постаралась), но я отказался. Никому из них не удастся загрязнить мое открытие.

Школа была потрясена. В классе уже предполагали, что мне выдадут справку из психиатрички, что я чокнутый, — ведь если для этого и нужно было какое-либо особое подтверждение, то таким подтверждением был мой отказ.

Отец, растроганный тем, что наконец-то ему есть чем погордиться, выжал из себя несколько монет и купил мне «Мир математики» в четырех томах. Они стали моими самыми любимыми книгами. Я зачитывался отрывками из работ великих математиков всех времен и чувствовал себя мизерным, ничтожным неопитом в этой длинной цепи выдающихся создателей мистерии цифр.

Отец объявил, что сделает из меня чиновника страхового общества. (Его никогда не интересовало, кем я сам хотел бы стать.) Это привело меня в бешенство, и я потратил несколько выходных дней, споря с ним о вопросах, которые

он считал просто-напросто нелепыми, например, почему трижды два равняется шести и есть ли во вселенной место, где результат будет другим.

Я нашел этот мудреный вопрос в одной из книг, подаренных мне В. У. Мы подружились с ним и все свободное время проводили вместе.

Он ходил в потрепанной одежде и выглядел изможденным, но, конечно, вовсе не из-за пристрастия к алкоголю или наркотикам, как предполагали некоторые мои одноклассники. Со своими гениальными способностями, если бы он торговал ими, он легко мог бы стать миллионером, но он довольствовался лишь прожиточным минимумом, полностью отдаваясь экспериментальной работе над теорией чисел. Отец говорил, что все эти теоретические выкладки совершенно бесполезны в практической жизни. А когда я завел разговор об изысканиях в области совершенных чисел, он просто взорвался.

Как втолковать этим ограниченным, вечно занятым деловыми встречами и подсчетами денег людям, что мне куда приятнее проводить вечера в бедной квартирке моего учителя, где все пропахло табаком и горьким черным кофе, где все завалено книгами и мне приходится освобождать от них краешек стола или перекидывать их со стула на пол, чтобы сесть? Как втолковать им, что в моих занятиях гораздо больше романтики приключений, чем во всех этих вечеринках, так называемых междусобойчиках, в обществе необузданных, развращенных сверстников, которых спасают от наказания лишь деньги их папаш и адвокаты? Как втолковать им, что мое увлечение математикой, в дополнение к подводным исследованиям, дает возможность моим умственным способностям свободно парить в заманчивых для меня сферах, словно в океане, когда сама глубина облегчает вес моего тела? Но ведь ни то, ни другое не может принести выгоды, а человека, который не ищет для себя выгоды, они презирают, словно гаденыша. Что подумали бы эти люди, узнав, что все время, пока я нахожусь в карантине, я читаю о дружественных числах? Удивительные вещи. Сумма правильных делителей одного числа из пары равняется другому числу. Возможно ли это? В прошлом веке итальянский школьник Никколо Паганини (другой Паганини, не музыкант) открыл существование дружественных чисел, о чем даже не подозревали маститые математики!

Что ж, Дорогой Дневник, значит, можно жить в этом чудесном мире цифр! И кто знает, быть может, что-нибудь

откроет и бывший школьник Кристофер Роберт Армитедж?
Ха-ха!

Итак, Дорогой Д., мне исполнилось восемнадцать лет и три недели, я собираюсь выйти из карантинного барака и снова увидеть мир. Что же принес мне почтальон в этот знаменательный день?

Повестку! Меня призывают на военную службу! Человечество, вернее, «самые достойные» его представители, дарует мне право воевать и, если понадобится, умереть за свою страну так же, как это уже сделали до меня тысячи парней. Мелочь, конечно, но мне еще не предоставлено право голосовать за тех субъектов, которые будут решать, где и против кого я должен воевать. А чтобы у меня не появилось никаких возвышенных идей о том, что Родина нуждается во мне, призывая на службу, отчим прислал мне записку на редакционном бланке, в которой намекнул: ему-де известно сокровенное желание моего трусливого сердца и если я захочу избежать призыва и мне понадобится его помощь (он употребил еще более фарисейские выражения), то он, конечно, будет рад использовать все свое влияние. Что это с ним, Дорогой Дневник? Насколько я понимаю, этот сын Пегаса (кастрированный) всю свою жизнь посвятил лишь своей личности и никому больше.

Бьюсь об заклад, что это именно он в результате какой-то нечестной сделки добился моего призыва в армию — ведь таким образом он мог бы внушить матери, что только благодаря его заступничеству мне удастся получить отсрочку. Будь он проклят! И чего ему приспичило соваться в эти дела?

Если уж быть откровенным, Дневник, то нужно признаться, что я всеми силами старался увильнуть от призыва. Говорил по этому вопросу в весьма возвышенных выражениях с директором школы и в менее возвышенных с отцом. Отец, разумеется, не ударил палец о палец. Нет, он всегда будет следовать Долгу — ради меня, ради господ бога, пусть даже меня убьют. Я давно заметил, что люди с самыми высокими патриотическими принципами предпочитают перекладывать дело защиты Отечества на плечи сыновей презираемого ими рабочего класса, у которых нет влиятельной руки, чтобы уклониться от призыва. Но отец не из таких.

До получения письма от отчима у меня — могу в этом поклясться — не было ни малейшего желания вообще ког-

да-либо служить в армии. Да и могло ли возникнуть у восемнадцатилетнего парня самых средних способностей, у которого даже не было никакого представления о происшедших за последние полвека военных событиях, не считая разве того, что он слышал краем уха об участии деда в Галлипольской операции и отца в военных действиях на Ближнем Востоке, желание защищать Отечество да еще строить опрометчивые, глупейшие догадки о том, каким образом он и его невоенный талант могут быть применены на Востоке, когда-то таком дальнем, а теперь до противности ближнем?!

Но послание отчима решило все мои раздумья. Нет, *я пойду служить в армию*, и будь они все прокляты!

Этот шаг означал для меня многое. Во-первых, он сорвет планы отца, ввергнет его в отчаяние оттого, что он не сможет увидеть, как я иду по проторенной дорожке к посту главного страхового агента, но одновременно и принесет ему радость — его сердце ветерана забьется, как барабан, когда он увидит на мне военную форму. Во-вторых, мой поступок встревожит мать. Она ведь всегда делала только то, что ей хотелось, и теперь мне представится возможность досадить ей. Не исключено, что на ее прекра-а-асные глаза даже набегут слезы, но она постарается не дать им воли, а то еще, чего доброго, с ресниц потечет краска. В-третьих, в бешенстве будет отчим.

Пораскинув мозгами и поборов злость, я начинаю сочинять сладенькую записочку матери и отчиму, в которой благодаря моему усердию они смогут уловить разве что легкую иронию. Я напишу на банкноте. Я напишу, что считаю службу в армии своим священным долгом, что просто не могу предать интересы Родины, и закончу чем-нибудь вроде: «Благодарю вас за предложение помочь мне обмануть наше правительство». (Здесь я придумаю что-нибудь этакое джентльменское.) Все будет сделано как надо — они лишней раз убедятся в том, что я и правда дерьмо.

По совести, они не очень-то заблуждаются на мой счет. Но это еще не значит, что они вообще не заблуждаются...»

Тэмпи закрыла дневник и вздохнула.

«В этом ты прав, Крис. Мы часто заблуждались».

Она выключила лампу у изголовья, откинулась на подушки и стала смотреть на ночное небо, усыпанное яркими звездами.

Значит, они жили в разных мирах. Она знала о Кристофере, а он о ней не больше, чем два светила, отстоящие друг от друга на недосягаемом расстоянии и мерцающие на черном небосводе вселенной.

Когда боль, вызванная известием о его гибели, немного притупилась, она стала утешать себя мыслью о том, что всегда, пока он был жив, делала для него все от нее зависящее. Она давала ему все, чего он хотел. Теперь же она поняла, что ничего не дала ему из того, что ему было нужно. Это открытие потрясло ее. Отныне ей суждено жить не только без сына, но и без иллюзий о его добром отношении к ней. Ведь в том, что они стали совсем чужими в последний год его жизни, она винила его слепое безрассудство. Теперь она поняла, что, несмотря на кажущуюся привязанность, они всегда были далеки друг от друга. Он обвинял ее не за то, что она делала, а за то, что она собой представляла.

Она попыталась уснуть.

«...6 марта. Уже месяц, как я в армии.

Дорогой Дневник, написав отчиму об отказе воспользоваться его влиянием, я нанес ему своим пером рану более глубокую, чем если бы ударил острогой. По правде, сказать, я этого никак не ожидал. А его реакция на мое письмо оказалась для меня таким пинком в зад, который за один месяц загнал меня чуть ли не в самый отдаленный угол на северном побережье, называемый Уоллабой. Пока другие парни сочиняют письма домой, у меня будет достаточно времени, чтобы описать это новое место моего пребывания.

Лагерь расположен в долине, которую можно было бы назвать идиллической, если бы военные не обезобразили ее. Когда-то на этом месте был морской залив. Об этом я узнал от одного новобранца, он увлекается геологией. Со временем залив превратился в покрытую травой равнину, окруженную горами; они отделяют нас от моря, но в тихие ночи мы слышим его прибой.

Мы видим море, лишь когда взбираемся по каменистому склону Хогсбэка во время учений. Я смотрю на море, и оно кажется мне таким же голубым, как вода в ванне, когда тетья Лилиан подсинивает простыни. Иногда отсюда видны киты, выбрасывающие вверх фонтаны воды.

Два прибрежных местечка, Северная Уоллаба и Южная Уоллаба, разделены между собой небольшой речкой с песчаными берегами, которая протекает по территории лагеря

и, расширяясь, впадает в лагуну. Если смотреть с вершины Хогсбэка, то они похожи на рога старинного якоря, веретено которого отходит от берега в направлении причудливо очерченного полуострова, называемого Уэйлер — когда-то там жили охотники на китов.

На самой вершине утеса стоит большой белый дом с флагштоком. Вот в таком месте я хотел бы жить — туда можно добраться лишь во время отлива.

Порой мы видим, как в крошечную северную бухту входят рыболовные шхуны и трое черных людей вытаскивают их на берег. В остальное время какие-то люди работают на плантации, тянущейся вверх от берега, и на песке у моря всегда играют дети. Нам туда ходить запрещено. На этот счет существует несколько версий. Наш повар, который живет здесь с незапамятных времен, говорит, что Уэйлер населен «кучкой черномазых», еще там есть один сумасшедший белый, убивший когда-то двух ни в чем не повинных солдат, — просто они слишком уж пристально засматривались на черных девиц из его семьи. По словам повара, около солдат, пытаясь их совратить, увивались какие-то туземные девки, а белый человек прятался в кустах, выжидая удобного момента, чтобы отрубить солдатам головы.

Конечно, ни один из нас не верил в эту чушь. Даже весьма беглое знакомство с жизнью в этих местах подсказывало: если что и случилось с теми «ни в чем не повинными солдатами», то только по их собственной вине.

Никто никогда не видел здесь подобных девок (извини, Д., женщин), а Куртин Мейплс даже клялся, что однажды, когда он выводил на дневную прогулку в Южной Уоллабе собаку полковника, он наткнулся на девчонку хоть куда. К сожалению, вместо того чтобы попытаться его совратить, девчонка бросилась бежать со всех ног. Куртин, правда, божился, что она испугалась не его, а пса.

Повар считает всех аборигенов трусами и называет их «нигерами». Он произносит слово «нигер», как непристойность.

— Да научись ты называть людей их собственными именами! — возмущенно кричат ему Куртин или Джим.

— Какими же это именами? — спрашивает повар, размахивая черпаком.

— Зови их аборигенами или, если это слово кажется тебе очень длинным, просто черными. Разве ты не знаешь, что Организация Объединенных Наций не разрешает употреблять слово «нигер»?

— Чепуха!— кричит в ответ повар.— Я слишком долго жил среди нигеров в Африке и в Индии и знаю: если ты первый не двинешь им в зубы, так они сами забьют тебя до смерти.— И снова потрясает черпаком, свирепо глядя на нас.— Вот уж порадуюсь я, когда всех вас, новобранцев, отправят в Малайю. Там вы быстро поймете, что или сам бей в морду, или тебя избьют. (Ну, ты понимаешь, Дорогой Дневник, я не могу точно передать выражения, в каких он высказывал свои мысли.)

Упоминание о Малайе вызывало у всех новый приступ хандры, так как большинство ребят не горят желанием идти на то, что Куртин называет «смертью во имя поддержания умирающего колониализма и несуществующего султанства».

Здесь мы существуем в Затерянном Мире. Наш полковник (отец его просто обожает!) получил военную закалку еще в кавалерии во времена первой мировой, старшина подразделения воевал с бурами, а лейтенант — командир нашего взвода, который называется взводом профессионального обучения,— самый настоящий ретроград. Служба его в основном проходит на койке в тылу, как говорит Куртин. Хороший парень! По его словам, наш лагерь — это организованный хаос: все здесь вроде бы строго по уставу, однако во всем царит полная неразбериха и беспорядок.

Отвергая покровительство отчима, я думал, что военный лагерь — место, где господствует предельная объективность, что там обезличивание человека, подмена его имени шифром даст ему возможность, затерявшись в этой безликой массе, сохранить свободной свою душу, свою индивидуальность. Но я ошибся. Номера, по которым нас здесь числят, ограничили нашу свободу сильнее, чем любая тюремная камера.

Живя здесь, я все больше и больше убеждаюсь, что люди, ставшие взрослыми до 1945 года, совсем другой расы, чем те, что повзрослели после. Они говорят о «безопасности», будто такое понятие существует на самом деле. Те же из нас, кто начал думать после создания Нового мира,— да еще какого мира!— уверены, что на земле нет безопасности, что даже сама земля не безопасна.

Задумываясь над этим, Д. Д., я все более убеждаюсь, в несусветной глупости некоторых отсталых армейцев, пытающихся обучать новое поколение солдат примитивным методам ведения прошлых войн. Мы ведь отлично понимаем, что в наше время единственным памятником нам может быть тень на бетоне, оставленная атомной бомбой.

И хотя подобное признание вряд ли вырвешь у одного из тысячи, но мысль о массовой гибели все время держит наши нервы в напряжении. А если мы не улетучимся при взрыве водородной бомбы, то, вернее всего, сдохнем, охраняя капиталовложения клиентов моего отца, где-нибудь в Малайе или Таиланде. И, как говорит капрал Блю, воевавший во время второй мировой войны, пусть все катится к такой-то матери!

Если ты, Дорогой Дневник, заметил ухудшение моего языка, отнеси это за счет влияния уравниловки при несении военной службы на благо Отечества. Кроме того, я уже пристрастился к пиву в войсковой лавке — может, оттого, что хочу быть, как все, а может, оттого, что пиво развязывает язык. Потребление алкогольных напитков, как я здесь выяснил, является привычкой, этому не нужно учиться.

Как-то незаметно, чтобы здесь осуществлялись посулы плаката, который призывает: «Вступайте в армию, и вы сделаете блестящую карьеру». Не похоже, чтобы кто-нибудь сделал здесь карьеру хоть в чем-нибудь, исключая чистку картошки да умение пробираться сквозь непроходимые заросли джунглей. Ползучие растения цепляют тебя, ты падаешь, и тут же к любому незащищенному участку кожи присасываются пиявки. В свободное от исполнения роли обезьян время мы колем штыками манекены, а это, как нам кажется, идет еще со времен Крымской войны.

Другие новобранцы считают, что я со странностями. Но ко мне не пристают, потому что я и сам ни к кому не пристаю; я никогда не пристаю к людям — это единственное мое достоинство. Вообще-то они по-своему добры ко мне, так как я хуже всех везде и во всем. Когда мы, вконец вымотанные, возвращаемся с учений в лагерь, те из нас, кто еще не потерял способности хоть что-то соображать, задают себе вопрос на непечатном языке: зачем мы должны учиться прыгать с одной ветки на другую, с риском для жизни спускаться с отвесных скал, перебираться через глубокие овраги по раскачивающимся мостикам — зачем делать все это в то время, когда чудеса современной военной техники уже совершенно точно определили нашу роль в будущей войне: в течение четырех минут после предупреждения мы можем бежать куда-нибудь, а потом чудовищная бомба, которую принесет межконтинентальная ракета, превратит нас всех и все вокруг в ничто.

Несмотря на отвратительную, почти несъедобную пищу и несмотря на то, что готовит ее пакостный тип, озлоблен-

ный постоянным пребыванием в пустынных, почти необитаемых местах, я чувствую, что выйду из этого ада крепким, выносливым и смогу помериться силами с любым орангутангом в джунглях; само собой, весь интеллект, когда-либо мною приобретенный, начисто улетучится, в голове возникнет полный вакуум — это может пригодиться мне для продвижения по военной служебной лестнице, если, конечно, мой природный здравый смысл не ослабнет в борьбе, направленной против него настолько, что к концу службы совсем сойдет на нет.

Но, как говорится, нет худа без добра. Я близко познакомился здесь с людьми, с которыми вряд ли столкнулся бы дома, разве лишь мельком, случайно по какому-нибудь делу. Они куда лучше моих прежних однокашников; в общем-то они такие же циники, но не столь гиперкритичны и менее склонны давать добродетельные объяснения тех методов, какими они в будущем собираются эксплуатировать свою страну. Из их числа только случайно кто-то может стать политиком, торговцем или журналистом. Они пополнят ряды дровосеков, водоносов, газовщиков, портных, электриков, водителей автобусов — то есть людей, поддерживающих наше общество на определенном уровне, получая за это в год меньше, чем отец зарабатывает в неделю.

Джим рассказал мне такие вещи, о которых я раньше и не догадывался.

— Ну, посмотри хоть на меня, — говорил он. — Я бы из кожи вылез, чтобы иметь такую, как у тебя, возможность учиться. А тебе школа нравится меньше армии. Хочешь, расскажу о себе? В пятнадцать лет мне пришлось проститься со школой. От благосклонного Отечества я получил разрешение работать раньше, чем это записано в законе, потому что мой отец ветеран — он еще в тридцать девятом вступил в армию добровольцем, но не из-за какого-то особого благородства или патриотизма, а из-за того, что семь лет был безработным и выкручивался на шесть шиллингов в неделю. Его схватили в Греции. Потом он присоединился в горах к греческим партизанам и воевал вместе с ними до тех пор, пока его не ранили нацисты. Он еле выжил, скрываясь у крестьян. Потом вернулся домой. И для него началась адская жизнь на Полную Постоянную Инвалидную Пенсию, которой никак не хватало, чтобы поставить детей на ноги. Мать от всех этих бесконечных забот получила инфаркт.

И все же ему было лучше, чем тому парню, вместе с которым он воевал в Греции. Тот был героем, пока боролся с

нацистами, а потом, после победы, его на шестнадцать лет упрятали в тюрьму. То же самое произошло и в Малайе. Ведь как мы ликовали вместе с китайцами и малайцами, когда японцев прогнали оттуда, а спустя пять лет патриотов, совершивших это, обвинили в предательстве и казнили.

А что дала демократия лично мне? Я мечтал стать геологом. А кто я теперь? Когда мне было пятнадцать, я уже разносил счета из бакалейных лавок. Я не имел возможности обучаться какому-нибудь ремеслу, потому что в то время в учениках никто не нуждался, а когда мне наконец все же удалось поступить в техническое училище и я начал заниматься геологией, меня призвали в армию.

Пока он рассказывал о своей семье и о своей работе, мне было скучно, но я продолжал слушать, потому что ждал, когда он перейдет к более интересной теме — геологии. Удивительный парень, с ним и учения легче переносить. Он может увлекательно рассказывать даже о грунте, волоочась по которому мы стираем в кровь ноги.

Однажды, когда наш сержант был раздражен больше обычного, он заорал так, что голос его стал слышен во всех концах учебного плаца: «Для чего же, черт побери, существует тогда армия?», и Джим ответил ему: «Если даже вы, сэр, этого не знаете, то можно ли ожидать ответа от меня?» Это вызвало гром аплодисментов всего нашего подразделения. И хотя вечером нас всех лишили увольнения, мы считали, что ради такого ответа стоило пострадать.

Каждый раз, когда я уезжал в увольнение, меня постигала неудача. Сначала я поехал к отцу. И это было ужасно! Все сорок восемь часов мы с ним гуляли по улицам, и, сев в поезд, я чувствовал себя так, словно мне пришлось удирать от шайки разбойников.

В следующий раз я поехал к матери. Это было еще хуже. Счастье, что я догадался пригласить тетю Лилиан на вечерний сеанс в кино. Фильм был плохой, но ей понравился, она все время плакала.

Мать тогда устроила большой прием в честь команды, победившей в Сиднее на соревнованиях яхт-клубов. В числе победителей был и отчим. Когда я в полночь вернулся домой из кино, гости уже были пьяны и веселились вовсю — прыгали, скакали, изображая борьбу с ветром, со штормом, с подводным течением и с волнами, которые преследовали спортсменов от самого старта до финиша. Целых пять ми-

нут мать и отчим были ужасно милы со мной, но потом забыли о моем существовании. Меня всегда начинает тошнить, когда мать принимается осыпать меня сентиментальными словечками и нести своим вибрирующим птичьим голоском всякий вздор о том, как я вырос и повзрослел. Не думаю, что ее сильно заботит, каким образом я взрослою, но ей очень нравится показывать всем окружающим, что, хотя сын ее уже новобранец, она сама выглядит не старше двадцати пяти (или сколько там она думает) и может разгуливать в платьях новейших фасонов, похожих на наволочки.

Я ушел на кухню, собрал и съел все, что осталось от знаменитого салата из омаров, жареных цыплят и пирога с черной смородиной, запил несколькими рюмками «джупа» — это такой американский напиток: коньяк с водой, сахаром, льдом и мятой, — а потом (шум был нестерпимый) опустил спинку сиденья в машине, завернулся в какое-то одеяло и уснул. Этот «джупа» все-таки свалил меня.

На следующее утро я бродил по квартире, словно единственный очевидец разрушений, учиненных водородной бомбой. Кругом храпели гости. Я быстро проглотил остатки из какой-то бутылки, вымыл Джаспера — это милое бесполезное существо, на которое мать обращает внимания не больше, чем на меня, — взял свои принадлежности для подводной охоты и отправился к морю немного понырять возле скал. Какой-то парень из яхт-клуба крикнул, чтобы я был осторожен и следил за акулами — наступила пора размножения.

Когда в полдень я вернулся, гости уже проснулись и снова принялись пить и есть, словно постились шесть недель, чтобы выиграть этот приз яхт-клуба. Уехал я ранним поездом.

На следующий месяц моя лодыжка не отпустила меня из лагеря. К этому можно еще кое-что прибавить!..»

«Я не хочу больше читать твои выдумки». — Тэмпи сердито отшвырнула дневник.

Она откинула голову на подушки. Ее охватил гнев, еще более мучительный оттого, что она осознавала всю его тщетность — ну какой толк сердиться на мертвых? Зачем спорить с ними? Но она не могла не спорить.

«О Крис, неужели ты не понимаешь, что тут не только моя вина? Ты был предубежден против всего, что я делала.

Я же старалась делать для тебя все, что было в моих силах, Кит тоже старался, даже твой отец старался, хотя только одному небу известно, почему тебя все это раздражало. Я старалась, чтобы у нас ты чувствовал себя дома. Мы все старались делать для тебя все возможное. Почему же ты так упорно сопротивлялся? Я любила тебя. И Джаспера я любила. Оставь мне хоть это!»

Гнев понемногу улетучивался, иссушая и опустошая ее. Мертвый, сын воздвиг между ними такой барьер, преодолеть который было еще труднее, чем при его жизни.

«Почему я потерпела неудачу? — спрашивала она себя. — Почему мы потерпели неудачу?»

Дело было не только в том, что она ушла от его отца. Он ненавидел отца так же, как и ее. Дело было не только в их разводе. Она знала многие семьи, где родители были в разводе, но дети оставались такими же послушными и любящими, как и в благополучных семьях.

Ей очень хотелось знать, что сказал бы Роберт, пошли она ему этот дневник. Но даже при всей своей неприязни к нему она не могла бы это сделать. И не только ради себя, но и ради него. Он уже старик, так пусть доживает оставшиеся дни со своими иллюзиями.

А у нее теперь нет никаких иллюзий. Сын раздел ее донага, содрал и кожу. У нее не осталось больше ничего, чем и ради чего она могла бы жить.

Она медленно перевернула еще одну страницу дневника.

«...Ну, что тут поделаешь, Дорогой Д.? Должно быть, я — самое несчастное существо на земле. Подумать только — получил ранение во время учений в мирное (?) время!

Правда, судьба, видно, всегда на стороне недостойных. У меня лишь растяжение связок в лодыжке и в левом запястье, а ведь могло быть... Лопнул канат, когда я, словно обезьяна, висел на нем над рекой. Бац! И вот я уже на камнях, оглушенный, с нестерпимой болью в ноге и в руке.

Среди солдат поднялось смятение. Джим и Куртин замахнулись канатом на сержанта, а остальные взвыли от страха и отказались выполнять приказы.

Увидев, что я разбился не насмерть, сержант пришел в бешенство, стал кричать на меня и обзывать симулянтом. С помощью Джима и Куртина я кое-как дохромал до лагеря. Во время ужина мне объявили выговор за нарушение формы одежды — я снял бутсу и надел вместо нее пляжную

туфлю, что было серьезным проступком. От боли я не сомкнул глаз всю ночь, а наутро ступня и лодыжка сильно распухли. Но до тех пор пока мои друзья не пригрозили забастовкой, командир не хотел признать происшедшее со мной несчастным случаем, а расценивал как преднамеренное увечье. Только после этой угрозы меня отправили к врачу.

Каким-то образом полковник прослышал о моих чудачествах с математикой. И когда из-за ранения я предстал пред его ясны очи, он решил, что я смогу принести если не славу, то уж по крайней мере определенный успех его штабу, разрешив кое-какие проблемы, с которыми его нематематический ум никак не мог совладать. Одна из них касалась вопроса траекторий. Сержант, ответственный за огневую подготовку, определял эти траектории с помощью автоматического прицела, но никак не мог выразить их в цифрах. Поэтому в докладах полковника вышестоящему начальству эти важные цифры всегда отсутствовали. И хотя само начальство ничего в них не смыслило, им почему-то придавалось большое значение.

Для меня это оказалось таким же легким делом, как свалиться с каната. Вот только боль, я имею в виду физическую, была менее ощутимой.

Теперь, когда у полковника не осталось больше пороков — в годы последней войны за ним укрепилась репутация покорителя сердец женщин-военнослужащих, находившихся под его началом, — теперь, когда он уже порядком сдал, он мечтает не о женских прелестях, а о том, как бы получше и побыстрее превратить в бесформенное месиво «нигеров» и заставить испариться «красных». К чему бы ни прикоснулась его рука, все становится грязным и мерзким из-за его кровожадной страсти к убийству. Его, к примеру, очень занимает вопрос, со скольких акров земли бесследно испарится человеческая плоть, если сбросить атомную бомбу в самый центр многонаселенной индонезийской деревни или городка в Малайе?

Я сумел выдержать все это лишь два дня, хотя для расчетов убийства не требовалось особого умственного напряжения или применения высшей математики. За эти два дня я сделал подсчеты с такой легкостью, что привел в полное замешательство работников штаба, знания которых, судя по их реакции, не выходили за пределы элементарного знакомства с алгеброй. Только Ньютон знает, сколько времени мог бы я так торговать собой ради удобного кресла в тихом кабинете и обедков со стола начальства — кстати, куда бо-

лее вкусных, чем солдатская пища, — если бы во мне не заговорила совесть.

Не знаю, поймешь ли ты, Д. Д., что я имею в виду, но если тебе когда-нибудь во время бега ноги отказывали или в воде судорога сводила тело, то это нечто похожее, хотя и не совсем то. Это было чем-то вроде временной слепоты — как будто внезапно где-то глубоко во мне повернули выключатель. И я был настолько потрясен разницей между высоким внутренним миром человека и его низменными внешними проявлениями, его способностью пойти на любые компромиссы, что в панике бежал, боясь превратиться в умственного импотента. Мои действия расценили как прямое неповиновение, оскорбление полковника, упрямство и невероятную дерзость. И вот я уже на кухне, а там, в штабе, у тех простаков, для которых два плюс два не всегда равняется четырем, от меня остался лишь ореол славы и благоговения.

Итак, временно я не гожусь ни для стрельбы из лука, ни для маршировки или упражнений с бумерангом. Теперь я специализируюсь на чистке картошки — врач заверил меня, что для моего больного запястья эти упражнения очень полезны, хотя довольно трудно левой рукой держать сей изящный плод в то время, как правая кромсает кожуру и выковыривает глазки.

По правде сказать, мне ужасно нравится популярность, которую я приобрел среди нашей братвы за героический отказ служить у полковника и участвовать в его военных машинациях.

Я давно уже не чувствовал себя таким счастливым. Ведь чистить картошку двадцать четыре часа в сутки невозможно. Поэтому теперь я могу вернуться к занятиям числами.

День мой делится на веселые часы поденной работы и блаженное время, когда я могу с головой уйти в сферу чистой и неподкупной математики. Таким образом я вознаграждаю свое внутреннее «я», а это вдохновляет меня и на какие-то внешние проявления.

Если адрес на тонком кремовом конверте написан размашистым почерком матери, я его не вскрываю. Не читаю я также отцовских посланий, написанных на бланках его учреждения. Приятны мне письма только от тети Лилиан. Я ей наспех отвечаю. К таким записочкам она уже привыкла, и, хотя они ей не очень-то понятны, она читает их с удовольствием.

Интерес нашего медика ко мне я объясняю не столько своим личным обаянием, сколько той заботой, которой окру-

жила меня мать, узнав от тети Л о моем ранении. Однажды в воскресенье она вдруг заявила в лагерь. Отчим привез ее на потрясном, под стать ей самой «кадиллаке». Хотя в данном случае сказать просто «потрясый» — значит ничего не сказать. Машина была сверкающей, обтекаемой формы и элегантной. Такой же была и моя мать. Она прижала меня к себе своими лилейно-белыми руками, изображая материнскую нежность. Я-то никогда ей не верил, а вот начальство было предано ей с головы до кончиков ногтей, не прошло и десяти минут после ее приезда. Они с отчимом обедали вместе с начальством. Она воркующим голоском справилась о моих все еще вспухших руке и лодыжке. Отчим выдал сожаление, что у меня не хватило здравого смысла употребить свои способности на пользу полковника. Этот человек думает только об извлечении личной выгоды из всего на свете. И если он меня терпеть не может из-за того, что, как ему кажется, должен делить со мной любовь матери (крохи со стола богатой женщины), то мысль, что я могу преуспеть в делах, если захочу, приводит его в совершенную ярость.

И снова я увидел, как все взоры обратились к моей матери, потом ко мне, потом снова к матери; на лицах было написано изумление: неужели это создание, так похожее на звезду экрана (хотя и не первой молодости), могло произвести на свет меня? Но я-то слишком часто наблюдал, как ей удавалось вот таким образом ошеломлять людей и повергать их ниц. Поэтому на меня эта сцена не произвела никакого впечатления.

Моя популярность среди друзей вдруг пошла на убыль. Они, очевидно, подумали, что от меня можно ожидать любого подвоха: имея таких влиятельных родителей, я могу сделать любую пакость, было бы желание. Мне перестали доверять, я стал для них ненадежным человеком. Но за это их нельзя винить. Вообще-то я никогда не искал популярности, но едва мои приятели отвернулись от меня, я почувствовал, что это значит.

Поэтому меня обрадовало предписание врача проводить днем три часа на берегу и как можно больше тренировать в воде ногу. Известно ведь, насколько важно сделать из хороших пехотинцев, чтобы мы могли, облачившись в специальную одежду и маски, очищать территорию от радиоактивных осадков (если таковые окажутся) в грядущей войне.

Капрал Блю, препровождая меня на следующее утро на машине к морю, говорил:

— А здорово наш полковник вправил им мозги. Такой скандал поднял из-за этого каната. Ведь старшина уж сколько месяцев твердил, что нужен новый канат, а командир, не желая портить отношений с интендантскими чинами из штаба, никогда не попросит нового оснащения, пока кого-нибудь не искалечит. А знаешь, что больше всего нагнало на них страху? То, что твоя мать оказалась замужем за этим журналистом.

Он захохотал — совсем как кукабарра, встречающий рассвет.

— Ну, тебе везет, — заключил он, — ты можешь здорово сыграть на этом, если как следует уцепишься.

Да уж, конечно, уцеплюсь.

Джим остановился у лагуны. Я вышел и заковылял вверх по дюнам. Подъем вызывал невыносимую боль в ноге, но я закусил губу и продолжал карабкаться, с нетерпением ожидая момента, когда доберусь до вершины и увижу море.

И почему цвет песка напоминает раздавленный абрикос? Джим как-то объяснял мне, но я забыл. Знаю только, как здорово шагать по такому песку без ботинок и ощущать, как он струится между пальцами. Мне было точно предписано, куда можно идти, куда нельзя. Полоска берега площадью сто ярдов на сто к югу от Уэйлера — вот территория, так сказать, моего курорта. Здесь я должен тренировать свою вывихнутую лодыжку и поврежденное запястье. Чем больше тренировок, тем лучше. Но никогда, никогда, никогда и ноги моей не должно быть на земле Уэйлера.

Суббота, ночь. А днем, Д. Д., случилось забавное. Утром полковник проводил смотр, поэтому часы моих лечебных процедур на берегу перенесли. В лучах послеобеденного солнца море казалось огромным шелковым полотнищем с бахромой из сверкающих обрывков волн. Была пора равноденствия, начинался прилив. Хромая, я плелся вдоль берега — лодыжка чертовски болела, потому что утром мне пришлось долго стоять во время смотра. Потом я снял шорты и нырнул в первую же волну, чувствуя, как она смывает с меня всю грязь. Я начал отмахивать предписанные мне сто ярдов, все больше ощущая прилив сил в руке, хотя лодыжка по-прежнему отказывалась повиноваться. Но тут течение подхватило меня и, прежде чем я успел что-либо сообразить, занесло за дамбу в маленькую бухту Уэйлера. Я остановился, чувствуя, что сваял дурака, и увидел четыре пары глаз, пристально и осуждающе смотревших на меня с по-

верхности воды. Девушка с шоколадным цветом кожи и огромными глазами резко спросила:

— Ты что тут делаешь?

— Простите,— ответил я,— меня занесло сюда течением.

— Разве тебе неизвестно, что Уэйлер находится за пределами вашего лагеря?

— Да, знаю, но это относится к обыкновенным военным служащим, а я...

— А ты кто такой?

— Наш врач предписал мне ежедневно плавать, потому что я получил травму во время учений.

Вообще-то я терпеть не могу вранья, но тут мне почему-то захотелось, чтобы все выглядело хуже, чем было на самом деле.

— Тогда плавай в прибое, но к нашему берегу не приближайся.

Она повернулась и быстро поплыла к узкому песчаному берегу. Остальные последовали за ней, растянувшись в цепочку; всех оттенков цвета кожи от шоколадного до светло-кофейного. Разозлившись, я крикнул ей вслед:

— Я и не приближался к вашему берегу!

Она обернулась, и даже на расстоянии я увидел, как сверкнули ее глаза.

— Тогда проваливай из нашего залива.

Я стоял и смотрел на них, не в силах вымолвить ни слова от бешенства, а они спокойно вышли на тропинку и вскоре скрылись среди банановых пальм. Я снова занялся предписанной мне тренировкой, перебирая в уме всевозможные слова, которые не успел ей сказать.

Спал я плохо. Каждый раз, задремав, тут же просыпался: я видел перед собой эти огромные глаза: вырастая, они становились двумя черными автомобильными фарами.

Понедельник, 25 марта. Итак, Д. Д., началась новая пора в моей жизни. Не знаю, почему я указываю именно сегодняшнее число,—ведь теперь каждый прожитый день — особенный и больше не похож на кадр из скучного фильма. Возможно, я так и продолжал бы видеть во сне огромные глаза, похожие на фары, если бы не собака полковника. Эту собаку все ненавидят, я хочу сказать, все, кто чином ниже сержанта. Пес какой-то афганской породы. От носа и до кончика хвоста он покрыт густой шерстью, словно одно из тех огромных мохнатых насекомых, что ползают по нашим мос-

китным сеткам. Он вырос на лагерном плацу, и полковник им очень гордится, потому что пес понимает его приказы куда лучше нас, а парни, глядя на него, просто помирают со смеху, разумеется, когда полковника нет поблизости. Этот пес и лает-то, как наш полковник. Джим клянется, что если бы у него была еще одна лапа, то он держал бы в ней хлыст для верховой езды.

В родословной пес записан под кличкой Кибер Кандахар, но она настолько не подходит к нему и кажется такой помпезной, что в отсутствие полковника собаку зовут просто Киб. Так вот, у Киба начался зуд кожи, и он жестоко чесался. Военного ветеринара осенила блестящая идея: собаке нужна морская вода. Красные пороссячи глазки полковника впились в меня. Отныне мне вменяется в обязанность — в порядке лечения, — сказал он, брать с собой на берег собаку и строго следить, чтобы она побольше плавала, закаляя свою кожу. Мои боевые товарищи, услышав, что из меня собираются сделать собачью сиделку, чуть животики не надорвали от хохота.

У этого ублюдка Киба, надо сказать, раздвоение личности. Сначала он вместе со мной взбирается на дюны с бесстрастным видом старого вояки, считающего своим главным достоинством умение ходить в ногу. Могу поклясться, что, делая это, он уверен, будто я нарочно строю ему козни, спотыкаясь и сбиваясь с ноги чуть ли не на каждой кочке. На вершине дюны пес поворачивает назад и начинает преследовать джип, удаляющийся по дороге вдоль лагуны, громким лаем провозжая шофера, а когда машина скрывается наконец из виду, он впадает в бешенство — как угорелый мчится вниз с дюны и, пока я добираюсь до берега, носится по кругу как сумасшедший, с высунутым языком, с хлопающими на ветру ушами, будто за ним кто-то гонится по пятам. Трудно поверить, что это та самая вымуштрованная собака, гордость полковника

Меня не покидает чувство, что я для этого пса вообще не существую. Это очень похоже на то состояние, которое я испытываю, когда вхожу в кабинет полковника, а он делает вид, что занят какими-то важными документами. Киба нельзя назвать уж слишком злым. Как любой высший чин, он держится на определенном расстоянии, словно желая сказать на своем собачьем языке: «Не тронь меня, и я тебя не трону». «Что ж, — отвечаю я, — будь по-твоему», хотя

вдали от лагеря я мог бы как-то попробовать пробиться сквозь разделяющую нас классовую перегородку. Я люблю собак, но лишь с одной собакой я был дружен по-настоящему — с Джаспером. Ведь отец мой — ярый собако-ненавистник.

Когда я раздеваюсь и, брызгаясь, вхожу в море, Киб тоже плюхается в воду, но держится на расстоянии по крайней мере двадцати шагов от меня. Я плыву, и он плавает. Я лежу неподвижно, и он лежит. Я бегу вдоль берега по песку, и он бежит, но всем своим видом показывает, что и не думает состязаться со мной в беге, а просто решил поохотиться за чайками. Наконец я ложусь на песок, а он продолжает игру, словно совсем не чувствует усталости. Но вот я направляюсь от берега к дюнам, и тогда он на определенной дистанции тащится за мной — уши бессильно висят, голова опущена, хвост поник.

На вершине дюны пес на мгновение присаживается и окидывает прощальным взглядом берег и чаек. Наш джип подъезжает с гудками по песчаной дороге, и, хочешь верь, хочешь нет, пес снова, как по волшебству, превращается в полковничью собаку. С достоинством истинного военного он спускается с дюны, забирается в джип, садится рядом с шофером (мне-то можно посидеть и сзади!) и закрывает глаза, всем своим существом приготовившись к возвращению в лагерь.

Через несколько дней он начал мне определенно нравиться за это свое лицемерие. Меня так и подмывает спросить, знает ли он, что написано на его медной бляхе, свисающей с ошейника, утыканного множеством острых кнопок: «Эта собака является собственностью полковника Нокса, командира военного лагеря в Уоллабе». Нет, думаю я, Киб не знает, что написано у него на медной бляхе, потому что эта собака не может быть ничьей собственностью. Она просто подчиняется правилам, тем самым извлекая для себя всяческие выгоды. И — могу поклясться — прекрасно это понимает.

1 апреля. Число самое подходящее. Сегодня, взобравшись на дюны, я своими глазами, обретшими способность превращаться в телескоп, увидел на воде бухты пять черных голов (одна из них собачья). Помня о недружелюбном приеме, оказанном мне на прошлой неделе, я устроился на границе стоярдовой полосы в самом отдаленном от них ме-

сте и, отвернувшись, притворился, будто занимаюсь поисками ракушек или червей. Как раз был отлив.

Пока я бездельничал на южной стороне упомянутого участка, Киб продолжал преследовать чаек на северной. Любое животное, не защищенное от жизненных перипетий военным званием, наверняка учуяло бы приближение чужой собаки. Само собой разумеется, я не учуял. Правда, я всего лишь человек. Но могу поклясться, Киб тоже не знал, что это на него налетело, когда какая-то черная полоска промелькнула над дамбой и сбила его с ног с такой силой, что у бедняги даже не было времени прийти в себя от мечты поймать птицу. Не будь у Киба колючего ошейника, ему бы сегодня пришел конец. Лагерная ленивая жизнь и отсутствие тренировки изнежили его.

Пока я бежал по берегу с быстротой, которую позволяла моя поврежденная лодыжка, я видел лишь какой-то непонятный рыжевато-черный комок, катавшийся по песку и напоминавший ранние картины кубистов, изображающие движение. С дамбы вниз мчались еще четыре фигуры. Я опередил их метров на двадцать. То ли из чувства привязанности к Кибу, то ли из страха перед гневом полковника, но, вероятнее всего, просто из желания порисоваться я, не задумываясь, бросился разнимать драку. Черный пес впился зубами в шею Киба, но колючий ошейник мешал ему сомкнуть челюсти. Я ухватил зачинщика драки за кожаный ошейник и что было силы дернул к себе. Видимо, зубы его скользнули по медным бляшкам, пес сердито зарычал, огрызнулся, отпрянул назад и вцепился зубами в мою больную лодыжку. Все это произошло мгновенно — я успел лишь увидеть четыре бегущие ко мне фигуры и упал навзничь вместе с вцепившимся в меня чудовищем. Не знаю, Д. Д., кусала ли тебя когда-нибудь собака, но у меня было такое ощущение, что клыки этого пса, скрежеща о мою кость, сдирают с меня весь налет цивилизации. Высокая девушка оттащила от меня собаку. Я пришел в себя и схватил Киба, уже готового совершить неверный шаг. Должно быть, со стороны все это выглядело чертовски глупо — я елозил по песку, поджимая под себя Киба, девушка оттаскивала своего отчаянно сопротивлявшегося пса, обе собаки пронзительно лаяли, а дети вопили, словно болельщики на стадионе.

Руки у меня были в крови, я усиленно тер глаза — мои противники засыпали их песком, нога еще больше вспухла и украсилась аккуратной линией собачьих зубов, похожей на браслет, обвившийся вокруг лодыжки.

Девушка раза два как следует пнула собаку и сказала детям, чтобы те увели ее домой. Двое старших ребят поволокли упиравшегося, разъяренного пса. Киб пыхтел, дрожал, словно загнанный мотор, и успокоился лишь после того, как неприятель скрылся из виду и его лай уже не доходил до нас.

Девушка опустила на колени, осторожно потрогала мою ногу, потом взяла мое полотенце, отдала его маленькой девочке, чтобы та намочила конец в воде. Ребенок моментально спустился к морю и тут же вернулся, держа в руках мокрое, с налипшим песком полотенце. Девушка молча приложила его к моей лодыжке. Я сидел, откинувшись назад и опираясь на руки, и чувствовал себя страшно неловко, пока она обтирала мне ногу. Крови почти не было, но нога болела чертовски — раны на ней были довольно глубокими. Она снова послала девочку за водой к морю, но теперь уже сказала, чтобы она постаралась принести ее без песка в бутылке из-под пива, выброшенной на берег прибоем. Когда она начала обливаться водой, мне показалось, будто меня ошпарили кипятком, так нестерпима была боль. Потом она вдруг заметила кровь у меня на руке и так стремительно схватила меня за руку, что я потерял равновесие. Она обмыла мне руку, вытерла полотенцем и так же, как и я, обрадовалась, увидев, что это была кровь Киба, а не моя. Затем, присев на корточки и уставившись на меня своими огромными черными фарами, она сказала (голос ее мне как-то сразу понравился, хотя всю вину она свалила на меня):

— Извините, но Викинг обучен прогонять посторонних из Уэйлера.

— А я не был в Уэйлере,— ответил я, переходя к обороне, хотя в данном случае можно было найти оправдание для обеих воюющих сторон.

— Я знаю. Но ваша собака...

— Это не моя собака. Это собака полковника, командира нашего лагеря.

— О! — Ее ровные белые зубы прикусили губу.

Раньше я никогда не пытался описывать чью-либо внешность, но сейчас я попытаюсь это сделать. Лицо у нее удлиненное, с выступающими вперед скулами, чуть-чуть худое для широкого рта, уголки губ слегка приподняты. Могу предположить, что любой скульптор захотел бы вылепить такое лицо. Нос вздернут, красиво вздернут, но, вообще-то говоря, я ничего толком не запомнил, кроме ее глаз и высокого лба под мокрыми вьющимися черными во-

лосами. Я никогда еще не видел так близко ни одного человека с такой блестящей светло-шоколадной кожей. Она смотрела на меня со страхом, ее огромные глаза еще больше расширились, рот открылся.

— Так, значит, это собака полковника? Это уж совсем плохо.

— А что ваш пес укусил меня, это ничего? — ответил я, переходя в наступление, — я обиделся, что собаку полковника считают важнее меня.

— Дело в том, — ответила она, — что около года назад Викинг укусил вашего сержанта.

Я расхохотался.

— Ничего смешного здесь нет, — сказала она. — Полковник грозился пристрелить Викинга и жаловался в полицию. Все уладилось только после того, как ваши же солдаты подтвердили, что сержант сам нарушил приказ и зашел на нашу территорию.

— Но я-то ведь ничего не нарушал.

— Да, знаю. То-то и оно. Теперь у полковника будет хороший предлог, полиция выполнит его требование. Что же мы будем делать без Викинга? Мы все его так любим!

Она с мольбой взглянула на меня, а я на миг задумался над человеческими привязанностями. Киб, например, ни у кого не вызывал симпатий, а этого пса любили, несмотря на то, что он не имел чутья и не смог распознать своего друга, ибо я, без сомнения, решительно встал бы на сторону собаки, которая искусала нашего сержанта.

— Ваша собака — просто свирепое животное, — сказал я.

— Неправда. Она никогда никого не кусала, кроме сержанта.

— И меня.

— Да.

Все еще стоя на коленях, она взглянула на меня. Наступила какая-то особенно длительная тишина. Надо сказать, она довольно молчалива, если только не злится. Молчаливость — одно из ее достоинств. Сейчас она сидела тихо, медленно покачивая головой, и слезы блеснули в ее глазах, ставших еще больше, чем прежде. Она потупила взор, стараясь скрыть их, и начала бесцельно пересыпать песок сквозь пальцы, такие длинные, тонкие, хрупкие, нежные и тем не менее сильные — и вся она такая.

Сердце у меня дрогнуло, когда я увидел, как две слезы скатились с ее черных, загнутых вверх ресниц, но в это

время раздался пронзительный сигнал джипа, и я понял, что мне уже давно нужно было быть на вершине дюны в ожидании машины. Я встал. Киб сразу же помчался на звук гудка, обещавшего ему избавление от диких зверей. Девушка тоже поднялась, и я удивился, увидев, что она почти одного со мной роста и очень хорошо сложена.

— Пожалуйста, скажите полковнику, что мы отошлем Викинга куда-нибудь подальше, пусть только они не убивают его. Очень вас прошу.

У меня вдруг мелькнула мысль наподобие тех озарений, которые давали мне ответ на самые запутанные задачи, но пока я не хотел говорить ей об этом.

— Не беспокойтесь,— ответил я.— Что-нибудь придумаю.

Она недоверчиво взглянула на меня, потом улыбнулась. До этого она не казалась мне такой хорошенькой, но теперь... Автомобиль продолжал настойчиво реветь. Я собрал свои вещи и заковылял к машине, прихрамывая сильнее, чем следовало бы.

— Спасибо, спасибо,— донеслось мне вслед,— большое спасибо.

Киб давно уже обогнал меня, его короткие, как у Микки Мауса, лапки мелькали по песку быстрее обычного. Дойдя почти до вершины дюны, я обернулся и помахал ей рукой. Это было глупо — я всегда с отвращением относился к подобным штукам. Затем я дохромал до вершины и спустился по другой стороне.

— Ну, ты чертовски опоздал сегодня,— сердито заворчал Блю, но потом, заметив, что у меня вся нога в крови (подъем на гору снова вызвал кровотечение), воскликнул:— Слушай, уж не нарвался ли ты на акулу?

— Нет, это Кибер.— Я с удовольствием вступил на стезю вранья.

Блю уже уселся за руль и ожидал, пока я натяну брюки и рубашку.

— Что? — почти выкрикнул он.

— Да-да, Кибер,— повторил я.— Пригляди-ка получше за этой дикой тварью,— предупредил я, когда собака устранилась рядом с ним. Блю отодвинулся подальше.

— Кибер, сзади! — крикнул я, подражая голосу полковника.

Собака прижалась к сиденью и замерла, словно ее разорвали на части, а не просто поранили кое-где шкуру.

— Неужели этот паршивый ублюдок все-таки решился тебя цапнуть? — не унимался Блю.

— Да, представь себе, — сказал я, но, увидев укоряющий взгляд собаки, добавил: — Ему вообще-то не хотелось этого делать, но он накинулся на берегу на какую-то собаку, я попытался его оттащить, он пришел в ярость и вцепился мне в лодыжку.

— Вот это да! — Блю закурил сигарету и предложил мне. — Трудно поверить, что он на такое способен. А что скажет полковник?

— Не знаю, но я скажу, что пес бывает опасен.

Блю вдруг начал хохотать.

С грехом пополам я доковылял до лагеря и рассказал о недостойном поведении Киба. Полковник, конечно, мне не поверил, но я показал ему раны, полученные при исполнении служебных обязанностей. Трудно сказать, кто из нас первым пошел к врачу, однако мою лодыжку осмотрели и мне вкатили соответствующую дозу инъекции от столбняка раньше, чем наложили шов на шею Киба. Когда все это закончилось, меня препроводили в кабинет полковника, и начался допрос.

— Итак, вы утверждаете, что Кибер напал на чужую собаку? — загремел полковник, словно командовал на плацу.

— Так точно, сэр.

— А как вела себя та собака?

— Она бегала по берегу Уэйлера, а Киб, прежде чем я успел что-либо сообразить, перемахнул через дамбу и налетел на нее. Я быстро, как только позволяла моя нога, припустил за ним, но собаки уже сцепились. Я стал оттащить Киба, и тогда он бросился на меня.

Лгать мне всегда было трудно. Ведь в большинстве случаев лгут, желая пощадить чьи-то чувства, а я никогда не понимал, зачем мне нужно щадить чьи-либо чувства. Нравится — не нравится, а пусть мирятся с этим. Но на этот раз я врал с удовольствием.

Полковник тяжело вздохнул (или он начал задыхаться?).

— Что-то я не верю в это! — сказал он.

— Конечно, Киб не очень похож на забияку, — согласился я.

— Кибер не может драться, ведь он — охотничья собака! — закричал полковник, багровея.

— Возможно, сэр, но сегодня именно он учинил драку, и, по-моему, его следует пристрелить.

Лицо полковника стало краснее вареного рака, в углах рта показалась пена. У меня больше не оставалось сомнений, что он вот-вот задохнется.

— Вы собираетесь подать об этом рапорт?

— Да, сэр. Я хочу сделать это немедленно, пока все детали еще свежи в моей памяти.

Я имел в виду, что хочу сделать это раньше, чем забуду подробности состряпанной мною истории. И вот вскоре появился угреватый секретарь полковника, накрахмаленный и наглаженный, словно только что сошел с плаката, призывающего вступить в армию, и записал мой рассказ. Он чуть было не свалился со стула, когда я потребовал дать мне копию этой записи. Он пробормотал, что это нечто новое, необычное в его практике.

— Необычность заключается лишь в том, — сказал я, — что в этом лагере держат собак, которым дозволено кусать новобранца. Копия мне нужна на случай, если дело будет иметь последствия.

Мое поведение привело их в полнейшее замешательство. Никто, не говоря уж о полковнике, не верил, будто меня укусил Кибер. Но что им оставалось делать?

Все смеялись до упаду, не понимая, какого черта мне понадобилось выдавать за правду заведомое вранье. А бедняга песик воспылал ко мне любовью, видимо считая меня своим спасителем. Я пустил в ход банальную шутку насчет того, что ему, очевидно, пришлось по вкусу моя нога и он надеется отведать когда-нибудь голени, где мяса побольше, чем на лодыжке.

Врачу было дано указание продлить курс моего лечения на море. Предполагалось, что и Киб будет сопровождать меня, но пес трусливо отказался от этого удовольствия. Завидя, что я собираюсь садиться в джип, он с такой же быстротой, с какой его афганские предки носились по азиатским пустыням, бросался в квартиру полковника и забивался под кровать. Я чувствовал себя преступником, ожидающим разоблачения со стороны своей жертвы, но полковнику понравилась идея изобразить свою собаку свирепым людоедом, и он вовсе не хотел расставаться с этим мифом.

Одно только омрачало его настроение — страх, что я заблею столбняком. Вина тогда падет на его собаку, а армейский устав ему никак не поможет — насколько я знаю, по этому поводу там нет ни строчки. Итак, я должен продолжать лечение у моря и избавлен от общества Киба —

об этом я мог бы пожалеть, если бы не новые события в моей жизни.

Кстати, хромаю я вовсе не из каких-то стратегических соображений. Врач сказал, что зубы Киба, видимо, порвали сухожилия, еще раньше растянутые в результате моего падения с каната.

— Получить укус от собаки полковника — куда лучше, чем получить медаль, — изрек Блю.

Не знаю, не знаю. Во всяком случае, это выгоднее.

Блю очень часто оказывается прав, Д. Д., но главное, что я извлек из этой истории с укусом, — это возможность бывать на морском берегу. Когда я в первый раз после перерыва взобрался на вершину дюны, сердце у меня чуть не выпрыгнуло из груди от счастья, ибо я увидел в бухте темные фигурки. Я решил тщательно соблюдать границу, разделся в самом дальнем углу, вошел в воду и, сдержанно поприветствовав старых знакомых, начал плавать взад-вперед. Я старался не приближаться к дамбе ближе, чем на пять метров. Но когда я снова подплыл к ней, старший из мальчуганов уже подждал меня.

— Занни спрашивает, почему вы не хотите переплыть к нам в Блюдце? — обратился он ко мне. — Там ведь лучше.

Она была права. В Блюдце (так они называли свою бухточку, потому что она была очень мала) каменистое дно, вода чистая, волны, разбиваясь о скалы, отливают цветом имбирного пива. Я чувствовал себя очень глупо, когда перешел в него вброд вслед за мальчуганом и остановился, глядя на Занни, скрытую по самые плечи в воде. Трое малышей плескались вокруг нас.

— Привет, — сказал я с независимым видом.

— Здравствуйте. У нас прямо гора с плеч свалилась, когда мы снова увидели вас. Мы очень беспокоились все эти дни. — Когда она произносит «мы», ее низкий голос звучит, как басовая струна арфы. — Мы боялись, что с вами что-то случилось после...

— После того, как меня укусил Кибер? — подхватил я.

— Кибер? — Брови ее от удивления взлетели вверх.

— Да, — сказал я.

— Но ведь нашу собаку зовут Викинг.

— Викинг? — переспросил я. — Так это тот самый бедный песик, на которого набросился Кибер? А я тот самый

бедный парень, которого Кибер укусил, когда он попытался оттащить его от Викинга.

Четыре пары глаз, слишком темных, чтобы называться карими, и слишком лучистых, чтобы быть черными, смотрели на меня с совершенно одинаковым выражением.

Занни улыбнулась, не издав ни единого звука, потом в горле у нее что-то булькнуло, глаза заискрились, и через мгновение мы все расхохотались. Это был смех счастливых людей.

Перестав смеяться, Занни взглянула на меня — в глазах у нее прыгали смешинки — и спросила:

— Не собираетесь ли вы сказать, что все это вы выложили вашему полковнику?

— Мадам, — изрек я, — все, что я сейчас рассказал вам, — истина, изложенная в моем рапорте полковнику и скрепленная моей личной подписью.

— Ох, бедная, глупая, безобидная собачка!

— Очень опасная собака, — поправил я.

— Надеюсь, они ее не пристрелят?

— Не волнуйтесь. Полковник с гордостью рассказывает всем о своей собаке, а Кибер сообразил, что не должен ездить со мной на берег.

Мы снова захохотали, но на этот раз, как мне показалось, немного истерично. Я помню этот смех и фонтаны брызг, летящих вверх, потому что дети легли на спину и как сумасшедшие колотили по воде пятками, а волны разбивались о скалы и окатывали нас с ног до головы, словно из душа. Это была самая веселая забава за всю мою жизнь. Когда мы наконец успокоились, я уже знал, что имя девушки Занни, а называли ее так в честь бабушки — Сюзанны Свонберг.

— «Свон» в переводе означает «лебедь», — сказала Занни.

— Только мы — черные лебеди, — ухмыльнулся десятилетний Ларри.

И мы снова весело рассмеялись, а Викинг, привязанный на берегу, залаял громким лаем. Он лаял не переставая, и Занни, посмотрев на меня, вдруг спросила:

— Не хотите выйти на берег познакомиться с ним?

— Нет уж, спасибо, — сказал я, — мы с ним уже знакомы.

Мои слова вызвали новый взрыв хохота. Никогда еще не встречал я людей, которые бы так много и весело смеялись.

— Но теперь все будет по-другому,— сказала Занни,— он хочет извиниться перед вами.

— Ладно,— ответил я,— я приму его извинения, как только он будет на цепи.

Все мы направились к берегу. Дети плыли впереди, как коричневые угри. А когда я вступил на землю Уэйлера, у меня было такое же чувство, как в детстве, когда я читал приключенческие книги.

Всей гурьбой мы подошли к Викингу, уже чуть не задохнувшемуся от волнения. Занни нагнулась к нему, взяла его за ошейник и сказала:

— А теперь, Викинг, скажи этому молодому человеку, что ты просишь у него прощения.

Хочешь верь — хочешь нет, но пес вдруг подполз ко мне, положил голову на лапы и взглянул на меня так, что мне показалось, я слышу, как он говорит.

— Погладьте его, чтобы показать, что вы его простили,— сказала Занни.

Не хочу утверждать, что мне было страшно, но все же я почувствовал, как у меня засвербило в лодыжке, когда я нагнулся к собаке. Пес лизнул мне руку своим мокрым, мягким, как фланель, языком, как бы давая понять, что все происшедшее было ошибкой и теперь следует об этом забыть.

И я забыл.

— Сбегайте, принесите бананов,— повернулась Занни к детям.

Они разом бросились бежать по песку и вскоре вернулись с двумя большими гроздьями бананов. Мы уселись на берегу и принялись их есть. Дети с нескрываемым интересом осмотрели мою ногу, и я не знаю, чего было больше в этом любопытстве: гордости за свою собаку, сумевшую в момент так изуродовать мою ногу, или сочувствия ко мне.

Высказался один только пятилетний Питер — вот уж у кого кожа была совсем шоколадная.

— А Викинг, если б захотел, мог бы вас съесть.

Когда я ответил, что мы лучше разрешим ему попрактиковаться на ком-нибудь другом, все снова покатались со смеху, а Викинг, покрутившись вокруг нас, уселся, довольнo ухмыляясь. Он и правда симпатичный пес, из породы, специально выведенной для охраны овец, хотя и не чистокровный.

В тот день я взобрался на вершину дюны как раз, когда джип уже подъезжал. Мне не хотелось подвергать себя риску.

— А сегодня ты видел акул? — спросил меня Блю.

Его острые брови поднялись вверх, на губах появилась усмешка, которая ясно давала понять: хоть он и не знает, что я там замышляю, но в любом случае он на моей стороне.

— Сегодня нет, — ответил я. — Но я видел русалку.

Сказал и подумал: надо быть полным идиотом, чтобы так острить; вся кровь бросилась мне в лицо. Но Блю принял это за очередную шутку и, нажав на стартер, заметил:

— Эх, молодежь! Везет же вам.

Дорогой Дневник, сегодня я снова виделся с Занни. Утром она была свободна. А вообще-то она работает санитаркой в местной больнице.

— Мне хотелось бы стать медицинской сестрой, — сказала она.

— Так в чем же дело? — спросил я. — У вас руки самые подходящие для медсестры, мягкие и нежные, даже когда им приходится втирать в рану песок.

Мы оба засмеялись. Потом я снова спросил:

— Разве вы еще несовершеннолетняя?

— Мне скоро восемнадцать, — ответила она и пожала плечами.

Возле ключиц у нее впадинки, и я решил, что мне больше по душе худощавые девушки, чем толстухи. Она взглянула на меня, и я подумал, что ни у кого, даже у Мэрилин Монро, нет ни таких глаз, ни таких рук, по которым, кажется, проходит электрический ток. Нет, она совсем не похожа на кинозвезду: две маленькие груди, как яблоки на гибком теле, а бедра чуть шире, чем у мальчишки. Но в первый раз за всю свою жизнь я понял смысл слов, которые выискивала в журналах моя мать: «стройная», «тонкая», «грациозная» и т. д.

Двое малышей, Питер и Тоффи, еще не доросших до школы, возились возле нас на песке, словно лягушата, а Викинг, неистово лая, то и дело подходил ко мне, тыкался своим мокрым холодным носом, лизал языком. Он все еще просил у меня прощения, но я не держал зла на него. Со всем наоборот.

Иметь протекцию хорошо, но популярность на этом не завоеешь. Поэтому я решил возвратиться к прежнему занятию — высчитывать траектории для полковника. Я хочу остаться в этих местах. А чистить картошку не так уж приятно, особенно теперь, когда наши парни явно не прочь от меня отделаться.

Моя математическая совесть говорила мне: то, что мы делаем, никоим образом не может быть использовано этими кровожаднейшими типами, уцелевшими со времен войны с зулусами. Мы просто-напросто забавляемся. За те несколько часов, что остаются у меня от медицинских процедур, я делаю куда больше, чем полковник, капитан, лейтенант, их вычислительная машина и логарифмические линейки за три месяца. А посмотрели бы вы, что у них за результаты. Если бы кто-нибудь решился воспользоваться их расчетами, он неминуемо провалился бы в преисподнюю. Было бы здорово, если бы это случилось с некоторыми. Но беда в том, что и другие погибнут вместе с кровожадными сволочами.

Только такой болван, как полковник, может интересоваться расчетами траекторий на пять или пятнадцать миль в то время, как межконтинентальные баллистические ракеты преодолевают расстояние в тысячи раз большее в любом заданном направлении. Теперь я понял, почему отчим считает, что только физическое уничтожение всех генералов и высших чинов в момент, когда прозвучит последний выстрел войны, — гарантия от новых войн. Нет, все же в нем что-то есть, в этом парне, хотя он и заискивает перед теми же генералами.

В воскресенье я снова увижусь с детьми и с Занни. Все они очень забавные, но, конечно, Занни постарше, а значит, интереснее, хотя и с ребятней не соскучишься. Кажется, нет на свете такого, чего бы они не знали о рыбах, крабах, раках, актиниях и других обитателях подводного царства вокруг скал Уэйлера. Вот было бы здорово притащить сюда снасти для подводной охоты! Но нет, это было бы уж слишком, а мне еще хочется протянуть эту веселую волюнку с лечением.

Воскресенье. Вечер. О таком и в сказках не прочитаешь, как сказал бы Блю. Конечно, никому и в голову бы не пришло, что нечто подобное могло приключиться с таким неудачником, как я, но сегодня я познакомился с семьей Занни. Вот как все произошло. Полковник проводил этот уик-энд в «Большой Коптильне», как Блю называет Сидней. Капитан же все воскресные дни торчит в городке

неподалеку, у своей Шейлы (опять Блю). Остальные разбегаются кто куда и делают, что хотят, лишь бы утром вовремя исполнить свою обязанность по отношению к богу да днем съесть отвратительную баланду, которая по воскресеньям бывает еще хуже, чем всегда, так как повара накануне наливаются до чертиков.

Но возвращаюсь к семье Занни. Я пришел на берег уже к вечеру, как обычно по воскресеньям, и был удивлен, не найдя в Блюдце никого, кроме детей. Нет, они, конечно, забавны, но все же эта компания не для меня. И вот, когда мы плескались, а Викинг, как всегда, истерически лаял, Тоффи, самая младшая из ребят, закричала:

— Смотрите, смотрите, дедушка идет сюда!

И верно, по тропинке через заросли бананов не спеша спускался высокий черный человек, по крайней мере он казался черным при ярком свете. Он был футов девяти ростом, и я в страхе подумал, уж не хочет ли он лишиться меня жизни, хотя для этого вроде не было причин, разве что я нарушил твердые правила Уэйлера, да и лагерные тоже. Человек остановился у кромки воды, волны ластились к его большим ногам, служившим ему, очевидно, такой же верой и правдой, как и руки.

— Вы бы вышли и поздоровались с ним,— посоветовал Ларри.

Я доплыл до мели и, прихрамывая, вышел на берег, чувствуя себя так, словно меня вызвал к себе командир, чтобы дать нагоняй.

Старик был выше меня ростом, худой, но крепкий. Черные с проседью волосы колечками вились у него на голове. Глаза в глубоких глазницах просвечивали меня насквозь, словно рентгеновские лучи. Крупные белые зубы сжимали мундштук старой трубки. Из-за того, что на нем была белая рубашка, шея его казалась еще темнее, и я подумал: в жизни своей мне еще не приходилось встречать более величественного человека. Я даже удивился, услышав свой голос:

— Добрый день, сэр.

«Сэр» было как раз то слово, которое я ненавидел и употреблял лишь под давлением обстоятельств. С какой стати мы должны называть людей «сэрами» лишь потому, что они старше, а стало быть, как правило, и глупее?

— Привет, сынок,— сказал он.— Меня зовут Берт Свонберг, я отец Занни.— Он протянул мне свою большую длинную руку, и моя ладонь совсем утонула в ней.

Тогда я об этом не подумал, а сейчас удивляюсь, почему это я не обиделся, когда он назвал меня «сынком». Возможно, потому, что прозвучало у него это по-дружески, совсем не так, как у моего отца, который беспрестанно вдалбливал мне в голову, что, произведя меня на свет, он получил неограниченное право требовать от меня чего-то. Разумеется, я плевать хотел на все его требования.

— Мы благодарны тебе за Викинга, сынок. Нам очень жаль, что он натворил такое, да и сам он тоже об этом сожалеет.

Викинг уже улегся, положил голову на лапы и виновато поглядывал на нас, будто подтверждая слова хозяина.

— Не стоит об этом говорить,— ответил я.— Мне это доставило удовольствие.

От этих слов все снова принялись смеяться. Никогда еще не встречал я такого места, где все постоянно смеются.

— Занни задержалась в больнице, вот я и пришел пригласить тебя выпить с нами чашечку чаю.

Я не нашелся, что сказать, кроме:

— Большое спасибо. Я бы с удовольствием, но все мои вещи остались там, на берегу.

Плавки казались мне совсем неподходящим костюмом для визита, особенно если хочешь произвести хорошее впечатление. Впрочем, за каким чертом впервые в жизни мне захотелось произвести хорошее впечатление, я и сам не могу сказать.

— Ларри сбегает и принесет их.

Ларри сорвался с места с быстротой молнии, за ним кинулись остальные дети и задержавшийся было на мгновение Викинг. Потом он, конечно, обогнал их всех у дамбы.

Мы поднялись по тропинке, прошли через банановую плантацию и остановились возле манговых деревьев, глядя на детей, возвращавшихся с берега в том же порядке и с той же скоростью, но с Викингом во главе.

Я облекся в свою форму — старую рубашку и довольно поношенные шорты. Мне было немного жаль, что я не надел свою лучшую рубашку и тренировочные брюки, но, видимо, здесь никто не обращал на это внимания.

Северная сторона Уэйлера действительно похожа на ободок блюда, внутри которого, как в фокусе, сосредоточиваются солнечные лучи, и поэтому здесь хорошо вызре-

вают бананы и манго, быстро растут ананасы на остролистных пальмах (или как там они называются?), зеленые и желтые плоды папайи висят, тесно прижавшись к стволам, и кажется, будто дыни вдруг начали расти на деревьях.

Когда троинка уводит вас с этих плантаций, вы вдруг попадаете на небольшое плато. Здесь все растет буйно: фруктовые деревья и овощи, крупные желтые и красные цветы. На бархатистой зеленой траве пасутся козы, а вдалеке, на отвесной скале, стоит белый дом, возле которого растет несколько норфолкских сосен. Они как будто бросают вызов ветрам, дующим со всех четырех сторон света.

Через боковую дверь мы вошли в огромную светлую комнату, напоминавшую капитанскую рубку. В огромном кресле в дальнем углу, приставив к глазу подзорную трубу, сидел огромный толстый старик с круглым красным лицом и копной седых волос.

Я почувствовал себя так, будто меня собирались представлять королевской персоне. Мы подошли ближе, и Берт сказал:

— Капитан, это Кристофер Армитедж.

Старик повернулся, отложил в сторону подзорную трубу, пробуравил меня ярко-голубыми глазками, прячущимися в складках жира, и вдруг громовым голосом рявкнул так, что я чуть не подскочил на месте:

— Привет! Так, значит, ты и есть тот самый парень?

Я еще не успел и рта раскрыть, чтобы спросить, уж не думает ли он, что я тоже морской волк (вообще-то я не осмелился бы этого сделать), как он протянул свою огромную лапу, схватил мою руку и стал трясти. Мне показалось, что он вот-вот выдернет ее у меня из плеча.

— Спасибо, мальчуган, спасибо, что ты спас нашу собаку. Вообще-то я не терплю, когда говорят неправду, но ложь во спасение — совсем другое дело. Мы все тебе очень благодарны. Располагайся, как дома.

Следующие часа два пронеслись для меня вихрем. Я познакомился с матерью Занни, которую все звали тетей Евой, веселой, милой женщиной, с кожей чуть темнее цвета какао.

Я сразу же понял, что Капитану нравится рассказывать новичкам историю своей жизни.

А история эта была не совсем обычной. Хозяин дома служил матросом на шведском китобойном судне. В плава-

нии он сломал ногу, и его высадили в Уэйлере — он стал там чем-то вроде сторожа или смотрителя. Было это в начале века. Его собирались забрать на обратном пути, когда корабль будет возвращаться из Антарктики. Но никто никогда больше об этом корабле и не слышал. Итак, он остался в Уэйлере. Ему пришлось по вкусу и то, что он стал хозяином собственного дома, и здешнее ласковое солнце. Здесь же он встретился с Сюзанной, девушкой-аборигенкой, и они поженились.

— Лучшей женщины нет на свете!

Так было положено начало этой семье. Он научил жену готовить шведские кушанья и вести хозяйство на шведский лад. Потом у них родился сын (он был убит в последней войне в Новой Гвинее) и дочь, которая вышла замуж за Берта, тоже поселившегося в этих местах. У молодой четы родились две девочки — Мэй, выглядевшая сейчас так, что годилась бы Занни в матери, и Занни, появившаяся на свет, когда родители уже и думать перестали, что семья их может увеличиться. Мэй вышла замуж за Пола, и малыши, которых я знаю уже давно, — их дети. Все они сохранили фамилию Свонберг; Берт и Пол после женитьбы тоже взяли себе эту фамилию. Неплохо, верно? Я бы и сам от такого не отказался.

Этот дом мне понравился сразу, как только я вошел. Со всех сторон большие светлые окна, отовсюду видно море. И все время снизу, от подножия утеса, слышится плеск волн.

Везде все начищено и надраено, как на корабле. Пол покрыт воском и натерт до блеска, столы и стулья выструганы из простого дерева. Капитан сказал, что вся деревянная утварь и мебель в доме взяты с парусника, потерпевшего однажды ночью крушение у рифов, и я понял, почему мне все здесь напоминает корабль.

Это был счастливый дом. Все говорили и смеялись наперебой.

Тоффи забралась на необъятные колени Капитана (уж и не знаю, как там хватило места еще для чего-то, кроме толстого живота) и тоже вступила в общий разговор. Замолкали они лишь тогда, когда говорил Капитан, а тот даже не говорил, а просто кричал, да так, что все остальные голоса становились неслышными. Я думаю, это просто привычка, сохранившаяся у него еще с тех времен, когда он служил на корабле и ему приходилось перекрикивать шум волн — ведь здесь никто его крика не боялся.

У Капитана парализованы ноги, но он никому не разрешает говорить об этом. По дому и саду он передвигается на специальном стуле с колесиками, который соорудил для него Джд.

Джд — личность загадочная. Он умеет делать абсолютно все, в том числе выращивать фруктовые деревья и мастерить стулья на колесиках. Но сегодня он так и не появился. Мы ели совершенно необыкновенное кушанье из омаров, потом был превосходный фруктовый салат со сливками более белыми, чем обычные, — должно быть, из козьего молока. Пили домашний имбирный лимонад и пиво. Только Капитан потягивал что-то из бутылки со шведской этикеткой.

Мне казалось, что я только-только пришел, но Берт наклонился ко мне и сказал:

— Тебе, сынок, пора идти.

Я встал, пожал руку Капитану, поблагодарил всех. И только выйдя за порог, вспомнил, что Занни так и не пришла. Быстро, насколько позволяла моя больная лодыжка, я перебрался через дамбу и тут увидел Занни — она бежала по берегу, ветер облепил ее тело платьем, и она была похожа на рельефное изображение охотницы. Я на минутку остановился и сказал: «Простите, я опаздываю», и она сказала: «Простите, я опаздываю». И я ушел, хотя мне очень хотелось остаться, но я не мог рисковать, потому что не хотел потерять возможность снова сюда вернуться.

Когда я поднялся на вершину дюны, джип уже пыхтел возле лагуны. Я присел за чахлым кустиком, чтобы Блю меня не заметил, и помахал Занни. Она стояла на самом высоком месте острова, ее белым платьем играл ветер. Я сошел вниз с другой стороны дюны, чувствуя, что внутри у меня вдруг стало горячо, словно я отхлебнул из бутылки Капитана.

Капитан и тетя Ева — самые замечательные люди, которых я когда-либо встречал. Это относится также и к Берту.

Старшая сестра Занни — Мэй — кажется какой-то нездешней, не от мира сего, она такая робкая, такая пугливая, что напоминает птицу, готовую в любой момент взлететь. Она почти не разговаривает, вечно занята работой, а когда все остальные отдыхают и развлекаются, она только улыбается, кивает головой, и ее большие глаза, чем-то похожие на глаза Занни, но более печальные, тоже улыбают-

ся. Но если она говорит совсем мало, то ее муж делает это за двоих. Пол — широкоплечий человек с очень темной кожей, на меня он поглядывает саркастически, склоняя голову на один бок, и говорит о белых такие гадости, что просто бесит меня, хотя кое в чем я не могу с ним не согласиться. У него страшный, мучительный кашель. Он говорит, будто это от сигарет, но Занни рассказала мне, что в Новой Гвинее его сильно контузило и теперь у него что-то неладно с легкими. Он помогает Берту и его двоюродному брату Джорджу из резервации аборигенов выбирать сети с рыбой, а потом Джордж отвозит эту рыбу в город для продажи. Насколько я понимаю, никто из жителей Уэйлера, кроме Занни и детей, никогда не ездит в город.

Капитан остался калекой еще с прошлой войны, после того, как он своей железной клюкой уложил двух парней, пристававших к Мэй. Потом, когда он как-то ночью, возвращаясь домой, переходил через дамбу, из засады выскочили с полдюжины парней, товарищей тех двоих, и избили его до полусмерти. Они повредили ему позвоночник, и с тех пор он не может двигаться. И вот после этого Уэйлер и побережье на двести ярдов по обе стороны дамбы стали территорией, на которую солдатам был вход воспрещен.

Я забыл еще упомянуть, что старый пастор Уоллабы, городка, растянувшегося примерно на милю вдоль берега Южной Уоллабы, — давний друг Капитана. У меня вошло в привычку забегать к нему на минутку, чтобы обеспечить себе алиби на время моих увольнений. Пастор — милый человек, но ужасно занудный, он часами может рассказывать эпизоды из истории этого района, выпуская клубы дыма из своей вонючей трубки. Меня же интересует только Уэйлер, только его история. В конце концов мне все же удалось вытянуть из него кое-что об этом местечке и о его людях.

— Да, славная семья эти Свонберги, — сказал пастор. — Мне пришлось готовить самых маленьких отпрысков к поступлению в бесплатную государственную школу, и так хотелось бы, чтоб хоть кто-нибудь из них пошел учиться дальше. Но тут существуют всякие трудности. Не все имеют настолько широкие взгляды, чтобы предоставить подлинным хозяевам этой страны возможность продвинуться.

Из-за этих слов он мне и понравился. Когда я приходил, он был доволен, но и не сожалел, когда я отправлял-

ся восвоюси. Мне думается, в компании с самим собой он чувствовал себя лучше всего. Ведь многие пожилые люди живут только своими интересами. Это, впрочем, не имеет отношения к тете Лилиан, которая остро нуждается в людях.

Он одолжил мне свой велосипед, и теперь я могу доехать до Уэйлера по дорожке вдоль берега за минимально короткое время. Одеваться для таких поездок мне ни к чему.

Все в Уэйлере принимают меня таким, каков я есть, и считают своим. Женщины не приносят извинений, если заняты хозяйством на кухне и руки у них в муке, мужчины не видят ничего предосудительного в том, что они с ног до головы вымазаны краской, когда ремонтируют лодку или красят помещение. Я обычно захожу в дом, выпиваю стаканчик-другой пива, которое варит тетя Ева (она очень быстро стала и мне тетей), съедаю несколько огромных кусков пирога (она мастерица готовить!), а потом спрашиваю, не могу ли чем-нибудь помочь. И, конечно же, для меня находится работа.

Но чаще всего — должен в этом сознаться — я просто плаваю в заливе с детьми или спускаюсь с ними по крутой дорожке с утеса к тому месту, где на скалах покоятся выброшенные на берег во время шторма останки погибшего корабля и где ловится самая лучшая рыба. Если Занни не на работе, она тоже идет с нами. Мы возвращаемся по тропинке, уступами сбегаящей со скалы, с богатым уловом. Вскоре дом уже полон запахом жареной рыбы, дети начинают бегать взад-вперед в ванную, готовясь ко сну, потом Капитана подвозят в коляске к его месту во главе большого стола и мы все усаживаемся за вечерний чай, и впервые в своей жизни я понял, почему люди перед едой произносят молитву.

Я уже сделал несколько открытий, Дорогой Д., и одно из самых важных вот какое: те стариканы, что с восторгом заливают о семейной жизни, абсолютно правы.

Раньше я считал, что за словами «Войди в семью — и ты завоеешь место под солнцем» скрыто какое-то мошенничество, а теперь понял, что семью иметь приятно и что именно ее-то мне и недоставало всю жизнь.

Я, конечно, отдаю себе отчет, что та семья, которую я сейчас описал, не поможет мне завоевать места под солнцем. Цвет кожи не тот. Уму непостижимо, как некоторые солдаты в лагере относятся к людям с иным, чем у них, цветом кожи. На другом конце городка находится резерва-

ция аборигенов, и они говорят о тамошних жителях, как будто это не люди, а дерьмо. У нас в столовой из-за этого разгорелся спор, чуть было не кончившийся потасовкой. Только Джим и Куртин открыто приняли мою сторону. А все началось с того, что наш сержант заявил, будто считает политику Гитлера по отношению к неграм правильной, и, будь его воля, он и сам бы расправлялся с ними так же, как сейчас расправляются в Южной Африке. Большинство наших парней считают, что все люди, независимо от цвета кожи, должны иметь равные права, но только трое — Джим, Куртин да я — открыто говорят об этом. Сержант заявил, что мы просто бунтовщики и красные, а Джим ответил, что это вовсе не довод...»

«Ты прав, Кристофер, это не довод. — Тэмпи отложила дневник в сторону. — Но вы были еще слишком молоды, чтобы понять: существует противодействие, которое сильнее любых, самых веских доводов».

Так, значит, это Занни — та самая чернокожая девушка, которую он любил. Шесть лет прошло с тех пор! Ей припомнилось так ясно, словно это было вчера, то отвращение, которое охватило ее, когда она слушала нотацию полковника, а Кристофер стоял рядом как человек, уличенный в преступлении. В какой-то миг ей показалось, что он готов ударить полковника, когда тот обозвал семью Занни племенем полукровок, вождем у которого старый пьяница-моряк. Остановил его лишь предостерегающий жест Роберта.

Оба они были потрясены переменой, происшедшей с их тихоней сыном. Они сошлись в одном (редкий случай, когда они в чем-то сходились): общение с этими ужасными людьми оказало пагубное влияние на него. Что за блажь такая, спрашивали они друг друга, вовлекла его в эту запутанную историю с полукровками?

— Потаскуха, — отозвался тогда о Занни полковник.

Снова с чувством глубокого омерзения вспомнила она, как полковник произнес это слово и как страстно защищал девушку Кристофер:

— Нет, она не такая. Пойдите и познакомьтесь с ней. Судить будете потом. Пойдите и познакомьтесь со всеми, вы все. Вы ведь ровным счетом ничего о них не знаете. Вы никогда их не видели. Вы никогда не были в Уэйлере

— Достаточно того, что я о них слышал! — закричал полковник. — Нечего мне туда ходить. Я знаю, какая слава идет о них и в лагере и в городе. Нам пришлось даже перенести границу лагеря ради того, чтобы уберечь от них наших молодых солдат.

— Это ложь! — крикнул Кристофер. — Это ложь, и вы знаете, что это ложь. Уэйлер был вынесен за пределы лагеря потому, что солдаты пытались изнасиловать дочь Капитана. Или человек не имеет права защитить свою дочь?

— Не будь смешным, Кристофер, — припомнились Тэмпи ее собственные слова, — полковник лучше тебя знает историю этого лагеря.

— Да, но он не знает лучше меня обитателей Уэйлера. И каждое его слово об этих людях — ложь.

В тот момент она была удивлена да и по сей день не перестает удивляться тому упорству, с каким он защищал их. По телу у нее побежали мурашки при мысли, что ее сын втянут в отвратительную историю с этими грязными, развращенными существами; она мельком видела таких в Уоллабе, когда ехала с Китом в лагерь. Эти существа в каком-то тряпье шлепали босиком по пыльной дороге, их черные глаза затравленно смотрели сквозь спутанные, нечесанные волосы. Что же могло привлечь к ним молодого человека, имевшего возможность выбирать из сотни милых, хорошо воспитанных девушек?

Случись все это теперь, думала Тэмпи, она вела бы себя по-иному. Она, конечно, была бы против его женитьбы, но все же попыталась бы понять его. Или это не так?

«Будь честной сама с собой, — сказала она, — не говоришь ли ты сейчас так потому, что твой сын уже в безопасности — он мертв?»

Она лежала, вспоминая то ужасное время, и старалась угадать, как повели бы себя в подобной ситуации большинство людей. Военная служба в Египте и весьма поверхностное знакомство с аборигенами в Дарвине выработали у Роберта ненависть к цветным. Он слышать о них не мог. «Это не люди» — так Роберт определял цветных. В лучшем случае он считал их своенравными детьми, в худшем — потенциальными ворами и убийцами.

Шесть лет назад она очень легкомысленно отреагировала на то, что произошло с Кристофером. И если теперь она стала более рассудительной, то лишь потому, что в последние годы встречала среди азиатов и африканцев вполне цивилизованных людей, получивших даже университетское

образование. Ее закоренелые предубеждения были поколеблены. Что чувствовала бы она теперь, если бы Кристофер решил жениться на одной из их женщин? Этого она не могла себе представить. Хотя она убивалась о нем и винила себя за то, что не воспрепятствовала его отправке в Малайю, ей, в сущности, никогда не приходил в голову вопрос, правильной ли была ее реакция на его угрозу жениться на аборигенке. Она никогда не задумывалась о том, какова же эта чернокожая девушка, раз уж Кристофер — слишком чувствительный, слишком критически настроенный юноша — полюбил ее настолько, что даже решил жениться. Ведь он был готов пожертвовать всем, был готов навлечь на себя гнев отца и матери, подвергнуться наказанию со стороны армейского начальства и в конце концов даже изгнанию из своей среды, потому что никогда не смог бы ввести аборигенку в среду, где он жил всегда и где ему предстояло жить дальше. Тогда она просто возненавидела эту незнакомую девушку — ведь она сбила с пути истинного ее сына, околдовала его какими-то темными чарами, известными лишь первобытным людям. Она оплакивала его глупость, и его упрямство, и его смерть, но лишь теперь ей стало ясно, что плачет она еще и потому, что не сумела его понять.

«...Дорогой Дневник, я вдруг вспомнил, что не писал уже целую вечность. Стоит середина мая, южный ветер свищет по побережью, в воздухе чувствуется приближение грозы, разразившейся где-то по ту сторону Хогсбэка. А я живу сразу двумя жизнями. В одной из них я — любимчик полковника и баловень врача: у обоих дрожат поджилки, что мой рапорт может при поддержке отчима навлечь на их головы большие беды. Откуда им знать, что отчим ратует за справедливость лишь в тех случаях, когда это приносит шумную рекламу его газете? А какую рекламу я могу принести?»

Ясно, что до бесконечности так продолжаться не может. Прошло уже шесть недель, и теперь даже я не смею больше притворяться хромым. Когда кто-то предложил перевести меня в другой лагерь, где мне было бы предоставлено термо-какое-то лечение и все, что моей душе угодно, я выздоровел сразу, за одну ночь. Впервые в жизни я обнаружил, что существует на свете место, где мне хотелось бы быть все время. Сам удивляюсь, на какие хитрости я способен, чтобы добиться своего. До сих пор я просто сидел и ждал у моря погоды (еще одно меткое замечание Блю), и если бы подо мною разожгли костер, то и тогда я вряд ли сдвинулся бы с места.

Теперь я решил наравне со всеми заниматься строевой подготовкой и учениями, но лодыжка моя пока еще не вполне окрепла для дальних маршей или действий, которые входят в задачу диверсионно-десантных отрядов. Но даже если бы она и окрепла, я все равно не стал бы этим заниматься. Я медленно, но верно обрабатывал нашего врача, внушая ему, что при длительной ходьбе суставы в том месте, где вонзились зубы Кибера, начинают нестерпимо болеть. Этого оказывалось достаточно, чтобы ввести полковника в дрожь, а врача заставить нервничать.

Итак, я занялся повседневными делами. У меня оставались свободными вечера, и я мог ходить куда угодно в течение всей недели. По воскресеньям я выкраивал и дневные часы, за исключением тех случаев, когда была моя очередь идти в наряд или проводились какие-нибудь общие мероприятия в лагере.

Я перестал бывать на берегу, так как врач заявил, что при моем состоянии здоровья ветер с моря может оказаться слишком холодным для меня и уж совсем неразумно плавать в такое время года. Черт бы его побрал! И вот теперь вся моя умственная энергия направлена на решение одного вопроса — каким образом и когда я смогу попасть в Уэйлер.

Да, Уэйлер — действительно необыкновенное место. Там тебя не покидает ощущение, что все они любят друг друга и все нужны друг другу, и даже я чувствую, что нужен им. Впервые в жизни, мне кажется, я начал ощущать свое «я», и все остатки, обрезки моей личности словно вдруг собрались воедино, сплелись в один узел. Так что я уже не разбросан больше по разным местам и не полощусь на ветру, подобно парусу. Никто и никогда не сможет у меня отнять это мое «я»!

Похоже, полковник заискивает передо мной. Видимо, он встретился с отцом на очередной попойке в клубе ветеранов, потому что недавно вдруг спросил, не желаю ли я пойти в офицерскую школу. Я отказался. Разумеется, я не стал говорить, что единственное место, куда мне хочется пойти, — это Уэйлер. И, Д. Д., веришь — нет ли, но я бываю там довольно часто.

А получилось все вот как.

Старый Капитан просто одержим астрономией. Он почти не расстается с огромной подзорной трубой, наблюдая за

движением звезд, и у него на этот счет масса интересных теорий. Я тоже, благодаря Уитерсу, смог наконец показать свои умственные способности. Занни тщательно вычерчивает для него звездные карты, на которые наносится движение планет, начиная с Луны и до самых дальних, какие только он может разглядеть в свою трубу. Однажды вечером за чаем, когда я был там, Капитан с Джедом заспорили о световом годе. Оба они запутались в расчетах, и тогда я воспользовался случаем, чтобы показать себя (до этого просто не было подходящего повода), — скорректировал их вычисления. Все чуть с ума не сошли, увидев, как я справляюсь с расчетами, в которых увяз даже сам Капитан. И вот теперь старик время от времени приглашает меня полюбоваться вместе с ним звездами.

А это значит, что все свое свободное время я провожу в Уэйлере. Я настолько наловчился в этих делах, что сам себе удивляюсь. Я и впредь собираюсь делать то же, несмотря на угрозы Джеда.

А тут произошла странная история, Д. Д. Это случилось вчера вечером, когда я пробирался в Уэйлер. Луна только еще всходила и была похожа на огромное желтое яйцо. Я спешил перебраться через дамбу, потому что начинался прилив и волны уже захлестывали ее.

Вдруг из темноты возникла какая-то фигура. Мне вспомнился Капитан с его железной клюкой, но это был Джед, и я поинтересовался, чего он хочет. Джед меня немного нервирует.

— Добрый вечер, Крис, — сказал он. — Мне захотелось подождать тебя здесь и немного проводить.

Я почувствовал у себя на локте его здоровую руку — она сжала его, словно клещи.

— Минуточку, — продолжал он, — я хочу с тобой поговорить.

Он вытолкнул из пачки сигарету и предложил мне. Мы закурили. Я почувствовал, как у меня засосало под ложечкой, так мне не терпелось узнать, что же все-таки произошло.

— Послушай, Крис. — Голос Джеда колотил подобно штыку, пронзающему учебный манекен. — Это семья порядочная.

— Знаю, и что из того?

— Может, и знаешь. Но они обычно не принимают чужих так, как приняли тебя. Ты завоевал их симпатии тем, что спас Викинга, и тем, что умеешь вычислять расстояния

до звезд. Для меня же это еще недостаточно убедительные гарантии твоих достоинств.

Я почувствовал, как по мне побежали мурашки, потому что я-то сам не слишком высокого мнения о своих достоинствах.

— Я хотел сказать тебе только одно. Если ты обидишь кого-нибудь в Уэйлере, я убью тебя. И не думай, что я шучу.

Меня как обухом по голове огрели. Но потом я вдруг дико разозлился. Я отскочил от него, голос у меня задрожал.

— Это почему же, черт возьми, ты считаешь, что я собираюсь обидеть кого-нибудь в Уэйлере?

— Может, пока ты и не собираешься. Но все равно — ты пришел из другого мира.

— Я ненавижу мой мир.

— Может, пока ты и не собираешься. Но все равно справки. Ты, оказывается, птица высокого полета, не правда ли?

— Знаешь, что я скажу тебе, Джек,— начал было я, впервые почувствовав, как мне хочется вмазать кому-нибудь, но не хватает сил — вся моя прыть куда-то исчезла. Я хотел возмутиться, но почувствовал себя очень несчастным при мысли, что могу потерять единственное действительно дорогое мне в жизни.

— Клянусь... — снова начал я.

— Не нужно мне твоих клятв. Люди всегда клянутся, и в тот момент они действительно верят в правдивость своих слов, но потом большинство нарушает клятвы. Я говорю тебе только одно: будь осторожен. Если ты обидишь Занни...

Он замолчал, но слова его еще долго звучали у меня в ушах, я слышал их снова и снова, как будто они повторялись в записи на магнитофонной пленке: «Если ты обидишь Занни...» И тогда я уже всерьез разозлился.

— Я не обижу Занни... ни за что на свете.

— Может быть,— сказал он, и голос его опять вонзился в меня.— Не делай этого. Вот и все.

Я побрел за ним по тропинке, мы перешли через плато. Я чуть не разрыдался, когда увидел этот старый большой белый дом, казавшийся при свете луны еще больше, это море, похожее на фольгу, вдохнул этот воздух, наполненный шумом волн. Чертовски глупо, думал я, идти в этом огромном пустом мире вслед за человеком, который только что

пригрозил убить тебя и действительно мог бы это сделать. Я подумал, уж не повернуть ли мне назад, но потом, когда мы подошли ближе к дому и навстречу нам выбежали Викинг и дети, и Занни крикнула: «Привет!», и тетя Ева, поймав меня у двери, чмокнула в щеку, меня обуяло безрассудство, и я понял, что останусь здесь, даже если мне придется за это погибнуть.

Когда я прихожу сюда, меня охватывает такое чувство, словно я блудный сын, который возвратился домой. Никогда я не испытывал ничего подобного. Со мной все очень мило. За исключением Джеда. Возможно, это прозвучит несколько банально, если я скажу, что уважаю Джеда, хотя и не люблю его. Мне бы не хотелось уважать его, но это выше моих сил. Все в доме только и твердят: «Джед сделал то... Джед сделал это... Джед сказал так... Джед думает иначе» и тому подобное. И все же человеческой природе не свойственно любить того, кто не сводит с тебя глаз, словно сторожевой пес, опасаящийся, что ты можешь унести флагшток. Джед высокий, тощий — кожа да кости — парень. Профиль у него — как на медальоне, а половина лица страшно изуродована. Занни рассказала, что два или три года назад он сильно обгорел при взрыве на сталелитейном заводе в Ньюкасле, где работал над инженерным дипломом или над чем-то вроде этого. Теперь он уже не может заниматься такой работой.

Он приходится родственником Хоуп, которая иногда бывает в Уэйлере, по воскресеньям. Оба они — в высшей степени образованные люди. Она ослепительна — стоит ей появиться, и весь дом загорается. Она не такая робкая, как Мэй или Занни. Знакомая со мной, она осмотрела меня очень тщательно с головы до пят, оценивая дюйм за дюймом, и, если бы, не дай бог, какой-нибудь дюйм не соответствовал ее спецификации, ух, как меня бы погнала отсюда! Это женщина холодной красоты, она как бы окружена невидимым барьером, и вид у нее неприступный. В ней есть что-то надменное, и мне очень нравится, когда она, запрокинув голову, вдруг начинает смеяться, и тогда видны все ее зубы, настолько идеальные, что вполне бы подошли для рекламы зубной пасты.

Она всегда полна новостей. От нее я узнал многое, о чем мне не приходилось слышать в Уэйлере. Хоуп рассказала, например, что Занни завоевала право учиться в средней школе, и ей была даже определена стипендия. Но воспользоваться этим правом она не смогла, так как жители сосед-

него городка устроили страшный скандал, узнав, что она будет жить в общежитии.

Черт бы побрал все наши бредни о превосходстве белых! Так ведь можно и до крайности дойти. Кто мы такие, чтобы заявлять, будто Занни и Ларри недостойны сидеть рядом с прыщавыми белыми клушами и гусаками?

Выражение лица у Джеда никогда не бывает особенно приятным, но, лишь разговор зашел об этом, оно совсем перекошилось от злости. Тетя Ева обняла его и сказала:

— Ну, успокойся, успокойся, милый. Ведь все идет к лучшему. Если Ларри постарается трудиться как следует и добьется стипендии, он обязательно будет учиться в средней школе. Вот увидишь.

Неожиданно для себя самого я ввязался в разговор и закричал, удивив всех:

— Наверняка будет! Даже если для этого мне самому придется поехать и лечь костями на пороге у директора.

Все захлопали в ладоши. Все, кроме Джеда. Он перевел взгляд с меня на Капитана и сказал:

— Я присоединюсь к аплодисментам в тот день, когда мы все спустимся отсюда и ляжем костями на пороге у директора. Мы ничего не добьемся, пока не начнем бороться.

Тетя Ева принялась его успокаивать, Мэй испугалась, а Капитан загремел:

— Сколько раз я должен говорить тебе, Джед, что не потерплю подобных подстрекательств в моем доме? Мои внуки получают то, к чему стремятся, и без твоих идей.

— Да, конечно, а Занни тем временем будет работать санитаркой, а не медсестрой. Не потому ли, что она аборигенка?

Тетя Ева снова попыталась его успокоить, а Капитан заорал:

— Я и не желаю, чтобы моя внучка работала медсестрой и ухаживала за белыми!

Я чувствовал, что Занни вот-вот заплачет. Ее отец тихо сказал:

— Знаешь, Джед, возьми-ка лучше гитару и давай что-нибудь споем

Джед начал играть, а играет он как волшебник. Пол подыгрывал ему на губной гармошке, а малыши — на листь-

ях эвкалипта. Все запели. Капитан тоже пел — шведские народные песни. Наконец я ушел домой, и в ушах у меня еще долго звучала музыка.

Странно, мне всегда казалось, будто черные чувствуют себя униженно из-за своего цвета кожи, но потом понял, что это не так. Очевидно, Капитан внушил им, что они должны гордиться своим цветом кожи. И они гордятся. Вот как Пол выразил свое недовольство «политикой ассимиляции», проводимой правительством (он вообще любил поворчать, только не в присутствии Капитана, конечно):

— Кому захочется быть ассимилированным? Вот я — черный, и мне нравится цвет моей кожи. Единственное, чего я хочу, — это чтобы мои дети имели равные права с детьми любого грязного белого пьянчуги.

Итак, Д. Д., спешу рассказать тебе о самом замечательном в моей жизни уик-энде. Капитан пригласил меня наблюдать затмение Луны.

Я послал телеграмму В. У. с просьбой, если возможно, прислать мне подробную карту Луны, составленную на основании последних снимков (карта, которой пользовался Капитан, давно устарела и вся в пятнах), и мой добрый старый В. У., как всегда, надежный человек во всем, тут же выслал мне карту и новую книгу о Луне. И вот, начищенный и наглаженный, я отправился в Уэйлер, объяснив в лагере, что собираюсь провести уик-энд с пастором. Конечно, на меня посыпался град вопросов, уж не прячет ли этот пастор где-нибудь в шкафу свою внучку.

Когда я пришел в Уэйлер, то из-за этой карты Луны поднялся такой шум, будто я принес не карту, а саму Луну, а когда я вручил тете Еве самую большую коробку шоколадных конфет, какую только смог купить, все захохали, заахали, начали смеяться и благодарить меня, и мне показалось, что я стал в два раза больше своей натуральной величины.

Никогда в жизни не было у меня такого вечера и никогда не будет, потому что не может быть снова *впервые*. Мы сидели на веранде, в темноте, все, вплоть до самых маленьких, и смотрели на Луну в подзорную трубу, а Капитан громогласно рассказывал нам, что происходит во время затмения. Странно, что за все годы моего дорогостоящего

обучения никто так не рассказывал о затмениях. Джед с указкой в руке освещал карту Луны карманным фонариком, и это был единственный источник света на веранде. Когда тень Земли начала закрывать Луну, Капитан, не отрывая глаз от подзорной трубы, объявлял названия частей Луны, которых касалась эта тень.

Я никогда не думал, что там существуют такие красивые названия: *Mare Foecunditatis*, *Mare Nectaris*... Они становились яснее, определеннее, когда Джед резким голосом переводил их: Море Плодородия, Море Нектара, Море Облаков. Эти названия старинные, объяснил Капитан. Теперь уже хорошо известно, что это не моря, а равнины. Потом он рассказывал о горах и кратерах. Мне было приятно узнать, что один из кратеров назван по имени моего старого друга Коперника.

Становилось все темнее. Викинг улегся, положив голову на лапы, и затих; Тоффи и Питер, свернувшись калачиком, спали. Когда тень закрыла Океан Бурь, Джед произнес это название так резко, что я невольно вздрогнул и пришел в себя. Луч фонарика скользнул по волосам Занни. Наконец вся Луна стала темной, и Джед выключил фонарик. Странные, медного цвета лучи исходили от краев черного диска; все затаили дыхание. Я понял тех людей, которые бьют в гонг и барабаны, стараясь отпугнуть страшного дракона, пожирающего Луну.

А потом Мэй и тетя Ева унесли малышей. Джед настроил гитару, и, когда наконец на черной Луне появился проблеск света, все закричали «ура!», Викинг начал лаять, и можно было подумать, будто мы избежали смертного приговора. Свет Луны возвращался медленно, он падал на Занни, на ее белое платье, и она сама была как Луна — светлая и темная.

На следующее утро Берт потащил меня на берег выбирать верши с омарами. Когда он разбудил меня, было совсем темно. Еще полусонный, я пошел на кухню и принялся за огромную чашку кофе с молоком. Тетя Ева, как на крыльях, порхала вокруг нас. Я еще только-только управился с половиной овсянки и половиной яичницы с беконом, а Берт и Пол были уже готовы. Они захватили для меня в лодку огромный кусок поджаренного хлеба с маслом и медом.

Берт и Пол вывели лодку без единого звука, только мотор чуть слышно урчал да кричали чайки. Понемногу светало, поднялся ветер, проникавший через свитер и

куртку. Горизонт с каждой минутой разгорался все ярче, освещая море, такое гладкое и желтое, будто оно было из масла. Я обернулся и как зачарованный смотрел на Уэйлер, который становился все светлее и светлее, пока солнце наконец не залило весь старый белый дом и он вспыхнул, как маяк. И тут вдруг я понял, что этот дом теперь и мой дом.

Не знаю, о чем думали Берт и Пол,— их черные глаза на черных лицах напряженно следили за поплатками. В сущности, и я должен был заниматься тем же.

А я думал о том, что ловить рыбу — должно быть, прекрасная профессия: ведь так можно зарабатывать на жизнь, используя только мускулы, а ум занять математическими вычислениями. Я всю работу выполнял мускулами и — хотя ни за что не признался бы в этом — ужасно обрадовался, когда Берт заявил, что мы должны возвращаться домой, так как надвигается шторм.

Днем я заснул, а когда проснулся, шторм уже бушевал всюду. Ветер ревел вокруг дома, волны грохотали, разбиваясь о скалы, струи дождя хлестали окна. На ночь меня поместили в маленькой, не больше каюты корабля комнате, выходящей на юг, и мне все время казалось, будто я в море. Один раз я даже проснулся — мне почудилось, что дом качается на волнах.

Когда мы встали на следующий день, дождь все еще лил. Завтракали все, усевшись вокруг большого кухонного стола. На стенах сияли медные кастрюли, каша была разложена в большие суповые тарелки с бело-голубым узором, котлеты на вернейке были ровесницами дома, а в большой черной плите, согревая всю кухню, горел огонь.

И суббота и воскресенье оказались дождливыми, это было довольно странно — ведь сезон муссонных дождей уже закончился.

Мы с Ларри, надев зюйдвестки и непромокаемые накидки, вышли во двор, принесли по охапке дров — становилось холодно из-за южного ветра — и развели громадное пламя в камине в комнате Капитана. А потом мы с Бертом и Полом пошли к морю и оттащили лодку подальше на песок, потому что, хотя она и находилась в укрытии, волны захлестывали уже половину берега и все кружилось в летящих брызгах и водовороте. Потом помогли Джеду углубить канавку для спуска воды с площадки, где росли ананасы. Настало время обеда, и мы вернулись в дом совершенно промокшие. Я был голоден и счастлив, как никогда в жизни.

Покончив с великолепной едой, мы с Занни по просьбе Капитана, уселись по обеим сторонам от него — Занни стала снова вычерчивать карту звездного неба, а я занялся расчетами.

Эти два дня пронеслись быстрее кометы, и в то же время они показались мне бесконечно долгими, как световые годы. Наконец я отправился домой. Джед шел между мной и Занни до самой дамбы. На мгновение мне захотелось, чтобы здесь не было Занни и чтобы я мог спросить его, откуда у него в голове появилась эта идиотская мысль, что я могу хоть как-то обидеть кого-нибудь из обитателей Уэйлера.

Да, Дорогой Д., я забросил тебя, дружище, и только потому, что уже дошел до края пропасти. Местный констебль собирается доложить полковнику о моих визитах в Уэйлер. Об этом сказал мне вчера вечером пастор — его друг просил предупредить меня. В мыслях моих сейчас полнейший хаос. Даже не знаю, что меня больше всего волнует: страх ли потерять единственное место, где я действительно чувствовал себя самим собой, опасения ли за Свонбергов или же просто-напросто тревога за свое будущее.

Ну, пока все, Д. Д. Я словно туго натянутая проволока, а это вовсе не располагает к писанине.

Итак, Д. Д., прошла неделя, и бомба взорвалась.

Видя, как вокруг меня вьется начальство вместе с двумя военными полицейскими, можно подумать, что ожидается военный трибунал. Блю считает, что меня не могут отдать под трибунал только за то, что я находился вне границ лагеря. Ведь тогда надо начинать с самого полковника, потом перейти к капитану, лейтенанту и осудить две трети всего гарнизона — пивная, которую посещают наши ребята во время увольнений, тоже находится за пределами лагеря, к тому же это открытый притон, где сводят знакомство с проститутками. Но на это наш старшина почему-то смотрит сквозь пальцы.

Сидней. Прошло еще три дня, и оказалось, что все это хуже трибунала. Только из уважения к моему отцу и матери, заявил полковник (старый лгун, он уважает только свою собственную шкуру!), он будет лично расследовать

мое дело и постарается обойтись без формальностей. Впервые после одиннадцатилетнего перерыва, то есть со времени возвращения отца домой после войны, я увидел своих родителей вместе. Они сидели, уставившись друг на друга, и один обвинял другого. На лице отца было написано: «Конечно, что и говорить, он весь в тебя!» А мать всем своим видом выражала одну мысль: «Полюбуйся, к чему привело твое воспитание!» Оба они были вне себя от ярости, ибо все содеянное или не содеянное мною так или иначе бросает тень на их репутацию. Никто не любит сыновей-преступников, даже если преступление их состоит только в том, что они отлучились за пределы лагеря. Но, конечно, они переполошились не из-за этого. Все стало ясно, когда полковник в конце концов обвинил меня в непристойных отношениях «с аборигенкой-служанкой из Уэйлера». Тут уж я взорвался. Я бросился бы на него и сбил его с ног, не схвати меня в этот момент отец. Никак не могу понять, неужели нельзя с пожилым человеком подражаться только потому, что сам ты еще молод. Видимо, пожилые защищены своим авторитетом куда надежнее, чем молодые своими бицепсами. Меня всего трясло, я ругался последними словами — разумеется, только про себя.

Когда же полковник сказал: «Боюсь, это одна из городских проституток», — мой голос, который я и сам узнал с трудом, произнес: «Вот и тут вы совершенно не правы, сэр. Сюзанна Свонберг — моя невеста».

Можно себе представить, как они были ошеломлены, но и я был ошеломлен не меньше. Однако я вдруг почувствовал, как гора свалилась у меня с плеч, и был невероятно счастлив, будто наконец справился с решением очень трудной математической задачи. Я знал, что сказал все это не в пылу гнева — нет, в тот момент я осознал, что не смогу жить без Занни.

Все сразу кинулись отговаривать меня. Глаза их были суровы, я понимал, что они объединились против меня вовсе не потому, что их волнует мое будущее, а потому, что они боятся за свои репутации.

Самым ужасным для меня было открытие, что их ни в малейшей степени не интересует, живу ли я с Занни или нет. Их вывело из себя само слово «невеста».

Кажется, именно в тот момент я перестал думать о них как о своих родителях. Теперь я видел в них лишь представителей той скандальной, безнравственной, лицемерной толпы, которая не знает правды и боится ее узнать.

Вся кровь во мне вскипела, когда я услышал, как мать воскликнула:

— О, какой ужас!

А отец проворчал:

— Никогда не мог бы подумать, что мой сын докатится до этого.

— Какая-то полукровка! — крикнула мать, и до сих пор в ушах моих звучит ее голос, пронзительный, как у попугая, до сих пор я вижу, как брезгливо сморщился ее нос, словно она учуяла вонь.

— Они берут себе в наследство самое плохое от обеих рас, — сказал отец. — Я достаточно насмотрелся этой дрянью в Дарвине.

Видя, как они оба разрываются между гневом и отчаянием, я решил покончить с этой комедией и молчать. Я знал, что любое мое замечание только ухудшит дело, и думал лишь о том, как уберечь Занни от этих грязных языков, пока они не принялись чернить ее чистую, как родник, душу.

Дорогой Дневник! Ты даже не представляешь себе, что произошло за последние пять дней.

Полковник посадил меня под домашний арест, но отец поручился за меня. Я дал им честное слово, но, само собой, не собирался его сдерживать. В тот вечер, когда отец отправился на обед в клуб ветеранов, я позвонил матери и стал умолять ее так, как никогда в жизни никого не умолял, чтобы она поехала и повидалась с Занни. Она завопила:

— Я умываю руки. Если ты не переменишься, отец отправит тебя в Малайю. И тогда, в первый раз за всю свою жизнь, я буду на его стороне.

В конце концов я с отвращением бросил трубку.

Не в силах заснуть, я открыл одну из своих книг по математике, но сосредоточиться никак не мог. Когда отец вернулся домой, я пошел к нему и стал просить его поехать и встретиться с Занни и со всеми обитателями Уэйлера, но он в ответ только сказал:

— Я не хочу говорить об этом, сын. Это слишком мерзко.

Я чуть было не бросился на него, когда он добавил:

— Бесчестно совращать девушку, даже если она черная.

Я ушел к себе, решив, что только такие твердолобые люди могут быть такими грязными.

Я лежал и думал о Занни, пытаюсь найти какой-то выход. И я нашел его.

Я сделал это на следующее утро, как только отец ушел на службу, заставив меня повторить данное ранее обещание сидеть дома (наверно, он просто считал меня непослушным ребенком, а не восемнадцатилетним солдатом, обученным убивать и умереть за свое Отечество). Я взял деньги из ящика его письменного стола и незаметно выскользнул за дверь, пока экономка предавалась послеобеденному отдыху. Я надел старую школьную форму, а поверх нее габардиновый плащ, сунул кое-что из своих гражданских вещей в чемодан, а военную форму аккуратно сложил на кровати — специально, чтобы позлить отца.

Был ненастный зимний день, с юга то и дело налетал шквал дождя с градом, хлеставший меня по лицу крупинками льда. Я забрался в уголок вагона второго класса и погрузился в мечты.

В Уоллабу я приехал уже после полуночи. Дежурный контролер взял мой билет, даже не взглянув на меня, и направил луч карманного фонаря вдоль платформы, а я зашагал по дороге к дому пастора, где в кабинете еще горел свет. Я постучал, он открыл дверь, строго посмотрел на меня, пригласил войти в дом, налил стакан горячего молока, дал рюмку виски, а когда я начал рассказывать ему обо всем, прервал меня, сказав:

— Сейчас ложись спать, мой мальчик. Мы обо всем поговорим утром.

Я улегся спать под огромным пуховым стеганым одеялом, и мне приснился странный сон: множество звезд, которые складывались в цифры, я пытался сосчитать их и просыпался весь в поту, совершенно измученный. Видимо, этому способствовало сочетание виски и пухового одеяла. Штора была спущена, и я очень удивился, когда пастор открыл дверь, принес мне чашку крепкого чая и сказал, что уже девять часов.

Холодный душ (тут уж выбора не было!) окончательно разбудил меня. За завтраком я все ему рассказал. Пастор пристально смотрел на меня и время от времени тихонько ворчал. Мне посчастливилось, что в тот день Занни работала только полдня. Он позвонил ей и попросил по дороге домой зайти к нему, потому что мне нельзя было показываться на улице.

Когда раздался стук ржавого дверного молотка, сердце мое запрыгало так, словно хотело выскочить из груди. Она вошла и сказала:

— Привет, Кристофер.

И, услышав ее воркующий голосок, я чуть не расплакался. А она просто стояла и смотрела на меня, в своем белом дождевике, застегнутом на все пуговицы, в капюшоне, скрывавшем ее волосы, и теперь я уже знал наверняка: то, что я сказал родителям, было сказано всерьез.

Мы сели за стол, заваленный книгами и газетами, — на нем едва нашлось место для моих локтей. Занни сидела с краю, против окна, и я не мог видеть выражения ее лица. Пастор сел посредине, как судья. И хотя я думал, будто разговариваю с ними двоими, на самом деле я говорил только с Занни и проклинал себя за то, что из моей головы выскочили все умные слова, которыми изъясняются в книгах.

Она положила подбородок на сложенные руки, лицо ее еще больше заострилось, а глаза на темном лице казались еще темнее. Все время дождь бросал в окно пригоршни дробинки, а когда он перестал, ветер принялся стучать голыми веткой по раме, словно отбивая азбуку Морзе.

У меня было впечатление, что и сам я объясняюсь с помощью азбуки Морзе — из моих слов невозможно было понять, что происходило у меня внутри, как холодело у меня под ложечкой, как быстро стучало сердце, и мой голос отдавался у меня в ушах, словно кто-то бил по куску жести.

Занни ни разу не пошевелилась, в комнате становилось все темнее, и я с таким же успехом мог бы беседовать с тенью. Я слышал, как она судорожно глотнула воздуха, как будто у нее вдруг кольнуло в боку, когда я пробормотал, что уже объявил всем, что она моя невеста. После этого я не мог продолжать, горло мое свела судорога, сердце переполнилось от чувств, мне хотелось кричать: «Я говорю это серьезно, это серьезно, Занни!»

Но кричать в присутствии пастора я не мог. Он сидел, покусывая свою старенькую трубку, кивал головой, а иногда переводил свой пронизательный взгляд с меня на Занни и с Занни на меня. Когда я закончил свой рассказ, мы все долго сидели молча.

Я уже давно вырос из своей старой формы. Она была мне не только слишком узка, но и слишком коротка, руки выпирали из рукавов, талия полезла под мышки. Вероятно, я выглядел в этом наряде посмешищем и был рад, что не

вижу глаз Занни. Я, наверно, прочел бы в них жалость, а жалости я не хотел.

Наконец, когда я почувствовал, что больше не смогу переносить это молчание, пастор вынул изо рта трубку, которая всегда была у него в зубах и уже порядком поизносилась, и спросил:

— Ну и что же ты теперь собираешься делать?

— Жениться на Занни,—отозвался голос чреовещателя.

Пастор повернулся ко мне, пронзив меня взглядом. Я съежился и стал похож на стрекозу, которую однажды, еще в детстве, наколол на булавку, только теперь насекомым на булавке был я сам.

— Вы оба еще слишком молоды,—сказал он наконец,— к тому же я уверен, что ни твоя мать, ни твой отец не дадут на это своего согласия. Я думаю, что и Капитан вряд ли разрешит Занни выйти за тебя замуж, даже если она этого очень хочет. А ты, Занни, хочешь выйти за него?

— Да,—громко сказала она, и ее сильный, красивый голос эхом отозвался по всей комнате, зазвенел, ударившись о стекла окна и пронесся в воздухе, как шаровая молния. Сердце вырвалось у меня из груди, взлетело, словно ракета, и только спустя некоторое время снова забилося ровно.

— Я не могу этого сделать,—сказал пастор.

Я видел, как исчезает единственная возможность в моей жизни, и вдруг мне в голову пришла отчаянная мысль. Я могу только поблагодарить своего отца за идею, внушенную мне, ибо сам я никогда бы до этого не додумался.

— Но вам придется это сделать, сэр. Занни беременна.

Пастор так сильно прикусил свою трубку, что стало слышно, как зубы его стукнули о мундштук. Он посмотрел на Занни и спросил суровым голосом:

— Это правда, Занни?

— Да,—ответила она, на этот раз почти шепотом.

Я возненавидел самого себя за то, что покрыв ее таким позором — хоть я и солгал,—ведь она всегда была чиста, как брызги морской воды.

Пастор глубоко вздохнул и медленно произнес:

— Ну, в таком случае ничего другого, кажется, не остается. И видимо, будет лучше, если мы сделаем все раньше, чем Занни расскажет об этом дедушке, иначе это его убьет.

Итак, мы обвенчались в этой маленькой комнате, в окно стучала сухая ветка дерева, на Занни был белый халат, в котором она ходит на работу, а на мне школьная форма, слишком узкая и слишком короткая. У меня не было кольца. Пастор подошел к своему столу и достал старое массивное кольцо с печаткой. Он сказал, что когда-то в молодости носил его на мизинце, но со временем палец растолстел, а на руке Занни оно будет выглядеть неплохо.

Мы поставили свои подписи в книге регистрации браков.

— Ну а теперь, молодожены, что же вы собираетесь делать? — спросил пастор.

— У меня еще шесть дней, пока за мной не пришлют солдат, и я хочу провести их с Занни.

— Но где? — спросил пастор. — Не думаю, что в Уэйлере к тебе сейчас отнесутся с большой симпатией. Подождите, пока я хоть как-то все улажу. А на северном побережье нет приличной гостиницы, куда вы оба могли бы поехать.

— Вспомнила! — воскликнула Занни. — У Джеда есть хижина на Богга-бич, самом безлюдном месте побережья. Он скрывается там, когда все мы надоедаем ему до смерти. Я знаю, где он прячет ключ.

— А у тебя есть права? Я имею в виду водительские права, — спросил меня пастор.

— Есть, — ответил я, решив, что еще одна невинная ложь — прав у меня с собой не было — это ничего.

— Тогда можете взять мой старый форд.

И вот мы уже едем в темноте по дороге, густо заросшей с обеих сторон кустарником, море глухо шумит, ударяясь о берег, перекрывая гудение мотора этой, должно быть, самой старой на свете машины. Но шла эта машина хорошо, мы подпрыгивали на камнях, тряслись на бревенчатых переездах, с трудом перебирались через разлившиеся речушки. Я целиком сосредоточил свое внимание на дороге — мне приходилось то и дело объезжать кенгуру, которые сидели, сверкая своими красными глазами в свете фар, и еле-еле справлялся с переключением скоростей (в жизни не ездил с подобным сцеплением!) — и ни минуты не имел свободной головы думать о том экстраординарном факте, что я еду справлять медовый месяц, что рядом сидит моя жена, которую считают беременной, но которую я еще ни разу даже не поцеловал.

По-настоящему это начало меня волновать уже после того, как мы зажгли в хижине керосиновую лампу и развели огонь в камине, сложенном из неотесанных камней, и я обнаружил, что там всего одна комната и одна кровать, похожая на солдатскую койку. Занни крутилась как белка в колесе, вытаскивая из ящика простыни и одеяла, стеля постель и давая мне распоряжения сделать то или это. Я же притворился, будто меня больше всего интересует огонь в камине, и все время подкладывал туда дрова; запах горящих листьев эвкалипта смешивался с запахом дождя. Когда все было готово, я под каким-то предлогом выскочил на улицу, чтобы Занни могла раздеться.

Дождь перестал, но гром еще гремел, ослепительные молнии кромсали тучи где-то у горизонта и освещали небо, и белые буруны волн, и пустынный берег, и густые заросли кустарника по его кромке.

Потом водворялась крошечная тьма — до следующей вспышки молнии, озарявшей все вокруг странным голубоватым светом. Эта картина до сих пор стоит перед моими глазами, как негативное изображение предметов, которые я видел когда-то, но не могу узнать: прибитые к берегу бревна, песок, покрытый рябью; а когда я закрывал глаза, в них мелькали темные полоски, будто молния оставляла свой след на сетчатке.

Я увидел лампу в окне хижины, подумал, что Занни ждет, и вдруг меня охватила паника. Я прямо готов был поколотить себя за то, что упустил столько возможностей приобщиться хоть какой-то опыт, общаясь с девочками. Как и всякий восемнадцатилетний парень, теоретически я знал все прекрасно, но даже не представлял себе, как нужно целовать девушку, не говоря уж о чем-нибудь еще; и вот теперь я бродил взад и вперед по берегу, ветер хлестал меня по лицу, над головой раздавались удары грома, то и дело сверкала молния, а я ни на что не мог решиться. Потом я пристыдил себя, вспомнив о Занни, которая все это время была там одна и, наверно, беспокоилась, уж не случилось ли со мной чего. Я собрал все свое мужество, подошел к двери и постучал, готовый крикнуть: «Занни, я не знаю, что делать».

Когда я открыл дверь, Занни стояла на коленях у камина, закутанная в одеяло. Видна была только одна ее рука, бросающая в огонь пригоршню сухих эвкалиптовых листьев. По ее испуганному взгляду я понял, что она в такой же панике, как и я. Я подошел, наклонился и поцеловал ее (наши носы столкнулись), одеяло соскользнуло с ее плеч,

ярко вспыхнули листья в камине, пламя осветило всю ее, такую темную и красивую. И тогда я уже знал, что делать.

Прошло четыре дня. Дорогой Дневник, только сейчас Занни дочитала тебя до конца. Я дал ей прочитать тебя потому, что хотел посмотреть, будет ли она относиться ко мне так же, узнав, каков я есть на самом деле, и она сказала, что будет относиться ко мне еще лучше. Она сказала, что очень благодарна тебе, объяснившему ей многое.

Она спросила, собираюсь ли я писать о том времени, что мы провели здесь вместе, и я ответил, что не собираюсь. Я понял теперь, почему писатели ставят многоточие, когда доходят до таких вещей, — они делают это совсем не потому, что в них есть что-то постыдное, а просто потому, что не существует таких слов, которые хоть в какой-то степени могли бы отразить действительность. Все, что было и есть между Занни и мной, останется только с нами. Это наше и ничье больше. Единственное, о чем я хочу еще написать здесь, — это о том радостном чувстве, которое я теперь испытываю: впервые в жизни я обрел дом. Дом — это место, где ты нужен, каким бы ты ни был. Занни — это мой дом. Никогда раньше я никому не был так нужен. Я имею в виду не только это. Это — только часть всего. У меня сейчас такое чувство, будто настал счастливый момент в жизни, когда все намерения начинают сами собой осуществляться. Я имею в виду все те мелочи, которыми мы занимаемся вместе: разводим огонь, с разбегу бросаемся в прибой, носимся, словно дети, по берегу, гуляем в лесу и все такое. Вплоть до этого времени я находился как будто в пустоте. Матери отчим был дороже, чем я, а отцу — мать. И только Занни нужен я, я сам. Я рассказал ей, что в эпоху средних веков влюбленные писали дружественные числа на листочках бумаги и потом съедали их в знак вечной любви друг к другу. (Вот тебе и раз, я только что снова написал слово «любовь»!) И Занни сказала:

— Давай и мы сделаем так же.

Я написал числа на листке, вырванном из доброго старого Дневника, мы разорвали его пополам, разжевали и съели, хотя я вовсе не верю во всю эту мистическую чепуху, и, чтобы сохранить нашу любовь, нам ничего такого не нужно.

В любви Занни похожа на молнию. Даже когда молния исчезает, свет ее остается со мной. Я называю ее Черная Молния — ведь она помогает мне видеть мир таким, каким я его раньше никогда не видел.

За эту неделю все узлы во мне развязались. И еще одно, очень важное: я больше не питаю ненависти к своим родителям. Если у матери было такое же чувство — или хоть капля такого же чувства — к отчиму, я прощаю ее. И если мой отец, потеряв мать, испытывал то же самое, что я бы испытывал, потеряв Занни, — я и его прощаю. Бог с ними, они мне больше не нужны. У меня теперь есть Занни. Если же они захотят вернуть сына, им придется взять к себе и Занни.

Я теперь должен много работать. Когда закончится срок этой проклятой военной службы, я вернусь сюда к Занни и буду работать так, чтобы ее народ, который теперь стал и моим народом, а также *наши дети* обрели равные возможности с белыми.

Ну, вот и все. Сейчас, Дорогой Дневник, Занни напишет здесь свое имя. Смотри! *Сюзанна Свонберг Армитедж*. (Это я настоял, чтобы она сохранила и свою фамилию.) А теперь адрес: Рай.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Самолет оторвался от взлетной дорожки. И так, они уже в воздухе. Тэмпи припала к иллюминатору, глядя вниз на Сидней, раскрывающийся перед ее взором как картинка-загадка: дома с красными крышами, голубые бухты, окаймленные изрезанной линией порта, огромный голубой Тихий океан. Покрытые деревьями холмы полуострова, отделенного от моря сверкающим рукавом Питтуотера, были для нее всего лишь фоном к воспоминаниям о прогулках на яхте с Китом. Но жгучей боли эти воспоминания уже не вызывали.

Взгляд ее скользнул по вечно удаляющемуся горизонту, по безоблачному небу, по всему этому прозрачному, как хрусталь, миру, в котором прошлое изменило ей, а будущее еще не прояснилось.

Тэмпи открыла сумочку и вынула конверт с письмом, вздрогнув при этом так же, как и в тот момент, когда обнаружила этот конверт приколотым сзади к обложке дневника Кристофера. Она развернула листок из ученической тетради и снова — в который раз — перечитала письмо, но уже с меньшим недоверием, чем раньше. Оно начиналось словами: «Дорогая бабушка...»

Нетвердые буквы были старательно выписаны на линованной бумаге.

«Дорогая бабушка,
мой папа сказал маме, что если когда-нибудь ей нужна будет помощь, то вы ей поможете. Сейчас она нам очень-очень нужна. Вы нам поможете?»

Любящая вас внучка Кристина».

Последнее слово было написано неправильно, зачеркнуто и снова написано с величайшим старанием. Тэмпи отложила листок в сторону, откинулась в кресле и стала смотреть, ничего не видя, на прибрежные озера, блестящие в зарослях кустарника, на море, пенящееся у изрезанных берегов, на дым, поднимающийся из высоких заводских труб.

Теперь, когда напряжение наконец спало, Тэмпи чувствовала себя совершенно обессиленной. Она вспомнила, как поспешно выписалась из больницы, как лихорадочно бросала вещи в чемодан, боясь опоздать на самолет. Но она все же успела позвонить Роберту и рассказать о письме. Разговор оставил у нее горький осадок. Впервые за шестнадцать лет она позвонила ему по телефону. Кристофер бы сразу догадался, что именно он ответит:

— Ах, вот оно что! Теперь понятно, куда шла его пенсия. А ведь я думал, что ее получаешь ты.

— А я думала, ты,— ответила Тэмпи.

— Я совершенно отстранился от всего после того, как его убили, и не думай, что тебе удастся вновь втянуть меня в это грязное дело. Мне безразлично, женился он на этой девице или нет. А если женился, то тем хуже. Я не намерен взваливать на свои плечи позор шестилетней давности.

Когда она попыталась возразить ему, он сказал:

— Ты просто сошла с ума.

И повесил трубку.

Она закрыла глаза и в первый раз после того, как приняла внезапное решение, серьезно задумалась. Может быть, она действительно сошла с ума, как сказал Роберт? Для него существование внучки обернулось позором. Она же видела в этом свое спасение. Это вытаскило ее из пучины депрессии, дало цель жизни. Теперь же, когда Роберт с таким пренебрежением отстранился от всего, ее начали мучить сомнения.

Какая жестокая необходимость заставила Занни, молчавшую шесть лет, заявить о существовании Кристины? Во что ее втягивают? Люди, которых, как ей казалось, она уже знала по дневнику Кристофера, начали воплощаться в ее сознании, и она боялась их, в особенности Занни. Неужели и в ее глазах она прочтет ту же ненависть, что и у Кристофера?

Самолет вынырнул из облаков над самой Уоллабой и сделал большой круг. Ясно, словно глазами Кристофера, она увидела зеленые очертания Уэйлера, который во время прилива превращался в остров, со всех сторон омываемый морем цвета синьки.

Наконец показался аэропорт. Тэмпи тщательно отмечала все, что попадало в поле зрения, стараясь отвлечься от мысли о предстоящей встрече. Самолет покатил по прямой трапе, и, когда он остановился, Тэмпи начал с излиш-

ним старанием возиться с привязными ремнями, боясь даже взглянуть на толпу встречающих у здания аэропорта. Ей хотелось как можно дольше оттянуть момент встречи, на которую она так неосмотрительно и так поспешно решилась.

Теперь, когда уже было слишком поздно что-либо изменить, рассудок кричал ей: «Назад! Назад!»

Это был момент, который мог обречь ее на жизнь без надежды на спасение. Но нет: она потеряла Кристофера — она не могла потерять его дочь.

Тэмпи медленно встала. Выбор был сделан. Она изобразила на лице полуулыбку, так хорошо выходявшую на фотографиях, машинально кивнула стюардессе, поблагодарив ее, и спустилась по трапу. Она продолжала улыбаться, продвигаясь по гудронной дорожке, потом остановилась, делая вид, что изо всех сил пытается застегнуть молнию на сумке — она просто оттягивала тот момент, когда должна будет взглянуть в черные враждебные лица. Она старалась запрятать поглубже свое смятение, чтобы оно не отразилось на лице.

В тот момент, когда она проходила в ворота, кто-то окликнул ее, и это сразу лишило ее наигранного самообладания. Она повернула голову, и то, что она увидела, потрясло ее больше, чем все, что рисовалось воображению. Между хорошо одетой темной женщиной и белым пожилым человеком стояла девочка — дочь Кристофера! — разглядывая ее удивленными черными глазами, сверкавшими на прелестном личике цвета меда.

Старик стоял, держа в руке шляпу. Он церемонно поклонился.

— Миссис Кэстон, — сказал он, — меня зовут Дэвид Мак-Дональд, я тот самый священник, который венчал вашего сына с Занни. А это ваша внучка Кристина.

Губы девочки дрогнули. Она прикусила нижнюю губку так, как это делал маленький Кристофер, стараясь не заплакать, потом подняла руку и провела ею по темным вьющимся волосам. Это ее движение начисто смыло прожитые годы. Это был жест Кристофера, это были черты его лица! Во внезапном порыве Тэмпи обняла девочку за плечи и притянула к себе это маленькое непокорное существо. Щелкнул затвор фотоаппарата. Даже здесь эти репортеры!

Она почувствовала, как легко и быстро, словно у маленькой пичужки, бьется сердце ребенка. Девочка чуть-чуть

отстранилась, не желая, чтобы ее поцеловали. Тэмпи отпустила ребенка с чувством острой боли — ее искренний порыв был отвергнут.

— А это миссис Бауэр — тетя Хоуп, как ее называет Кристина.

Женщина слегка наклонила голову и вызывающе посмотрела на Тэмпи.

Больше никто не сказал ни слова. Пока они шли к машине, каждый смотрел прямо перед собой. Видимо, их радостные чувства этим ограничивались. Они должны были прежде составить о ней собственное мнение.

Так чего же они от нее хотят, думала Тэмпи, все более раздражаясь. Ясно, что не денег. Одежда женщины и ребенка, машина последней модели исключали подобное предположение. И конечно, не покровительства. Их манеры были совсем не такими, какие бывают у людей, стремящихся снискать чье-то покровительство. Тогда чего же?

Она смотрела то на одного, то на другого, встретила с пронзительными глазами старика, увидела гордый и холодный взгляд женщины и почувствовала, что ее покидают последние остатки самоуверенности. «Смогу ли я хоть что-то сделать для этих людей?» — думала Тэмпи.

Она села в машину на заднее сиденье вместе с пастором. Кристина поспешила занять место впереди, рядом с Хоуп, встала на колени, подбородком оперлась о спинку и устремила свои серьезные глазки на бабушку. Тэмпи захватила с собой конфет, но не осмелилась предложить их ребенку с таким волшебным вопрошающим лицом.

И вдруг ей захотелось смеяться. Все это было так непохоже на то, что она себе представляла: автомобиль новейшей марки, Хоуп — волнистые черные волосы модно уложены, подчеркивая красивую форму головы, коричневые руки уверенно сжимают руль, губа высокомерно вздернута; Кристина — хорошенькая, ухоженная девочка в джемпере и плиссированной юбке. Все совсем не то, что она ожидала увидеть.

А что она ожидала увидеть? Ребенка с плаката «Спасите детей!»? Женщину с картинок отживающих свой век миссионерских обществ — какую-нибудь туземку в бесформенном балахоне?

Хоуп повернулась к пастору, улыбнулась ему, и от этой улыбки лицо ее мгновенно преобразилось.

— Куда поедем сначала? — спросила она.

— Ко мне домой. Там мы сможем спокойно поговорить.

Кристина долго смотрела на Тэмпи, потом Хоуп попросила ее сесть как следует. До Тэмпи донесся шепот ребенка:

— Она совсем не похожа на бабушку, правда?

— Помолчи немножко,— сказала Хоуп.

Тэмпи наклонилась к пастору и тихо спросила:

— А где же Занни?

— Занни умерла.

В Уоллабу Тэмпи приехала в каком-то трансе, в таком же состоянии она села на стул возле стола в кабинете пастора, сплошь заставленном книгами. Хоуп села напротив, голова ее вырисовывалась на светлом фоне окна, как некогда голова Занни. Но теперь Занни нет, она умерла. И Кристофер тоже умер. А их ребенок сидит вот здесь рядом, и своими огромными влажными глазами рассматривает женщину, совсем не похожую на бабушку.

Тэмпи пила крепкий чай, и ей казалось, будто все они — пассажиры, случайно встретившиеся, где-то в железнодорожном буфете. Но вот ребенок! Если бы не этот ребенок, она бы совсем не знала, зачем она здесь. Ни старик, ни женщина даже не пытались начать разговор. Уж не затем ли они привезли ее сюда, чтобы судить? Если это так, то она скажет, что в их приговоре нет необходимости. Она сама уже жестоко осудила себя.

Тэмпи отказалась от второй чашки чаю. Пастор подошел к себе Кристину. Та с неохотой подошла и встала около его кресла. Пастор сказал, что теперь они собираются поговорить с ее бабушкой — это будет разговор взрослых людей, а ей следует пойти на улицу поиграть с собакой. Девочка пошла беспрекословно и лишь на минуту задержалась в дверях, оглянувшись на них со смутившей всех серьезностью.

Пастор подождал, пока дверь за ребенком закрылась, а потом, повернувшись к Тэмпи, пронзил ее взглядом своих бледно-голубых глаз, как когда-то пронзил и ее сына. Она вздрогнула — ей почудилось, будто тень Кристофера подошла и встала рядом с нею.

Старик набивал трубку ароматным табаком и, казалось, был совершенно поглощен движением своих коротких, желтых от никотина пальцев. Тэмпи вдруг охватило раздражение. Она вытащила пачку сигарет, открыла ее, вытолкнула одну сигарету и протянула пачку Хоуп.

Хоуп отрицательно покачала головой:

— Спасибо, я предпочитаю свои.

Все трое молча закурили. Сильный запах трубочного табака смешивался с более легким запахом сигарет, кольца дыма повисали в воздухе. Минуты текли мучительно медленно, напряжение росло, нервы были словно натянутая до предела струна. Тэмпи показалось, что это голова Занни вырисовывается на фоне окна, в которое голое дерево стучится своими ветвями; та самая Занни, которую она отвергла, смотрит сейчас на нее неумолимыми, осуждающими глазами Хоуп.

Пастор снял ключ с цепочки от часов, открыл им ящик письменного стола, достал оттуда какую-то бумагу и, медленно развернув ее, прочитал про себя сквозь полумесяцы очков, а потом так же медленно передал через стол Тэмпи.

Она схватила ее дрожащими руками, предчувствуя, что прочтет нечто ужасное. Бумага оказалась свидетельством о браке. Глаза ее затуманились, когда она увидела небрежный росчерк своего сына: «Кристофер Роберт Армистедж». Рядом стояла четкая подпись Сюзанны Свонберг. Дата шестилетней давности. Внезапно Тэмпи показалось, что с тех пор прошло не шесть лет, а целые столетия, настолько безвозвратно ушедшими были те события.

Тэмпи держала бумагу, чувствуя на себе пристальный взгляд двух пар глаз; она боролась с рыданиями, комом стоявшими у нее в горле, старалась сдержать слезы, которые жгли ей веки, понимая, что ни рыданиями, ни слезами она не вызовет их сочувствия.

Наконец пастор заговорил:

— Вам, видимо, хотелось бы знать, зачем мы попросили вас приехать сюда, миссис Кэкстон. Вы уже, очевидно, догадались, что это письмо Кристи к вам явилось результатом длительных размышлений и обсуждалось не только Хоуп и мной, но и всеми членами семьи в Уэйлере, воспитавшей вашу внучку. Если у вас есть хоть какие-то сомнения относительно правомерности просьбы, с которой мы собираемся к вам обратиться, то это свидетельство о браке подтвердит ее. Этот документ удостоверяет, что ребенок, которого вы при встрече признали родным — конечно, ожидать от девочки взаимных чувств в данной ситуации было бы неразумно, — не только несет в себе кровь вашего сына и вашу кровь, но и является вашей законной внучкой.

— Мне кажется,— ответила Тэмпи,— вам не следовало бы говорить мне все это. Черты лица, некоторые жесты и так доказывают, что эта девочка — дочь Кристофера.

— Да, все это так, но это могло оказаться для вас недостаточно. К сожалению, не так уж редко появляются на свет незаконнорожденные дети от родителей разных рас.

— Прежде всего, расскажите мне, что случилось с Занни.

Пастор перевел взгляд на Хоуп, потом они вместе посмотрели на Тэмпи.

— В этом случае,— сказал пастор,— вам придется набраться терпения. Мы совсем забыли, что вы еще многого не знаете. Когда вы добились отправки вашего сына в Малайю...

— Прошу вас!..

— Но позволено ли мне будет сказать, что вы не пытались предотвратить его отправки туда? Итак, Занни осталась со своей семьей в Уэйлере. Все были очень добры к ней — добрее, чем вы к своему сыну,— хотя на первых порах родители не чувствовали себя особенно счастливыми, опасаясь, что этот брак принесет их дочери одни страдания. И не потому, что они не верили Кристоферу. Нет, они хорошо разобрались, что представлял собой этот юноша. В те месяцы, пока Занни вынашивала под сердцем ребенка вашего сына, она была прелестна, как цветок. Когда же пришло известие о смерти Кристофера, этот цветок словно сломали. Кристина родилась преждевременно. Говорили, что это от сильного потрясения. И хотя не было никаких причин для смерти такой сильной и здоровой девочки, как Занни, она все же умерла. В наши дни говорить о разбитом сердце считается старомодным. Лучше сказать, что сердце Занни ушло за Кристофером.

Итак, остался ребенок. Несколько месяцев за ним ухаживала старшая сестра городской больницы — она любила Занни. Каким-то чудом это хрупкое создание выжило и стало расти, чтобы хоть как-то возместить потерю Занни, особенно тяжелую для Капитана. Он умер в прошлом году.

Сейчас семья находится под угрозой выселения. Некий синдикат собирается выстроить в Уэйлере отель для туристов, а также спортивный комплекс для офицеров соседнего лагеря.

— Это чудовищно! — воскликнула Тэмпи.

— Вы совершенно правы. Мэр Уоллабы, он же агент по продаже земельных участков, при жизни Капитана не осмеливался что-либо предпринимать. Капитан был сильным человеком, несмотря на свое увечье, и никто не решался вступить с ним в тяжбу из-за земли. Он всегда утверждал, что Уэйлер был испокон веков сдан китобойной компании в постоянную аренду. А сам он семьдесят лет владел этой землей, и нет такого закона, по которому можно было бы оспаривать право белого человека на землю, которую он обрабатывал. Видимо, он был вполне уверен в своих правах.

— Естественно, что обычное право наследования...— начала было Тэмпи.

— В этом-то все и дело. Будь Капитан женат на белой женщине, мы уверены, этот вопрос никогда и не возник бы, даже если бы это была женитьба *de facto*. А его совместная жизнь с бабушкой Занни была не чем иным, как настоящим браком, только юридически не оформленным. Именно поэтому синдикат и собирается забрать эту землю. А что мы можем сделать? Я — старый человек и не пользуюсь никаким влиянием. Дочь Капитана Ева — тоже женщина пожилая. Ее муж Берт и муж ее дочери Пол — люди умные, но они аборигены, а потому положение их незавидное. Вы, возможно, даже не представляете себе, как мало значат аборигены в глазах закона. К тому же их сведения о внешнем мире ничтожны. Капитан всю свою жизнь старался защитить их от этого мира.

— И они остались беззащитными,— вставила Хоуп, и в голосе ее прозвучала горечь.

— Тут Капитана винить нельзя,— сказал пастор.— За все, что он сделал, он достоин большого уважения. Ему было нелегко, но он сделал все, что мог. Вы ведь на два поколения моложе его, а за время жизни одного только последнего поколения произошло так много событий, что пожилые люди вроде меня чувствуют себя так, будто они не только устарели, но живут совсем в другом мире.

Как и мои друзья в Уэйлере, я стараюсь как-то приспособиться к новому: смотрю телевизор — его недавно купил Джек. Все это, конечно, очень интересно, но не может помочь в решении нашей проблемы. Джек — не член этой семьи, но он сделал для нее все, что было в его силах,— писал членам парламента, в организации защиты гражданских прав. Но, к несчастью, он — инвалид и возможностей у него немного. Только Хоуп была и остается нашим оплотом. Без нее вся семья давно была бы уже выброшена с насиженного места.

— Как, по-вашему, я смогу что-нибудь сделать?

— Боюсь, вы приехали слишком поздно. Три дня тому назад женщины и дети были выселены из Уэйлера. Мы ждали вас раньше. Разве, получив наше письмо, вы не поняли, что только крайняя необходимость вынудила нас прервать столь долгое молчание?

— Я в этом не виновата. Вы послали письмо на студию телевидения.

— Да, но мы не знали вашего адреса,— вступила в разговор Хоуп.— Что же нам оставалось? И в телефонной книге вашего номера нет.

— Дело в том, что я... мы... то есть... У меня всегда был закрытый номер телефона. К тому же я лежала в больнице и с письмами получилась путаница. Я приехала сюда прямо с больничной койки.

— Простите.— Хоуп извинилась, но получилось это у нее как-то небрежно.— Я думала, что просто... что вас просто не стоило беспокоить.

— Ну полно,— сказала Тэмпи,— не думайте обо мне хуже, чем я есть. Ни ваши обвинения, ни увещевания пастора не откроют для меня ничего нового. И давайте сделаем так, чтобы ничто не мешало мне помочь вам, насколько это в моих силах.

Хоуп взглянула на часы с кукушкой и порывисто встала.

— Тогда едемте. В четыре тридцать начнется отлив, и мы сможем подъехать прямо к дому. Там мы обо всем поговорим с мужчинами. Они пока еще остались в доме.— Она посмотрела на Тэмпи чуть-чуть насмешливо.— Боюсь только, их образ жизни покажется вам несколько пуританским по сравнению с вашими стандартами. Такими их воспитал Капитан. Ни спиртных напитков, ни бранных слов, ни азартных игр. Во всем они остаются истинными христианами.

Тэмпи промолчала, не желая вступать в спор по этому поводу.

Они медленно проехали по песчаной дороге у самого края берега, где взвихрялись и разбивались волны. Серое море уходило далеко, сливаясь с перламутровым небом, и только Уэйлер был озарен последними отблесками заходящего солнца. Оранжево-красные лучи золотились на белых стенах дома и превращали траву на покатых склонах холмов в таинственный зеленый покров. Последние волны отступали через узкий каменистый пролив, превращавший

Уэйлер в остров. Пока они ехали по ободку Блюдца, Тэмпи разглядывала крохотный пляж с одиноко лежащей на нем рыбацкой лодкой. Ей казалось, что все это она уже видела, все знает — так верно описал эти места Кристофер в своем дневнике. Когда она вышла из машины, у нее было чувство, будто она ступает по родной земле.

Какой-то человек, прихрамывая, спускался к ним по каменной тропинке. Тэмпи узнала Джеда и удивилась, найдя, что он намного моложе, чем она предполагала по описанию Кристофера.

— Я рад, что вы приехали, — вот все, что он сказал, когда пастор представил его Тэмпи, и пошел вверх по тропинке, оживленно разговаривая с Хоуп. До Тэмпи донесся его раздраженный голос: — Сегодня приходили двое, один из муниципалитета. Он заявил, что завтра присылает рабочих и начинает сносить дом. Я ответил им: «Только через мой труп!» Они назвали это угрозой.

Джед провел всех на кухню, где в огромной, старинной печи ярко пылали поленья, и указал Тэмпи на стул.

— Здесь теплее, — сказал он, — я решил не тратить попусту дров и не разводить огонь в гостиной.

Да, это был тот самый дом, который так любил Кристофер, — полы тщательно натерты, повсюду маленькие коврики, мебель крепкая и прочная. Атмосфера старинного дома.

Джед прислонился к стене рядом с печкой и левой рукой стал скручивать сигарету. Судя по той стороне его лица с оливково-коричневой кожей, которая не была покрыта рубцами от ожогов, когда-то он был замечательно красив. Теперь он напоминал собой дерево, опаленное молнией. Кожа правой половины лица была страшно сморщена, правый глаз прикрыт повязкой, кисть правой руки скрыта под кожаной перчаткой. Но единственный глаз смотрел на Тэмпи сурово и оценивающе, как будто Джед старался определить, насколько она могла быть им полезной.

— Не знаю, можно ли что-то сделать теперь, — резко сказал он. — Если бы она приехала раньше, мы могли бы начать борьбу своевременно.

— Она была в больнице, — вмешалась Хоуп, — и наше письмо пришло с опозданием.

— Прошу прощения, — бросил Джед.

Он сел в огромное кресло у огня. Кристина забралась к нему на колени. Хоуп налила в кружки пенящееся пиво.

Дверь отворилась, и вошли двое мужчин. Хоуп представила одного из них:

— Берт Свонберг, отец Занни.

Глядя на этого высокого человека, казавшегося еще выше из-за величественной осанки, на его редкие седеющие волосы, на глубоко посаженные глаза под косматыми бровями, на все его широкое лицо, Тэмпи думала: «Это кровь, которая окрасила в темный цвет кожу Кристины. Это кровь Занни. И все же Кристофер любил ее. Но как можно любить человека, так резко отличающегося от тебя самого?» Она была удивлена, что, хотя ей раньше не приходилось так близко соприкасаться ни с кем из черных, она сейчас не испытывала к ним неприязни.

Мысли ее были прерваны словами Хоуп:

— А это Пол Свонберг. Он женат на Мэй, сестре Занни.

Пол ростом был ниже Берта, более коренастый, более энергичный, с более светлой кожей и более резким голосом.

Они оба вежливо поздоровались. И хотя Тэмпи ничего не могла прочесть на их лицах, она почувствовала, что они, так же как и остальные, настроены к ней враждебно. Сможет ли она когда-нибудь прорваться через заслон, который они возвели? И все же Кристофер считал их своими друзьями, и он любил Занни. При мысли о Кристофере взгляд ее перешел на Кристину, свернувшуюся калачиком на коленях Джеда. Ради Кристофера она должна попытаться понять их. Ради того, чтобы иметь право жить, она должна заслужить его прощение, даже если он никогда не сможет ее простить.

— В газетах есть что-нибудь об этом деле? — спросил Пол.

Пастор утвердительно кивнул и вытащил из кармана смятый листок.

— Вот заметка о том, что Ларри оскорбил полицейского. И при этом, конечно, «непристойно ругался».

Пол зло рассмеялся.

— Ларри вообще никогда не ругается. Он говорил, что только встал между Евой и сержантом полиции, когда тот хотел вытащить ее из дома. Это сержант ударил его так, что сбил с ног.

— А ты слышал это от него самого?

— Нет. Том Гэлвин рассказывал: сын Сэма отвез Ларри на своем грузовике в Ньюкасл, но оказалось, что полиция караулила его у дома Хоуп. Тогда другой парень, какой-то белый, вызвался подвезти его до Сиднея.

— И куда же он там денется?

— В Сиднее живет сестра Сэма.

Пол стукнул кулаком по столу.

— Да ведь полицейские и там разыщут его. В Сиднее всегда следят за аборигенами, даже если они вообще ничего не делают.

Берт слегка толкнул Пола локтем, но остановить его было уже невозможно.

— Я не могу сдерживаться, несмотря на то, что в гостях у нас леди. Но если она намерена помогать нам, ей следует знать, что это не какой-нибудь телевизионный фильм, где в результате все кончается благополучно к общему удовольствию ханжей. Все далеко не так просто, когда дело касается нас, аборигенов. Если уж мы попадаем в заваруху, для нас это никогда хорошо не кончается, независимо от того, виноваты мы или нет. В этой стране быть аборигеном — уже преступление.

Берт положил руку ему на плечо и сильно сжал, но голос его прозвучал мягко и убедительно:

— Мне кажется, ты уже все сказал, Пол. Леди вовсе не интересно слушать обо всех наших проблемах.

Пол слегка отстранился от него.

— Если она собирается помогать нам, то рано или поздно ей придется об этом услышать, и мне кажется, чем скорее, тем лучше. Нё к чему ей обольщаться, будто по мановению ее лилейно-белой руки произойдет чудо. Для аборигенов чудес не бывает, это уж точно.

Он потянулся за оплетенной бутылкой с пивом и налил себе еще одну кружку.

— По закону мы теперь имеем право пить в барах. А знаете, что произошло, когда однажды в Уоллабе я зашел в бар? «Убирайся, черномазый ублюдок!» — завопил бармен, а другой белый подставил мне подножку, когда я уже был у двери. Это мне-то, прошедшему всю войну!

Какие у нас, аборигенов, права? Никаких. У нас отобрали нашу землю. У нас отняли наши имена. Я не знаю песен моего народа, я говорю на языке белых. Вот ваша внучка, — указал он пальцем на Тэмпи, — аборигенка. А знаете ли вы, что в конституции нашей страны нет даже упоминания об аборигенах как о народе, имеющем законные права наряду

с народами любой другой расы? Нас даже не учитывают при переписи населения. Знаете ли вы, что меня теперь могут признать гражданином Австралии лишь в случае, если я подпишу документ о том, что обязуюсь не иметь ничего общего с моими братьями по крови, проживающими в резервациях?

Берт вдруг засмеялся, сотрясаясь всем телом.

— Хоть ты и мой зять, Пол, но я должен сказать, что, когда тыходишь в раж, ты совсем теряешь голову. Леди может подумать, что ты ищешь повод к ссоре.

— О господи!— взорвался Пол.— Разве хоть одна женщина в мире, черная или белая, может быть настолько глупой, чтобы подумать, будто человек способен искать повод к ссоре, когда полиция выбросила его жену, детей и тещу из их дома, из дома, который был пристанищем для них и для их предков, из дома, в котором они жили долгие, чем любой из этих белых подонков живет в Уоллабе; когда сын его вынужден бежать и скрываться лишь потому, что поступил так, как поступил бы любой честный парень, если бы он увидел, что его семью сгоняют с насиженного места?! К чему же вводить в заблуждение леди, которая хоть и приехала сюда, но презирает нас так же, как и другие белые. Мы все время ведем себя неправильно.— Он снова стукнул кулаком по столу.— Я давно говорил: единственный способ отвоевать для себя безопасность — это начать за нее бороться. А ты, Берт, тогда побоялся, вот теперь и смотри, как оно обернулось.

— Я был против этого, Пол. Но не потому, что побоялся,— просто мне казалось, Капитан знает все лучше нас. Я ведь до самой женитьбы был неграмотен — не умел ни читать, ни писать. Это Ева меня научила. Когда Капитан говорил, что нужно сохранять себя для самих же себя и воспитывать детей так, чтобы они были такими же хорошими, как дети белых, мне казалось, это правильнее всего. Пусть они растут, думал я, чувствуя себя в полной безопасности, пусть они будут счастливыми. Наверно, я просто слабовольный человек, а Ева — сильная женщина.— Он безнадежно махнул рукой.— Тебе и Джеду легче: вы поездили по белу свету. А я видел лишь резервации для аборигенов да Уэйлер. И знаю только то, о чем прочитал в книжках Капитана.

— С самого первого дня, как я приехал в Уэйлер, я понял, что вы ведете себя неправильно,— прервал его Джек.— У белых есть поговорка: «Нельзя жить в башне из

слоновой кости». Так же нельзя жить и в башне из черного дерева. А Капитан этого никогда не понимал.

Пол поднял вверх руки со сжатыми кулаками.

— Когда я попал в армию, — сказал он, — я вскоре понял: если хочешь чего-нибудь добиться, дерись за это. До тех пор я был просто мальчишкой, аборигеном, каких тут сотни, тысячи, зарабатывал несколько шиллингов на сезонной работе, вроде сбора гороха или бананов, мотаясь с одного места на другое. Оглядываясь назад, мне трудно поверить, что я принимал как должное то, что внушала мне полиция и белые. «Убирайся вон из города, черномазый!» — кричали мне даже тогда, когда я спокойно шел по тротуару. Или: «Тебе здесь есть нельзя, тебе здесь пить нельзя — даже лимонад». В обычную школу ходить тоже нельзя — можно учиться только в резервациях, а там учат лишь до третьего класса, и ты сразу забываешь все, когда уходишь из школы. В кино тоже нельзя: «Вон отсюда, ты, черномазый, грязный...» — Он взглянул на Тэмпи. — Я даже не хочу повторять вам то, что они говорили. Когда я приехал сюда, я воздерживался от худых слов, хотя в армии научился таким словечкам, которые могли бы выразить мое состояние получше, чем обыкновенные английские слова.

В армии я оказался случайно. Как-то проходил через эти места и столкнулся с Ларсом. «Пойдем со мной», — сказал он. Я пошел, но вовсе не потому, что думал бороться за что-то — просто у меня не было работы. Очутившись в армии, я словно с истощенного клочка земли попал на зеленую лужайку. Все, о чем я мечтал, я получил, лишь надев военную форму. Я маршировал в одном строю с белыми, купался вместе с белыми, спал в одной палатке с белыми, а когда отправлялся вместе с белыми в увольнение, то мог даже выпить с ними в баре, и никто меня не гнал оттуда. Конечно, не все шло гладко и в армии. Были там и такие, которые называли меня черным ублюдком, старались унижить. Я выносил все безропотно. Но однажды парикмахер из нашего взвода (мы звали его Рекордсменом — он был чемпионом в своем деле) сказал мне: «Почему ты все это терпишь? Чтобы заставить уважать себя, есть только один путь — дать им сдачи».

Я никогда никому не давал сдачи, я даже не знал, что кулаки можно использовать еще для чего-то, кроме работы. Спасибо ему, что научил меня. В следующий раз, как только кто-то сказал: «Эй ты, черный ублюдок!» — я, не задумываясь, двинул ему в морду. Конечно, мне крепко до-

сталось, но насмешки с тех пор прекратились. Они поняли: даром им это не пройдет. Я тоже понял простую истину: тебя будут уважать, если ты сумеешь за себя постоять. Не знаю, лучше я стал или хуже, поняв это и проверив это на деле. Знаю лишь одно: когда я впервые сшиб с ног белого подонка, я наконец почувствовал себя человеком.

— Вероятно, мы живем здесь слишком хорошо и слишком спокойно, — сказал Берт.

— Не живем, а жили, — перебил его Джек. — Теперь это уже все в прошлом. Теперь мы живем здесь совсем не хорошо и не спокойно, а если не начнем бороться, то и вообще не будем здесь жить.

После того как смолк его резкий голос, все долго сидели молча, уставившись в свои кружки. Тэмпи тоже молчала. Да и о чем, собственно, можно было говорить? Все чувствовали правоту слов Пола и Джеда.

Хоуп наконец решила прервать унылое молчание.

— Ну, ладно, — сказала она. — Все, что вы здесь говорили, правда. Мы это знаем. Это было правдой всегда, это правда и сейчас. Но мы больше не собираемся покорно сносить все это. Мы не должны. А теперь, я думаю, настало время обсудить, что надо сделать прежде всего, чтобы вернуть сюда семью и вырвать Ларри из рук полиции. Давайте послушаем Джеда, он хотел рассказать, что произошло сегодня.

— Утром я отправился в город, — начал Джек, — и сразу же наткнулся на полицейскую машину. Сержант, увидев меня, сказал, чтобы я не совал нос не в свое дело, а не то они и меня шуганут из Уоллабы, как любую другую скотину — это его слова. Потом он потребовал, чтобы до одиннадцати часов я покинул город, а иначе... Я пошел в резервацию узнать, что там с женщинами, но старший инспектор заявил, что никого из нас туда не впустит. Я не стал спорить — ведь что бы я ни сделал, это может отразиться на судьбе Евы и...

— Бедная моя женушка, — простонал Пол. — Неужели еще мало страданий выпало на ее долю?

Он встал и начал ходить по комнате, засунув руки глубоко в карманы. На виске под багровым шрамом неистово пульсировала жила.

— Он хоть сказал, как себя чувствует Ева? — спросил Берт.

— Я его не спрашивал, — ответил Джек. — Я был уверен, что сумею узнать все и без него, и точно — Джорджи-

на поджидала меня у дороги, когда я возвращался. Она пробралась туда через кусты. Она сказала, чтоб мы не волновались. Эмма и Джордж с удовольствием взяли их к себе. Им там удобно, все о них заботятся.

— Конечно, они заботятся,— заскрежетал зубами Пол.— Они ведь люди, хотя и черные.

— Жена старшего инспектора лечит Еву. Она говорит, что переломов ноги нет, просто сильный ушиб и кровоподтеки. Это продлится, видно, не меньше недели.

— Да, хорошенькое место для лечения, отдохнешь там черта с два в этой хижине, где их как селедок в бочке набито!— Берт вздохнул и закрыл глаза узловатой рукой.

— Могу сказать еще вот что,— продолжал Джед,— если это хоть как-то успокоит тебя. Два или три человека останавливали меня в городе и говорили, что считают это позором, а старшая сестра больницы просила передать, что, если кто-либо из них нуждается в медицинской помощи, она готова ее оказать.

— Да, не все белые — подонки,— сказал Берт.

— Тогда почему они не объединяются, чтобы помочь нам в борьбе с подонками?— спросил Пол.

Опять наступила гнетущая тишина. Хоуп шепнула Кристине, чтобы она отправлялась спать. Девочка неохотно ушла. Когда дверь за ней закрылась, Хоуп сказала решительно:

— Ну а теперь перейдем к делу.

Джед подошел к Тэмпи.

— Вам должно быть теперь совершенно ясно, что нам ничего другого не остается, как попытаться разоблачить всю эту мерзость в печати. И вы, наверно, понимаете, что мы вызвали вас сюда, чтобы предложить использовать ваше влияние на радио и в прессе добровольно, без принуждений, пока мы не предали гласности тот факт, что Кристи является вашей внучкой.

Тэмпи в недоумении взглянула на него.

— Я не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать.

— Мы хотим сказать следующее: если вы откажетесь нам помочь, мы раструбим на всю страну, что Кристина ваша внучка. Нам не хотелось бы идти на это, но мы в отчаянном положении. У нас есть доказательство — фотография, сделанная сегодня утром, когда вы обнимали Кристи. В газетах она будет выглядеть очень эффектно, особенно если ее снабдить сенсационной подписью: «Тэмпи Кэкстон со своей внучкой-аборигенкой».

Тэмпи, не веря своим ушам, смотрела на злые лица. вокруг нее.

— Так, значит, вы действительно решили шантажировать меня, угрожая напечатать в газетах, что у меня внучка — полукровка, и тем самым вынудить помочь вам? — спросила она.

— В ней всего лишь четвертая часть крови аборигенов, — поправила Хоуп. — И нам вовсе не хотелось бы угрожать вам, но...

— Забавно, что вы решили шантажировать меня тем, чего я вовсе не стыжусь.

Хоуп пожала плечами.

— Поймите, если нам будет трудно доверять вам...

Тэмпи переводила взгляд с одного на другого.

— Это все мне понятно, — медленно произнесла она. — Шесть лет тому назад это все было правдой, даже шесть месяцев тому назад. Теперь же... — Она вдруг замолчала, почувствовав, что прикусила нижнюю губу точно так же, как это делал Кристофер, как это делает теперь Кристина, и подумала о том, что даже такие вот странные привычки кровь переносит с собой от одного поколения к другому. — Не знаю, что я могу сделать. Не знаю, чего вы от меня ждете. Но, в конце концов, давайте поговорим как люди, желающие найти какой-то разумный выход, без этих ужасных обвинений. Поверите ли вы мне, если я скажу, что никогда не знала о женитьбе Кристофера? Если вам хочется подвергнуть меня еще более тяжелой каре, чем эта... Все, что тогда происходило, я расценивала как мимолетное, безрассудное увлечение восемнадцатилетнего юноши. Скажу честно, когда он умер, я даже не подумала о Занни. Не знаю, сделала ли бы я что-нибудь, если бы вы написали мне тогда. Теперь же все изменилось. Я не собираюсь объяснять вам, почему. В этом, я думаю, нет надобности. Теперь я чувствую ответственность за свою внучку. Я знаю, что Кристина меня не любит. Ей было бы трудно полюбить меня. Но это ничего не меняет. Я буду бороться за нее, как должна была бороться за своего сына.

И вдруг всем стало как-то легче, словно рассеялся туман. Вернулась та атмосфера тепла и сердечности, что когда-то покорила Кристофера. Джек принялся жарить рыбу, которую принес Пол, Хоуп чистила ананасы и плоды папайи, собранные на плантации возле дома. Тэмпи все еще оставалась для них чужой, но уже не была врагом. Берт подошел к ней и сел рядом.

— Простите нас, если мы недостаточно дружелюбно вас встретили. Ведь нам сейчас приходится нелегко. Я любил Кристофера как родного сына.

Он протянул огромную черную руку, и Тэмпи положила в нее свою, удивляясь, что при этом прикосновении не испытала ни ужаса, ни отвращения.

Подошел и Пол и тоже протянул руку.

— И я хочу извиниться. Но ведь мы думали, что...

— Давайте забудем об этом,— прервала его Тэмпи.— Сейчас главное не в прошлом. Что мы будем делать?

— Мы вам расскажем о наших планах,— сказал Джек, садясь напротив нее.— Мы хотим переписать Уэйлер на имя Кристины. Она является прямой наследницей Капитана, законной дочерью его законной внучки, вышедшей замуж за белого человека — военнотружущего. Поэтому мы намерены заявить права на это место, принадлежащее ей по наследству, а члены семьи, в которой она выросла, будут ее опекунами. Для нас сейчас самое главное — остаться в Уэйлере. Если им удастся выгнать нас отсюда, дом будет немедленно снесен. И тогда даже в случае нашей победы нам негде будет жить.

После ужина Хоуп отвела Тэмпи в сторону и спросила:

— Вам не страшно остаться здесь на ночь?

Тэмпи заколебалась.

— Страшно? Но почему же?

— Пастор и я должны будем уехать. Сержант угрожает арестовать нас, если найдет, что мы нарушили закон и оказались в неподобающем нам месте. Кристи должна остаться здесь. Мы думаем, что полиция и мэр не решатся что-либо предпринять, пока вы в Уэйлере.

— Я останусь.

Тэмпи никак не могла заснуть. Она лежала на кровати, некогда принадлежавшей Капитану, слушала глухие удары волн о скалы, видела их белые вершины во вспышках зарниц. Наверное, именно в такую ночь Кристофер и Занни зачали Кристи — триумф любви над всеми препятствиями, вставшими на их пути.

Хорошо ли укрыта девочка, подумала Тэмпи, ведь Хоуп сказала, ребенок спит беспокойно. Она открыла дверь в соседнюю комнату и вдруг услышала приглушенные всхлипывания, которые тут же стихли.

Она зажгла свечу возле кровати. Кристи смотрела на нее широко раскрытыми глазами, по щекам ее текли сле-

зы, ко рту она прижимала носовой платок. Тэмпи обняла девочку и разразилась рыданиями, которые так долго рвались наружу.

Сознание бесконечности жизни потрясло ее. Когда-то вот так же, как сейчас Кристи, плакал, уткнувшись в ее плечо, Кристофер. Но тогда единая кровь, текущая в их жилах, нисколько не сближала их. Тэмпи никогда не умела заглянуть в душу сына; и теперь она чувствовала: его дочь прижалась к ней лишь потому, что рядом не было никого другого.

— Что с тобой, моя детка? — шепотом спросила Тэмпи, глотая слезы.

— Тоффи уехала, и мне страшно, — всхлипывая, ответила Кристи.

Тэмпи подняла ее и отнесла в свою комнату; ребенок успокоился у нее на руках. Потом она долго лежала рядом с девочкой, когда та уже уснула; разглядывая ее, она со сжавшимся сердцем увидела, что за исключением цвета кожи Кристи как две капли воды похожа на Кристофера. Девочка была так же сложена, в ней была та же кровь, и вдруг, неожиданно для себя, Тэмпи почувствовала, что цвет кожи больше не отпугивает ее. Она смотрела на девочку так, как смотрел бы на нее Кристофер. Когда Тэмпи наконец уснула, она уже наверняка знала, что вступила на долгий путь, которому не видно конца.

Проснувшись она от шума мотора и, взглянув на рябую поверхность моря, увидела скользящую между белыми бурунами черную лодку, которая оставляла за собой белый след в виде буквы V. Все еще не отойдя ото сна, в котором видела непривычно смущенного Кристофера с дочерью, она лежала в пробуждающемся свете дня; Кристи уютно посапывала рядом, и Тэмпи испытывала безотчетную радость от мысли, что взяла на себя заботу об этом ребенке. По мере того как сон оставлял ее, сознание начало отделять действительное от воображаемого: она понимала, что, если полюбит девочку, жизнь ее приобретет смысл. Но какой ценой?..

Когда через некоторое время она снова проснулась, Кристи уже не было.

Она выглянула в окно и увидела маленькую фигурку в пижаме. Девочка тихо стояла на крыльце, внимательно наблюдая за попугаями, прыгающими в коралловых ветвях дерева и что-то вынимающими своими клювами из ярко-красных цветов с острыми лепестками. Потом Кристи сбегала с лестницы, держа в руках тарелку с размоченными

хлебом, и птицы слетелись к ней, сверкая зеленым и желтым, малиновым и голубым оперением крыльев. Тэмпи слышала, как над разноголосым пронзительным щебетом журчал серебристый смех девочки, видела ее сияющее личико, которое светилось еще большей радостью, когда птицы садились ей на плечи, на головку. Потом Тэмпи услышала свой собственный смех, слившийся со смехом ребенка.

Когда они подъезжали к городу, с моря надвинулся туман и над Хогсбэком нависли тяжелые облака. Между двумя женщинами все еще стоял незримый барьер, воздвигнутый недоверием и сомнением. Тэмпи искала тему для разговора, которая могла бы создать хоть какую-то видимость общения.

— А вы — родственница семьи в Уэйлере? — спросила она, предпринимая первую попытку.

— Только со стороны моей сестры. Флора была замужем за Ларсом Свонбергом, тем, который спас жизнь моему мужу в Новой Гвинее ценой собственной жизни. Они подружились в армии, и оба оказались такими прекрасными людьми, которых мне в жизни больше не приходилось встречать. Именно Ларс первым из всех учил нас, что мы должны сплотиться и вместе бороться за свои права. До свадьбы Флоры, до того времени, как Ларс начал рассказывать нам о тех ужасных несправедливостях, которые терпят аборигены, я даже не представляла себе, насколько страшно положение этих людей. Он и в армию-то пошел только потому, что считал, будто с демобилизованным солдатом станут считаться больше, чем с простым полукровкой.

— А как же получилось, что вы... э... совсем другая, чем они?

— Очевидно, потому, что я не совсем аборигенка: во мне смешалось несколько рас. Моя мать была полуиндианкой, а это означало, что над ней нельзя было куражиться так же, как над аборигенами. Отец был родом с островов Фиджи; в начале века его привезли в Австралию на корабле невольников — добрые христиане-австралийцы просто-напросто выкрали его, привезли сюда и продали в рабство за семь фунтов и десять шиллингов. Но вот что странно: отец ведь был рабом, а не аборигеном, но дети его стали пользоваться такими правами, каких не имели дети «свободных» аборигенов. Отец этим страшно гордился, да и мать тоже, а я росла, не чувствуя себя ниже сортом по

сравнению с другими,— так было положено хорошее начало. А потом сестра и я с неустанной помощью моего мужа продолжали дело отца. А вы хоть что-нибудь знаете о нынешней ситуации?

— Боюсь, что ничего.

— Если вы действительно хотите принести пользу своей внучке, вам нужно начать разбираться в этих делах.

— А почему до сих пор ничего не сделано?

— В основном из-за неведения. Если бы ваш сын семь лет тому назад не влюбился в аборигенку и не женился на ней, бьюсь об заклад — вы никогда не встретились бы с аборигенами, да и не пожелали бы этого.

— Вы правы.

— Не будь Кристи, разве вы задумались бы, даже теперь, о том, что родственники вашей невестки подвергаются поруганию, что их презирают, изгоняют из общества, заставляют жить на худших землях, дают более тяжелую работу, что они в конце концов теряют какую бы то ни было веру в себя?! Они, по существу, не могут получить образование. Старшее поколение в Уэйлере в данном случае исключение, так как Капитан и пастор обучили их грамоте. Берт — один из немногих чистокровных аборигенов, умеющих читать и писать.

— А Джед?

— Его судьба была необычайно удачной. Он учился в Киншельской школе-интернате, возле города Кемпси. Потом поступил в техническое училище в Ньюкасле и работал там же на сталелитейном заводе вплоть до несчастного случая, после которого стал непригодным уже ни для какой работы по найму. Самое ужасное, что Джед очень тяжело переживает свое уродство, и, хотя он еще молод, я сомневаюсь, что он сможет устроить свою жизнь. Ему труднее, чем другим, мириться со всеми невзгодами, потому что он познал свободу промышленного города и работал на равных условиях с белыми, которые обращались с ним как с равным — ведь если люди объединены в нечто целое, цвет кожи не имеет значения.

— А почему он относился с таким недоверием к Кристоферу?

— Здесь дело совсем в другом, это не было недоверием. Он защищал Занни. Вам никогда не приходило в голову, что он был влюблен в Занни?

— Нет.

— Я думала, вы догадались. Хотя, мне кажется, и сам Кристофер об этом не догадывался. Теперь Джед всю свою

любовь перенес на Кристи, и она тоже обожает его. Он прекрасный человек и настоящий борец. Вы получите представление о том, против чего мы восстаем, уже сегодня вечером, когда закончится наша поездка.

— А какой помощи вы хотели бы от меня?

— Спросите мэра, почему изгоняют семью из Уэйлера. Не знаю, что за прием устроят вам у него. Но, видимо, вас все же встретят пожевлее, чем нас. Вчера, когда я начала было с ним разговор об Уэйлере, он просто отказался меня выслушать и крикнул: «Вон отсюда, черная ведьма, из-за таких вот, как ты, и возникают беспорядки!» А потом набросился на секретаршу за то, что она пропустила меня к нему. Теперь мы надеемся только на вас. Пустите в ход все свои чары, льстите или угрожайте, если понадобится. Единственное, чего они боятся,— это гласности и публичного скандала. Они такие же, как большинство белых. Филантропия издалека. Вы ведь знаете, что они провозглашают «избавление от голода» для Азии и Африки, а у себя лозунг у них другой: «Пусть подохнут все аборигены».

— Вы ненавидите белых?

Хоуп мгновенно обернулась и взглянула на Тэмпи:

— Мой муж — белый.

Помолчав немного, она продолжала:

— Моя мать с ужасом думала о том, что я и сестра выйдем замуж за белых. Когда я еще была ребенком и видела, как валялись в канавах белые пропойцы, я иногда говорила: «Как прекрасно, что во мне нет крови белых». Но моя мать — она была очень религиозной — обычно отвечала: «Это не по-христиански, Хоуп. Не нужно думать, будто все белые от природы безнравственнее цветных. Все происходит оттого, что им легче совершать плохие поступки — их за это в тюрьму не сажают». Я работала со многими белыми, — продолжала Хоуп, — это были честные, порядочные люди, готовые бороться за то, чтобы аборигены пользовались равными правами со всеми австралийцами, чтобы искоренились любые расовые предубеждения. Лишь изуверы и лицемеры хотят навсегда сохранить миф о превосходстве белых с тем, чтобы эксплуатировать всех остальных, все равно кого: аборигенов или малайцев, папуасов или вьетнамцев, африканцев или американских негров. Все это части одного целого, и у нас здесь — только крошечный метастаз той раковой опухоли, которой поражен мир.

Тэмпи слушала, и ее охватывала дрожь. Жизнь втягивала ее во что-то такое, чего она не любила и боялась. Ей хотелось выскочить из машины и бежать прочь отсюда, вернуться в привычный ей мир — ведь даже лишенный теперь для нее блеска, он оставался надежным и удобным. А тот, другой мир, в который старалась вовлечь ее эта женщина, состоял из сплошных конфликтов. Там сталкивались силы, о существовании которых она никогда не догадывалась и о которых даже теперь ей было страшно подумать. Стоит ей попасть туда, и ее закрутит вихрь.

Каждый оборот колеса машины, мчавшейся по главной улице, приближал ее к этому.

«Дура ты, — твердила она себе, — сентиментальная дура. К чему впутываться в это грязное дело с какими-то черными, которых шестнадцать часов назад ты и в глаза не видела? Едва только выйдешь из этой машины и встретишься с мэром, за тобой начнется слезка. Тебя зачислят в разряд нарушителей порядка, а этого допускать никак нельзя. Ведь тебе еще надо найти работу. Выскакивай из машины, садись на самолет, брось внучку, которая тебя совсем не любит, и возвращайся туда, где тебе все знакомо».

— Кстати, на вашем месте я не стала бы говорить, что Кристи ваша внучка, — предупредила ее Хоуп.

— Почему?

— Они за это станут презирать и вас. И никакого толку из всей затеи не будет.

Машина остановилась.

— Вот мы и приехали, — сказала Хоуп. — Это мэрия. Каждое утро ровно в десять мэр бывает на месте... — Хоуп взглянула на часы. — Мы приехали как раз вовремя. Сейчас три минуты одиннадцатого. Я проверила часы по радио. Давайте сравним с вашими. Разница в одну минуту. Когда войдете, посмотрите, сколько будет на их часах. В десять восемнадцать вы должны выйти оттуда. Я могу держать здесь машину только пятнадцать минут. Видите объявление?

— Как странно! Ведь Уоллаба — маленький город.

— Это предохраняет мэра от назойливых посетителей и, кроме того, дает полицейскому право задерживать любого, кто недостаточно благоразумен, чтобы следить за временем. Из мэрии сообщают по телефону о нежелательном посетителе. Вполне возможно, вам трудно будет встретиться с боссом. Я только что видела, как его секретарша выглянула в окно.

— Но это просто поразительно!

— Вам это все кажется поразительным, а для нас это в порядке вещей.

Тэмпи медленно натягивала перчатки.

Видя ее нерешительность, Хоуп спросила:

— Вы уверены, что вам хочется туда пойти?

Тэмпи схватила свою сумку, чувствуя, что ненавидит Хоуп за изгиб ее рта, за трепещущие ноздри, за блеск глаз.

— Если вам не хочется идти, мы вас пойдем. Должна вас предупредить: они ни перед чем не остановятся.

Усилив воли Тэмпи заставила себя открыть дверцу машины.

— Конечно, я пойду туда.

Потом повернулась и с иронией в голосе спросила:

— Вы уверены, что вам хочется ждать меня? Если вы уедете, я вас пойму.

Во взгляде Хоуп мелькнуло восхищение.

— Я подожду.

Женщины смотрели друг на друга, как бы меряясь силами. Наконец Хоуп подняла руку:

— Желаю удачи!

Когда Тэмпи вошла в приемную мэра и остановилась у стола секретарши, та, не обращая на нее внимания, продолжала печатать на машинке. Лицо секретарши под модной копной светлых волос было похоже на маску, пальцы с длинными ногтями, покрытыми ярко-красным лаком, продолжали стучать по клавишам, за наигранным безразличием скрывалась наглость.

Она вынула из машинки лист бумаги и уже собралась вставить другой, но Тэмпи положила руку на валик и сказала:

— Прежде чем вы это сделаете, дорогая, потрудитесь доложить мистеру Уилмоту, что я хочу его видеть.

Девушка помолчала, а потом, не поднимая глаз, произнесла:

— Мистер Уилмот никого не хочет видеть сегодня.

Голос Тэмпи стал резким.

— Хорошо, пусть он меня не видит, пусть выслушает. Потрудитесь сказать ему об этом.

Девушка взглянула на Тэмпи, глаза ее испуганно забежали, когда та спросила:

— Мне что, повторить, что я сказала?

— Мистер Уилмот, э-э, очень занят,— запинаясь, про-
бормотала секретарша.

— Не думаю, что он занят настолько, чтобы не принять
меня. Вот моя визитная карточка. Пожалуйста, передайте:
Тэмпи Кэкстон из студии телевидения хочет увидеться с
ним. Немедленно.

Девица поперхнулась и вскочила со стула.

— О миссис Кэкстон, простите. Мы не знали...

Она на цыпочках пробежала по линолеуму, постучала и,
не дожидаясь ответа, вошла в кабинет.

Часы на ее столе отставали на четыре минуты.

Секретарша вернулась с виноватой улыбкой и ска-
зала:

— Мистер Уилмот будет рад вас видеть.

Мэр поднялся навстречу Тэмпи и очень долго пожимал
ей руку.

— Прошу вас, садитесь, миссис Кэкстон. Я даже пред-
ставить себе не мог, что это вы, иначе вам не пришлось бы
ждать. Ваше имя и здесь хорошо известно. Моя жена —
ваша страстная поклонница. Без лишней скромности смею
сказать, что благодаря вашим телепередачам наш дом стал
образцово-показательным в Уоллабе. Теперь уже считается
вопросом чести не отставать от Уилмотов.

Он снова сел в свое вертящееся кресло у письменного
стола, казавшегося огромным в этом небольшом кабинете,
положил локти на розовый блокнот, где не было ни единой
записи, и, скрестив пальцы, уставился на Тэмпи голубыми
глазами, излучавшими профессиональное беспристрастие.
Должно быть, и в самом деле он был тем человеком, для
которого изобрели термин «образцово-показательный»,—
вся его внешность подходила к этому определению: темные
волосы ежиком, узкие лацканы однобортного пиджака, до-
рогие ботинки с чрезмерно острыми носами.

— Вы должны извинить нас за наше невзрачное вре-
менное пристанище. Сейчас я строю новый дом, он будет
возвышаться над берегом. Моя приемная и канцелярия
муниципалитета займут достойное помещение на втором
этаже, и, выполняя дела, связанные с интересами общества,
мы сможем любоваться самыми красивыми видами Уол-
лабы. А теперь, пожалуйста, скажите, чем я могу быть по-
лезен столь очаровательной даме.

Тэмпи признала, что он отлично умеет «завоевывать
друзей и влиять на умы людей». «Оба мы сейчас занимаем-
ся жульничеством, стараемся продать себя подороже»,—
сказала она себе, а вслух произнесла с улыбкой:

— Мне очень приятно слышать ваши любезные слова, мистер Уилмот. Я пришла к вам как к самому влиятельному человеку в Уоллабе. Мне хотелось бы поговорить с вами по вопросу, имеющему общественное значение.

Она замолчала, выжидая, не выдаст ли он себя каким-либо образом. Знает ли он, зачем она пришла или нет?

Он кивнул в замешательстве и наклонился еще больше вперед, как будто целиком отдавая ей в дар и себя и свое внимание.

— Сущность вопроса заключается в моем глубоком интересе к делу о выселении из Уэйлера семьи Свонберг.

Она увидела, как сжались его губы, хотя долголетняя практика помогла ему сохранить улыбку на лице.

— Семьи Свонберг? — переспросил он. — Ах да, вы, конечно, имеете в виду этих черных. Свонберг — их настоящая фамилия? Или...

— Это фамилия их деда, их отца, а потому, мне кажется, по существующим законам это и их фамилия.

— Мне очень жаль, миссис Кэкстон, но при всем моем восхищении вами я не могу с вами согласиться. Насколько мне известно, никто в Уэйлере не имеет права носить фамилию Свонберг. — Он вытащил из ящика стола лист бумаги и внимательно прочел его. — Самая старая из женщин известна под именем Евы Свонберг, хотя здесь сказано, что родители ее никогда не состояли в официальном браке. Она вышла замуж за чистокровного аборигена по имени Берт, или как там его. Никто из этих черномазых не имеет юридических оснований носить фамилию Свонберг. Но Берт после свадьбы присвоил себе ее. Их дочь Мэй вышла замуж за человека, называвшего себя Пол Бейли, который впоследствии тоже принял фамилию Свонберг. Этот человек пользуется дурной репутацией нарушителя порядка, и лично я хотел бы, чтобы он вообще как можно скорее убрался из нашего города. Их сын Ларс весь пошел в отца: этот мальчишка — настоящий хулиган. В данный момент он замешан в истории с нападением на полицейского. К сожалению, ему удалось скрыться, но полиция занимается его розыском. В общем, это довольно непривлекательная компания. Старый Капитан Свонберг вряд ли мог бы гордиться таким потомством, хотя любой белый, связавшись с туземцами, всегда лезет на рожон. Он ведь иностранец, и, конечно, этим можно объяснить многое.

Тэмпи подавила в себе закипавший гнев.

— И все же вы мне так и не объяснили, почему эту семью выгоняют из Уэйлера.

— По самой простой причине, уважаемая леди. У них нет законных прав на Уэйлер. Договор об аренде Уэйлера передан синдикату, который намерен превратить его в туристический центр, а это привлечет в Уоллабу предпринимателей, что нам совершенно необходимо. Если бы они спокойно уехали, то и не пришлось бы применять силу. Они были предупреждены за месяц и уже давно покинули бы Уэйлер, если бы не вмешательство извне. У них было достаточно времени, чтобы подыскать себе местечко где-нибудь поблизости, в резервации например,— там они могли бы устроиться по своему вкусу. Просто не понимаю, на что они жалуются. Резервация расположена у реки, в самом лучшем месте. Правда, коль скоро Уоллаба начинает идти в гору, эти места будут заняты компаниями, строящими здесь свои предприятия.

— Но ведь Уэйлер был владением Свонбергов на протяжении почти целого столетия. Я всегда считала, что право на наследственное землевладение признано законом.

— Если уж говорить о каких-то правах, то они умерли вместе со стариком Капитаном. А раз он не был законно женат, то все его полукровки-ублюдки — простите меня за такое выражение! — ни на что не имеют прав. А что касается остальных, то неизвестно даже, кто отец самой маленькой в этом племени незаконнорожденных.

— А разве имя ее отца не записано в свидетельстве о рождении?

Мэр весело рассмеялся — ему забавно было слышать это. Потом сказал покровительственно:

— Ну что вы, миссис Кэкстон, не заставляйте меня поверить в то, что такая искусенная в житейских делах женщина, как вы, может оказаться вдруг такой наивной. Ведь эти потаскушки за бутылку пива лягут спать с любым белым подонком.— Он склонил голову набок и, понизив голос, продолжал доверительным тоном:— Как женщина из высших кругов, вы вскоре сами убедитесь, что в целом это весьма мерзкая история. Мой вам совет — я же искренний ваш поклонник — отстранитесь от нее, и как можно скорее. Я рад, что вы пришли прямо ко мне и что я могу откровенно рассказать вам обо всем этом болоте. Грязная жижа этой истории может запачкать любого. А нужно ли это вам с вашей профессией, а?

Итак, он пытался запугать ее, а раз он пытался запугать ее, значит, сам испугался. Она наклонилась к нему и таким же доверительным тоном произнесла:

— Очень любезно с вашей стороны так заботиться обо мне, мистер Уилмот, но, видите ли, я не боюсь грязи. Я всю жизнь была убеждена, что в конце концов эта жижа попадет по назначению. В данном случае я думаю, и вы сами это хорошо понимаете, что общественное мнение будет на стороне людей из Уэйлера, а вовсе не на стороне дельцов, промышляющих куплей-продажей земельных участков. Кстати, в наши дни они не пользуются доброй славой ни у газетчиков, ни у радиокомментаторов.

Он резко выпрямился в своем кресле. Хмурое выражение лица сменилось заискивающей улыбкой.

— Надеюсь, вы не собираетесь бросить тень на кого-либо из людей, связанных с данным делом?

— Здесь я неправомочна. Это я оставляю специалистам. Именно поэтому я и считаю, что данным делом должен заняться департамент по вопросам земельных владений и... и общественное мнение, безусловно. Я возлагаю большие надежды на общественное мнение.

— Смею вас заверить, что общественное мнение, довольно влиятельное в наших местах, решительно выступит против вас. Да и показания полиции характеризуют ваших друзей из Уэйлера не с лучшей стороны.

— А я смею вас заверить, что в Сиднее в настоящее время в ряде случаев показания полиции подвергаются серьезной проверке. А когда дело об Уэйлере попадет в прессу...

Рот мэра перекосила гримаса.

— Вам будет трудно вынести это дело на страницы прессы. Ведь очень многие влиятельные лица — не только в Уоллабе — заинтересованы в том, чтобы такие прекрасные уголки, как Уэйлер, не достались аборигенам. Если вы, миссис Кэкстон, начнете из-за этого борьбу, то, предупреждаю, вы столкнетесь с сильнейшей оппозицией. Вполне возможно, вам придется иметь дело с людьми, от которых зависит ваше благополучие, а вряд ли вам это будет по душе. Разве я не прав?

Она почувствовала, как к горлу ее подкатывает тошнота, будто она дотронулась до чего-то омерзительного. Впервые в жизни она отдавала себе ясный отчет в том, что зло — это часть обычной, повседневной жизни. Раньше она даже и не подозревала, что презрение, гнев и решимость могут принимать определенную форму. Чтобы не выдать своих чувств, она засмеялась своим хорошо заученным звонким, журчащим смехом и откинула назад голову так, что стала видна линия ее шеи и подбородка.

— К чему эта мелодрама, господин мэр?

Мэр уставился на нее наглыми голубыми глазами, как бы оценивая, насколько она сильна и насколько слаба.

— Предупреждаю вас, что люди, заинтересованные в Уэйлере, готовы вступить в борьбу.

Она встала, надеясь, что долгие годы тренировки, причившие ее всем своим видом выражать ошеломляющую самоуверенность, не подведут ее и теперь, хотя на самом деле она совершенно не была уверена в себе.

— Они будут просто удивлены силой отпора.

Мэр тоже встал.

— Ну что ж, могу вам только сказать, что к моменту, когда дело дойдет до суда, шайка из Уэйлера уже раз и навсегда будет вышвырнута из этих мест, а мы раз и навсегда ими завладеем.

Несмотря на грозные слова мэра, Тэмпи показалось, что она уловила в выражении его лица растерянность. Выходя из мэрии, она все еще улыбалась.

Машина ждала ее. Хоуп смотрела на констебля, который стоял рядом, облокотившись на опущенное стекло открытой дверцы машины.

Когда Тэмпи подошла ближе, она услышала, как он, показав рукой на объявление, висевшее у тротуара, спросил:

— Вы что, читать не умеете?

— Я здесь ровно тринадцать минут тридцать две секунды,— спокойно ответила Хоуп.

— Это еще надо доказать.— Он раскрыл толстую черную записную книжку.— Фамилия?

— У вас, очевидно, очень короткая память, констебль! Ведь уже третий раз за эти две недели вы записываете меня в вашу книжку.

Он посмотрел на нее, и одна бровь у него поползла вверх.

— Если бы я запоминал имена каждой твари, которая здесь крутится, у меня бы голова лопнула. Ну, поживей, фамилия?

— Простите, констебль,— прервала его Тэмпи,— я думаю, здесь произошла какая-то ошибка. Могу подтвердить, что мы приехали сюда три минуты одиннадцатого. Сейчас семнадцать минут одиннадцатого, значит, машина никак не могла простоять больше пятнадцати минут.

Полицейский приподнялся над дверцей машины и взглянул на нее. Карандаш повис в воздухе над записной книжкой.

— Разрешите вам заявить: есть свидетель, который может подтвердить, что вы вошли в мэрию без пяти минут десять.

— А я могу вас заверить, что часы мэра отстают на четыре минуты. Может быть, пойдём и проверим?

Полицейский в нерешительности переминался с ноги на ногу.

— Итак, вы собираетесь дать показания? Тогда вам обоим лучше поехать со мной в полицейский участок.

— Зачем? — спросила Тэмпи, тут же вспомнив, что говорил ей Кит о допросах в полиции.

— Там разберутся, когда вы сюда приехали.

— Значит, вы собираетесь нас оштрафовать?

— Я не говорил вам об этом.

— Тогда зачем же нам ехать в полицейский участок?

Констебль внимательно разглядывал Тэмпи, очевидно, взвешивая все за и против, потом медленно закрыл свою книжку, опустил ее в нагрудный карман и с подчеркнутой аккуратностью засунул туда же карандаш.

— Раз вы нездешняя, а эта женщина только ведет вашу машину, на сегодня я вас прощаю. Но пусть это будет для вас последним предупреждением.

— Предупреждением о чем, констебль?

Он пропустил вопрос мимо ушей, повернулся к Хоуп и сказал:

— А ты не вздумай приближаться к резервации, слышишь?

— Но у меня здесь одежда и одеяла для семьи Свонберг.— В голосе Тэмпи слышалась уверенность.— Нам сказали, что тетка этой женщины нуждается в медицинской помощи. Мы хотим видеть ее.

— Из этого ничего не выйдет.

— А я думаю, выйдет.

— Тогда самое время для вас узнать о здешних законах. Управление по делам аборигенов предоставило старшему инспектору резервации право останавливать нежелательных лиц, направляющихся в резервацию. Он говорит, что ее туда не допустят. Никого из шайки, живущей в Уэйлере, туда не допустят.

— Я надеюсь, меня это запрещение не касается?

Полицейский долго обдумывал заданный ему вопрос.

— Вполне понятно, что раз мы не знали о вашем приезде, то не могли сделать такого запрещения.

— Тогда мне хотелось бы попросить вас позвонить старшему инспектору и сказать, что я намерена встретиться с семьей из Уэйлера. Время мне дорого, и я не хотела бы звонить редактору одной из наших ведущих газет, моему большому другу. Вы ведь знаете о кампании, которая ведется сейчас против полиции и некоторых должностных лиц, забывающих, что они должны служить интересам общества.

Констебль был в замешательстве. Он промямлил что-то несвязное, потом замолчал и наконец сказал:

— Хорошо. Но если эта женщина попытается сделать хоть шаг в резервацию, я буду вынужден арестовать ее.

Он повернулся и тяжелой походкой пошел по тротуару, а затем начал подниматься по ступенькам лестницы, ведущей в мэрию.

Не говоря ни слова, Хоуп включила зажигание.

Тэмпи засмеялась, на этот раз совершенно искренне. Ее рассмешили неуклюжие действия полицейского, и в то же время ей было радостно, что она нашла в себе силы и мужество вступить в неравную борьбу.

Когда они завернули за угол, у Хоуп вырвался продолжительный вздох.

— Вы просто восхитительны! Честно говоря, я даже представить себе не могла, что вы способны на такое.

— Я и сама себе этого не представляла.

Хоуп остановила машину за городом, в тихом месте у дороги и протянула Тэмпи сигареты.

— Я хочу попросить у вас прощения за то, что плохо думала о вас. Расскажите мне, как прошел визит к мэру, а потом подумаем, что нам делать дальше.

Она внимательно выслушала Тэмпи, а когда та закончила свой рассказ, спросила:

— Ну, теперь-то вам ясно, что вы на правильном пути?

— Да, совершенно ясно,— ответила Тэмпи.

Дорога сворачивала к югу от основного шоссе, ведущего из города, и около трех миль петляла вдоль небольшого ручья. Они подъехали к воротам, над которыми значилось «Прибрежная резервация».

За воротами открывался довольно живописный вид, высокие деревья росли вдоль дороги, ведущей к красивому белому дому на зеленом холме.

— Простите, отсюда вам придется идти пешком,— сказала Хоуп.— Мне дальше ехать нельзя. Сам инспектор и

его жена дали указания в отношении меня. Запомните, он здесь бог. И я не могу больше рисковать, идя на столкновение с полицией. Они просто-напросто выкинут меня из города, хоть это и незаконно. Тогда все мы окажемся в трудном положении, потому что только я и Джед водим машину, но Джеду нельзя уезжать из Уэйлера — они схватят его за какую-нибудь вымышленную провинность. Попросите старшего инспектора прислать кого-нибудь из молодежи за свертками, хорошо?

Она посигналила.

По дорожке к ним торопливо шел старик абориген, штаны цвета хаки болтались на его тощем теле. Он открывал ворота и, не переставая, говорил:

— Пожалуйста, входите, миссас. Пожалуйста. Хозяин только что встал. Он ждет вас. Вот здесь, с краю, дорожка получше. Все дожди да дожди, очень грязно. Хозяин и констебль всегда ездят на машинах.

Тэмпи осторожно ступала по обочине, где колеса машин выдавили глубокую колею в глине. Старик семенил за ней. Когда туфли Тэмпи утопали в грязи, он издавал бессвязные восклицания и протягивал ей руку, как будто желая помочь, но не решался это сделать. Каждый раз, как она встречала взгляд его единственного глаза на темном, морщинистом, как скорлупа ореха, лице, он стыдливо улыбался, словно на нем лежала ответственность за состояние дороги.

«О господи! — вздохнула она. — Что только здесь делают из людей!» Ведь это несчастное подобострастное существо могло быть братом Берта или Пола — Берта с его спокойным достоинством или Пола с его ожесточенной гордостью. Старик забежал вперед, открыл ворота в сад старшего инспектора, потом заспешил по дорожке, выложенной гравием, взобрался по ступенькам веранды и крикнул:

— Хозяин! Хозяин! К вам пришла миссас!

Из дома донесся громовой голос:

— Я ведь приказал, чтобы мне доложили, когда придет машина!

Старший инспектор показался в дверях, на ходу затягивая ремень. Когда он увидел Тэмпи, сердитое выражение лица моментально уступило место официальной улыбке, изображающей радушие. Он сбежал по ступенькам навстречу ей, огромный, внушительный, в тщательно отутюженных широких брюках и куртке цвета хаки.

— Прошу, прошу, прошу, миссис Кэкстон, вы доставите нам истинное удовольствие. Но я должен извиниться за то, что вам пришлось идти по этой ужасной дороге. Констебль сообщил мне о вашем визите, и я приказал садовнику открыть ворота вашей машине,— конечно, я думал, что вас подвезут прямо сюда.

— Констебль сказал, что моей приятельнице нельзя появляться на территории резервации. Поэтому, естественно, мы решили, что она не может подвезти меня сюда.

— Это какая-то ошибка. Уверяю вас: ни я, ни констебль не имели в виду ничего подобного. Что бы мы ни думали о вашем шофере, ради элементарной вежливости по отношению к такой даме, как вы, мы, конечно, разрешили бы ей довезти вас до дома. Боже мой, вы совершенно испачкали туфли. Эй, Одноглазый, беги на кухню, возьми суконку и щетку и почисти туфли леди.

— Не беспокойтесь. Они станут еще грязнее после того, как я пройду по резервации.

Тэмпи старалась не выдать голосом своего раздражения, раз уж не хотела вызвать у него враждебное отношение к себе, но она напрасно беспокоилась — инспектор был слишком взволнован тем, что его застали врасплох, и не замечал никаких интонаций.

— Вы меня должны извинить, миссис Кэкстон, за то, что я не вышел встретить вас. Вообще-то я встаю очень рано, но вот в этом месяце я... э... очень много работаю над... отчетами и тому подобное. Прошу вас, проходите сюда. Моя жена придет с минуты на минуту. Она сейчас в прачечной — пытается втолковать прачкам кое-какие элементарные истины о том, как нужно стирать.

Он провел ее в уютную, богато обставленную гостиную.

Вскоре в комнату поспешно вошла его жена, худощавая женщина в аккуратной синей форменной одежде. Видимо, она была взволнована не меньше, чем ее муж.

— О господи! Как жаль, что мы не имели времени подготовиться к встрече с вами, миссис Кэкстон. Для нас ваш приезд большая честь. Пожалуйста, располагайтесь как дома. Не могу удержаться, чтобы не сказать вам: в жизни вы выглядите куда эффектнее, чем на экране телевизора. Я всегда с упоением смотрю ваши передачи. И хотя я заведу хозяйством в резервации аборигенов, это вовсе не означает, что я не интересуюсь более красивыми сторонами жизни.

Она хихикнула, поправила выбившуюся прядь седых волос и села рядом с Тэмпи, не сводя с нее глаз, в которых мелькали подозрение и страх.

Инспектор подошел к бару в углу комнаты.

— Вы должны выпить с нами, миссис Кэкстон. Давайте отпразднуем ваш приезд.— Он достал из кармана связку ключей, выбрал один и открыл дверцу бара.— Вот, приходится все держать под замком. Этим черным скотам ни в чем нельзя доверять, особенно если дело касается спиртного. Они способны украсть его прямо из-под носа. Ну, так чего же вам налить? Пусть никто не скажет, будто мы негостеприимны.

— Не беспокойтесь, спасибо. Я никогда не пью по утрам крепких напитков.

— О!— Он пристально посмотрел на нее, желая понять, не было ли в этом отказе какого-нибудь подвоха. Решив, что все в порядке, он весело рассмеялся и спросил:— Тогда, может быть, лимонада? Моя жена любит его, и у нас всегда найдется что-нибудь в холодильнике.

Он неохотно закрыл бар. Жена его подошла к двери и крикнула:

— Бетти! Принеси нам пару бутылок лимонада, да поставь их на самый красивый поднос.

Вошла Бетти, громко шаркая резиновыми шлепанцами. Голова покорно наклонена вниз, так что лицо скрыто под черными волосами; застиранный бумажный балахон едва прикрывает худенькие голые икры. Бутылки зазвенели на серебряном подносе, когда она дрожащими руками ставила их на стол. Потом она отступила назад, украдкой взглянула на Тэмпи сквозь растрепанные волосы.

— Вот ключи, принеси печенье из круглой корсбки, что в угловом шкафу,— сказала хозяйка.

Пока Тэмпи потягивала лимонад, отказавшись от печенья, инспектор вертел в руках свой стакан.

— Ну что ж, миссис Кэкстон, я думаю, вас привело к нам не одно лишь желание выпить лимонаду,— сказал он.— И потому, если вам здесь уютно, посидите, а я расскажу вам подробно об этой резервации. Я здесь три года, и за это время мы многое изменили.

— Мне кажется, констебль не вполне точно сказал вам о цели моего визита, господин старший инспектор. Мой визит носит исключительно частный характер: я приехала, чтобы повидаться с людьми, переправленными сюда полицией из Уэйлера.

— Ах, вот оно что! Не думаю, чтобы вы смогли многое от них узнать. Если хотите услышать мое мнение, это отвратительные, угрюмые люди. С самого их приезда я не смог добиться от них ни единого путного слова. Они даже не поблагодарили меня за разрешение поселиться здесь, в резервации.

— Не слишком ли многого вы ждете от людей, изгнанных из дома, где они родились и прожили всю свою жизнь?

— Это меня не касается. Я уверен, мэр и полиция хорошо знают, что делают, и раз уж они сделали именно так, выходит, это всем на пользу. Я занимаюсь только теми, кто находится по эту сторону ворот резервации. Я несу ответственность и за них и за их поведение. Должен вам сказать, я не в восторге от того, что мне спихнули этот сброд из Уэйлера. Их головы полны идеями, а у меня в резервации идеям нет места.

— А мне казалось, что идеи нужно поддерживать и поощрять всегда и везде.

— Не стоит затевать спор. В наше время, особенно в городах, болтают много ерунды относительно положения черных; в основном разговоры эти ведут люди, которым не приходилось жить вместе с черными. А я могу заверить вас, миссис Кэкстон, что правительство делает для них больше, чем они заслуживают.

— Насколько я знаю, эти люди ничего для себя не просят, кроме того, чтобы их оставили в покое. Как бы то ни было, в данный момент мне бы хотелось увидеться с ними. Вы можете это устроить? Мы привезли для них одежду и одеяла.

Инспектор и заведующая хозяйством переглянулись.

— Конечно,— сказал инспектор,— конечно. Именно это я и намеревался вам предложить, как только вы допьете лимонад. Если вы готовы, мы с женой проводим вас туда.— И, выйдя на веранду, крикнул:— Эй, Одноглазый, сбегай к воротам, пусть пропустят ту женщину с машиной! Пешком слишком далеко,— объяснил он Тэмпи.— Я охотно подвез бы вас на своей машине, но у меня, как назло, сел аккумулятор, и я послал двоих ребят в город перезарядить его. Так они еще до сих пор не вернулись — пользуются случаем. Ленивы, черти, все до одного.

Они прошли по дорожке, усыпанной белым гравием, мимо ухоженных газонов и ровно подстриженной живой изгороди, мимо великолепных клумб с цветами.

— Как вы находите мой сад?— с гордостью спросил хозяин.

— Очень красивый.

— Да, неплохой, если к тому же учесть, что воду для него приходится носить из ручья.

Подъехала Хоуп; инспектор и его жена уселись в машину на заднее сиденье, словно в такси.

— Подвезите нас к поселку,— приказал инспектор.

Хоуп медленно вела машину по грязной дороге, обсаженной высокими деревьями, по направлению к группе за́копченных, рассыпавшихся вдоль ручья хижин с плоскими крышами, которые отличались друг от друга только степенью разрушенности.

Инспектор наклонился к Тэмпи:

— Это и есть поселок. Неплохое местечко, правда? Обратите внимание, как расщедрилось управление по делам аборигенов! Решили ввести здесь некоторые усовершенствования и построили новые... э... отхожие места. Извините, что я упоминаю о таких прозаических вещах. Прежде все население пользовалось одним... э... клозетом. Теперь при каждом доме есть свое собственное отхожее место, будет очень красиво, когда все их покрасят, правда? Это очень оживит пейзаж.

Тэмпи душил беззвучный хохот, губы Хоуп сводила судорога. Они живо представили себе контраст между однообразно серыми лачугами и прилегающими к ним деревянными уборными, выкрашенными в яркие цвета — красный, желтый, голубой, зеленый, оранжевый, фиолетовый — уродливые поганки, выросшие в сочной, пышной траве.

В садиках, не огороженных заборами, бегали дети. Цыплята разгребали лапами мокрую землю.

Пока они ехали, черные глаза следили за ними из-за приоткрытых дверей и сквозь окошки. Это были глаза тех самых жалких людей в обтрепанной одежде и рваной обуви, которых Тэмпи впервые увидела шесть лет назад на дороге в Уоллабу. Женщины и девушки бросали взгляды из-под всклокоченных, нечесаных волос. Хилые грудные младенцы у них на руках и уже начинавшие ходить дети в лохмотьях, цепляясь за юбки своих матерей, смотрели на проезжающих застенчиво и боязливо, как загнанные зверьки; с ног до головы они были вымазаны в густой грязи, к которой липли мухи.

— Послушайте человека, умудренного опытом, миссис Кэкстон,— сказал инспектор.— Черные — это люди конченные.

— Скажите, пожалуйста, почему вы называете их всех черными, хотя цвет кожи у них неодинаковый — от шоко-

ладного до почти белого? Да и черты лица у некоторых почти как у нас.

— Тот, в ком течет хоть капля крови аборигена, называется черным. Официально их, конечно, именуют аборигенами, или проще або. Вглядитесь повнимательнее в их лица, в их глаза, и вы увидите — это глаза або.

Черные глаза, большие и прекрасные, как у Кристи. Фэмпи вздрогнула, подумав, что Кристи, возможно, придется жить здесь. Какой контраст между домом, в котором она провела ночь, и этими трущобами, оставляющими столь гнетущее впечатление! Кто же во всем этом виноват?

— Разве эти люди достойны лучших жилищ? — вопрошал инспектор. — Посмотрите туда! Тридцать прекрасных домиков! А что внутри? Свалка мусора! Ящики да картонные коробки. И спят на полу, словно свиньи.

— Сколько человек живет здесь?

— Больше ста восьмидесяти. А с этими, из Уэйлера, почти сто девяносто.

Сто девяносто человек в тридцати двухкомнатных домах! Она старалась подавить в себе гнев, сжимавший ей горло. Тридцать полуразвалившихся лачуг, в которых теснились люди всех возрастов: старики, молодые, дети.

— Все они ужасно примитивны, — продолжал инспектор. — Даже не знаю, что с ними делать. Некоторых доставили сюда прямо из буша. Их даже невозможно научить пользоваться туалетом. Боятся всего на свете. Иногда сюда наезжают посторонние, бог знает с какими мыслями, и никак не хотят согласиться, что сами черные во всем виноваты. Доктор и старшая сестра городской больницы высказывают всякие абсурдные мысли. Все они рождаются в головах людей, которые сами никогда не жили с черными. Старик пастор тоже вечно лезет не в свои дела, даже написал письмо в Сидней, в газету.

— И что же за этим последовало?

— Ничего. Управление обратилось ко мне, и я изложил факты. На этом все и закончилось.

— Да они и сами-то не хотят себе помочь, — усталым голосом произнесла заведующая хозяйством. — Матери совсем не заботятся о детях. Когда у них заболевает ребенок, они приносят его ко мне. А болеют так часто, что у меня нет ни минуты покоя.

— Чем же это, по-вашему, вызвано?

— Да им просто лень позаботиться о своих детях, накормить их как нужно.

— Куда там!— добавил инспектор.— Пособия по безработице и деньги на содержание детей уходят на спиртное да на азартные игры. Вы не поверите: некоторые из них платят даже по десяти шиллингов за бутылку самогона. Жуткая гадость этот напиток!

— А почему они это делают? Разве они не могут купить спиртное по обычной цене в баре?

— Только не здесь, в Уоллабе. У местных хозяев питейных заведений высоко развито чувство гражданского долга. А последний закон, разрешающий черным пить в барах,— просто ужасный закон, он погубит их окончательно.

Путь им преградила толпа, собравшаяся у какого-то ветхого здания возле дороги. Слышались оживленные голоса громко споривших людей. Инспектор нахмурился и взглянул на жену, видимо, не зная, как ему поступить.

— Что это еще случилось в прачечной? — спросил он.

— Да все этот школьный учитель. Опять баламутит народ.

Инспектор раздраженно сказал:

— Вы даже представить себе не можете, миссис Кэкстон, что нам приходится переносить. Будто мало нам забот с доставкой воды в эту самую прачечную. Так нет, прислали еще какого-то молодого учителя, у которого голова набита сумасбродными идеями. Он ничего не понимает в делах черных, но сует во все нос и мешает нам.

И тут, словно актер, которому подошло время произнести реплику, показался учитель. Молодое энергичное лицо пылало гневом.

— Одну минуточку, господин старший инспектор,— позвал он.— Мне хотелось бы поговорить с вами.

— Я, кажется, уже неоднократно просил вас не подходить близко к прачечной, мистер Мэнтон. Она никоим образом вас не касается.

Серые глаза учителя сверкнули.

— А мне кажется, я тоже говорил вам, и неоднократно, господин старший инспектор, что меня касается все, что так или иначе влияет на здоровье моих учеников. Поэтому я и впредь буду заниматься этими делами.

— У меня нет времени на разговоры с вами. Вы ведь видите, у меня в гостях леди. Поговорим позже в моей конторе.

Молодой человек посмотрел на Тэмпи.

— Я считаю, что сейчас самое подходящее время для разговоров, особенно если у вашей гостьи есть хоть капля

человеколюбия. Что бы вы сказали, мадам, если бы дети, которых вам надлежит обучать, получали завтраки, приготовленные в прачечной, на столе для грязного белья, без соблюдения каких бы то ни было правил гигиены?

— Это наглая ложь, мистер Мэнтон, — бросилась в атаку заведующая хозяйством. — Я говорила девушкам, которые готовят детям завтраки, чтобы они мыли руки и стелили на стол газеты. И уж куда лучше для детей, когда завтраки готовятся здесь, а не в их грязных, вонючих домах, не их грязными, вонючими матерями.

— Нет, вы только взгляните на них! — вдруг закричал инспектор. — Вы только взгляните на них, миссис Кэкстон, и подумайте, с какими отбросами мне приходится иметь дело! Они не могут содержать в чистоте ни себя, ни своих детей.

— Хотелось бы мне посмотреть, как бы вы сами содержали себя в чистоте, если бы вам пришлось мыться в жестяном тазу в прачечной, двери которой всегда открыты, — резко возразил учитель. — Ведь, кроме как здесь, им негде помыться.

— А кто в этом виноват? Я? Не желаю больше выслушивать ваши замечания.

— И я тоже, — добавила заведующая хозяйством. — Все они мерзкие, грязные потаскухи. Прошу прощения, миссис Кэкстон.

— А почему вы не позаботитесь о том, чтобы матери получили хоть какие-либо знания по гигиене? — обернулся к ней учитель. — Раз вы заведуете хозяйством, это ваша прямая обязанность.

— Да с какой же стати? — возмутилась заведующая хозяйством. — Разве мы не установили здесь еще две бочки с водой, а в школе не сделали умывальник после того, как вы затеяли всю эту склоку?!

Учитель в отчаянии схватился за голову и, повернувшись к Тэмпи, воскликнул:

— Какой-то заколдованный круг! Этих людей загоняют в грязные лачуги, заставляют жить в антисанитарных условиях, а потом их же обвиняют в нечистоплотности.

— А это уж совсем не ваше дело, — перебил его инспектор. — Ваше дело — учить детей, вернее, пытаться учить их, ведь это пустая трата времени — ума у них не больше, чем у моего фокстерьера. Пустая трата времени и денег, которые правительство дает на новые школы, будто нет других неотложных нужд. Много ли они выучили за этот год? Вот что мне хотелось бы знать.

Учитель снова обратился к Тэмпи:

— Они сами создают трудные, почти невыносимые условия для учебы детей, а потом обвиняют их в невежестве.— Он повернулся к инспектору: — Дети усваивали бы куда больше, если бы они не были вынуждены жить в перенаселенных хижинах, где даже нет электричества. Как же они могут готовить домашние задания?

— Вы знаете так же хорошо, как и я, что, если мы продолжим вести в эти дома электричество, старики будут против. Ведь они не хотят, чтобы дети учились.

— Это относится отнюдь не ко всем. Когда я попытался организовать родительский совет, многие отнеслись к этому с интересом.

— А я заявляю вам, что не потерплю здесь никаких родительских советов. Вы делаете это с одной-единственной целью — напичкать их своими идеями. Ведь вы, так же как и я, отлично знаете, что дети эти никогда ничему не научатся.

— А вы, так же как и я, отлично знаете, что это неправда. Я уже много раз рассказывал вам о Шерли Картер. Она прекрасная ученица и с будущего года сама сможет вести занятия с начинающими.

— Но только не в этой резервации, мистер Мэнтон. У меня и так хватает забот с або. Вы не прожили здесь еще и года, а уже имеете дерзость вести себя так, будто лучше меня понимаете, что нужно этим аборигенам.

— Во всяком случае, я получил специальное образование, чего, к сожалению, нельзя сказать ни о ком из вас.

— Вы...— Инспектор с трудом сдерживал ярость.— Если вы и дальше позволите себе дерзить, я доложу о вас начальству.

— Не беспокойтесь, я раньше вас напишу обо всем в своем докладе.

Учитель снова повернулся к Тэмпи и сказал язвительным тоном:

— Надеюсь, мадам, вы найдете в себе мужество посмотреть на все честными, открытыми глазами, а не поступите так, как другие. Они вихрем пронесются по резервации, одуревшие от алкоголя, ничего не видя, а потом в своих отчетах расхваливают ее как образцовую.

Сказав это, он пошел большими шагами по направлению к зданию школы, ярким пятном выделявшемуся среди деревьев.

— Я должен принести вам извинения, миссис Кэкстон,— сказал инспектор, когда машина снова тронулась.—

С тех пор как этот человек приехал сюда, мы не знаем покоя. Дело дошло до того, что либо департаменту придется убирать его отсюда, либо я подаю в отставку. Этот субъект — отъявленный смутьян.

Дом Джорджа стоял в зарослях кустарника, которыми заканчивалась единственная в резервации улица. Это была такая же хижина, как и остальные, но с двухкомнатной пристройкой из грубых бревен, с верандой, увитой виноградом, с садиком, огороженным частоколом, и она больше походила на жилое помещение, чем все другие строения, служившие, видно, только для того, чтобы в них можно было укрыться от непогоды.

Инспектор остановился, опершись о калитку.

— Я пытался уговорить управление по делам аборигенов разрешить мне снести все эти пристройки, чтобы придать дому такой же вид, как у других. Не к чему выделяться и вызывать зависть и недовольство.

— Но они, очевидно, построили все это своими руками.

— Здесь все принадлежит управлению, и оно вправе, если потребует, снести любой дом.

— Но они, вероятно, гордятся своим домом.

— Вот это-то и плохо. Гордость как раз не то чувство, которое нужно развивать в аборигенах. Они делаются чресчур заносчивыми, и с ними совсем трудно справляться. Возьмите того же Джорджа. Стоило ему половить рыбу с этим отродьем из Уэйлера, и он возомнил о себе бог знает что. Грубит, пререкается, оказывает дурное влияние на других. А теперь еще спелся с учителем, значит, жди от этой пары новых неприятностей. Ну да ладно, дом его так или иначе заполнен теперь до отказа, и, если он не утихомирится, я быстро вышвырну его прочь.

Инспектор открыл калитку. Его зычный голос эхом разнесся между деревьями:

— Эмма, Эмма, поди-ка сюда. Ты нам нужна.

В дверях показалась смуглая женщина, очень похожая на Пола: сильное, волевое лицо, глаза человека, постоянно погруженного в мрачное раздумье, крепкая, ладная фигура. Женщина была чисто и аккуратно одета, поверх ситцевого платья красовался нарядный шерстяной джемпер. Она оперлась одной рукой о дверной косяк и смотрела на гостей, всем своим видом выражая вызов и готовность к обороне.

— Ну, что ж ты молчишь? — спросил инспектор.

— А что я должна говорить, господин старший инспектор?

— Ты видишь — к вам приехала леди. Она пожелала встретиться с людьми из Уэйлера.

Он замолчал, ожидая приглашения войти. Но женщина не проронила ни слова.

— Что же ты не приглашаешь нас в дом?

— Зачем же мне вас приглашать, разве вы не привыкли приходить без приглашения?

Женщина перевела взгляд на Тэмпи, и ее губы тронула легкая улыбка.

— Прошу вас, леди, войдите.

Она посторонилась, пропуская Тэмпи, потом повернулась спиной к инспектору и его жене и, войдя в переднюю комнату, сказала:

— Ева, приехала мать Кристофера повидаться с тобой.

Комната была небольшая, бедно обставленная. Наверное, это была общая комната, где собиралась вся семья. Спальные принадлежности аккуратно уложены на старой кушетке, рядом — сложенная раскладушка.

Тэмпи прошла вперед. Крупная женщина, сидевшая в кровати, опершись спиной на гору подушек, протянула ей руку. Когда руки их встретились, в горле у Тэмпи защемило — ведь это она, мать Занни, та самая тетя Ева, которую так любил Кристофер. Эмма пододвинула стул, Тэмпи села, инспектор и его жена, раздраженные и стремящиеся поскорее уйти отсюда, остались стоять.

— Ну, как тебе нравится твой новый дом? — произнес наконец инспектор с наигранной веселостью.

Ева, даже лежа в кровати, оставалась хозяйкой положения. Она смело подняла на него глаза и сказала:

— Мне здесь совсем не нравится, господин старший инспектор. Но мои родственники, любезно предоставившие нам кров, знают, что это относится не к ним и не к их дому.

— Тебе все равно придется прожить здесь некоторое время, поэтому лучше вести себя по-иному.

— А как я могу вести себя по-иному, если меня выбросили из собственного дома и привезли сюда как преступницу?

— Ну-ну, осторожнее, Ева. О полиции так говорить не положено.

— Я говорю о полиции то, что думаю. А поскольку я не приписана к вашей резервации, то прошу называть меня миссис Свонберг.

— Если ты еще раз... — начал было инспектор, повысив голос почти до крика, но осекся, наткнувшись на взгляд Тэмпи. — И все же, — закончил он уже спокойным тоном, —

моя жена приехала сюда, чтобы осмотреть твою ногу. Как она у тебя сегодня?

— Хуже.

Заведующая хозяйством сдернула одеяло и разбинтовала распухшее колено.

— Ну вот! Разве не права я была вчера? На коже нет даже царапин. Просто синяк.

Тэмпи подошла ближе.

— Простите, но мне кажется, это не просто синяк — опухоль слишком большая.

— Ну, мне, видимо, лучше знать. Я больше имею дела с черными. У черных всегда так распухает. Ничего, пройдет, пусть полежит денек-другой, долго залеживаться тоже вредно. Лень еще никому не приносила добра.

— Я никогда не была ленивой.— Голос Евы звучал твердо и холодно.— И с ногой моей никогда ничего не было, пока констебль не вышвырнул меня из моего дома и не толкнул так, что я расшибла колено о каменную ступеньку. Теперь вот с ним творится что-то неладное.

— Чепуха! Раз моя жена сказала, что все в порядке, значит, так и есть. Она за одну неделю столько видит подобных вещей, сколько ты за всю свою жизнь не видела.

— А вы медицинская сестра со специальным образованием?— спросила Тэмпи.

Болезненно-желтое лицо заведующей хозяйством залила яркая краска.

— Нет, но у меня большой практический опыт.

— Тогда вы должны понять, что нога серьезно повреждена. Нужно вызвать врача.

— Послушайте, миссис Кэкстон,— вмешался инспектор, направляясь к выходу,— все это утро я вел себя, кажется, вполне корректно, несмотря на то, что вы явились сюда незваной. Но я не намерен выслушивать ваши советы о том, как мне управлять резервацией.

— Меня вовсе не касается, как вы будете управлять резервацией, а вот состояние ноги миссис Свонберг меня волнует. Могу ли я посоветовать вам, вернувшись домой, позвонить констеблю и сказать ему, чтобы он немедленно прислал врача?

Лицо инспектора побагровело, его жена издала какие-то непонятные звуки.

— Миссис Кэкстон,— сказал инспектор,— мне кажется, вы приехали сюда, чтобы сеять смуту. Поэтому чем скорее вы отсюда уедете, тем будет лучше.

Тэмпи не знала, как ей быть. Сердце ее бешено колотилось. Стоит ей сейчас уехать — и весь гнев старшего инспектора, который он не осмеливался излить на нее, обрушится на Еву, Эмму и всю их семью. Вид несчастных, забытых аборигенов, которые попадались ей на пути сюда, вверг ее почти в отчаяние. Но поведение Эммы олицетворяло собой протест против убожества окружающей среды, калечащей людей, способствующей их вырождению, а чувство собственного достоинства и уверенности в себе, которым обладала Ева, свидетельствовало о том, что она — человек непокоренный и покорить ее нельзя.

Тэмпи чувствовала, как и в ней самой растет и крепнет мужество. Все утро она шла от столкновения к столкновению, натываясь то на одну несправедливость, то на другую; она преодолевала препятствия по наитию, но каждое такое столкновение помогало ей познавать действительность. Сейчас она уже, казалось, могла охватить взором все в целом: полицейский, старший инспектор, а выше над ними, на самой верхней ступеньке лестницы, на недостижимой высоте — тупой бюрократизм и безразличие властей. Все это было страшно своей безликостью. Как же с этим бороться? Обрывки разговоров, которые она слышала дома, когда Кит обсуждал со своими приятелями-журналистами тактику поведения при решении разных общественных проблем, вдруг всплыли у нее в памяти. «Нужно обращаться в верха», — говорили они тогда. И, как бы следуя этому совету, Тэмпи сказала инспектору:

— Если вы не сделаете так, как я вам сказала, мне придется поехать в город и позвонить министру, с которым я хорошо знакома.

Она и сама толком не знала, как ей поступить, если ее угроза не подействует на инспектора. Не знала она и того, что может сделать министр и что вообще нужно сделать всем людям, начиная с министра, чтобы добиться каких-то результатов. Но инспектор явно струсил. Он быстро прошел через веранду, его жена последовала за ним. Эмма проводила их до двери и увидела, как они вошли в соседний дом.

— Вы необыкновенная женщина, миссис Кэкстон, — сказала Ева своим низким голосом. — Вы достойны вашего Кристофера.

— Надеюсь, что для Кристи я буду лучшей бабушкой, чем была матерью для Кристофера.

Ева нежно похлопала ее по руке.

— Вы очень напоминаете нам Кристофера, у вас те же черты лица: тот же нос, губы. Только волосы у него были чуть светлее. Славный был мальчик.

— О да, но я этого не ценила.

— Мне кажется, вы смелая женщина.

— Не знаю. До сегодняшнего дня мне как-то не приходилось делать ничего такого, что потребовало бы от меня смелости.

— Большинство людей, приезжающих сюда, обычно молча выслушивают бахвальство старшего инспектора, потом он накачивает их спиртным и они уезжают. И ничего не меняется.

— Но как же они могут оставаться спокойными, видя эти несчастные существа, что живут здесь?

— Старший инспектор внушает им то же, что наверняка пытался внушить и вам: отцы — грязные свиньи, дети болезненны, а матери ленивы.

— Посмотрите сами, какими могут быть аборигены, — сказала Эмма.

Она подошла к двери и тихо позвала кого-то.

Послышались шаги. Высокая худенькая женщина со смуглой кожей нерешительно остановилась в дверях.

— Это моя дочь Мэй, — сказала Ева. — Возможно, вы помните, она старшая сестра Занни.

Тэмпи взяла тонкую руку Мэй, на вид такую хрупкую. В памяти мгновенно всплыли строки из дневника Кристофера — как он описывал руки Занни. Мэй застенчиво взглянула на Тэмпи, доброжелательно улыбнувшись ей. Как не похож был ее взгляд на взгляды других женщин, которых Тэмпи встречала в резервации, — занскивающие или злобные, исподлобья. Мэй держала за руку мальчика лет двенадцати; у него было темное умное лицо с четко очерченными полными губами.

— Это мой сын Питер.

Тэмпи ласково потрепала ребенка.

— Я знаю, — сказала она.

Подошла симпатичная шустрая девочка.

— И ее я знаю. Это Тоффи.

Тоффи беззаботно хихикнула. Видимо, все происходящее забавляло ее.

— Вы сказали, что занялись этим лишь потому, что решили бороться за внучку, — продолжала Ева. — У меня еще больше причин вести борьбу. Если моя нога позволит мне когда-нибудь встать, я не останусь даже перед угрозой тюрьмы. — Ее черные глаза загорелись, губы решительно

сжались.— В Уэйлере я была слишком изолирована от всего мира, и жилось мне легко. Но за последние три дня я будто прозрела. Я слышала, как старший инспектор и его жена позволяют себе разговаривать с Эммой, с Джорджем да и со мной — никогда в жизни со мной никто так не разговаривал. А вчера инспектор ударил Питера по лицу. В Уэйлере никто не поднимал руки на детей ни при жизни моего отца, ни потом. Мне нужно было приехать сюда, чтобы увидеть, как бьют по лицу моего внука лишь за то, что он чуть замешкался и не угодил человеку, в обязанности которого входит приобщать к цивилизации людей с черной кожей. Джед прав, когда говорит, что люди, сидящие на вершине дерева, не могут считать себя в безопасности, пока стоящие внизу держат в руках топор.

— Когда уедете от нас, вы будете рассказывать о том, что увидели здесь? — спросила Эмма.

— Я непременно расскажу обо всем, что узнала, — пообещала Тэмпи. — До приезда сюда я даже не подозревала, с чем мне придется столкнуться. Я думала, речь идет лишь о борьбе за ваше возвращение в Уэйлер. Теперь я вижу: за этим кроются вещи более важные.

На темном лице Эммы, словно два уголька, горели глаза. В ее низком, грудном голосе слышалось волнение:

— В таком случае расскажите всем: не аборигены виноваты в том, что они такие грязные, ленивые и невежественные. Разве у них есть хоть какая-то возможность стать дружными? Если вас спросят, почему дети аборигенов — кожа да кости, почему они не могут хорошо учиться, повторите слова учителя: «Дети голодают». Кое-кто из ребятишек и мог бы посещать школу в Уоллабе — учитель у нас хороший, — но родителям нечем их накормить, а голодных ведь в школу не пошлешь. Родители не в состоянии даже прилично одеть своих детей. Мужчины обычно уезжают на сезонные работы — собирать горох или фрукты. Остаток года семьи живут на эти деньги. После уплаты ренты почти ничего не остается, еле сводят концы с концами. Только у Джорджа имеется постоянная работа.

Жена инспектора — у меня не поворачивается язык называть ее заведующей хозяйством — наверняка скажет вам, что черные женщины не хотят обременять себя заботами о своих младенцах. А вот доктор подтвердит, что вода в ручье загрязнена, и все же им приходится мыть детей в этой воде и даже пить их ею. Только у инспектора есть собственный бак для воды, да вот еще у нас. Джордж купил подержанный бачок и сам его установил.

Инспекторша скажет вам, что у аборигенок нет чувства собственного достоинства, нет человеческой гордости. А откуда может взяться гордость, если они ходят в обносках, сами голодают, лишь бы только хоть как-то накормить детей. Расскажите всем, что в резервации нас заставляют покупать продукты в лавке при доме старшего инспектора по ценам, почти в два раза более высоким, чем в городе. Вы спросите, почему мы не ходим в город, хотя до него всего три мили? Потому что там с нами обращаются еще хуже: лавочники гонят из своих лавок, полиция гонит вон из города, если мы появимся на улицах после десяти часов утра. Таковы факты.

Вот вы сейчас в моем доме: на вид он неказистый. Но присмотритесь получше. Все, что здесь есть, до самой последней мелочи, мы с мужем заработали своими руками. Я скребла чужие полы, стирала белье для белых (они платили мне вполтину меньше, чем любой белой женщине). Пристройку мы тоже сделали сами. А разве это все наше? Как бы вы посмотрели на то, что в ваш дом в любое время дня и ночи без стеснения вваливаются инспектор, полиция, служащие из управления по делам аборигенов разгуливают по нему, хозяйничают, даже не спросив вашего разрешения? А у нас это все в порядке вещей.

Управление по делам аборигенов вовсе не интересуется условия нашей жизни. Оно защищает таких бездельников и пьяниц, как наш старший инспектор, да еще тех белых из города, которые эксплуатируют нас, выплачивая половину того, что им пришлось бы заплатить белым рабочим. Только о них и заботится это управление. У нас не ведется борьба ни с москитами, ни с глистами, ни с дизентерией, а ведь от всего этого можно избавиться за какой-нибудь год, если взяться по-настоящему. А разве муниципалитет озабочен этим? Отнюдь нет. По мнению муниципалитета, здесь нужна только крепкая рука, чтобы держать нас в узде.

А наберитесь вы смелости настаивать на своих требованиях, старший инспектор просто вышвырнет вас из резервации, и тогда уж ни одна резервация на всем побережье не примет вас. Людей гоняют как скот с одного места на другое. В прошлом году, например, отсюда выгнали аборигена со всей семьей якобы за пьянство. Он действительно выпивал, но это зелье продавал ему белый, да и пьяным-то его видели не чаще, чем самого старшего инспектора... Не думайте, будто мы собираемся оставаться здесь до конца наших дней. Мы бы давно уже что-нибудь предприняли, но

старая мать Джорджа никуда не хотела уезжать. Теперь она умерла...

— И теперь вы поедете вместе с нами в Уэйлер, как только мы сможем вернуться туда, ведь правда, тетя? — в первый раз за все это время заговорила Мэй.

Эмма неуверенно покачала головой.

— Не знаю. Возможно. Мне тоже хотелось бы, чтобы у моих детей был приличный дом.

— А как вы думаете... мы вернемся в Уэйлер? — спросила Ева, и в голосе у нее звучали одновременно и надежда и сомнение.

— Должны вернуться, — твердо сказала Тэмпи. — Но для этого нам нужно будет бороться — всем вместе.

Ева взяла руки Тэмпи и долго держала их в своих сильных ладонях.

— Вот вы говорите, нам нужно бороться. Я всегда была против борьбы. Всегда вставала на сторону отца, когда он говорил, что мы должны держаться своей семьей и не влезать в дела других аборигенов, чтобы нас не смешивали с людьми из резервации. И я верила, что если мы будем вести себя как приличные, хорошо воспитанные белые, то к нам будут относиться так же, как к ним. Но я ошиблась. Я никогда не хотела прислушаться к мудрым советам Джеда и Хоуп, я и детям не разрешала их слушать. Но Дед и Хоуп оказались правы. То, что случилось с нами вчера, научило меня больше, чем все прожитые годы. Отец, возможно, тоже был прав, но только такое отношение к жизни годилось для его времени, а не для нашего. К тому же он был белым, а мы аборигены. Этого он не учитывал. Если в вас течет хоть капля крови аборигенов, значит, вы не имеете никаких прав, где бы вы ни жили — в Уэйлере или в резервации. Для полиции, мэра и инспектора все мы одинаковы, все мы — лишь стадо животных.

Она сжала руку Тэмпи.

— Не думайте, будто мы говорим вам все это потому, что настроены против белых. Я сама наполовину белая, и во всем мире нет человека лучше, чем мой отец. Кристофер тоже был белым, однако он любил Занни и она любила его. Мы не против каких-то людей, к какой бы расе они ни принадлежали и какой бы цвет кожи у них ни был. Мы только против несправедливости. А все, что здесь происходит, ужасно несправедливо.

Она помолчала.

— А теперь мне хотелось бы поговорить с вами о другом. Эмма, скажи, пожалуйста, детям, пусть они посмотрят,

не крутится ли кто-нибудь из посторонних возле дома. **Не нужно,** чтобы наш разговор слышали чужие уши.

Эмма вышла из комнаты.

— Возможно, вам покажется, что это напоминает телевизионный детектив, но такая предосторожность совсем не лишняя, — продолжала Ева. — Мне не хотелось бы говорить об этом, но в резервации есть люди, готовые весь наш разговор передать инспектору. Я их не осуждаю. Они ведь получают за это какое-то вознаграждение. Они вовсе не плохие люди, но, попав в такие условия, как здесь, проявляют свои худшие качества. Ведь и белых можно купить, только цена будет повыше.

Она понизила голос до шепота.

— Вы даже представить себе не можете, как важно для нас то, что мы можем доверять вам. После всего, что вы сделали сегодня, уже ничто не сможет изменить мое отношение к вам, даже если вы сочтете невозможным выполнить мою просьбу. Здесь, вдали от дома, ваши поступки — это одно, а в Сиднее — совсем другое. И поэтому, сделаете вы то, о чем я собираюсь вас попросить, или нет, я навсегда сохраню к вам уважение и буду считать вас другом, который был с нами в самое трудное для нас время. Нет, ничего не обещайте мне сейчас. Подождите немного, я вам все расскажу. Сегодня утром я и Эмма получили сообщение — уж и не спрашивайте, каким образом оно дошло до нас. Думаю, сейчас Берт, Пол и Джек уже знают об этом...

Она помолчала, вглядываясь в лицо Тэмпи, а потом зашептала так тихо, что слова можно было разобрать с трудом:

— Ларри скрывается в Редферне, в доме родственника мужа младшей сестры Хоуп. Вот здесь у меня адрес. — Она показала листок бумаги. — Подумайте только, что приходится переживать бедному мальчику. Он же совсем без денег, полиция охотится за ним. И все же есть люди, помогающие ему скрываться! Вы рады этому, правда? А я вот чувствую себя скверно. Ведь в Редферне он живет у людей, которых не знает и которые не знают его. Если они хорошие люди, он может навлечь на них беду, а если плохие, они могут еще больше ухудшить его положение. Ведь аборигенам очень трудно всегда быть хорошими... А теперь я хочу попросить вас как женщина женщину: не могли бы вы поехать в Редферн и встретиться с Ларри?

Тэмпи почувствовала себя на краю бездны. Одно дело действовать в маленьком провинциальном городишке, опираясь на поддержку многих людей. Но ехать одной в тру-

щобы Редферна, куда ни разу не ступала ее нога за все долгие годы жизни в Сиднее, разыскивать незнакомого юношу, которого выслеживает полиция,— нет, это уж чересчур!

Ева посмотрела ей прямо в глаза.

— Я прошу вас об этом не потому, что мы связаны через Кристофера и Занни. Хотя ваша встреча с Ларри будет как бы свиданием с Занни в те дни, когда Кристофер женился на ней. При виде Ларри у меня всегда сжимается сердце, и я не знаю, радоваться мне или грустить — ведь я вижу живую Занни.

На лбу у нее выступили капли пота, мелкие бусинки пота видны были и над верхней губой. Губы ее шевелились, словно шептали молитву.

— Дайте мне адрес.— Тэмпи протянула руку за листком.— Я поеду туда, как только вернусь.

Ева сжала ее руку.

— Спасибо. Спасибо вам от всех нас. И от Занни тоже.

— Ужасное положение,— сказала Тэмпи, когда они ехали обратно в Уоллабу.— Ума не приложу, как тут быть.

— Вы говорите о возвращении семьи в Уэйлер?

— Нет.— Тэмпи помедлила.— Мне самой странно, но я почему-то совсем не беспокоюсь об этом. Я говорю о необходимости как-то улучшить условия жизни в резервации.

— Это намного труднее, но мы должны бороться.

— А что, эта резервация хуже других?

Хоуп пожала плечами.

— Да нет. Я бы сказала, она самая обычная. Есть еще хуже.

— А этот отвратительный человек, старший инспектор,— типичное явление для резерваций?

— К сожалению, да. Это неизбежно — ведь политика в отношении аборигенов нисколько не меняется, она такая же, какой была с незапамятных времен. «Государственная благотворительность». Люди, которые берутся за работу инспекторов в резервациях, делают это в основном из корыстных интересов. В одной из резерваций, например, мы пытались уговорить инспектора поставить вопрос о постройке новых домов — они были там несравненно хуже тех, что вы видели в прибрежной резервации,— и он прямо и откровенно заявил нам: «Я не собираюсь лезть на рожон и рисковать своей должностью ради каких-то черномазых, которые толком и не знают, что такое приличный дом».

— Но все же, наверное, есть и среди них люди, э-э... гуманные?

— Если такие и есть, они стараются держаться в тени. Уверяю вас, во всех резервациях нашего штата — а в других положение еще хуже! — вряд ли найдется четвертая часть инспекторов, которые, по нашим понятиям, честно относились бы к своим обязанностям. Все остальные под видом помощи аборигенам завоевывают себе место в обществе белых.

Они свернули на дорогу к Уэйлеру, и тут вдруг появилась полицейская машина.

— А ну, стой! — крикнул сержант.

Хоуп съехала на обочину.

— Я жду вас уже черт знает сколько.

Хоуп молчала.

— А зачем было ждать, сержант? — спросила Тэмпи. — Ведь констебль знал, что мы поехали в прибрежную резервацию.

Сержант покосился на нее.

— Я не к вам обратился, мадам, — сказал он. — С вами у меня пока еще никаких недоразумений не было, и для вашей же пользы я посоветовал бы вам держаться подальше от всего этого. Такой широкоизвестной леди, как вы, вряд ли пристало заниматься сомнительными делами за пределами города.

— Сомнительными делами?

— Вы отлично все понимаете... Эта женщина рядом с вами...

— А какое обвинение вы можете ей предъявить?

— Послушайте, миссис Кэкстон, вы приехали сюда из Сиднея со всевозможными идеями в голове, вы полагаете, что лучше нас знаете, что нам можно делать, чего нельзя. Но мы здесь к этому не привыкли. Вот эта женщина постоянно разводит смуту. И этого для меня достаточно, чтобы приказать ей убраться отсюда. Я отвечаю за порядок в нашем городе.

— Тогда я посоветовала бы вам получше следить за тем, чтобы ваши люди сами не нарушали законов и не оскорбляли ни в чем не повинную старую женщину, которую они выгнали из дома без всяких оснований и даже без ордера.

Сержант тяжело вздохнул.

— Я не намерен спорить с вами. Просто я посоветовал бы вам для вашей же пользы поскорее вернуться в Сидней.

— Вы и меня выгоняете из города?

— Я только советую вам. Мы не привыкли к тому, чтобы черные пререкались с нами. И нам нежелательно, чтобы сюда приезжали посторонние, которые думают, будто могут говорить от имени черных.

— А в каком-нибудь законе сказано, что я не имею на это права?

Шея сержанта вздулась так, что воротник врезался в нее, образовав красную полосу.

— Это все, что я хотел вам сказать.— Он погрозил пальцем Хоуп.— А тебе я заявляю: если завтра к заходу солнца ты не уберешься из города, мне придется тебя вышвырнуть.

Полицейская машина умчалась, подняв клубы пыли.

— Что вы собираетесь делать? — спросила Тэмпи, когда они медленно тронулись по дороге вдоль берега моря.

— Уеду. С этим придется смириться.

— А что же будет с семьей в Уэйлере?

— На какое-то время их оставят в покое. Ваш приезд заставит полицию действовать осторожнее. Мне не хотелось бы оставлять Кристи одну, но необходимо, чтобы она жила в Уэйлере. Конечно, мужчины сумеют о ней позаботиться, только она будет для них помехой. Как бы я хотела, чтобы вы могли раздвоиться. Ведь белая женщина в Уэйлере связала бы руки полиции. Однако у вас есть дела поважнее.

— Я совсем не против того, чтобы остаться здесь,— сказала Тэмпи со слабой надеждой.

— Нет. Самое лучшее, что вы можете сделать сейчас,— это возвратиться в Сидней, не теряя времени, и использовать все свое влияние, чтобы дать делу широкую огласку.

Теперь, когда и у нее выбора не оставалось, Тэмпи начала лихорадочно обдумывать, как найти выход из создавшегося положения.

— А что, если сюда приедет моя тетя? — вдруг спросила она.

— Ваша тетя? Та самая, которую так любил Кристофер? Бог услышал наши молитвы. Но как ее уговорить?

— Давайте поедem к пастору и позвоним по телефону. Если это вообще в человеческих силах, она приедет.

На другом конце провода послышались протяжные гудки, тетя Лириан долго не подходила к телефону. Наконец в трубке раздался ее испуганный голос.

— О, это ты, Тэмпи? Наконец-то, ведь я так беспокоилась...

Она не сказала, почему беспокоилась, но Тэмпи и сама знала. Ее недавняя попытка самоубийства была еще у всех в памяти. Эта мысль промелькнула у Тэмпи в голове, и она удивилась, насколько далеко теперь от того несчастного, отчаявшегося создания, каким была еще недавно.

— У меня все в порядке,— сказала она.— Я сейчас в Уоллабе. Ты помнишь Уоллабу?

— Да, конечно. Это там, где Кристофер...

— Да. А ты можешь завтра прилететь сюда?

— Самолетом?

— Да. Или выезжай сегодня вечером поездом.

— Лучше уж самолетом. Я еще ни разу не летала.

— Прекрасно. А у тебя хватит денег на билет?

— Да. Я ведь немного прикопила.

— Хорошо. Возьми кое-что из вещей. Нам хотелось бы, чтобы ты пожила здесь немного.

— С большим удовольствием.

— Ты будешь присматривать за дочкой Кристофера.

— О, восхитительно! А какая она?

— Ты как будто не очень удивлена...

— Да, не очень. Я ведь знала, что он женился. Но не предполагала, что есть ребенок. Я так волнуюсь!

Тэмпи постаралась отогнать от себя мысль, что Кристофер делится с тетей Лилиан своими тайнами. Она повторила адрес, дала еще кое-какие напутствия.

— Пока до свидания. Завтра увидимся,— прозвучал девически звонкий от волнения голос тети Лилиан.

Потом послышались короткие гудки.

Тетя Лилиан вышла из самолета, вся дрожа от волнения. Она подхватила Кристи на руки и прижала ее к себе, словно это был маленький Кристофер. Она целовала девочку, а та смеялась и тоже крепко обняла ее.

Потом тетя Лилиан долго держала руку Хоуп, будто они были давнишними подругами, и весело щебетала с пастором. Они сидели в аэропорту, пили чай в ожидании самолета Тэмпи. Тетя Лилиан кивала головой, внимательно слушала, стараясь вникнуть в подробности, чтобы почувствовать себя участницей всех этих событий.

— Пусть только попробуют сунуть нос в Уэйлер, пока я буду там,— сказала она.— Они увидят, на что я способна.

Она заразила всех своим энтузиазмом. Когда самолет наконец оторвался от земли и Тэмпи увидела внизу четыре

фигурки, махавшие ей, то, ободренная оптимизмом тети Лилиан, как-то даже не думала о том, что битва, которую ей предстоит выдержать, будет нелегкой.

Сидней предстал перед Тэмпи гигантской россыпью огней, простершейся на много миль с юга на север и до самого подножия Голубых гор на западе. Самолет начал снижаться у дальних предместий, и эти россыпи превратились в гроздь драгоценных камней: желтых, голубых, красных, а в самой середине их, похожий на озеро черного янтаря, лежал порт.

Пока она ждала такси, суматоха Сиднея целиком захватила ее; Уоллаба и Уэйлер остались, казалось ей теперь, где-то на другой планете.

Она немного поспала во время полета и сейчас ощутила, что пружина, так долго остававшаяся туго закрученной, начала ослабевать. И вдруг она почувствовала себя обессиленной, ей захотелось домой, выспаться по-настоящему, чтобы завтра с новыми силами взяться за розыски Ларри. Внутренний голос нашептывал ей: «Ты уже сделала все, что могла. Остальное предоставь Хоуп. У нее всюду друзья, они сами отыщут Ларри. Иди домой и приготовься к завтрашней встрече с Китом. Это ведь будет тебе нелегко».

Но потом перед ней возникли глаза Евы, и она поняла, что никогда больше не сможет посмотреть в них, если сейчас же не поедет на поиски Ларри. А если она не поедет сейчас, значит, не поедет никогда.

Она села в такси и назвала адрес в Редферне. Ей показалось, будто шофер как-то странно посмотрел на нее, но потом она постаралась убедить себя, что это ей только почудилось. Ее тревожила мысль, что она едет на розыски человека, за которым охотится полиция. До поездки в Уоллабу ее отношения с полицией никогда не выходили за рамки обычного.

«Нелепо так волноваться,—уговаривала она сама себя,—уж в Сиднее с тобой ничего не может случиться. Даже если полиция следит за ним, ты сумеешь все объяснить».

— Понятия не имею, где находится Карлайн-стрит,—сказала Тэмпи шоферу, когда они углубились в узкие улочки, над которыми нависали балкончики старых домов.

— Карлайн-стрит — это место, где живут аборигены. Собираетесь сделать телевизионный фильм, миссис Кэкстон?

— Откуда вы знаете мое имя?

Шофер включил свет.

— А вы не помните меня?

— Ну, конечно, помню! Лес! Нет. Энди!

— Совершенно верно. Энди Кроутер. Возил вас, когда служил на телевидении. Я не рассмотрел вашего лица, но голос сразу узнал.

— Я вас хорошо помню, Энди. Вы всегда насвистывали песенку «Этот мятежный поселенец».

— Ну, теперь я уже не такой сердитый. Дом номер двадцать семь „а“?

— Да. Я совсем не знаю этого района.

— Не беспокойтесь, я его знаю прекрасно. Я ведь вырос здесь, правда, жену и детей постарался увезти подальше. Редферн — это совсем неподходящее место для детей. Взорвать бы ко всем чертям эти перенаселенные трущобы столетней давности!

— Я вижу, вы по-прежнему сердитый!

— Что делать?! Трудно быть другим в нашем суровом мире.

— Собственно говоря, я еду в семью аборигенов, — сказала Тэмпи, чувствуя необходимость хоть как-то объяснить свой визит сюда, — мне нужно передать записку от одного человека из провинции. Вот и все, что я знаю об этих людях.

— Вечером вы многих из них увидите. Сегодня получка. Все они высыплют на улицу. Куда же им еще идти? Вот эта закусовая — любимое место их встреч.

Она с любопытством рассматривала людей, толпившихся на тротуаре. Но здесь все было не так, как в Уэйлере или в резервации. Эти люди ничем не отличались от прочих городских жителей: они смеялись и шутили, как и другие юноши в рабочих районах.

— Мой отец считает, что из большинства этих парней выйдет толк, если их оставят в покое.

— Как понимать «оставят в покое»?

— Познакомитесь поближе со своими друзьями, тогда все узнаете. Ну вот мы и приехали.

Тэмпи заколебалась. С одной стороны плохо освещенной улицы тянулся глухой забор, с другой — ряд домишек с узкими, низенькими дверями, выходящими прямо на тротуар. Занавески на окнах задернуты, ярко раскрашенные двери наглухо закрыты. Тэмпи раньше не приходилось бывать на подобных улицах, и никогда не заходила она в такие дома.

В маленьком окошечке над дверью дома номер 27-а не было света. Другие окна и балкон тоже были темными.

Энди внимательно наблюдал за Тэмпи. Она начала рыться в сумочке.

— Я сейчас расплачусь за проезд и за время стоянки, если вы согласитесь меня подождать.

— А вы долго?

— Не знаю. Надеюсь, что нет.

— На этих улицах никто не берет такси. А что, если я подъеду к вам через полчаса?

Тэмпи расплатилась, дала чаевые, но Энди вернул их обратно:

— Не нужно. Через полчаса я вернусь.

— Подождите, пока я постучу, вдруг никого нет дома.

— Хорошо.

Тэмпи постучала, но на стук никто не отозвался. Она постучала второй и третий раз. Наконец дверь слегка приоткрылась. В свете уличного фонаря она с трудом различила темное лицо.

— Я от Хоуп,— сказала Тэмпи.

У нее вдруг появилось странное чувство причастности к какому-то заговору.

— По какому делу?

— Дело касается ее родственника.

Человек открыл дверь пошире.

— Входите.

Тэмпи обернулась и кивнула шоферу. Энди уехал.

Следом за женщиной она прошла через темную комнату. Сквозь плотные шторы просачивался свет уличных фонарей. Она различила две кровати и маленькие спящие фигурки.

Странно, но она вздохнула с облегчением, когда вошла в следующую небольшую комнату.

— Присядьте, пожалуйста. Сейчас я позову жену.— Он подошел к небольшому окошку, выходившему в кухню, и что-то тихо сказал.

Том Лидней был небольшого роста коренастый мужчина, и на первый взгляд его можно было принять за рабочего, каких Тэмпи встречала в Сицилии или в Греции. Вошла его жена. У нее были вьющиеся волосы с проседью, лицо оливкового цвета покрыто сеткой морщин. Она подала Тэмпи руку:

— Добро пожаловать, если вы от Хоуп. Все ее друзья— желанные гости в нашем доме. Меня зовут Лаура.

Она села в другом углу дивана. Том остался стоять, и по тому, как он смотрел на двери, было ясно, что он чем-то озабочен.

— Лаура, ты хорошо заперла заднюю дверь?

— Конечно. Видите ли, приходится быть осторожными. У полиции есть привычка просто так, без всякого повода вваливаться в дома аборигенов. Мы живем тихо, мирно, серьезных столкновений с полицией у нас никогда не было, и все же...

Тэмпи протянула Тому записку от Хоуп. Он надел очки, внимательно прочел и передал жене. Она тоже прочла и сказала:

— Мы оба благодарим вас за все, что вы сделали...

Том прервал ее:

— Если они обнаружат Ларри, будет плохо, начнутся неприятности. Я уж не говорю о нас — хотя тут мало радости, но мы привыкли. Каждый абориген, хоть какое-то время проживший в Редферне, так или иначе сталкивается с полицией, будь даже его совесть чиста, как только что остриженный ягненок. Мы очень беспокоимся за Ларри. Полиция без всяких причин избивает молодежь. Возьмите, к примеру, нашего Уолли. Хороший парень, трудяга, имеет постоянную работу. В той комнате вы видели его детишек. Так вот, несколько недель тому назад его схватили, когда он с товарищами по футбольной команде возвращался домой. Они шли спокойно, никого не задирая, все трезвые, но полиция ни с того ни с сего налетела на них и всех забрала. Сразу двадцать семь человек! Двадцать семь парней-аборигенов, которые шли домой после тренировки! Когда Уолли спросил, в чем их вина, полицейский ударил его по лицу. Его обвинили в неуважении к властям и хулиганстве. Это моего-то сына! Ведь он за всю свою жизнь никому худого слова не сказал! Вот почему мы так беспокоимся за Ларри. Он сейчас вместе с Уолли и другими ребятами наверху. Мы вынуждены сдавать часть дома, потому что на арендную плату денег нам не хватает. Не так уж легко наскрести десять фунтов в неделю.

Он подошел к лестнице в углу комнаты и свистнул. Сверху послышался ответный свист. Том позвал:

— Уолли, спустись вниз. Идите сюда оба.

Увидев медленно спускающегося по лестнице Уолли, Тэмпи подумала, что никто не мог бы назвать его аборигеном. Каштановые волосы, кожа цвета здорового загара. У него была пружинящая походка спортсмена. Он подошел к Тэмпи и пожал ей руку.

— Спасибо, что приехали,— сказал он.— Нам сейчас трудно приходится.

Потом спустился Ларри. Высокий для своих шестнадцати лет, худенький, стройный. Сердце у Тэмпи учащенно забилось — она вспомнила, что Занни была очень похожа на него: кожа цвета молочного шоколада, густые черные волосы, выющиеся кольцами над широким лбом, полные губы, большие блестящие глаза, прямые брови. Она взяла его тонкую руку, и, когда он улыбнулся, Тэмпи поняла, почему Кристофер влюбился в Занни — ведь она, наверное, улыбалась так же.

Лицо Ларри оставалось спокойным, пока он слушал рассказ Тэмпи о событиях в Уэйлере. Когда она говорила о своих стычках с полицией и со старшим инспектором, Ларри залился журчащим смехом — так смеялась Занни.

Лаура принесла чашки, они сели пить чай.

— Как же нам теперь поступить? — спросил Том.— Оставаться Ларри здесь небезопасно. Вы ведь сами считаете, что полиция Уоллабы поднимет на ноги полицию в других местах, где имеются семьи аборигенов, которые, по их мнению, могут укрыть его. И раз уж они потеряли его след в Ньюкасле, они, вероятнее всего, начнут искать его здесь.

Тэмпи ехала сюда без какого-либо определенного плана, но сейчас мысль ее начала лихорадочно работать.

— Мне кажется,— сказала она,— будет наиболее правильным, если я возьму его с собой. Никто не догадается искать его у меня. Но даже если полиция и узнает, где он, она не посмеет ворваться в мой дом без специального разрешения. Завтра я поеду с ним к своему адвокату, а затем в редакцию газеты.

Резкий стук в дверь прервал ее. Дети проснулись и заплакали. Лаура бросилась в спальню и зажгла свет.

— О господи! Это полиция,— прошептал Том.

Дверь затрещала. Под напором сильных плеч старинный замок не выдержал. Тяжелые шаги разнеслись по всему дому. Двое огромных белых мужчин в свитерах и широких брюках ввалились в комнату.

— Что вы делаете? — закричала Лаура.— Почему врываетесь в мой дом, хулиганы вы этакие?

Уолли и Том встали у небольшого узкого прохода между двумя комнатами.

Тэмпи показалось, что это действительно хулиганы вломилась в первый попавшийся дом, который им почему-то

не понравился. Невозможно было вообразить, что эти громилы — полицейские.

Когда Уолли и Том оттеснили их обратно к двери, один из них заорал:

— Мы из полиции! Мы из полиции!

— Уж мне-то не втирай очки,— резко ответил Уолли, сталкивая его с лестницы.— Полиция так себя не ведет.

Том выпихнул второго верзилу на улицу. Они захлопнули дверь и приперли ее плечами. Лаура стала успокаивать малышей. Том придвинул кровать к двери.

Уолли вдруг бросился в соседнюю комнату:

— Ларри! Ларри!

Потом взбежал по лестнице. Было слышно, как он метался из одной комнаты в другую, как помчался вниз на кухню, перепрыгивая сразу через две ступеньки.

— Задняя дверь открыта. Наверное, он убежал через нее.

Пронзительный крик донесся с улицы позади небольшого дворика.

— Его схватили! — крикнул Том.

Они услышали шум борьбы, удар и тяжелый стон. Уолли бросился через дворик и уже взялся было рукой за частокол, намереваясь перемахнуть через него, когда отец схватил его за рукав.

— Не дури! Тебя тоже схватят.

Потрясенная Тэмпи вернулась в комнату и опустилась на диван. Крики все еще звучали у нее в ушах, и удары, и стон. Лаура сидела на кровати, придвинутой к входной двери, прижимая к себе испуганных детей. Уолли в изнеможении свалился на стул, обхватил голову руками.

— Вставай-ка, сынок,— сказал Том.— Нам остается лишь одно: ехать в полицейский участок. Возьми пять фунтов, придется оставить им залог.— Он обернулся к Тэмпи: — Очевидно, это займет много времени. Вам, наверное, лучше поехать домой. Я позвоню, как только выясню, в чем дело.

Тэмпи встала. Страх исчез. Она почувствовала, как ее охватил гнев, которого раньше ей никогда не приходилось испытывать.

— Я поеду с вами.

Едва они ступили на тротуар, медленно подъехало такси.

— Куда теперь? — спросил Энди, открывая дверцу машины.

— Везите нас в полицейский участок,— твердо сказала Тэмпи.

— Не поладили с «фараонами»?

— Тут не наша вина,— сказал Том.

— Мне это можете не говорить.

Такси помчалось по тихим улицам и вскоре остановилось у полицейского участка. Тэмпи открыла сумочку.

— Нет-нет, это за мой счет,— сказал Энди и нажал на стартер.

— Спасибо, дружище! — крикнул Том ему вдогонку.

Шофер в ответ помахал рукой в окно машины.

— Не нужно давать им понять, что вы с нами,— предупредил ее Том, пока они поднимались по лестнице в участок.

Сержант посмотрел на Тома, подошедшего к конторке дежурного, потом перевел взгляд на Уолли.

— Ну а у вас что?

— Мы пришли узнать о судьбе мальчика, которого полиция арестовала в переулке за нашим домом.

— А вам-то что за дело до этого черного ублюдка?

— Он жил в нашем доме. Мы просим выпустить его под залог. Я здесь ему вместо отца.

— Ишь чего захотели! А ну, проваливайте отсюда, да побыстрей, а не то и вам придется разделить с ним компанию. Убирайтесь вон!

Тэмпи подошла ближе.

— Простите, господин офицер.

Дежурный обернулся к ней и нахмурился.

— Да, мадам. Чем могу служить?

— Может, вы мне сообщите, что случилось с юношей, о котором спрашивают эти люди?

— О! — Сержант внимательно разглядывал Тэмпи. — Могу я узнать, почему это вас так интересует?

— Я приехала из Уоллабы, где живет этот юноша. Его родители просили меня приглядеть за ним.

— Вот как? И у вас есть какие-нибудь полномочия?

— А разве нужны какие-то особые полномочия, чтобы взять под залог подростка, арестованного полицией без основательных причин? Вот моя визитная карточка.

Сержант взял карточку, изучил ее и как-то неловко улыбнулся.

— Ничем не могу помочь. Для меня важно мнение полицейских. А они заявляют, что он оказал при аресте сопротивление и оскорбил представителей власти. Вам луч-

ше приехать завтра утром, когда будет начальство. При таком обвинении я не могу отпустить его под залог.

— Раз так, я хочу повидать этого юношу и узнать, что именно я должна сказать по телефону своему адвокату.

— А вот угрожать нам не стоит.

— Впервые слышу, что звонок к адвокату можно расценить как угрозу.

Сержант что-то тихо сказал полицейскому за соседним столом. Тот встал и вышел через дверь, ведущую во внутренние помещения. Прошло довольно много времени. Наконец двое полицейских в форме ввели Ларри, поддерживая его с обеих сторон. Глаза мальчика были полузакрыты, на губах запеклась кровь.

— Стой прямо! — рявкнул сержант.

Ларри попытался выпрямиться, но не смог. И если бы один из полицейских не подхватил его, он наверняка упал бы.

— Он еще и пьян, — фыркнул сержант.

— Я видела этого юношу не более получаса назад. Он был абсолютно трезв и здоров. А теперь посмотрите, что с ним сделали эти негодяи.

Тэмпи подошла к Ларри и положила руку ему на плечо. Он с трудом остановил на ней свой взгляд. Она вытерла кровь с его рта.

— Он напал на полицейского, — произнес один из охранников.

— Напал на полицейского! Если вы имеете в виду тех двух бандитов, которые ворвались в дом, то каждый из них был по крайней мере в два раза крупнее его.

— У вас есть жалобы на действия полиции?

— Я выскажу их в другое, более подходящее время, когда дело будет в руках моего адвоката. А сейчас я собираюсь отвезти этого юношу к врачу. Пока вы уладите все формальности, разрешите ему присесть. Он же не может стоять.

Охранник придвинул Ларри стул.

— Выпустить его мы не можем. Он обвиняется в преступлении, совершенном в Уоллабе. Там он тоже набросился на полицейского.

— Я знаю об этом деле. Там будут счастливы поскорее замять его. — И, не дав возможности сержанту что-либо ответить, она спросила: — Так, значит, я могу взять этого юношу с собой?

Вид у сержанта был унылый.

— Уж лучше оставьте его здесь, мадам. Пусть проспит-ся,— сказал он, словно уговаривая ее.

— В этом нет никакой необходимости. Ради чего? Чтобы скрыть то, что сделали с ним ваши люди?

— Мне не нравится, как вы разговариваете, мадам.

— В таком случае мы квиты. Мне не нравится то, что вытворяют ваши люди. Так как же, отпустите вы его со мной или мне позвонить врачу, адвокату и в редакцию газеты, где я сотрудничаю? Может быть, необходимо, чтобы все мы провели ночь здесь?

Сержант и оба констебля отошли к соседнему столу и стали шептаться. Том отвел Тэмпи в сторону и сказал:

— На вашем месте, миссис Кэкстон, я не стал бы увозить его к себе домой. Заставьте их позвонить в больницу принца Альфреда и вызвать «скорую помощь». Там хорошие доктора и все, что нужно мальчику, будет сделано. К тому же они не побоятся дать правдивое заключение о состоянии его здоровья. А это сейчас крайне важно.

Наконец сержант вернулся к своему столу. В огромной руке он держал ручку и книгу регистрации арестованных.

— Предупреждаю вас, мадам, это противоречит нашим правилам, а мы не любим их нарушать. Преступника, обвиненного в нападении на полицейского, обычно не отпускают под залог. Это опасно. Ну ладно уж, мы пойдем вам навстречу, только залог будет двадцать фунтов.

— А обычный залог в этом районе, как мне кажется, пять фунтов?

— Да, но это в случаях более мелкого нарушения: сквернословие, хулиганство. Здесь же было дважды совершено нападение на полицейских и оказано сопротивление при аресте. Кстати, чеки мы не принимаем.

На лице сержанта мелькнула тень разочарования, когда Тэмпи выложила на стол четыре ассигнации по пять фунтов.

— А теперь будьте любезны позвонить и вызвать «скорую помощь».

Сержант с явной неохотой стал крутить телефонный диск.

Эту ночь Тэмпи спала как убитая. Проснувшись утром, она почувствовала, что голова ее работает с четкостью, доселе невиданной.

Она позвонила в больницу. Сестра вежливо ответила ей, что Ларри дали снотворное и он спит. У него сломаны два ребра, кроме того, отмечено легкое сотрясение мозга. К счастью, рентген не показал повреждений костей черепа. Потом Тэмпи позвонила своему адвокату. К ее удивлению, он проявил интерес к этому делу. Потом она отправила телеграмму Тому с просьбой увидеться.

Она отошла от телефона с бьющимся сердцем, но постаралась взять себя в руки и стала обдумывать, как лучше подойти к Кита. Ее удивило собственное хладнокровие. Еще неделю назад она вряд ли могла бы себе представить, что способна потребовать у Кита свидания. Она скорее умерла бы, чем пошла на это. Теперь ее личные переживания отошли на второй план, уступив место недавним событиям, а ее прошлое, как ей казалось, уже принадлежало кому-то другому.

Странно ей было вспоминать, с какой неохотой она ехала к мэру. Кто это сказал, что важно сделать первый шаг? И правда — собери всю свою храбрость и встреться лицом к лицу с тем, чего ты боишься, — страх пройдет сам собой. Теперь, после стычки с полицией прошлой ночью, она уже ничего не будет бояться, ничего — даже встречи с Китом.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Тэмпи так медленно набирала номер телефона, что попала не туда, куда нужно. Она подождала немного, потом снова начала крутить диск, стараясь привести в порядок свои мысли, сосредоточиться на том, что и как она будет говорить.

Она набрала номер, назвала добавочный, и телефонистка соединила ее с кабинетом редактора. Трубку сняла его секретарша. Послышался голос, бесстрастный, как у всех высокооплачиваемых секретарей:

— Простите, но сейчас мистер Мастерс занят. Я могу позвонить вам, когда он освободится, если вас это устроит.

— Передайте, пожалуйста, мистеру Мастерсу, что я звоню по неотложному личному делу.

— А кто это говорит?

Тэмпи хотелось скопировать тон секретарши, но в горле у нее что-то сжалось.

— Передайте ему, что с ним хочет говорить миссис Кэжстон.

Она была готова к ответу, что редактор недавно уехал. Она была готова к чему угодно, но только не к его резкому голосу, раздававшемуся у самого уха:

— С чего это, черт возьми, тебе вдруг вздумалось сюда звонить?

— Мне нужно тебя увидеть.

— Это невозможно. В пять у меня заседание.

— Тогда я приеду и буду ждать у дверей твоего кабинета, пока ты не освободишься.

Наступила продолжительная пауза. Тэмпи так сильно прижала трубку к уху, что оно начало болеть. Они не виделись год и три месяца, а как он с ней разговаривает!

Наконец он спросил:

— Ты где?

— В Пассаже.

— А-а.

Снова продолжительная пауза. Затем с бесцеремонностью, так свойственной ему в обращении с другими людьми, но только не с ней, он сказал:

— Жди меня в «Синей птице», но я смогу уделить тебе не больше десяти минут.

Послышался щелчок, и она медленно положила трубку.

«Синяя птица» — кафе, где по-домашнему пекли пшеничные лепешки, подавали кофе с ликером, где было приятно посидеть. Обычно туда заходили отдохнуть в конце дня, проведенного в городе, пожилые дамы из пригородов. В этот час там были всего две посетительницы, которые демонстрировали друг другу покупки, доставая их из доверху наполненных сумок.

Тэмпси села за самый дальний столик в углу зала, заказала кофе, вытщила пудреницу, чтобы как следует разглядеть себя, радуясь, что до прихода сюда два часа провела в парикмахерской.

Она надела серьги с топазами, которые, как говорил Кит, делали ее глаза похожими на глаза тигрицы из Таронга-парка. Это была их шутка. На какой-то миг она почувствовала его губы на своих веках, услышала его шепот: «Нет, наверняка в тебе скрыто что-то такое, чего мне никак не найти. Почему глаза у тебя как у тигрицы?»

Сейчас все это казалось ей таким далеким, словно перед ней проходила чужая жизнь, прожитая другим человеком. Она сидела и думала, сработает ли в ней защитный механизм или все ее самообладание бесследно исчезнет, едва он войдет.

И вот он вошел. В дверях остановился и окинул взором кафе. Когда он сел напротив нее, она почувствовала огромное облегчение — сердце ее не защемило от радости, как бывало всегда, когда они встречались, и не зашлось от боли, как было, когда он ее бросил. Она только очень удивилась, увидев, как изменился он за эти пятнадцать месяцев. Во всем его облике появилась какая-то округлость. И дело было не только в том, что он прибавил в весе. Нет, тут было что-то еще, кроме полноты и оплывшего лица.

Не поздоровавшись, он потребовал чашку кофе и сказал:

— Все это чертовски неудобно.

Она ничего не ответила, бесстрастно размышляя о том, что стоит человеку слегка поправиться — и прежнее впечатление о нем полностью исчезает. Теперь Кит выглядел преуспевающим дельцом.

Когда-то он обожал небрежность в одежде. Теперь на нем был безукоризненно сшитый из превосходного материала

ла костюм с небольшими лацканами и узкий галстук — то есть все то, что американская мода сделала как бы униформой большинства деловых людей.

Он взглянул на часы — новые, золотые, эlegantные, самой известной фирмы, очень дорогие. Раньше он всегда подчеркивал, что ненавидит золото. Теперь редактор явно увлекался им, особенно после того, как женился на дочери владельца своей газеты.

Он отхлебнул кофе и сделал гримасу.

— Ужасный кофе. Пойдем лучше в ресторан.

— Но тогда все десять минут мы потратим на дорогу.

— Не волнуйся. Пойдем.

Он расплатился, взял ее под руку, и они пошли рядом, совсем близко друг к другу, словно никогда и не расставались.

Он выбрал ресторан, где любили проводить время игроки на скачках, не спрашивая, заказал ей, как всегда, херес, а себе, к ее великому изумлению, виски.

— Извини, — сказала она, — я не пью. — И, обратившись к официанту, попросила: — Принесите мне, пожалуйста, лимонад.

Кит не обратил на это никакого внимания — он оценивающе смотрел на нее, откинувшись в кресле.

— Ты прекрасно выглядишь, черт возьми.

— Да, неплохо.

Одним глотком он осушил стакан, потом открыл портсигар из чеканного золота, патина на котором не оставляла сомнений в том, что это вещь старинная и не подделка. Он хотел было протянуть портсигар ей, но замешкался. Она все же успела увидеть дарственную надпись на внутренней стороне крышки. Наконец он вынул две сигареты и зажег их золотой зажигалкой с его монограммой.

— Я слышал, ты была больна, — сказал он, но фраза прозвучала как вопрос.

— Да, противный грипп. Но теперь я опять совершенно здорова.

— Ну, что ж, все остальное пошло тебе на пользу.

Улыбка его была такой знакомой, правда, она совсем не вязалась с настроенностью в его глазах.

Она выпустила колечко дыма, стараясь собрать всю свою храбрость, чтобы сказать уже отрепетированные слова, которые теперь вдруг заметались у нее в голове, словно мыши в клетке. Она чувствовала, что напротив нее сидит совершенно чужой человек. Он уже не был ни тем, кого она так долго любила, ни тем, по ком так сильно тосковала

в своем одиночестве. Но он был тем, кто мог ей помочь. Она старалась видеть в нем только человека, чьей поддержкой должна была заручиться.

«Как все нелепо, — думала она. — Ну начинай же, переходи к делу. Ведь у тебя нет времени ходить вокруг да около».

подавив в себе эти чувства, она сосредоточила все свое обаяние в глазах и с мольбой посмотрела на Кита, зная, что он опять обожает и ее и этот блеск топазов в ее серьгах. Слова вдруг сами собой полились из ее уст.

— Я представляю себе, как ты занят. Ты очень добр, уделяя мне столько времени по первой же моей просьбе. Я вижу, как бегут стрелки.

Она взглянула на огромные, в богатом корпусе электрические настенные часы.

Он, казалось, забыл о времени, и она поняла: он солгал, говоря о заседании.

— Я хочу, чтобы ты помог моим друзьям.

Настороженность в его глазах стала еще заметнее, брови сошлись у переносицы, он весь напрягся, как фехтовальщик, готовый отразить удар противника.

— Если речь идет о какой-то сумме, это легко устроить.

— Нег, в деньгах я не нуждаюсь, спасибо. Тут нужно нечто другое.

— Тогда говори, в чем дело.

Она рассказала ему все, и с каждым словом ей становилось легче. Он слушал, не меняя выражения лица. Она говорила, и в голове у нее мелькали образы, как будто немой фильм сопровождал ее монолог. Кристофер, Кристофер и Занни, Кристофер и Кристина, такие похожие и все же такие разные. Уэйлер, нежно-голубое море. Она забыла, что намеревалась пустить в ход свои чары. Она умоляла его о чем-то, что было важно не только для дочери Кристофера, для Уэйлера, но и для нее самой. Если она сможет спасти то, во что верил Кристофер, она, возможно, будет прощена. Но об этом она ничего не сказала.

Она призвала на помощь все мастерство, стремясь рассказать свою историю так, чтобы она могла заинтересовать газетчика — историю романтическую, сенсационную; она делала особое ударение на том, что он всегда так ненавидел, — говорила о коррупции крупных преуспевающих компаний, о полицейских чинах, превышающих свои полномочия. Наконец она замолчала, ожидая ответа, надеясь, что теплота, сменившая выражение настороженности в его гла-

зах, означала: ей удалось задеть его за живое. Он слегка улыбнулся.

— Господи, не знаю, что ты за это время с собой сделала, но сейчас ты еще красивее, чем прежде.

Она совершенно растерялась. Ведь она открыла ему свою душу, хотела, чтобы они нашли общий язык, чего им никогда не удавалось, а он слушал и воспринимал ее такой же, какой она была прежде. Что же делать? С ума сойти можно. Ну, будь же честной перед собой! Зачем ты торчала два часа в парикмахерской? Зачем оделась по его вкусу? Разве тебе не хотелось, чтобы именно такой была его реакция? Так воспользуйся этим.

— Вовсе нет,— бросила она и медленно улыбнулась. Таковую улыбку агенты по рекламе называли загадочной. Ее саму удивило, как она смогла сыграть роль, к которой чувствовала отвращение. Что ж, око за око, зуб за зуб.— Если ты внимательнее присмотришься, то увидишь, что это не так. Просто ты меня давно не видел.

— Слишком давно.— Голос его стал резким.— Чертовски давно.

— Давай не будем говорить об этом сейчас,— сказала она все с той же улыбкой.— Я позвонила тебе не для того, чтобы выслушивать комплименты. Я хочу, чтобы ты мне помог.

— Но в чем?

— Прости, я, очевидно, не вполне ясно высказалась. Я хочу избавить Ларри от тюрьмы. Я хочу, чтобы вся семья вернулась в Уэйлер. Я знаю, что и Кристофер хотел бы того же.

— Но как я могу помочь? — В его голосе слышалось раздражение.

— Мне сказали, что если предать происшествие гласности, дело будет прекращено.

— Тебе это не удастся. Кучка аборигенов против городских властей... Ты только зря теряешь время.

— Так могло быть десять, даже пять лет назад, но не теперь. Все очень остро реагируют на то, что происходит с аборигенами в Австралии. А если бы ты взялся за это...

— Что ты имеешь в виду, говоря «если бы ты взялся за это»?

— Я хочу сказать... Если бы «Глоуб» осветила эту историю на своих страницах, у нас были бы шансы выиграть.

— Но у нас ведь совсем другое направление.

— А разве ты не можешь как-то изменить это направление?

— Я ведь всего лишь редактор.

— Ты всегда говорил, что одна из причин, по которой тебе хотелось бы стать редактором,— это возможность определять направление газеты.

От второго стакана виски румянец на его скулах стал еще ярче. Он вдруг перегнулся через стол и взял ее руки в свои.

— Зачем тебе нужно так мучить меня с самой первой встречи после стольких месяцев разлуки?

Она не могла ответить. От его прикосновения в ней запыхал пожар, уничтоживший существовавший еще минуту назад барьер между ними. Ее пронзила острая боль, сменившаяся неожиданной радостью.

Он взглянул на часы:

— Ну и получу же я взбучку. До заседания осталось всего четырнадцать минут.

Он снова жжал ее руку. Голос у него стал вкрадчивым.

— Я все это обдумую,— сказал он.— Если хочешь, вечером после работы я заеду и скажу тебе, что смогу сделать.

Она встала. Голова у нее шла кругом от ощущения победы. Помогая ей сесть в такси, он задержал ее руку в своей.

Она вставила ключ в замок и на мгновение замерла, страхась открыть дверь и еще более страхась замешкаться возле нее. Могилка Джаспера под кустом жасмина заросла травой, и только невысокий холмик еще напоминал о ее местонахождении. Но сейчас стыд, все это время терзавший ее, уступил место ликованию: она вернулась домой с победой. Войдя в квартиру, она снова остановилась, ожидая, что ее охватит прежнее гнетущее настроение, но этого не случилось. Все прошло. Она открыла балконную дверь и застыла, завороженная великолепием вечерней зари над грядой Мосмена, сверкающей в стеклах окон. А высоко в зеленоватом небе медленно плыли пылающие перистые облака, они отражались в воде залива, золотя темнеющую глубину. С деревьев над утесами эхом разносился крик кура-вонгов. Она вдыхала бодрящий воздух, чувствуя, как он изгоняет мглу из самых дальних уголков ее сознания.

Она ликовала, ибо прежнее волшебство все еще имело силу. Стоило им только сесть друг против друга в каком-то полутемном ресторане, и это волшебство снова завладело ими. Видно, рок соединил их навечно, будто они выпили любовный напиток, как Тристан и Изольда. И их не могли разлучить ни его женитьба, ни рождение его детей. Она не

задумывалась, да и не хотела задумываться о будущем — для нее существовало лишь настоящее.

Желая отвлечься от всех проблем, которые ей предстояло решить, она подошла к проигрывателю и поставила пластинку «Liebestod»¹. Она отдалась во власть музыки, не понимая, что это — реквием любви.

Он придет по крайней мере часов через шесть. Шесть часов! Целая вечность! Чем же заполнить это время? Она вдруг заметила, что квартира ее выглядит заброшенной, нежилой, и принялась приводить ее в порядок. Давно, очень давно не занималась она уборкой — это было заботой миссис Вакс. Теперь она находила удовольствие в работе, которую еще несколько часов назад сочла бы для себя невозможной.

«Кто знает, может быть, именно этого и недоставало в моих телевизионных программах, — размышляла она. — Я была слишком занята созданием романтического ореола и не знала, что можно наслаждаться и уборкой квартиры, если делаешь это к приходу любимого, не понимала, что и уборка может приносить радость, когда занимаешься устройством семейного очага».

Закончив работу, она вынула свои записи, разложила их так, чтобы все было наготове. Ведь Кит поднимет в печати, через «Глоуб», кампанию в защиту прав униженных. Именно такая кампания представит его в самом лучшем виде. Она знала, с какой тщательностью подбирает он документы для своих статей, поэтому аккуратно перепечатала заметки, сделанные кое-как, наспех, от руки, каждую на отдельном листке, в нескольких экземплярах через копирку, которая так и лежала нетронутой в ящике стола с тех пор, как он уехал. Она уже представляла себе, как он, нахмурившись, читает эти записи, видела его выдвинутую вперед нижнюю губу, слышала его резкие фразы.

Ей стало тепло от мысли, что она сможет разделить с ним эту работу. Неважно, что это останется в тайне — с нее хватит и того, что она будет работать вместе с ним. Ум ее оживился, как никогда раньше.

И тело ее ожило. Сегодня вечером что-то новое начнется в их отношениях. Ведь он придет не только для того, чтобы поговорить. Конечно, здесь можно пойти на компромисс — они снова обретут друг друга, но его честолюбие не пострадает. Вероятнее всего, жена его смирится со всем, поскольку дело обойдется без публичного скандала. Теперь она

¹ «Liebestod» — «Смерть любви» (нем.).

занята детьми, связана мишурой семейной жизни — ведь именно ради этого ее отец и купил ей мужа.

«Мне ничего этого не нужно,— говорила себе Тэмпи.— Я так долго жила без всего этого, что знаю: без этого можно прожить. Я не стану для Кита обузой, я могу сама о себе позаботиться. Только пусть он будет со мной, как раньше».

Она вдруг почувствовала, что начала молиться, как не молилась уже многие годы. Она шептала какие-то глупые, бессвязные молитвы, в которых, собственно, не обращалась к богу — ей трудно было представить себе, что бог даст ей свое благословение.

По дороге домой она купила бутылку вина, которое Кит любил больше всего, на ужин приготовила его любимые блюда. Потом она долго лежала в ванне, благоухающей ароматической солью,— Кит говорил, что она напоминает ему запах мяты во время дождя. Она вновь испытала легкое возбуждение от запаха своих духов, изготовленных для нее по особому рецепту одним из заказчиков телерекламы. Стоя перед длинным зеркалом в ванной и растираясь полотенцем, она злорадно думала, что жена Кита, несчастная уродина, никогда бы не решилась вот так предстать перед зеркалом. Теперь ей казалось, будто она даже жалеет ее. Какое унижение должна испытывать женщина от сознания того, что только отцовские деньги помогли ей приобрести мужа, что только деньги удерживают его возле нее!

Она надела роскошное белье и халат из шерсти кремового цвета, окантованный широкой черной тесьмой, выгодно оттеняющей прекрасный цвет ее лица и волос. Однажды Кит пошутил над ней — он сказал, она увлекается нарядами, сшитыми у дорогих портных, потому, что знает: такие туалеты еще лучше подчеркивают ее женственность. Правда, он не сказал «женственность», а применил выражение «женские прелести», которое она ненавидела — Кит насмеялся над ней за это, говоря, что такое пренебрежение реальностью является частью ее тепличного воспитания.

Правда ли, будто она пренебрегает реальностью? Она никогда не соглашалась с этим, не согласна и теперь. Разве то, что она делает сейчас, не означает, что она не боится смотреть реальности в глаза? И она вовсе не какая-нибудь там уличная девка. Слишком многое они пережили вместе и слишком сильно любили друг друга, чтобы можно было так думать. Разумеется, у них не было полной идиллии. Ведь полная идиллия возможна лишь в юности, когда не задумываешься о том, что впоследствии придется за все расплачиваться. Кит часто повторял испанскую пословицу:

«Возьми все, что тебе хочется,— сказал бог.— Возьми, но заплати за все».

Луна только что поднялась над грядой Мосмена, вычерчивая темные силуэты домов на фоне светящегося неба. Голые ветки джакаранды напоминали абстрактную скульптуру из проволоки, а залив стал похож на бассейн, подсвеченный мерцающими огоньками. Именно такая картина всегда очень нравилась Киту и волновала его, хотя он никогда не признался бы в этом.

— Сантименты нынче не в моде,— обычно говорил он.— Если у меня настроение мерзкое, то взойдет луна или нет, оно так и останется мерзким. А когда я весел, мне наплевать на все, пусть хоть небо падает.— Потом он привлекал ее к себе и говорил: — Природа действует на меня лишь в одном случае—когда мы с тобой ложимся в постель.

Конечно, это была неправда, но ему всегда нравилось казаться невосприимчивым к тому, что трогало других.

Она придвинула к окну раскладной столик и поставила на него лампу с абажуром. За многие годы, которые они провели вместе, это вошло у них в привычку. Они медленно ужинали, она рассказывала ему о своих делах, он — о своих. Она чувствовала, как в нем загорается желание. Потом он говорил:

— А теперь в постель.

Она включала приемник, комната наполнялась сентиментальной музыкой вечерней радиопередачи. Обычно он подшучивал над ней за это. Когда бы он ни возвращался домой, всегда звучала эта музыка, и он выключал радио, не дослушав до конца.

— Опять эти сантименты,— говорил он.— Нет, ты неисправимый романтик.

Может, так оно и было. Она закинула руки за голову и начала танцевать под музыку, медленно и сладострастно. Может, она действительно была создана для эпохи великих куртизанок — этой силы, стоявшей за тронем. А теперь, когда она нашла для себя мир, ради которого ей хотелось работать и бороться, она станет силой, стоящей за его пером. Это тоже звучит романтично, куда более романтично, чем если, допустим, сказать: «силой, стоящей за его пишущей машинкой».

Она не слышала, как открылась дверь. Она почувствовала, что он пришел, только когда он уже был на середине комнаты. Он обнял ее, губы его жадно прильнули к ее губам. Какое-то мгновение она сопротивлялась, желая, чтобы все было так, как она задумала. Но сердце ее бешено

билось, откликаясь на его желание. Луна и музыка исчезли в вихре страсти, бросившем их в бездну забвения.

Никогда еще не было у них такого полного единения. Она словно возродилась к восприятию окружающего ее мира. Никогда еще не отдавались они так полно своим порывам. В этом смятении мыслей и чувств она ласкала его, как человека, всецело принадлежащего только ей, ей одной. Теперь, если бы он открыл глаза и заговорил о ее «женских прелестях», она не стала бы обижаться. Но глаза его были закрыты, и если бы не его губы, которые она чувствовала на своей шее, она подумала бы, что он спит. Но он не спал. Он истощил себя и все равно был полон страсти, он ждал, когда снова наступит этот неописуемо восхитительный взлет души. А она ласкала его, настойчиво, приближая желанную минуту. И она наступила, эта минута, ослепительно яркая и великолепная. И снова ушла. Наконец она неохотно оторвалась от него. Лишь его жадные руки и губы все еще не могли утолить его неумемную страсть.

Взглянув на себя в зеркало в ванной, она едва узнала свое лицо: губы вздулись от поцелуев, веки набухли, в глазах еще тлел огонек. Она двигалась, как сомнамбула, ошеломленная чувственным наслаждением, удивляясь этой внезапной перемене в своем облике.

Только потом, когда кофе уже закипел в кофейнике, когда из ванной донеслись звуки льющейся воды — Кит принимал душ, — она наконец вышла из состояния транса. Ему уже нужно было уходить.

Войдя из кухни с подносом в руках, она увидела, что Кит стоит у окна, совсем одетый, любясь ветками джакаранды, словно гравюрой.

— Тебе нужно будет переехать, — сказал он.

— Зачем? Здесь так красиво.

— Слишком многим знаком этот дом.

Дрожащей рукой она наливала кофе, именно такой, какой он любил: крепкий, с причудливыми узорами сливок.

— Найди себе квартиру в одном из небоскребов, чтоб оттуда открывался сногшибательный вид.

— И цена была бы сногшибательная. К тому же все они слишком большие и одинаковые.

— Цена пусть тебя не волнует. А если говорить о разнице и об отсутствии индивидуальности, то разве это тебя не устраивает?

— Меня? Нет. Меня это никогда не устраивало.

— Но это устроит нас.

В его голосе послышались нотки раздражения. Он жад-

но выпил кофе и попросил вторую чашку. Это слово «нас» она восприняла с радостной дрожью. Она смотрела, с каким аппетитом он ел приготовленный ею ужин, — теперь он отдавал предпочтение ее женственности перед «женскими прелестями».

— Нас? — переспросила она.

— Ты прекрасно понимаешь, что я подразумеваю, говоря «нас», — прервал он ее нетерпеливо. — Ты не можешь жить без меня так же, как я не могу жить без тебя. Но этот дом слишком мал, очень многие знают здесь нас обоих. Если бы у тебя была квартира в другом месте, я бы мог приезжать, не опасаясь встречи со знакомыми.

— И ты хочешь этого?

— Ради бога, Тэмпи, перестань притворяться. Мы оба хорошо знаем, чего хотим. У нас было слишком много времени, чтобы проверить это. Я буду откровенным. Мне казалось, я могу обойтись без тебя. Но я не могу. Жить без тебя — все равно что жить без руки или ноги.

Она улыбнулась этому нелепому сравнению, но он понял эту улыбку по-своему.

— Ах да. Понимаю. Я получил все, чего желал. Но еще я понял, что, даже получив все желаемое, человек хочет еще чего-то. Теперь я не вижу причин, почему бы нам не воспользоваться такой возможностью.

— И давно тебе пришла в голову эта мысль?

— Только сегодня. Когда я снова встретил тебя, все, что я старался подавить в себе, вспыхнуло, словно вулкан.

Он с тревогой взглянул на нее, но она ничего не ответила. Тогда он заговорил более настойчивым тоном:

— Я буду оплачивать квартиру в любом большом доме. Сними ее на свое имя, а о расходах не беспокойся. Это уж мое дело. Я буду давать тебе столько, сколько нужно, чтобы ты могла жить спокойно. Я также сделаю завещание в твою пользу. У жены денег более чем достаточно и для нее и для детей.

— А как же ваша семейная жизнь?

— С этим будет все в порядке. Она довольна своей судьбой — она получила все, чего хотела. Ей безразлично, когда я приезжаю домой, лишь бы приезжал вообще. Подбери самую фешенебельную квартиру, какую только сможешь найти. Я хотел бы только одного — чтобы она была не слишком далеко от дороги, по которой я возвращаюсь домой.

Она на миг представила себе, как вечно ждет его, как провожает, когда он уходит. И она спросила себя, лучше

это или хуже той заброшенности и одиночества, которое она испытала без него.

Не дождавшись ответа, он резко встал, подошел сзади к ее стулу, взял ее за подбородок и повернул к себе ее лицо. Он наклонился над ней, такой неузнаваемо огромный, прильнул к ее губам, будто возвратился после долгого отсутствия. Рука его скользнула в вырез ее халата. Припав щекой к ее голове, он настойчиво шептал:

— Ну, скорее скажи «да». Мы не можем существовать друг без друга. Ты — колдунья! Я понял, чего ты хочешь, когда ты пришла сегодня. Только нужно было прийти уже давно. Мы не можем позволить себе тратить попусту нашу жизнь.

Она обернулась к нему вместе со стулом и высвободилась из его рук.

— Я не за этим приходила к тебе, Кит. Я буду так же откровенна, как и ты. Где-то в глубине души я страстно хотела этого, но приходила я не за этим. Я хотела просить тебя помочь людям, которые живут в Уэйлере, то есть помочь моей внучке.

Он сделал какой-то странный жест, будто желая отмахнуться от чего-то абсурдного, вторгающегося в их жизнь.

— Ах, это! Я решил, что это только предлог.

— Нет, это вовсе не предлог.— Она встала так резко, что стул упал.— Я пришла просить тебя помочь мне. То, что сейчас было, не имеет никакого отношения к моей просьбе.

Он не обратил внимания на эти ее слова.

— Я ведь уже сказал тебе, что ничем не могу помочь. Здесь невозможно что-либо сделать.

— Но ты сам всегда говорил, что с помощью прессы можно сделать и невозможное.

— Я этого сделать не смогу. Если станет известно, что эта девочка — твоя внучка, мне конец.

— Никто никогда ничего не узнает. Мы будем хранить все в глубочайшей тайне.

— Ничто не бывает тайным вечно. Пронюхают о том, что ты замешана в этом деле, и как тогда прикажешь мне быть? Все шишки на меня повалятся.

— Кит, я совсем не узнаю тебя. Ты стал другим человеком.

— А я не узнаю тебя. Неужели ты не можешь понять: ты ничего не добьешься, кроме скандала, если узнают, что твоя внучка — полукровка?

— Я не ожидала, что ты будешь так разговаривать со мной.

— А я не ожидал, что ты начнешь подобные разговоры. Ты никогда не была в числе борцов за гиблое дело.

— Помнишь, ты говорил: «Дайте мне дело, в которое я поверю, и я буду сражаться за него».

— А в это дело я не верю. Вот и все.

— А ты веришь хоть во что-нибудь?

— Только в то, что надо быть всегда и везде первым.

— Но это ужасно!

— Возможно. Я пожертвовал слишком многим ради своего положения и теперь не могу рисковать.

— Мной, во всяком случае, ты пожертвовал.

— Точно так, как и собой. Теперь я там, куда поклялся добраться. Там и останусь.

Она села, чувствуя, как у нее дрожат ноги.

— Все это очень странно.

— Не вижу в этом ничего странного. Это вполне логично.

Он наклонился и, положив руки на спинку стула, с усмешкой посмотрел на нее.

— Ну, скажи,— произнес он полушутливо,— скажи, что, собственно, во мне странного, если не считать...

Она отвернулась, не найдя слов для ответа. Раньше между ними никогда не возникало споров. Она удовлетворялась своей ролью женщины, которая была лишь частичкой мира мужчины. За месяцы, прожитые в одиночестве, она уяснила себе, что все ее взгляды на вещи, выходявшие за рамки чисто женских интересов, были его взглядами. И даже в любви он вел ее за собой, а она только подчинялась. И вот теперь, когда в первый раз их интересы столкнулись, ей не хватало слов для поединка с ним.

Она всегда восхищалась его умением вести спор, превозносила его победы, когда он, оставшись с ней наедине, снова доказывал свою правоту. Она завидовала той легкости, с какой он сразу же находил аргументы, нужную фразу, верное слово. В редких случаях, когда и она вдруг втягивалась в спор, ее всегда раздражало, что блестящие мысли приходили к ней с опозданием. Пока она была одна, она обдумала все, что скажет ему, но так ничего и не сказала. А Кит сказал все. Теперь она молча слушала его, поражаясь, до чего часто он выходил победителем в спорах, где побежденному оставалось лишь умолкнуть, хотя он и не принимал доводов Кита — точно так же, как на этот раз и она.

В этой беспомощности она утешалась лишь мыслью о своем упрямом сыне, который либо молчал, когда ему начинали читать мораль, либо спорил настолько неуклюже, что можно было только удивляться ограниченности его умственных способностей. Она знала, что не сумеет разложить по полочкам свои доводы, но, несмотря на это, ее воля оставалась непоколебимой.

Кит нежно потерся носом о ее нос.

— Ты мне так и не ответила, что же во мне странного.

— Я думала не о тебе, а о Кристофере. Как странно, что мальчик, так мало проживший на свете, сумел составить о нас такое точное представление.

Он резко выпрямился.

— Говоря откровенно, меня вовсе не интересует, что думал обо мне этот маленький завистливый щенок. И вообще, мне кажется, ты слишком поздно ударились в материнскую сентиментальность — ведь сын твой уже пять лет как мертв.

— Да, поздно. Поздно думать о сыне, но совсем не поздно думать о его дочери.

— Раз уж ты так поглощена заботой об этой девочке, почему бы тебе не удочерить ее? Ты сможешь что-нибудь сделать для нее только в случае, если вырвешь ее из стада аборигенов, с которыми она сейчас живет.

— Она не только живет с ними — она одна из них. И это вовсе не стадо аборигенов, это, пожалуй, самая приятная семья, которую я когда-либо видела. У них больше развито представление о порядочности, чем у всех, с кем мне приходилось иметь дело.

— По-моему, бессмысленно спорить об этом. Послушай, Тэмпи, если у тебя не хватит денег, чтобы послать ребенка в какой-нибудь пансион, я и это возьму на себя, только бы мне не видеть ее — ты же знаешь, я терпеть не могу детей. Ну, что ты на это скажешь? Это тебя устраивает? Я готов обеспечить твоё материальное положение.

— Есть вещи, которые нельзя купить.

— Господи, опять ты начинаешь нести чепуху. Меня просто стошнит, если придется выслушать еще одну такую пошлость. На тебя это вовсе не похоже. К тому же говорю тебе точно и определенно: на свете не существует такого, чего нельзя было бы купить.

— Ты глубоко заблуждаешься.

— Возможно. Но я заблуждаюсь меньше, чем ты.

Он откинул назад полы пиджака, засунул руки в кар-

мань брюк, позвякивая ключами. В этой, так хорошо знакомой ей позе он любил начинать спор.

Он с интересом разглядывал ее.

— Не знаю, что и подумать. Или ты разыгрываешь трагедию, чтобы выторговать условия повыгоднее, или, если это не так, ты просто сошла с ума, дорогая, ты совершенно сошла с ума. Я и подумать не мог, что ты способна отказаться от всего ради каких-то идей, свойственных бабушкам. Я готов разделить с тобой и это, как и многое другое, что, вообще-то говоря, меня не слишком привлекает, особенно если взвесить все за и против. Только не вменяй меня в авантюру с аборигенами. Можешь делать все, что тебе вздумается, можешь носиться со своей новой безумной идеей, но меня в эти дела не втягивай. Я знаю, чего хочу, и готов за это платить. Любая женщина на твоём месте и любой мужчина на моём посчитали бы меня благодарным, великодушным и щедрым.

— Неужели, по-твоему, это великодушно — прожить со мной пятнадцать лет, все время обещая жениться, потом бросить ради женщины, которая помогла тебе получить все, к чему ты рвался, — высокий пост и столько денег, чтобы ты мог до конца дней своих и меня содержать на стороне?!

Он остановился против нее и, склонив набок голову, впился в нее глазами. Она знала, что, когда он улыбается вот такой, искаженной от гнева, саркастической, безжалостной улыбкой, он готовится нанести смертельный удар.

— О, открылась совсем неожиданная для меня черта твоего характера! — сказал он с издевкой. — Серьезность, с которой ты играла роль главной продавщицы в роскошном, но сомнительном предприятии, всегда забавляла меня. Не думаю, чтобы ты хоть когда-нибудь до конца представляла себе, какой ты была лицемеркой. Да и большинство женщин не представляют себе этого. Ты никогда не решилась бы признаться, что все происходящее в промежутке между завтраком и постелью является лишь прелюдией к тому, чего вы, женщины, всегда ждете.

Она неистово качала головой.

— Нет, я не хочу сказать, что мужчинам это не нравится, — продолжал он. — Но разница между нами в том, что мы живем жизнью, не безраздельно связанной с постелью, не все наши мысли и дела — подготовка к моменту, когда мы туда ложимся.

Она выставила вперед руку, как бы защищаясь от него.

— Назови мне хотя бы один поступок в твоей жизни,

который не преследовал бы единственной цели твоего существования. Этим ты, черт возьми, мне и нравилась. Я мог бы, кажется, быть с тобой до тех пор, пока ты бы меня в гроб не вогнала. Но у меня было еще и нечто другое, к чему я стремился сильнее всего. Поэтому я тебя и оставил. Я никогда не вернулся бы, не сделай ты сама первого шага. Ты его сделала, и, надо отдать тебе должное, это был хитрый и умный шаг. Ты все та же, прежняя, эlegantная Тэмпи, с виду холодная, а внутри раскаленная, как горящие угли. И все, с чем я успешно боролся с тех пор, как расстался с тобой, разлетелось в прах. К сожалению, ни ты, ни я не в силах ничего с собой поделаться. Ты околдовала меня своими женскими...

— Замолчи!

— Почему?! Я говорил тебе это неоднократно, в различных вариантах, хотя должен признать, раньше это получалось более деликатно. И ты всегда мурлыкала, словно кошка, принимая мои слова за комплименты.

Она закрылась руками, чтобы не видеть его лица, в котором не осталось больше ничего из того, что она так любила; теперь оно выражало только презрение к ней.

— Нет смысла распускать нюни. Ты ведь отлично знаешь, что меня слезами не проймешь.

Он подошел к стеклянной двери, взглянул на небо, где уже занимался новый день, и открыл дверь. В комнату ворвался свежий ветер. Кит с раздражением захлопнул дверь, подошел и встал напротив Тэмпи, всем своим видом показывая, что осуждает ее.

— Ради бога, перестань. Все это ты сотни раз слышала от меня за время нашей совместной жизни. Я мог бы уважать тебя, если бы ты просто пришла ко мне и сказала: «Забудем прошлое». Но сейчас я презираю тебя: ты пришла, выдумав какую-то несуразную историю, да еще лезешь мне в душу. А когда я предлагаю тебе лишь чуть-чуть меньше того, что ты имела, ты начинаешь читать мне мораль.

Он вдруг протянул руки, поднял ее со стула и стал нежно гладить ее плечи, спину, бедра.

— Может, тебе будет легче, если я скажу, что ложась в кровать с женой, я мысленно вижу тебя? Я уверен, жена считает меня холодным как рыба, потому что я сплю с ней только тогда, когда мне невмоготу без тебя.

В глазах его засветился знакомый ей огонек.

«Нет, он уже не языческий бог,— подумала Тэмпи,— он просто обрюзгший сатиr».

Она высвободилась из его рук и отвернулась. Он снова сделал движение, чтобы обнять ее.

— Не притрагивайся ко мне,— сказала она,— от твоих прикосновений я чувствую себя грязной.

— Ты будешь чувствовать то же, что и я.

— Больше этого не случится, Кит. Можешь говорить обо мне все, что угодно, но с тобой я по крайней мере всегда была честна. Правда, ты не знаешь, что такое честность. Ты даже не в состоянии представить себе, что я не лгала, когда пришла к тебе просить помощи.

— Нет-нет. Больше я не хочу об этом слышать.

Он закрыл глаза ладонью, будто хотел погасить огонь, полыхавший у него внутри.

— Прости, но ты не оставил мне выбора.— Она была рада, что голос ее зазвучал твердо.

— Ну, какую еще, черт возьми, трагедию ты собираешься разыграть?

— Я собираюсь пойти к твоей жене.

Он побледнел.

— К моей жене? Зачем?

— Я попрошу ее помочь моей внучке. Раз уж ты как редактор не можешь ничего сделать, раз ты боишься опубликовать этот материал, хороший, новый, жизненный материал, который вполне отвечает твоим профессиональным принципам, я попрошу об этом твою жену. Может, она сумеет повлиять на своего отца. Мне кажется, до сих пор она имела на него большое влияние, и оно вряд ли ослабло, поскольку она подарила ему двух внучат.

— Ты этого не сделаешь! Это подлость, гадость, это женская месть. Я никогда не думал, что ты способна на такие вещи.

— Мы с тобой квиты — ведь и я никогда не думала, что ты окажешься подлецом.

— Послушай, Тэмпи.— Он наклонился к ней, обеими руками схватившись за край стола.— Если ты когда-нибудь приблизишься к моей жене, я тебя уничтожу. И не думай, будто это простая угроза. Если ты это сделаешь, я постараюсь, чтобы ты больше никогда и нигде не получила работы. Ты должна знать, что тебя держали на телевидении только из-за моей протекции. Но они получили так много жалоб, что вынуждены были все-таки избавиться от тебя. Ну будь же ты благоразумной, ради бога! Я предложил тебе больше того, что дал бы любой другой мужчина на моем месте. Так чего же ты еще хочешь?

Он грубо притянул ее к себе и стал, торопясь, развязыв-

вать ленты на халате. Она чувствовала, как в нем пробуждается животное.

— Ты — восхитительная самка, — шептал он. — Ты самка с вечно незатухающей страстью.

Она стояла неподвижно, с ужасом сознавая, что вот сейчас ее слабая плоть опять уступит ему. Но этого не произошло. Что-то более могучее подняло ее руку, и со всего размаха она ударила его по лицу — она даже не подозревала, что у нее столько сил. Она сама была потрясена тем, что сделала, стояла и смотрела, как он, ошеломленный, коснулся рукой щеки.

Потом она услышала, как тихо закрылась дверь.

— Осторожен, даже в такой момент!

В ванной она долго стояла под душем, попеременно пуская то горячую, то холодную воду. Ей хотелось смыть эту ночь со своего тела и со своей души.

Проснулась она поздно — солнце озаряло ее кровать. Она лежала, смотрела на тени деревьев на стене и удивлялась ясности своих мыслей — обычно минуты пробуждения были для нее самым неприятным временем дня, она подолгу не открывала глаз, сопротивляясь необходимости встать и снова продолжать свое бессмысленное существование. Сегодня же все было иначе. Она не чувствовала ни боли, которая так долго мучила ее, ни иссушающей мрачной тоски, которая овладевала ею, как только она возвращалась к действительности.

Она ощутила внутри что-то острое и холодное и не сразу поняла, что это ненависть, — ведь никогда раньше она ни к кому не испытывала ненависти. Какая-то новая сила подняла ее с постели. Сознание ее работало четко, составляя план дальнейших действий как бы независимо от ее воли. Она боялась, что прошедшая ночь будет вечно преследовать ее, но оказалось, что существуют на свете вещи, которые сами по себе, вопреки чему угодно, вытесняют из памяти какие-то события. Теперь Кит был мертв для нее, он был мертвее мертвого Кристофера.

Она завтракала на балконе. За ночь пронизывающий западный ветер усилился, но на балконе, закрытом со всех сторон, было тепло. Порывы ветра взбивали белую пену на темно-синих водах залива, раскачивали крепко привязанные якорными цепями яхты, сгибали высокие стволы бамбука, похожие на сабли, колыхали кроны эвкалиптов — в их зеленой дымке то тут, то там вспыхивали красные увядающие листья.

Тэмпи изучила карту города, выбрав путь, которым поедет к дому Кита. Оделась она как можно тщательнее, полагая, что красота и элегантность будут именно тем оружием, которым она беспощадно сокрушит жалкую калеку. Здесь уже не смогут помочь ни богатство, ни власть. Она обдумала, что и как она будет говорить.

В сумочку она положила золотой портсигар Кита — Кит не заметил, что он выпал из кармана его пиджака. Вполне достаточная улика для любой жены. Но Тэмпи употребит ее не для мщения, а для достижения своей цели. Она содрогалась от мысли, что все задуманное ею — чистейший шантаж и что удовлетворение, которое она от этого получит, будет удовлетворением шантажистки. Конечно, это был бесчестный, грязный прием борьбы, но раз у нее нет чистого оружия, она пустит в ход грязное.

Она подождала до полудня, зная, что в это время Кит наверняка будет у себя, и позвонила по телефону, попросив соединить ее с кабинетом редактора. Она была убеждена — он не поверил, что она в самом деле пойдет к его жене, он не мог предположить, что у нее хватит на это смелости. И тем не менее она не хотела рисковать.

Трудно сказать, действительно ли голос секретарши стал ледяным, когда Тэмпи намеренно назвала ей свое имя, или же это было обычным защитным приемом — именно таким голосом всем звонившим сообщалось, что редактор на заседании.

— Не могли бы вы попросить его позвонить мне, когда он освободится? Я весь день буду дома, — сказала Тэмпи.

Она положила трубку. От сказанных слов во рту у нее появился неприятный вкус. Она представила себе выражение лица секретарши, передающей ее просьбу Кита. И хотя в просьбе этой не было никакого подтекста, она вдребезги сокрушала наигранное безразличие редактора. Его кабинет казался ей пуленепробиваемым бункером, в котором он был неуязвим для какого бы то ни было нападения извне. Потом эта картина сменилась другой — она видела перед собой бронированный танк, безжалостно ползущий по телам и крови людей. Но ведь и танк уязвим. Стоит умело бросить бутылку с зажигательной смесью — и капут! Именно это она и делала сейчас.

В глубине души секретарша, конечно, будет смаковать эту новость. Ведь все, кто работал в газете, всегда восхищались Китом и в то же время не любили его. Говорили, что на работе у него нет друзей — раньше она относилась к этому просто за счет зависти — и что он родную мать продаст,

лишь бы его печатали. Теперь она поняла, что самым важным для него было не столько то, чтобы его печатали, сколько то, что таким образом он получал власть над людьми. Власть он любил больше всего на свете. Но и власть узвима, если применить против нее верное оружие.

Наконец она была совсем готова и радовалась, как ребенок, что из-за холодного ветра смогла надеть свое каракулево манто. Служба научила ее: никогда не проси того, в чем крайне нуждаешься. Тот, кто уже много имеет, и в дальнейшем легко получает желаемое, а плохо одетая женщина с самого начала обречена на неудачу, даже если, а может, именно потому, что всем совершенно ясно, что ей позарез нужно то, о чем она просит. Тэмпи радовало и то, что она не продала свою роскошную машину, как собиралась. Сейчас ей было необходимо показать силу и блеск своего оружия.

Солнце уже садилось, когда она выехала на шоссе, линия гор вдаль тянулась огромной пурпурной крепостной стеной на фоне неба, с которого ветер согнал все облака и краски. Проезжая по обсаженным деревьями улицам с огромными особняками в глубине прекрасно ухоженных садов, она размышляла, почему Кит теперь так полюбил это воплощение изысканности — ведь раньше он всегда глумился над ним. Видимо, его высокомерие вызывалось завистью — он же не владел таким особняком. Он был человеком, который нигде не пустил корней — просто ему негде было это сделать. Теперь он нашел такое местечко, и, вернее всего, корни его уйдут глубоко в богатую землю, на которой процветают биржевые маклеры, судьи и высшая знать города. Когда-то он смеялся над Робертом за то, что тот решил послать Кристофера в «школу снобов», как Кит любил называть этот закрытый пансион. Но теперь он, когда настанет время, наверняка пошлет своих детей в такую же «школу снобов» — ему придется облачиться в тогу представителя общества, в котором живет он сам и к которому принадлежит его семья. Иначе он окажется чужеродным телом и в этом кругу, и в этой семье.

Она подъехала к внушительного вида чугунным воротам особняка Робертсона, который уже с тридцатых годов был одной из достопримечательностей Сиднея, и резко посигналила, чтобы привлечь к себе внимание садовника, расчищавшего дорожку. Здесь нужна дерзость. Попробуйте подойти с протянутой шапкой и униженно попросить — ворота никогда не откроются. Садовник приблизился и посмотрел на нее в растерянности. Тогда она крикнула ему:

— Откройте же ворота! Миссис Мастерс давно ждет меня, а я опаздываю.

Ее ослепительная улыбка согнала остатки сомнений с его лица, и он отомкнул ворота. В том, что ворота оказались на замке, она увидела подтверждение своей мысли: да, она сильно напугала Кита, ибо ни в одном австралийском доме, в котором ей когда-либо приходилось бывать, никто никогда не запирает ворот.

Она прошептала садовнику слова благодарности и быстро проехала мимо. Дорога петляла по склону холма, шла через сад, мимо прекрасных лужаек прямо к огромному двухэтажному дому.

Напевая что-то, Тэмпи взбежала по ступенькам. Она чувствовала, что за ней наблюдают с балкона. Нажала на кнопку и услышала глухой звонок, раздавшийся в глубине дома.

Женщина средних лет приоткрыла дверь и безмолвно остановилась на пороге — сама враждебность.

Тэмпи обратилась к ней самым любезным тоном:

— Я немного опоздала. Пожалуйста, передайте миссис Мастерс, что я уже здесь.

— Простите, но...

Женщина зямаясь, боязливо оглядываясь. Тэмпи воспользовалась ее замешательством и проскользнула в холл. Служанка невольно отступила — она была поражена таким натиском, — но вскоре пришла в себя и сказала твердо:

— Простите, мадам. Миссис Мастерс сегодня никого не принимает.

— Что вы, милочка! Не говорите глупостей. Миссис Мастерс ждет меня.

И Тэмпи проследовала мимо нее к широкой лестнице, изящным полукругом ведущей наверх.

— Пожалуйста, проводите меня, — улыбнулась она служанке.

Женщина проворно подошла к лестнице и взялась за перила.

— Я уже сказала вам, мадам, что миссис Мастерс никого не принимает. Если хотите, можете оставить записку...

Тэмпи смотрела на нее, понимая, что первый раунд ею проигран. Она окинула взглядом солидную фигуру в сером шерстяном платье и сказала:

— Право же, это весьма странный прием. Я приехала повидаться с миссис Мастерс, а вы ведете себя, словно сиделка в доме умалишенных. Надеюсь, с миссис Мастерс ничего не случилось?

— Я думаю, мадам, вам лучше уйти,— произнесла служанка бесстрастно.

Тэмпи сделала вид, будто рассердилась.

— Уверю вас, я непременно напишу вашей хозяйке и пожалуюсь на ваше возмутительное поведение.

— Как вам будет угодно, мадам. А теперь я должна попросить вас уйти. Миссис Мастерс нельзя беспокоить.

Тэмпи медленно повернулась; это движение она отточила до совершенства за долгие годы работы манекенщицей: голова гордо поднята, на губах презрительная усмешка.

И вдруг она услышала голос, донесшийся со второго этажа:

— Миссис Раунтри, пожалуйста, проводите миссис Кэкстон наверх. Я жду ее.

Бесстрастность на лице служанки мгновенно сменилась испугом. Глядя на площадку верхнего этажа, она растерянно пробормотала:

— О да, мисс Элспет, конечно, сию минуту.— И уничтожающе посмотрела на Тэмпи.— Прошу вас, мадам, пройдите сюда.

Тэмпи взбежала по лестнице и воскликнула как-то слишком громко и слишком горячо:

— О, как приятно снова встретиться. Вы превосходно выглядите!

Женщина, к которой она подошла, с фальшивым воодушевлением произнесла:

— Я так боялась, что вы не приедете.

Они стояли около лестницы, глядя в упор друг на друга, будто стремились прочесть то тайное, чего нельзя было выразить словами. Так вот какая она, жена Кита, Элспет. Приятное имя. Приятное лицо. Но когда они двинулись по широкому коридору, покрытому толстым ковром и увешанному огромными портретами в золоченых рамах, Тэмпи с язвительным удовлетворением подумала, что никакая милость не заставит забыть об искалеченных ногах. Опираясь на палку, Элспет то тащила за собой, то толкала вперед свои ноги, а когда вдруг нечаянно ее длинный халат распахнулся, Тэмпи увидела, что они собой представляют.

Элспет провела ее в маленькую гостиную с балконом, на котором стояла колыбелька близнецов, освещенная последними лучами заходящего солнца. Подумать только — эта искалеченная женщина родила Киту двоих детей, а ей, Тэмпи, он так и не дал их.

Ненависть раскручивалась в ней, как змея, готовая ужалить. Она повернулась к Элспет, прислонившуюся спиной к закрытой двери.

— Откуда вы узнали, что это я?

Губы Элспет дрожали, но она заставила себя улыбнуться — улыбка получилась вымученная.

— Я знаю вас по телепередачам. Я — ваша давнишняя поклонница. Мне всегда казалось, что вы — воплощение моей мечты... Садитесь, пожалуйста. Нет, не в то кресло, а вот сюда. То кресло сделано специально для меня. — Она прижала ладонью дрожащую нижнюю губу.

Перед такой взволнованностью и робостью триумф Тэмпи потускнел.

— Я должна извиниться перед вами за свое вторжение, — сказала Тэмпи.

— Ну что вы! Удачно, что я увидела вас с балкона.

— А в доме так заведено, что к вам никого не пускают?

Элспет покраснела, уловив иронию в тоне Тэмпи.

— Нет. — Она запнулась и опустила ресницы, явно не желая встречаться взглядом с Тэмпи. — Мне хотелось бы, чтобы вы правильно поняли то, что сейчас произошло. Хотя в некотором отношении я и инвалид, но все же вполне нормальный человек...

— Простите, я не это имела в виду. Я хотела...

— Понимаю. Все это может показаться странным, но... — Она подняла ресницы и пристально взглянула на Тэмпи. Глаза у нее были серые, большие, лучистые. Они казались огромными на маленьком личике с острым подбородком и вздернутым носом.

Оценивая ее профессиональным взглядом, Тэмпи подумала: «Вообще-то из этого лица я смогла бы кое-что сделать, и из этих густых русых волос, которые она слишком туго стягивает узлом, тоже».

Ее злоба была направлена против Кита, а не против несчастной женщины, и она наслаждалась сейчас мыслью, что для него каждодневная пытка видеть это ужасное несоответствие между юной грациозной верхней половиной тела своей жены и безобразно широкими бедрами с тонкими ножками. И вместе с тем она с состраданием спрашивала себя, как же живет женщина, если она уродлива не только в собственных глазах, но и в глазах окружающих? Ей приходилось встречать некрасивых женщин, очень некрасивых женщин, и она замечала, что многие из них выработали в себе какие-то особые свойства, которые заставляли забывать об их лицах, потому что и сами они забывали о них. Но Элспет никогда, ни на одну минуту не забудет, каково ее тело — ведь каждое движение дается ей с вели-

чайшим трудом: ноги ее постоянно стиснуты этими ужасными колодками, ходить без палки она не может.

Тэмпи пришла сюда, готовая к сражению с женщиной еысокомерной и самолюбивой, знающей силу и власть денег, способных купить для нее все, что угодно, и всех, кого угодно. Но эти дрожащие губы и избегающие ее взгляда глаза ясно показывали, что в душе ее — обнаженная рана, дотронуться до которой Тэмпи не решалась. Не нужно было обладать большим умом, чтобы найти слова и поступки, способные обидеть такую женщину. Тэмпи почувствовала: желание досадить ей за то, что она была женой Кита, растаяло как лед.

— Я прошу простить меня за такое неожиданное появление. Другого способа у меня не было, а мне очень нужно с вами поговорить.

Элспет открыла рот, собираясь что-то сказать, снова закрыла его, провела носовым платком по губам и наконец тихо спросила:

— Вы уверены, что хотите говорить именно со мной, а не с моим мужем?

Итак, дуэль все-таки состоялась, но не Тэмпи сделала первый выпад. Она хотела, чтобы и ее глаза были такими же ясными и честными, как у Элспет.

— Да, уверена, — ответила она, понимая, что только разговор начистоту может ей помочь. — Я видела его вчера, и он отказался сделать хоть что-нибудь для меня. В этом, очевидно, причина того странного приема, который мне был здесь оказан.

Элспет, не отрываясь, смотрела на Тэмпи, глаза ее были беззащитны, как у ребенка. Видимо, ей было лет тридцать, но, несмотря на взрослую прическу, на полные груди кормящей матери, на безобразно широкие бедра, во всем ее облике сохранилось что-то детское.

Она провела языком по пересохшим губам и стала крутить носовой платок в руках, округлых и точеных, как у мадонн эпохи Возрождения.

— Простите, миссис Кэкстон, но боюсь, я ничего не понимаю. Пожалуйста, объясните мне, зачем вы сюда приехали?

— Я приехала, чтобы просить вас употребить свое влияние и помочь мне в одном очень важном деле. Вернее, не мне, а моей внучке.

Элспет шевельнулась в своем кресле, руки ее на мгновение замерли.

— Вашей внучке!.. Но вы совсем не похожи на бабушку.

— Да, у меня есть внучка. Ей пять лет. Мой сын женился очень рано, и мы об этом не знали. Ему тогда было всего восемнадцать. Теперь, оглядываясь назад, я прихожу к выводу, что и его отец и я вели себя неправильно, когда он сказал нам о своих чувствах к девушке. Вскоре после этого он вместе со своим подразделением был послан в Малайю, а мы даже не попытались как-то помочь ему. Наоборот, мы сделали все, чтобы его послали туда, так как считали это лучшим выходом из положения. Мы даже не подозревали, что посылаем его на верную смерть. Потом многие годы я кляла себя за это, но тогда мне казалось, будто мы поступаем правильно, будто это единственное, что нам оставалось. Вы лучше поймете наши чувства, если я скажу вам, что девушка, в которую он влюбился, была полукровка. Не знаю, как вы относитесь к подобным вещам, но то, что я увидела за последнюю неделю, настолько перевернуло мои представления об этих людях, что теперь я с трудом могу поверить, что шесть лет назад эта мысль приводила меня в ужас.

Перед отправкой в Малайю он женился на ней. Нам он об этом не сообщил. И никто не сообщил нам, когда у него родилась дочь и когда жена его после родов умерла. Только неделю назад я получила письмо, из которого узнала обо всем этом. Но сумеете ли вы понять меня, понять, что значит для женщины, которая думала, что она осталась в этом мире совсем одна, вдруг узнать о существовании внучки? Ведь одиночество — это так страшно.

— Не могу себе представить, чтобы вы, живя такой бурной жизнью, когда-нибудь чувствовали одиночество.

— Пусть вас не вводит в заблуждение внешний блеск моей жизни. Может быть, на нее приятно смотреть со стороны, но она не приносит удовлетворения. К тому же все это не вечно. Когда женщина достигает среднего возраста, ей требуется нечто другое.

— Мне кажется, вы и сейчас красивы. Вы совсем не изменились с тех пор, когда я впервые стала смотреть ваши передачи по телевидению. И завидовать вам.

В голосе Элспет прозвучало столько неподдельной сердечности, что Тэмпи растрогалась. И все же она не хотела, чтобы это чувство обезоружило ее.

— Письмо пришло, когда я была серьезно больна. Со знание, что на свете есть существо, в котором течет капля моей собственной крови, придало моей жизни смысл, а я

в этом так нуждалась. Я вылетела туда, где она живет — на Северное побережье, — и обнаружила, что и Кристина нуждается во мне, а это еще важнее. Сказать откровенно, я всегда приходила в ужас при мысли о том, что у меня могут быть внуки. Мне казалось, жизнь моя на этом закончится. Но теперь я понимаю: это лишь начало новой жизни. Не могу передать вам, какая радость охватывает меня всякий раз при виде ее детских причуд. Я уже успела забыть, каким был мой сын в ее годы.

Она замолчала, подбирая слова, чтобы как можно ярче, живее описать Уэйлер этой женщине, которая слушала ее с неподдельным интересом.

— Я познакомилась с семьей аборигенов — с семьей матери моей внучки. Они написали мне, потому что над ними нависла угроза выселения из их дома в Уэйлере. Это идиллический уголок, и я поняла, почему мой сын влюбился не только в девушку, но и в Уэйлер. Там какая-то благотворная обстановка. И люди не такие развращенные, как мы. Мне бы хотелось, чтобы моя внучка росла именно там.

Видя глубокую заинтересованность Элспет, она говорила ей о том, о чем не осмеливалась говорить Киту.

— Может быть, вы сочтете меня излишне сентиментальной, но вся их жизнь и то, как они добывают себе хлеб насущный — рыболовством и земледелием, — кажутся мне такими естественными. Нельзя допустить, чтобы их выселили из Уэйлера ни в резервацию аборигенов — это такой позор для нашего, по общему мнению, цивилизованного общества! — ни в трущобы Редферна, что еще хуже.

Она замолчала. Прошло много времени, прежде чем Элспет сказала:

— Сочувствую вам, но не представляю себе, как я могу помочь. Я веду тихий, замкнутый образ жизни. Может быть, вам нужны деньги? Я буду рада...

— Благодарю вас, но здесь дело не в деньгах. Необходимо поднять общественность, чтобы положить конец произволу — ведь возможно, даже сейчас, когда я разговариваю с вами, там творится еще какое-нибудь беззаконие. Единственный путь — действовать через газету.

— Тогда... вероятнее всего, мой муж...

— Я все это рассказала вашему мужу. Но он отказал мне.

— Почему?

— Он сказал, что это не соответствует направлению его газеты. Что он — всего лишь редактор, а не владелец,

но и владельца газеты этими вопросами не заинтересуешь. О, у него нашлась масса самых убедительных доводов, которые сводились лишь к одному, а именно: он не хочет этого делать.

— Даже ради вас?

Тэмпи колебалась — ее вынуждали ответить на вопрос, который ставил ее в тупик. Был ли это вопрос романтически настроенной девушки, считавшей, что никто не может противостоять ее кумиру? Или это был вопрос женщины, знавшей все, что только можно было знать о них с Китом? Элспет еще глубже забралась в свое кресло, пальцы ее судорожно сжимались.

— Пожалуйста, ответьте мне, миссис Кэкстон. Кристофер был сыном моего мужа?

Этот вопрос потряс Тэмпи настолько, что она ничего не могла ответить. Несколькими словами эта женщина вырвала из ее рук оружие, которое она собиралась использовать в крайнем случае.

Она покачала головой.

Элспет закрыла лицо руками. Тэмпи ждала слез, но, когда Элспет опустила руки, глаза ее были сухими.

— Миссис Кэкстон, вы все время разговариваете со мной так, будто я ничего не знаю об отношениях, существовавших между вами и моим мужем. Но через несколько месяцев после свадьбы я получила анонимное письмо. Неужели вы думаете, я вышла бы замуж, зная об этом?!

Тэмпи ничего не сказала.

— Видимо, вы правы. Ведь если чего-нибудь очень хочешь, на многое закрываешь глаза. Я знаю, есть люди, которые думают, будто я использовала положение отца и его влияние, чтобы купить себе мужа. Но это неверно. Не думайте, что я настолько наивна и глупа, чтобы не понимать, чего Кит добивался. Но мне казалось, что, помимо всего прочего, я ему нравлюсь. Он подолгу сидел у нас, я играла ему. Он приносил мне книги, и мы вместе обсуждали их. Мы разговаривали о многих интересных проблемах.

Это была вовсе не та Великая любовь, о которой писали романтики (все эти книжки спрятать бы под замок — они же обманывают молодежь). Но я думала, что наша дружба прекрасно может заменить такую любовь. Ну и еще — я была уверена, что после его трагической женитьбы в молодые годы он ничего, кроме дружбы, и не мог мне предложить. Да и вообще, разве в меня можно влюбиться? Вероятнее всего, мне еще тяжелее было осознавать свое

уродство потому, что до пятнадцати лет, до того, как заболеть полиомиелитом, я страстно хотела стать балериной. Отец разрешил мне брать уроки у Борованского — тот нашел, что у меня талант. Это сделало меня страшно тщеславной. Я часами простаивала в пачке перед зеркалом, любясь собой. Отцу очень нравилось, когда я танцевала для него.

Конечно, он меня избаловал. Видите ли, я родилась лишь через двадцать лет после того, как он женился, а он любил мою мать. Мне было всего пять лет, когда она умерла. В этом самом доме. Всю свою любовь он перенес на меня. Я знаю, отца считают тяжелым человеком. Пожалуй, я — единственная его слабость. Я тоже его обожаю. Я думаю, что моя болезнь была для него таким же страшным ударом, как смерть матери. Возможно, даже более страшным. Это было крушение всех надежд — ведь болезнь на всю жизнь приговорила меня к разочарованию и страданиям. Но никто в мире не мог бы быть более заботливым, добрым и внимательным ко мне, чем мой отец.

Вероятно, вы думаете, что я просто неврастеничка, избалованная женщина. Возможно, так оно и есть, но это моя беда. О, я знаю, у меня репутация милой женщины. А почему бы мне стать другой? В доме все всегда делалось для моего удобства. В то время мы жили в Мельбурне. Прислуга была вышколена и вела себя со мной так, будто это совершенно естественно, что сначала я ходила на костылях, потом — с помощью специальных подпорок, потом с палкой. Отец построил для меня бассейн с подогревом воды. У меня были подружки, но их родители, все, в той или иной мере зависели от отца. Возможно, было бы лучше, если бы мне самой пришлось зарабатывать себе на жизнь и сталкиваться с ней лицом к лицу. Ведь зачастую опека бывает излишней. У меня были гувернантки, причем очень хорошие. Но, видимо, было бы лучше, если бы меня отгнали учиться в школу. Тогда я раньше привыкла бы видеть жалость и отвращение в глазах людей.

— О нет!

— О да. И в ваших глазах я прочла то же самое, когда вы в первый раз посмотрели на меня. Я не сталкивалась с жизнью до тех пор, пока отец не взял меня в кругосветное путешествие. Мне тогда было девятнадцать лет. Страшная действительность обрушилась на меня на корабле: все девушки танцевали и играли, а я не могла делать даже того единственного, от чего получала наслаждение, — плавать. Обычно нам подавали еду в каюту, это спасало меня от

необходимости бывать в общей столовой. И меня видели нечасто.

Это были самые ужасные дни в моей жизни. Когда я сидела на палубе в шезлонге и ноги мои были закрыты пледом, молодые люди останавливались около меня и начинали флиртовать, как это обычно бывает во время морских прогулок. Я до сих пор помню одного юношу с сентиментальными глазами. Он не отходил от меня три дня подряд. На четвертый день он вышел на палубу как раз в тот момент, когда отец усаживал меня в шезлонг. Я увидела ужас на его лице и... жалость. В большинстве своем люди добры. Просто глядя на таких, как я, они не принимают их за нормальных людей.

— Дорогая моя, вы неправы.

— Вот видите, вы сказали мне «дорогая моя», словно я малый ребенок, которого нужно утешить. Я полюбила Кита, потому что он оказался первым человеком, посмотревшим на меня без тени обидной жалости, той жалости, которая у других так заметна, хотя они и стараются запрячь ее поглубже. Видимо, еще до первого визита к нам его кто-то предупредил. Как бы то ни было, но на протяжении нескольких лет, пока он бывал в нашем доме в Мельбурне, мне ни разу не удалось уличить его. Когда мы вместе катались на машине или на лодке, он вел себя так же, как отец. Он разрешал мне самой делать кое-что для себя, хотя делала я все очень плохо.

Вначале я считала, что он бывает у нас на правах друга отца и еще потому, что его личная жизнь не удалась. Я никогда не думала всерьез, что он может относиться ко мне как-то иначе, не только по-дружески. Разумеется, было бы ложью утверждать, что я не мечтала об этом, как мечтает об этом любая одинокая девушка. Из-за него я совсем перестала интересоваться другими мужчинами. Когда он попросил меня быть его женой, я не могла поверить в свое счастье. И вовсе не потому, что это предложение было первым в моей жизни. То же самое предлагали мне и другие мужчины, помоложе его, но у них не хватало ума даже на то, чтобы постараться скрыть свое стремление к богатству. Кит же добивался не денег. Цель у него была другая, и я служила средством к достижению этой цели.

О, лучше бы мне выйти замуж за одного из этих откровенных искателей отцовских денег! Тогда я пошла бы на это с открытыми глазами и не чувствовала бы себя обязанной испытывать к мужу вечную благодарность, потому что

такой брак был бы не более чем *qui pro quo*¹. А Киту я благодарна, правда, не только за то, что он женился на мне, но и за то, что дал мне вместо любви — товарищеское отношение.

Когда я выходила замуж, я была страшно наивна. В наше время такое, как мне кажется, почти невероятно: двадцать восемь лет — и наивность. Представьте себе: до этого меня никто никогда не целовал по-настоящему. Для молодых людей, которые живут в нормальных условиях, проводят время вместе, танцуют, занимаются спортом, совершают прогулки на автомашинах, поцелуи — в порядке вещей. А ведь насколько труднее — даже если это входит в состав намеченного плана — целовать человека, обреченного на неподвижность. Кит приучал меня к этому постепенно. Приходя к нам, он целовал меня в щеку, если я была на ногах, или же, если я сидела в своем кресле, наклонялся и прикасался губами к волосам. Это были бесстрастные поцелуи, которые я могла понимать как угодно. И по прошествии шести лет мне стало казаться, что он совсем особенный, равнодушный к сексу мужчина. Я стала благодетель перед ним за это...

Она говорила что-то еще, тихо и торопливо, но Тэмпи ничего не слышала. «Шесть лет» — это было для нее как гром с ясного неба, ее рассудок отказывался что-либо принимать. Наконец она очнулась и услышала:

— И вот, когда его жена умерла и он сделал мне предложение, я буквально бросилась в его объятия.

Во время нашего медового месяца мой первый дикий, легкомысленный экстаз — кто же это так сказал? — был омрачен проблемой, как снять с меня железные оковы, и моей навязчивой идеей, что мне необходимо все время закрывать ноги.

Первая половина медового месяца была платонической. Ему понадобилось довольно много времени, чтобы воодушевиться. Я уже думала, он — импотент. Но когда наконец он стал моим мужем по-настоящему, я сходила с ума от счастья — хоть в этом отношении я нормальная женщина.

Прошло целых пять восхитительных месяцев, в течение которых я пыталась возместить ему все годы его одиночества, — ведь я думала, что это было так. Он был очень добр и ласков со мной.

На меня оказали большое влияние ваши телевизионные передачи — я старалась как можно лучше выглядеть дома,

¹ *qui pro quo* — одно за другое (лат.).

стала носить длинные платья, потому что они скрывали мои ноги, и его друзья уже не отводили глаза в сторону. Каждое такое домашнее платье стоило мне столько же, сколько роскошный вечерний туалет. Когда у нас были гости или когда я куда-нибудь выезжала, то наперекор моде надевала длинные платья. О, вы не можете представить себе, какое чувство охватывает тебя, когда чей-нибудь взор с удивлением следует за тобой или, еще хуже, когда впервые люди видят, каким образом ты передвигаешься...

А потом пришло это письмо. Грязная анонимка. Меня все время терзала мысль, кто же этот жестокий человек, написавший ее? Мне почему-то казалось, что это мужчина и сделал он так потому, что завидовал карьере Кита.

Я чуть не лишилась рассудка. Но потом выяснилось, что у меня будет ребенок, и это спасло меня.

У меня было чувство, что Кит вздохнул с облегчением, узнав о моей беременности, но не потому, что хотел ребенка, а потому, что у него появилась причина отказаться от близости со мной.

Я думала, сердце мое разорвется, когда я впервые узнала о вас. В романах никогда не пишут, каким прочным может быть сердце и что оно способно вынести. Мне понадобился лишь месяц или чуть больше, чтобы понять: сердце состоит из множества частиц и, даже если одна его частица вышла из строя, все равно можно жить — ведь можно же жить с изуродованными ногами! Я поняла, что беременность сама по себе приносит удовлетворение, почла это за счастье и более или менее успокоилась. Теперь у меня есть мои дорогие малыши, а от всего остального я отгородилась. Я не думаю, что они что-то значат для Кита, но если он останется со мной, у нас будет полный дом детей, — ведь это единственное, что я могу делать не хуже любой другой женщины. Мой отец будет на вершине блаженства, а я просто создана для материнства.

Она закрыла глаза рукой и долго сидела молча. Слышно было только, как на секретере тикают миниатюрные французские часики. Вдруг рука ее упала, и совсем другим голосом она спросила:

— Он снова вернулся к вам, когда мы переехали сюда, в Сидней?

— Нет. Я ни разу не видела его с того дня, когда у бывшего редактора газеты случился инфаркт. Только вчера.

— Вы сами пришли к нему?

— Да. Я позвонила ему по телефону. Он был очень занят, как сказала его секретарша. Тогда я объявила, что буду сидеть у дверей его кабинета и ждать, пока он не освободится. Видимо, это его испугало. Во всяком случае, мы с ним встретились.

— Где?

— Вначале зашли в небольшое кафе. Но там нам подали скверный кофе, и он пригласил меня в какой-то дешевый ресторан, где не бывают его знакомые.

— Он никогда не приезжал повидаться с вами?

— Нет. Свои вещи он забрал в мое отсутствие, когда я была за границей.

Глаза Элспет засветились робкой радостью. Тэмпи ответила ей профессиональным искренним взглядом, которым она обычно одаривала телезрителей. Мысленно она запрятала золотой портсигар Кита на самом дне своей сумочки: ей стало тошно, когда она вспомнила, как низко была готова пасть.

— Благодарю вас, — сказала Элспет. — Я очень ревнива и просто не вынесла бы этого. А ведь мне часто казалось странным, что он такой. Я полагала, что мужчина, который столько лет не жил нормальной жизнью, должен был бы быть... ну, скажем, более требовательным. Позвольте мне быть откровенной — я надеялась, что он будет более требовательным. Вас не шокируют мои слова?

— Нет.

— Многих это покорило бы. Почему-то считается, что такое создание, как я, должно быть более утонченным.

— Я вовсе не думаю, что утонченность заключается в том, чтобы избегать подобных разговоров.

— Вы иначе подходите к таким вопросам. Вас всегда окружали мужчины. Я совсем не собираюсь сказать что-либо оскорбительное в ваш адрес — напротив, я завидую вам до глубины души.

Она снова вытерла губы платком. Очевидно, хотела спросить о чем-то еще. Наконец решилась. Вопрос ее прозвучал слишком громко:

— А с вами он был требовательным?

Тэмпи почувствовала, как краска заливает ее щеки, шею. Ей даже показалось, что все ее тело стало пунцовым.

— Скажите мне правду. Разве вы не понимаете, как мне необходимо знать правду? Ведь мне придется прожить с ним всю жизнь.

Тэмпи неохотно кивнула, ее захлестнул стыд, словно она сделала что-то непристойное.

Элпет откинулась назад в кресле, из груди ее вырвался продолжительный вздох.

— Я так и думала. Теперь, пожалуйста, еще немного терпения. Я хотела бы узнать у вас одну вещь. Если он захочет вернуться к вам, вы его примете?

— Нет!

Она выпалила это не задумываясь, не рассчитывая на эффект. Только после того, как слово было произнесено, Тэмпи поняла, что сказала истинную правду. Теперь уже она не захотела бы его возвращения ни на каких условиях. То, что он сделал, было хуже предательства. Оправдать и простить можно любой опрометчивый поступок, но не такой преднамеренный обман.

На губах Элпет расцвела улыбка.

— Спасибо. Теперь я могу думать о будущем.

Она нажала на кнопку звонка у кресла.

— Простите, я плохая хозяйка. Сейчас я прикажу подать чай.

— Вряд ли меня можно считать гостьей, поэтому извинения тут ни к чему.

— Нет, почему же? Ведь я сама пригласила вас, когда вы сюда приехали. Я случайно была на балконе с малышами и услышала, как садовник отпирает ворота. А потом миссис Раунтри повела себя как тюремщица. Простите ее. Она со времени моей болезни ухаживает за мной и все взяла в свои руки. Но на этот раз она не виновата — все слуги получили приказание от Кита. Я слышала, как она разговаривала с ним по телефону незадолго до вашего приезда; она сказала, что никто не приезжал к нам. Не знаю, кого он больше старался защитить — меня или себя.

— Думаю, всех вас.

— Вы очень добры.

Служанка вкатила низкий столик на колесиках. На нем стояли изысканные фарфоровые чашки и фамильное серебро, над которым обычно подшучивал Кит. Элпет ловко разлила чай. Когда служанка ушла, она сказала:

— Вы должны простить меня за то, что я так с вами разговаривала. Вообще-то я совсем не такая. Обычно я таю свои думы в себе. Если бы я познакомилась с вами при других обстоятельствах, вы, видимо, мне очень бы понравились.

— Я и не ожидала, что могу понравиться вам.

— Я тоже не предполагала, что вы отнесетесь ко мне так сердечно. Но все равно, мне очень жаль. Вначале я испугалась. Я подумала, вы приехали сказать мне, что

хотите вернуть Кита, и не знала, как мне удержать его, чтобы самолюбие мое при этом не пострадало. Но теперь я рада вашему приезду. Сегодня я сказала вам то, что всю жизнь говорила только себе одной. Во время нашего разговора очень многое встало на свое место. Вы разогнали мои кошмары. Я хотела бы еще задать вам один вопрос. Вы ответите на него?

— Если смогу.

— На протяжении этих шести лет до того, как он женился на мне, знали ли вы, что он оказывает знаки внимания какой-то другой женщине, посылает ей книги, подарки, пишет дружеские письма, которые по заблуждению могли приниматься за любовные? Был ли у вас хоть какой-нибудь повод сомневаться в нем?

Тэмпи медленно покачала головой. Ей вовсе не нужно было воскрешать в памяти эти годы. Слишком часто она думала о них после того, как он оставил ее.

Элспет глубоко вздохнула.

— Вот этого-то я и боялась. Возможно, для вас это утешение, а для меня — нет.

— Это вовсе не утешение для меня, но я не понимаю, почему вас это так волнует. Мы обе считали его другим человеком. Я обманулась в нем. Вы тоже.

— А теперь он обманулся в себе сам.

— Что вы хотите этим сказать?

— Он думал, будто женился на тихой и безвольной женщине. Теперь он увидит, что и у меня есть характер. Я не боюсь показать ему это. Пусть это будет для него частью расплаты. Ему придется уяснить себе, что если уж он не может быть хорошим мужем, то по крайней мере должен быть хорошим отцом. Он не посмеет разрушить наш брак по своему желанию. Он вынужден будет считаться со мной. Моим детям нужен отец, который играл бы с ними, когда я не смогу, занимался бы с ними спортом. Я же могу учить их только музыке и плаванию. Отец расширяет здесь плавательный бассейн. Он строит для нас дом на Питтуотере, и мы сможем всей семьей совершать прогулки на яхте, а Кит будет учить детей управлять парусом.

Она замолчала. На лице ее сияла лучезарная улыбка, какая бывает у детей при виде рождественской елки.

— Можете ли вы представить себе мое состояние, когда я думаю о будущей полноценной жизни после многих лет серости и скуки?

— Да, могу. Когда Кит оставил меня, я плакала не только потому, что потеряла его. Я плакала потому, что

потеряла в жизни все, созданное вместе с ним. Мне казалось, я умру, но я не умерла. По-настоящему я пришла в отчаяние, лишь когда увидела, что и профессия моя изменила мне, если, конечно, такое пустое и никому не нужное дело можно назвать профессией. Позднее я поняла: я пришла в отчаяние потому, что красота, которой я поклонялась и служила, покидая меня, не оставила мне ничего взамен — я не видела смысла своей жизни. Теперь у меня появилась возможность показать внучке: женщина может жить и после того, как лицо ее увянет, а любовь уйдет.

— И вы будете счастливы этим?

— Откровенно говоря, не знаю. Да пока я об этом и не забочусь. Я была счастлива с Китом. А чем это кончилось? Теперь я по крайней мере буду жить ради чего-то вполне реального и нужного. Через год, ну или лет через пять, я могла бы при случае рассказать вам, что из всего этого вышло.

— Вы очень уверены в себе.

— Если у вас создалось такое впечатление, то оно ошибочно. Я совсем в себе не уверена. Откуда бы у меня взялась эта уверенность? До сих пор я терпела фиаско во всех своих делах.

Дверь вдруг распахнулась, и обе женщины удивленно обернулись.

— О дорогой папочка, это ты? — воскликнула Элспет. — Какой приятный сюрприз!

Дэвид Робертсон наклонился и поцеловал дочь, потом выпрямился и положил руки ей на плечи, как будто хотел защитить ее. Он возвышался над ними обеими, широкоплечий, высокий, с лысой куполообразной головой с густыми бровями и массивными, выдвинутыми вперед челюстями, властный и властвующий. Мало кому удастся быть легендой при жизни. Он стал такой легендой. Теперь Тэмпи поняла, почему служащие боялись его.

— Ты еще недостаточно здорова, чтобы принимать гостей, — сказал он, переводя укоризненный взгляд с дочери на Тэмпи.

Элспет засмеялась.

— Я еще никогда не чувствовала себя так хорошо, как сейчас.

Встретив его взгляд, Тэмпи поняла, что он выражал и страх и гнев одновременно. Элспет положила ладонь на его руку.

— А почему ты не позвонил и не сообщил о приезде? Я бы встретила тебя в аэропорту.

Голос ее звучал так же тепло, но в глазах было предостережение, когда она весело продолжала:

— Познакомься, это миссис Кэкстон. Вы ведь раньше не встречались? Вообще-то говоря, она вела самые интересные передачи по твоей программе в течение многих лет. Я тут старалась рассказать миссис Кэкстон, сколь многим я ей обязана.

Он перевел подозрительный взгляд с Тэмпи на Элспет. Голос его стал таким же жестким, как и выражение лица:

— Я не знал, что ты знакома с миссис Кэкстон.

— Только как с личностью, известной всем в наше время. И вот — ты подумай! Мы давно уже беседуем, и у нас оказалось много общих интересов.

Элспет беззаботно рассмеялась. Но он все еще продолжал смотреть на нее, нахмурив брови, похожий на сторожевого пса.

Она начала подниматься с кресла, опираясь на его руку.

— Мне следовало бы догадаться, что ты прилетишь в первый же день, как я вернусь домой с малышами. Ну, пойдем. Я не хочу заставлять тебя ждать.

Направляясь к двери, она протянула руку Тэмпи.

— Пожалуйста, пойдите с нами, миссис Кэкстон. Мы так увлеклись разговорами, что у нас не было и минутки взглянуть на них.

Она откинула москитную сетку, закрывавшую колыбельку. Лицо Робертсона сразу подобрело. Наклонившись над малышами, он смотрел на них с обожанием.

— Это — Дебора Элспет, она названа так в честь моей матери. Она, как и бабушка, блондинка. А это — Дэвид Робертсон, в честь дедушки. Вам не кажется, что они очень похожи? Посмотрите на его лоб. И на нос — со временем он будет напоминать орлиный клюв.

— Чепуха, — сказал Робертсон, но тон его смягчил резкость слова. — Они похожи на всех грудных младенцев, розовые и бесформенные. Что же касается орлиного клюва, то это всего лишь кусочек теста, и ничего больше. А врач и сестра довольны их развитием? — спросил он озабоченно.

— Да, вполне. Они уверенно набирают вес. Я потом покажу тебе их медицинские карточки.

Она опустила сетку и улыбнулась Тэмпи.

— Дня не может прожить, чтобы не проверить, насколько они поправились и каким новым штучкам научились.

А Тэмпи в это время думала, что хоть эти дети и будут носить фамилию Кита, они так и останутся детьми Робертсона.

Элспет потащила отца в комнату.

— Ну, теперь пойдем. Садись сюда, а я расскажу, что хочу попросить тебя сделать для миссис Кэкстон.

Он стоял и хмуро смотрел на Тэмпи.

— Не знаю, смогу ли я что-либо сделать для миссис Кэкстон.

— Да, сможешь. Ты только сядь сюда, я зажгу для тебя сигару. И выслушай все, что она тебе расскажет. Или лучше я сама расскажу. Она, наверно, очень устала.

Он неохотно сел. Элспет поднесла ему зажигалку. Потом рассказала историю Уэйлера, очень живо обрисовав и место действия и всех действующих лиц: Кристофера и Кристину, ее приемных родителей, всех родственников.

Отец слушал ее, не отрывая глаз от сигары, лицо его было бесстрастным. Его совсем не трогала трагедия Кристофера и Занни, он остался равнодушным к затруднительному положению Кристины, нисколько не интересовался судьбой Уэйлера.

Когда Элспет закончила свой рассказ, он посмотрел на нее вопросительно, словно допытываясь, чего же она ему еще не сказала, потом перевел недоуменный взгляд на Тэмпи.

— Почему вы обратились к моей дочери?

— Я подумала, что она сможет помочь мне опубликовать этот материал.

— Конечно, обратиться в печать было бы самым разумным.

Элспет слегка потрепала его по плечу.

— Мой дорогой папочка, пожалуйста, не прикидывайся таким наивным. Ты ведь отлично знаешь, что невозможно поместить в газету материал, который не соответствует ее направлению.

— Миссис Кэкстон, несомненно, об этом тоже знает. Зачем же ей было тратить время и приезжать сюда?

— Затем, что она прекрасно понимает: если ты займешься этим делом, у них будет шанс выиграть его.

Он усмехнулся; удивленно разглядывая их, он пытался найти ключ к разгадке этой совершенно необъяснимой ситуации, когда дочь его вдруг оказалась в дружеском контакте с «той, другой женщиной», о которой ей, вообще говоря, не следовало бы и знать. Конечно, единственное, что его волновало и имело для него значение, — это счастье дочери. Но где-то здесь таилась угроза ее благополучию.

Заклучалась ли она только в том, что существует на свете Тэмпи? Или же в чем-то еще?

— Я против личного вмешательства в политику, проводимую прессой,— сказал он решительно.

Один из малышей захныкал. Он встал и вышел на балкон, где в тот же миг появилась медицинская сестра в белом халате.

Элпет предостерегающе приложила палец к губам.

Когда ребенок успокоился, он снова вернулся и встал, облокотившись на спинку кресла Элпет. Засмеявшись, она погладила его руку.

— Вы представить себе не можете, как мой отец трогательно относится к малышам. Я решила, что он должен переехать сюда и помогать мне воспитывать их. Давай-ка, папа. Ты будешь жить в старом флигеле. Договорились? Мы все будем в восторге.

Хмурое лицо старика преобразилось — в холодных глазах зажглись огоньки, суровые губы против воли расплзлись в улыбке.

Элпет притянула его поближе к себе и зашептала:

— Если бы речь шла о твоём внуке и ты оказался бы на месте миссис Кэкстон, разве ты не сделал бы этого?

Он посмотрел на нее, все еще сомневаясь. У нее были такие искренние, любящие глаза, что им нельзя было не поверить. Он отвел от нее взгляд и в раздражении стал прищелкивать пальцами.

— Ну хорошо,— резко обернулся он к Тэмпи.— А теперь, раз уж я отношусь к категории людей, которые любят брать быка за рога, я предлагаю вам пройти в мой кабинет. Я хочу записать кое-какие подробности.

Стараясь не показать своей радости, Тэмпи как можно спокойнее ответила:

— В этом нет необходимости. Прежде чем приехать сюда, я все написала.

Он пробежал глазами листки, отпечатанные на машинке, и сказал с мрачной иронией:

— Вам следовало быть журналисткой.

Она стойко выдержала его взгляд.

— У меня большой опыт в создании телевизионных передач. Не мне вам говорить, что успех на телевидении требует тщательной подготовки.

— Хм. Вы, очевидно, совершенно четко знаете, что нужно делать, и, как большинство людей, воображаете, будто для владельца газеты нет ничего невозможного. А если

это так, то, может быть, вы мне подскажите, с чего лучше начать?

— Прежде всего нужно взяться за дело Ларри. То, что полиция вытворяет с аборигенами в Редферне, просто позор!

— Ну ладно. Честно говоря, мне в высшей степени наплевать на ваших друзей аборигенов. Но полиция действительно иногда превышает свои полномочия. И не только там. Наша газета в Брисбене тоже занята подобным делом. Что еще?

— Пошлите в Уэйлер хорошего корреспондента.

— Андерсон подойдет?

И в голосе и в выражении его лица явно чувствовался сарказм. Робертсон, разумеется, знал, что ей известно, кто такой Андерсон — самый популярный репортер, который пишет о звездах кино и телевидения.

— Прекрасно. Завтра утром он сможет вылететь туда вместе со мной.

— Вы что же, возвращаетесь обратно?

— Да.

— А как же с вашими телевизионными передачами?

— Я рассталась с телевидением. Режиссеры моих передач решили, что я слишком стара для создания романтического образа, и, я думаю, они правы.

Его глаза метнулись сверху вниз, вбирая в себя все детали ее внешности.

— Вы еще довольно привлекательны, — сказал он с какой-то завистью.

— Спасибо. Но для телевидения этого недостаточно. Телекамера видит больше, чем человеческий глаз.

Он сел и сделал вид, что углубился в ее записи. Потом вдруг резко спросил:

— Вы намерены жить в Сиднее после ухода с работы?

— Я не собираюсь совсем расставаться с работой. Ни в Сиднее, ни где-нибудь еще. Даже если бы я и хотела, я не смогла бы себе это позволить.

— А вы не хотите?

— Нет. Я хочу найти какую-нибудь другую работу. Надеюсь, она будет полезнее того, чем я занималась раньше.

Он наклонился вперед, положил руки на колени. Он страстно желал узнать то, о чем не мог спросить: поддерживает ли она прежние отношения с Китом? А если нет, то не пытается ли Кит их восстановить? Этот вопрос не давал ему покоя. Может, потому голос его звучал так резко и весь он был так напряжен. Опасна ли эта женщина для

Элспет? Вот что беспокоило его больше всего. Это было очень интересно: Тэмпи думала увидеть человека, которого все боялись, а тут он сам был вынужден обороняться, и это забавляло ее. Как это он сказал? «Я отношусь к категории людей, которые любят брать быка за рога». А вот с ней он ничего не может поделать.

— Вы согласились бы работать не в Сиднее? — спросил он, прощупывая почву.

— Где именно я буду работать, мне совершенно не важно, хотя я предпочла бы быть поближе к моей внучке, чтобы чаще видеться с ней.— Тэмпи улыбнулась и добавила, посмотрев ему прямо в глаза: — Уж вы-то понимаете, что это для меня значит.

Он промычал что-то невнятное, потом сказал:

— Существует старая поговорка: «Если одна дверь закрывается, открывается другая».

— Я слышала эту поговорку, но как-то не очень верю ей.

— Почему же? Дверь открывается.

Он встал перед ней, огромный, властный. И впервые она почувствовала его силу. Кит много раз говорил ей об этом человеке. Не к чему тратить лишние слова и спорить, считал он,— старик в любом случае выйдет победителем. И тем не менее Тэмпи выиграла этот молчаливый поединок с ним. Так что же теперь?

— Я знаю, что вы тонко чувствуете настроение публики.

— Много лет я этим зарабатывала на жизнь.

— А не хотели бы вы использовать свое имя и имя вашей внучки в новой серии телевизионных передач? Правда, должен вас предупредить: в глазах публики бабушки теряют все свое очарование.

— Но мне никогда не дадут это сделать.

— Дадут. А вы сами-то хотите этого?

Она не могла скрыть своего неподдельного интереса.

— Похоже, будто вы знаете, что именно о таком цикле передач я мечтала. Но кто же разрешит мне делать это?

— Мы открываем новую телевизионную студию под Ньюкаслем.

Он замолчал, желая узнать, как она к этому отнесется.

Тэмпи прочла на его волевом лице мысли, которые он не мог высказать вслух: «Вот тогда я покончу с тобой, и ты перестанешь быть угрозой для Элспет. Бабушки теряют все свое очарование, а бабушки, у которых внучки аборигенки,— тем более». Ему казалось, что он поступал весьма мудро.

Он все еще следил за ней.

— Вы сможете придать вашей истории большую притягательную силу и вызвать интерес публики,— продолжал он.— К тому же это принесет популярность и поддержку вашим друзьям в Уэйлере. Далее, вы сможете создавать тематические передачи, более широко освещающая вопросы, чем в обычных передачах для женщин. Откровенно говоря, дни таких передач сочтены. Я дам вам *carte blanche* — вы сможете говорить все, что захотите. Ну, разумеется, не выходя за рамки нашего направления. Кроме того, отныне в моей газете проблемой номер один станет положение в Уэйлере. Мы будем освещать его до тех пор, пока оно не нормализуется. Согласны?

Она кивнула — горло ее сжалось, ей трудно было произнести хоть слово.

— Конечно, вам придется жить в Ньюкасле. Это довольно близко от Уэйлера, и вы сможете ездить к своей внучке столько, сколько захотите. Телевизионная студия купит вашу здешнюю квартиру за любую цену, которую вы назначите, и предоставит вам квартиру в Ньюкасле.

«Только убирайся из Сиднея,— кричали его глаза,— убирайся подальше от моей дочери!»

Тэмпи насторожилась. Какой-то внутренний голос предостерегал ее: «Будь осторожна! Не дай обмануть себя пустыми обещаниями — ведь он просто хочет избавиться от тебя. На карту поставлена не только твоя собственная жизнь, но и будущее Уэйлера, будущее Кристины».

«Ведь ему на все это наплевать,— говорила она себе, видя, как он старается добиться своей цели,— ему важно только одно — навсегда обезопасить Элспет. Сейчас все козыри в его руках».

Она вспомнила — Кит рассказывал ей когда-то, как жесток и неразборчив в средствах этот человек, если дело касается его личных интересов. Он мог обмануть ее. Он мог погубить ее. Если он решит, что это необходимо, он не станет колебаться и не остановится ни перед чем.

Она глубоко вздохнула, как обычно перед началом передачи по телевидению, потом заставила себя улыбнуться той улыбкой, которая приводила в восторг многочисленных зрителей.

— Может, для начала обсудим условия моего контракта, мистер Робертсон?

Его лицо вытянулось от изумления; именно так, наверное, выглядит чемпион по фехтованию, когда он вдруг терпит поражение от новичка.

Потом он разразился громким смехом. Элспет — тоже. И всякий раз, когда уже казалось, смех вот-вот утихнет, он или она снова принимались хохотать.

Наконец он остановился и вытер слезы на глазах.

— Хорошо. Сейчас мы составим контракт.— Он встал и с восхищением посмотрел на Тэмпи.— Кто это выдумал миф о слабой половине рода человеческого?

Утро было пасмурным. Самолет набирал высоту, а внизу под ним разворачивался Сидней в строгой мраморно-серой рамке моря. По мере того как город исчезал из виду, Тэмпи чувствовала, что вместе с ним уходит в прошлое и ее прежняя жизнь. Острая боль и сожаление о том, что она оставляла здесь, захватили ее целиком. Говорят, после того, как человеку отрежут ногу, она у него еще долго болит. Так как же ей, Тэмпи, не испытывать страдания? Ведь ей отрезали половину жизни.

Мысли ее металась между воспоминаниями о прошлом и думами о будущем. Старая боль, как рисунок, выжженный на дереве, отпечталась в ее сознании. Она скорбела о смерти Занни, чувствовала душевное смятение, вспоминая о Кристи,— ей хотелось, чтобы ее теплое чувство к девочке переросло в настоящую любовь, и в то же время она не была уверена, оплатит ли ей Кристи ответной любовью. Разве это не ирония судьбы — она, строившая всю свою жизнь на любви, теперь собирается жить без этого чувства!

Андерсон, в последний момент перед вылетом занявший место рядом с ней, развернул утренний выпуск «Глоуб» и передал ей, хитро подмигнув.

— Хорошее начало!

Она увидела заголовок, набранный огромными буквами: «Древний Уэйлер в опасности». Дальше шли четыре колонки текста с жирными черными подзаголовками. Итак, в кампании по спасению Уэйлера был сделан первый шаг.

Она бегло просмотрела статью. Должно быть, Робертсон продиктовал по телефону ее основные положения сразу же после того, как она уехала. Несмотря на то что она долго прожила с Китом и была в курсе всех его редакционных дел, Тэмпи поражалась, как это в нескольких абзацах могло уместиться так много сведений. Она читала и перечитывала статью, взволнованная своим триумфом и еще чем-то, в чем она пока не разобралась. Ей достаточно было и того, что она выиграла этот бой.

Андерсон снова наклонился к ней и указал на передовицу:

— Прочтите вот это.

В глаза ей бросился заголовок: «Уэйлерское дело». Она быстро пробежала первые строки:

«Возмущенная общественность с полной решимостью заявляет, что семья первых жителей поселка китобоев, известного под названием Уэйлер, четыре поколения которой прожили в этих местах, не должна лишиться своих наследственных владений...»

Далее шло подробное освещение событий в Уэйлере. Тэмпи откинулась на спинку кресла, не отрываясь от газеты.

«...Позорное обращение с достойной уважения, почтенной семьей...

...премьер-министр, в отсутствие министра по земельным делам, занимаясь вопросами, входящими в его компетенцию, высказался весьма определенно против... министр обороны отрицает любые намерения... верховный комиссар полиции заявил, что потребует безотлагательно представить ему доклад... оперативные действия всех учреждений, имеющих отношение к данному делу, показывают, насколько сильно общественное мнение взволновано происходящим...»

Таким образом, общественное мнение было создано. Ей вспомнилось циничное замечание Кита по поводу какой-то другой газетной кампании: «Так мы поступаем всегда, когда нам нужно!»

Он говорил, что редактор сам редко пишет передовые статьи. И все же здесь явно улавливались его, Кита, резкие выражения, его фразы, наносившие удары прямо в цель, его аргументация, сочетавшая в себе негодование, эмоции и нравоучения. Возможно, это Элспет посоветовала отцу поручить передовицу Киту, — она сделала первый шаг в своей кампании. Но это уж их дело. А она, Тэмпи, должна бороться за Кристи и Уэйлер.

Андерсон наблюдал за ней.

— Хорошо, правда? — спросил он. — Вы слышали, что сегодня утром сообщило радио?

— Нет, у меня не было времени.

— Первоклассный материал. Вы должны быть довольны. Надеюсь, и вы поддерживаете этот протест.

— Да. Моя внучка живет в Уэйлере.

— Внучка? Вот это да! А босс мне ничего не сказал. Так что же, можно писать об этом?

— Пожалуйста, если считаете нужным.

— Это может решить дело. Ну, там видно будет. — Он вытащил несколько исписанных листков. — Редактор дал

мне кое-какую информацию, но лучше еще раз ее проверить. Я намечу здесь основное, а вы дополните, если нужно. Впрочем, вы рядом, и я всегда смогу обратиться к вам.

Пока она отвечала на его вопросы, а он делал пометки в своих записях, в туманной дымке, окутавшей Ньюкасл, показались трубы сталелитейного завода. Где-то там, внизу, ей предстоит сражаться. Будущее ее было таким же неясным, как этот город, очертания которого она могла лишь угадывать.

Что ожидало ее? В руках у нее был контракт, очень выгодный контракт со студией телевидения. Размышляя о своей будущей работе, она приходила к уверенности: у нее хватит способностей выполнить то, что она так поспешно пообещала Робертсону. И все же в прошлом ей сопутствовал такой огромный успех, что она сомневалась, сможет ли теперь удовлетвориться новой скромной ролью.

Кит оказался прав хотя бы в одном: можно жить и без любви. Она теперь знала: нельзя строить что-то прочное на такой любви, какая была у них. Но чем же ее заменить?

Душевный подъем от сознания своей победы сменился сомнениями. Даже если она добьется успеха, у нее не будет чего-то главного в жизни. Никому она по-настоящему не нужна. Свонберги вряд ли захотят считаться с ней — ведь между ними преградой встал образ Занни. Они использовали Тэмпи в своих целях, а Кристи принадлежит только им — не ей.

В тумане стал вырисовываться Хогсбэк, самолет летел уже над Уоллабой, омываемой голубым по-зимнему морем. Среди деревьев она увидела крошечный белый домик старшего инспектора, серые однообразные лачуги вдоль ручья, почти неразличимые фигурки людей. И вдруг она ощутила себя участницей той длительной и тяжелой борьбы, которую все они ведут.

Она поняла, что будущее ее зиждется на чем-то более глубоком и обширном, чем просто любовь Кристи.

Самолет снизился над изумрудным Уэйлером, приземлился и подрулил к аэровокзалу. Со ступенек трапа с радостью, охватившей все ее существо, она увидела темные лица, поднятые вверх. Тут были и Берт, и Эмма, и Пол, и Мэй. А выше всех, усевшись на плечо Джеда, махала ей рукой улыбающаяся Кристи.

И, спускаясь по трапу, она вдруг как наяву услышала рядом с собой шаги Кристофера.

**ПОЛУСОЖ-
ЖЕННОЕ
ДЕРЕВО**

РОМАН



Мальчик все не уходил, хотя солнце уже скрылось, и когда волна поднимала на гребень доску для серфинга, мужчина по-прежнему видел его голову, вырисовывающуюся на фоне неба. Он провел здесь весь день, не спуская глаз с мужчины.

Не будь этого ребенка, никто бы даже и не узнал, не обратил внимания на человека в море, ждавшего момента, когда наконец волна с силой швырнет его на острые камни, в эту бурлящую пену.

— Не вздумайте кататься на волнах в том конце бухты,— сказал какой-то местный житель, заметив доску для серфинга на крыше машины, когда мужчина подъехал к берегу.— Бомбора — это убийца.

Именно поэтому он и решил остаться здесь, горя желанием найти в море быстрый и легкий путь к смерти. С берега казалось, будто никто и никогда не сможет выбраться живым из этого kloкочущего водоворота, разбушевавшегося на всем пространстве от маленького скалистого островка до отвесной скалы. Но человек вновь и вновь всплывал в этой пучине. Бесконечное число раз направлял он свою доску на гребни самых высоких волн. Говорят, будто самая сильная волна — седьмая. Может, при падении с нее он, наконец, рассчитается с жизнью.

Но нет, оказывается, все не так просто. Натренированные колени помимо воли упруго сгибались, руки сами балансировали при крутых виражах, тело сохраняло равновесие. Напряженный, выбившийся из сил, он каждый раз оказывался за пределами рифов с громяющей водой, относившей его к берегу.

Получалось так, будто личность его разрывалась на части: сознанием, сердцем он желал смерти, а тело сопротивлялось этому. И хотя в душе он жаждал конца, мускулы тела как по команде сжимались и разжимались, нервы оставались крепкими. Он начал понимать с отчаянием и не-

* Роман печатается с сокращениями.

избежной уверенностью: пока случай невзначай не вынесет его головой на риф, пока удар не погасит сознания, тело и дальше будет продолжать эту своевольную борьбу за спасение. Он жаждал смерти. Все было очень просто. Но как заставить тело выполнить то, на что он решился умом?

Солнце просеивало свои редкие лучи сквозь облака, нависшие над видневшимися вдали горами. Гребни волн плясали на сверкавшей воде моря. Под ним чистая, как хрусталь, вода разбивалась на мелкие брызги.

Сильное тело, отдохнувшее за несколько месяцев бездействия в госпитале, съежилось от соленого воздуха и холодных морских брызг. С того дня, когда напалм превратил его в горящую свечу, оно казалось умершим. Лишь недавно освободившиеся от темных очков глаза были раздражены отсветами уходящего дня. Мир был пуст, хотя и светился фосфорическим светом. Лишь волны шумели да слышался крик чаек над морем.

Где-то вдали он увидел, как вода поднялась угрожающе высоко. Да, должно быть, это та самая волна, последняя. Он напряженно ждал. Мокрую кожу резко покалывало на ветру, мускулы напряглись, тело готовилось встретиться с новым валом. Он заставил свои коченеющие руки подгрести к буруну, возвышавшемуся по мере приближения к скалам над остальными, пена скопилась над его гребнем.

Человек повернул доску. И опять, в последних лучах заходящего солнца, он увидел над гребнем скалы голову мальчика. Черт бы побрал этого мальчишку, чего он там лежит и глазет? Человеку не нужны свидетели его последнего отчаянного рывка, который бросит его на бомбору вместе с грохочущим буруном. Ему не нужно ни спасение, ни воскрешение. Он жаждал смерти.

С замиранием сердца увидел он в глубине острые камни, открывшиеся перед ним, когда поднимающийся бурун вобрал в себя воду. Нет уж, на этот раз он не промахнется. Но снова колени согнулись, повторяя движение доски, руки раскинулись, удерживая равновесие, тело сохранило устойчивость. Он выпрямился во весь рост, поднявшись для броска на рифы, чувствуя головокружение от предстоящей победы.

— Ну, брось же меня на них! — уговаривал он. — Кончай с этим раз и навсегда!

И на этот раз воля оказалась сильнее плоти. Доска погрузилась в волну, на какое-то мгновение приостановилась и вдруг метнулась на рифы. Он почувствовал страшный удар. Но вот набежавшая новая волна метнула его от бом-

боры в буйство бурлящей воды. Его засасывало все глубже и глубже, ударило о каменистое дно, закрутило встречным течением и стало швырять в шипящей пене.

...Человек лежал измотанный, выбившийся из сил в стороне от кромки воды, уронив голову на руки, чувствуя, как отлив плещется у ног. Горькое разочарование смешалось с каким-то новым чувством.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мальчик замирал и тяжело вздыхал каждый раз, когда мужчина на доске для серфинга показывался над волнами. Он носился по морю точно так, как когда-то его отец. Длинное и худое тело смельчака в лучах заходящего солнца казалось ему точь-в-точь похожим на его отца. Даже различие в цвете кожи никак не снимало его беспокойства.

Ребенок наблюдал за тем, как мужчина до боли знакомыми движениями устранился на доске для серфинга. И каждый раз, когда он поднимался во весь рост, мышцы живота его напрягались. Может быть, этот человек был действительно его отцом, а тот несчастный случай сделал его кожу такой странно разноцветной?

Нет. Его отец никогда не пошел бы к бомборе. Хотя он прекрасно катался на доске по волнам, он все равно никогда не сделал бы подобной глупости. Этот незнакомец или сошел с ума, или не сознает опасности. И все же он знал, прекрасно знал, чем грозит ему бомбора. Ни один человек не будет раз за разом бросаться на рифы, если не знает всего, что полагается знать о серфинге. И ни один человек не сделает ничего подобного, если он в своем уме.

Его отец знал все с тех пор, когда они жили на берегу. Это было еще до смерти дедушки, которого звали Грампи. Еще до того времени, когда их род должен был покинуть свои родовые земли у моря, потому что властям понадобились эти земли для белых.

Отец рассказывал сыну о море, пока они переезжали с места на место, покинув скотоводческую ферму, а потом обосновались на берегу, где не было никого, кроме других аборигенов, помогавших им. Отец показывал те места, которые нужно было выбирать для серфинга, и те, которых следовало избегать. В основном это были рифы, где шумели и разбивались волны, а это означало, что внизу под ними скрывались острые камни. Отец никогда не выходил в море там, где бомбора показывала при отливе неровный

ряд «крокодильих зубов». Даже в прилив они были видны сквозь прозрачную воду.

Мальчик видел, как человек медленно встал на ноги, поднял на плечо разбитую доску для серфинга и побрел по песчаному берегу к своей машине.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Женщина стояла на пороге, собираясь закрыть на ночь дверь почты. В лучах заходящего солнца море отливало серебристо-голубым цветом. В сторону моря, к острову, медленно пролетела стая чаек. Не будь здесь чаек, мир казался бы совсем вымершим.

Потом женщина снова увидела темную фигуру, то поднимающуюся на волнах, то исчезающую в них.

Еще вчера днем мальчишка-абориген обратил ее внимание на этого человека, и она время от времени невольно подходила к двери почты и наблюдала за тем, как этот незнакомец с явным пренебрежением обращался с бомборой. Уже много часов продолжалось это безрассудство, издали похожее на какую-то безумную пляску смерти.

Да, в наше время мужчины стали безумцами, они постоянно ищут какие-то новые острые ощущения, идут на риск, будто сама жизнь не была достаточно рискованной.

Ни один человек из местных не сделал бы ничего подобного.

Она снова вздохнула, увидев, как человек вдали с силой пролетел вниз в каскаде белых брызг, и заперла дверь. Что ж, ее вовсе не касается, если он разобьется насмерть. Плохо только, что он выбрал для этого здешние места.

Женщина закрыла дверь на засов, заперла крышку почтового ящика и еще раз проверила сейф. Не потому, что чего-то опасалась, а просто для порядка. Абсолютно ненужные меры. Кража стала бы приятным происшествием в этой рутине и скуке, хотя женщина с трудом представляла себе человека, который рискнул бы ограбить почту, где хранилось немного марок да бланки почтовых отправок. В сейфе всегда было слишком мало денег, чтобы они могли привлечь внимание даже случайного жулика, а заброшенное это местечко, получившее название Голова Дьявола, не могло быть приманкой даже для самых бедных из них. Забрели сюда лишь рыбаки из Дулинбы, те, чьи дома находились наверху, у озера. Там проходило основное шоссе.

Когда отец после смерти матери принял на себя ведение дел в этом почтовом отделении, она сочла это место самым захудалым во всем мире. Но потом настало время, когда она с радостью возвратилась сюда, чтобы молча зализывать свои раны и ухаживать за умиравшим отцом.

Отец был счастлив умереть. Она в этом ничуть не сомневалась. Жизнь для него потеряла смысл, потому что рядом не было ее матери. При мысли о том, что бывают же такие счастливые браки, ее охватывала привычная боль. Если уж говорить о ней самой, то для нее брак явился ложью и западней.

Женщина зажгла керосиновую лампу. В комнате холодно. Камин потух, а у нее нет сил выйти из дому и набрать щепы.

В дверь кухни легонько постучали. Женщина поднялась и пошла открывать, на ходу зажигая фонарь. Внизу возле ступенек стоял мальчишка-абориген и, вскинув лицо вверх, смотрел на нее. Его черные глаза блестели в лучах фонаря.

— Добрый вечер, леди,— промолвил он еле слышно.

— Ах, это ты... Добрый вечер. Что ты здесь делаешь в такой поздний час?

Мальчик застенчиво переминался с ноги на ногу.

— Принес вам немного дров, собрал их на берегу. Я думаю, будет дождь и вы промокнете.

Предлог был настолько неправдоподобен — ведь над горами было чистое, безоблачное небо, — что она рассмеялась. Еще одно подаяние, подумала она, хотя, несомненно, мальчишка правильно оценил стоимость этих дров.

— Спасибо,— сказала она, смягчившись.

Мальчик казался необычайно маленьким и худым, ее поразило, как родители отпустили его из дому в такое позднее время. Правда, она давно уже слышала, будто родители-аборигены небрежно относятся к своим детям, ничуть не заботясь о них. Несомненно, этому мальчишке было бы куда лучше находиться в приюте. Видимо, он часто бывал голоден, а родители его пили запоем, тратя на спиртное пособие, на которое можно было бы прокормить этого ребенка.

Она взяла из железной коробки пригоршню раскрошившегося печенья, достала из буфета яблоко.

— Вот возьми это и отправляйся поскорее домой. Твоей матери должно быть стыдно за то, что она отпускает тебя так поздно.

Она едва расслышала, как он шепотом пролепетал слова благодарности и скрылся в ночной мгле.

Это был первый абориген, с которым ей привелось столкнуться в этих местах за все время, пока она прожила здесь, да и отец никогда не говорил ей об аборигенах. Но уж очень это на них похоже, думала она, вот так они и кочуют по стране, так и живут в праздном безделье, собирая милостыню, если ничего другого не подворачивается под руку.

Небо над горами стало водянисто-зеленым, таким же чистым, как вода среди камней при отливе. Одна-единственная звезда, блестевшая при вечерней заре, повисла высоко в небе. Горы покрывали мрак и непроглядная тьма. А совсем внизу, на берегу озера, сквозь силуэты деревьев виднелись поблескивающие огни главной улицы Дулинбы. Невозможно себе представить, что ее отделяло от этой улицы всего пять миль, потому что Дулинба, казалось, была где-то совсем в другом мире, на расстоянии нескольких световых лет, там, откуда она ушла навсегда и уже никогда не хотела вернуться.

Здесь, у Головы Дьявола, она была счастлива, как никогда раньше. Здесь постоянно глухо шумел прибой, и эхо его разносилось вдоль всего берега. Вечерами, когда все затихало и лишь изредка доносился крик какой-нибудь птицы, возвращавшейся в свое гнездо на заповедный рифовый островок, она в своем одиночестве витала где-то между морем и небом.

— Неужели вы не чувствуете себя одинокой? — спрашивали ее туристы, изредка посещавшие эти места, ловцы креветок, приезжавшие на этот берег, и даже миссис Роган, иногда заглядывавшая сюда из маслодельни, когда она забывала купить что-нибудь в Дулинбе. — Разве вам не тоскливо здесь совсем одной?

Она обычно качала головой, натянуто улыбалась. О ней говорили: «Да, тяжелый человек эта женщина, работающая на почте».

Но можно ли чувствовать одиночество, если ты уже ничего не ждешь от жизни?

Ей нравилось смотреть на эти корабли, потому что они проходили мимо, ничем не нарушая тайну ее уединения, в котором она жила. Она ненавидела рыбаков, временами появлявшихся здесь с траловыми сетями и рыбой, предназначенной для жителей Дулинбы. Они заходили на почту за письмами и газетами. Она особенно ненавидела этих мужчин за то, что с их появлением сюда врывались их собст-

венные догадки и домыслы о том, почему она предпочитает жить здесь одна.

Какое-то время она сидела в полном бездействии. Такие моменты она очень любила. Две звезды Большой Медведицы, находящиеся на одной линии с Полярной звездой, пробились сквозь бледно-лиловое небо, потом показались пять звезд Южного Креста. Наблюдая за тем, как они медленно сместились на небе, она мысленно отметила, что зима уже на исходе.

Она вошла в дом, бросила охапку щепок в камин, положила на них несколько поленьев. Запах горящих листьев эвкалипта немного успокоил ее.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Спрятав еду под рубашку и крепко прижимая ее к себе, мальчик пробирался сквозь низкорослый кустарник. Колочая трава была холодной и больно хлестала по ногам, резкий ночной ветер пробивался сквозь тонкий свитер. Дрожая от холода, мальчик бежал к укрытию — высоким деревьям, пока не почувствовал, как они обступили его со всех сторон. Белые стволы, казалось, шагали ему навстречу, словно привидения, о которых рассказывал Грампи, когда они жили в резервации и он был совсем маленьким.

Грампи рассказывал, как духи умерших, похороненных без соблюдения обряда, и тех, над которыми совершили неправильные заклания, поднимаются по ночам и бродят в кустах. Они уже больше не принадлежат своим хозяевам, но и не допущены в мир духов, потому что люди, которых они покинули, не исполнили положенных обрядов.

Отец же считал, что никаких духов не существует.

— Не нужно беспокоиться об умерших аборигенах, сынок, — уговаривал он. — Лучше присматривайся к тому, как живут белые.

Когда он бывал с отцом, то во всем доверялся ему. Но теперь, один в темноте, окруженный деревьями, похожими на привидения, да еще услышав крик совы, напоминающий зов умершего, он чувствовал себя совсем не так уверенно, как прежде. Ему все время казалось, что вот сейчас деревья схватят его в свои призрачные объятия. Когда-то с ним были отец и мама, и он чувствовал себя в безопасности. Они знали больше о жизни белых людей, чем Грампи, к тому же они умели читать и писать. Но теперь старенький грузовик, в котором семья покинула резервацию,

валяется где-то разбитый, а маму и отца увезли в большом белом фургоне с красным фонарем на крыше. Вот почему теперь рядом с ним раздавался голос злого духа, и звучал он так же тихо, как и во времена Грампи.

Мальчик стал тихонько напевать про себя песню, которую пел Грампи. Но вот закончился последний куплет песни, и он начал читать молитву всемогущему богу, которую выучил вместе с мамой, надеясь, что герои Грампи, живущие на небесах, и боги белых людей защитят его от всего неизвестного, что таится в этом лесу.

Учитель говорил, что у него такая хорошая память, что он мог бы получить отличный аттестат, если бы посещал школу. А Грампи считал, что из него получился бы превосходный сказитель. Грампи это нравилось больше всего.

Где-то позади раздался лай. Мальчик остановился, не в силах шелохнуться от страха. А вдруг это собака с огромными красными глазами? Мурашки побежали у него по спине, мальчик слышал, как зверь пробирался по каменной дороге, как хрустнула под его ногами ветка. Он побежал, его уже больше не пугали деревья, он боялся неизвестности, преследовавшей его по пятам еще упорнее, чем это делал Грампи, когда был полицейским следователем, еще задолго до того, как их род переселился в резервацию.

Молитвы перепутались у него в голове, и теперь они вырывались из его горла вместе с рыданиями. Может быть, злые духи, о которых рассказывал ему Грампи, и дьяволы, о которых говорили миссионеры, одно и то же. Может быть, им удастся схватить его раньше, чем он успеет добежать до пещеры, где устроил себе убежище. Вход в пещеру зиял непроглядной тьмой, и мальчик чуть дыша, ползком забрался внутрь, прижимая к себе печенье и яблоко и решая: чем именно, печеньем или яблоком, задобрит он преследователя?

Тяжелое дыхание приближалось, наконец преследователь остановился, обнюхал пепел у костра, который мальчик разводил накануне, чтобы согреться. Что-то влажное прикоснулось к ногам, потом к рукам. А когда мокрый язык лизнул его лицо, мальчик понял, что это была собака, просто обыкновенная собака, такая же, как и те, что бегали в резервации. Она жалобно скулила, жалась к нему, маленькая и костлявая, как и он, и такая же замерзшая и одинокая.

Что-то дрогнуло в груди ребенка, он обнял собаку, притянул к себе. Она тоже была бездомной и тоже хотела тепла. Мальчик крепко прижимался к ее телу, а она обню-

хивала его рубашку. Осторожно засунув руку за пазуху, мальчик стал перебирать раскрошившиеся кусочки, не выпавшие по дороге лишь потому, что их держал ремешок его шортов. Да, это было настоящее печенье. Взяв одно, он разломил его пополам, дал одну половинку собаке, а вторую сунул себе в рот. Они съедят это печенье, разделив поровну. Мальчик собирался развести огонь в углу пещеры, он еще раньше собрал сухих щепок на случай, если вдруг пойдет дождь. А если уж огонь разгорится, то можно подкинуть и сырые дрова, они тоже будут гореть, а потом, когда сгорят, останутся тлеющие угли, сохраняющие тепло долгое время.

На второй день после несчастного случая с родителями мальчик наткнулся на настоящую пещеру, скрывавшуюся среди небольших зарослей, чудом сохранившихся во время лесного пожара лишь потому, что голые скалы между пещерой и озером заслонили собой этот кусочек земли. Здесь, в пещере, он мог развести огонь, у него был с собой коробок спичек, который он прихватил с разбившегося грузовика. Он все время держал его в кармане рубашки под свитером, чтобы спички были сухими.

Этому тоже научил его отец. «Всегда держи спички сухими, потому что сухой спичкой можно развести костер», — говорил он. Грампи же мог разжечь костер и без спичек. Иногда, чтобы доставить мальчику удовольствие, Грампи показывал, как это делается: он крутил в руках острую палочку быстро-быстро, так что глаза не успевали следить за ее движением, и вдруг появлялся дымок, а за ним искры, которые можно было раздуть в небольшое пламя, мерцавшее, как язык ящерицы, по сухим травинкам. Мальчик тоже иногда пытался подражать деду, но у него ничего не получалось, недоставало умения. Но даже Грампи пользовался спичками белых людей, когда имел возможность достать их, потому что со спичками разводить костер было куда легче.

Грампи говорил, что использование палочки для разведения огня вполне соответствовало его имени чернокожего. Отец выходил из себя, слыша слово «чернокожий».

— Не произноси ты этого слова, Кем, — говорил он. — У нас есть имя, как и у любой другой расы. Мы — аборигены. Понятно? Не чернокожие, не бунги, не негры, а аборигены. Научи его, как писать это слово, Мэри. И каждый вечер повторяй это слово по нескольку раз. Это будет самой лучшей молитвой.

Мальчик нараспев повторял: а-бо-ри-ген, а-бо-ри-ген, а сам в это время разводил костер. Сегодня ночью им обоим будет тепло, он уже понял, что этот щенок ничейный. Никто никогда не станет разыскивать его, теперь это его собака, и они будут делить поровну все, что сумеют отыскать. Еще раньше, когда они жили на ферме, у него была собака, ее звали Наджи, эту собаку он тоже назовет Наджи.

Мальчик смотрел на тлеющие поленья, и в памяти его всплывали те ночи, которые он проводил вместе с мамой, пока отец бывал в отъезде. Он вместе с другими скотоводами то отбирал скот на ферме, то выжигал клеймо, то перегонял лошадей на новые пастбища. Когда же, наконец, отец возвращался домой, мать подавала пищу, приготовленную на плите во дворе, потому что в хижине было слишком жарко. А как вкусно пахла эта еда! Даже теперь он ощущал эти приятные запахи. Сколько дней прошло с тех пор, когда он по-настоящему ел? Он посчитал на пальцах: не сегодня, не вчера, не позавчера. Значит, четыре дня тому назад, в полдень, они ели что-то очень вкусное: в тот день отец подстрелил дикую утку, а мама приготовила ее с картошкой, морковью и какой-то зеленью на той же печурке, которая стояла во дворе фермы и которую они взяли с собой, убегая оттуда. Они всегда располагались где-нибудь в лесу и пережидали там дневные часы, а ночью мчались на грузовике, опасаясь, как бы полиция не опознала их.

Значит, в пещере он уже третью ночь. На отвесной стене он сделал отметку кусочком белой глины. Прошло уже четыре дня и четыре ночи с того момента, как тяжелый фургон сшиб их грузовик с дороги и он разбился, ударившись о дерево. И хотя мальчик, потрясенный случившимся и охваченный паникой, снова и снова звал отца и маму, они так больше и не ответили ему. Тогда он выбрался из кузова, где обычно располагался на ночь и мог спокойно спать, пока они ехали.

Они ехали так долго, что он вряд ли мог вспомнить, почему покинули ферму. Все случилось слишком быстро и в спешке. Там, на ферме в Квинсленде, полицейские хотели забрать его от родителей и отправить в приют. Он так и не узнал, что это означало и почему он оказался нужен полиции. Полицейский что-то говорил о том, что его отец — бунтовщик, неспособный воспитать своего ребенка.

— Ничего у них не выйдет, — заявил он. — Они не получат моего сына. Хозяевам не нравится, когда мы бродим по

стране пешком. Что ж, мы современные аборигены, значит, будем ездить.

Трубные звуки прибоя и ветра, шелестевшего в листьях деревьев, перекликавшиеся кроншнепы понемногу усыпили мальчика. Грампи говорил, что кроншнепы — это духи, кричащие по ночам. А отец считал все это выдумкой. В наше время духи не кричат по ночам, уверял он, поэтому в лесу нечего бояться, нужно лишь слушаться взрослых и не забираться далеко от дома, да обращать внимание на приметы, которые помогут в случае необходимости найти обратную дорогу.

Грампи боялся очень многого, а отец не боялся ничего.

Мама же просто слышать не могла, когда Грампи начал свои рассказы о сотворении земли и неба и о том, что герои, раньше обитавшие на земле, теперь живут на небесах.

Как они попали на небеса, Грампи не знал, но это, видимо, не очень его беспокоило. Все живущие на небесах когда-то были на земле людьми, птицами или животными. В это Грампи верил так же, как в библейские предания, которые мама слышала от миссионеров.

Когда однажды мальчик спросил у мамы, встречалась ли она когда-нибудь с Давидом или Голиафом, она рассмеялась:

— Не будь глупеньким. Они никогда здесь не жили. Они были белыми и жили далеко, на другом конце земли.

— А почему же ты тогда о них говоришь, — спросил мальчик, — если они не принадлежат времени сновидений?

Она встала, захлопнула книжку и ушла, даже не пожелав ему спокойной ночи. А потом он услышал, как она, разговаривая с отцом, резко и сердито выговаривала:

— Нечего пускать ребенка в резервацию. Голова у него полна чепухой, которую ему втямливает Грампи.

И он долго не ходил в резервацию — половину сезона засухи и весь сезон дождей. Он пошел туда только потому, что заболела мама и сестра из миссии отправила ее в больницу. Эта медицинская сестра сказала, что мама собирается принести ему сестренку или братишку. Но мама вернулась одна. А когда он однажды заговорил о них, то увидел, какой печальной стала мама и как она заплакала. И он решил больше никогда не спрашивать ее об этом.

Он считал, что истории Грампи правдивее и интереснее, чем те, которые рассказывала мама, укладывая его спать. У нее все получалось каким-то далеким, она говорила о людях и вещах, о которых он ничего раньше не слышал. А вот

Граппи рассказывал то, что мальчик уже сегодня же, сейчас же мог ясно увидеть, например, о кенгуру, превратившихся в утесы как раз позади резервации, или об эму—бескрылом страусе, шагающем огромными шагами по ночному небу. Правда, сразу и не увидишь, как он движется, а вот если уснуть, а потом проснуться, то сразу станет видно, как он прошел далеко по небу. Нужно верить тому, что говорит учитель, например, о звездах, находящихся так далеко, что до них не добраться, даже если построить ракету, такую, как у русских и американцев. А ракеты эти летали в небе одну неделю, и другую, и третью, а потом возвращались туда, где их ждали. Но мальчику было трудно поверить во всё это, потому что и русские и американцы были людьми, которых он не знал, а те герои и боги, жившие на небесах, были героями и богами Граппи, птицы и животные, которые проносились по небу в темноте ночи, составляли часть прошлого Граппи, а следовательно, и его.

Мальчик попытался разглядеть, что было позади затухавшего костра в темноте ночи, где пламя отбрасывало удивительные тени, иногда так похожие на самого Граппи. Наджи скулил и лаял на эту темноту, словно что-то видел там. Потом он устроился поудобнее и затих, уверенный в том, что если в темноте что-то и было, то ему это ничем не угрожало.

Мальчик тоже заснул, и ему виделись приятные сновидения, будто это была не такая уж холодная ночь. Он чувствовал руки матери, обнимавшие его за плечи, а колени его упирались в спину отца, как давно-давно, когда он еще был совсем маленьким. Вот он возвращается обратно в их крохотный домик из рифленого железа, стоящий под огромным деревом, с которого слетают красные лепестки, и земля вокруг покрыта ими, как ковром, таким же, какой есть у жены хозяина в ее большом доме. У них в лачуге нет такого ковра; пол деревянный, но зато всегда промывтый, и от него пахнет чистотой, когда он вместе с собакой катается, играя на полу. В жару ноги и руки чувствовали прохладу, исходившую от дерева, и сейчас мальчику казалось, будто снова под ним этот пол, потому что свежий ночной воздух проникал в пещеру по каменистой земле, охлаждая его ложе из листьев.

Теперь всегда во сне он видел, как мама готовит обед, вкусные запахи несутся от плиты во дворе, скоро он сядет за стол, на котором будет много всякой еды. Иногда ему снилась пара диких голубей, которых отец ловил в силки, иногда пойманная им рыба, иногда мясо, купленное в лавке

мясника по пути их бесконечных переездов с места на место. Щенок заскулил, и мальчик услышал, как в животе у него глухо заурчало. Он еще выше натянул на себя мешок и глубже зарылся в листья, крепче прижав к себе щенка, и попытался заснуть, потому что только во сне им было тепло, сытно и безопасно.

Мальчик никак не мог понять, чем так заняты отец и мама все эти четыре дня и почему они не возвращаются к нему. Раньше они ни разу не оставляли его одного. Когда отец уезжал работать на дальние скотоводческие фермы, с ним рядом всегда была мама, она пела песни, убирая жилище, стирала белье, готовила обед. Она брала его с собой в дом к белой хозяйке, даже когда ходила туда помогать кухарке на кухне.

А когда дома бывал отец, он обычно или разбирал рыболовные сети, или чистил ружье, или чинил мамины туфли, всегда при этом насвистывая, или просто отдыхал на раскладушке на веранде, читал газеты и тихонько ругался про себя, если то, что он читал, ему не нравилось. Иногда он подзывал к себе маму и просил ее кое-что объяснить, ведь это мама научила его читать, она и сына своего тоже учила сама.

Многое в газетах не нравилось отцу. Его, например, рассердила заметка о том, что где-то были согнаны со своих насиженных мест аборигены, потому что там обнаружили какие-то минералы со странно звучащими названиями и белые захотели заработать кучу денег на разработке этих месторождений. Или сообщение о том, что полицейские поймали нескольких аборигенов и посадили их в тюрьму. Все сообщения об аборигенах ему не понравились. Люди все время чинили какие-то каверзы аборигенам, и постепенно в сознании мальчика укреплялась мысль, что за порогом дома, без Грампи, отца и мамы, его ждет беда лишь потому, что он абориген.

Однажды он спросил отца, почему аборигены живут иначе, чем хозяин и белые фермеры-скотоводы. Глаза отца вспыхнули огнем и покраснели, словно угли, он стиснул зубы, будто надкусывал что-то очень твердое.

— Ты рано начинаешь задавать серьезные вопросы, сынок, и я скажу тебе правду. Белые считают, что из-за цвета нашей кожи мы не такие люди, как все. Белые во всем мире думают одинаково. В Америке, в Англии и здесь, в нашей стране, где мы жили и охотились задолго до того, как они пришли сюда.

Отец никогда не говорил «белые люди», как это обычно делал учитель, он всегда говорил «белые», и голос его звучал по-особому.

— Но что плохого в цвете нашей кожи? — не унимался ребенок.— Это хороший цвет. Когда играешь, не пачкаешься, как белые мальчики, а когда плаваешь или загораешь на солнце, не обгораешь, и кожа никогда не болит и не воспаляется.

Отец качнул головой и засмеялся.

— Да, малыш, на плечах у тебя умная голова, хорошо, что ты начинаешь думать обо всем этом. Никогда не считай, будто иметь темную кожу плохо. Во всем мире сейчас волнения из-за того, что мы, темнокожие, очень долго решали обманывать себя. Но этого больше не будет.

Мама подошла к двери как раз в тот момент, когда отец говорил, брови ее сдвинулись, и на лбу появились морщины. Лицо приняло испуганное выражение.

— Хорошо, что ты рассказываешь ему об этом, Джозеф, но предупреди его, пожалуйста, чтобы он нигде и никому об этом не говорил сам. Ведь попадет в беду ненароком.

— В какую беду? — спросил весело отец и засмеялся. Он поднял сына высоко над головой, а потом начал его щекотать, и мальчик сразу же забыл обо всем: о людях с темной кожей, с белой кожей, с розовой кожей, потому что они играли и кувыркались и вместе с ними играл щенок Наджи.

Да, тогда у него было свое собственное имя, то имя, которое произносила мама, когда будила его по утрам, и которым отец окликал его, зазывая пойти половить рыбу. В устах мамы его имя звучало как песня, а отец произносил его, как зов трубы, отрывисто и резко.

— Кемми, Кемми,— тихо звала его мать.

— Кем,— говорил отец, и Кемми оставлял все свои занятия и шел к нему.

Пока мальчик лежал без сна, дрожа от холода, слова мамы и слова отца проносились у него в голове, словно волны радиопередачи в школе, которые он не всегда понимал. Но ему было ясно одно: «Рассчитывай на самого себя, белые никогда не сделают тебе добра, если это не выгодно для них самих».

Кроме этого, он уже давно понял: им пришлось покинуть ферму потому, что белый полицейский грозил причинить ему зло, а отец и мама не хотели допустить этого, да и он тоже не хотел. Он вспомнил лицо матери в тот день,

когда полицейский ввалился к ним в дом и громким голосом стал что-то выговаривать ей, а он и половины не понял из его слов. Огромные черные глаза матери широко раскрылись, она зажала рот руками, будто боясь произнести недозволенное. Он понял смысл разговора лишь в тот момент, когда полицейский крикнул:

— Скажи своему Бунгу, что мы придем за мальчишкой в субботу. Предупреждаю, чтобы вы вели себя благоразумно. В приюте в Брисбене ему будет куда лучше, чем здесь, среди этого сброда без всякого будущего.

А когда у мамы из глаз брызнули слезы, этот здоровяк проворчал:

— Какого черта ты ревешь? Ты сама родила мальчишку с умной головой. Так ведь не захотите же вы с отцом оставить его здесь, с никчемными черномазыми.

И он ушел, пнув по пути Наджи, зарывавшего на него.

Когда отец вернулся домой, он поднял сына с пола и так сильно прижал его к себе, что мальчику стало больно.

— Мы уедем отсюда, — сказал он голосом, испугавшим ребенка. — Как хорошо, что на прошлой неделе мне заплатили сразу за три месяца. Теперь у нас набралось шестьдесят долларов. Черт их знает, зачем они привязались к ребенку, и наплевать нам на то, что они хотят сами платить за его обучение и еду. Собери-ка, что можно прихватить с собой сегодня ночью: плитку, пару одеял, чайник, чашки, тарелки, может быть, еще кое-что, необходимое в дороге. Кто знает, может, они заявятся раньше, чем обещали.

Мама робко взглянула на отца сквозь черные кудри волос и чуть слышно спросила:

— Куда же мы поедим?

— Подальше от этих мест. Сначала попытаемся добраться до побережья, а затем проселочными дорогами в Новый Южный Уэльс, там мы будем уже вне опасности. Отправимся, как только взойдет луна, тогда мы опередим их на целых шесть часов.

Едва придя в себя, мальчик спросил:

— А как же Наджи?

— Щенка оставим здесь.

Мальчик принялся всхлипывать, ведь Наджи жил у него с тех пор, как его взяли совсем маленьким, но отец снял сына с рук и объяснил:

— Не плачь, Кемми, нам нужно будет прокормить три рта, и мы не можем оставить четвертый.

Мальчик спал, когда они тихо покинули дом. Он проснулся, лишь когда лучи солнца стали пробиваться в дыру на брезенте, закрывавшем кузов, где он спал на соломенной подстилке. Он сел, почувствовал, как грузовик резко качается из стороны в сторону, будто корабль, который он видел на картинке.

И вот позади уже теплые ночи и жаркие дни, они едут по дороге через какие-то горы. Днем холодно, а ночью еще холоднее, они втроем ложатся спать в кузове, закутываются в одеяла. Мама с одной стороны, отец с другой. А утром на траве Кемми видит что-то похожее на белый дождь. В первый день он босиком бегал по такой траве, и ноги у него так замерзли, что стали гореть огнем.

— Держись подальше от полицейских,— учил его отец.

И он всегда помнил эти слова. Именно поэтому, когда огромный грузовик столкнулся с машиной, он выскочил из кузова, ринулся к лесу и спрятался там в дупле дерева. Именно поэтому он и сидел там все время, наблюдая, как подъехала полицейская машина, а вслед за ней и большой белый вагон с таким громким сигналом, что его слышно было вдоль всей дороги. Сердце мальчика судорожно билось, пока он смотрел, что происходило на дороге, освещенной лучами фар и фонариками полицейских.

«Если увидишь полицейского — беги». И вот теперь, видя, как полицейские окружили их машину, как они подняли отца и маму, которые, как ему показалось, спали, и отнесли их в большой белый фургон с громким сигналом, он не решился покинуть своего убежища. Он не знал, что именно эти белые сделают с ним, но хорошо понимал, что в любом случае его сразу же разлучат с родителями.

Весь следующий день он просидел в дупле, глядя на их маленькую машину с разбитыми фарами, сплюснутым радиатором и с сиденьем, на котором раньше ехали его родители, а сейчас раздавленным так, словно это была смятая железная банка из-под варенья.

Пристально осмотрев дорогу, мальчик наконец вылез из дупла и вытащил из кузова машины коробку с продуктами. В ней оказалась половина буханки хлеба, немного маргарина и сахара. Кувшин с чаем разбился, бутылка с молоком лопнула, и молоко разлилось. Кемми намазал маргарин на хлеб, посыпал его сахаром и съел, наконец-то наполнив на время свой пустой желудок. Быть сытым казалось очень хорошо, но это чувство продолжалось недолго.

Грампси когда-то говорил:

— Лучше сразу съесть все, а потом голодать. Никогда ведь не знаешь, что станет с едой, которую ты хранишь.

Это знали лишь белые, такие, как миссис хозяйка, у которой есть холодильник. Значит, белые всегда едят много, и все же у них нет недостатка в еде, а у аборигенов ее всегда не хватает.

На следующий день подъехал грузовик, подцепил их машину и куда-то увез. Едва он скрылся, мальчик слез с дерева и пошел вдоль озера, обходя стороной редкие дома и людей.

Наконец, когда он совсем уже выбился из сил, проголодался и, казалось, не мог уже идти, он наткнулся на пещеру. Заметить ее было трудно, если прямо не натолкнешься на вход. Старый эвкалипт закрыл ветвями огромный выступ, и пробраться в пещеру мальчик мог лишь согнувшись.

Внутри было довольно высоко, можно было стоять во весь рост. Свет в пещеру проникал сквозь наклоненный туннель, промытый дождевой водой, некогда стекавшей с вершины утеса. Теперь все было иначе. Вода размыва песчаник, на полу пещеры и теперь еще видны были следы песка, образовавшие гладкую и чистую поверхность. Мальчик разложил на ней ветки, устроил постель.

Теперь ему стало немного теплее, щенок тоже согрелся. Под грубой мешковиной они удобно устроились рядом, наблюдая за мерцавшими в темноте угольками. Щенок заснул раньше. Кемми слушал, как живот собаки то поднимается, то опускается в такт размеренному дыханию, и почувствовал, что он засыпает таким же ровным глубоким сном.

Во сне он видел лес, полный сказками Грампси. Тихое дыхание превратилось в звуки, заполнившие собой весь мир.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Сквозь тяжелый наркотический сон человек услышал резкий пронзительный визг, заглушивший даже рев самолетов и крик Элмера: «Поль! Поль!» Он оглянулся и увидел, что его товарищ бежит к нему, охваченный пламенем, будто живой факел. В ту же секунду он в ужасе почувствовал запах своих горящих волос и ощутил, как вязкий газолин прожигает ему череп, стекает по его лбу. Он поднял руки, чтобы стряхнуть с себя эту горящую клейкую массу, но

она прилипла к ладоням, а когда он резко взмахнул руками, желая сбросить ее, пальцы его тоже вспыхнули, словно факелы. Весь воздух был охвачен огнем. Он снова почувствовал нестерпимую боль на голове, в горле, на руках и спине. И сбивал с себя горящий напалм, прилипавший к его телу, чувствуя, как он прожигает кожу, мышцы и даже кости.

Его резиновые сапоги погрузились в какую-то жижу, ноги увязли в ней, он стал падать, падать, падать. Наконец он весь погрузился в какую-то вонючую грязь, облепившую его, словно компресс.

Лишь на мгновение ему стало чуть легче, но потом он стал задыхаться, мутная грязная вода заполнила запекшийся рот. Резким рывком, собрав последние силы, он ухватился за изогнутые корни какого-то дерева. Кто-то вцепился в него сзади, и он услышал сквозь шум в ушах голос, прошептавший ему: «Самолеты!» Он так и не понял, действительно ли услышал это слово или ему показалось. Превозмогая боль, он выругал безумцев, которые разбрасывают горящую смерть не только на врагов, но и на своих друзей.

Чьи-то руки прикоснулись к нему. Совсем маленькие руки, в которых не было силы, но они передали ему свою волю. Он попытался подняться, но каждое движение причиняло ему нестерпимую боль, он не кричал лишь потому, что не мог пошевелить губами.

Руки подхватили его за плечо и потянули наверх.

Сквозь рев самолетов он услышал, как кто-то прошептал ему на ухо:

— Ла даи! Ла даи! ¹

Он подтянулся и пополз вперед, крича от нестерпимой боли, и выбрался наконец из болота. Рев самолетов приближался. Голос по-прежнему уговаривал его: «Ла даи! Ла даи!» Он двинулся, собрав все свои силы, умноженные охватившим его ужасом. Это движение вызвало новую нестерпимую боль, и он потерял сознание, повиснув на корнях. Он пролежал бы так до самой смерти, слушая свист падающих бомб, но детские руки все тащили его вперед, а голос шептал что-то на ухо. Последним рывком, превозмогая боль, он прополз нескончаемо долгий путь, голос и детские руки помогали ему, но потом он снова потерял сознание.

Изредка приходя в себя, он видел три черные груды — все, что осталось от его бывших товарищей. Земля дрожала. Деревья раскачивались. И снова рев самолетов.

¹ Вставайте!

Человек вскрикнул и проснулся. И снова видел он лицо ребенка, склонившееся над ним. Он ждал смерти — сейчас ему было все равно, лишь бы наступил конец этой невыносимой боли. Но мальчик приложил к его рту какую-то резиновую трубочку. Человек невольно глотнул, рот его смягчила живительная влага.

«В войне взростеют слишком быстро», — мелькнула в его сознании мысль. Этот ребенок спас ему жизнь. Он ему благодарен, но дело не в этом. Просто есть маленький человек, который проявил гуманность в этом жестоком и бесчеловечном мире.

Когда сознание окончательно вернулось к нему, он понял, что слышал не рев самолетов, а шум прибоя. Он уже знал, что все его товарищи погибли, он один остался живым. Улыбка судьбы, если это можно назвать улыбкой.

Вздвигнув, человек сел, достал пачку сигарет, закурил и стал смотреть в темноту ночи, где линия бомборы отбрасывала фосфоресцирующие блики на черной воде. Беспоконное море простиралось до самого горизонта.

Только выкурив вторую сигарету, человек осознал, где он находится. С вершины горы донесся крик совы, возвративший его к действительности.

Он уехал из военного госпиталя с лихорадочной поспешностью сразу же после того, как Мерилин упала в истерику, увидев его лицо.

Тогда он понял, что на этом их совместная жизнь кончилась. Она не могла жить с ним. Нет, он не упрекал ее, ведь его голова и лицо после пересадки кожи выглядели так же, как и его руки, и ему самому ежедневно и ежечасно приходилось видеть это ужасное зрелище. Он и сам не мог так больше жить. Товарищ получил его деньги, причитавшиеся еще за время службы в армии, и купил ему машину. Он уехал, не попросившись даже с отцом. И зачем было прощаться с отцом? Ведь это отец подхлестывал в нем авантюристические порывы, которые привели его во Вьетнам, за это он винил своего отца. Но обвинять Мерилин он не мог. Он постарался поставить себя на ее место. Почему он должен ждать от нее большего, чем мог бы ждать от себя?

Теперь уже вышли из моды браки, заключавшиеся на всю жизнь, что бы ни произошло, как в старину. Проживи они до войны вместе дольше, возможно, их брак означал бы для них нечто большее, чем быстро исчезнувший восторг близости. У них не было ничего, кроме пламенных желаний

и страсти. Может быть, все обернулось бы иначе, будь у них ребенок. Но она не хотела детей: что стала бы она делать с ребенком во время их долгой разлуки, когда ей приходилось работать? Да и он тоже не хотел ребенка, когда дважды приезжал в отпуск, мечтая о встрече с Мерилин. Это были прекрасные мечты! И вот теперь он здесь, без жены, без работы, без надежд на будущее. Что он сделал такого, за что и смерть, и жизнь отвергают его?

Он достал таблетку снотворного и запил ее последним глотком виски, оставшимся в его фляжке.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Женщина не могла уснуть. Она стояла и пристально вглядывалась в темноту. За садом под призрачным лунным светом мерцало озеро.

Ее разбудили кошмарные сновидения. Она снова боролась с лесным пожаром. Теперь она уже больше не решалась лечь в постель. Она медленно выпила приготовленный чай. Из сада шли запахи ранних бледно-желтых цветов — жонкилий. В начале прошлого лета огонь подобрался к самому дому, и только теперь луковицы пустили ростки и расцвели.

Весь тот ужасный день пожар полыхал на другом берегу ручья. Пожарники тогда требовали, чтобы она покинула дом. Но могла ли она уехать с умирающим отцом, которого пришлось бы везти к пристани, уже полыхавшей в огне?

— Оставь меня здесь, Бренда, если огонь продвинется слишком близко, — сказал он еле слышным голосом. — Беги к морю. Там ты сможешь спастись, переждать, пока кончится пожар. Я ведь все равно никогда не оставлю почту.

Но и она не оставила почту. Не потому, что испытывала чувство привязанности к ней. Для нее почта и магазин не имели никакого значения. А если уж говорить об отце, то в его затуманенных глазах она читала надежду, что огонь положит конец его долгой и мучительной агонии.

Она осталась здесь из-за сада. Этот фруктовый сад, раскинувшийся на пол-акре и тянувшийся к озеру, остался единственной ее радостью.

Она достала шланг, прикрепила его к огромному баку на высоких подпорках возле дома и стала поливать все во-

круг. Если огонь перекинется через ручей, она, по крайней мере, сумеет побороться за сад и дом.

Огонь все же перекинулся через ручей. Он поглотил основную изгородь — так долго стоявшую на пути ветров, — оставив после себя раскаленные скелеты. Фруктовые деревья сморщились еще до того, как огонь подобрался к ним, их кроны озарились ярким светом, словно Неопалимые купины в библии ее матери. Цветы увядали и погибали от жаркого дыхания огня. Пламя уже распространилось по двору, добралось до кустов и деревьев, посаженных возле стен дома. А женщина все поливала из шланга. Горячий воздух обжигал лицо и тело. Она даже представить себе не могла, что бы случилось дальше, если бы пожарная машина не пробилась к ней через этот заслон дыма. Пожарники спасли почту, но не спасли отца. Она бросилась в комнату к отцу, он уже умирал.

Женщина не могла больше страдать так, как страдала, когда ее бросил Дерек. Она давно ушла в себя, воздвигла вокруг себя стену, изолировавшую ее от внешнего мира.

— Если не позволять себе любить, не будет страданий, — говорила она себе. — Не люби никого. Укройся от людей. Не держи в доме ни собак, ни кошек, они могут найти путь к твоему сердцу. — У нее не осталось чувств ни к кому и ни к чему. Последнее звено, болью отозвавшееся в сердце, оборвалось со смертью отца.

Женщина отгоняла от себя воспоминания, разбуженные запахом цветов, воспоминания о днях иступления, когда она поняла, что влюбилась и Дерек тоже любит ее. Дерек называл ее — *Пылающая Бренда*.

Говорят, что потерявшие любовь страдают сильнее от того, что они познали восторги любви, но она не испытывала таких страданий. Ей казалось, будто перенесенная душевная боль и пережитый стыд запали в самую глубину ее существа, и потому даже во сне не мечтала о тех безликих мужчинах, которые посещают таких, как она, — потерявших любовь. Она была подавлена видом эвкалиптов, загорававшихся ярким пламенем еще до того, как к ним приближился пожар, и сосен, пылавших при легком прикосновении огня, и фруктовых деревьев, увядавших в одно мгновение. Этот лесной пожар был подобен любви, которую она испытала. Он оставил после себя на берегу озера и в саду лишь безжизненные черные скелеты деревьев, торчащие на выжженной голой земле. Такой казалась себе и она со своими горькими мыслями. Странно, но смерть отца и лесной

пожар освободили ее от прежней невыносимой тяжести. Теперь она уже не испытывала никаких чувств, не питала ни к кому даже ненависти.

Но как жить, ничего не чувствуя? Когда нет ни тепла любви, ни силы ненависти? Все, чем жила она раньше, исчезло навсегда.

Вместе с чувством ненависти ушло и желание отмщения, и уверенность, что ей не в чем себя винить. Больше ей неизвестно утешение.

А в саду, где-то глубоко спрятанная, теплилась жизнь. Земля извечно торжествует победу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Поль всегда просыпался в изнеможении, словно наяву переживал свои кошмарные ночные сны. Он никак не мог считать свои сновидения неправдоподобными. Вновь и вновь переживал он свое прошлое. Лежа и все еще дрожа от ужаса, он спрашивал себя:

— Но почему я никогда не вспоминаю свои школьные годы? Почему мне не снятся дни медового месяца, а всегда только этот кошмар терзает меня?

Он еще долго лежал после того, как первые лучи солнца, отраженные от зеркала машины, ослепили его. Глаза жгло, а нежная пересаженная кожа все еще болела от вчерашнего солнца, ветра и соленых брызг. Мускулы ныли после многочасового балансирования на доске для серфинга.

Он выбрал это место и остановился здесь ночевать, чтобы сегодня начать с того, на чем вчера решил временно поставить точку. Бомбора — это убийца, — предупредил его тот человек. Что ж, бомбора пока не убила его.

Видимо, те парни, во Вьетнаме, были правы, когда говорили, что человек живет до поры, пока его не найдет пуля с его именем. Эта пуля искала его на дымящихся дорогах в джунглях, на переправах через реки, где черная вода доходила ему до пояса, его сбивало с ног, когда снаряд попадал в самую середину их отряда, он падал и лежал не дыша, когда короткие пулеметные очереди предупреждали их о том, что они оказались в засаде.

Не осталось уже ничего во всей этой страшной партизанской войне, чего ему не пришлось испытать на себе. Его товарищи, ходившие вместе с ним в разведку, падали на острые колья в ловушки для слонов и умирали в мучениях.

Двое из них, шедших однажды впереди него, взорвались, когда раздвигали виноградные лозы, преградившие им дорогу. Он же выходил из всех этих передряг с легкими царапинами. Он был не хуже и не лучше других солдат — австралийцев или американцев, — которые, как и он, не навидели эту войну и так же, как он, жили ожиданием момента, когда им снова посчастливится вернуться домой.

Казалось, будто он заговорен от смерти. Солдаты даже шутили по этому поводу:

— Держись поближе к Полю Муррею. Может, и на тебя перейдет часть его удачи.

Ему везло до того самого момента, когда какие-то негодяи сбросили напалм над своей же территорией, на их под-разделение. Он старался выбросить из головы этот вновь пережитый ночью кошмар, так и не покидавший его сознания.

Он чувствовал себя разбитым, во рту был горький привкус. Нет, он не пойдет больше к бомборе. Сейчас это уже невозможно. Он найдет другой способ проститься с жизнью.

Он сел, ошупью нашел темные солнечные очки, надел их, чтобы защититься от яркого света чудесного утра, и увидел через ветровое стекло парнишку, осторожно приближавшегося к машине. Поль чуть было не закричал, а потом зло выругался. Это был тот самый мальчишка, который следил за ним вчера с утеса, тот самый негодник-абориген, который, наверное, высматривает, что бы ему стащить.

Поль резко открыл дверцу машины. Мальчик отпрянул назад.

— Чего тебе здесь, черт возьми, надо? Хочешь что-нибудь стянуть?

Мальчик сидел, потирая тонкую ручонку, по которой пришелся удар резко открывшейся машинной дверцы. Он покачал головой и молча показал на охапку хвороста. Поль взглянул на него. Худое, изможденное тело мальчика вздрагивало. Рядом сидел щенок с длинными черными ногами, до смешного похожими на ноги хозяина. Этот мальчонка был такого же роста, как и Пак То, только цвет кожи и глаза его были другими. Да, у Пак То они тоже были черными, но узкими и раскосыми, а у этого аборигена они больше и круглые. У обоих был вид рано повзрослевших и слишком рано лишившихся детства детей.

— Ну, довольно, не будь таким сентиментальным, — сказал себе Поль.

Мальчик сидел, ссутулясь, и смотрел на него таким же взглядом, каким часто, очень часто смотрели на него вьетнамские дети, когда в глазах их застывал страх и отказ от повиновения. Потом ему припомнились тонкие руки вьетнамского мальчика, тащившие его, холодная живительная влага, смочившая пересохшее горло.

Поль уже собрался было засмеяться, но потом остановил себя. Что же хорошего для него в том, что он остался жив? Лишь богу известно, когда он теперь снова сделает попытку покончить с этой жизнью. А сейчас он должен поесть. Да, он очень голоден.

Поль помахал рукой мальчику. Тот подошел осторожно, словно побитая собака.

— Эй, есть ли здесь где-нибудь магазин?

Мальчик кивнул.

— Хорошо.— Поль вытащил из кармана деньги.— Сбегай и купи хлеба, масла, какого-нибудь мяса, сахару и молока. Вот, возьми.

Мальчик снова кивнул, подошел к дверце машины, взял деньги и молча ушел. Щенок бежал впереди.

Поль смотрел на мальчика, пока он шел по каменистой дороге. В желудке было пусто, в голове тоже, руки и ноги отяжелели от усталости. Ничем не защищенная новая нежная кожа на лице, спине и руках покрылась пузырями. Он боялся даже облизнуть губы — как бы эти пузыри не прорвались. Он не решался взглянуть на себя в зеркало. Ничего нет удивительного в том, что его жена отказалась от него. Ему самому было страшно посмотреть на себя.

Мальчик остановился в нерешительности на шатких ступеньках магазина. В витрине красовались консервированные продукты, следующая дверь вела на почту. Он долго смотрел на темноволосую женщину. Она что-то писала на дальнем конце прилавка. Щенок, прижавшись у ног Кемми, тоже, казалось, был в нерешительности. Четыре черных глаза, не отрываясь, смотрели на женщину, но она не подняла головы. Мальчик и собака терпеливо ждали. Белые всегда такие. Если стоишь и ждешь, они продолжают писать, будто тебя вовсе не существует, вот и приходится ждать, потому что, если скажешь хоть слово, тебя обругают.

Наконец женщина перестала писать, закрыла тетрадь и подняла голову.

— Ну, что тебе?

Она посмотрела на мальчика так, словно впервые в жизни увидела его. Итак, раз уж она спросила, чего ему надо, значит, не считает его вором или мошенником, а признала в нем покупателя, способного заплатить за нужные ему продукты. Кемми осторожно приблизился к прилавку. Он широко улыбнулся, обнажив большие передние зубы, и скороговоркой выпалил:

— Хлеб, мясо, масло и молоко.

— Что? — резко спросила она.

— Для завтрака.

— Я так и подумала. Но когда ты спрашиваешь о чем-нибудь, что нужно сказать?

— О! Пожалуйста.

— Вот так-то лучше. И не забывай, что я не только торгую в магазине, но и заведу почтой. У тебя есть деньги?

Он достал и выложил на прилавок две бумажки. Женщина взглянула на них, потом взяла указательным и большим пальцами, словно они были грязные, и поднесла к свету.

— Откуда это у тебя?

Именно таким голосом говорил тот полицейский, который приезжал в резервацию, вваливался в жилища людей, хватал их вещи и спрашивал: «Это у тебя откуда? А это где взял?»

— Мне дал это дядя, — дрожащим голосом произнес мальчик.

— Какой еще дядя?

Кемми выставил вперед подбородок точно так, как делал его дедушка, указывая направление их деревни. Но женщина нетерпеливо переспросила:

— Я спрашиваю тебя, какой дядя? У тебя что, отсох язык?

— Дядя, который остановился вон там.

— Отсюда я никого не вижу.

— Это тот самый дядя, который вчера катался на доске над бомборой.

— А, тот сумасшедший? А где же он остановился?

— На другой стороне утеса. У него большая машина. Когда я сегодня утром спускался вниз по дороге, он спал в ней.

— А зачем ты ходил туда?

— Отнес ему немного дров.

— А потом?

Мальчик молчал. Ему совсем не хотелось рассказывать этой женщине, что сказал тот дядя, увидев его.

— Так что же было потом?

— Он попросил меня принести ему продуктов из магазина.

— Ах, вот оно что. А почему же он сам не пошел?

Мальчик пожал плечами.

— А какой он, этот дядя?

— Такой... со странным цветом кожи,— запинаясь, ответил мальчик.

— Со странным цветом кожи?

Он кивнул.

— Что это значит?

— Одна часть у него белая, другая — розовая, а еще одна — красная. Руки все черные, а на глазах черные очки.

Мальчик замолчал, тяжело дыша от усилий, затраченных на описание незнакомца. Женщина как-то злобно усмехнулась.

— Наверное, чудака какой-то, а?

Мальчик ничего не ответил. Он просто не знал значения этого слова.

— А что тебе еще нужно?

От расспросов женщины у Кемми все вылетело из головы. Он устался в пол, пальцем ноги вычерчивая какой-то узор.

— Я забыл,— ответил он тихо.

— Ну, тогда мне придется самой решить за тебя. Я дам ему то, что понадобится бы любому разумному человеку на завтрак: хлеб, масло, джем, яйца и бекон. Мяса у меня нет. А у него есть чай?

Мальчик покачал головой.

— Тогда еще полфунта чаю. А зачем у тебя этот бидон?

— Для молока.

Женщина взяла бидон, отошла к холодильнику, потом вернулась и поставила бидон на прилавок.

— Ну, вот и все. У тебя есть сумка?

— Нет.

— Ладно уж, я дам тебе пакет из-под сахара и постараюсь все туда уложить. Смотри, сверху лежат яйца и сдача.

Она перегнулась через прилавок и опустила пакет ему на руки.

Кемми кивнул и повернулся к двери. Женщина крикнула ему вдогонку:

— А что нужно сказать?

— Спасибо, мисс,— хрипло выдал он из себя.

Кемми медленно брел по тропинке рядом с крутившейся у его ног собакой, прошел вдоль берега, осторожно ступая по каменистой дороге вверх к мысу, с которого ему было хорошо видно, где стояла машина. Не заснул ли дядя снова, подумал он, спускаясь вниз, и громко окликнул щенка, чтобы своим приближением разбудить мужчину. Он побаивался снова рассердить его.

Поль уже начал цинично подумывать, что, видимо, больше никогда не увидит ни мальчишку, ни своих денег. Но в этот момент он услышал, как мальчонка позвал щенка. Кемми робко подошел к машине, положил на сиденье сверток, а рядом — целую горсть мелочи.

Поль занялся содержимым пакета. Мальчик выкладывал покупки, не проронив ни слова, потом, вспомнив, сказал:

— Мяса нет.

Поль кивнул.

— Ничего. Здесь и так всего достаточно, с голода не умру. Думаю, что и завтра у нее что-нибудь найдется.

Поль повернулся, и Кемми увидел волдыри, страшные волдыри, доходившие до пояса. Плечи его были обвязаны полотенцем, чтобы спасти от ветра сгоревшую на солнце спину. Кемми и раньше видел белых, обгоревших на солнце, но никогда еще не видел он таких рубцов и волдырей.

— Костер?— спросил он, кивнув головой на кучу хвороста.

Поль вытащил стаканы и обернулся. И Кемми увидел его глаза. Они были вовсе не такие злые, какими он запомнил их тогда.

— А ты умеешь разводить костер?— с сомнением спросил Поль.

Мальчик кивнул. Он быстро собрал камни, сложил их около скалы, сделав естественный камин, скомкал бумагу, положил на нее сухие листья и прутья, а сверху большие поленья. Потом достал из-под рубашки коробок, зажег спичку, прикрыв огонь ладонями, и поднес к бумаге.

Совсем как взрослый, подумал Поль, наблюдая за умелыми черными руками ребенка и сосредоточенным выражением его лица.

Поль откинул край спального мешка, вздрогнув, когда молния цапнула ногу. Нервы его были обнажены так же, как и его кожа. Запах горящих листьев щекотал горло, пробудив воспоминания о медовом месяце, который они провели с Мерилин, путешествуя и устраиваясь на привал в облюбованных ими местах. В такие же утренние часы, когда с берега дул прохладный ветерок и трава была еще покрыта росой, он вставал и начинал разводить костер. Потом он наскоро купался, потом закипал чайник и поджаривался бекон. Точно так, как это было сейчас.

Парнишка неумело держал сковородку. Поль взял ее, отодвинул бекон в сторону и разбил три яйца, потом перевернул яичницу, чтобы поджарить ее с двух сторон, тонкими ломтями нарезал хлеб, слегка подрумянил его на костре и намазал толстым слоем масла. Впервые за много месяцев он ощутил настоящий голод. Он сложил еду на тарелку и начал жадно есть.

Закончив еду, взглянул на ребенка и увидел, что тот не отрывая глаз смотрит на хлеб, облизывая губы.

«О, черт,— подумал Поль,— ведь мальчишка тоже голоден».

Он бросил ему кусок хлеба.

— Оботри сковородку.

Мальчик не спеша взял сковородку, тихо сказал: «Спасибо, босс»,— собрал на хлеб остатки яичницы и сала, потом разломил кусок на две части, половину отдал щенку, а в другую сам жадно вцепился зубами.

Поль с удивлением смотрел на него. Что же у него за родители? Какие-нибудь мерзкие пьянчуги, бездельничают в своем вонючем, грязном поселке. И все же этот мальчишка не бездельник. Он честно заработал себе завтрак и ничего не просил. Поль отрезал еще кусок хлеба, разбил в сковородку два яйца, бросил туда ломтик бекона.

— Поджарь это для себя, малявка.

Странное маленькое существо, думал Поль, глядя, как ребенок старательно, до последней крошки, вычистил хлебом сковородку, положил на хлеб кусочек бекона и отдал щенку.

Вода в чайнике закипела. Поль насыпал в него пригоршню чая и постучал по краю, чтобы чайники осели на дно. Потом налил чай в две кружки, положил в них сахар и передал мальчику ту, которая раньше принадлежала его жене. Кемми с жадностью выпил весь чай.

Выпив вторую чашку, Поль лег, положив голову на подушку, прислонив ее к гнию старого дерева.

Мальчонка начал собирать посуду, то и дело вопросительно поглядывая на мужчину.

— О'кей,— сказал ему Поль.

Он вытащил сигарету, зажег ее и осторожно приложил к губам, боясь, как бы нежная тонкая кожа не прилипла к бумаге.

Огромное безоблачное небо раскинуло над ним свой шатер, оно было чуть бледнее голубого моря. Поль видел и бомбору, глухой рокот которой отдавался эхом у него в ушах, а над нею — солнце, превращавшее морские брызги в ослепительно-белую пену. Поль думал о том, как хватило у него смелости вчера и позавчера носиться над бомборой на этой разбивающейся о черные камни водной стене.

Конечно, если суждено жить, то он будет жить один, раз уж волна отвергла его.

Отец бы сумел ему помочь. Он преуспевал в агентстве по продаже имений.

— У тебя есть все данные, чтобы сделаться хорошим агентом, Поль,— когда-то говорил он.

Приехав сюда, Поль свернул с дороги к озеру и подъехал к заливу, очень похожему на тот, где он останавливался во время своего медового месяца и провел долгие безмятежные дни, катаясь на волнах, величественно грохотавших у берега.

В те дни они с Мерилин часто взбирались на вершину утеса и долго стояли там, глядя на прибой.

Сможет ли он когда-нибудь снова прикоснуться к женщине? Мысль о том, что он никогда не увидит в глазах женщины радости любви, убивала его.

Кемми отнес посуду к ручью и принялся тереть ее песком, стараясь очистить от прилипших крошек. Перемывая тарелки и чашки, он вспомнил о своей маме и об отце, потому что во время их переездов в его обязанности входило мыть посуду.

Покончив с делами, он вернулся к машине. Мужчина лежал на коврике, подложив под голову резиновую подушку, и жадно курил. Кемми заметил, что он очень осторожно подносит сигарету к губам и втягивает в себя дым, едва прикоснувшись к ней, совсем не так, как это делал его отец.

Наверное, это оттого, что губы его похожи на раздавленную в песке медузу, подумал Кемми, такие они распухшие и пузырьчатые.

Человек взглянул на тарелки.

— Хорошо, — сказал он, — положи их в корзину в багажнике и убирайся отсюда вместе со своей собакой.

Кемми уже повернулся было уйти, но вдруг спросил дрожащим, но громким голосом:

— А дрова, босс? — И чтобы было понятнее, о чем он говорит, протянул руку к костру. — Можно разжечь огонь.

— Ах, огонь? О'кей, — Поль кивнул. — Принеси дров завтра утром, а потом посмотрим, может, нужно будет что-нибудь купить.

Кемми переступал с ноги на ногу, повернулся и медленно побрел прочь. Щенок поплелся следом.

— Эй, малявка, — окликнул его мужчина. — Подойди-ка сюда!

Кемми вернулся. Ему очень хотелось сказать: «Меня зовут Кемми», но не сказал, а вдруг полиция, узнав его имя, явится и заберет его.

Он никак не мог понять, почему этот странный человек решил, будто его зовут малявка, он не знал, что это означает. Вообще-то он догадывался, но ни разу не слышал, чтобы так когда-нибудь звали детей. Но ведь эти белые — совсем непонятные люди, они называют нас, как им вздумается.

Конечно, лучше уж пускай называет малявкой. Очень плохо не иметь вообще никакого имени. Поэтому он и щенку дал имя сразу, как только они вместе поселились в пещере. Назвал щенка по имени — и он понимает, что имеет хозяина и нужен ему. Главное — знать, что ты кому-то нужен.

Кемми стоял и ждал, хотя по выражению лица мужчины понял, что тот совсем забыл о нем и о его собаке. Щенок сел рядом с мальчиком, наострил уши, завилял хвостом.

Поль застонал, загасил сигарету.

— А, ты все еще здесь? Послушай-ка, парень, — резко сказал он, — я не хочу, чтобы ты вертелся у меня под ногами весь день.

Что-то жаркое вспыхнуло в груди ребенка. Ведь он надеялся, что будет помогать этому человеку, а тот за это будет кормить его и щенка.

— И еще одно. Если я буду спать, когда ты придешь сюда завтра, не вздумай будить меня и не крутись возле машины. Я не люблю, когда на меня смотрят во время сна. Понял?

Мальчик кивнул.

— И скажи своим абос, с которыми живешь, чтобы они тоже здесь не шныряли, а не то им всем не поздоровится, понял?

Мальчик снова кивнул.

— О'кей. А теперь ступай и заведи с собой пса.

Кемми ничего не сказал, он повернулся и пошел. В груди его что-то жгло, на глазах заблестели слезы. Но он не должен плакать. Отец говорил, что мальчишки-аборигены не плачут, даже когда им бывает очень больно.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Ну вот, наконец-то, избавилась,— сказала себе Бренда, когда мальчик спустился со ступенек магазина.— По крайней мере сегодня он больше не будет беспокоить меня.

Но выражение его лица осталось у нее в памяти. Она старалась не думать о нем. Как она может хорошо выполнять свою работу, если из головы не выходит этот не подетски смысленный мальчишка-абориген. Кому-то нужно приучать их к цивилизации, но на ней ведь и магазин, и почта. Правда, работа здесь нетрудная, потому что лодки рыбаков заплывают сюда нерегулярно, а рыбаки заглядывают лишь за письмами или переговорить по телефону. Иногда делают почтовые переводы, а попутно покупают в лавке мелочи, вроде сигарет или сладостей. Когда-то почтовое отделение на мысе Голова Дьявола славилось бурной жизнью. Теперь даже тральщики и угольщики больше не заходили на озеро.

Прошло немало времени, пока она научилась понимать рыбаков и изредка посещавших эти места туристов. Она уже не принимала близко к сердцу их легковверные признания. Каждое такое сердечное излияние, серьезное или шутовское, было для нее как жестокое напоминание о том, с какой легкостью отдалась она Дереку. Вспоминая теперь тот год, прожитый вместе с ним, она отметала любые домогательства мужчин и старалась лишь сносно справляться со своей работой.

Временами, из телефонных разговоров она узнавала, что среди местных жителей ее называют «Железная Лошадь». Это ее ничуть не смущало. Уж лучше иметь репутацию сурового и трудного человека, чем сговорчивого и податливого.

С женщинами, время от времени приходившими из-за горной гряды с отдаленных ферм или из рыбацких хижин, она общалась точно так же. Никто не жаловался на ее

неисполнительность или грубость. Наоборот, она временами бывала даже полна сочувствия, если вдруг срочно требовалось вызвать по телефону врача к заболевшему ребенку или позвонить в больницу и сообщить о рождении ожидающему появления младенца.

— Она хорошо знает свое дело и даже по-своему мила, — говорили жители окрестных мест, и это мнение так или иначе достигало ее слуха. — Но с ней никогда никто не сходил близко. Трудный характер. Наверное, из-за неудачного брака. С этим красавцем-летчиком. Говорят, он был маг и волшебник в воздухе, да, видимо, и с женщинами тоже... Неужели вы ничего о нем не слышали? Он женился на ней, когда она работала секретаршей у старого командира эскадрильи на запасном аэродроме под Дулинбой. Он тогда прослыл счастливым: многие ребята Дулинбы засматривались на нее. Теперь это даже представить себе трудно, глядя на ее непроницаемое лицо.

Никто не знал всей правды о ней, и ей было спокойнее в одиночестве.

Сейчас она вспоминала Дерка таким, каким увидела его впервые, когда он стремительно вышел из самолета, как какое-то яркое чудо, опустившееся на взлетную дорожку, и когда первый раз сел на край ее письменного стола и глаза его горели таким огнем, что мгновенно зажгли ответное пламя. Они, как два пожара, неотвратно шли навстречу друг другу. Она не сопротивлялась, когда на следующий день, уходя, он наклонился и поцеловал ее. Она жила мечтой до следующей недели, когда он снова прилетел и снова поцеловал ее. Теперь она не прощала себе своей слабости. Она не имела права ссылаться на молодость. Ей было уже двадцать три, а в двадцать три года большинство девушек в Дулинбе уже были замужем и сами решали свою судьбу.

О нет, это не было ошибкой молодости. В то время она не задумывалась, что ж это было такое, а сейчас уже невозможно объяснить те чувства, которые бросили ее в объятия Дерка. Поэтические мечты, наполнявшие ее в школьные годы, обрели реальность.

Теперь она оценивала прошлое хладнокровно, словно рассматривала далекие миры, такие далекие и чужие, что трудно связать их с реальностью.

На лице командира эскадрильи она читала тогда предостережение. Ведь это он выбрал ее для работы в своей конторе, потому что за ней укрепилась репутация серьезной

и сдержанной девушки. Мать и отец с тревогой поглядывали на нее.

— Будь осторожнее, — предупреждала миссис Браун. — В войну мой старик служил в штабе летной части. Он говорит, эти летчики — как моряки. У них на каждом аэродроме жена.

Бренда смеялась над этими разговорами. Что могли они знать, ведя такое унылое, замкнутое существование! Её отец всю свою жизнь занимался лишь марками да почтовыми отправлениями; мать вообще ничего не видела, прикованная к инвалидной коляске, в которой провела долгие годы. Разве дано им что-нибудь понять? Откуда им было знать, что Дерек отдал ей всего себя, ничего не оставив для другой, на другом аэродроме? В этом-то ее не стоило разубеждать. Дерек сам говорил ей об этом. Вопрос о женитьбе встал как-то сам собой, когда его остановки на аэродроме в Дулинбе увеличились до двух дней и трех ночей в неделю. Она пыталась убедить, что не может оставаться с ним на всю ночь в его комнате на аэродроме. Это бы означало публично раскрыть отношения, а этого она не могла допустить. О себе она не задумывалась. Она могла бы с высоты колокольни объявить о своей любви к Дереку. Но преданность родителям не позволяла ей вести себя так, чтобы доставить им страдания. Что и говорить, у них устаревшие взгляды, но все равно они были милыми стариками, и она не могла их огорчать.

Дерек ушам своим не поверил, когда она отказалась остаться с ним на всю ночь. Он даже зло засмеялся.

— Странно видеть в тебе такую ханжу. Значит, в лесу можно, а здесь нельзя, потому что узнают другие?

— Вот если бы мы были в большом городе.

— Или были бы женаты... Конечно, если бы мы были женаты, то все было бы чинно и благородно. Да?

Она нерешительно кивнула.

— О'кей, — подхватил он. — Давай поженимся. И тогда будем иметь право, не задергивая занавесок, сбрасывать с себя одежды. Я не намерен терять по три ночи в неделю, сидя в этой удручающей дыре и не находя ни в чем утешения.

Она была счастлива. Их любовь станет вечной. Ведь он не из тех мужчин, кто мог переметнуться к другой, когда его переведут на другой аэродром.

Радостным весенним днем они поженились. Она видела себя в новом белом платье. В местном магазинчике никог-

да не имелось ничего нарядного, но миссис Малланд позвонила в Ньюкасл и получила оттуда красивое платье. Она почувствовала на себе его мягкий шелк, вспомнила его белизну, шуршание длинной, до пола, юбки и короткой развевающейся при каждом шаге фаты. До чего же она была глупа, заплатила огромные деньги за платье, которое ровным счетом ничего не символизировало.

Выйдя на паперть маленькой деревенской церкви, она подняла голову — от гордости и от демонстративного неповиновения, потому что знала, о чем шепчутся обыватели. Слишком хорошо знала она Дулинбу и ничуть не сомневалась, что им все известно. Она ловила понимающие усмешки и еще выше поднимала голову. Ну и что же из того, что всем известно, какие отношения были у них до свадьбы?

Она радовалась своей неслыханно удавшейся судьбе. Да, теперь уж ничего не привязывало ее навечно к Дулинбе. У Дерека были крылья, в один из дней она тоже упорхнет вместе с ним.

Глупая, жадная до жизни, опьяненная романтикой, она желала лишь одного — получить какую-нибудь службу в летной части, когда в Дулинбе возобновил работу аэродром. Мать предупреждала, что эта работа может быть временной и кончиться ничем, что в ее же интересах лучше остаться на почте, где она будет рядом с отцом, ведь теперь она уже окончила школу.

Мать всегда была слишком осторожной, всегда боялась, что какой-нибудь неверный шаг выбьет ее из привычного, маленького мирка, в котором она прожила всю свою жизнь.

Отец молчал. Он разрешил ей уехать, словно ее выбор был единственно правильным. И она уехала. Распрощалась с крошечным домиком, его старомодной верандой и уехала.

База представляла собой просто-напросто запасной аэродром для военных самолетов. Кроме небольшого административного здания да взлетной площадки, расчищенной среди леса, там ничего не было. И все же новая работа явилась для нее именно тем, о чем она мечтала. Она с удовольствием приезжала в небольшую аккуратную контору с желтыми лакированными столами и хромированными современными стульями, и ей казалось, будто она вступала в иной, совершенно новый для нее мир, такой не похожий на все, что она видела и знала в Дулинбе.

Она жила, напряженно прислушиваясь к звукам прилетающих самолетов, они зачаровывали ее.

Работа на машинке уже не была для нее скучным и нудным делом, и даже заполнение листов прибытия и вылета самолетов не обременяло ее. Явившимися из мира приключений казались ей летчики, стремительно входившие в контору. Все они были чуть заносчивы и самовлюбленны, все заговаривали с ней и мерили ее взглядом с головы до пят, а она, чтоб хоть как-то быть похожей на них, специально для этого носила темно-синюю юбку и светло-голубую кофточку. Она знала, ей к лицу был этот наряд. Об этом убедительно говорили взгляды летчиков, и ей еще больше хотелось, чтобы эти молодые, энергичные парни смотрели на нее с явным обожанием, а не осторожным оценивающим взглядом, какие бросали на нее фермеры и рыбаки из-за конторки почты.

Теперь она могла здраво оценивать все, вспоминая те давно минувшие дни. Странно, но все ее страдания и унижения, так долго не дававшие ей покоя, закончились вместе с лесным пожаром. Они просто сгорели. Точно так же, как сгорела и она сама. Но она была не из того материала, из которого сделаны эвкалипты и хинные деревья. Она не сможет, как они, возродиться к жизни. Из ее сгоревшего сердца уже никогда не потянутся новые побег.

Кто же это сказал, будто лучше полюбить и потерять любовь, чем вообще никогда не любить? Если бы она осталась в Дулинбе работать на почте, то со временем, конечно, вышла бы замуж за одного из тех здоровенных парней, которые приходили, опирались о конторку своими загорелыми руками и глазели на нее так, что даже ей со всей ее безжалостностью и бессердечием становилось не по себе. Потом она уехала бы на маленькую ферму где-нибудь в окрестностях Дулинбы и зажила бы там, как многие другие женщины, удовлетворенная, загруженная работой и окруженная кучей ребятишек.

И что, собственно, в этом плохого? Как человеку предугадать, где лучше?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Кемми и щенок бежали по каменистой тропинке к берегу, где уже начинался отлив. Острые скалы бомборы отчетливо вырисовывались в воде, и волны с грохотом разбивались о них. Мальчик старался сдерживать слезы, будто рядом с ним был отец, сурово говоривший: «Мальчики-аборигены не должны плакать».

Пройти посвящение означало научиться не плакать. Вот его отец был уже посвящен. Грампи говорил, что его внук будет посвящен, когда ему исполнится четырнадцать, а мама почему-то сердилась.

— Да не болтай ты об этом посвящении. И не забивай себе этим голову. Думай лучше о получении аттестата в школе.

Но чтобы получить школьный аттестат, надо много заниматься, а Кемми это не особенно нравилось. Вот посвящение, как о нем рассказывал Грампи, это нечто чудодейственное, после чего человек становился сильнее и лучше. Он так толком и не понял, в чем, собственно, состоял этот обряд, он знал только, что после него мальчик становился совсем другим. После посвящения, когда сумеешь вытерпеть любую боль, не заплакав и не проронив ни звука, будешь приобщен к мужчинам.

Отец отмахивался, когда он начинал допытываться, что же все-таки означало «пройти посвящение», и просил:

— Не заговаривай об этом, когда рядом мама. Потом все увидишь сам.

Мальчик знал, что этот обряд как-то связан со старыми шрамами на спине и груди у Грампи и у отца, они темными рубцами выделялись на их коже. Может быть, нечто подобное случилось и с тем мужчиной на берегу. Может быть, он тоже прошел посвящение? Но нет, он уже совсем взрослый. И потом, после обряда посвящения на коже не остается ни волдырей, ни красных рубцов.

Волны мерно плескались у песчаного берега, и от каждой набежавшей волны тревожнее становилось на сердце.

Нужно было непременно найти хоть какую-нибудь еду, чтобы прокормиться со щенком остаток дня. Кемми брел по берегу, высматривал следы черепах. Но здесь совсем их не было. Черепахи любят теплую воду и горячий песок, где могут вывести маленькие черепашки, если, конечно, какой-нибудь голодный абориген не отыщет яйца и не съест их. А отыскать яйца было совсем не трудно, потому что на песке всегда оставались следы тяжелого панциря. Черепахи вырывали глубокую яму, прятали туда яйца и возвращались к морю. Но сейчас даже с первого взгляда было ясно, что здесь черепахи никогда не высаживались. Мальчик встречал на твердом песке лишь не смытые водой следы чаек.

О, если бы ему посчастливилось увидеть черепаху, возвращающуюся в море! Можно было бы взобраться на нее верхом, уцепиться за панцирь и проехать так до самой во-

ды. Он видел, как мальчишки катались на черепахах. Черепахи тащили их до глубины, там они ныряли и возвращались на берег.

Кемми уходил все дальше по дюнам от того места, где остался мужчина, все дальше от почты, внимательно высматривая, нет ли где острой палки или проволоки для крючка, с помощью которого он смог бы вытащить из расщелины краба или поймать осьминога. Будь он посвящен, он, конечно, сумел бы сделать крючок и вытащить краба или осьминога из-под скалы. Эта мысль заставила мальчика заняться поисками более сосредоточенно.

Грампс показывал, как можно разбить на мелкие части твердый камень, сделать из осколков наконечник, привязать к палке тонкий шнурок, сплетенный из собственных волос, а потом закленить смолой. Грампс даже мог обтесать кусочек зеленой стекляшки от разбитой пивной бутылки и сделать из него наконечник стрелы, и тоже приклеить к палке, разогрев на огне.

Но Кемми не умел всего этого делать.

«Слушай, па,— начал он неслышный разговор с отцом.— Почему ты никогда не говорил мне, что есть вещи, которые не записывают в школьный аттестат, но которые могут пригодиться ребенку, если он потеряется».

— Скажи мне, я действительно потерялся, как малыши из сказок, которые читала мне мама?— обратился он к щенку за неизменным других собеседников.— Можно ли потеряться, если все-таки знаешь, где ты находишься?

Щенок залаял.

— Правильно, Наджи,— громко сказал Кемми,— не я потерялся, это потерялись мои мама и папа.

В горле у него защеколало, и он почувствовал, что если сейчас же чем-нибудь не займется, то может расплакаться, и тогда дух Грампс рассердится на него. Он свистнул щенку и помчался по краю дюны, проваливаясь по щиколотку в песок, похожий по цвету на мякоть созревшего плода пау-пау. Щенок не отставал ни на шаг. Так они пробежали до самого моря и остановились у края воды.

Он оглядел берег насколько хватило глаз. Нет, весь берег был пуст. Здесь было совсем не так, как на том берегу, где они останавливались раньше. Там прибой приносил множество всякой всячины, выброшенной с кораблей, и искусные руки превращали все это в нечто полезное. Кемми учился отыскивать эти предметы вместе с отцом и применять их с пользой для себя, приделывал к большим банкам проволочные ручки, и затем грел в них воду на

огне, или сгибал крышки у банок поменьше так, чтобы из них можно было пить чай.

Когда они жили на своей ферме, у них был настоящий чайник и чайные чашки с ручками. Правда, они изредка разбивались, когда падали на пол. И тогда глаза у мамы наполнялись слезами.

Но даже если бы он и нашел сейчас подходящую жестянку, он вряд ли смог бы что-нибудь из нее сделать. Если родители задержатся и еще долго не придут за ним, он все же научится делать все сам.

Кемми взглянул на буруны. По ним можно легко отгадать, где течение впадает в пролив между песчаными наносами и берегом. Отгадывать это научил его тоже отец, потому что, если ты не очень хорошо плаваешь, такое течение может захватить тебя и унести в пролив. Мальчик медленно вошел в воду, осторожно нащупывая ногой поток воды. Течение было несильным. Когда он оказался в воде по колени, он понял, что дальше идти не следует.

Он вернулся на берег, оглянулся и, убедившись, что вокруг ни души, снял рубашку, свитер и шорты и сложил все это аккуратно на сухом теплом песке, потом вместе со щенком вбежал в воду, окунулся и начал плескаться, громко крича. Вода здесь была холоднее, чем в тех местах, где они жили раньше. Немного поплескавшись, они со щенком выбрались на берег и принялись бегать по песку, чтобы согреться. Возвратившись обратно к своим вещам, он почувствовал, что уже обсох, а шерсть Наджи была еще мокрой.

Они медленно пересекли берег, снова забрались на верушку дюн и остановились там. Морской ветер высушил волосы Кемми и шерсть собаки. По тени мальчик понял, что наступил полдень, и вдруг почувствовал страшный голод. И словно прочитав его мысли, Наджи стал беспокойно выть, он смотрел на хозяина с мольбой, он тоже был голоден, но есть им было нечего. Мальчик сел на горячий песок в тени раскидистого куста, щенок удобно устроился возле его ног, положил голову на его колени. Кемми погладил щенка по мягкой сухой шерсти, потрепал его шелковистые уши.

— Тебе хочется есть, Наджи, да? Мне тоже, только я никак не придумаю, где нам достать еду? Теперь уж настала твоя очередь. Я ведь подработал кое-что на завтрак у того человека.

Щенок снова завыл, виляя хвостом, и сел.

— Ты не поймал ни одной чайки, а я не достал ни одного краба.

Щенок снова беспокойно завилял хвостом, как бы ловя каждое слово мальчика и стыдясь упущенной возможности.

— А может, ты поймал кролика? Или ты даже не знаешь, что это такое?

Щенок вскочил и залаял.

— Ага, значит знаешь, о'кей! Пойдем тогда в лес, там нам повезет.

Грампя рассказывал, будто еще до того как их племя согнали с родовых земель и белые начали там какие-то работы, аборигены добывали себе пищу, охотясь в лесу и на равнинах. Они брали с собой копья и охотились на кенгуру и валлаби, а потом возвращались в селение, гордо неся на плечах свою добычу. Гордость была единственной им наградой, ибо даже самый искусный охотник не мог взять себе лучшего куска мяса.

А бабушка рассказывала, как она вместе с другими женщинами их поселка, захватив с собой сплетенные из травы и древесного волокна корзины, ходила откапывать ящериц, выискивая их по следам на песке, и собирала у ручьев и болот корни кувшинок. Если они и голодали когда, то лишь в период засухи, когда совсем не шел дождь. Звери разбежались, травы не росли, а корни лилий высыхали! Тогда аборигены переходили на другое место, поближе к побережью и кормились там продуктами моря.

Грампя всегда умел добывать пищу. А вот он, его внук Кемми, не умеет. Он научился лишь плести силки для птиц, этому научил его Грампя. Но птиц здесь было совсем немного.

На дюнах росла колючая трава. Кемми вскарабкался наверх и остановился, чтобы собрать желтые, будто лаком покрытые цветы с блестящими листьями. И не потому, что они ему очень уж понравились. Просто цветы любила мама, он словно возвращал ее к себе. Цветы были нежные, но быстро увяли у него в руке.

Они спустились вниз по прибрежным дюнам и вошли в низкорослый кустарник. Здесь было тепло и тихо. Все словно замерло. В полдень всегда так. Грампя говорил, что в это время спит лесной дух, и птицы спят, и животные, и ящерицы, и змеи тоже спят. И в это время лучше всего ловить их. Кемми очень хотелось вспомнить, как это Грампя отличал норы ящериц от змеиных, но прошло так много времени с тех пор, что Кемми забыл об этом и теперь боялся спутать. Было тепло и тихо. Мальчик и щенок устроились рядом на песке и тут же заснули крепким сном, каким спало все вокруг.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Через окно почты Бренда видела, как мальчик и щенок взбирались на дюны. Она подумала о том, сколько лет этому ребенку, и это вернуло ее к мысли: а сколько же лет было бы сейчас ее сыну? Нет, у нее не было особых привязанностей к ребенку, которого она потеряла. Отцом ребенка ведь был Дерек, и вместе с потерей ребенка он потерял свою власть над ней.

И все же чем-то этот мальчишка-абориген возвращал ее в прошлое, которое ей так хотелось забыть. Но чем именно?

Она машинально подсчитала, что этому мальчику-аборигену было, видимо, лет девять. А ее сыну теперь было бы около пяти, если бы она родила его.

Но она не родила, и этим все было кончено.

Когда радио передало сенсационное сообщение о катастрофе с самолетом Дерек, она послала телеграмму, желая приехать. И получила краткий ответ: твой приезд невозможен из-за служебных обстоятельств. То же самое подтвердил ей командир эскадрильи.

Сообщения о его состоянии здоровья ежедневно публиковались в газетах. От него приходили телеграммы, короткие и, как ей казалось, полные любви, хотя как уж ей удавалось читать про любовь в нескольких строчках?

Она писала ему длинные, запутанные письма о своей любви и о том, что очень тоскует. Он ей никогда не писал. Рука заживает медленно, она догадывалась об этом из коротких телеграфных строк. Она ждала, и от этого, казавшегося вечным, ожидания сердце ее разрывалось.

Все к ней относились участливо. Даже командир эскадрильи их аэродрома был очень добр. А почему он всегда говорит «ваш приятель», а не «ваш муж»?

Временами ей казалось, будто он знал больше ее, и страшилась, что Дерек на самом деле чувствует себя не так хорошо, как об этом сообщалось.

Газеты писали, что он поправляется, по радио сообщали то же самое, а в телеграммах он заверял ее, что при первой же возможности они будут вместе.

Через тринадцать недель после аварии он, наконец, прилетел в Дулинбу. Прилетел нежданно, даже не предупредив ее телеграммой. У командира эскадрильи тоже не было сведений о его приезде, и только когда самолет стал делать круг над аэродромом, он открыл дверь своего кабинета и сказал с каким-то, как ей показалось, сожалением:

— Он летит, ваш приятель.

Она бросила свою пишущую машинку и побежала по густой траве отгороженного от аэродрома поля, не отрывая глаз от серебрившихся в лучах полуденного солнца крыльев спускающегося самолета. Она бежала, будто у нее самой выросли крылья и она летела на этих крыльях, крыльях любви.

Дерек вышел из открытой кабины, словно бог, в ореоле заходящего солнца. Время остановилось, и все остановилось в момент их встречи. Переходя поле, она заметила, что он хромает.

— Пустяки,— сказал он.— Теперь уж все в порядке. Я могу летать и делать все остальное, как прежде.

Командир эскадрильи взглянул на них, не отрываясь от телефонной трубки, потом небрежно поприветствовал Дерек. Положив трубку на рычаг, запер сейф и точными движениями, за которыми угадывался какой-то скрытый смысл, закрыл ящик стола. Повернувшись к ним, он сказал:

— Не волнуйтесь, я сегодня вечером уезжаю в город.— И ушел, не спросив ни о здоровье Дерек, ни о его планах на будущее, ни о ней.

Даже теперь, спустя пять лет, она не могла спокойно вспоминать о той ночи. Обо всем другом могла она судить хладнокровно и даже жестоко, но только не о той ночи.

Катастрофа с самолетом и долгое отсутствие Дерек будто отсекали от их любви все, кроме пламени. О, если бы они могли навсегда остаться вместе на этом островке вселенной!

На аэродромном джипе они уехали в горы. В эти дни она забыла обо всем на свете. Дерек смеялся, когда командир эскадрильи, ворча, задавал какие-то непонятные ей вопросы.

— Оставь это до завтра, старина,— отвечал ему Дерек.— У нас еще слишком много времени, чтобы задумываться о расплате.

Она не понимала, о какой расплате идет речь. Когда он улетел, она ни разу не усомнилась, что он вернется и заберет ее с собой.

Все кончилось сразу, когда в воскресной газете она увидела фотографию Дерек, отдыхающего на берегу моря с тремя детьми и женой. Под фотографией была напечатана короткая заметка, в которой говорилось, что из-за несчастного случая командир эскадрильи Дерек Брамби вынужден оставить работу летчика-испытателя и переводится на от-

ветственную должность в штаб военно-воздушных сил в Западной Австралии.

Первой увидела эту фотографию мать. Она всегда читала газеты до завтрака. Бренде до сих пор слышался ее страшный крик. После этого мать разбил паралич, и она уже больше не поднималась.

Уже тогда Бренда поняла, что ей нужно уехать, но она осталась ухаживать за матерью.

Ни смерть, ни несчастный случай не смогли бы изменить ее чувств к Дереку. Их изменило предательство.

Почему он честно не рассказал ей обо всем? Она пришла к нему еще до того, как он предложил ей выйти за него замуж. Если бы он сказал ей правду, она все равно не покинула бы его. Дерек не хотел иметь детей. Если бы тогда она знала, в чем истинная причина его нежелания!

После похорон матери она всю ночь не сомкнула глаз. С роковой неизбежностью она вдруг поняла, что должна избавиться от ребенка.

Через два дня она сказала отцу, что уезжает, стараясь не смотреть на него, он тоже избегал ее взгляда. Она солгала ему, не желая его обижать.

Он кивнул и сказал:

— Понимаю. Тебе нужны деньги?

Она покачала головой. У нее было достаточно денег. Кроме заработанных на аэродроме, она имела еще небольшую сумму от Дерекса, он сказал, что эта доля предназначена ей как жене. Да, деньги у нее были, но ничего, кроме них.

Она уехала на служебном автобусе, ежедневно отправлявшемся через горы в Дулинбу. Отец коснулся губами ее волос и сказал:

— Береги себя, девочка.

Автобус тронулся и начал медленно взбираться на гору. Внизу под ними расстилалось море, голубое от раннего утреннего света.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Просыпаясь теперь каждое утро, Поль пытался разобраться в том, как он прожил пять лет после окончания школы до начала войны.

Слушая разглагольствования отца о выгодных сделках по продаже земельных участков, он не считал правильной его мысль, будто обрабатывать землю хуже, чем продавать

ее. Поль и сам не заметил, как это случилось, что он выбрал себе карьеру, о которой раньше никогда и не думал, более того — испытывал к ней отвращение.

Мать ничем не помогала ему. Она одобряла его планы заняться фермерством, но когда он начал помогать отцу в его делах, лишь пожимала плечами. Никогда и впоследствии она не проявила своих чувств, поглощенная домашними делами.

Он вспоминал, как она сидела во главе стола, уставленного всевозможными кушаньями, ею же самой приготовленными, слушала, опустив глаза и иронически поджав губы, рассказы отца о его победах и планах на будущее. Когда она получила неопровержимые доказательства любовной связи отца с секретаршей, воспользовалась ими, чтобы вынудить отца дать ей развод, в противном случае она предаст дело огласке через печать и проведет его через все препоны судебного разбирательства.

Вскоре после этого Поль женился на Мерилин. Если бы не странные приступы патриотизма, временами овладевавшие отцом, то, подобно своим друзьям, они зажили бы вполне респектабельному распорядку, зарабатывая тем больше денег, чем больше находилось покупателей на земельные участки. Они построили бы себе дом посolidнее и стали бы есть более изысканные блюда. Завели бы себе кучу очаровательных детишек и, возможно, прожили бы так всю свою жизнь, вплоть до пышных похорон, когда умелые руки косметички, тщательно выбирая краски, убрали бы с мертвого лица все то, что могло привести в уныние наследников.

Но отец, с его фанатическим патриотизмом, рассматривал участие в войне как единственное призвание мужчины. Возможно оттого, что во время последней войны он находился в главном штабе войск в Мельбурне, а затем в штабе королевских военно-воздушных сил в Кингзуэй под Лондоном. Все награды, которые он носил с такой гордостью, были получены им в тылу. Он был так же осторожен на войне, как и в своих служебных делах, и очень дорожил образом, который создал себе в обществе, и потому послал сына на войну, о которой не знал ровным счетом ничего.

Как же Поль поддался уговорам отца? Его провели во всей этой игре в бирюльки, провели на словах «лишь смерть разлучит вас», которые он услышал от священника, стоя у алтаря под венцом. Он поверил им. Ему казалось, будто и Мерилин поверила. Но она не стала ждать его смерти и ушла от него. Мерилин могла бы стать очаровательной

вдовой, но не захотела быть женой калеки. За это он ее не винил.

Она по-прежнему являлась ему во сне, еще более соблазнительная. Он стал страшиться таких снов больше, чем снов о джунглях. Просыпаясь после кошмаров джунглей, преследовавших его во сне, он мог по крайней мере утешать себя тем, что эта часть его жизни уже прожита. После сновидений о Мерилин ему тоже приходилось мириться с мыслью, что и эта часть его жизни в прошлом. Но сознание этого не утешало. Сны перестали быть успокоением или убежищем от реальности. Эти ночные кошмары возвращали его к мучительным минутам перелета домой, того самого перелета, каждый день ожиданий которого казался годами нестерпимых страданий, когда жаркий, спертый воздух был полон невыносимого рева самолетов и человеческих стонов.

Какой-то молодой парень рядом с ним бесконечно повторял:

— Почему нас сразу не отправляют домой? Почему нас сразу не отправляют домой?

Он слышал это причитание даже во сне, оно отпечаталось в его сознании, как вновь и вновь повторяющиеся слова на испорченной граммофонной пластинке.

Только богу известно, почему раненых не отправляли сразу домой. Ведь всегда находились самолеты для молниеносной переброски высокого начальства в безопасное место. Всегда находились самолеты для политиканов, прилетавших поораторствовать, вылить поток невообразимой чепухи. И всегда находились самолеты для высоких чинов, спешивших в Гонконг, чтобы весело провести там субботу и воскресенье. Огромные бомбардировщики, базировавшиеся на острове Гуам, летали очень быстро.

Полет домой ассоциировался у него с нестерпимейшей болью, которую не могли снять никакие болеутоляющие лекарства. Самолет был неудобный, летел медленно. В нем было очень шумно.

Восемь с половиной дней эвакуации тянулись в его сознании до бесконечности. Ни днем, ни ночью не находил он покоя и отдыха. Постоянно кто-то звал совершенно измученного врача и валившуюся с ног сестру, работавших вдвоем в невыносимых условиях, потому что в штабе никто не удосужился позаботиться о раненых и отправить их на родную скоростным самолетом.

Он и до сих пор оставался бы там, если бы вдруг не заметил вертолета Красного Креста. Маленький Пак То

и его родичи исчезли сразу же, едва просигналив вертолету и указав ему на поляну для посадки. Вертолет взял Поля на свой борт. Кто-то сделал ему укол в руку, и больше он уже не помнил ничего до самого госпиталя. Тогда это показалось ему каким-то чудом.

В госпитале он всерьез не задумывался об этой вьетнамской семье. Его слишком мучила боль. Но по ночам они иногда снились ему: Пак То, его мать с изможденным лицом и подвязанным к спине ребенком, дед Пак То. Это он часами просиживал у постели Поля при страшной жаре, отгоняя мух от свежих ожогов, это он накладывал на раны какие-то примочки, с виду похожие на грязь, они хоть немного успокаивали и снимали жар. С тех пор эти люди жили рядом с ним, его мысли постоянно возвращались к сценам, забыть которые он был не в силах.

Находясь там, автоматически принимаешь все происходящее за должное. И лишь пока не попадешь сюда, не поймешь и не увидишь обратную сторону медали.

Там он понимал, что происходит. По крайней мере, на первых порах, когда только приехал в лагерь. Там были австралийские добровольцы, южновьетнамская армия, люди свободного мира, оплот демократии, воевавшие рядом или сзади, их легко отличить от вьетконговцев по военной форме. Там были и вьетконговцы, лесные братья из национально-освободительного фронта, коммунисты, проникшие с севера. По крайней мере, именно это ему вдалбливали во время инструктажа, добавляя при этом, что нужно бороться с национально-освободительным фронтом, истреблять, как истребляют блох и вшей, распространяющих эпидемии холеры и тифа. Все было совершенно ясно, пока он находился на территории базы. Они прибыли сюда, чтобы воевать за цивилизацию и христианство, которые пытались разрушить лесные братья, поэтому этих самых лесных братьев и следовало уничтожать.

Но все эти разглагольствования еще имели смысл, пока он находился в провинции Фуок Туй в дельте реки Меконг. Его подразделение выполняло тогда одно из заданий программы умиротворения, согласно которой в дополнение к операциям поиска и уничтожения оказывалась медицинская помощь, выдавались продукты, проводились беседы и демонстрировались кинофильмы. Ему и вправду нравилась эта часть операции, называвшаяся «завоевание сердец и умов», но такое название применялось лишь на базе, а в джунглях оно довольно цинично было сокращено до «ЗСУ».

Вначале его просто распирало от важности при виде детей в «умиротворенных» деревнях, собиравшихся толпами и кричавших солдатам самое лучшее из своих приветствий:

— Вы — сила!

Умиротворение! Что же это было такое? Уничтожение вьетконговцев и их сообщников. С этого и начались все неприятности. Кто вьетконговцы, а кто не вьетконговцы? Просто было сказать, что вьетконговцы носят черные штаны, свободные широкие рубашки и островерхие шляпы. Так были одеты все крестьяне, их жены и дети. Кто же из них вьетконговец? На деле этот вопрос не задавали, просто сначала стреляли, а потом уж разбирались.

Вначале, даже при проведении учений в джунглях, такие разговоры имели какое-то значение. Сержант Сноу, командовавший их подразделением, изучил искусство боя в джунглях Малайи, он знал абсолютно все об этих болванах, будь то малайцы или вьетнамцы. Их охватывала нервная дрожь, когда сержант рассказывал, что такое партизанская война и как нужно истреблять вьетконговцев, используя их же собственные уловки и хитрости.

Но как только они закалились и привыкли к джунглям, болотам, зловонию, им стало казаться странным, что после такого напряжения и усилий, с какими они уничтожали вьетконговцев и миловали не вьетконговцев, они не чувствовали себя в безопасности нигде, кроме своих собственных казарм.

Поль всегда чувствовал себя слишком вымотанным или слишком счастливым после благополучного возвращения на базу, чтобы вслушиваться в разглагольствования высокого начальства.

— Все это трепотня высоких чинов,— обычно говорил в таких случаях Элмер.— Слушай их и притворяйся, буд-то согласен с этой чепухой. Отдай честь, когда они закончат свои разглагольствования, а сам знай, что все это треп чистой воды.

Джонни любил повторять:

— Когда мы закончим свою миссию по освобождению и распространению цивилизации во Вьетнаме, здесь ничего не останется, кроме выжженной земли, и освобождать уже будет некого и распространять ее, эту самую цивилизацию, негде.

Джонни приводил множество доводов, подтверждающих эту точку зрения.

Освобождение и цивилизация. Эти слова имели какой-то смысл, когда солдаты находились еще на обучении в

безопасном месте, непосредственно возле расположения базы войск. Но в джунглях они начисто теряли смысл. Большинство солдат были циниками. Они не верили, что кого-то действительно освобождают или борются за Южный Вьетнам.

Джонни говорил:

— Если бы хоть половина этих здоровых вьетнамских парней, которые просто-напросто бездельничают, гоняют на велосипедах вокруг Сайгона, спекулируют на черном рынке американскими товарами и предлагают солдатам за доллары своих сестер, если бы эти парни по-настоящему захотели воевать против вьетконговцев, то ни янки, ни австралийцам здесь нечего было бы делать. Мы их ненавидим, а они нас.

А Поль за эти слова ненавидел Джонни!

Джонни восставал против всего, во что верил Поль. Эти люди, думал он, которых офицеры называли вьетконговскими лазутчиками, прожили здесь всю свою жизнь. Но почему в деревнях только старики, старухи да женщины с грудными младенцами или маленькими детьми? Почему нигде нет молодых мужчин и подростков?

Сноу знал, где они.

— Не верьте, они врут, будто их сыновья и дочери в Сайгоне или в Гуэ. Они вместе с вьетконговцами. Через час после нашего ухода они вернуться, чтобы разведать у стариков, не выболтали ли мы чего лишнего о нашем передвижении.

Поль так и не знал, хороший или плохой он солдат. Быть солдатом для него означало выполнять приказы, какими бы ужасными и отвратительными ни были их результаты.

Но дальше в мыслях у него все начинало путаться. Он уже не пытался разобраться в существе дела, дальше его мысли и усилия направлялись на то, чтобы остаться живым под этим нескончаемым градом снарядов, обрушивавшихся на них всюду, будь то поляна среди джунглей, расположение лагеря или пригород Сайгона. С таким же успехом можно было попасть и на мушку снайпера, который легко снимал любого солдата в так называемой «умиротворенной» деревне, где никто из них не решался ходить в одиночку. Можно было подорваться на минах на уже «расчищенных» дорогах, по которым, однако, войскам запрещалось передвигаться ночью, потому что в это время они переходили под контроль лесных братьев.

Один из стариков, которому они доверяли, сказал:

— Вьетконговцы — хозяева ночи.

А в целом все это было неразберихой. Только для Сноу все было не так, как для других. Сноу даже получил медаль за уничтожение целой деревни вьетконговцев. Подсчет производили уже после окончания операции. В отчете капитана вьетконговцами оказались все, начиная от женщин с красивыми черными волосами, змеившимися по спинам, до стариков с тощими трясущимися коленями, которые и бежать-то не могли, и детей, едва научившихся ходить.

Там все укладывалось в какой-то определенный шаблон, хотя это и было ужасно, Поль все же мирился, ибо — как вдалбливал им в головы Сноу — нужно выбирать: или ты, или они.

О, если бы он умер еще до того, как в сознании началось брожение! Сгорел бы, как Элмер, пока по спине не стали пробегать мурашки при мысли о том, что они делали с людьми, за которых ему следовало сражаться.

Джонни говорил так:

— Мы бросаем напалм на женщин и детей, потому что лесные братья расставляют ловушки и западни, а наши ребята проваливаются в них и попадают на колья из расщепленного бамбука. Нет таких уловок, которых бы не знали лесные братья, но они ведь прошли через двадцать лет борьбы с теми, кто вторгся в их страну. Когда мы пойдем это?

Поль старался оставаться глухим к словам Джонни, а прислушивался к Сноу.

— У нас нет времени для сентиментальной болтовни, — обрывал его Сноу, — запомните, нет времени для чувствительности. Или они, или мы.

Поль удивлялся, почему поступки, которые он бездумно совершал во Вьетнаме, даже пытки водой, от которых его тогда тошнило, не беспокоили его и не вызывали протеста, хотя бы молчаливого? У него до сих пор звучали в ушах слова Джонни:

— Лесные братья находятся в своей собственной стране, а мы нет. Интересно, как бы мы повели себя, случись все наоборот?

Теперь Поль лежал без сна, курил и боялся уснуть, хотя снотворное неминуемо должно было dokonать его.

Почему он всегда видел сны о Вьетнаме? Почему так часто переживает их с такой устрашающей реальностью и чувствует ужас, которого не переживал на месте событий?

Там, с одной стороны, он выполнял всевозможные трюки по ведению боя в джунглях, входившие в их задание по умиротворению, а с другой — старался остаться в живых. Борьба за выживание стирала весь ужас того, что они совершали.

Джунгли были не менее сильным врагом, чем Вьетконг. Всякий раз, когда их взвод отправлялся на прочесывание каучуконосных плантаций, солдаты выходили из лагеря с высоко поднятыми головами, как и подобало добровольцам, в форменной одежде, предназначенной для джунглей и болот. При возвращении обратно от них оставалась жалкая кучка нервных, искусанных насекомыми и пиявками, полубезумных парней, готовых стрелять по чему попало и швырять гранаты в любую яму или лачугу, примостившуюся где-нибудь на возвышенности. Каждая конусообразная шляпа становилась для них олицетворением лесных братьев. Вначале они заглядывали под них, но потом просто стреляли и оправдывали себя: «Или они, или мы».

Много ночей сны возвращали его к одной операции по розыску и уничтожению, запечатлевшейся настолько глубоко в его памяти, что он видел теперь то, что раньше как-то не доходило до его сознания.

Они проходили через такое множество деревень, похожих одна на другую, выполняя задания по умиротворению, что в тот раз он даже не обратил особого внимания на очередную. Но почему именно эта деревня и именно эта операция будили его по ночам? Почему?

Сон всегда начинался одинаково. Тяжело нагруженный амуницией, с рюкзаком, давившим плечи, он пробирался сквозь густые зловещие заросли джунглей, прислушиваясь к громкому хлюпанью шагов солдата, шедшего впереди и с трудом преодолевавшего топи. Звуки казались преувеличенно громкими, видимо из боязни, что в действительности любой звук означал бы для вьетконговцев сигнал опасности.

Резиновые сапоги казались еще тяжелее, рюкзак врезался в плечи. То, о чем он не думал, выходя на выполнение задания, теперь, казалось, разрывало его мозг.

Пиявки на самом деле не причиняли слишком уж большого беспокойства, но во сне он чувствовал, как они присасывались к его телу. Они были тем ужасом, который наполнял его чувства непреодолимым отвращением и отвлекал его мысли, когда он отдирал этих чудовищных скользких паразитов от своего тела и видел круглые раны, из которых сочилась кровь.

Почему же его мысли, как на заигранной граммофонной пластинке, вновь и вновь возвращались именно к этому заданию, если подобных было много?

Они вышли из джунглей по узкой дорожке на поляну, где стояли изможденные жители деревни возле своих лачуг из тростника и бамбука. Три старика, одна старуха и пять женщин смотрели на солдат. Темнокожие женщины держали на руках совсем еще маленьких и новорожденных детей, и в их черных раскосых глазах застыл ужас. Они были невероятно бедны. У них не было ничего, кроме тряпья, прикрывавшего худые тела, да нескольких горшков, в которых они готовили свою скудную пищу.

Он снова и снова видел эту поляну в джунглях, бамбуковые лачуги, крыши из пальмовых листьев, и через открытые двери — ямы в земле, которые крестьяне вырыли для защиты от осколков бомб.

Почему они не поверили им, что эти ямы сделаны лишь для защиты от бомб?

— Ничего вы не понимаете, — кричал Сноу, — эти ямы вырыты, чтобы из них стрелять по нашим солдатам!

— Зачем снайперу лезть в такую яму? — убеждал его Джонни. — Они могут просто спрятаться в джунглях и отсюда перестрелять нас.

Но Сноу все знал лучше, и они открыли огонь, обстреливая одну за другой крыши, покрытые пальмовыми листьями. Стреляли, хотя женщины о чем-то просили и испуганно вскрикивали, дети плакали, а старики стояли молча, на их морщинистых лицах застыло недоумение.

— Ла даи! — крикнул Сноу какому-то старику, чья тень мелькнула вдали. — Ла даи!

Солдаты выучили несколько слов, чтобы люди понимали, чего они хотят, когда выкрикивают свои команды. Они знали, как сказать: «Иди сюда!», «Ложись!», «Руки вверх!»

Из-за укрытия вышел, еле передвигая ноги, худой старик, его тощая борода развевалась на ветру. Сноу кричал, чтобы он проворнее пошевеливался. Его крик заглушил бормотание старика. Старик все еще бежал к ним, широко раскинув руки в стороны, а Сноу уже вытащил предохранитель из гранаты, и в тот же момент граната взвилась вверх. Лачуга превратилась в фонтан из обломков и дыма. Старик с трудом поднялся на ноги, из его дрожащих губ вырвался звук, похожий на жалобный вой.

Поль и Джонни подошли ближе к тому месту, где раньше стояла лачуга, и подняли старика. Возле ямы лежало

искореженное тело женщины и новорожденный ребенок, сосавший ее грудь.

Вскоре он забыл об этой женщине, и о ребенке, и о высохшем старике, потому что один день миссии по умиротворению сменялся другим, похожим на предыдущий.

Но теперь во сне все эти отвратительные подробности, забытые когда-то, возвращались с новой силой и причиняли мучения.

В то время он не смог остановиться, чтобы подумать обо всем этом, иначе он никогда вновь не вышел бы ни на одно задание. Он не мог позволить спросить себя самого, кто был вьетконговцем, и кто им не был, потому что, если бы не он стрелял первым, то стреляли бы они. Он не мог задать вопроса, кто остался в лачуге: мать с новорожденным или вьетконговский снайпер, не мог даже спросить себя, что может сделать этот худой старик, мелкими шагами приближавшийся к нему с раскинутыми руками.

— Мы не можем позволить себе такую роскошь — ждать и выяснять, — внушал им Сноу. — Лесные братья слишком хитрые, они одеваются как крестьяне, живут как крестьяне, да и ведут себя как крестьяне.

Почему-то во время выполнения миссии по умиротворению странным образом исчезало все то, во что он верил, находясь дома. Исчезал здравый смысл. Оставался лишь страх, подчинявший себе все остальное, и он пугался каждого, кто был одет в черные широкие штаны, свободную рубашку и конусообразную шляпу. Крестьянин, который, как им казалось, днем был на их стороне, с наступлением ночи превращался во врага. Неумолимого. Искусного. Бесстрашного. Он мог напасть, где и когда ему хотелось. Это была его страна, и он знал ее как свои пять пальцев, а они были чужими, увязшими в этой чужой для них войне.

— Обращайтесь со всеми, как с вьетконговцами, пусть они сами доказывают обратное, — так звучал приказ Сноу.

— Если речь идет о мужчинах, — протестовал Джонни. — Но как быть с женщинами и детьми?

— Пора раз и навсегда запомнить, — отвечал Сноу, — раз они живут с вьетконговцами, то отвечают за все наравне с ними.

Правда же состояла в том, что крестьяне днем были просто крестьянами с юга страны, а ночью они становились северными вьетконговцами, и Джонни сам в этом не раз убеждался. Он сам в начале войны был полон веры в то, что вьетнамцы призвали австралийцев, чтобы те освободи-

ли их от Вьетконга. Но в первые же три месяца, в джунглях, он понял, что вьетнамцы — это Вьетконг, а Вьетконг — это вьетнамцы. И действительно, не было необходимости подтверждать слова Сноу, но тем не менее Джонни понимал все совсем не так, как Сноу или Элмер, считавшие, будто война не закончится до тех пор, пока они не переубедят всех вьетнамцев до единого: мужчин, женщин и детей.

В памяти у него, словно в фильме, промелькнуло лицо старухи с выпирающими скулами, впалыми щеками, лицо, залившееся потом, когда Сноу приставил к ее уху дуло пистолета и таскал ее за волосы до тех пор, пока рот не исказила гримаса боли.

— Где прячутся вьетконговцы из вашей деревни? — орал он.

Переводчик орал еще громче и еще пронзительнее. У Поля сжалось сердце, когда он увидел ребенка, вылезшего из ямы и неуверенными шагами приблизившегося к ней, а потом ручонками обхватившего ее худые ноги. Не обращая внимания на пистолет, она наклонилась, подняла ребенка на руки и дала ему грудь.

И тогда всем стало ясно, что перед ними никакая не старуха, а женщина, состарившаяся от войны. Но допрос продолжался, голос Сноу звучал все яростней, переводчик кричал визгливее, на лице женщины уже чувствовалась предсмертная агония, а ребенок все прижимался к ее груди, в которой не было молока.

Теперь все представлялось ему по-другому. Сейчас уж он не намочит штаны от страха, когда из джунглей раздастся выстрел. Лесные братья не тратили патроны попусту. Они находились в джунглях намного дольше австралийских солдат и способны на более продолжительные бои. Джунгли были их родным домом, они там жили, любили, умирали. Все это подтверждало простую истину: жизнь нельзя уничтожить.

Хиросима ничему не научила людей. И теперь трагедия этой страны тоже ничему не научила людей.

Подразделения, которым приходилось прокладывать путь по этой мертвой земле, знали цену тотальной войне. Даже самые упрямые среди солдат были уstraшены, а менее упорные рассматривали ее как предостережение на будущее. Может ли нечто подобное безжалостное, бесчеловечное обрушиться на них самих? Смогут ли их старики, женщины и дети так же умирать во имя свободы, освобождения или еще чего-то, называемого высокими словами?

Если есть бог, который смотрит на землю и видит это жестокое уничтожение и ненасытное убийство, то, возможно, он когда-нибудь призовет их к ответу. Могут ли американцы и австралийцы участвовать в этой трагедии так бездумно, мимоходом лишь потому, что сами они, не познали ужасов современной войны на своей земле?

Поль еще как-то мог понять Элмера, искренне верившего, будто он защищает Соединенные Штаты. Он мог понять Сноу, построившего себе карьеру на искоренении «красных». Но он не мог понять, каким образом священники связывают эту войну с богом, бормоча что-то о христианстве, служат молитвы перед тем, как отправить солдат, да еще благодарят бога, когда те возвращаются не только в изодранных одеждах, с продырявленными телами, но и с душами, запачканными сильнее одежды, с сознанием, в котором остались следы более глубокие, нежели шрамы на теле.

Будь у него мужество, он никогда не позволил бы отцу уговорить себя. Будь у него мужество там, он предпочел бы предстать перед военным трибуналом. Будь у него мужество, он, увидев свое лицо после госпиталя, перерезал бы себе горло или выпрыгнул с пятнадцатого этажа своей больницы палаты. Но он ничего этого не сделал.

Чем он собирался заняться теперь? В давно прошедшие времена его вовсе не заботило будущее. У него, как он считал, всегда будут деньги, всегда будут девушки, любящие его, пока он сам этого хочет и пока какая-нибудь единственная женщина не станет его женой.

У него не было планов. Он жил одним днем, уверенный в том, что завтра будет лучше, чем сегодня.

Трещиной в их благополучной семье явился развод родителей. Но сам Поль страдал от этого больше, чем отец и мать. В нем стала зреть банальная мысль, будто он сможет жениться и счастливо прожить всю жизнь.

Именно тогда он женился и переживал счастливейшие в своей жизни дни. Он не мог представить себе конца захватившей его страсти, счастья от покупки слишком дорогого для них дома и катера, которые они никогда не смогли бы приобрести, если бы основным символом их поколения не стала покупка в кредит.

Теперь ему казалось, будто вся его жизнь, вплоть до момента, когда жена испустила вопль ужаса, увидев его освободившееся от бинтов лицо, давалась ему в кредит. А сейчас нечем оплатить очередной взнос, и жизнь перестала существовать точно так, как перестают быть вашей соб-

ственностью взятый в кредит телевизор, лодка или дом, если у вас больше нет денег для погашения очередного взноса.

Ему следовало бы умереть там и покончить со всем на свете — с думами о Пак То, ночными кошмарами, не дававшими ему покоя.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Кемми несказанно удивился, когда, пробуждаясь по лесу, они вдруг оказались у входа в пещеру. Он никак не мог предполагать, что щенок сознательно вел его сюда.

— Молодец, Наджи! — сказал мальчик, погладив собаку и улегся на кучу листьев в дальнем углу пещеры, куда он их предусмотрительно сгреб, чтобы не дать ветру раскидать в разные стороны.

Кемми натянул на себя соломенную дерюгу. Щенок удобно примостился рядом с ним, положил голову на грудь мальчика и крепко заснул.

Светило яркое солнце, и, взглянув вверх на тусклые отсветы красноватых облаков на потолке пещеры, похожие на распростертые руки, Кемми почувствовал себя не таким уж заброшенным. Грампи рассказывал, как давным-давно, когда они были еще свободны, их племя любило забавляться во время сезона дождей: один из аборигенов клал руки на крышу или на стену хижины, а другой краской брызгал на руки, и получались отпечатки. Вот и здесь, в пещере, какие-то аборигены оставили свои следы, следы эти были очень большие или совсем маленькие, некоторые он мог даже закрыть своей ладонью.

Наджи вдруг вскочил, ринулся к входу и остановился, залаяв. Кемми тоже выбрался из пещеры вслед за ним и увидел у корня дерева огромное насекомое, вылезавшее из земли. Он часто и раньше видел гусениц саранчи в резервации, точно так же выползавших из своих нор, но сейчас для саранчи еще не настало время — ночи были слишком холодные. Но, возможно, здесь на солнцепеке землю проглот и саранча решила, будто наступило лето?

— Не смей, не трогай, — крикнул он щенку, который начал скрести лапой около норы.

Заскулив, щенок положил голову на лапы и стал наблюдать, как гусеница прокладывала себе путь. Она медленно поползла вверх по стволу дерева и зацепилась там, словно маленький омар, все ее тело пульсировало от напряжения.

Кемми вернулся к своему ложу и снова улегся под соломенную дерюгу рядом со щенком.

Днем в пещере было приятно. Кемми чувствовал запахи кустарника, видел, как листья деревьев укрывают его и стволы образуют изгородь у входа в пещеру.

Когда наступала темнота, когда звездный и лунный свет не пробивался через листву, все становилось иначе. Звуки и шорохи уже не убаюкивали, а птицы пугали. Тогда он и щенок лежали, дрожа от холода, смотрели, как догорает костер, как угли превращаются в пепел, а какая-то птица снова и снова медленно и монотонно издает протяжные звуки.

Граппи боялся темноты, и мама, хотя и не верила ничему из рассказов Граппи, тоже боялась темноты. Только отец ничего не боялся. Он не верил ни сказкам Граппи о сотворении мира, ни рассказам мамы. Он жил в мире, где не было места духам и привидениям. Единственно, кого он опасался,— так это белых. В тот день, когда отец победил в прыжках на спортивных соревнованиях, он взял сына к себе на колени и сказал:

— Никогда не прыгай слишком высоко, сынок. Белым такое не очень нравится.

— Не внушай ребенку глупости, Джозеф,— сказала мама.— Какая польза от того, что ты внушаешь ему подобные вещи. и сам же посылаешь в школу учиться у белых?

— Ну, ладно, ладно,— отвечал отец.— Я скажу ему об этом по-другому. Никогда не пытайся стать чемпионом по прыжкам в высоту. Будь чемпионом по ползанию на животе, это очень любят белые. Они всегда будут давать тебе милостыню.

Тогда он совсем ничего не понял из сказанного отцом. Он и теперь не понимал всего. Он знал лишь: если ты черный, то должен быть вдвое осторожнее белых ребятшек. Когда его белые сверстники совершали проступки, полицейские только говорили: «А ну, ребята, марш по домам, а не то я вам задам трепку!» А когда черный мальчик делал то же самое, он мог считать себя счастливым, если полицейский не схватил его и не отослал в исправительную колонию. Когда однажды Кемми спросил у отца, что такое исправительная колония, отец засмеялся таким же смехом, как Граппи, выходявшим у него откуда-то из живота, и сказал:

— Это место, где учат, как стать преступником.

— А что такое преступник?

Отец снова засмеялся.

— Преступник — это человек, совершающий преступления.

— А что такое преступление?

— Плохой поступок.

— Так почему же они хотят научить плохим поступкам?

— Потому что самое большое преступление в этой стране — быть черным.

Тогда мама положила руку на плечо отца и тихо тряхнула его.

— Не говори так, Джозеф. От таких слов будет одна путаница у него в голове.

С лица отца сошла усмешка, исчезли шуточные нотки в голосе. Он положил руку на более светлую руку мамы и сказал так, словно собирался заплакать:

— Одному богу известно, что с ним станет, Мэри.

Он притянул маму к себе, усадил ее на колени и обнял. Другой рукой он обнял Кемми. Мальчик испугался, он почувствовал по тому, как вздрагивали плечи мамы, что она плачет.

Плачет ли мама сейчас, подумал он, оттого, что никак не может его найти? И вышел ли уже на его поиски отец? Если бы с ним был Грампи, отец легче бы его отыскал. Грампи хорошо умел замечать следы.

Щенок беспокойно зашевелился и заскулил. Он был голоден. Они оба были голодны. Мальчик думал о том, какую лучше всего прочитать молитву, чтобы попросить еду. Мама молилась белому богу, чтобы тот послал дождь, а когда бог посылал слишком много дождей, она читала ту же молитву, чтобы дождь прекратился. У Грампи на каждый случай была своя молитва. А у мамы все молитвы были одинаковыми.

Мама пыталась заставить и отца читать молитвы, но отец лишь выпячивал нижнюю губу, глаза у него становились жесткими, а голос резким, когда он говорил, что аборигенам больше пользы дадут профсоюзы, чем молитвы.

Мальчик не задумывался над словами отца до тех пор, пока ему не пришлось поехать жить к Грампи, на время болезни мамы.

Он с гордостью стал рассказывать Грампи, какая красивая у мамы церковь, но Грампи засмеялся, как отец, и спросил, а есть ли там росписи с изображением черных мальчиков или все они изображают только белых. Когда

потом, вернувшись домой, Кемми задал этот вопрос маме, она очень рассердилась и единственный раз за всю свою жизнь дала ему подзатыльник, а еще сказала, будто он нахватался разного устаревшего вздора, который по-прежнему наполняет голову его ленивого деда. Мальчик так и не понял, почему этот вздор был устаревшим.

— Это я-то лентяй? — зло спросил Грампи и засмеялся своим пугающим смехом. — Спроси-ка лучше свою мамочку, могла бы она прожить на пятьдесят центов в неделю?

Мама ничего не ответила. Она обиделась на то, как он с ней разговаривал, но так и не обмолвилась ни единым словом о росписях.

Но потом Кемми сам все понял, и оказалось, что Грампи был прав. Он просмотрел все картинки, спрятанные у мамы в ящике стола, но так и не нашел ни на одном из них черного мальчика.

— Если у белых и у черных один бог, — спросил Кемми, — то почему на всех картинках только белые лица?

— Потому что большинство людей в мире белые, — ответила мама.

Отец рассмеялся тем странным смехом, который всегда сердил маму, и сказал:

— О, нет. Это неверно.

Мама резко поднялась из-за стола и, уже стоя в дверях, сказала через плечо:

— Как же мне воспитывать сына, если все, что я говорю, ты тут же опровергаешь?

Мальчик не понимал значения слова «опровергать», но он очень хорошо понял, что в тех случаях, когда родители разговаривали об аборигенах и о белых, они опровергали друг друга, другими словами — ссорились.

Ссоры у них возникали не часто. Отец всегда разговаривал с мамой ласково. Возвращаясь домой, он обнимал маму потными пыльными руками, прижимал к себе, и она смеялась, когда он щекой терся о ее щеку, и просила, больше никогда так не делать, хотя Кемми чувствовал по ее голосу и смеху, что ей это нравилось. Он все еще помнил, как маме очень хотелось, чтобы все они жили на миссионерской ферме. Она говорила об этом со слезами в голосе. Но сама она когда-то убежала из миссии, чтобы жить вместе с отцом. Потом за ними приехали священник и полицейский, и они поженились так, как женятся белые, в церкви при миссии, которую мама считала самым красивым местом на земле.

Отец носил такую же одежду, как и белые скотоводы. Возвращаясь домой после целого дня, проведенного в седле, он снимал эту одежду и относил в душевую. Он сам соорудил душ из керосинового бака, проделав в нем дырочки. Когда мама, взобравшись на лестницу, лила воду в этот бак, вода стекала вниз, как водопад, который он ходил смотреть вместе с Грампи.

Ему нравилось вместе с отцом играть и прыгать под душем, смотреть на его огромное черное тело и мышцы. Отец часто играл с ним, подбрасывал его в воздух, щекотал и спрашивал, чему он выучился за этот день. Они все вместе смеялись, а их собака Наджи заливалась веселым лаем.

Выходя из дома, отец вдруг совсем менялся. Он делался строгим, и голос его звучал по-другому. Он говорил не так оживленно и громко, как дома.

Мальчику почудилось, будто он снова видит отца сидящим на веранде, где стояла его кровать. Они жили в маленькой хижине, которую хозяин предоставил родителям после их свадьбы. Двое друзей помогли отцу перестроить ее, поднять крышу, и им не приходилось, как другим аборигенам, входить в жилище согнувшись. Даже отец мог стоять в полный рост.

— Учись стоять, не сгибая спину, сынок,—говорил отец.

Сам он стоял, не сгибаясь, даже когда приехал на мотоцикле полицейский и без стука ввалился к ним в дом. Мама очень испугалась, глаза у нее округлились, как у кролика, за которым гонится собака, руки задрожали. А отец даже бровью не повел. Он лишь выпятил нижнюю губу и смотрел зло и сердито. Отец не дрогнул, но мальчик почувствовал, как гнев захлестывал его всего. Почему этого не замечает полицейский, думал Кемми.

«Хм-хм»,— только и сказал, как обычно, отец.

Когда полицейский ушел, отец тихо выругался.

— Ишь тихоня, черный негодяй! — выругался, уходя, полицейский.

— Что такое негодяй? — спросил Кемми.

Отец раздвинул в улыбке губы, обнажив ряд ровных белых зубов, смешно сморщил нос, словно собирался зарычать, и весело сказал:

— Скоро узнаешь, сынок. А теперь иди делай уроки, чтобы, став взрослым, иметь такую работу, когда никто не посмеет назвать тебя таким словом.

Мальчик понимал, что негодяй — это плохой человек, но он не знал значения этого слова. Грампи лишь покачал головой, когда он спросил его об этом.

Кемми всегда жалел, что все еще не научился разводиться огонь без спичек, одной заостренной палочкой, как это делал Грампи. Ведь когда разжигаешь костер, как Грампи, то кажется, будто он твой собственный, а если от спички,—то это уже совсем другое дело.

Грампи умел многое, и Кемми старался подражать ему, и в особенности он завидовал тому, как Грампи мог бросить бумеранг и заставить его вернуться обратно. Грампи рассказывал, что когда он был еще ребенком, не больше Кемми, он уже умел бросать бумеранг и ловить кенгуру в прыжке. Но показать, как это делается, Грампи не мог, потому что вокруг уже не осталось кенгуру.

Кемми, конечно, больше нравилось жить с Грампи, и он очень горевал, когда отец забрал его из резервации. Но лачуга среди деревьев, в которой жил дед, была совсем не такой крепкой, как их домик, который не пропускал ни дождя, ни ветра и в котором было всегда светло от солнечных лучей. В лачуге Грампи и бабушки ветер и дождь гуляли свободно, там было темно и низко, нельзя было даже встать во весь рост. Когда бабушка заболела и Грампи пошел к управляющему пожаловаться на лачугу, тот только накричал на него:

— От меня не жди на ремонт ни денег, ни материалов. Дом у тебя еще приличный, вы, чернокожие, слишком уж хорошо стали жить. У твоего отца и деда вообще не было никаких домов, так ведь? Подумаешь, ветер гуляет в доме или дождь мочит вещи. Да и вообще, какие у тебя там вещи? Готов поспорить на последний доллар, что дождю и мочить-то нечего.

Рассказывая это бабушке, Грампи сплюнул на огонь, будто там сидел сам управляющий, которого он потихоньку называл «белым буйволом». Потом стал рассказывать мальчику о прошлом, когда у аборигенов еще не было денег. Все они выходили тогда на охоту с бумерангами и копьями. Сами добывали себе пищу, а вечерами собирались у костра и устраивали танцы — корробори. Иногда Грампи брал свою дудку — диджериду,— начинал играть, бабушка принималась хлопать в ладоши, а другие старики неуклюже танцевать.

Чаще всего аборигены в резервации голодали. Продуктов, которые они получали, не хватало, нередко к концу месяца продукты портились, и их могли есть только собаки. Управляющий с круглым красным лицом садился на грузовик, объезжал резервацию и, не останавливаясь, нажимал на сигнал, созывая население. При этом он обычно кричал:

— А ну, пошевеливайся, богом обиженная Кэт!

— Ты что, одним глазом совсем ничего не видишь, Банги?

А у Грампи, который никогда не торопился, он спрашивал:

— И кого ты из себя корчишь, старик? Уж не короля ли этих черномазых?

Все говорили управляющему: «Да, сэр» и «Слушаюсь, сэр», хотя потом, собравшись у костра вечером, забавлялись, передразнивая его.

Каждый месяц, когда начинала ощущаться острая нехватка продуктов, управляющий привозил на тележке бадью с какой-то странной мешаниной, которую он называл овсяной кашей. Грампи говорил, что жена управляющего варила эту жижу из муки и воды, добавляя немного сахара.

Управляющий брал большой половник, похожий на жестяную кружку, укрепленную на палке, и, стоя возле бадьи, разливал кашу по мискам. Капли этой жижи падали на землю, и ее тут же жадно, вместе с пылью, слизывали собаки. Случалось, что вместо сахара в кашу клали соль, и тогда после еды всем очень хотелось пить.

Однажды Грампи попытался было выстроить аборигенов в одну линию, чтобы не было толкотни и не разливалась каша, но управляющий заревел на него:

— Ты кто здесь такой, паршивый ниггер, чтобы отдавать приказы? Я здесь хозяин, ты этого разве не знал? Если я еще раз увижу, как ты расталкиваешь людей, я тебя быстро утихомирю. Считаешь себя важной персоной из-за того, что твой негодяй-сын помещался на профсоюз, да?

Бабушка, Грампи и мама рассказывали ему истории, которые он запоминал и знал наизусть, а когда он сам начинал их рассказывать, как будто сам принимал в них участие, все начинали смеяться, ерошили ему волосы и говорили:

— Ну, а уж это ты придумал, малыш, тогда тебя здесь еще не было.

А иногда говорили так:

— Ты был слишком мал, чтобы все это помнить.

Но он действительно помнил, как стоял возле толпы людей, старавшихся пробиться поближе к тележке с кашей, и слышал, как они кричали неистовыми голосами:

— Налейте мне, босс!

— Сюда, в эту миску, босс. У меня четверо детей, босс.

— Налейте мне, босс, у меня двое ребятишек!

— Дайте мне, босс! У моей жены маленький ребенок, он еще сосет грудь.

Граппи никогда не кричал, он стоял молча и лишь держал свою миску выше других. И вот однажды управляющий протянул к нему свой половник, но вылил из него кашу не в миску, а прямо деду на голову и закричал:

— Ну, как тебе нравится, ниггер? Поменьше болтай языком, а то еще раз получишь.

Все захохотали, а Граппи только выставил вперед нижнюю губу и поднял миску еще выше. Управляющему пришлось налить ему два полных половника каши.

Рассказы Граппи были всегда интереснее историй учительницы. Она читала им про белых детей, у всех у них было много всевозможных вещей, о которых аборигены и не слышали. Поэтому такие рассказы Кемми не трогали.

Граппи был куда умнее учительницы. Кемми ни разу не видел, чтобы Граппи понадобилась книжка, если он хотел что-нибудь рассказать. И он мог часами рассказывать свои собственные истории. Это были истории об аборигенах, живших давным-давно, еще до прихода белых, когда вся Австралия принадлежала только аборигенам. От этих рассказов в горле у Кемми щемило, сердце билось сильнее, и они глубоко западали в душу. Кемми помнил их даже во сне.

Мама страшно сердилась, узнав, что он прислушивается к болтовне деда. Отец почему-то на этот раз тоже не стал ей возражать, а сказал как-то странно:

— Кем, твоя мама, хоть и ходит в миссию, но права. Такие рассказы в наше время совсем не для мальчика-аборигена. Ты бы лучше побольше слушал о черных людях, живущих в других странах, например, в Америке или в Африке. Там черные теперь уже научились не подчиняться приказам белых.

Почувствовав приятный запах дыма, Кемми живо представил себе свой дом и плиту во дворе, где мама готовила обед из продуктов, полученных по пайку на ферме. От этого ему еще больше захотелось есть. Он не мог понять, почему отец был часто недоволен продуктами, жаловался, будто они никогда не получают свежего мяса. Ведь мама готовила из солонины так вкусно. И неудивительно, этому она обучалась в школе при миссии.

Мама так ясно предстала перед его глазами в своем ярком цветастом платье, которое сама перешила из старого

платья миссис хозяйки. Вот она остановилась у двери дома и ждет, когда отец возвратится с работы. С отцом она познакомилась, когда он приехал в миссию вместе с хозяином и привез на грузовике скот. Потом он остался участвовать в состязаниях ковбоев, а после состязаний убежал от своего хозяина и пропал, пока его не поймала полиция и не доставила обратно на ферму,

Еще до того, как его поймали, он встретил маму. Она видела фотографию отца в газете, и когда он предложил ей бежать, она согласилась, несмотря на то, что в миссии училась законам и обычаям белых людей.

— Но не тому, как заработать наравне с белыми, чтобы хватало на жизнь,— всегда добавлял к ее рассказу отец кислым, как дикий лимон, голосом.

— Все люди равны перед богом. Черные они или белые,— тихо возражала мама.

Отец смеялся.

— Послушай, сынок,— сказал он однажды, усадив Кемми на колени,— мамин бог хорош для белых, но вовсе не для нас. Возьми, к примеру, меня. Я такой же умелый наездник и гуртовщик, как любой белый. А может быть, даже и лучше многих из них. Я работаю с восхода до заката, а что получаю? Шесть долларов в неделю. А белые за такую же работу получают тридцать пять. Ну ничего, погоди немного, скоро и у нас будут профсоюзы, тогда все переменится. Я с десяти лет работал вместе со скотоводами, ничего не получал за это, но подобного не произойдет с моим сыном.

— Ш-ш, Джозеф,— сказала мама, посмотрев так испуганно, будто увидела змею.— В доме хозяина не любят, когда ведутся такие разговоры.

Отец возмущенно захохотал.

— Еще бы! Конечно, не любят! Для них такие разговоры — как для дьявола святая водичка. Они бы им еще меньше нравились, испытай они хоть однажды, что такое забастовка, какие проходят сейчас на фермах Дауна и Вотера. Мы тоже поднимем забастовку и потребуем назад наши родовые земли.

— Не нужно говорить о забастовке, Джозеф,— просила мама, чуть не плача.— Мы живем лучше других. Я работаю у миссис хозяйки, и мне даже разрешают ездить на их старой машине... Кемми ходит в школу...

— Меня тошнит от твоего миссионерского пресмыкательства,— повысил голос отец.— Ты могла бы, наверное, продать свой народ за такие вот мелкие подачки. И если

Кемми ходит в школу, то вовсе не бесплатно, мы сами платим за это из пособия на ребенка. Неужели ты не понимаешь, что если мы победим в этой забастовке, то будем получать по справедливости и деньги и полноценные продукты вместо вонючих отходов, а наш сын завоюет право ходить в школу как полноправный человек, а не потому, что хозяйке не хочется тебя потерять?

Два приятеля отца, гуртовщики Метью и Помпи, были тоже за профсоюзы. Иногда они приходили с каким-то еще одним незнакомым аборигеном, жившим не здесь, а только бывавшим наездом, и тогда их разговоры затягивались далеко за полночь.

Маме не нравилась эта «болтовня». Пока они разговаривали, она сидела на пороге веранды и подавала сигналы, если замечала проходящих мимо людей. По всему ее виду было ясно, что она совсем не одобряла происходящее в ее доме. Каждый раз, когда произносилось слово «профсоюз» или «забастовка», она просила мужчин говорить потише, а иногда даже вставала и обходила вокруг дома, чтобы посмотреть, не спрятался ли кто за ним, хотя знала — Наджи обязательно залаял бы на чужих.

Собравшись вместе, они говорили тихо, но взволнованно, и Кемми, прислушиваясь к их беседе, сам начинал волноваться, даже не понимая по-настоящему, о чем там шла речь.

Кемми так и не удалось выяснить, что такое был «профсоюз» и что такое «забастовка», но отец говорил о них так уважительно, как мама о боге или о рае. Постепенно профсоюз и забастовка смешались у мальчика с понятием рая, где аборигенам будут платить столько же денег, сколько и белым, но за это им не придется работать в два раза больше; где всегда будет много еды, такой, какую мама готовила на кухне у миссис хозяйки, где даже зимой им всем будет тепло, потому что у них появятся настоящие одеяла, такие, как на кроватях у хозяина. В школе всегда будет весело, там будет много других аборигенов, и он не будет чувствовать себя несчастным в классе, где дети хозяина и других белых, работавших на ферме, постоянно отворачивают носы, будто от него пахнет, как от выгребной ямы. Но профсоюз не мог уберечь родителей от необходимости покинуть дом и ночью спешно бежать с фермы на старом грузовике хозяина, не захватив с собой ничего, кроме самых необходимых вещей. Кемми вспомнил сейчас, как горько плакала мама — как никогда в жизни! — когда отец вер-

нулся домой после клеймения скота и она рассказала ему о случившемся.

— Это ложь! — закричал отец. — Они хотят отомстить мне за попытку организовать профсоюз. Они испугались забастовки.

Отец выругался совсем как белые. Кем еще никогда не слышал, чтобы он так ругался. Мама не разрешала отцу произносить такие слова. Отец долго ходил взад и вперед по комнате, а мама плакала, уронив голову на стол. Даже сейчас, когда Кемми вспомнил об этом, он почувствовал, как и у него навертываются на глаза слезы, но отец ведь всегда говорил: «Мальчишки-аборигены не должны плакать».

Он не жалел, что они покинули ферму, ему было жаль только маму: она сидела в машине рядом с отцом, осторожно держа на коленях сына, а слезы, не переставая, лились по ее щекам, стекали на платье. И Кемми чувствовал, как они капали ему на голову. И еще ему было жаль отца, у него было злое, суровое лицо. Эти слезы мамы и лицо отца, похожее на сморщенный корень дерева, заслонили перед Кемми все остальное, и он совсем не видел, куда увозила их машина от фермы. Ему не хотелось ехать, но он понимал, что, несмотря на рыдания, мама ни за какие блага не осталась бы больше на ферме, даже если бы там остался отец.

Слабый луч солнца проник сквозь отверстия в скале и осветил тени, похожие на протянутые руки — ласковые руки Грампи. Грампи всегда был очень добрым к внуку. Он был, пожалуй, даже добрее отца. Отец постоянно останавливал Кемми, говорил, что делать можно, что нельзя. А Грампи разрешал ему делать все, Кемми понимал, в чем-то отец был лучше Грампи и даже любил его сильнее, чем деда, но сейчас он с теплой грустью вспоминал о тех счастливых и радостных днях, прожитых у Грампи, когда он, словно легкий, вольный ветерок, мог свободно носиться вместе с другими ребятами. И теперь эти руки, распростершиеся над ним, охраняли его лучше, чем мамины розовые ангелы. Ночью Кемми снилось, будто эти руки спускались к нему и обнимали его, как когда-то обнимал Грампи, неуклюже прижимая к своему плечу. Паутина, которую сплел паук у отверстия в своде пещеры, была сплошь покрыта крылышками насекомых, Кемми отчетливо видел и самого паука, притаившегося в углу за выступом скалы. Но сегодня в паутину никто не попадался, и Кемми думал, что паук тоже голоден, наверное, ему тоже хотелось, чтобы у него

были где-нибудь сложены запасы, но запасов у него не было. Так же, как щенки и мальчики-аборигены, он должен был каждый день добывать себе пищу. Только богатые белые могли иметь еду про запас. У миссис хозяйки едой были набиты холодильник и кладовая, у мамы таких запасов никогда не было, а у Грампи вообще не было ничего. Конечно, сейчас можно было бы купить продукты в лавке, думал Кемми, но где взять деньги?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

День и ночь лежал Поль без сна, думая о своей жизни, из которой ушло все, что раньше составляло ее смысл. Где отыскать связующее звено между ненужной ему жизнью и средствами для ее поддержания? Нет, дело, конечно, не в деньгах. Он мог бы сразу же получить пенсию, ибо стал теперь полным инвалидом. Но действительно ли он совершенно не способен работать?

Он бодрствовал, и его не покидал страх за будущее. Он спал, и его терзали воспоминания о прошлом. А в промежутках действительность ускользала от него, невесомая и бесцветная. Он видел сияющую голубизну моря по утрам и его перламутровую неподвижность на закате, но ни величие моря, ни его краски не тревожили его чувств. Он видел, как скрывается за горами солнце в багряно-красном сиянии, но это не вызывало в нем никаких ощущений. На небе загорались звезды, они излучали голубой, белый и зеленый свет, но для него они ровным счетом ничего не значили, хотя когда-то ему доставляло удовольствие рассматривать созвездия и вспоминать названия звезд. Теперь небо было лишено привлекательности, как и вся жизнь.

Если нет удовлетворения от существования на земле, то уж лучше бы сгореть дотла! Упрятать свое обезображенное тело в герметическую кабину и слушать, как идет отсчет к нулю и все быстрее, быстрее начинает биться сердце. Оглушающий взрыв и пламя!

Сознание отказывалось воспроизвести трагический конец, как будто, много раз встретившись со смертью в реальности, оно было не в состоянии столкнуться с ней в воображении.

Вспоминая теперь о Вьетнаме, он сознавал, что все было бы гораздо хуже, попади он под фосфор. В деревне Пак То двоих стариков опалило фосфором.

И опять перед ним возникли этот мальчик, Пак То, и его семья. Ведь это он, Поль, причинил им так много горя в последней «операции по розыску и уничтожению»! Ведь это он выгнал их из хижины. Это он подпалил их дома, не обращая внимания на крик и какое-то иступленное бормотание. Когда пламя поползло вверх к соломенной крыше, он услышал стон. Женщина с ребенком на руках попыталась проникнуть в хижину, но он оттолкнул ее и сам бросился в дым и огонь. Стон доносился из ямы в земле. Там оказалась маленькая беспомощная девочка, вся в крови, с перебитыми ногами. Он схватил ее на руки и вынес из лачуги.

Вся семья бросилась на колени благодарить его. Поль вернулся и медленно пошел прочь. Пак То побежал следом. В полмиле от хижины был госпиталь для гражданского населения. Поль внес ребенка в палату, Пак То не отходил от него ни на шаг.

Медицинская сестра молча взяла у него из рук девочку. Вошел врач, он взглянул на ноги пострадавшей и сухо сказал:

— Вот и еще один вьетконговский террорист.

— Жаль, что такое случается с гражданским населением,— глупо ответил Поль.

— Не стоит извиняться, сэр, мы знаем, вы пришли сюда убивать для того, чтобы спасти этот народ. Будем медленно ампутировать,— сказал врач сестре,— подготовьте ее к операции.— Потом снова повернулся к Полю:— Если это доставит удовлетворение вашим бесстрашным солдатам, то передайте им, что двадцать пять процентов ампутированных составляют дети.

Их подразделение было там еще с неделю, и каждый день Пак То приходил к нему, неуклюже кланялся, старался всячески услужить. Поль уже готов был выгнать его, но капитан сказал:

— Пусть ходит. Его отец — вьетконговец, может быть, он что-нибудь выболтает.

Пак То ничего не выболтал, но потом неожиданно спас ему жизнь.

Вскоре Поля и Джонни перевели в подразделение американцев, проводивших операцию по «розыску и уничтожению» в другой провинции.

Янки воевали совсем иначе. В отличие от австралийцев у них все было механизировано. Но это не означало, что янки совсем не участвовали в боях. Они были храбрыми солдатами, но как-то чертовски глупо все получалось. В ре-

зультате их все равно убивали. Они недооценивали лесных братьев, считая их тупоголовыми. Разве не оскорбительно признать, что у каких-то лесных братьев ничуть не меньше ума, а знания специфики ведения войны в джунглях — куда больше?

Элмер больше всего сожалел о том, что их всюду посылали без проводников и разведчиков, которым следовало заранее обследовать пути.

— Всем этим советникам не мешало бы съездить на выучку к моему деду,— говорил он.— Сами бы набрались ума-разума, да и нас бы поберегли. Старик хорошо умел ходить по следу, маскироваться, знал, когда и где остановиться, чтобы не нарваться на засаду. Но вот беда, у нас ведь слишком много генералов с четырьмя звездами на погонах, они тесно связаны с крупной промышленностью, а там считают, чем машина больше, тем она результативнее. Возможно, это и действительно так, но только не в джунглях. Нет, сэр, в джунглях такой номер не проходит.

Полю чувствовал себя спокойнее, когда был вместе с Элмером, ведь тот воевал и в Корее. Полю был за ним как за каменной стеной. Элмер соображал и ориентировался в обстановке быстрее Поля, вовремя исправлял неточности, в нужный момент успевал бросить гранату.

— Не знаю, что бы ты делал без меня, старик,— подтрунивал он над Полем.— Ты такой медлительный и растяпа, тебя же в любую секунду могут подстрелить вьетконговцы.

В джунглях было хорошо иметь такого товарища, как Элмер. Он не думал о посторонних вещах, не волновался по пустякам, остался хладнокровным, когда они однажды открыли огонь по какой-то деревне, потому что лейтенанту показалось, будто оттуда в них стреляют вьетконговцы, хотя Полю и Джонни могли бы поклясться, что пули летели из своих подразделений, частично переправившихся на другой берег.

— Вы, ребята, поменьше бы философствовали перед лейтенантом,— сказал Элмер, криво усмехаясь,— а то он заподозрит вас в сочувствии вьетконговцам. Это ему совсем не по нраву.

— Но ведь стреляли действительно наши солдаты с того берега,— не унимался Джонни.

Улыбка Элмера стала жестче.

— Пока мы находимся здесь, для вас же будет лучше, если я никогда больше не услышу подобных слов.

Этот случай научил Поля держать язык за зубами, но он не знал, как заставить замолчать Джонни. Он думал, что Джонни перестанет болтать, когда они окажутся у американцев, но там Джонни стал еще хуже, так как подружился с янки, таким же одержимым. Они, не останавливаясь, болтали всякий вздор, критиковали свои правительства, начальников и всю эту грязную войну.

Этот умник-американец имел обыкновение сразу же выбивать почву из-под ног у любого собеседника. Когда лейтенант стал однажды распространяться о военных успехах американцев, этот тип спросил:

— Сэр, скажите, а правильным ли было сегодняшнее сообщение из Нью-Йорка, будто у нас под контролем находится всего лишь четыре тысячи из одиннадцати тысяч шестисот деревень и только семь миллионов человек из семнадцатимиллионного населения?

Лейтенант пропустил вопрос мимо ушей.

Но когда «умник» предположил, что к этому, видимо, имеет прямое отношение факт изъятия земель у помещиков на территориях, где действуют лесные братья, и раздачи этих земель крестьянам, лейтенант уже не стал больше молчать, он пригрозил «умнику» трибуналом, если тот не прекратит своей болтовни.

— Беженцы могут свободно селиться в деревнях, где установлен новый порядок, — сказал в заключение лейтенант.

И хотя Польша в чем-то соглашался с лейтенантом, оканчиваясь он сам на месте такого беженца, он остался бы в джунглях в самой бедной деревушке, а не пошел бы в стратегическую деревню, упрятанную за колючую проволоку, где деревья сплошь сожжены химикатами, где земля — сплошное болото грязи в сезоны дождей и скопище пыли в засуху, где колодцы, из которых пьют воду, вырыты рядом с вонючими выгребными ямами.

Когда солдаты их взвода увидели грязь, зловоние и безжизненность деревень «новой жизни», увидели, как лояльные вьетнамские беженцы с тонкой, как папиросная бумага, кожей угасали от недоедания и бесполезности своего существования, а их дети со вздутыми животами бегали — если они еще были способны бегать — и кричали солдатам: «Вы — сила!», то, конечно, нашлись люди, и в первую очередь тот «умник», которые громко спрашивали: а чем хуже жилось этим вьетнамцам при Вьетконге?

И все же иллюзии Поля развеял вовсе не Джонни и не «умник». Это сделал Элмер.

— И все же они должны понимать, что мы защищаем Австралию,— сказал однажды Поль Элмеру, когда, прослушав радио, они узнали о марше протеста на улицах Сиднея.

— Конечно! — ответил Элмер. — Конечно, дружище, мы защищаем Австралию, а еще — я защищаю Америку. Находясь за десять тысяч миль от своего дома, затерявшегося где-то в южных штатах, я защищаю Америку от коммунизма, а дельцы наживают миллионы на поставках боеприпасов и горючего. Я же, если вернусь домой, получу одну награду — пинок в зад, как получил мой отец, когда скитался в поисках работы после прошлой войны. Так вот, старик, когда мы остановимся на отдых, чтобы восстановить силы, я хочу попрактиковаться и спеть послевоенную песенку моего деда «Дружище, нет ли лишней монеты?» на случай, если вернусь домой и попаду в великое общество.

Раньше Поль ни над чем не задумывался. Теперь вопросы роем теснились в его голове, не давали спать, и Поль корчился, мучаясь от чего-то более важного, чем его собственная жизнь. Когда же он погружался в сон, раскосые глаза смотрели на него, словно разыскивали его среди мертвых, так же, как он искал их некогда среди живых, глаза эти были полны страха, ненависти и еще чего-то необъяснимого, они осуждали его малодушие.

Там он принимал на веру заявления, будто их присутствие необходимо в этой стране. Там он порицал таких, как Джонни или «умник», все время задававших провокационные вопросы, считал их людьми, ведущими подрывную деятельность и подстрекающими к антиправительственным выступлениям. Он не выносил этих смутьянов, отказывавшихся от военной службы, громко и публично заявлял, как бы расправился с ними, будь на то его воля. Он не имел возражений, сознательных или бессознательных, здравых и честных, он просто ненавидел их.

Теперь же, оказавшись далеко от всего этого, он мысленно, как землечерпалкой, вылавливал то, что нисколько не беспокоило его в джунглях, то, что он хотел, но не мог забыть. В те дни его поддерживала мысль о доверии отца, правительства, его капитана, его лейтенанта и вера в него всех этих... Сноу и Элмеров. Теперь, одно за другим, рушились эти столпы у него на глазах. Отец не оправдал его ожиданий, когда он в нем больше всего нуждался, правительство просто обмануло его, нарисовав ситуацию, которой в действительности вовсе не существовало. Вьетнамцы, ока-

залось, просто не желали видеть их на своей земле. Лишь богатые вьетнамские марионетки нуждались в поддержке австралийских войск. И даже эти марионетки ненавидели их.

Засыпая, он старался отключиться от своих переживаний, но во сне снова и снова оказывался на узенькой тропинке в джунглях. Знойная ночь подкрадывалась неожиданно, и каждый звук джунглей вызывал непреодолимое желание стрелять из винтовки, которую он нервно сжимал в руках. Он ненавидел эти джунгли, где от гомона растрепанных обезьян, зловещего улюлюканья ночных птиц и внезапного треска замирала душа.

После каждого такого звука, когда сердце его разрывалось на части, вдруг наступала тишина, глубокая, как могила, и бесконечная, как смерть. Он чувствовал, что все время идет рядом со смертью. Ночь была полна запахов гниющих растений, застоявшейся воды, а иногда и невыносимой вони от разлагающегося рядом на дороге трупа. Может быть, это зверь или вьетконговец? А может быть, кто-то из его приятелей? При этой мысли он сильнее дергал веревку, накинутую на шею пленного вьетконговца. Так и нужно этим негодьям! Возможно, это он, этот трус, поставил мину, на которой подорвался Джонни? Теперь этот террорист, спотыкаясь, брел среди них, и при каждом шаге Элмер все туже затягивал веревку на его шее, он начал уже задыхаться.

Наконец тропинка вывела их на поляну, где разведывательное отделение производило допрос. Человек, сидевший за небольшим походным столиком, обернулся на зов Элмера. Двое солдат подошли к ним, схватили вьетконговца, бросили в освещенный круг около входа в палатку. Из палатки вышел лейтенант и остановился, глядя на распростершееся перед ним тело.

Элмер красочно описал процесс поимки пленного и выразил уверенность, что это наверняка вьетконговец, знающий что-то важное.

Капитан ткнул лежавшего носком сапога.

— Переверните его!

Солдат перевернул вьетнамца, зажмурившегося от яркого света. Пленный оказался моложе, чем они предполагали, — ему было не больше шестнадцати лет.

— Тан Хо, — позвал капитан, повернувшись к палатке.

Отодвинув полог, прикрывавший вход, вышел вьетнамец в форме добровольца. Это был переводчик.

— Поднимите его на ноги, — приказал капитан Элмеру.

Элмер дернул за веревку, вьетнамец начал задыхаться, а потом что-то невнятное пробормотал, когда солдат схватил его за раненое плечо. Солдат с гримасой отвращения отдернул руку.

— Передайте ему, что это всего лишь подготовка к допросу, если он будет молчать и нам придется вытягивать из него сведения, то будет хуже,— сказал лейтенант Элмер.

Визгливый голос переводчика разорвал ночную тишину. Вьетнамец молчал.

— Может, дать ему ободряющего? Ну-ка, растяните его,— злобно приказал Элмер.

Солдаты толкнули паренька, он опять упал на землю. Голова неуклюже заприкинулась, и на шее проступил красный рубец от веревки.

Лейтенант встал рядом и крикнул переводчику:

— Скажи ему, что это его последний шанс. Если он не будет отвечать, мы применим наш новый метод.

Переводчик пронзительным голосом прокричал эти слова распростершемуся на земле вьетнамцу, но тот остался недвижим.

— Не знаю, какой черт вселился в этих негодяев,— проворчал лейтенант.— Ничем не раскроешь им рта. А ну-ка, принесите сюда наше орудие для допроса,— отдал он приказ резким голосом.

Замешательство исчезло с его лица, теперь он уже был полон решимости во что бы то ни стало довести порученное ему дело до конца. Солдат притащил гибкий шнур от генератора автомашины, дававший свет в палатку, и положил его рядом с пленником. Потом прикрепил электроды к вискам пленного и впился вопросительным взглядом в офицера.

— Включай! — рявкнул лейтенант.

Голое тело корчилося в агонии, извивалось в мучительных судорогах. Тишину разорвал нечеловеческий вопль.

Поля разбудил его собственный крик.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Во время той мрачной поездки Бренда остановилась по пути у своей единственной подруги, с которой дружила еще со школьной скамьи. Элла уже была замужем, у нее росло двое ребятишек, а муж владел транспортным агентством, обслуживающим все побережье. Элла была человеком, которому можно было во всем доверять. Лишь она одна знала

об отношениях Бренды и Дерекса до их свадьбы. Она молча слушала рассказ Бренды, лишь глаза ее горели возмущенно, она негодовала от предательства Дерекса.

С ее же разрешения Элла обо всем рассказала Тому, и тот выразил неожиданную готовность помочь Бренде. Он возьмет ее с собой в Ньюкасл в конце недели, а там его старый приятель устроит все остальное.

Все было очень просто, словно кому-то понадобилось отвезти машину в авторемонтную мастерскую и заменить крышку или поставить новый карбюратор. Том намеренно вел разговор в таком тоне, но Элла все же заплакала, прощаясь с Брендой.

Она не перекинулась с Томом и парой слов, пока они ехали через горы, а потом свернули на дорогу в Ньюкасл. Ей совсем не хотелось говорить. Когда на горизонте показались огромные трубы сталелитейного завода, изрыгавшие в небо лавину белого дыма, она почувствовала некоторое облегчение.

Приятель Тома и его веселая молодая жена отнесли к ней по-доброму и во многом помогли. Они ни о чем не спрашивали, а она ничего не объясняла. Если бы ей пришлось снова рассказывать о случившемся, она просто сошла бы с ума. Она старалась сосредоточиться на чем-то внешнем, присматривалась к детям, слушала радио, пока Мэриан уходила окончательно обо всем договориться.

В тот вечер, сидя за чашкой чая, она выслушивала последние наставления.

— Джек довезет вас до подножия горы. Дальше вы сами пойдете вверх по улице — она довольно крутая — и повернете в первый переулок. Найдете дом номер пятнадцать, он как раз стоит в середине переулка с левой стороны. Мимо пройти невозможно, вы никогда в жизни не видели столько герани, сколько на его окнах. Она немножко странная, эта женщина, и дерет довольно дорого, но у нее чисто, а это самое главное. У нее вы долго не пробудете. Мы ждем вас к себе, когда все закончится. Джек и я сделаем все, чтобы вы поскорее об этом забыли. Через пару дней вы будете совершенно здоровы.

Она ничего не ответила, только тихо сжала руку Мэриан, взяла у нее снотворное и заснула глубоко. Мысль о смерти была первой, когда она проснулась на следующее утро, но она постаралась тут же отогнать ее. Сегодня она пройдет через это, а когда все кончится, сможет начать новую жизнь.

Она не вернулась обратно в Дулинбу. С неделю прожила у своих новых друзей, а потом начала подыскивать себе работу. В Ньюкасле женщинам трудно найти место, но у Джека были знакомые, и Бренда не теряла надежды. Здесь она не будет видеть злых косых взглядов обитателей Дулинбы и их всепонимающих улыбок, которые раздражали бы ей душу с утра до вечера. Так началась ее новая жизнь.

Вскоре она переехала в свою собственную квартирку, по субботам и воскресеньям она могла спать сколько хотела, вставать, когда хотела, готовить для себя неприхотливую еду. Только в конторе она являлась предметом назойливо-любопытных взглядов и пытливых догадок своего босса.

Ей было легко работать, легко встречаться с людьми. Она совсем забыла Дулинбу, и связывала ее с Дулинбой лишь переписка: еженедельные машинописные послания к отцу и его короткие, аккуратно написанные еженедельные ответы.

Босс хорошо отзывался о ее работе, но каждый раз при упоминании ее имени на губах у него почему-то появлялась многозначительная улыбка, а в глазах странный загадочный блеск.

— Возможно, миссис, хотелось бы провести субботу и воскресенье где-нибудь подальше от города? — услужливо спрашивал он.

Но ни его улыбка, ни загадочный взгляд, ни лестное предложение о загородном развлечении ничего для нее не значили, а вызывали лишь отвращение. Вскоре он сменил улыбки и нежные взгляды на сухой официальный тон, продолжая, однако, называть ее хорошим работником. Но говорил он это каким-то извиняющимся голосом. Когда ей стало совсем невмоготу от его «извинений», она подала заявление об уходе.

Следующий босс оказался старше ее отца. Уже в пожилом возрасте он женился на своей секретарше, чем окончательно подорвал свою репутацию в обществе, а теперь в довершение ко всему еще страшно страдал от конфликтов с молодой женой. Положение, однако, обязывало его притворяться счастливейшим человеком на свете.

Он был благодарен Бренде за ее молчаливость и безучастность. По крайней мере на работе он нуждался в свободе от соблазнов. Это устраивало их обоих, создавало даже родство душ, но не имело никакого отношения к работе, которую она для него выполняла, и к зарплате, которую он ей платил.

Она так никогда и не вернулась бы в Дулинбу, если бы не получила письма от священника через год после своего отъезда. «Отец очень нуждается в вас. Он болен серьезно и вскоре должен будет оставить работу на почте. Мне кажется, вам следует приехать».

Она не поехала. Она стала писать ему чаще, но не могла допустить и мысли о возвращении. И, лишь получив от отца скромную записку, в которой он написал, что оставляет пост начальника почты в Дулинбе и переводится в ее филиал у Головы Дьявола, она поняла: настал момент, когда она обязана что-то сделать для него, иначе будет поздно и она никогда себе этого не простит.

Вспоминая теперь о том, как он жил в этом оторванном от мира, обшитом досками домишке, затерявшемся между берегом моря и озером у Головы Дьявола, она понимала его одиночество.

Она тоже была одинокой, но отец одинок вдвойне. Не было рядом жены, не было и Бренды, которая могла бы помочь пережить ее утрату. В конце недели Бренда взяла расчет и поехала в Дулинбу, где встретила с врачом.

Он посмотрел на нее чуть насмешливо, точно так, как год назад, когда узнал, что Дерек покинул ее.

— Сейчас я могу давать ему лишь болеутоляющие таблетки, — сказал врач, — позднее, когда дела пойдут еще хуже, назначу уколы морфия, если вы найдете в себе мужество их делать.

— Хорошо, я буду их делать.

Он потрепал ее по плечу.

— Вот и прекрасно, милая девочка. Я всегда считал вас решительной. Но впереди у вас совсем нелегкая жизнь.

Она не узнала отца, так изменился он за год ее отсутствия. В глазах его сознание обреченности. Он, конечно, знал о своей болезни и скором трагическом конце. Он поздоровался с ней, но не поцеловал и даже не потерся своими пожелтевшими усами о ее щеку, как делал это обычно. Он лишь крепко ухватился за ее руку и сказал, что очень нуждается в ее присутствии. Слова застредали у него в горле, кашель сотрясал все вокруг, а она ничем не могла ему помочь.

Вспоминая всю свою жизнь, Бренда видела себя сторонним человеком, извне наблюдавшим жизнь родителей. Она понимала, что катастрофа, обрушившаяся на их семью и способная исковеркать судьбу любой семьи, не нарушила

жизни ее родителей, она лишь изменила их самих. Мать стала безропотной и беспомощной, а любовь отца превратилась в бесконечную нежность к ней. Смерть матери лишила его желания жить.

Да, совсем нелегко сейчас было Бренде, но и через это нужно пройти.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Кемми казалось, будто он здесь давно, будто провел здесь больше времени, чем прожил с Грампи в резервации, хотя твердо знал, что это не так. Грампи учил его распознавать месяцы по положению на небе Южного Креста. Но здесь это трудно было сделать. Южный Крест просматривался плохо через проем в своде пещеры. Когда он впервые забрался в эту пещеру, просматривалось две звезды, а сейчас одна, но сколько времени прошло с тех пор, Кемми не знал.

Он чувствовал себя большим и храбрым, когда поднимался по утрам, а солнце только еще всходило из-за моря и своими лучами согревало тело и душу. Поеживаясь от сырости, он умывался в ручье, и они вместе с собакой отправлялись в путь. Днем у него было много забот, и он не ощущал одиночества, но едва опускалась тьма, ему казалось, будто огромная черная туча проглатывала его.

Утром прежде всего нужно было идти на маслодельню за молоком для мисс почтмейстерши. Потом отнести молоко и продукты боссу, развести костер и приготовить завтрак. Завтрак готовился на троих, как-то само собой повелось, что после босса ели и они с Наджи. Потом Кемми долго и тщательно мыл посуду, собирая остатки на обед себе и щенку, а босс, конечно, думал, что собирает он их только для собаки.

Когда солнце поднималось в зенит, босс обычно говорил:

— Ну, теперь марш домой, малявка. Ступайте оба. Пора обедать.

Он ведь не знал, что у них нет ничего на обед.

Когда к берегу озера пришвартовывался катер, Кемми бежал к пристани. Следовало взять газеты и письма и отнести их на почту. Почти каждый раз приходили письма и для мисс почтмейстерши и для леди с маслодельни. Но для его босса — никогда. Да он, кажется, и не ждал никаких писем.

Заканчивая эти дела, он шатался бесцельно со щенком возле скал, понемножечку откусывая от печенья или ябло-

ка, полученных от мисс почтмейстерши. Как жестока судьба! Босс и мисс, конечно, сейчас сытно обедают, а он и Наджи должны бесцельно рыскать у скал и на берегу, не находя ничего, кроме выброшенных прибоем обломков деревьев, которые к заходу солнца он отнесет на почту.

Здесь, у Головы Дьявола, даже песок был другим. Дома он был белый и мелкий, как соль, здесь — грубый и желтый, как мякоть манго, росшего высоко в горах. Деревья росли здесь бесплодные, а твердые орешки эвкалиптов не годились в пищу. И почему это мама с отцом заехали именно сюда, в это забытое богом место, где было холоднее и неуютнее, чем в любом другом месте, где они жили раньше?

Здесь по утрам на траву ложилась холодная роса, она брызгами разлеталась под ногами. Иногда они вместе с боссом ходили на берег купаться. Босс нырял под волну и возвращался к берегу на ее гребне. Или вдруг всплывал на волне, как чемпион, которого Кемми видел однажды на ферме хозяина, когда ему разрешили чуть-чуть посмотреть телевизор. А может быть, он и есть чемпион? Может быть, только из-за этих шрамов он больше не чемпион? Может быть, поэтому и приехал сюда, на этот безлюдный берег, чтобы никогда ни с кем не встречаться, никого не видеть? Никто не знает, где он живет, никто не приходит к нему, никто не шлет ему писем. В этом они чем-то похожи. А что будет, если в один прекрасный день кто-нибудь придет и заберет босса домой? Кемми надеялся, что это случится не раньше, чем его родители приедут за ним. Он и представить себе не мог, как это он останется жить один, без босса, никому не нужный. А одиночество днем куда хуже, потому что ночью страх перед темнотой исчезал, едва он засыпал.

Сегодня у Кемми особенно много дел. Босс забыл вчера дать ему деньги на продукты к завтраку, поэтому прежде всего надо зайти к нему. И мальчик пошел вдоль ручья к его машине.

Босс еще спал. Кемми и щенок сели на камень и стали терпеливо ждать, когда он проснется. Наконец босс поднялся.

— Привет,— сказал он.— А я и не думал, что уже так поздно.

— Еще совсем рано, босс,— сказал Кемми и подошел поближе.— Просто вчера вы забыли дать мне деньги.

— А тебе не кажется, что твоя мисс почтмейстерша могла бы дать нам продукты и в долг?

— Конечно, если только вы сами попросите. Нам никто ничего не дает в долг,— серьезно ответил Кемми, в точности повторив слова отца.

— Плохие плательщики, да?

— Просто нет денег, босс.

«Бедный мальчишка»,— подумал Поль.

Он молча пересчитал катастрофически убывающую пачку денег и оставшуюся мелочь. Запас сигарет тоже был на исходе. Скоро у него не останется денег на еду для самого себя и для ничтожных подачек, которые он давал этому мальчишке за беготню. Он порылся в багажнике, вытащил удочки, бездействовавшие еще с тех пор, когда они с Мерилин собирались провести у моря медовый месяц.

Огромные глаза Кемми вспыхнули радостью.

— Кумекаешь в рыбной ловле? — спросил Поль.

Кемми решительно кивнул. Лицо его расплылось в широкой улыбке.

— А не знаешь, где можно раздобыть наживку?

Мальчик снова кивнул.

— У мисс почтмейстерши в лавке.

— Вот это да! Ну, тогда быстро беги туда, принеси молока, хлеба и на десять центов наживки. Может быть, поймает что-нибудь на обед?

Кемми и щенок стремглав помчались по каменистой дороге к Голове Дьявола.

Бренда плохо спала в ту ночь. Она сидела, склонившись над регистрационным журналом, когда увидела, как мальчишка и щенок поднялись по ступенькам. Пусть подождут, подумала она, упорно не поднимая головы.

Часы громко отстукивали время. Три минуты, пять минут. Бренда не шевелилась. Кемми на цыпочках подошел поближе и тихо постучал. Она не обратила внимания. Он снова тихо постучал. Все ее раздражение от этих рутинных ежедневных дел мгновенно обрушилось на ребенка:

— Ты что, не видишь, я занята? Думаешь, у меня других дел нет, как только выполнять твои просьбы? Вот тебе хлеб и молоко. Что еще нужно?

— Пожалуйста, дайте наживку, мисс.

Голос мальчика был еле слышен.

— Наживку? Для кого?

— Для босса. На десять центов.

Она распахнула старенький холодильник, взяла наживку и положила ее в целлофановый мешочек. И ей вдруг

стало стыдно за себя. Почему она должна срывать свое раздражение на этом мальчишке-аборигене? Правда, к другому обращению они и не привыкли, но все равно — зачем она кричит на него?

Кемми взял пакет и, пробормотав скороговоркой слова благодарности, повернулся к выходу.

— До свиданья, мисс, — тихо сказал Кемми.

— Постой, — окликнула его Бренда, охваченная каким-то внезапным порывом.

Мальчик обернулся, в его широко раскрытых глазах застыл страх.

— Тут совсем мало еды, только хлеб и молоко. А масла разве не нужно? Или мяса? Ты уверен, что все хорошо запомнил?

Кемми кивнул.

— Босс просил только это. У нас осталось совсем мало денег, и теперь мы будем ловить рыбу.

— Что ж, мне бы тоже хотелось немного рыбы. Может, ты отнесешь ему мясо и скажешь, что я хочу получить взамен рыбу, которую он поймает?

Кемми широко улыбнулся.

— О'кей, мисс.

— Тогда беги к нему, возьми эти продукты и передай мою просьбу. Если он согласится, ты принесешь мне рыбу, но только очищенную и выпотрошенную, понял? Да, кстати, как тебя зовут?

Кемми потупился.

— Босс называет меня малявкой.

— Ну что ж, малявка так малявка. Не забудь же передать о нашем разговоре.

— О'кей, мисс.

Она засмеялась и пошла к своим регистрационным журналам, испытывая удовлетворение.

«Берегись, Бренда! Ты скоро станешь такой же чувствительной, как была, — сказала она себе. — Начнешь с сентиментальностей к мальчишке-аборигену, а кончишь опять бог знает чем».

И все-таки она не могла допустить, чтобы человек, которого она видела лишь издалека, голодал. Хотя сам он как будто не очень-то беспокоился за свою судьбу. Единственным связующим звеном между ним и внешним миром стал этот мальчишка-абориген, который называет его боссом.

Что привело его в эти края, думала она, и что его здесь удерживает? Уродство? Майк Роган с маслодельни, который однажды, отыскивая пропавшую корову, забрел в те

места, был единственным, кроме мальчишки, человеком, видевшим его вблизи.

— Честное слово, вид его поразил меня, как удар грома,— рассказывал Майк.— Он лежал голый на песке и, видимо, не ожидал, что кто-то может пройти той дорогой. Когда моя собака зарычала, он взглянул в мою сторону. Боже! От его вида у меня все внутри похолодело, я стукнул собаку и повернул в лес. А он крикнул мне: «Катись отсюда к черту!» Честно скажу, я действительно постарался поскорее убраться.

Но теперь, после всего пережитого, Бренда уже понимала, что, как ни страшно выглядел тот человек, он все же, наверное, намного лучше Дерекса со всем его мужским величием. Да какая разница, как выглядит человек, если он прогнил изнутри, как Дерекс?

Кемми вприпрыжку бежал вниз по узкой каменистой дорожке, глаза его горели от возбуждения.

Поль осторожно взял у него из рук бидон и сказал:

— Осторожнее! Ведь здесь молоко! Это все, что у меня есть сегодня на обед, если не посчастливится поймать рыбу!

— Нет, есть еще мясо,— выпалил одним дыханием Кемми.

— Мясо?!— Поль недоверчиво взглянул на мальчишку.— Надеюсь, ты сказал мисс почтмейстерше, что у меня нечем за него платить?

— Да, сказал, но она сказала, что ей хочется рыбы, и если вы поймаете рыбу, она может ее взять за мясо, но только рыбу нужно очистить и выпотрошить.

— Что ж, я с большим удовольствием поем мясо. Да и ты тоже, малявка.

Кемми кивнул и добавил:

— И Наджи тоже.

— Хм, а я и не подумал, что можно попусту скормить мясо собаке. Но думаю все же, он заслужил его еще на прошлой неделе, когда придавил в лесу змею. Надеюсь, ты ей об этом не сказал?

Кемми заматал головой.

— Я никому об этом не говорил, это ведь был удав.

— Ну, удав не удав, а что-то очень похожее. Давай-ка разведем костер и сразу пожарим мясо. Нам надо быть сильными, чтобы вытащить из воды морское чудовище, которое нам обязательно попадет. А потом испробуем свои силы и посмотрим, не сможем ли мы поймать какую-

нибудь особую рыбу для мисс почтмейстерши. Если не сможем, то мне нечего будет есть на обед. Мы должны серьезно взяться за дело.

По совету Кемми они пошли в обход к тому месту, где в конце песчаной гряды высилось нагромождение скал и между ними — тихая заводь.

Кемми давно уже заметил, как много здесь в глубине плавают рыбы. И сегодня ее было много. Они видели, как рыба подплывала к приманке, но почему-то приманка не прельщала ее. Спокойно она отплывала в чуть заметную зыбь, отливавшую глубокими темными красками.

Кемми сел на корточки и стал внимательно следить за рыбой, а Поль принялся прикреплять крючки к удочкам, насаживать наживку на крючки.

Щенок залаял и сморщился, очевидно, приняв наживку за еду, которую и ему удастся попробовать. Он с недоумением следил за Полем, опускавшим ее в воду.

— Не везет, малявка, — сказал Поль, забросив крючок.

Он поднял удочку, снова насадил наживку и снова забросил ее. По переместившимся теням Кемми понял, что время приближается к полудню.

Наконец, Поль со злостью вытащил удочку, откинул ее на камень.

— Пойдем-ка отсюда, тут у нас ничего не выйдет.

— Пожалуйста, босс, — взмолился Кемми, — еще только один раз. Дайте мне удочку. Солнце уже больше не светит на воду, сейчас начнется клев.

Поль неохотно передал ему удочку. Кемми насадил наживку на крючок и тихо опустил леску в воду. Вместе со щенком они улеглись рядом, не сводя глаз с заводи. Он видел, как рыба лениво подплыла к наживке, покрутилась рядом и, вильнув хвостом, уплыла обратно в глубину.

— Еще пять минут, — сказал раздраженно Поль, взглянув на часы, — и ни минуты больше я здесь не останусь.

— Помогите мне, помогите, — закричал вдруг Кемми.

Поль вцепился в удочку, и вместе они, медленно и осторожно, вытащили яросто бившуюся рыбу.

— Вот это да! — воскликнул Поль. — Наконец и к нам пришла удача, малявка.

Они поймали еще трех рыб, правда, поменьше первой, сложили удочки и отправились обратно к своему лагерю.

Кемми и щенок смотрели, как Поль чистил и потрошил рыбу. Чешуя поблескивала на солнце, разлетаясь в разные стороны, и падала, отражаясь всеми цветами радуги.

— Разведи костер, — сказал Поль. — Лучшую рыбу мы,

конечно, оставим твоей мисс, а остального хватит и мне, и тебе, и даже щенку. Сегодня мы можем пообедать вместе, если только мать не будет ждать тебя к обеду домой.

Кемми покачал головой и стал разводить костер в очаге, он сам несколько дней тому назад сложил его из камней. Чтобы быстрее разжечь дрова, он перекладывал сухие щепки бумагой, на которой Поль чистил рыбу.

Поль в восхищении остановился, глядя, как мальчик аккуратно прилаживает каждую веточку, каждый листочек, каждый пучок сухой травы, стараясь извлечь из них пользу. Он никогда не видел, чтобы костер разводили так экономно и так хорошо.

«Какой же хитрый этот маленький абориген», — подумал Поль.

И в этот момент ему вдруг представилась совсем другая картина. Пак То разводит костер, греет воду и варит рис, потом с ложки осторожно скармливает его Полю, стараясь не задеть его покрытые волдырями губы. Пак То так же умело разводил огонь.

«Почему же я считаю Пак То ловким, а этого мальчишку-аборигена хитрым?» — мелькнула у Поля мысль. Но ему не хотелось задумываться над этим. И так во сне ночами его без конца терзали вопросы. Пусть хоть днем он будет свободен от этих вопросов, пусть его воспоминания о службе во Вьетнаме не отягощаются запоздалыми сомнениями и огорчениями. Если еще и днем его начнут одолевать эти раздумья, то жизнь превратится в еще более страшный ад, чем сейчас.

Кемми поднес спичку к бумаге и зажег ее. Несколько щепок, одна спичка. И так всегда. Поль положил бы целую кучу щепок и насовал бы много бумаги, а потом чиркал бы одну спичку за другой, сердясь и раздражаясь. Сознание подсказывало ему, что Пак То и малявке волей-неволей приходилось быть аккуратными, они не могли позволить себе небрежности и беспечности.

А вот Поль и Элмер, да и все другие, позволяли себе расточительность в такой мере, в какой им этого хотелось.

И снова он мыслями вернулся туда, словно повернулось вспять какое-то колесико, и он услышал голос Элмера:

— Этот сволочам-вьетконговцам достаточно одной пули, чтобы убить нашего солдата, а мы палим напрапалую в джунгли, тратим сотни патронов и не знаем, достали мы цель или нет.

Вскоре весело запылал костер и на сковороде затрещал жир. Поль к этому времени вычистил и выпотрошил рыбу,

разрезал ее на куски. Да, рыба попалась приличная, первая весила не менее четырех фунтов. Поль отложил ее для мисс почтмейстерши и стал собирать головы с явным намерением бросить их в огонь.

— Не надо,— попросил Кемми и, когда Поль с изумлением взглянул на него, тихо добавил:— Будет хороший суп.

Поль захохотал. В первый раз за долгое время он по настоящему смеялся.

— Кто тебя этому выучил, малявка?

Но Кемми лишь покачал головой и повторил:

— Хороший будет суп, босс, а вы не любите суп?

— Нет, такой не люблю.

— А мы с Наджи очень любим суп,— как-то неуверенно проговорил мальчик, облизнув языком губы.

— Что ж, вари. Но только не в моей кастрюлке.

Поль положил куски рыбы на шипящую сковородку. В воздухе вкусно запахло жареной рыбой. Видя, как белеют большие куски рыбы, как зарумянивается серебряная кожица, Кемми еле сдержал свой восторг. Наконец Поль положил на тарелку по два куска, а оставшиеся на сковородке закрыл крышкой.

— Подожди, горячо,— пригрозил Кемми пальцем собаке, когда она попыталась стянуть кусок с его тарелки,— получишь свою порцию, когда остынет.

Казалось, щенок его понял. Он уселся на задние лапы, стал терпеливо ждать. Поль намазал два больших куска хлеба маслом, потом отрезал еще один кусок и все отдал мальчику. Кемми взял кусок без масла, обмакнул его в жир на сковороде и бросил щенку, робко взглянув на своего босса. Потом взял кусок рыбы, очистил его от костей и тоже положил на камень перед собакой.

Поль наблюдал за мальчиком с чувством изумления и восхищения.

Кемми быстро расправился со своей порцией, работая больше пальцами, чем вилкой, потом вытер тарелку куском хлеба, вздохнул, блаженно потянулся и улегся на камне рядом со щенком, обнажив в улыбке свои большие белые зубы.

Облизав последнюю косточку, Поль, наконец, тоже лег, положив голову на подушку. Впервые за долгое время он вдруг почувствовал, как все тревоги покинули его и он засыпает спокойным глубоким сном. Маленький абориген и его неотлучный щенок спали рядом. Их не смогли разбудить даже чайки, с криком носившиеся над ними.

Бренда стояла на ступеньках, упиваясь ароматом фрезий. Как же, думала она, эти фрезии, такие нежные и чуткие, а вот на тебе, одни только и остались после пожара! И, видно, не потому, что их корни сидят глубоко в земле. Глубоко в земле и корни елей, что у изгороди позади дома, но ели погибли и теперь уже никогда не возродятся.

Перед ее мысленным взором снова возник тот страшный пожар. Темнеющий вдаль лес запылал, красный шар солнца заволокло дымом, пламя ревело в саду, пожирая деревья манго с гладкими желтыми плодами и деревья папая, которые, как хмельные, склонились над компостной кучей. Уже больше никогда золотистые плоды огромными гроздьями не будут свешиваться с их стволов. Погибли и банановые пальмы, на них почти круглый год красовались большие плотные пучки. Отец постоянно собирал и развешивал их на стропилах веранды, выходявшей на задний дворик. Погибли лимоны. Погибли апельсины, на их высохших ветках до сих пор еще видны белые чешуйки. Правда, апельсиновые деревья были не столь уж большой потерей, они уже отжили свой век и в любом случае скоро погибли бы, а вот лимонные деревья всегда радовали ее глаз своей лакированной кроной и острым сладковатым запахом цветов. Сгорела и джакаранда, когда-то рассыпавшая свои розовато-лиловые колокольчики по зеленому ковру. Единственное дерево, которое, казалось, еще проявляло какие-то признаки жизни, — дикая слива, росшая у окна кухни.

Бренда смотрела на эту сливу и поражалась изумительной силе, поднявшей к жизни половину дерева, — другая его половина погибла. Утешения это не приносило, но она все же решила попытаться спасти дерево, ведь за ним с такой любовью ухаживал ее отец.

Сад защищал ее жизнь от бесцеремонного вмешательства посторонних. С одной стороны — море и песчаный берег, с другой — озеро и лес, и она чувствует себя здесь в безопасности. Когда снова возродится сад, она обретет спокойствие души, отгородится от огней Дулинбы, от всего мира.

Бренда часто думала о необходимости возрождения сада, но это означало, что ей следовало прибегнуть к посторонней помощи, впустить кого-то в свою уединенную жизнь. Правда, временами она подумывала, а не позвать ли Майка Рогана, имевшего обыкновение, принеся молоко, задерживаться у ее дверей.

Он глазел на нее с глупым обожанием, как может глазеть парень на пороге возмужания. И она знала, он размыш-

лял при этом, а соответствует ли действительности все то, что он о ней слышал, и будет ли она сговорчивее на этот раз. Майк, конечно, исключался из числа возможных помощников. Потом появился этот малявка, он приносил молоко и доставлял на маслодельню письма и газеты. Но он не способен к работе в саду.

Хозяин малявки сильно отличался от других людей. Он настойчиво избегал постороннего взгляда. Ну и пусть. Ей абсолютно безразличен его облик, ей даже не обязательно видеться с ним. Она будет передавать распоряжения через мальчишку, а приходить на работу он может с заднего двора. Если этот незнакомец так болезненно воспринимает вмешательство в его уединенную жизнь, она не будет ему навязываться. Она сама уязвима. И неизвестно, что лучше: оказаться до отвращения изуродованным или жить опустошенной, лишенной всех человеческих чувств.

Она сняла с плиты сковородку, и запах жареной рыбы вызвал отвращение. Будет ли этот рыбак-отшельник, приславший ей больше рыбы, чем она могла съесть, таким же умелым садовником, подумала она. А впрочем, разве это так важно, понимает он что-либо в садоводстве или нет. Ему ведь нужно всего-навсего выкорчевать погибшие, не проявлявшие признаков жизни деревья и подготовить землю для новых посадок.

Деньги или продукты можно передавать через мальчонку, и видеться им нет никакой необходимости. Правда, малявка может перепутать ее распоряжения, хотя и выглядит смышленным малым, но и здесь есть выход. Она будет писать распоряжения, а еще лучше печатать их на машинке, чтобы даже почерк не привносил чего-то личного в их отношения.

Когда Кемми в следующий раз принес рыбу, она, как обычно, дала за нее кусок мяса, а потом вдруг сказала:

— Передай своему боссу, что мне уже надоела рыба.

Глаза Кемми округлились, губы дрогнули, он посмотрел на Бренду, прикусив губы, стараясь унять дрожь.

— Скажи ему, — продолжала Бренда, — что мы и дальше будем продолжать наш обмен, если он согласится поработать немного у меня в саду.

Лицо мальчика расплылось в улыбке.

— Ты запомнишь мои слова?

Кемми кивнул.

— Теперь повтори, что следует передать хозяину?

Кемми повторил, морща лоб от чрезмерных усилий точно вспомнить нужное слово.

— Хорошо. Но прежде узнай, захочет ли он взяться за эту работу, она будет довольно трудной. Придется корчевать сгоревшие деревья.

Бренда открыла холодильник и вытащила кусок мяса.

— Если твой босс согласится, может приступить к работе в любое время, понял?

Мальчик тряхнул головой.

— Я буду платить продуктами и деньгами, если он не захочет получать только продукты и сигареты. Ясно?

Он снова кивнул, взял мясо, которое она уже успела завернуть, и поблагодарил.

— Эй! Минутку!— позвала Бренда, когда Кемми с собакой были уже в дверях.

Он нехотя вернулся, опасаясь, как бы она не передумала.

— Обязательно скажи своему боссу, мне хотелось бы начать эту работу поскорее. Я каждый день буду письменно отдавать распоряжения. Он может приходить с заднего двора. Я не хочу, чтобы меня отрывали от работы.

Мальчик вопросительно взглянул на нее, видимо, не понимая смысла сказанного.

— Повтори,— приказала Бренда,— мне не хочется, чтобы он приходил на почту или в магазин, так как не люблю, когда меня отрывают от дела. Он может начать работу хоть завтра, если согласится, пусть сообщит мне об этом.

Мальчик повторил ее слова, а потом пустился бежать по берегу, будто на крыльях. Ему казалось, что у него выросли крылья. Он взбежал по дорожке к вершине Головы Дьявола и спустился по другой ее стороне к месту, где расположился его босс. От быстрого бега он долго не мог вымолвить слова, а лишь стоял с открытым ртом, глупо уставившись на Поля. Наконец, отдышавшись, постарался точно передать поручение мисс почтмейстерши.

Поля молча взял мясо, внимательно выслушал Кемми, но, казалось, никак не отреагировал на предложение. Потом как же молча бросил щенку рыбу. Наджи был единственным среди них, кому до сих пор еще не надоела рыба, хотя по его тоскующему взгляду на пакет было ясно, что и он предпочел бы кусок мяса.

Кемми ласково потрепал щенка.

— Ничего, Наджи. Я с тобой поделюсь.

— Дурак ты, малявка,— сказал, раздражаясь, босс.—

Ну, просто настоящий дурак. Ведь твой щенок только что наелся рыбы.

Кемми не стал обижаться, он знал, что босс рассердился не на него, а на мисс почтмейстершу.

— Так, значит, ей надоела моя рыба, теперь она хочет запряхь меня в работу?

— Она будет платить продуктами,— поспешил сказать Кемми,— и деньгами, если вы захотите.

— Она мне будет платить? Да неужели? Продуктами и деньгами? И ничем больше?

Кемми пожал плечами.

— Она больше ничего не говорила,— с волнением ответил он, видя, как все его надежды на лучшую жизнь рушатся.

— Ну, понятно. Они никогда этого не говорят,— сказал босс, положил кусок мяса на сковородку и сел, уставившись на огонь.— Беда с этими бабами, малявка, они никогда не говорят о цене.

Кемми в недоумении взглянул на хозяина.

— Но ведь она сказала о цене — еда и деньги, если вы все не заберете продуктами и сигаретами.

— Правильно, она действительно так сказала.— Поль засмеялся своим пугающим смехом.— Что ж, прекрасно, малявка. Когда подкрепишься, можешь передать ей, я приду туда завтра утром. Но только на полдня.— Он яростно стал ворошить палкой в костре.— Еда и деньги, если мы не возьмем все продуктами! И плата такая же, как любому другому. И еще одно — раз уж она не хочет меня видеть, то и я не горю особым желанием видеться с ней. Дай ей это понять.

— Хорошо,— кивнул Кемми,— я все передам.

Он снова понесся, словно на крыльях, думая о том, как лучше сказать мисс почтмейстерше, что его босс завтра утром придет расчищать сад. Он боялся опоздать с ответом босса, боялся, что она передумает. А если случится так, то босс не сумеет прокормить ни себя, ни их? И тогда он уедет отсюда? А что станет с ним и Наджи, если он уедет?

Мальчик перепрыгивал через колючие кочки сухой травы, чувствуя, как ноги высоко вздымают его в небо, словно олимпийского чемпиона, которого он видел по телевизору. Странно, но тот чемпион был черным, даже чернее отца, хотя отец и говорил, что черным не следует прыгать слишком высоко. Но может быть, в мире все-таки есть место, где черный мальчик мог бы прыгать так высоко, как ему хочется.

Бренда оторвалась от регистрационного журнала и взглянула на взбежавшего по ступенькам мальчика.

— Он придет, мисс,— крикнул Кемми, не дожидаясь ее вопроса.

Брови Бренды поднялись.

— Когда?

— Завтра.

— Хорошо. Инструменты будут сложены в конце дорожки.— Она снова было принялась за журнал, но вдруг повернулась к мальчику, который уже собрался уходить.— А сколько он хочет за свою работу?

— О, простите, мисс, я чуть не забыл.— Кемми сморщил лоб, вспоминая.— Босс хочет столько же, сколько вы заплатили бы любому другому. И если он возьмет продуктами не все, то остальное хочет получить деньгами.

— Хорошо. Я позвоню в Дулинбу, узнаю, сколько платят в день за такую работу.

— Не день, а половину дня.

— Ладно, половину дня.

Кемми уже спускался по лестнице, когда она снова его окликнула:

— Своим временем он может сам распоряжаться, для меня это значения не имеет. Наверное, и для него тоже, раз уж он так долго ничего не делает.— Она посмотрела на сосредоточенное лицо мальчика, старавшегося запомнить все сказанное.— А теперь беги и ничего не забудь.

Одним прыжком он перескочил через все ступеньки лестницы и ринулся бежать по жесткой траве.

Поль выслушал его и засмеялся резким, глухим смехом, как, бывало, смеялись отец и Грампи.

— Да, малявка, твоя мисс почтмейстерша не очень-то сговорчива.— Он достал сигарету.— Но мы еще посмотрим, кто из нас несговорчивее. Раз уж она заинтересована в нашей работе, значит, мы будем иметь и еду и деньги на сигареты.

Кемми недоуменно смотрел на босса, всеми силами стараясь вникнуть в смысл его слов, и вдруг ему показалось, будто он увидел того самого чертенка, которого, по словам мамы, она замечала в глазах отца, когда тот вот так же смеялся.

— А если нам все это надоест, малявка, то просто в один прекрасный день мы пошлем ее к черту вместе с ее работой.

Кемми почувствовал удовлетворение оттого, что босс говорил все время «мы». Значит, он имел в виду и его.

— Я думаю, будет все в порядке, босс,— сказал он.—

Вам не хочется ее видеть, ей тоже. Я буду вашим посыльным, пока мы с Наджи еще здесь.

Хозяин засмеялся, на этот раз совсем по-иному.

— Ты не такой уж глупый, малявка, как мне показалось.

Кемми улыбнулся, это уже было похоже на похвалу.

В тот вечер Бренда отпечатала на машинке распоряжение.

В любом случае она должна точно перечислить все, что нужно и чего не нужно делать, и для своего спокойствия подчеркнет, чтобы он не трогал сливу ее отца.

Ей вдруг представился иронией судьбы тот факт, что она просила какого-то несчастного, подобного ей самой, человека, отгородившего себя от жизни, возродить здесь былую красоту. Для себя и в память об отце, который был бесконечно дорог ей, хотя она по-настоящему и не понимала его.

Что может быть лучшим памятником, чем сад?

Она оставила записку, прикрепив ее к вилам.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

На следующее утро, надвинув почти на глаза шляпу, Поль с трудом перебрался через вершину Головы Дьявола и остановился взглянуть на длинный изгиб береговой линии, обрамленной оливково-серым кустарником.

— А что там за горами, малявка?— спросил он, впервые почувствовав интерес к этим местам.

Кемми пожал плечами.

— Не знаю, босс,— ответил он, потрепав собаку за ухо.

Кемми боролся с искушением сказать, что здесь он совсем чужой и ничего не знает.

— Ну и крепкий же ты орешек, малявка,— не выдержал Поль.— А ты вообще-то хоть что-нибудь знаешь?

Кемми насупился.

— Ладно уж. Давай поспешим. Смотри, она уже открыла почту.

Они прошли в сад через обгоревшую калитку заднего двора. Поль остановился, ошеломленный. Потом молча прочитал прикрепленную к вилам записку, посмотрел на инструменты и на сгоревший сад.

«Да эта женщина просто сошла с ума,— подумал он.— Неужели она полагает, что здесь что-то вырастет?»

Хадди некогда говорил во Вьетнаме: «Ничего больше никогда не вырастет на этой выжженной, голой земле».

Поль обошел весь сад, остановился и осмотрел сливу, которую хозяйка не разрешила рубить. Поль недоуменно пожал плечами.

Он положил записку в карман с чувством обиды. Приказы всегда вызывали в нем протест.

У него вдруг появилось желание отказаться от этой работы, совсем не начинать ее. Но ведь тогда им всем нечего будет есть.

— Что ж, малявка, давай приступать к делу,— сказал Поль решительно.

Он поднял топор и с силой ударил по обуглившейся ели. От первого же удара остро запахло смолой.

* * *

Странно, что удары топора могут такой болью отзываться в сердце, думала Бренда. Они всякий раз ассоциировались с воспоминаниями об отце. Вот она чинно усаживается на сложенные поленья и зачарованно смотрит, как ловко орудует отец топором, или принимается помогать ему собирать щепки, когда он кончает свою работу.

Колка дров — это запах свежих щепок, пылающая печь на кухне, пение черного железного чайника, жаренное на углях мясо, подрумяненные хлебцы и ласковое мурлыканье любимца всей семьи кота Тимми.

Даже представить себе трудно, сколько воспоминаний способен вызывать удар топора, рассекающий дерево. Прошлое безжалостно возвращалось к ней, бередило душу. Раньше дома почти всегда пылал в камине огонь, мать часто мерзла. Даже когда уже можно было открывать окна и Бренда с отцом садились за обеденный стол подальше от камина, кресло матери придвигали к самому огню, в угол, подальше от сквозняка, и она вязала там, быстро перебирая спицы маленькими розовыми пальцами.

Глухие удары топора, казалось, заглушали все звуки на кухне. И даже когда она закрыла окно, они продолжали бить ей по нервам. Безжалостные звуки прекратились лишь после того, как она окликнула мальчишку и дала ему чайник с чаем и фруктовый пирог. Пусть садовник немного отдохнет.

Плечи Поля ныли от ритмичных взмахов топором, не успел он справиться и с одним деревом, а на ладонях уже появились мозоли. Пот катил с него градом и жег, как соленая морская вода, нежную, тонкую кожу. Ему пришлось на

время прекратить работу, когда он почувствовал гул в ушах. У него закружилась голова. Он облокотился на ствол дерева.

Малявка принес чай, и Поль начал большими глотками, обжигаясь, пить, потом дрожащими руками закурил сигарету. Дымка, застилавшая глаза, рассеялась, шум в ушах прекратился.

— Возьми еще чаю, малявка,— крикнула Бренда.

«Эта женщина очень жестокая»,— как-то сказал своему боссу Кемми.

Но сейчас ее голос не показался Полю бесчувственным или суровым. А может быть, Поль и не понял ничего в ее интонации, ведь уже сколько месяцев его слуха не касался женский голос. Сейчас голос Бренды показался ему мелодичным, словно пение невидимой птицы.

«Эх, и раскис же ты, старина»,— сказал себе Поль, наливая вторую чашку.

По крайней мере чашки, которые она им дала, были целыми, а его мать предпочитала поить садовника чаем из полуразбитых чашек.

Полю не хотелось вспоминать о прошлом, оно было не радостным, и теперь, через много лет, казалось еще менее приятным. Поль решил попробовать пирог, малявка бережно развернул чистый пергамент.

Вот и пирог завернула, подумал Поль, и обращается с ними по-человечески. И что из того, что она чрезмерно сурова, необщительна и требует за свои деньги честной работы?

Когда он снова взялся за топор, ладони нестерпимо болели. В плечах хрустело, едва он пытался распрямиться. Он так и не понял, то ли это трещали кости, то ли пережатая на плечах кожа сопротивлялась непривычному растяжению.

Но Поль продолжал упорно работать топором, хотя сердце трепетало в груди. Когда же, наконец, дерево было срублено, Поль испытал мимолетную радость победы. Но вот гудок парома в Дулинбе возвестил наступление полудня. Поль отложил в сторону топор и со вздохом облегчения распрямил затекшую спину. Сейчас он хотел лишь одного: поскорее вернуться к месту своего пристанища и растянуться на траве. Его даже не интересовал пакет с едой, вложенный в мешок из-под сахара, который малявка взвалил себе на плечо.

Услышав гудок парома, Бренда окликнула Кемми и дала ему сверток с продуктами: хлеб, масло, мясо, сыр, сигареты, а сверху приколола перечень их и цену.

— Скажи своему боссу, чтобы в конце недели он сам подсчитал количество проработанных часов. Я узнаю в Дулинбе, сколько ему полагается за эту работу. Нужно сразу же избежать ненужных недоразумений.

Мальчик кивнул и молча взял сверток, не обратив никакого внимания на иронические нотки в голосе мисс почтмейстерши.

Закрывая почту на перерыв, она видела, как мужчина, мальчишка-абориген и собака поднимались в гору к вершине Головы Дьявола. Собака бежала впереди, а мальчишка следом за ней, стараясь не отставать. На мужчине были измятые шорты, открывавшие длинные загорелые ноги, рубаха и шляпа цвета хаки. Достигнув вершины, они на секунду остановились, мальчик оглянулся, а мужчина посмотрел куда-то в сторону, он всегда смотрел в сторону.

Ей захотелось узнать, как сильно он изуродован. Как это произошло? Сердась на себя за свое любопытство, она захлопнула дверь. Нет, ей ничего не нужно знать, ей все безразлично. Зачем вовлекать себя в чужие несчастья? Это ей вовсе ни к чему.

Поль устало растянулся на земле в тени под брезентом, подстелив водонепроницаемую простыню, приятно охлаждавшую ноги и тело и скрадывавшую неровности земли у него под плечами и руками.

Он закрыл глаза. Яркий свет причинял резкую боль даже сквозь темные очки. Ему вдруг стало мучительно горько, и эта горечь, словно яд, разлилась по крови.

И вдруг где-то совсем рядом услышал голос малявки:

— Проснитесь, босс, я приготовил вам обед.

Поль поднялся, снял очки, потер глаза, все еще чувствовавшие резкую боль, и сел, застонав от боли в плечах.

— Ну тебя, малявка, ведь я же заснул.

— Нехорошо спать на голодный желудок, — улыбаясь, ответил мальчик. — Сначала надо поесть.

И он поставил рядом с ним тарелку. У Поля дух захватило при виде обилия пищи: ветчина, помидоры и огурцы, вареная в мундире картошка и хлеб, слегка смазанный маслом.

Он снова удивился, как уже удивлялся не раз, наблюдая за поведением ребенка. Поля поражала его аккуратность во всем. Где же мог научиться всему этому мальчишка-абориген?

Несмотря на недомогание, Поль чувствовал сильный голод. Он с наслаждением опустошил тарелку. Казалось, даже

тело стало болеть меньше. Нет, они все же честно заработали свой хлеб. Как странно, подумал с иронией и радостью Поль, он, самый одинокий из всех живущих на земле, постоянно говорит «наш», «мы», вместо «я» или «мое», будто этот заброшенный мальчишка-абориген и дворняжка стали частью его собственной жизни.

Поль съел яблоки, по-видимому, слишком долго пролежавшие в холодном хранилище, но даже не заметил, насколько они безвкусны, выпил приготовленный мальчишкой чай, наблюдая, как этот ребенок умело его наливал, наклонив чайник в сторону, чтобы не попали чаинки.

Даже щенок почувствовал себя счастливым, насытившись своей долей.

Сколько же времени понадобится этой женщине, чтобы понять, что он вовсе никакой не садовник? Кто из них первым признает это? Она — дав ему расчет, — или он сам, отказавшись от работы? Поль пожал плечами, и лицо его исказилось от боли. Но ведь у него есть по крайней мере еще два выхода из положения: связаться с военным ведомством и вытребовать положенную ему пенсию или обратиться за подачкой к отцу. Отец, конечно, с радостью предоставит ее, лишь бы держать сына подальше от себя. Но если от работы он чувствовал лишь физическую боль, то оба эти варианта вызывали в нем душевные страдания.

Он съел пирожки и выпил чай с тем наслаждением, какое пища может доставить человеку, уже испытавшему голод, потом с удовольствием выкурил сигарету и сладко заснул еще до того, как малявка закончил мытье посуды.

К вечеру, когда солнце стало отбрасывать багровые тени от гор на песчаный берег, Поль вошел в воду и поплыл далеко-далеко, туда, где уже не было волн. Вернувшись к берегу, он нашел малявку и щенка игравшими на отмели. Мальчик не выносил холодной воды, и одного упоминания Поля о необходимости окунуться было достаточно, чтобы заставить его бежать к берегу. Кемми получал удовольствие от купания в море лишь в полдень, когда солнце стояло высоко в небе, обогревая весь берег. Но даже тогда он оставался в воде совсем недолго и, выскокив из нее, еле-еле выговаривал посиневшими губами: «Холодно, босс, очень холодно».

Иногда Поль относил это к врожденной неприязни аборигенов к воде, — об этом он так много слышал. Иногда считал эту водобоязнь индивидуальной особенностью организма. Но как бы там ни было, присутствие этого мальчика

и даже его щенка одухотворяло эту гнетущую пустоту неба и берега, а они, очевидно, так же, как и он, были здесь такими же изгоями.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Во сне боль в теле переплеталась с душевными мучениями, Поль пребывал в забвении, вне времени и пространства.

В тисках ночного кошмара он молотил руками, отбиваясь от нависшей над ним угрозы, и попадал во что-то жесткое и мягкое одновременно.

— Пак То! — закричал Поль и открыл глаза.

В ту же секунду увидел, как малявка приложил руку к своей щеке, это он его ударил.

Страх постепенно отступал, оставляя лишь ощущение ненависти к самому себе. Лицо мальчика скрылось, но по тени Поль понял, что он все еще стоит возле его машины. Щенок залаял, и Поль окончательно проснулся. Солнце стояло высоко в небе.

— Который час?

— Почта и магазин уже открылись, — ответил мальчик кивнув в сторону дома за Головой Дьявола.

— Боже милосердный, ведь я же проспал, опоздал.

— Мы все опоздали, босс, — ответил Кемми, — но я уже развел костер, вскипятил воду, приготовил чай.

Поль сел. Тело пронзила острая боль.

Кемми сидел на корточках у костра и смотрел на него глазами, полными сострадания и страха.

Завтрак уже был готов — сосиски, бекон, намазанный маслом хлеб и чай.

Принимая из рук мальчишки тарелку, Поль взглянул ему в лицо и, к своему стыду, увидел покрасневшую отметину на его щеке.

— Извини меня, малявка, — сказал он, отводя от него свой взгляд.

Кемми, как всегда, широко улыбнулся.

— Ничего, босс, я ведь знаю, вы это не нарочно сделали.

— Конечно же, не нарочно. Просто, черт возьми, мне приснился дурной сон.

— Я знаю, босс. Мой дедушка, когда выпивал много вина, тоже видел такие сны.

Поль натянуто улыбнулся и принялся жадно пить горячий чай.

В тот день он обрушился на деревья с яростью, стараясь заглушить злобу против своих же мускулов, которые, казалось, с каждым взмахом топора скрипели, словно у старца. Он наблюдал за тем, как топор глубоко вгрызался в темную кору мандариновых деревьев, крошил щепки от кремовых неподдающихся стволов.

Стиснув зубы, он снова и снова ожесточенно поднимал и опускал топор. Вдруг топор глубоко погрузился в мягкий ствол, словно в вату. Поль отрубил кусок, понюхал и отбросил в сторону с отвращением.

Кемми поднял щепку, надкусил ее зубами.

— Пау-пау,— сказал он нежно, и в глазах у него появилась рассеянность.

Этот запах нельзя спутать ни с чем.

Поль с удивлением посмотрел на ребенка.

— Пау-пау?

— Да, это пау-пау,— подтвердил Кемми.

Поль пожал плечами.

Следующее дерево оказалось обманчивым. На вид оно было гладким и ровным, но никак не поддавалось топору. Поль распрямил затекшие плечи, размахнулся и со всей силой ударил по стволу, но топор лишь скользнул по дереву. Даже мертвое, оно не желало сдаваться. Поль отбросил топор и выругался.

Кемми вскинул на него глаза.

— Манго всегда такие твердые. Лучше спилить его.

Поль еле сдерживал себя.

— А где, сто чертей, взять эту пилу?

— У мисс есть пила.

— Где?

— В доме.

— Сходи попроси.

Кемми перебрался через проволочную сетку, свисавшую у обгоревших столбов, и побежал вокруг сада к почте. Щенок, как всегда, ринулся за ним. Здравый смысл подсказал Кемми, что сейчас не время стучаться с задней двери или мешать какому-нибудь покупателю, зашедшему к мисс почтмейстерше. Осторожно подойдя к двери, он увидел, что на почте никого не было. Хозяйка, как обычно, склонилась над почтовыми реестрами. Мальчик на цыпочках вошел, щенок прошмыгнул следом, высоко поднимая лапы, будто тоже старался не шуметь.

Заслышав шорох, Бренда подняла голову, брови ее от удивления поползли вверх.

— Ну, что там еще?

- Пожалуйста, мисс, босс просит пилу.
- А откуда тебе известно, что у меня есть пила?
- Я видел ее на крыльце у задней двери.
- Ладно, пойди и возьми.

В следующую секунду Кемми как порывом ветра сдуло. Вдогонку ему пронеслось:

— А вообще ничего не трогай без разрешения, глазастый.

Кемми остановился. По его растерянному виду она поняла, он ничего не расслышал или, вернее, не уловил смысла ее слов.

— Пожалуйста... что вы сказали, мисс?

— Ладно уж, ничего,— сказала она, устыдившись своего неожиданного раздражения, и заставила себя улыбнуться.

Под утро Поль почувствовал во сне, как раскаленный напалм прожигает ему спину и руки. Он проснулся от собственного крика и увидел склонившееся над ним лицо мальчика. Тот смотрел на него не отрываясь, стоя чуть поодаль, опасаясь, как бы его снова не достали тяжелые кулаки хозяина.

Еще с вечера Поль наложил мазь и залепил пластырем волдыри на ладонях, поблагодарив мысленно провидение за то, что оно чудом сохранило у него в машине аптечку. В ту ночь, приняв снотворное, он спал все же плохо, жгучая боль в руках постоянно возвращала его к воспоминаниям, о которых ему хотелось забыть. Неделя прошла в страданиях от мучительной боли во всем теле.

Каждое утро начиналось теперь для Брендды со скрипа покоровившейся от ветра, солнца и дождя калитки, со стука топора или с глухих ударов мотыги по твердой, словно цемент, земле. Эти звуки преследовали ее всю первую половину дня, как неперемный аккомпанемент, и продолжались до того момента, пока она не звала малявку к задней двери крыльца и не вручала ему чайник с чаем, кекс или какое-нибудь печенье. В полдень она обычно звала мальчика снова.

В конце недели Бренда через мальчика передала Полю записку, он скорчил злую гримасу, едва пробежав ее глазами. «По мнению паромщика Джека, мне следует заплатить вам три доллара и пятьдесят центов за проработанные вами дни. Если завтра утром вы пришлете мальчишку с запис-

кой, в которой укажете ваши требования, я постараюсь расплатиться с вами продуктами и деньгами».

Поль зловеще захохотал. Эти отпечатанные на машинке цифры вставали перед ним как приговор его собственной неполноценности. Три с половиной доллара за работу, которая разрывала ему спину, вывернула всего наизнанку. Ничего себе докатился. До службы в армии, изменившей всю его жизнь, он зарабатывал до семидесяти фунтов в неделю от продажи земельных участков, да еще получал коммиссионные каждый раз, когда успешно сбывал с рук плохие, неходовые участки. А теперь? Теперь он не только оказался выброшенным из жизни, но и цена ему в двадцать раз меньше. Весьма отрезвляющая характеристика.

Субботу и воскресенье он провел в праздном безделье: валялся на песке, ел, плавал в море и спал.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Постепенно жизнь приобретала рутинный порядок. Каждое утро мальчишка стучался в дверь и приносил молоко. Иногда Бренда задумывалась, действительно ли мальчишку назвали таким странным именем — Малявка, было ли это его настоящее имя, которое дали ему родители после долгих раздумий, или оно пристало к нему как кличка по милости какого-нибудь белого, старавшегося подчеркнуть свое превращение к нему.

Через окно кухни Бренда видела, как мальчик шел по дороге с бидоном молока в одной руке и свертком продуктов в другой. Он вышагивал осторожной поступью, а щенок неотлучно следовал за ним.

Мальчик исчез из виду, скрывшись за Головой Дьявола, и Бренда вернулась в кухню, стала готовить себе завтрак, слушая последние известия из Ньюкасла. Раньше позывные этой радиостанции пробуждали в ней тягостные воспоминания, теперь — предчувствия. Ее сад быстро преобразался.

Она пыталась представить себе, как работают мужчина и мальчик. Мальчик был слишком худым и маленьким, со странной улыбкой и устремленными на нее глазами, в которых она всегда замечала нечто большее, чем страх, а рядом с ним, как тень, щенок, чем-то повторявший беспокойство своего хозяина.

Мужчину она даже мысленно не могла себе предста-

вить. Он оставался для нее загадкой, безумцем, рискнувшим покататься на доске у бомборы.

Когда теперь, высокий и слегка ссутулившийся, он медленно возвращался в полдень с работы по берегу моря к мысу, она видела, как сильно вымотала его работа. Его старая шляпа была всегда надвинута глубоко на лоб, словно ею он, как и она, хотел отгородиться от всего мира. Не было ли в жизни его чего-то иного, кроме шрамов на лице и теле, что вынудило его выбрать это уединенное место у Головы Дьявола?

Что они делали, когда скрывались за мысом, она не знала, да, собственно и не пыталась узнать, ведь ее контакт и общение с ними прекращались сразу же, едва наступали сумерки и малявка стучал в заднюю дверь, передавая ей охапку валежника. Он приносил ей дрова каждый вечер. Она отдавала ему зачерствевший хлеб, печенье или перезревшие фрукты, и оба они, мальчик и щенок, исчезали в сгущавшейся темноте.

Вечерами, когда почта и магазин были закрыты, а сейф заперт на ключ, она выходила в сад и подолгу смотрела, что было сделано за те часы, когда воздух сотрясали удары топора.

Однажды, когда в саду остались лишь пни от срубленных деревьев, она нашла на одном из них приколотую записку:

«Если вы хотите использовать эти пни на топливо, напишите, я наколю дров».

Вид этих небрежно нацарапанных строчек потряс ее, ей показалось, будто с ней говорит привидение. Она вытащила из кармана карандаш и чуть пониже приписала:

«Большое спасибо. Эти пни на дрова непригодны».

Иногда по ночам, чтобы как-то скоротать одиночество, в последнее время становившееся особенно невыносимым, она вдруг снова шла в кухню и начинала лихорадочно готовить, жарить лепешки, печь кексы. Плоды ее кулинарных безумств с аппетитом уничтожали мужчина, мальчик и собака.

Однажды, когда солнце бросало на море свои последние шафрановые лучи, она вдруг с удивлением заметила, что в саду не осталось больше следов пожара, и только пни еще указывали на те места, где некогда росли деревья. Наступило время для рождения нового. Без деревьев земля уныла и беззащитна.

Постепенно, но намного быстрее, чем Бренда могла предположить, сад преобразался. Только дикая слива ос-

талась у окна кухни на прежнем месте, протянув не тронутую пожаром ветку.

Поль читал записку, которую Кемми принес ему вместе с молоком рано утром. Как и все предыдущие, она была напечатана на машинке без обращения.

«Прошу с понедельника начать посадку изгороди, пока не налетел песок и все не испортил. Пни будет выкорчевывать Джек».

Поль пожал плечами. Он не имел ни малейшего представления о том, как сажают живую изгородь, но малявка спросит об этом у того же Джека или какого-нибудь Алека, а уж они знают все на свете.

Всю субботу и воскресенье Поль слышал доносившийся до него грохот машины — это паромщик Джек корчевал пни.

Проснувшись утром в понедельник, еще до того как малявка пришел с молоком, Поль вдруг почувствовал, что встречает новый день без отвращения, какое испытывал весь предыдущий месяц. Позавтракав, он сказал малявке:

— Сегодня нам нужно накопать кустов для живой изгороди. Поэтому отнеси сейчас эту записку на почту и спроси мисс, нет ли у нее какого инструмента для этой работы.

Кемми и щенок с привычной быстротой направились напрямик через Голову Дьявола. Вскоре мальчик вернулся с инструментом, и все они пошли к зарослям кустарника на краю дюн.

Когда с почты донесся голос Бренды, Поль даже вздрогнул, не поверив, что они проработали уже три часа. Малявка и собака бросились бежать на этот зов женщины, стоявшей на крыльце почты.

Впервые в этот день Поль почувствовал всю прелесть весеннего утра. Небо, море и женщина соединились в одну симфонию голубых тонов. Поль был слишком далеко от нее и не мог рассмотреть ее лица, но заметил, что она была высокой и стройной, с темной пышной прической. Совсем не похожа на озлобленную старую деву, какой он представлял ее себе.

От благоухания цветов, жужжания пчел и легкого ветерка, донесшегося с моря, Поль почувствовал наслаждение, которого уже давно не испытывал.

Взбираясь к Голове Дьявола, Поль впервые за все время работы понял, что работается ему легко и приятно...

День за днем Бренда наблюдала, как хорошеет ее сад.

Уж год, как в лесу не было птиц. Теперь, с наступлением весны, они вернулись в родные места, и откуда-то со стороны озера до нее доносился смех кукабуры, приветствовавшей наступающий день, и размеренное щелканье совы, приветствовавшей наступление ночи.

Чудо! Бренда снова и снова повторяла это слово, хотя никогда не верила в чудеса.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Весна пришла вместе с порывистыми северными ветрами. Ожившие штормы яростно обрушились на сушу. Небо то и дело заволакивали грозные грозовые тучи. По радио объявили, что циклон частично угрожает и центральному побережью страны.

В первую ночь Бренда долго не могла заснуть, она лежала и слушала, как дождь грохотал по крыше, сбегал по водосточным трубам и выстукивал какую-то нескончаемую мелодию, возвращавшую ее к воспоминаниям детства.

Здесь, как и в Дулинбе, крыша их старого дома была из рифленого железа, и дождь, низвергаясь на нее, барабанил ритмы, по которым можно было точно определить, усиливалась или утихала буря. Порывы ветра резко и яростно хлестали в окна и двери.

Для Бренды этот шторм был словно целебный бальзам, утоливший боль тяжелых воспоминаний детства, теперь казавшегося таким милым, согревающим душу. Мысли ее блуждали далеко в радужной дымке минувших лет, уносили ее к тем годам детства, когда еще и мать была здоровой, и отец всеми своими помыслами был с ней, с Брендой, и любовь родителей, как сияющая опора и оплот семьи, защищала ее от невзгод. Бренде сейчас было безразлично, давно ли начался этот дождь и скоро ли пройдет, явится ли кто-нибудь из покупателей завтра к ней в магазин и на почту. Она жила в беспечном мире своего детства.

Поль выругался, когда увидел над морем первые темные тучи, нестройными косматыми нагромождениями устремившиеся в сторону гор. По радио передали о бушевавшем на всем побережье циклоне. Он снова выругался. Образ его жизни никоим образом не соответствовал этой погоде. Ветер нес тучи с моря, заливая Голову Дьявола потоками дождя, будто между морем и небом наступила жестокая вражда. Единственным пристанищем для Поля

оставалась его машина, потому что под навес из брезента, служивший ему укрытием в дневное время, шквалистые порывы ветра нагнали воду, промочив все насквозь.

Грязно-серые тяжелые тучи спустились до самого моря. Слышалось лишь завывание ветра да нескончаемый дождь. Дождь непрерывно стучал по металлу, барабанил по брезенту, с грохотом ручьями скатывался вниз, а над всей этой какофонией звуков стоял оглушающий грохот и рев разбивавшихся о берег волн.

Такие же дожди бывали и там в сезон муссонов. На мгновение Поль почувствовал, будто дождь забарабанил по стальной каске, которую дал ему когда-то Элмер. Ему почудилось, будто сапоги его снова увязли в жидкой непролазной грязи. Сделав над собой усилие, он постарался с проклятиями отогнать от себя эти мысли.

Всю ночь дождь лил не переставая. Шум от стекавшей по стене пещеры воды сливался с гулом ветра. Кемми казалось, будто это был тот же циклон, который обрушился на резервацию, когда он жил там вместе с Грампи. Тогда разбушевавшаяся стихия сорвала крышу с их хижины. Раздетые, под потоками дождя, больно стегавшими их тела, все они оказались во власти этой стихии. Кемми вцепился в огромную руку деда, но ему казалось, будто другая, более сильная, рука подталкивает их сзади. Спотыкаясь, добрались они до какой-то ложины, скрытой уступом скалы, и укрылись там среди других черных тел, тоже изгнанных сюда циклоном. А где-то совсем рядом ревел ветер, слышно было, как он рвал на части хижину.

Утром, когда Кемми проснулся в своей пещере, дождь еще продолжал лить с прежней силой. Птицы молчали. Мальчик лежал и смотрел на пропитанные влагой кусты, рядом с ним приютился щенок, положив голову на лапы. Муравьи соорудили из земли заслоны у входов в свои жилища — верный признак того, что ливни затянутся. Ну что ж, подумал Кемми, ливень не ливень, а нужно вставать и идти за молоком для босса.

Бренда все еще находилась во власти своего сна. И когда в ответ на робкий стук открыла дверь, увидела мальчишку-аборигена.

— Боже мой! Какие же вы оба мокрые!

Одежда мальчика прилипла к телу, черные волосы слиплись, будто на лоб и голову ему надели резиновую шапку,

со щенка потоком стекала вода. Под ногами Кемми разрасталась лужа.

— Твой хозяин наверняка не будет работать под таким дождем. Я передам ему продукты. Ты тоже больше не приходи сегодня ко мне.

Она завернула буханку хлеба в непромокаемую бумагу, засунула его в целлофановый мешок, положила туда же сосиски и масло.

Она так быстро закрыла за ним дверь, что даже не услышала слов благодарности. Выглянув в окно, она увидела, как мальчик и щенок удалялись, с них потоком стекала вода. Они прошли через мокрый песчаный берег и направились вверх к Голове Дьявола. Плечи мальчика согнулись под тяжестью бидона. У родителей этого ребенка полностью отсутствовало чувство ответственности за своего сына, раз уж они выпроводили его из дома в такую погоду без плаща.

Поль вздрогнул.

— Разве я не говорил тебе, паршивец ты этакий, чтобы ты еще издала окликал меня? Я не люблю, когда ты, словно вор, подкрадываешься к машине! — закричал Поль.

Он сел, открыл дверцу. Кемми положил на переднее сиденье сверток, обернутый в целлофан.

— Доброе утро, босс, — сказал он хрипло.

— О, черт, не суй ты в машину эту намокшую дрянь. Или вытащи хоть из мешка. Намочишь мне все кругом, а тут и без того сыро.

Мальчик мгновенно повиновался, вынул продукты из мешка и положил их на сиденье.

— Чего ты приплелся в такой дождь?

— Принес молоко и хлеб, босс, — чуть слышно ответил Кемми.

— У меня еще со вчерашнего дня всего полно. И ты это знаешь. Сегодня я не смогу работать. И незачем тебе со своим щенком крутиться здесь, понял?

Кемми ничего не сказал, он лишь обвел языком вокруг рта, чтобы собрать капли дождя, стекавшие по лицу.

— А твой отец или мать — кто у вас там за главного? — должно быть, совсем спятили, если пустили тебя в такой день?

Кемми опустил глаза.

Поль посмотрел сначала на мальчика, ногой рисовавшего что-то неразборчивое на мокром песке, потом на щенка,

усевшегося рядом на задние лапы. При каждом движении его хвоста оставался неясный узор, он завилал хвостом, когда Поль стал вытаскивать из пакета еду. Так вот, оказывается, в чем дело? Они пришли поесть.

Поль зажег сигарету и, затянувшись, стал наблюдать, как мальчишка принялся уверенно сооружать временный очаг из камней на самом сухом месте под брезентовым навесом.

Если этот проклятый дождь зарядит надолго, подумал с раздражением Поль, то черта с два он сможет заработать себе на еду, не говоря уже о мальчишке и его собаке.

— Малявка!— позвал он.

Лицо мальчика появилось у ветрового стекла, рот полуоткрыт, брови высоко подняты от неясного предчувствия чего-то недоброго. Поль взглянул на мальчишку, чувствуя, как закипает злость за его чуткую впечатлительность, слишком сходную с его собственной, и испытывая отвращение к этим испуганным глазам, отражавшим, как в зеркале, его собственные тревоги и волнения.

— А теперь, когда ты закончил все дела, малявка, когда ты и твоя собака наелись, пора отправляться домой. Переоденься во что-нибудь сухое и посиди дома до завтрашнего утра. Смотри, тебя словно окунули в море. Скажи матери, чтобы она дала тебе какой-нибудь плащ, когда завтра пойдешь за молоком и продуктами. Да попроси у той женщины сигареты. Если придется просидеть здесь еще целый день, мне нечего будет курить. Не забудешь?

Губы мальчика дрогнули.

— Нет, босс. Я не забуду.

Он все стоял, будто ожидая еще каких-то приказаний. Щенок прижался к его ногам, с неохотой отойдя от еще красных углей, источавших тепло.

— А теперь убирайтесь,— резко сказал Поль.

— Хорошо, босс. Мы уходим. Пока до свиданья.

— Не пока, упрямец ты этакий,— крикнул Поль вдогонку.— А на весь сегодняшний день.

— И на сегодняшний вечер,— сказал Кемми щенку, когда они вышли на дорогу к Голове Дьявола.

Поль снова лег в машине и стал смотреть, как дым от сигареты кольцами поднимается вверх и медленно уплывает в окно.

Он взглянул на часы. Десять утра. Впереди еще целый день. Только вечером сможет он закутаться в спальный мешок, принять снотворное и забыться.

Полю стало невмоготу это праздное безделье, он больше не мог просто лежать, выкуривая одну сигарету за другой. Его вновь окрепшие мышцы требовали деятельности, кожа нуждалась в холодной воде, но море бушевало, громады волн угрожающе опрокидывались на берег.

Поль подумал, что такие волны он принял бы с восторгом, когда впервые приехал сюда, а теперь... теперь он не хотел рисковать. «А что ж тут, собственно, рискованного? — иронически усмехнулся Поль. — Разве у тебя, изуродованного болвана, осталось что-то, чем можно рисковать?»

Время тянулось медленно. Поль выпил холодное молоко, а когда снова проголодался, открыл банку сардин. Потом лег, слушая в полудремоте, как хлещет по брезенту дождь, как бурлит переполнившийся ручей, сбегая к морю.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

На следующее утро, едва ненадолго остановился дождь, Кемми и щенок, подгоняемые голодом, выбрались из пещеры. Со вчерашнего дня, с самого утра, они ничего не ели. Пока они лежали ночью в пещере, закрывшись сырым мешком, шерсть у щенка просохла, но свитер и шорты Кемми по-прежнему были холодными и влажными.

Мальчик и щенок прошли через намокший кустарник. С веток сыпались капли воды.

Кемми чувствовал, как весь продрог.

Кемми перелез через забор и зашагал к маслодельне. Он остановился в дверях веранды и увидел профиль хозяйки.

Хозяйка кивнула мальчику. Он сделал несколько шагов и остановился, боясь, что его грязные ноги испачкают кафельный пол, а стекавшая с одежды вода оставит лужицы. Женщина подошла к нему, ее румяное лицо в сумрачном свете казалось еще более румяным.

— Ах, бедный ты мой, — громко сказала она, — ведь ты же насквозь промок. Разве у тебя нет другой одежды?

Он покачал головой.

Она потрогала его свитер, шорты и заворчала:

— Спросили бы у меня, уж я бы точно сказала, что ты успел изрядно простудиться. Смотри, как у тебя течет из носа и как ты чихаешь. Не знаю, что думают твои мерзкие родители, но только стыдно так бездушно относиться к ребенку.

Мальчик опустил глаза. Он покачал головой, не сказав ни слова, но всем своим видом показал, что никак не может согласиться с таким обвинением.

— Ну, ладно, давай сюда бидон и снимай поскорее штаны и свитер, я их повешу к огню на кухне.

Мальчик решительно затряс головой, хотел сказать, что на нем больше ничего нет, но не успел и глазом моргнуть, как женщина уже сняла с него свитер и стянула штаны. Его худенькое дрожащее тельце предстало перед ней обнаженным.

— У меня нет трусов,— виновато сказал он.

Хозяйка маслодельни беззлобно засмеялась.

— Ничего, меня можешь не стесняться. У меня тоже нет таких, которые подошли бы тебе по размеру.

Она прошла в дальний конец веранды и сняла с гвоздя старый, с заплатками, пиджак.

— Надевай-ка вот это, на обратном пути снова заглянешь сюда. Твои вещи к тому времени высохнут.

Кемми посмотрел на нее умоляющим взглядом:

— А как же я буду без штанов?

Женщина громко засмеялась.

— Хватит с тебя и этого. Ты ведь еще совсем маленький, а пиджак, смотри, какой длинный, я вот тут заколола булавкой, никто ничего не увидит.

Она сполоснула бидон и налила в него молока. Щенок дрожал у двери и тихо скулил.

— Ага, и ты тоже проголодался? Ладно уж, вот здесь для тебя есть снятое молоко.

Она налила молоко в тарелку и поставила ее за дверью. Щенок с жадностью принялся его лакать.

— А это тебе,—протянула женщина кружку мальчику.— Когда вернешься, повесь бидон, как обычно, на столб, а сам постучись в заднюю дверь. Не бойся Спота, он лает просто по обязанности, тебя он знает и твою собаку тоже. Тогда и заберешь свои сухие вещи. Да скажи почтмейстерше, что я не смогу ей дать яиц, пока не наладится погода. Мои куры несутся там, где им нравится. А теперь ступай. Ты и так поди уж опоздал, но никто тебя за это не заругает. Утро-то какое дождливое.

Он робко постучал в заднюю дверь и, как обычно, стал ждать. Дверь никто не открывал. Он постучал еще раз, погромче, и услышал шаги. Мисс почтмейстерша распахнула дверь и хрипло сказала простуженным голосом:

— Сегодня ты опоздал. Мне пришлось завтракать без молока.

Он поставил бидон и виновато посмотрел на свои грязные ноги, к которым прилипла мокрая трава.

— Ты наверняка напустил сюда слюней,— зло сказала Бренда, поднимая бидон.

Кемми взглянул на нее, черные глаза его полны недоумения.

— Я его никогда не пью, ваше молоко, мисс. Мне это вовсе ни к чему. Леди с маслодельни всегда дает мне целую кружку, когда я к ней прихожу.

— Ах, вот оно что! — Голос женщины был по-прежнему, как у больной, она злорадно засмеялась. — Значит, она потчует тебя молочком. А ты всегда готов принять милостыню!

— Она дает мне его за работу, мисс. Я приношу ей почту, а от нее ношу молоко,— еле слышно произнес Кемми. Женщина не расслышала его слов.

— Ради всего святого, говори внятно, а не бормочи себе под нос.

Вспомнив поручение хозяйки маслобойни, Кемми сказал:

— Леди сказала, что пришлет вам яйца, когда кончится дождь.

— А почему не раньше?

— Сейчас очень сыро.

Бренда застучала каблуками, отошла к столу и вынесла ему сверток с продуктами, завернутый в целлофан.

— Постарайся не намочить, а то твоему хозяину нечего будет есть.

Кемми молча взял сверток и пошел по холодному мокрому песку к вершине Головы Дьявола, с которой вода текла непрерывным желтым потоком.

На горе его настиг шквальный ветер. Изю всех сил старался он не упасть. Подойдя к вершине, он хрипло крикнул:

— Это я, босс, малявка.

Внутри в машине приятно пахло теплом, было сухо. И мальчику хотелось бы просидеть в ней весь день, а не возвращаться в эту сырую, промозглую пещеру. Но он не решался об этом сказать.

— Ну вот, в отцовском пиджаке ты похож на огородное пугало,—засмеялся Поль.

От этого смеха ребенок почувствовал себя совсем маленьким и никому не нужным.

— Опять сосиски! — заворчал Поль, разворачивая пакет.

— И бекон.

— А на чрта мне бекон, если ты не принес яиц!

— У хозяйки нет яиц, босс.

— Может, ты еще заявишь сейчас, что ее проклятые куры забастовали? Ну, ладно. Приступай к работе, поджарь сосиски. Если этот циклон не уйдет, скоро я сам стану похож на сосиску.

За завтраком Кемми положил одну сосиску себе на кусок хлеба, другую отдал собаке.

Поль осуждающе посмотрел на него.

— Зачем же скармливать собаке то, что можно есть самому? Дома разве ее совсем не кормят? Впрочем, зачем кормить ни к чему не пригодного пса?

Слезы навернулись на глаза и упали на хлеб. Кемми вытер их рукавом, чтобы хозяин ничего не заметил. Он не мог сказать ничего в защиту щенка, хотя ему очень хотелось ответить: «Эта собака мне очень нужна. Она согревает меня ночью и отгоняет злых духов, живущих в лесу».

Но мысли в голове путались, а в груди теснились рыдания.

Увидев удрученное лицо мальчишки, Поль сказал:

— На-ка вот пять центов и купи каких-нибудь костей для собаки.

Кемми взял монету, зажал ее в холодной руке и чуть слышно поблагодарил, испугавшись, что может разреветься, если останется здесь еще немного. Он вылил остаток воды в закопченный чайник и ушел. Вода хлюпала под ногами, ветер и дождь хлестали со всех сторон.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

На следующее утро свитер и шорты Кемми были снова сырыми. Он натянул на себя старый пиджак, который служил теперь еще одним одеялом для него и собаки, и постарался потеплее закутаться в него. Каждое движение отзывалось болью в груди, казалось, что его очень крепко стянули резиновым поясом.

Проснулся он позднее обычного. Значит, следовало поторапливаться, скорее идти за молоком. Но даже эта мысль не заставила его тут же вскочить. Щенок онбюхивал его, лизал лицо и скулил.

— Все в порядке, Наджи,— сказал Кемми заплетающимся языком, и собственные слова, как удары молота, прогремели у него в ушах...— Все в порядке, я уже встаю.

Но не было сил подняться. Кемми то засыпал, то вновь просыпался от громкого лая. Все вокруг как-то странно

плыло перед глазами — вперед-назад, вперед-назад. Когда Кемми все же вылез из пещеры, опираясь на руки, звуки дождя, падавшего на листья, показались ему оглушительными.

Спотыкаясь, он прошел через лес к шаткому мостику через ручей, но так и не понял, шумело у него в ушах от завывания ветра, от грохота волн, или это рычало чудовище, о котором рассказывал ему Грампи. Как во сне, он перелез через загон для скота и пошел лугом по мокрой траве.

Хозяйка уже закончила работу, когда он подошел к веранде маслодельни. Услышав лай щенка, она оглянулась.

— А, это ты? Поздненько же ты сегодня явился. Да ты, кажется, и спал, одетый во все?

Кемми кивнул.

— Наверное, твои ленивые родители тоже спят не раздеваясь?

Мальчик открыл было рот, но она перебила его.

— Знаю, знаю, нечего мне о них рассказывать. Что ж, пусть почтмейстерша и твой хозяин, хоть и поздно, все же получат свое молоко, раз уж я оставила его для них. Ну, а для тебя, милый мой, сегодня ничего не осталось. Позвонили из Дулинбы и попросили прислать все мои запасы. Молочную-то ферму совсем там залило водой.

Ее голос сливался с завыванием ветра, с грохотом волн и звучал где-то далеко-далеко. Кемми даже не мог разобрать, что именно она говорила.

Женщина налила молока в бидон, закрыла его крышкой и протянула мальчику.

— И еще одно я хочу тебе сказать. Вчера ты забыл вымыть бидон, сегодня я сняла утром крышку, там все прокисло. Пришлось самой его отмывать, а я и так слишком занята, чтобы мыть за других бидоны. Ты слышишь, о чем я тебе говорю?

Кемми взглянул на хозяйку, и ему показалось, что ее лицо, словно красная луна, плывет по белой стене маслодельни.

— Ну, а теперь иди, — незлобно сказала женщина, слегка подтолкнув его к выходу. — Ты уж и так опоздал. И застегнись покрепче на булавку, чтобы тебя не промочил дождь.

Кемми снова побрел через загон для скота, бидон с молоком оттягивал ему руки и казался тяжелым, как никогда раньше.

Мостик через ручей показался ему живым существом. Если бы не бидон с молоком, он прополз бы по мостику на четвереньках.

Дом, в котором помещалась почта, временами казался крошечным, стоящим где-то далеко-далеко, а потом он двигался и становился огромным, каким он его еще никогда не видел.

Бренда уже дважды подходила к задней двери, ей казалось, что кто-то стучался. Дождь беспрерывно барабанил в окна. Она уже так свыклась с шумом ливня, что даже испугалась, когда он вдруг прекратился. Наступившая тишина внушила ей суеверный страх.

Кемми поднялся на ступеньки дома и поставил бидон на крыльцо. Но бидон почему-то стукнулся о дверь, молоко расплескалось. И когда мисс почтмейстерша открыла дверь, оно белой струйкой потекло по линолеуму.

— Ну вот, мало того, что опоздал, еще молоко разливаешь. Возьми поскорее тряпку из-под бачка и вытри здесь все. Если и дальше будет так продолжаться, я вообще откажусь от услуг миссис Роган и, конечно же, от твоих.

Кемми слышал ее голос над своей головой, вытирая молоко с пола. Щенок старался обогнать его. Но Бренда повернулась к мальчику и вскричала:

— Ради бога, вышвырни эту собаку. Сначала разлил молоко, а теперь пустил сюда этого пса. Мало мне грязи.

Кемми стал вытирать собачьи следы тряпкой, уже намоченной молоком, но только еще больше размазал грязь. Бренда встала, сунула ему в одну руку бидон, в другую целлофановый мешок с едой и поспешно стала закрывать дверь.

— Идите, идите оба.

Она так сильно хлопнула дверью, что мальчику показалось, будто грянул гром. Он вышел за ограду, закрыл за собой калитку и пустился в бесконечно долгий путь по берегу моря.

Тропинка, поднимавшаяся вверх к мысу, была похожа на стремительный горный ручей.

Кемми не знал, как добраться наверх, гора казалась ему неприступной. Он не двигался. Стоял в оцепенении и смотрел на эту крутизну. Стремительный поток вымыл песок из-под камней, и теперь они могли в любую минуту скатиться вниз, и тогда он упадет и разольет это драгоценное молоко. И все же ему следовало подняться наверх, ведь

босс давно уже ждал его. Все выше и выше взбирался он на гору, осторожно переставляя ноги. Сердце бешено колотилось, завернутая в целлофан буханка хлеба давила на грудь.

Когда он, наконец, добрался до вершины горы, черные тучи охватили его со всех сторон и крепко сжали на голову кружительной высоте, над расщирепевшим океаном.

Волны набегали и с грохотом разбивались о подножье Головы Дьявола, откатывались и снова налетали на скалы. Это были не волны, а руки чудовищных великанов, тянувшиеся вверх, чтобы схватить его. Сердце мальчика сжалось от страха.

Он простоял здесь, казалось, целую вечность, этот маленький замерзший мальчик, на вершине Головы Дьявола, а между ним и стоянкой его хозяина пролегла бесконечная, залитая водой дорога.

Он начал спускаться вниз. Спускаться было легче, чем подниматься, глухие удары сердца уже не разрывали грудь. Ему стало жарко и захотелось снять пиджак, но он не осмелился этого сделать, так как не смог бы удержать буханку хлеба.

Дорога вниз была короче, и все же это был долгий, очень долгий путь. Когда он, наконец, спустился, ноги дрожали, а руки едва могли удерживать бидон с молоком. Кемми сел на камень и увидел где-то далеко-далеко совсем маленькую машину и натянутый рядом с ней брезент. Он втянул в себя побольше воздуха, чтобы позвать босса, потому что босс любил, когда ему кричали издалека, но словно кинжалом кольнуло его в бок.

Услышав лай собаки, Поль выглянул из машины.

— А, наконец-то явился? Что же, черт подери, ты делал все это время? Я целое утро жду, пока ты придешь.

Мальчик молча стоял, глаза его лихорадочно блстели.

— Ради бога, иди же сюда! Что ты там стоишь под дождем?

Кемми собрал все свои силы, сделал шаг, и вдруг ему показалось, что перед ним — столб, столб стоит совсем не на том месте, где следовало ему стоять. Закружилась голова, он уронил бидон, и молоко разлилось по мокрой земле.

Ругательства сотрясали окрестность.

— О, всемогущий боже! — вскричал Поль. — Что же ты натворил?!

Мальчик не смел отвечать.

— Ты и так глуп, как пробка, — не унимался Поль, — а сейчас...

От ругани босса в ушах гудело. Мама всегда останавливала отца, когда тот вот так же начинал сердиться.

— А где же, черт возьми, остальные продукты? — наконец, спросил Поль.

Кемми полез за пазуху и достал сверток.

— Неужели все это время ты держал их там и я должен есть хлеб, от которого воняет грязным аборигеном?

Поль выхватил из рук Кемми пакет и снова взорвался:

— Похоже, что ты спал на этой буханке!

Мальчик безмолвно стоял перед ним, не в силах произнести ни слова. Сердце у него снова бешено забилося, совсем как утром, когда он долго с трудом взбирался по тропинке вверх к Голове Дьявола.

— А где же вода? — закричал босс. — Где же, черт побери, пресная питьевая вода? Я тебя спрашиваю! Возвращайся, и не приходи без воды для чая. Слышишь? Если же молока больше нет, попроси хоть банку сгущенки.

Мальчик повернулся, сказал, как обычно: «Хорошо, босс», но настолько тихо, что Поль угадал это лишь по движению его губ.

Выбравшись из спального мешка, Поль почувствовал холод. Он развернул нейлоновую куртку с капюшоном, которая служила ему вместо подушки, и натянул ее на себя. Потом толстыми кусками нарезал хлеб, намазал на него мягкое, подтаявшее масло и даже не оглянулся на маленькую, мокрую, забрызганную грязью фигурку ребенка, отправившегося, как на голгофу, вверх по мокрой тропинке к Голове Дьявола.

На берегу Кемми нашел свои следы и побрел по ним. Ему представлялось, что он идет вслед за отцом, как это бывало раньше, когда они вместе ходили удить рыбу во время странствий...

Воспоминания о родителях заставили Кемми расплакаться. Он заплакал, как не плакал еще ни разу, с той ночи, когда случилось несчастье с его семьей. Он сидел сейчас возле бака с водой. Сидел и плакал, и никак не мог вспомнить, зачем же сюда пришел.

Кемми ясно слышал, как женский голос уговаривал его идти домой. Он вышел за ворота. Резкая боль в боку согнула его. Он сжал губы, чтобы не вскрикнуть. «Мальчики-аборигены не плачут», — говорил отец. Кто-то снова позвал. Он обернулся. Ошибки быть не могло, он ни с чем не мог спутать этот женский высокий голос. К тому же, его позвали по имени, а здесь никто его имени не знал.

— Кемму!

Ведь это была мама. Конечно, это она позвала его.

Кемми, как на крыльях, бросился к пещере, но ноги не слушались, он еле передвигался. Ему показалось, что он громко сказал:

— Я иду к тебе, мама!

И снова услышал этот материнский голос, такой чистый и звонкий, что вначале даже подумал, будто это кричит птица. Но ведь птицы в дождь не кричат, они сидят где-нибудь в укромном местечке, распушив свои перья. Нет, они не кричат в такую погоду.

Мама, она давно уже ждет его, она где-то здесь, за этим деревом. Кемми прикоснулся пальцами к стволу и почувствовал, какой он мягкий — словно живой. Но мамы не оказалось за этим деревом. Она чуть подальше, и он смело пошел к ней, шатаясь, падая и снова поднимаясь, с рыданиями, сжимавшими ему горло. Наконец он добрался домой. Хрипло дыша, он остановился, перед глазами кружились скалы, деревья. Но что это? Перед ним не хижина, в которой они жили на ферме, а снова пещера, вход в которую загородило упавшее дерево. Но ничего, мама, должно быть, там. Ведь из пещеры же доносился до него ее голос, а теперь кругом все стихло. Кемми опустился на колени, прополз в пещеру, осмотрел ее, мамы не оказалось. Он попытался подняться, но лишь покачнулся, упал и вдруг почувствовал, что потолок пещеры ожил, что к нему протянулись руки Грампи и, убаюкивая, он поднял Кемми высоко вверх.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

На следующее утро миссис Роган первой заметила отсутствие мальчика. Она возвращалась с парома, отослав в Дулинбу весь утренний удой молока, и вдруг у мостика в траве увидела валявшийся бидон.

Ей было немного не по себе оттого, что накануне она так разбушевалась при этом мальчишке. Наверное, испугала его до смерти, хотя вряд ли это действительно было так. Ведь аборигены и их дети привыкли к подзатыльникам. Просто мать, наверное, оставила мальчишку дома, чтобы просушить его одежду. Так-то оно так, но почтмейстерша и его хозяин страшно рассердятся на него. Он ведь хорошо обслуживает их, а они ведут себя так, словно солнце всходит только для них.

Она принесла бидон в маслодельню, вымыла его, а сама все это время не переставала думать о мальчишке. Ей захотелось узнать, где живут его родители и чем они зарабатывают себе на жизнь. Ни Майк, ни Джек ничего о них не знали, а ведь они всегда, как правило, знали все.

Бренда была переполнена гневом, она открыла пачку сухого молока и размешала его в чае, так и не дождавшись свежего. Она терпеть не могла это сухое молоко, сгущенку ненавидела еще больше, а чай без молока пить не могла. Вот как все обернулось. Вчера вечером перед сном она допила весь остаток, молока было совсем немного. Этот паршивец разлил на пол, по крайней мере, с пол-литра. Миссис Роган вряд ли теперь пошлет к ней Майка, как это было прежде, а сам Майк наверняка не решится показаться ей на глаза, опасаясь, как бы она снова не отбрила его. Сама же она, естественно, за молоком не пойдет. А если мальчишка не пришел, значит, и таинственный незнакомец сидит на мели. Правда, это вовсе не ее забота. За неделю дождей он забрал продукты почти на всю сумму, которую заработал. Конечно, она не откажет ему в кредите. Единственная отрада — это сад. Молодые деревья хорошо прижились, они стояли крепкие и прямые, а на штамбовых розах уже распускались новые листья. Вьющиеся растения пустили длинные усики, скоро они скроют уродство — уборную, поставленную с северной стороны у забора, которая была как бельмо на глазу. О, если бы не этот осточертевший дождь! Один только сад и радовался дождливой погоде. Ветер пригибал ожившую ветку старой сливы, почки на ней набухли, ждали лишь первых солнечных лучей.

Бренда тоже ждала солнца. Совсем мало осталось у нее растопки. А этот неблагодарный паршивец скрылся и не идет. Наткнуться бы на родителей этого лентяя. О, она высказала бы им все, что думает о них. Ведь это они держат его дома как раз в то время, когда он ей больше всего необходим.

Когда малявка не явился и в десять часов, Поль обрушил на него весь запас ругательств, которым выучился у Элмера.

В мыслях у него возникали отрывочные, бессвязные картины того, как мальчик и щенок носились по берегу за чайками, как плескались у берега, вдали от него, заплывшего

далеко за буруны. Они были частью того мира, в котором он жил, изолировав себя от людей, в мире пустом и оттого привлекательном. Пока он работал, ловил рыбу и охотился, он имел еду и сигареты. Жизнь сводилась к работе, еде, курению и купанию в море. Но этот дождь отгородил его от всего, что он уже считал само собой разумеющимся. Его окутала совсем уж мертвая пустота. Ему не доставало чая. Не хватало костра. Он скучал без мальчишки, который развел бы этот костер с ловкостью и умением. Он почувствовал даже, что соскучился без его разговоров, в которые тот вступал не часто.

Дождь прекратился. Поль выбрался из машины, набрал из ручья мутной воды, попробовал ее и выплеснул обратно. Вода была солоноватой и отдавала тиной. Вода была всюду. Казалось смешным раздражаться из-за желания выпить чашку чая. Он думал о том, не пойти ли ему на почту и не попросить ли ту женщину вскипятить для него чайник воды. Но он не мог встретиться с ней лицом к лицу. Он ни с кем не мог встретиться, кроме мальчика и его собаки.

Поль проклинал свою зависимость от них. Удовлетворение жизнью на протяжении последних нескольких недель исчезло при мысли о том, что он зависит от этого мальчишки. Зависит не только потому, что тот заменил собой весь живой человеческий мир, но и потому, что он поддерживал жизнь Поля в этом мире.

От чувства разочарования и безвыходности Поль начал ругать ребенка за его ухищрения. Почему он не сказал, что не собирается вернуться? Он просто ушел и не думает возвращаться. Перед глазами Поля вставало худое темное лицо, большие глаза под тяжелыми бровями, он видел толстые губы малявки, его полуоткрытый рот с крупными белыми зубами. Ветер донес до него шепот:

— Ладно, босс, я это сделаю.

На следующее утро Поль снова с нетерпением ждал малявку. Наконец, он потерял уже всякую надежду. Мальчишка, может быть, обиделся на него за его грубость. Поля терзали два чувства: с одной стороны — кто бы мог подумать, что аборигены настолько чувствительны? И как это мальчишка посмел проявить такую наглость — обидеться? С другой стороны, Поль в какой-то степени чувствовал свою вину. Какое он имел право срывать на ребенке свое раздражение? Ведь погода вовсе не зависела от мальчишки.

Но, рисуя в воображении картину, как мальчик приносит молоко почтмейстерше, берет у нее продукты и сразу

же отправляется к себе домой, вместо того чтобы принести эту еду своему боссу, Поль все больше распалялся. Ему становилось не по себе от подобного предательства. Мальчишка, конечно, сам не догадался бы так поступить, его наверняка научили родители.

Поль лежал в машине, курил, смотрел, как дым волнами поднимается вверх, и вдруг, подхваченный течением воздуха, вырывается сквозь щель приоткрытого окна. Горькая обида на свою судьбу терзала его.

Вдруг из-за Головы Дьявола показался щенок. Поль даже удивился тому приливу радости, с каким он воспринял появление собаки. Уж этого-то он никак не ожидал от себя. Щенок бежал вниз по тропинке, не переставая лаять, и остановился около натянутого на столбах брезента. Впалые бока его вздымались и опускались от быстрого бега. Поль вышел из машины и направился к щенку, чтобы погладить его. Но тот отбежал в сторону и, усевшись на задние лапы, продолжал лаять.

Поль взглянул в сторону горы, надеясь увидеть маленькую фигурку малявки.

Но никто не появлялся на тропинке.

Поль бросил щенку заплесневелую корку хлеба, щенок проглотил ее с жадностью.

— А где же малявка? — спросил Поль, недоумевая.

Щенок залаял еще громче.

Уж если ты ни на что не пригоден, подумал Поль, а можешь лишь лаять, то лучше отправлялся бы туда, откуда явился. Твой хозяин сидит сейчас, наверно, где-нибудь в укромном сухом местечке и с удовольствием попивает мое молочко.

Он снова залез в машину, потянулся за пачкой сигарет, вспомнил, что она пуста, и громко выругался. Щенок медленно и осторожно приблизился к открытой дверце и снова залаял.

— Черт возьми, что с тобой происходит? — спросил Поль. — Ну, что же все-таки ты от меня хочешь? Если протестуешь против того, что у меня в машине сухо и в ней можно полежать, так это все, что у меня осталось, а последнюю корку хлеба я тебе уже отдал.

Поль замолчал, и щенок снова залаял, потом заскулил.

Поль пожал плечами и нехотя вылез из машины. Щенок обрадованно отбежал в сторону, оглянулся и радостно залаял.

— Ах, ты хочешь, чтобы я пошел вместе с тобой? Но

зачем? — Поль наклонился, взял из машины плащ. — Ладно, ладно, песик, давай веди меня.

Настойчивость щенка пробудила в нем непривычную тревогу. Поль застегнул плащ, завязал шнурки на ботинках, вытащил из багажника клеенчатую знойдвестку, вспомнив при этом почти равнодушно, что когда-то эта шапочка принадлежала Мерилин и она носила ее во время морских прогулок под парусами. Теперь она по крайней мере скроет его уродство, а если он натянет ее поглубже и наденет темные очки, у встречных людей не будет повода со злорадством таращить на него глаза. Пока он делал все эти приготовления, щенок продолжал неистово лаять и крутиться возле его ног. В мыслях Поля была полная путаница. Что могло случиться с малявкой? Возможно, он пошел другой дорогой и свалился в вышедший из берегов ручей? А может, поскользнулся и упал с вершины Головы Дьявола? Щенок торопился с такой настойчивостью, что Поль невольно ускорила шаг.

Щенок бежал впереди, Поль следовал за ним по крутой тропинке. Когда они добрались до вершины горы и стали спускаться, Поль на минуту остановился и оглядел весь берег. Малявки не было.

Поля охватило неясное волнение, но он был рад, что щенок прибежал не на почту, а к нему.

Он шел за щенком по песчаному берегу ручья, который превратился теперь в полноводную реку. Каждый шаг давался ему с трудом. Дорогу преграждали обнажившиеся корни деревьев, сплетенные ветки или колючий кустарник. Поль, конечно, предпочел бы пойти по старой, вымощенной бревнами дороге, но не мог остановить щенка. И Поль торопился, проворно бежал за щенком. Щенок то и дело останавливался, поднимался на задние лапы и лаял, показывая, куда нужно идти. В этих местах Поль еще никогда не бывал. Наконец они подошли к мостику. Щенок остановился у края толстого бревна, залаял и побежал по нему, потом повернулся к Полю, увидел, что тот стоит в нерешительности, и снова громко залаял. Поль не боялся упасть в воду. Для взрослого мужчины этот ручей не представлял серьезной опасности, даже когда он вышел из берегов. Но для ребенка, движения которого стеснял старый пиджак, доходивший чуть не до пят! Возможно, щенок пытается объяснить ему, что малявка упал с этого мостика?

— Малявка здесь? — показал Поль на ручей.

Щенок лишь залаял еще громче и, пробежав через мостик, остановился на другой стороне ручья, возле деревьев.

Казалось невероятным, чтобы какой-то абориген устроил себе здесь пристанище, среди густого кустарника, сильно разросшегося от весеннего тепла и дождей. Здесь не было никаких следов — ни старых, ни новых, но чувствовалось, что щенок хорошо знает дорогу.

Кругом стояла мертвая тишина. Ветер ли вдруг прекратился, то ли он не проникал сюда сквозь густые заросли высоких деревьев. На каждом шагу ветви мешали Полю пробираться вперед. С листья обрушивался поток дождевых капель. Резкий запах перегноя и медового настоя от вьющихся растений пахнул ему в лицо. Поль с удовольствием остановился бы и подышал этим воздухом, если бы не щенок, все время умоляюще оглядывавшийся на него. Когда наконец Поль выбрался на поляну и увидел упавший эвкалипт, его вдруг охватило предчувствие страшной беды. Неужели это дерево свалилось на мальчика? Щенок оглянулся еще раз. Поль шел следом. Когда щенок исчез под ветками упавшего дерева, Поль остановился, стал ждать, слух его напрягся до предела. Но он ничего не услышал.

Щенок вернулся и залаял. Поль понял, что щенок приглашает его за собой. Он пригнулся и полез под ветки.

Когда глаза его свыклись с полумраком, он увидел малявку. Тот лежал лицом вниз на куче листьев. Поль осторожно повернул его. Мальчик открыл глаза, посмотрел на него и тихо прошептал:

— Босс!

Глаза его снова закрылись. Поль коснулся лба мальчика, он пылал. Поль поднял тонкую руку ребенка и снова опустил ее. Он должен во что бы то ни стало забрать его отсюда. Страшная догадка, как удар грома, поразила его: вот это и есть дом малявки, у него нет родителей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Несомненно, мальчик был сильно болен, сквозь крепко сжатые губы вырывалось тяжелое и хриплое дыхание. Поль думал лишь о том, как бы поскорее донести его до почты, куда женщина могла бы вызвать врача. У Поля нет денег, чтобы заплатить врачу, но он позвонит отцу и попросит выслать необходимую ему сумму. Старик с радостью сделает это, лишь бы не встречаться с сыном и не допускать его в свою жизнь.

С моря вдруг подул порывистый штормовой ветер. Поль бросился бежать к забору из кустарника, сразу перешагнул через две ступеньки у крыльца почты и оказался перед

женщиной, склонившейся над огромной регистрационной книгой. Вздвогнув, она встала и посмотрела на него.

Черт возьми, какое ему дело до того, что она подумает о его лице! Сейчас главное — малявка. Было ясно, она его поняла. Она приблизилась, приложила руку ко лбу ребенка и тревожно взглянула на Поля.

— Он сильно болен, — сказал Поль, — пожалуйста, вызовите врача.

Бренда быстро ушла в служебное помещение, Поль слышал, как она настойчиво просила кого-то на другом конце провода позвать к аппарату врача. Потом чуть тише, но так же настойчиво, она сказала:

— Доктор Рейс? Это Бренда Доквуд. Доктор, здесь очень серьезно заболел ребенок. Не смогли бы вы сейчас же приехать? Точно не знаю, но у него высокая температура, он почти без сознания... тяжело дышит, так же, как внучка миссис Браун, когда она болела воспалением легких.

Положив трубку, она быстро вернулась к ним, потрогала сырую одежду мальчика, взяла его за руку. Поль собрался уходить.

— Я отнесу его в свою машину, уложу его там.

— Не делайте глупостей, — сказала Бренда бесстрастным, как у медицинской сестры, тоном. — Как вы собираетесь там ухаживать за ним? Несите его сюда и кладите в кровать.

Он неохотно проследовал за ней через почту в маленькую спальню, где возле окна стояла незастеленная узкая кровать.

— Снимите с него одежду, пока я приготовлю постель, и принесите теплой воды, его надо вымыть.

Бренда вышла на кухню, Поль услышал, как она наливает воду в чайник. Щенок забрался под кровать и робко выглядывал оттуда. Поль, все еще держа мальчика на руках, сел и начал его раздевать: снял промокший насквозь старый пиджак, расстегнул шорты, снял их и долго возился со свитером, таким же мокрым, как и все остальное. Женщина вернулась в комнату и помогла раздеть мальчика. Поль смотрел на нее, поражаясь ловкости и осторожности, с которой она обтирала истощенное тело ребенка. Она обращалась с ним с нежностью, на какую способна мать. Она попросила Поля приподнять мальчика, пока вытаскивала из-под него мокрое полотенце и подложила простыню. Потом уложила ребенка поудобнее в кровать, накрыла еще одной простыней, а сверху одеялом.

Они стояли рядом, глядя в это темное лицо,

полураскрытые губы, черные длинные ресницы. Она осторожно отодвинула с его лба намокшие от пота волосы. Мальчик зашевелился и чуть слышно сказал:

— Мама!

Она поудобнее устроила его голову на подушке.

— Мама! — повторила она с негодованием. — Будь моя воля, я бы упрятала этих преступных родителей за решетку. Разве можно так бездушно относиться к собственному ребенку? Где они живут?

— Не знаю. Я нашел его в пещере.

Поль встретился с ней взглядом, но не увидел в ее глазах ничего, кроме возмущения и жалости к мальчику.

— Не думаю, чтобы у него был дом. Родителей у него тоже, по-моему, нет.

— Вы хотите сказать, что они его бросили?

Поль покачал головой.

— Нет. Не думаю даже, что они здесь когда-нибудь жили. Я нашел его в пещере, куда меня привел вот этот щенок. Видимо, мальчик жил там.

— Невероятно!

— И тем не менее это факт. Ребенок лежал на куче листьев, прикрытый каким-то мокрым мешком.

— Значит, он жил там один?

— Да, один, если не считать собаки.

— А была там хоть какая-то еда?

— Никакой.

— О! — Она замолчала, снова погладила мальчика по голове и вытерла пот с его лба бумажной салфеткой, смоченной одеколоном. — А когда вы видели его в последний раз?

— Позавчера. Как раз в самый ливень. Он, как обычно, принес мне молоко и продукты. Он весь был мокрый, зацепился за столб у тента и разлил молоко. Я вспылил и отправил его обратно.

Они оба молчали. Было слышно лишь тяжелое скрипучее дыхание мальчика. Изредка тихонько скулил щенок.

— Собака, наверно, тоже ничего не ела все это время, — сказал Поль.

Женщина ушла на кухню, позвала щенка, он бросился к ней из-под кровати. Поль услышал, как щенок с жадностью стал лакать молоко.

Ребенок лежал не шевелясь. Иногда он произносил какие-то невнятные слова и вдруг начал кашлять. Бренда прибежала из кухни, приподняла его. Когда кашель утих,

она бережно опустила его обратно, заботливо подложила под голову еще одну подушку, чтобы легче было дышать.

— Сколько же будет добираться сюда этот доктор? — спросил Поль.

— Недолго. Дорога, правда, размыта, и ему придется ехать на катере. Но это займет не более получаса.

Она ушла на кухню, даже не взглянув на Поля. Поль смотрел на ребенка, прислушивался к его хриплому дыханию, к всплескам дождя за окном, к глухому рокоту волн.

Бренда вернулась с чашкой кофе, протянула ее Полю и снова ушла на кухню. Поль выпил кофе, крепкий сладкий напиток придал ему новые силы. Потом он позвонил по телефону отцу. Бренда слышала, что он коротко рассказал о своей нужде в деньгах, и поняла из реплик, что деньги будут немедленно высланы.

Наконец приехал доктор. Он кивнул Полю и подошел к кровати. Бренда откинула одеяло, приподняла ребенка, поддержала, пока доктор обследовал его спину, коричневую, как остаток кофе в чашке Поля. Потом снова уложил мальчика на подушки. Кемми открыл глаза и посмотрел на доктора ничего не понимающим взглядом. Доктор, нахмурившись, отвернулся.

— Пневмония, — сказал он. — Вы правильно догадались, Бренда.

Доктор сделал укол.

— Теперь у него должна быстро упасть температура. Но вот беда, он, по-видимому, уже несколько дней ничего не ел и очень ослаб.

Доктор встал, снова нахмурившись посмотрел на мальчика, поднял его маленькую темную руку и внимательно стал разглядывать синие ногти.

— Где проживает его семья? Я направлю полицию, чтобы родителей призвали к ответу за такое отношение к ребенку.

— Все дело в том, доктор, — сказала Бренда, — что мы не знаем, есть у него дом и родители или нет. Вот уже почти два месяца как он здесь, приносил молоко, письма, прислуживал ему, — она указала на Поля, — а мне доставлял с берега дрова. Потом снова уходил.

— А где же он жил?

Поль покачал головой.

— Мне всегда казалось, что он жил где-то на берегу озера. Лишь сегодня утром, когда щенок прибежал к моей машине и заставил меня последовать за ним, я узнал, что мальчик жил в пещере.

Доктор взглянул на Поля.

— А что вы сами здесь делаете все это время? Вижу, вам было весьма нелегко.

Доктор повернул лицо Поля к свету. Поль резко отвернулся и отошел к окну. Он стоял там, рассматривая, как капли дождя, ударяясь об оконное стекло, стекают друг за другом бесконечным потоком.

— Я был бы вам очень признателен, доктор,— сказал, наконец, Поль, не поворачивая головы,— если бы вы все свое внимание обратили на ребенка. А у меня за последние два года было так много врачей, что я уже сыт по горло. Я не нуждаюсь ни в заботе, ни в жалости.

— Как вам будет угодно,— спокойно ответил доктор.— Мне придется, конечно, заявить о ребенке в полицию. Я начинаю думать, что теперь у нас есть ключ к разгадке всей этой истории.— В раздумье он снова посмотрел на мальчика.— А сейчас надо решить, что с ним делать дальше. Я мог бы взять его с собой и отвезти в Дулинбу.

— Нет, доктор, я оставляю его здесь,— решительно заявила Бренда.— Вы только посоветуйте мне, доктор, как лучше за ним ухаживать. Я все сделаю, как вы скажете. У меня уже есть опыт.

Доктор повеселел.

— Ну вот и хорошо. Это на вас похоже, Бренда, вы никогда не бежали от трудностей.

— Вы льстите мне, доктор.

— Нет, нет,— поспешил убедить ее доктор.— Если он в ваших руках, я совершенно спокоен. Но каким образом вам удастся ухаживать за мальчиком и управляться одновременно с почтой и магазином?

— Мой дорогой доктор,— сказала Бренда,— уже несколько дней у меня не было ни единого покупателя и ни одного срочного телефонного переговора, за исключением звонка из Дулинбы к миссис Роган. А работы на плотине не возобновятся по крайней мере еще неделю после того, как закончится дождь. К тому времени кризис у мальчика пройдет.

— Совершенно верно. Хочется верить, что сейчас вы действительно не перегружены работой, и мальчик весь день будет находиться под вашим присмотром. Но возле него сейчас нужно сидеть постоянно. Никак не могу придумать, кого бы прислать к вам в помощь, да и денег больших будет стоить сиделка.

— Я могу присматривать за ним,— вдруг сказал Поль, резко повернувшись.

Бренда и доктор с удивлением посмотрели на него.

— О, я знаю, вы, конечно, не очень высокого мнения о моих способностях сиделки,— продолжал Поль.— Но я сам провалялся в госпитале пятнадцать месяцев, и не такой уж я бездарный, чтобы ничему там не научиться. Я могу измерить температуру, подставить судно, приподнять во время кашля. Я, конечно, не берусь сделать укол, но дать воды или микстуру вполне в моих силах.

Доктор недоверчиво взглянул на него.

— А как относится к вам ребенок? Не испугается ли он, придя в сознание и увидев возле себя незнакомого белого человека, олицетворявшего для него жестокость?

— Я никогда не обращался с ним жестоко,— поспешил возразить Поль.

— Все будет в порядке,— перебила его Бренда.— Мальчик был доволен своим хозяином. Он всегда говорил о нем уважительно.

Поль отвернулся, было видно, что он испытывает чувство неловкости.

— Вам нечего так переживать,— сказала Бренда.— Ваша вина здесь не больше моей. Он ведь работал и на меня, а я, отправляя его каждый вечер домой, давала ему то, что все равно выбросила бы на помойку.

— О нет, он на вас никогда не обижался,— поспешил ответить ей Поль.— Он говорил, будто вы похожи на его учительницу, которая всегда была к нему ласкова и доброжелательна.

— Я не сомневаюсь в вашем искреннем желании помочь ребенку,— обратился к Бренде доктор,— но должен вас предупредить — положение тяжелое. Если нам удастся вытащить мальчишку из беды, будем считать это чудом, хотя я уже слишком стар, чтобы верить в чудеса. Позвоните мне, если возникнет во мне нужда, да я и сам заскочу к вам в ближайшее время.

Доктор стал что-то записывать у себя в блокноте. Наконец он закончил и встал.

— Вы оба напрасно упрекаете себя. Когда-нибудь мы все начинаем чувствовать, что чего-то недоделали. Однако что толку в самобичевании? Слабое утешение для себя, а мальчику пользы и вовсе нет.

Кемми снова забил кашель. Бренда подскочила к кровати, приподняла его, постучала по лопаткам. Щенок положил лапы на кровать и залаял. Мальчик шевельнул рукой, и собака принялась ее лизать. Он приоткрыл глаза.

— Наджи!

Щенок тихо заскулил.

— А можно оставить собаку в комнате?— спросила Бренда.

— Большого вреда в этом не вижу. Напротив, больному может быть приятно увидеть близкое существо, когда он очнется. Они, наверное, привязались друг к другу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Поль брел к месту своей стоянки берегом моря. Поднявшись на вершину, Поль остановился, пораженный разрушениями, которые произвел налетевший циклон. Как же удалось несчастному ребенку подняться на эту гору, неся в одной руке бидон с молоком, а в другой сверток с едой, да еще в слишком громоздком для него пиджаке? И проделал он весь этот путь, чтобы принести еду ему, Полю?

Сейчас его утешала мысль, что в этом маленьком, худом и изможденном теле были заложены огромная сила, упорство и мужество. В госпитале он не раз слышал, что у людей с незаурядной волей к жизни выздоровление идет быстрее, а без этой воли к жизни не помогают ни врачи, ни их волшебные лекарства. Мальчишка, конечно, доказал, на что он способен, проявил почти фантастическую настойчивость, но что если голод оказался сильнее и у него больше нет физических сил бороться за жизнь?

Эта мысль волновала Поля. Сумеет ли Бренда пробудить в охваченном жаром и сотрясаемом кашлем хилом тельце хоть какую-то волю? Что сделало эту женщину замкнутой и высокомерной? В ее упрямом взгляде не было и намека на мягкость или нежность, даже когда она сама выждалась ухаживать за больным ребенком.

С доктором, которого она, очевидно, любила и который тоже относился к ней с большим уважением, она разговаривала сурово и сдержанно.

Что же все-таки привело эту женщину, молодую и вовсе не дурную собой, в такую дыру, как Голова Дьявола, думал Поль. Ему всегда импонировал воздушный тип красоты, которую олицетворяла собой его жена Мерилин. Мерилин была для него идеалом женской красоты. Ему нравились ее широко расставленные глаза, льняные волосы, спадавшие на плечи, это была женщина, созданная для любви. Но эта женщина сразу же ушла от него, едва с ним случилось несчастье. Вначале он ни в чем ее не упрекал, не обвинял.

Ведь нельзя же мотылька заставить тянуть прицеп от грузовой машины!

Мерилин никогда не смогла бы упрятать себя в таком глухом, как это, месте, где неделями не встретишь живой человеческой души. Не верилось, чтобы Бренда не смогла найти себе работу где-нибудь в другом месте. Здесь почта и магазин требовали от нее много сил и умения, однако она успешно справлялась с делами. Отчего же она так нелюдима и мрачна? У нее красивые волосы. Брови и ресницы, правда, не для кинозвезды, но зато кожа гладкая и красивая, не изуродованная напалмом, как у него. Так что же ей горевать?

А он? Совсем недавно лишь сон был для него наркотическим провалом в небытие, бегством от боли и скуки. Лишь в нем искал он для себя спасение от горьких раздумий и желаний. Теперь он сам завел будильник, чтобы разбудить себя и мчаться на дежурство к совсем чужому мальчику. И странно, но это дежурство значило для него намного больше, чем дежурство в джунглях. Там часы дежурства проходили между двумя противоположными полюсами, на которых в обоих случаях была смерть, либо его собственная, либо вьетконговца. Теперь он находил в дежурстве радость. Но неужели он делал все это лишь ради спасения ребенка? Возможно, в этом было и его собственное спасение?

Занятая работой на почте и в магазине, то и дело заглядывая в комнату больного, Бренда и не заметила, как наступил вечер. Она поняла это, когда услышала, что часы пробили шесть.

Бренда закрыла входную дверь, убрала в сейф служебные бумаги, повернула ключ до отказа и пошла в спальню взглянуть на больного. Мальчик по-прежнему лежал спокойно, неровно и тяжело дышал. В груди словно у раненой птички трепетно билось сердце.

Устраивая его поудобнее в кровати, она увидела, как он медленно открыл глаза, и улыбнулась. Он что-то тихо сказал пересохшими губами, но она его не поняла, лишь смочила ему губы водой и вытерла пот с лица.

Он снова закашлялся надсадно, тяжело. Она чуть приподняла его, он уронил голову ей на плечо.

Она осторожно положила его на подушку, отошла к изголовью, стараясь справиться с охватившим ее волнением. Да, она будет заботиться о нем, ухаживать, как это делала бы самая чуткая медицинская сестра, будет стараться

вырвать его из когтей смерти, но не больше. Никаких чувств.

Поль проснулся от резкого звона будильника, расколовшего тишину ночи, сегодня он спал так глубоко, что даже не видел снов. Поль вылез из машины, мир вокруг поразил его своей неузнаваемой новизной. Дождь прекратился, но переполненный ручей шумел, как полноводная река.

Поль остановился на вершине Головы Дьявола, посмотрел, как бурлящие волны бешено налетали на берег. Он часто и раньше стоял здесь по ночам, но тогда пустынный берег и темнеющие вдали скалы только усугубляли его одиночество.

Сегодня его звал к себе огонек в окне комнаты, где он был нужен больному ребенку, единственный огонек, мерцавший во всей вселенной. Он быстро спустился вниз и уверенно зашагал берегом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

К утру мальчику стало легче. Бренда выглядела строгой в своем темно-синем платье, с туго затянутыми в пучок волосами. Поль утомленно взглянул на нее и медленно поднялся с кресла.

— Устали?— спросила она, увидев, как он зевнул.

Щенок тоже лениво выбрался из-под кровати.

— Я и представить себе не мог, что ночь может длиться так долго.

Они посмотрели на мальчика. При утреннем свете лицо его казалось не таким серым, к тому же он перестал метаться. Бренда измерила ему температуру.

— Без изменений,— сказала она.— Сейчас не стоит его беспокоить. Умою его после завтрака. А вы, если хотите, можете принять душ, важная комната вот здесь. Ваша одежда просохла, висит возле двери в ванную.

Поль с грустью рассматривал старую колонку, потерявшие цвет железные трубы, ржавую полоску на дне ванны. Должно быть, это так называемый дровяной водонагреватель, думал он, но вот беда,— чтобы его разжечь, нужны щепки и бумага, а ничего этого под рукой нет. Он отвернул кран, и холодная вода стала сильно хлестать его тело. Он почувствовал, что это придает ему силы, вселяет энергию и бодрость. Он знал, что слишком долго наслаждается ванной, что вылил чересчур много пресной воды. Но разве сто-

ит об этом думать, если бак во дворе переполнен, а дожди льют, не переставая.

Поль взял безоопасную бритву с полки, вставил новое лезвие из наполовину использованной пачки. Раньше он всегда пользовался электрической бритвой, даже в машине. Намылив лицо, он осторожно прикоснулся к коже и был удивлен, насколько мягко и ровно бреет лезвие. Такой бритвой он пользовался только в джунглях, и теперь память снова возвратила его к тем дням. Как фантастически настойчиво даже в военных условиях заботились они о своей внешности, хотя через десять минут после бритья, попав в заросли, уже обливались потом, сбегавшим по гладко выбритой коже, были в кровь искусаны комарами, и шляпы цвета хаки с обвислыми полями болтались на них, словно на огородных пугалах.

Когда, наконец, Поль вышел из ванной в смятой, но теплой и сухой одежде, он почувствовал аппетитный запах жареного бекона, услышал, как свистит, закипая, чайник.

Он посмотрел на примитивный тостер на примусе и подумал об огромной разнице, которая была между этой кухней и оборудованными по последнему слову техники кухнями его матери и его жены. Но действительно ли в этих современных кухнях готовили лучше, чем здесь? Нет. Люди на любом этапе развития прекрасно управлялись с приготовлением пищи. Ни один вьетнамец, промелькнуло у него в голове, ни за какие блага не променял бы кухню своей матери на американскую.

Свобода и цивилизация заключались вовсе не в ультра-современных кухнях, голливудских ваннных комнатах и сверхскоростных автомобилях. И эта цивилизация для вьетнамцев оборачивалась совсем иной стороной. Для них она связывалась со сверхзвуковыми истребителями, орудиями разрушения их деревень, с угоном близких из древних привычных хижин в стратегические поселки, напоминавшие собой концентрационные лагеря. Но он мог бы поклясться, что ни один вьетнамец, будь то взрослый или ребенок, вроде Пак То, никогда по собственной воле не променял бы свою родину на все блага так называемой цивилизации Запада. Они считали австралийцев и янки искусно обученными разрушителями.

Поль намазал маслом поджаренные кусочки хлеба, налил в тарелку с кашей консервированных сливок, а в чай сгущенного молока. От яичницы с беконом шел дразнящий запах.

— Жаль, что нет свежего молока, — сказала Брендэ и осеклась.

Поль прочитал в ее глазах сознание той же вины, под тяжестью которой жил он сам.

Бренда решила все же вымыть мальчика, пока Поль еще не ушел и мог ей помочь.

Не только личная трагедия да жизненный опыт выковали в Бренде такую холодную, беспристрастную медсестру. Она делала все, что было в ее силах, и для матери, и для отца. И всегда за внешним спокойствием и твердостью в душе ее скрывалось негодование против жестокости и несправедливости жизни. Теперь к этому чувству прибавилось сознание беспомощности, переносить которое было куда труднее, и вины перед беззащитным ребенком, хотя он и не был для нее так близок, как родители. По отношению к ребенку она считала себя просто сиделкой, хотя и желала не только честно выполнить свой долг, но и умиротворить и успокоить угрызения собственной совести.

Чувство вины перед другими поддерживало в ней жизнь, как не поддерживали ее ни страдания, ни потеря близких людей. Способны ли люди осознавать вину еще до того, когда бывает поздно что-то исправить, часто думала она.

— Итак, до вечера, до половины десятого,— вдруг сказала Бренда решительно и властно, глядя прямо в лицо Полю и протягивая ему сверток.— Здесь кое-что вам на обед. Поужинаем вместе, когда вы придете сюда.

Он быстрым шагом прошел до Головы Дьявола, спустился к своей машине, забрался в спальный мешок и тут же уснул.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

На следующий день снова приехал доктор, осмотрел ребенка. Температура медленно снижалась. Антибиотики, тепло и уход давали эффект, но доктор ничего утешительного не обещал. Бренда внимательно всматривалась в его лицо, надеясь прочесть недосказанное. Наконец, доктор взглянул на нее и, улыбнувшись, сказал:

— Я должен предупредить вас, что вместе со мной сюда приехал констебль Риверс. Это достойный преемник небыизвестного вам старика Миллера, хотя и совсем другой по натуре человек. Он гордится своими знаниями научной криминалистики. Для Дулинбы он просто находка! Констебль решил, что в данном случае необходимо его личное вмешательство для «расследования обстоятельств». Сейчас

он как раз проводит «дознание», допрашивает миссис Роган. Я думаю, миссис Роган сумеет постоять за себя, и настроение у него будет не блестящим, когда он придет сюда. Будьте осторожны, постарайтесь следить за своими словами. Он довольно обидчив, этот констебль. Это законченный бюрократ, и в Дулинбу его назначили, видимо, лишь потому, что его физический и умственный багаж совершенно соответствует здешнему образу жизни.

Все видят, как он старается, но в успех его дел не верят. Пока он тщательно перепечатывает под копирку протоколы дознаний, а потом складывает их аккуратно в папки, которых уже много накопилось в его кабинете в полицейском участке.

Бренда и доктор уже допивали чай, когда явился констебль Риверс. Он остановился у порога, осуждающе глядя на всех.

— А, констебль! Входите и присаживайтесь,— кригласил его доктор.— Чай освежит вас и придаст силы!

— Благодарю вас, доктор,— сухо ответил констебль. Доктор представил ему Бренду.

Констебль холодно выслушал и с напыщенным видом спросил:

— Где больной?

Бренда проводила полицейского в спальню. Констебль взглянул на ребенка с выражением сарказма на лице.

— Ясно, значит, он полукровка, я так и думал.— Он произнес это так, словно зачитывал приговор.— А где тот человек?

— Там, где остановился,— за Головой Дьявола.

Констебль поправил свой огромный плащ, застегнулся на все пуговицы и направился к выходу, шаркая по линолеуму большими резиновыми сапогами. Слышно было, как он прохлюпал в них по дорожке к боковой калитке сада.

Доктор видел, как констебль, с трудом переставляя ноги, плелся по берегу, время от времени освещаемый проглядывавшим сквозь тучи солнцем.

— Будет удивительно, если он его сразу же не арестует,— сказал, ни к кому не обращаясь, доктор.

Бренда пожала плечами.

— Если он попытается это сделать, получит сполна все, что ему полагается.

Поль шел с угрюмым видом, пытаясь понять причину мрачного настроения констебля. Взгляд его то и дело оста-

навливался на бурунах, сверкавших под утренним солнцем мириадами брызг.

— Поскорее, нечего попусту терять время,— грубо прикрикнул констебль, пропуская Поля впереди себя в кухню.

Он грузно уселся за стол и раскрыл портфель. Медленно и внимательно, как делал все, констебль оглядел каждого из сидевших перед ним. Наконец откашлялся и надел очки в темной оправе. Потом, еще раз взглянув на всех троих, сказал:

— Теперь разберем имеющиеся в нашем распоряжении факты.

Это была его стандартная фраза. Он повторял ее во всех случаях жизни, приводя жителей Дулинбы в ярость.

Перечисление имеющихся фактов в данном случае было, по мнению констебля, более чем необходимо, поскольку речь шла не о преступлении, а лишь о нарушении долга. Двое аборигенов, погибших во время автомобильной катастрофы, в сущности, не могли считаться преступниками, хотя по донесениям полиции штата Квинсленд погибший абориген был не так уж далек от этого. Абориген считался смутьяном, зачинщиком всевозможных беспорядков, требовал возвращения каких-то родовых земель, настаивал на повышении заработной платы, а в результате просто сбегал с места своей работы, не испрашив на то разрешения у своих хозяев.

— Итак,— торжественно произнес констебль,— мне предстоит заняться мальчишкой по имени Кемми Бардон. Родители его удрали, не вняв законным требованиям передать ребенка в руки полиции для определения в специальное учреждение, созданное для таких, как вышеназванный малолетний абориген.—Констебль повернулся к доктору:— Вы немедленно сообщите мне, как только он выздоровеет, чтобы я смог предпринять соответствующие меры для выполнения закона о попечительстве.

— Конечно, если он только поправится,— угрюмо сказал доктор. Констебль подозрительно смерил доктора взглядом.

— Есть основания сомневаться в этом?

— Мои сомнения более чем основательны.

Констебль вытащил из кармана ручку и, сурово взглянув на доктора, спросил:

— Доктор, готовы ли вы сделать заявление, проливающее свет на то, кто ответствен за состояние больного?

Доктор пожал плечами. Поль неожиданно стукнул кулаком по столу:

— Мы все за это в ответе, все мы! — вскричал он.

— Я должен вас предупредить,— торжественно произнес полицейский,— что любое ваше замечание может быть принято в качестве улики против вас.

— А мне в высшей степени наплевать. Я хочу лишь сказать, что мы все ответственны за это, и прежде всего я. Я не пытался ничего узнать об этом ребенке. Я командовал им, как только мог, он прислуживал мне, разводил костер в дождливую погоду, когда у меня самого не хватало на это умения, он показывал мне, где водится рыба. Я использовал его так, как все мы используем более слабых и беззащитных. А когда он заболел и уже не мог ничего для меня делать, я прогнал его, не поинтересовавшись о его состоянии, не узнав, есть ли у него место, куда пойти.

Констебль помолчал, затем обратился к Бренде:

— Хотелось бы узнать, что может сказать мисс почтмейстерша о своей роли в этом деле.

— Могу без труда объяснить вам это,— резко ответила Бренда.— Я оставила мальчика в своем доме, когда этот человек принес его на руках из леса. Если же вам хочется услышать, стыжусь ли я своих поступков, как стыдится этот человек,— да, именно это чувство грызет меня. Больше мне нечего добавить, за исключением, пожалуй, одного: нет или есть у мальчика шансы на выздоровление, он будет до конца в моем доме. Я буду ухаживать за ним так, как если бы это был мой собственный сын. А раз уж этот человек,— она указала на Поля,— помогает мне, ответственность за судьбу ребенка лежит на нас двоих.

— А когда он совсем поправится,— добавил Поль,— я позабочусь, чтобы он не попал ни в один из этих ваших приютов.

Полицейский кончиком ручки постучал по своим зубам.

— Ну, уж это будет решать закон.

Констебль сплел пальцы рук, положил их на стопку донесений и сказал твердо и решительно, тоном судьи:

— Леди и джентльмены, то, что вы думаете о своей ответственности, это ваше личное дело. Я же снимаю с себя всякую ответственность. И, кроме того, я должен спросить вас, миссис... э... мисс Локвуд, как, по вашему мнению, отнесутся руководители почтового ведомства, узнав, что у вас по ночам в доме находится посторонний мужчина?

Бренда резко вскинула голову.

— Не имею ни малейшего представления, но меня это ничуть не волнует.

— Я протестую против подобных вопросов, констебль,— вдруг вспыхнул доктор.

— Ладно, перейдем к другим.— Констебль наклонил стул.— Поскольку мне поручено это дело, молодой человек, я хотел бы узнать ваше имя и другие сведения для установления вашей личности.

Поль назвал себя.

— Адрес!

— Стоянка на берегу моря возле Головы Дьявола.

— Нет, этот номер у вас не пройдет, молодой человек.

Я спрашиваю ваш домашний адрес.

— У меня нет домашнего адреса.

— Тогда где же вы находились до приезда сюда?

— В военном госпитале номер сто тринадцать.

— А до госпиталя?

— Во Вьетнаме.

— Ах, вот оно что...— Констебль даже поперхнулся.— Но где живут ваши ближайшие родственники?

— У меня нет ближайших родственников.

Констебль сурово взглянул на Поля.

— Вот что, молодой человек, я вынужден предупредить вас, с законом шутки плохи. Где проживает ваша семья?

— У меня нет семьи.

— Тогда назовите мне адрес ваших родителей.

Поль неохотно назвал адрес отца. Констебль записал его в блокнот, торжествуя.

— Скажите, констебль,— ехидно спросил Поль,— вы все это делаете, чтобы снять с себя ответственность?

Констебль на минуту растерялся.

— Я уже сказал, что не считаю ответственным за все происходящее ни закон, ни себя лично.

— Тогда разрешите мне заявить, что, выслушав ваши скучные и многословные донесения, я считаю вас виновным более, чем всех нас. Вы обнаружили разбитый грузовик с двумя умирающими аборигенами и знали, что вместе с ними был третий человек — их ребенок, который к тому времени куда-то исчез. И что вы предприняли?

Констебль недоуменно взглянул на Поля. Он был явно смущен.

— Я полагал, что этого ребенка ссадили где-нибудь по пути в одной из резерваций. А поскольку эти черномазые с фанатизмом держатся друг за друга, у меня не было возможности получить от них сведения о мальчишке. Естественно, я посчитал следствие законченным.

Поль резко отставил стул, поднялся и подошел к окну.

Казалось, все его внимание сосредоточилось на беспокойном, сверкающем под яркими солнечными лучами море.

— О боже всемогущий! — воскликнул вдруг он. — До чего же все мы напыщенные лицемеры, ханжи и краснобаи, только и умеющие разглагольствовать о законе и об ответственности! Ведь и я тоже целыми днями валялся в машине, размышляя о несправедливостях и жестокостях во Вьетнаме, а сам поступал не лучше.

— Если вы собираетесь заниматься здесь красной пропагандой, то я отказываюсь ее слушать.

Констебль закрыл блокнот, положил его в карман, аккуратно застегнул лацкан и, обведя всех взглядом, сказал:

— Я подожду вас на пристани, доктор.

Они ~~улыбались~~, как он громко затопал сапогами по лестнице. По знаку доктора Бренда поставила на плиту кофейник. Доктор молча ушел в спальню к мальчику, а когда кофе вскипел и Бренда позвала его, он вышел, подошел к Полю и положил руку ему на плечо. Поль резко обернулся.

— Простите, — сказал он, садясь за стол и накладывая сахар в кофе, — все получилось чертовски глупо.

— Все в порядке, — ответил доктор, хлопнув Поля по плечу. — Просто констебль Риверс подонок. А вы задели его за живое.

— И все же мне, очевидно, не следовало себя так вести. Но я не сдержался, во мне все кипело.

— Вам смущком долго приходилось сдерживаться. Такое прегрешение вам простительно.

Поль выпил кофе и закурил.

— Как мальчик?

— Без видимых изменений. Вам не удалось попить его, Бренда?

— Нет. Сколько ни пыталась влить в него хоть ложечку молока или сока, он начинал задыхаться.

Доктор вздохнул и поднялся.

— Что ж, пожалуй, сделано все возможное. Истощение и непогода отняли у него слишком много физических сил, так необходимых для борьбы за жизнь. Позвоните мне вечером, если наступят какие-то изменения.

Бренда пошла его провожать, осторожно ступая по размытой дождем тропинке.

— Почему он не хочет еще что-нибудь предпринять? — спросил Поль, раздражаясь, когда доктор уже скрылся на дороге к пристани.

— Он делает все, что можно, — возразила Бренда. — Я в этом уверена.

— Вконец устаревший и безалаберный человек,— не удержался Поль.

— Согласна, он, может быть, и не самый лучший врач, но он всегда был честным и искренне заинтересованным в пациенте. Он не стремился к экспериментам ради экспериментов.

Поль горько улыбнулся.

— Эксперименты! Я вижу, вам тоже пришлось в жизни пройти через множество экспериментов. И все же мне кажется, он мог бы сделать для мальчика больше.

— К сожалению, врачи не способны совершать чудеса.

Бренда взглянула на его лицо, но во взгляде ее не было отвращения, которое Поль ожидал увидеть.

— Если вы хотите знать мое мнение,— тихо сказала она,— то нам обоим необходимо чудо, которое снова сделало бы нас пригодными к жизни среди людей.

Он шел к своей машине, а в ушах все еще звучали ее слова.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Закутавшись в теплый старый халат, принадлежавший отцу Бренды, Поль сидел на стуле возле кровати мальчика, не спуская глаз с его лица, которое в полумраке казалось совсем серым. Он тревожно прислушивался к его дыханию, а мысли были далеко-далеко. Всплывали и снова исчезали в памяти картины прошлого и настоящего.

Из-под кровати сверкнули глаза щенка, и Поль почувствовал удовлетворение от того, что он здесь. Ему было куда легче сидеть ночью у постели больного, чем спать, приняв сильную дозу снотворного, или лежать в машине без сна с натянутыми до предела нервами. Теперь он хоть как-то был связан с миром, с людьми. Он был кому-то нужен.

И все же, даже сидя у постели Кемми, он никак не мог отделаться от мысли, будто это не Кемми, а тот мальчик-вьетнамец, Пак То. Нет, он никогда не видел Пак То слабым и беспомощным, такой была его сестра, маленькая девочка, имени которой он так и не узнал. Несомненно, Полю были ближе этот мальчик-абориген, и вьетнамец Пак То, и его сестренка, чем все другие люди, которых он встречал в жизни. Борьба за существование и воля к жизни заставили Кемми искать пути спасения от голода, и он стал прислушивать Полю и Бренде. А они? Только после того, как мальчик оказался на пороге смерти из-за легкомыслия и эго-

изма двух взрослых людей, он стал человеком в глазах Поля.

Какие строки были в песне того американского парня, который, брэнча на гитаре, распевал, призывая к миру на земле? Кажется, это звучало так: «Сколько дорог должен пройти человек, прежде чем он сможет увидеть, что происходит вокруг».

Нет, слова были какие-то другие. Он в точности никогда не помнил слов, хотя музыка этой песни звучала в его памяти и смысл ее будоражил какие-то скрытые чувства, более сильные, чем желание выпить и овладеть женщиной, чем опьяняющее удовлетворение от того, что убил еще одного лесного брата, иначе он бы мог убить тебя.

Бренда лежала не в силах уснуть, слушала, как глухо бьется о берег прибой. Часы показывали полночь. Уже слишком поздно, нужно уснуть, ведь завтра у нее трудный день.

Странно было лежать без сна в доме, где снова каждый звук приобрел особое значение, но еще более странно ощущать себя нужной кому-то.

Сегодня ее как-то по-особому волновал сон ребенка. И вовсе не потому, что она не доверяла Полю. Напротив, Поль оказался способной сиделкой. Он выучился этому за то долгое время, пока сам находился в госпитале. Она уже успела в этом убедиться, наблюдая, с какой чуткостью и умением обращался он с мальчиком. Совсем как ее отец. Она уже понимала, что можно положиться на него. Наверное, нужно было перенести много мук и страданий, чтобы так нежно ухаживать за чужим ребенком, к которому он, видимо, питал добрые чувства.

Мальчик застонал и начал кашлять. Поль осторожно приподнял его, стараясь сделать это точно так, как делала Бренда. Сердце его сжалось, когда он почувствовал, что мальчик словно пушинка в его руках.

Услышав кашель, Бренда вышла из своей комнаты. При свете ночника она увидела, как Поль склонился над кроватью мальчика.

Она наклонилась и осторожно просунула руку под хуленькое тельце, Поль отошел к изголовью кровати и остановился, глядя на Бренду. Он никогда не признал бы в ней ту холодную, замкнутую женщину, которую видел днем в

строгом темно-синем форменном платье, с туго затянутыми на затылке волосами. Свет падал на ее яркий халат, на волосы, рассыпавшиеся по плечам густой живописной копной, еще более оттеняя упрямую линию подбородка. Лицо при слабом свете ночника казалось более мягким и молодым.

Мальчик что-то прошептал, и она еще ниже склонилась над ним, стараясь расслышать его слова. Вид этих двух людей странно взволновал Поля. Она посмотрела на него и тихо сказала:

— Я не могу его понять. Попробуйте сами.

Полю склонился и вдруг представил себе, как выглядит он, обезображенный шрамами, рядом с ними. Внутри у него все перевернулось от мысли о своем уродстве. Мальчик вдруг открыл глаза и явственно произнес хриплым голосом:

— Мама!

Бренда положила его на подушку и отошла в другой конец комнаты.

— Подержите его, пока я приготовлю микстуру.

Лицо мальчика было совсем рядом с лицом Поля, он даже чувствовал на своей щеке мокрое прикосновение. Мальчик что-то невнятно прошептал, и Полю ему так же невнятно ответил, не зная, дошли ли его слова до сознания ребенка. В госпитале он много раз убеждался, что боль создает барьер, через который не проникают даже самые нежные слова. Сердце ребенка билось чуть слышно. Но так ли это? Он ни разу не слышал, как бьется чужое сердце, он знал лишь, как бьется его собственное сердце и сердце его жены, ощущал его биение лишь в те моменты, когда страсть доводила его до неистовства.

Бренда снова склонилась над больным, попыталась влить в него лекарство. Мальчик вскрикнул, схватился рукой за плечо Поля.

— Папа! — неожиданно и громко позвал ребенок.

Полю машинально поправил подушку и посмотрел на Бренду. Они стояли рядом у постели ребенка, и Полю не переставал задавать себе один и тот же вопрос: почувствовала ли она, как эти бессознательные крики ребенка открыли соединили их цепью. Она не смотрела на него, она не отрывала глаз от мальчика, и на лице ее была отрешенность. Она повернулась и пошла из комнаты, запахнув полы халата, словно ей вдруг стало холодно. В дверях она остановилась и сказала:

— Позовите меня, если это опять повторится.

Он не отрываясь смотрел на нее сквозь тусклый свет.

— Хорошо, я позову, если не справлюсь сам.

Почему же она ушла, подумал Поль с обидой. А, собственно, какие у него есть основания возмущаться, если она вовсе и не замечает его. И до чего же глупо и сентиментально думать, будто слова больного ребенка, сказанные в бреду, могут что-то значить для них обоих. Ведь мальчик звал тех, кто ему был сейчас крайне необходим: свою мать и своего отца, которых не было рядом с ним. «До чего же ты поглупел, старик, за время своей долгой болезни, если способен допустить, что этот бессознательный крик ребенка может связать тебя прочными узами с женщиной, которая видит в тебе лишь сменную сиделку у постели больного.

Ради бога, дружище,— сказал он себе,— не раскисай!»

Поль вдруг почувствовал, что не может обойтись без сигареты и чашки крепкого кофе, который она оставила в термосе на кухонном столе. Он выпил кофе. Крепкий горячий напиток немного успокоил его, а дым сигареты унес последние остатки глупых мечтаний.

Он закурил еще одну сигарету и мысленно произнес:

«Не обольщайся, старик, думай о себе реально даже при тусклом освещении и принимай эту женщину такой, какая она и есть на самом деле: суровая, ненавидящая мужчин. Ухаживает за ребенком только потому, что, как и ты, чувствует свою вину перед ним. Не пытайся изобретать какие-то таинственные узы, которые могут вас связать. Их нет и никогда не будет».

Он откинулся в кресле, его сознание пробудилось от сна, он снова явственно услышал, как тяжело дышит мальчик, как с грохотом бьются о берег волны, как за окном постукивает ставень.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Бренда стояла на крыльце дома, освещенная яркими лучами солнца, под которыми уже начала испаряться влага в наполненном дождем саду. Она обернулась, и сердце бешено забилось у нее в груди: почки на полусгоревшей сливе лопнули, и кое-где уже распустились белые цветы.

Поль взглянул на часы. Три часа. Тело у него затекло от долгого, неподвижного пребывания в кресле, старый ха-

лат, накинутый поверх одежды, не уберег его от пронизывающей сырости, наступившей после дождя.

Бренда так и не заснула всю ночь, она несколько раз вставала, ложилась, потом опять вставала, подходила к мальчику, тревожно прислушивалась к его дыханию. Поль слышал, как она хлопотала на кухне. Она включила свет, подняла кофейник, показав, что собирается сварить кофе, и вдруг тихо позвала:

— Поль!

Он взглянул на нее, свет лампы подчеркивал ее печаль. Бренда поежилась.

— Холодно? — спросил Поль.

— Нет, просто меня почему-то бьет дрожь, — сказала Бренда, стараясь, чтобы голос не выдал ее волнения.

— Вам необходимо поспать.

— Пыталась, ничего не вышло. Как он там?

— По-прежнему. Только щенок ведет себя беспокойно.

Бренда прошла в комнату. А Поль с восхищением смотрел на нее. Малиновый халат и черные пышные волосы волновали его, и ему еще раз показалось, что днем место почтмейстерши занимает другая женщина, чужая и равнодушная.

Она вернулась.

— Мне не нравится его состояние, — тихо сказала Бренда. — Ноги холодные, пульс еле слышен, но учащен. И дышит совсем не глубоко.

Щенок заскулил. Бренда, волнуясь, прошла мимо Поля. Поль бросился вслед за ней. Щенок стоял у кровати, положив передние лапы на одеяло. Едва вошли Бренда и Поль, он завыл во весь голос.

Голова Кемми неподвижно покоилась на подушке, загнутые вверх ресницы казались еще более темными. Бренда подняла тоненькую ручонку мальчика, обвила запястье своими пальцами, потом села на кровать и приложила ухо к его груди. Полю показалось, что она провела в таком положении невыносимо долгое время. Глухой вой щенка бил по нервам, как по натянутым струнам.

Когда Бренда подняла, наконец, искаженное горем лицо, Поль вскрикнул и упал на колени. Прильнув щекой к холодной руке ребенка, он заплакал.

Бренда робко коснулась рукой его головы. Он продолжал плакать от чувства своей вины, оно захлестнуло его всего без остатка, и слезы Бренды капали на его изуродованную шрамами щеку.

РОМАНЫ ДИМФНЫ КЬЮСАК

«Это генератор творческой энергии. Такая маленькая, милая женщина — и откуда берется столько интеллектуальной силы? Когда бы вы ни встретили ее, всегда она жизнерадостна и воодушевлена оттого, что один ее роман только что увидел свет, а другой уже в работе.

На мой взгляд, Димфну Кьюсак как писательницу отличает то, что она любит не только Австралию, но все человечество. Ее романы написаны на широкой основе всеобъемлющих симпатий и понимания проблем, с которыми сталкиваются мужчины и женщины и в Австралии и в других странах. Она обладает умением подхватывать темы социальной важности — объект животрепещущего, всеобщего интереса, который настоятельно требует воплощения, будоража мысль». Так охарактеризовала свою младшую современницу Катарина Сусанна Причард, возглавлявшая прогрессивные силы австралийской литературы в 1920-е — 1960-е годы.

Имя Димфны Кьюсак хорошо знакомо советскому читателю. Когда он только открывал для себя австралийскую литературу, в числе первых ее гонцов были романы «Скажи смерти «нет!» и «Жаркое лето в Берлине», завоевавшие широкое признание. Бывало, на читательских конференциях присутствовала сама писательница — она неоднократно приезжала в СССР и очень ценила возможность общения с аудиторией. Те, кто встречался с ней в Москве и Ленинграде, Горьком, Оренбурге, Ташкенте, Ереване или Ялте, наверное, помнят хрупкую голубоглазую женщину с косой вокруг головы, легкую на подъем, несмотря на немолодые уже лета и слабое здоровье, полную энергии и желания узнавать и понимать с тем, чтобы потом делиться новым знанием.

Элен Димфна Кьюсак (1902—1981) родилась в небольшом городке Уайлонге, штат Новый Южный Уэльс. За год до ее рождения произошло событие исторического значения для Австралии: австралийские колонии Англии объединились в федерацию, образовалось новое государство — Австралийский Союз. Уходила в прошлое эпоха колонизации континента, когда от поселенцев, особенно простого звания, требовались и огромный труд, и мужество, готовность идти на риск. Кьюсак гордилась тем, что ее предки-ирландцы, прибывшие в Австралию в середине XIX столетия, принадлежали к племени пионеров — селились в глуши, разводили скот, искали золото, зани-

мались извозом. Семейные предания были колоритны: роды с помощью аборигенки — акушерка жила за много миль, встреча с легендарным разбойником, за которым гнались стражники, — бабушка одолжила ему свою лошадь и юбку для верховой езды. Димфна унаследовала не только романтику освоения континента, но и «ирландское бунтарство». В гостинной висел портрет Роберта Эммета, героя национально-освободительной борьбы ирландского народа, казненного в 1803 году англичанами. Первой песней, которой ее выучил дед, в прошлом фений, член тайной организации «Ирландское революционное братство», была повстанческая «Ходить в зеленом». Не случайно героем одного из первых произведений Кьюсак, драмы из времен английской каторги в Австралии «Небо красно поутру» (1935), стал ирландец — политический ссыльный.

Накануне первой мировой войны отец писательницы, фермер-овцевод, владевший также золотым прииском, разорился. Семья переехала в Сидней. Учась в университете, Димфна жила на стипендию. В Сиднейском университете, старейшем в стране (основан в 1850 году), процветали консерватизм и англофильство, причем с ориентацией на викторианскую и эдвардианскую Англию, австралийское было синонимом второразрядного. Но уже давали знать о себе и растущее национальное самосознание и дух всемирно-исторических перемен, начало которым положила Великая Октябрьская социалистическая революция. Передовая часть студенчества тянулась к тем немногочисленным профессорам, кто разжигал интерес к австралийской истории и культуре, приучал не стесняться каторжных страниц, ибо каторгой британские властители карали обнищавших, голодавших, доведенных до отчаяния, восстававших.

В 1926 году Кьюсак окончила гуманитарный факультет и почти двадцать лет, с перерывами, преподавала английский язык и историю в школах Нового Южного Уэльса. Произведений на школьные темы у нее немного, но из своего преподавательского опыта, включавшего и то, что происходило за школьной оградой, она вынесла знание людей и жизни в промышленных центрах и городках сельскохозяйственных районов, стремление к воспитательному эффекту написанного, его социальной и нравственной действенности. Впервые она столкнулась с неприкрытой нуждой, непохожей на стыдливо маскирующуюся «благородную бедность», окружавшую ее в студенческую пору, в Брокен Хилле. Истинным хозяином города, обязанного своим возникновением залежам серебро-свинцовых руд, была монополия «Брокен Хилл пропрайетри», могущественная «БХП», получавшая миллионные прибыли, а рабочие жили в неказистых домах, болели силикозом, дети играли на выжженных солнцем пустырях. В летописи Брокен Хилла была забастовка, длившаяся полтора года. Работая в годы экономического кризиса в сиднейской женской школе, Кьюсак

бывала в семьях своих учениц и видела, как бедствуют там, где единственный доход — скудное пособие по безработице. Присутствовала на заседаниях суда по делам несовершеннолетних, где не было недостатка в доказательствах того, что молодежная преступность провоцируется нищетой, отсутствием спроса на рабочие руки и видов на будущее.

Кьюсак принадлежит к тому поколению писателей Австралии, которое вступало в литературу в пору социальных потрясений, классовых антагонизмов и политической борьбы 30-х годов, омраченных «великой депрессией» и надвигавшейся войной. Прогрессивная интеллигенция поддерживала требования безработных, участвовала в антифашистском и антивоенном движении, в кампании солидарности с республиканской Испанией, жила заботами молодой национальной культуры. Разбивая скорлупу провинциальной замкнутости, она ощутила свою причастность к процессам мирового масштаба. В этом духовном климате упрочилась демократическая основа мировоззрения Кьюсак — активистки профсоюза учителей, которая была в немилости у чиновников министерства просвещения, поборницы женского равноправия, члена Клуба левой книги. Сформировался главный реалистический принцип ее творчества — изображать человека в его взаимосвязях с окружающей средой. «Постепенно я поняла, — рассказывает она в статье «Как я пишу» (1960), — что невозможно писать о людях, находящихся в каком-то вакууме, нужно знать, как они живут и работают, их экономические и социальные проблемы». Писательнице было чуждо формалистическое искусство декадентского, модернистского толка — музыка, отринувшая мелодию, живопись, превратившаяся в нагромождение цветочных пятен, литература, отвернувшаяся от реальности.

В первом романе, «Юнгфрау» (1936), осуждающем буржуазную мораль, обозначились некоторые характерные для Кьюсак черты: изображение городской Австралии — новой области для литературы, поначалу находившей квинтэссенцию национального бытия исключительно в сельской глубинке, в «буше»; проникновение в среду «среднего класса», интеллигенции; наконец, «женский» ракурс, который проявляется в выборе главных действующих лиц, в показе взаимоотношений в любви и браке, в интересе к положению женщины в обществе.

Роман «Парад пионеров» (1938) был написан совместно с Майлс Франклин, романисткой, славившейся «сагами» — хрониками скваттерских семейств. Сатира на колониальный образ мышления, снобизм богачей и их претензии на австралийское первородство, «Парад пионеров» был приурочен к торжественно отмечавшемуся столетием юбилею колонизации Австралии и разбавлял собой официальное славословие.

Однако в 30-е — первой половине 40-х годов Кьюсак знали больше как драматурга, чем прозаика, — она была автором нескольких социально-психологических драм, которые ставились небольшими полупрофессиональными театрами, передавались по радио. Австралийская драматургия переживала период мучительного становления, осложненного засильем коммерческого театра, и Кьюсак вслед за Лунсом Эссоном, Вэнсом Палмером, К. С. Причард стремилась к созданию национального театра. В таких пьесах, как «Утреннее жертвоприношение» или «Кометы пролетают быстро», приподнимался занавес над современной Австралией, на сцену выходили люди, типичные для разных социальных слоев, вскрывались косность и лицемерие «моралистов», оскверняющих чистые чувства.

Два года из шести военных лет Кьюсак провела в портовом Ньюкасле, городе стали и угля, где опасность, нависшая над Австралией, ощущалась сильнее, чем в других местах: вокруг города построили проволочные заграждения и противотанковые ловушки, у берегов рыскали японские подлодки, торпедируя рудовозы и другие корабли, — японский снаряд однажды разорвался прямо под окнами домика докера, где жила Кьюсак. Помимо работы в школе, она часто выступала с лекциями по истории Австралии и австралийской культуры в кружках Ассоциации просвещения рабочих, в военных лагерях и казармах. Огненный рубеж второй мировой войны, в которой австралийцы сражались на стороне антигитлеровской коалиции, прошел и через австралийскую литературу. Лучшая ее часть сплотилась в патриотическом антифашистском порыве.

Мы грудь встречаем вызов —
Пусть небо черно кругом —
Враг не пожнет наше поле
И не постучит в наш дом,—

(Перевод А. Сергеева)

писала Мэри Гилмор, старейшая поэтесса и ветеран социалистического движения. Алан Маршалл посылал во фронтовую газету корреспонденции, составившие книгу «Это — мой народ». Причард выступала на митингах, призывая к установлению дипломатических отношений с Советским Союзом, на который пала главная тяжесть битвы с фашизмом. Война, принеся неслыханные страдания миллионам, обнажила всю страшную человеконенавистническую суть террористической диктатуры буржуазии и потребовала от писателей уточнения социальных и политических критериев в подходе к действительности. «То, что я смутно понимала раньше, — говорит Кьюсак в автобиографической книге, опубликованной в 1975 году, — переросло в глубокое убеждение: род человеческий может уцелеть лишь при той

социальной системе, которая основывается на глубоком уважении к человеку и имеет целью полное осуществление потенциальных возможностей мужчин и женщин, независимо от расы и цвета кожи».

Быстро последовавшие друг за другом романы «Орел или решка» (1951), «Скажи смерти «нет!» (1951) и «Южная сталь» (1953) далеки от батальной тематики, но писательница обращает внимание на то, как менялось войной течение жизни людей, их мировосприятие и моральные устои.

В романе «Орел или решка» (написан в соавторстве с Флоренс Джеймс) перед читателем проходят восемь дней из жизни Сиднея 1944 года — тылового города, где одни работают и терпят лишения, а другие — «сливки» общества — преспокойно нарушают законы о мобилизации трудовых резервов и предаются светским развлечениям, где процветают темные дельцы — содержатели притонов и игорных домов и по-хозяйски держатся союзники-американцы. Рассказывая о судьбах нескольких женщин, служащих в роскошном отеле (главная сценическая площадка романа), Кьюсак не избежала «эффектов Золушки». Но демократизм ее оценок и симпатий не вызывает сомнений: они отданы не богатым, праздным, преисполненным кастовой заносчивости, а людям, которые в атмосфере коррупции сохраняют честность, порядочность и несут бремя военных тягот.

Еще рельефнее классовые и политические противостояния в романе «Южная сталь», где на разных полюсах оказываются члены одной семьи. Подобный раскол был показан Вэнсом Палмером в романе «Семья Суэйн» (1934). Но Суэйны — из числа владеющих Австралией, «верхняя корочка», а Кьюсак берет рабочую семью — Суитэплы трудятся на предприятиях «Южной стали» (псевдоним «БХП») и живут в Ньюкасле, где писательница наблюдала трагический парадокс капитализма: война, величайшее коллективное бедствие, оживила порт, замерший в годы кризиса, сделала ненужными объявления «рабочих рук не требуется». Старший из братьев Суитэплов, Рад, — профсоюзный организатор, коммунист, верит, что частное предпринимательство будет «сдано в музей истории вместе с рабовладельчеством и феодализмом». Средний, Кейр, — ведущий металлург, верой и правдой служит компании. Для Кейра Рад — смутьян, мешающий работе «Южной стали», оплота оборонной мощи Австралии. Для Рада Кейр — отступник, переметнувшийся во вражеский лагерь, а заслуги «Южной стали» сомнительны: как и другие австралийские монополии, она продавала Японии железный лом и чугун даже в 1941 году, содействуя тем самым вооружению противника. Младший брат, Лэнди, — кочегар корабля, подорванного японцами, олицетворяет мужество, выказанное австралийским тружеником в войну.

Кьюсак не удалось создать произведение, которое бы с достаточной полнотой и глубиной осветило жизнь и социальную роль промышленного пролетариата Австралии. Но знаменательно само обра-

щение к важнейшему, не исследованному литературой пласту, к проблеме власти монополий. И портреты рабочих написаны с сознанием того, что они, а не монополия истинные создатели общественного богатства.

Роман «Скажи смерти «нет!» — лучшее, на наш взгляд, произведение Кьюсак, в котором она в наибольшей степени добилась художественной цельности. Секрет его воздействия, как отмечала Юлия Друнина, высоко оценившая роман в рецензии, напечатанной в «Иностранной литературе», — в органичности слияния социально-значимого и сугубо личного: «...социальная трагедия придает не очень оригинальной любовной истории глубину и значительность, а ярко выписанная любовь эмоционально окрашивает повествование, придает ему лиричность и остроту». Впрочем, по-своему неповторима и оборванная туберкулезом история любви Джэн Блейкли, скромной машинистки из какой-то сиднейской конторы, и Барта Темплтона, солдата, возвратившегося с оккупационными войсками из Японии.

Кьюсак писала роман под впечатлением от смерти близкой подруги, которую также унесла чахотка, исполняла предсмертную просьбу — рассказать о хождениях по мукам больных, оставленных равнодушным государством один на один с грозной болезнью. Тщательно, как она обычно это делала, подготавливая фактический материал, Кьюсак посещала больницы и жила в санаториях — под вымышленным именем, беседовала с врачами и чиновниками министерства здравоохранения, выслушала добрую сотню больных. Она написала роман-обвинение.

Джэн осталась бы в живых, если бы... Если бы у нее хватило денег, чтобы лечиться в частном санатории. Если бы места в бесплатном, государственном, не надо было ждать так долго — очередь продвигалась, только когда кто-нибудь умирал. Если бы Джэн не жила в мрачной, лишенной воздуха клетушке, в каменном колодце доходного дома. Если бы жизнь ее не зависела от дельцов, подвизающихся на ниве медицины, — «светил» вроде Мерчисона Лейда, который забывает о пациенте, как гольфо за ним закрывается дверь, или хозяйки санатория Пайн Ридж, выгнавшей Джэн на все четыре стороны, узнав, что она не в состоянии оплачивать сиделку. И случай с Джэн не исключение. Рядом с ней в убогих палатах Спрингвейла оканчивают свои дни взрослые и дети, обреченные бедностью, — мальчишка-абориген, Дэнни Мориарти, занемогший, скитаюсь по стране в поисках работы, Джим Чемберс, отказывающий себе даже в маленьких радостях — куреве, газете, потому что дома жена и дети еле сводят концы с концами.

Общественный резонанс романа Кьюсак был таков, что министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс улучшило организацию лечения туберкулезных больных. Однако не будем обольщаться. Свои обвинения в адрес буржуазной системы здраво-

охранения, где главенствует частнопредпринимательская медицина, Кьюсак повторила в последнем своем романе — «Сук в аду» (1971), и с полным основанием. Когда лейбористское правительство Уитлема (1972—1975) попыталось ввести в Австралии общедоступное государственное медицинское страхование и расширить сеть государственных медицинских учреждений, оно натолкнулось на яростное сопротивление частных страховых компаний и частнопрактикующих врачей, угрожавших даже, что они вообще не будут лечить тех, кто рискнет обратиться в государственную клинику.

Обличительный заряд книги усиливается сочувствием, которое вызывают герои, их обаянием, самоотверженностью и тщетностью борьбы Барта за жизнь любимой женщины. Барт, фермерский сын, парень, каких, казалось бы, тысячи, — первый в ряду созданных Кьюсак образов людей, проходящих путь нравственного и гражданского возмужания. В его первоначальном мужском эгоизме и беспечности, смешанной с боязнью совершить ошибку, попасть в капкан, — психология солдата, который после пекла войны и смахивавшей на пикник оккупационной службы смотрит на мир без розовых очков и без уверенности в будущем — вон отец по-прежнему тянет фермерскую лямку, не вылезая из долгов, брат убит, янки твердят о третьей мировой. Так не проще ли наслаждаться сегодняшним днем, не связывая себя обязательствами? А Барт, с которым мы расстаемся, — человек, доказавший свою надежность, по-новому, серьезно взглянувший на окружающее.

Зерно преобразования Барта — чувство товарищества. «Верь в свои силы!», «Никогда не сдавайся!», «Не оставляй в беде товарища!» — он мог бы повторить эти заповеди классика австралийской литературы Генри Лоусона. То, что он усвоил как закон поведения в моменты смертельной опасности, цементирует и его чувство к Джэн, и оно становится тем глубже и сильнее, чем большего требует от Барта, который работает сверхурочно, чтобы оплачивать больничные счета, лекарства, квартиру, поступает санитаром в туберкулезный санаторий, где лежит Джэн, ухаживает за ней, как сиделка. В этой отчаянной борьбе он познает самого себя. Кьюсак не превращает Барта в ходячую добродетель — его одолевают усталость, тоска, одиночество. на какое-то время он поддается чарам красивой и богатой женщины. Но место, которое занимает в его сердце Джэн, никто другой занять не может, — так безоглядна ее любовь, свободна от расчетов и притязаний, подлинна. Кьюсак заканчивает роман трагической гармонией: повинувшись умирающей Джэн, Барт увозит ее к морю, в лачужку, где полтора года назад они провели счастливейшие десять дней жизни.

В советской критике отмечалось сходство и различие между «Скажи смерти «нет!» и «Тремя товарищами» Ремарка, произведениями, которые при общности основной коллизии, различны в своем

национально-историческом содержании. Во всей тональности романа немецкого писателя сквозит трагедия рухнувшего мира, исчезнувших иллюзий, в австралийском романе пробивается наружу общественный протест. Своей любовью и преданностью Барт говорит смерти «нет!», но это «нет!» обращено и к обществу: нельзя мириться с уродствами социального порядка, позволяющими тратить на войну и разрушение миллиарды, а на благополучие и здоровье людей — «жалкие тысячи».

Романом «Скажи смерти «нет!» Кьюсак подтвердила свою принадлежность к демократическому и реалистическому направлению в австралийской литературе, которое в 40-е — 50-е годы находилось на подъеме, окрыленное победой над фашизмом, и обогатилось такими яркими произведениями, как трилогия Причард о золотых приисках, трилогия Палмера о восхождении политического деятеля, романы Ф. Б. Веккера и Джуды Уотена, повести и рассказы Алана Маршалла и Джона Моррисона.

В конце 40-х годов Кьюсак уехала в Англию. Для нее, как для многих других писателей «окраин», поездка в Европу была заветным желанием: воочию увидеть страну предков — Англию, окупиться в жизнь прославленных культурных центров, дивиться седой старине и чувствовать пульс сегодняшнего дня. Два десятилетия — 50-е и 60-е годы прошли в основном за пределами Австралии: окончательно Кьюсак возвратилась на родину лишь в 1972 году. Франция, Италия, Ирландия, ФРГ и ГДР, Польша и Чехословакия, Болгария и Румыния, Венгрия, Югославия, Албания, КНР и КНДР, СССР — Кьюсак побывала в десятках стран Европы и Азии, в некоторых жила подолгу. Маршруты ее путешествий во многом определялись маршрутами ее книг, издававшихся на разных языках. Кьюсак с мужем, прогрессивным журналистом Норманом Фрихиллом, приглашали в гости национальные комитеты защиты мира, Союз писателей СССР и писательские организации других социалистических стран. Но и будучи гостем, она всегда работала: собирала материал для новых произведений, стараясь получше узнать народ той страны, куда она приехала, и его жизнь, осуществляла давнишние замыслы, радуясь редкой для прогрессивного литератора возможности без помех и забот о хлебе насущном заняться любимым делом. Живя за границей она оставалась австралийской писательницей: «Пусть я кочевница, вдобавок счастливая, но эмигранткой я не была никогда, корни мои — в стране, где я родилась и выросла, и выдернуть их невозможно». Ностальгия и сравнение со странами, где в сознании и быту сохранились феодальные пережитки, подчас сглаживали острые углы в изображении Австралии — например, в романе «Сельские скачки» (1962) ярче выступают «светлые стороны» среды, в которой прошли юные годы писательницы. Но в целом огромный запас впечатлений, знакомство с жизнью разных народов, участие в мировой общественной борьбе раздвинули горизонты творчества Кьюсак.

Особое значение имели установившиеся дружеские, постоянные связи со странами социализма — в многочисленных очерках и статьях Кьюсак рассказывала западному читателю правду об их достижениях на пути создания нового общества. Есть у нее и книга «Каникулы среди русских» (1964), отнюдь не «туристская», хотя она и содержит описание достопримечательностей, исторические экскурсы, цифры и бытовые сведения. Поразительные социальные сдвиги показаны через биографии современников: дипломата, родившегося в бедной семье на берегах сибирской реки, женщины, вырастившей детей в одиночку, без мужа, замученного в фашистском концлагере, директора завода — участника Сталинградской битвы, узбечки — освобожденной женщины Востока, ставшей членом правительства. «Нигде в мире я не чувствовала такой страстной жажды мира, как в СССР», — говорила Кьюсак.

Вскоре после приезда в Европу Кьюсак включилась в движение сторонников мира. В обстановке поляризации литературных сил, когда правые группировались вокруг пресловутого «Конгресса в защиту свободы культуры», организации, финансировавшейся ЦРУ, Кьюсак присоединилась к тем, кто помогал растапливать льды «холодной войны». Антивоенный мотив, который звучал и в прежних ее романах и пьесах, получает развитие, пронизывая все ее дальнейшее творчество. Кьюсак становится писательницей политической темы, горячо выступая против фашизма, милитаризма и расизма.

Роман «Солнце в изгнании» (1955) влился в антиколониальную струю мировой литературы, отразившую рост национально-освободительных движений и распад колониальных империй. Кьюсак нащупала одну из болевых точек послевоенной Англии — усиливающуюся дискриминацию британских подданных с «неподходящим» цветом кожи. Антиколониальна и пьеса «Тихоокеанский рай» (1955), при том, что главная ее идея — предотвращение ядерной катастрофы: жители маленького острова где-то в Южных морях бросают вызов американской военщине, чтобы избежать участи Бикини.

Миллионы людей прочли роман «Жаркое лето в Берлине» (1961). Австралийская проза — военные романы Э. Ламберта, Дж. Хезерингтона, «Крылатые семена» Причард — в большей степени выражала антифашистское сознание, чем показывала фашизм как государственную систему с ее чудовищными нормами, жесточайшей машиной подавления, идеологией расизма и шовинизма. Отчасти восполняя этот пробел, Кьюсак напоминала о «коричневой чуме» тем, у кого оказалась короткая память, просвещала новое поколение, которое по молодости лет и вине буржуазной пропаганды не смогло узнать правды, предостерегала против возрождения немецкого фашизма. Из романа видно, как с благословения Запада, вернувшегося к «политике, стоившей человечеству 50 миллионов жизней», в ФРГ и Западном Берлине благоденствуют монополисты, вскормившие Гитлера и его клику,

ванимают министерские посты военные преступники, практикуют врачи, экспериментировавшие на узниках концлагерей, сколачивают реваншистские союзы бывшие эсэсовцы и ветераны вермахта.

Кьюсак искала доходчивую, способную увлечь читателя форму: раскрывая политическое содержание, она идет от частной жизни, семьи, личных взаимоотношений, но широко вводит и публицистический элемент в виде споров, монологов-свидетельств, сообщений. «Жаркое лето в Берлине» построено как обретение истины политически невежественным, наивным человеком, и структура последующих романов Кьюсак аналогична. Для молодой австралийки Джой, приехавшей в Западный Берлин погостить у родственников мужа, безликое прежде зло материализуется в ближайшем окружении, она начинает различать палачей и жертв и делает свой выбор, принимая сторону тех, кто борется против возрождения рейха и разжигания националистических милитаристских страстей. Нельзя «жить лишь для себя и не видеть дальше своего носа».

Романом «Солнце — это еще не все» (1967) Кьюсак предостерегала против фашистской опасности в самой Австралии, где нашли убежище каратели и предатели разных мастей — эсэсовцы, салашисты, усташы, устраивающие террористические акты, а также объявились доморожденные поклонники «Майи кампф» со своими фюрерами, учебными лагерями и военизированными отрядами. «У нас это возможно», — говорит Кьюсак, поселив в тихом сиднейском предместье благообразного преуспевающего фон Рендта, он же штурмбаннфюрер, прозванный Хохочущей смертью. Разоблачение фон Рендта — акт возмездия и урок близоруким, благодушным и легковверным. Заглавная фраза иронизирует над рекламными проспектами, сулящими безоблачное счастье под австралийским солнцем, — кроме природного, нужен еще и климат, в котором было бы неуютно заговорщикам и убийцам, сеющим вражду между народами.

Чутко и остро реагирующая на общественные движения и антагонизмы, Димфна Кьюсак не могла пройти мимо одной из жгучих проблем современной Австралии — положения, в которое поставили аборигенов, потомков племен, издревле населявших континент, эксплуатация, расовая дискриминация и пренебрежение их нуждами. С детства в ее памяти накалывались примеры расистского обращения с чернокожими австралийцами: белые соседи не общались с семьей аборигена-следопыта, история мирного сельского городка начиналась с резни, учиненной колонистами, на улицах Армидейла, где Кьюсак училась в школе, аборигены не смели появиться — они ютились у городской свалки. После войны она сблизилась с участниками движения за гражданские права коренных австралийцев.

В 60-е годы, когда появились романы «Черная молния» (1964) и «Полусожженное дерево» (1969), оно приобрело гораздо более широкий размах и новое качество. В 1967 году всенародный рефе-

рендум устранил из конституции дискриминационные статьи. Но поскольку правовые изменения не обеспечили фактического равноправия, борьба не угасла, а, напротив, обострилась, на политическую сцену вышли сами аборигены, добиваясь повышения вопиюще низкого жизненного уровня, признания их прав на исконные земли обитания, уничтожения «цветного барьера» в быту, на производстве, в общественных сферах.

Как и «Жаркое лето в Берлине», «Черная молния» и «Полусожженное дерево» — романы прозрения. Их герои переживают личные драмы и находят новый смысл в жизни, расставаясь с заблуждениями, преодолевая эгоизм, приобщаясь к правому делу.

Тэмпи Кэкстон, манекенщица и звезда австралийского телевидения, внезапно изъята из комфортабельного, полного показного блеска мира, неотъемлемой частью которого она считала себя. Кит Мастерс, солнце ее вселенной, разом обрубил многолетнюю связь — брак по расчету обеспечил ему пост редактора влиятельной ежедневной газеты. Владельцы телецентра отказались от услуг стареющей красавицы. Единственного сына отняла колониальная война в Малайе. Вспреди — одинокая старость.

Тэмпи, глотающая сверхдозу снотворного, — жертва буржуазного карьеризма. Она обманута иллюзиями «общества потребления»: ведь она и сама принимала на веру рецепты красоты, успеха и семейного счастья, которыми наделяла телезрительниц, навязывая им на деле предукцию косметических, швейных и прочих фирм. Она наказана за расистские предрассудки. Косвенная виновница гибели сына, она могла помешать его отправке в Малайю, но не сделала этого, надеясь излечить Кристофера от непонятного и постыдного увлечения девушкой-аборигенкой, «цветной».

Кьюсак заставляет свою героиню пересмотреть прошлое — после неудавшегося самоубийства в ее руки попадает дневник сына. В этом нелюбезном зеркале шестилетней давности предстают и бывший муж Тэмпи Роберт Армитедж, отец Кристофера, — финансист, оценивающий и людей в денежном выражении, с традиционно-буржуазными понятиями о респектабельности, и ее возлюбленный Кит Мастерс — «наглый волк», насквозь продажный журналист, претендующий, однако, на современную широту взглядов, и сама Тэмпи, жрица Красоты, поющая с чужого голоса. Дневник, написанный языком молодежной исповедальной прозы, получившей широкое распространение после романа Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи», — это и способ показать умного, наблюдательного, замкнутого юношу, для которого математика с ее неопровержимой логикой — единственная отдушина в отвратительном сумбуре всеобщей погони за деньгами и престижем. Ему не по себе и в старомодном отцовском доме, и в американизированном салоне матери и Кита, в частной школе для элиты, питомцы которой не заходят в мечтах дальше места в прав-

лени компании, и в лагере для новобранцев, где муштра должна выбить из солдатских голов все «лишнее». Он чувствует себя «как дома», наслаждаясь теплотой и взаимопониманием, лишь в семье, родоначальник которой — старый моряк-швед, взявший в жены аборигенку.

Это — вариант австралийской утопии, маленькая изолированная община аборигенов на полуострове, где все любят и уважают друг друга, кормятся рыбной ловлей и урожаем с фруктовой плантации и привязаны к старому дому, наполненному шумом и запахами моря, с натертыми воском полами, с камином, с подозрной трубой, в которую Капитан рассматривает звездное небо. Романтично и увлечение Кристофера внучкой Капитана Занни — «черная молния» воспламенила его чувства. новым светом осветила жизнь.

Однако посягательства дельцов, задумавших выстроить на полуострове отель для туристов, на клочок земли Свонбергов, конфликт, в который втянута и Тэмпи, — сама реальность. Дело о выселении Свонбергов предвосхищает упорную острую борьбу аборигенов за земельные права, развернувшуюся в 70-е годы (прежде всего между аборигенами Севера и горнодобывающими монополиями, рвущимися к богатствам, заключенным в недрах их земель).

Тэмпи, которая откликается на призыв Свонбергов о помощи, уже не холодное божество с телевизионного Олимпа. Крушение пробудило в ней способность к сочувствию — она впервые задумалась над тем, что стоит за письмами женщин, обращавшихся к ней за советом. Она теперь сама нуждается в сочувствии. Вступаясь за Свонбергов в память сына, искупая вину перед ним ради внучки Кристины, о существовании которой она не подозревала, Тэмпи под конец начинает сознавать себя лично причастной и к бедам аборигенов и к длительной и тяжелой борьбе, которую они ведут. Встречи Тэмпи с мэром Уоллабы, ближайшего к жилью Свонбергов городка, с управляющим резервацией, с полицейскими в захолустной Уоллабе и столичном Сиднее, творящими произвол и насилие над аборигенами, вплоть до рукоприкладства, выстраиваются в лестницу расизма, ведущую к верхам австралийской бюрократии.

Быть может, Тэмпи, не имея никакого опыта в подобных делах, опустила бы руки, запуганная недвусмысленными угрозами, не будь у нее перед глазами пример самих аборигенов. Опровергая расхожие расистские представления о чернокожих австралийцах как жалких попрошайках, никчемных существах, по своей биологической природе не поддающихся цивилизации, Кьюсак нарисовала аборигенов послевоенной формации, приобщившихся к современной культуре, полных достоинства людей, которые могли бы достигнуть гораздо большего, если бы им не чинили препятствий: Джек, мастер на все руки, окончил техническое училище, работал на сталелитейном заводе, бывший

солдат Пол сражался с японскими захватчиками на Новой Гвинее, умелая санитарка Занни вполне справится и с обязанностями медсестры. «Мы ничего не добьемся, пока не начнем бороться», — говорит Джек, и в его правоте убеждаются и те из Свонбергов, кто думал, что достаточно вести себя, как «воспитанные белые», и можно жить спокойно и счастливо.

Роман заканчивается обнадеживающе: благодаря Тэмпи столичная пресса предает гласности изгнание Свонбергов. Можно было бы подивиться такой отзывчивости буржуазной печати — куда правдоподобнее первая реакция редактора Мастерса, не желающего ввязываться в столкновение горстки черных с властями. Но писательница прекрасно понимает и дает понять читателю, чего стоит «свободная пресса». Просто у газетного магната, отдавшего приказание поддержать Свонбергов, есть соображения, и небескорыстные, личного порядка.

Роман «Полусожженное дерево» вышел в разгар кампании за прекращение агрессии США во Вьетнаме и позорного соучастия в ней Австралии. Вьетнам был социально-критическим фокусом австралийской литературы конца 60-х годов. Под требованиями остановить кровопролитие и вывести австралийские войска ставили подписи литераторы разных взглядов — цвет литературы. Со стихами протеста выступали крупнейшие поэты — Р. Д. Фицджералд, Джудит Райт, Дэвид Кемпбелл, Джон Мэнифолд. В сиднейском Новом театре шел спектакль «На сцене Вьетнам». «Да, разумеется, это — решительное выступление против войны во Вьетнаме», — прокомментировала свой роман Кьюсак в интервью газете «Острэлиен».

В романе — три главных персонажа, чьи пути скрещиваются в приморском уголке Нового Южного Уэльса, куда забредают разве рыбаки и туристы. У каждого своя беда — прошлое всплывает в воспоминаниях, снах, вспышках ассоциаций. У Поля Муррея, вернувшегося из Вьетнама, брошенного женой, обезображено тело, опустошена душа, — в романе Кьюсак, как и в романах участников вьетнамской войны Джона Роу «Сосчитайте убитых» и Кеннета Кука «Вино гнева божьего», раскрывается духовное поражение «крестоносцев», отправившихся «спасать мир от коммунизма», их варварская жестокость и расизм. Поль оказался во Вьетнаме подстегнутый милитаристской демагогией отца-бизнесмена, — обучался азбуке профессиональных убийц, участвовал в карательных экспедициях, присутствовал при пытках. Поворотным пунктом в его судьбе и взглядах стал тот страшный миг, когда напал, сброшенный «Б-29» на вьетнамскую деревню, настиг и его, а руку помощи ему неожиданно протянули те, чью землю он обращал в руины. Мир разделился для него на «Там» и «Здесь». И то, что «Там» казалось в порядке вещей, «Здесь» преследует мучительным кошмаром, ужасом бесчеловечности, сопричастностью к преступлениям.

Бренда Локвуд, молодая женщина, отгородилась от мира в уединенном домике над морем — почтовое отделение, одно на всю округу, с лавкой в придачу, потрясенная предательством мужа-двоеженца. (Обманщик, военный летчик, — сродни Киту Мастерсу из предшествующего романа, он мог бы повторить слова английского офицера из ранней пьесы Кьюсак — декларацию эгоизма: «Я использую кого хочу — мужчину, сабаку или женщину, как хочу, и расстаюсь с ними, когда захочу.»)

Мальчик-абориген Кемми Бардон, живущий в пещере вместе с приبلудным щенком, — сирота, его родители погибли в автомобильной аварии. Выполняя мелкие поручения Поля и Бренды, он получает взамен немного еды, монету. Несчастный случай... Но Кьюсак включает в цепь причин и следствий конфликт между аборигенами и их притеснителями, продолжая тему «Черной молнии». Бардоны бежали из Квинсленда на стареньком грузовичке, спасаясь от преследований полиции: отец Кемми, гуртовщик, был вожаком аборигенов, работавших на фермах, организовывал забастовку.

Связав в один узел три несчастные судьбы, писательница с присущей ей активностью отношения к жизни как бы задается вопросом: есть ли выход для этих людей — взрослых, одиноких по своей воле, и ребенка, в сущности, отторгнутого обществом?

Возрождая сад Бренды, по которому прошелся лесной пожар, Польш постепенно начинает вкладывать душу в эту мирную земледельческую работу, находя в ней свое истинное призвание. Вместе с садом возрождаются и он, и Бренда. Ветка, зеленеющая на полусожженной сливе, — знак неодолимости жизненных сил, да и весь сад — метафора созидания, противостоящего стихии войны и разрушения. В древнее, как мир, уподобление жизни человеческой дереву, вложен морально-этический смысл: как бы человека ни пригнула беда, если он сохранил вкус к труду, искру участия к чужому горю, он не потерян.

Поля и Бренду выводит из «ничейной земли» и сближает еще и общая вина и усилия поправить непоправимое. Поглощенные собственными переживаниями, привыкшие механически отделять «нас» от «них» — нерадивых нерях аборигенов, у которых и дети всегда не присмотрены, они и не заметили, в каком положении их чернокожий «связник» Кемми — бездомный, голодающий и больной. Смертью мальчика-аборигена, которой можно было бы легко избежать, Кьюсак подчеркнула связь между бесчинствами захватчиков на вьетнамской земле и «домашним», примелькавшимся расизмом. Недаром Кемми напоминает Полю вьетнамца Пак То.

Димфна Кьюсак обладала даром живого повествования. Построенное вокруг злободневного конфликта, насыщенное реалиями национальной жизни и исторического периода, с характерными для своей среды и времени действующими лицами, оно ярко окрашено чувствами автора, сопереживающего героям: «то, что заставляет их стра-

дать, вызывает у меня яростное негодование, их мужество восхищает». И зарисовки природы, как бы они ни были «привязаны» к конкретному сюжету или эпизоду,— это лирический образ родины. Она виделась писательнице из европейского далека окруженная морями, в переливах красок воды и неба, в плеске и грохоте волн, разбивающихся о скалы, набегающих на песчаные ленты пляжей.

От взыскательного читателя не укроются и слабые стороны творчества Кьюсак: повторяемость ситуаций и образов, беллетристическая облегченность в разработке коллизий, налет сентиментальности. Но от «романа о любви», определенную дань которому отдает писательница, ее произведения решительно отличает острота социального видения, стремление найти точку пересечения личной драмы с конфликтом общественного масштаба, призыв к активному сопротивлению социальному злу.

«Меня называют оптимистическим реалистом,— писала Кьюсак.— Так оно и есть». Из веры в возможность гуманистического применения энергии и талантов людей проистекало и неизменное внимание писательницы к проявлениям роста гражданского сознания — свидетельство влияния новаторской эстетики реализма, рожденного революционной практикой XX века, превращавшей человека в субъект исторического действия. В романе «Южная сталь» процитировано знаменитое высказывание из книги Николая Островского «Как закалялась сталь» о том, как надлежит распорядиться отпущенным временем, чтобы умирая можно было сказать: «Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».

Димфна Кьюсак глубоко сознавала, что никогда ответственность писателя не была столь велика, как в наши дни, ибо опасность, нависшая над миром, «затрагивает не один народ, не одну нацию, а все человечество». Обращая свое перо против фашизма, империалистической военщины, вынашивающей милитаристские планы, расистской идеологии и расовой дискриминации, австралийская писательница содействовала сплочению всех честных людей Земли, заинтересованных в мире и прогрессе.

А. Петриковская

СОДЕРЖАНИЕ

СКАЖИ СМЕРТИ «НЕТ!». <i>Перевод Б. Носика</i>	5
Часть первая	7
Часть вторая	87
Часть третья	197
Часть четвертая	251
ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ. <i>Перевод В. Коткина</i>	331
Часть первая	333
Часть вторая	365
Часть третья	441
Часть четвертая	505
ПОЛУСОЖЖЕННОЕ ДЕРЕВО. <i>Перевод В. Коткина</i>	549
Романы Димфны Кьюсак. <i>А. Петриковская</i>	687

Кьюсак Д.

К 97 Скажи смерти «нет!»/Пер. с англ. Б. М. Носика; Черная молния/Пер. с англ. В. С. Коткина; Полусожженное дерево/Пер. с англ. В. С. Коткина; Сост. В. Семенова; Послесл. А. С. Петриковской; Ил. Е. А. Черной.— М.: Правда, 1984.— 704 с., ил.

Имя австралийской писательницы Элен Димфны Кьюсак (1902—1981), неутомимого борца за мир, давно знакомо советскому читателю. У нас в стране увидели свет многие ее произведения. В настоящий сборник вошли романы: «Скажи смерти «нет!», «Черная молния», «Полусожженное дерево», где писательница бросает обвинение общественной системе, обрекающей на смерть неимущих, повествует о трудных поисках утраченного смысла жизни своих героев.

К $\frac{4703000000 - 771}{080(02) - 84} - 771 - 84$

84.82

Димфна Кьюсак

СКАЖИ СМЕРТИ «НЕТ!»

ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ

ПОЛУСОЖЖЕННОЕ ДЕРЕВО

Редактор

Г. Ф. Дыченкова

Художественный редактор

Е. М. Борисова

Технический редактор

Л. Ф. Молотова

ИБ 771

Сдано в набор 05.08.83. Подписано к печати 13.12.83.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 36,96. Усл. кр.-отт. 37,38. Уч.-изд. л. 41,16.
Тираж 500 000 экз. (1-й завод: 1—250 000).
Цена 4 р. 50 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина, 125865, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Правда
Севера» Архангельского обкома КПСС,
163002, Архангельск, проспект Новгородский, 32.
Заказ № 7146



